This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

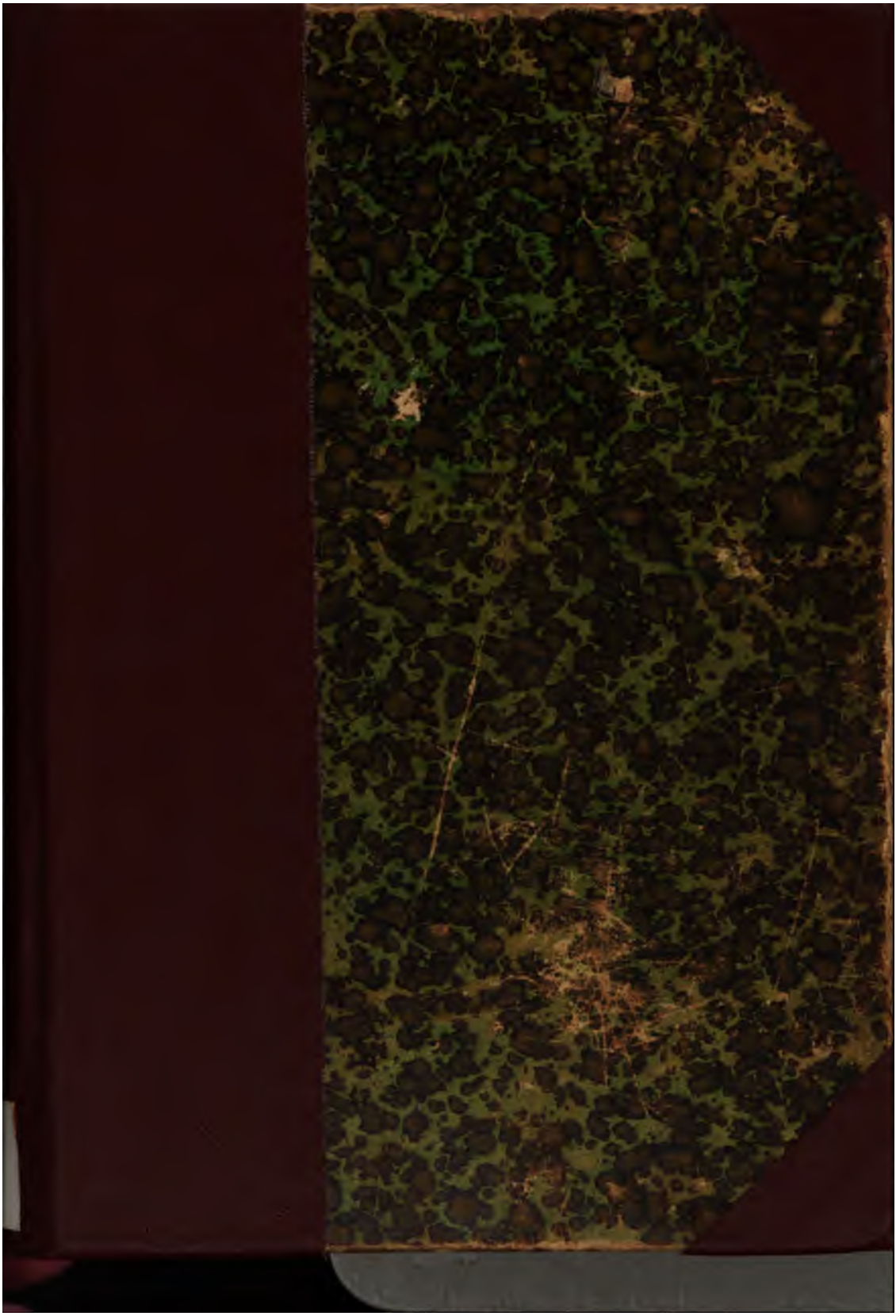
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

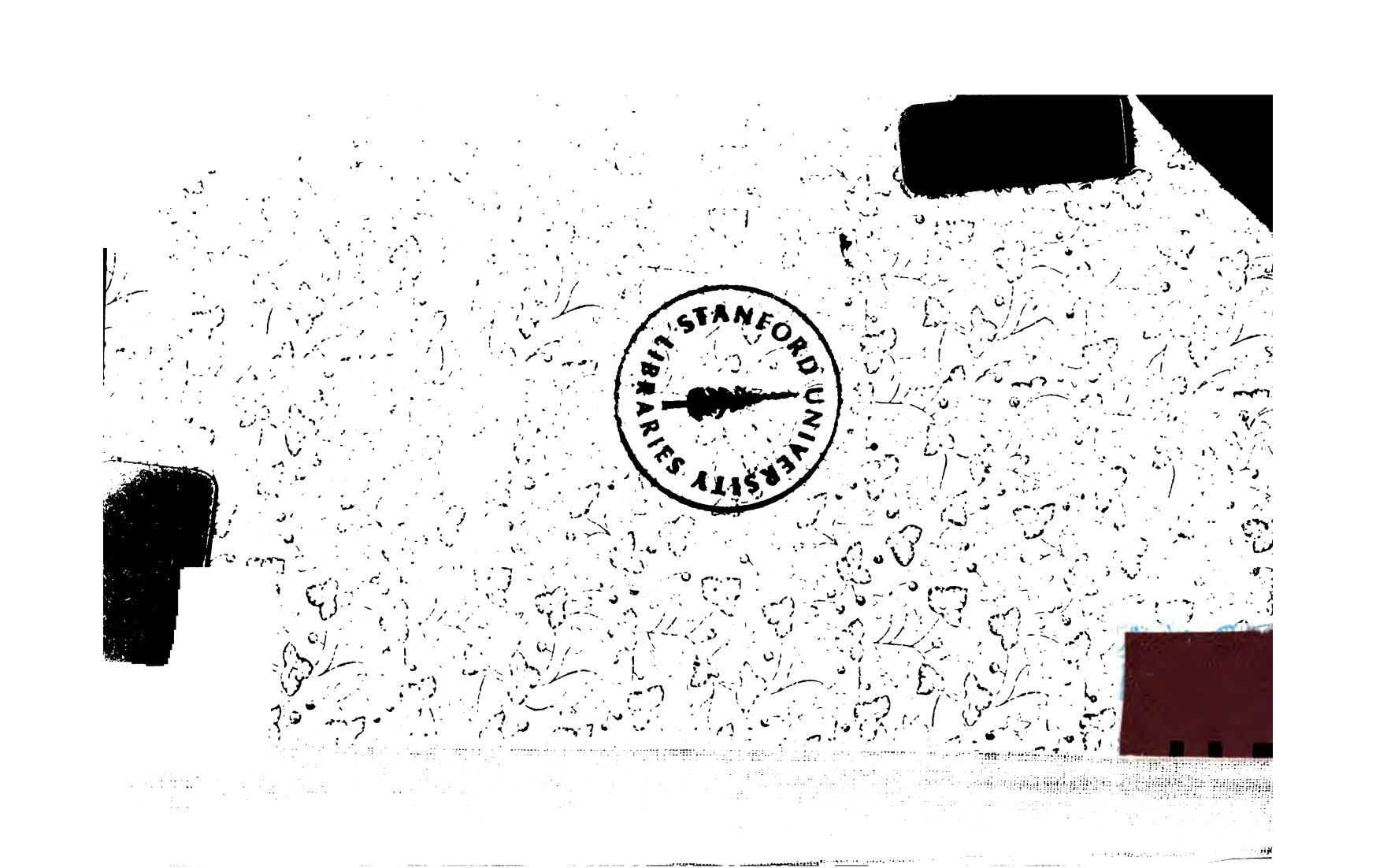
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

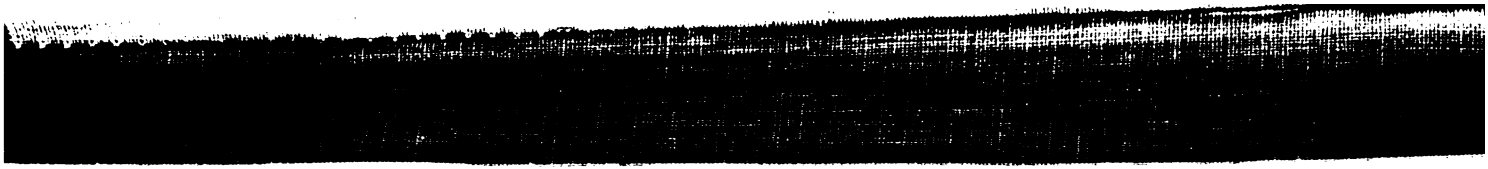
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`




STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

ЫЕ ВИХРИ.

РОМАНЪ

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНІЕ Н. Ѳ. МЕРТЦА.
1903.

STANFORD

ЗЛЫЕ ВИХРИ.

РОМАНЪ

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ИЗДАНІЕ Н. Ѳ. МЕРТЦА.

1903.

ЗЛЫЕ ВИХРИ.

РОМАНЪ

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ИЗДАНІЕ Н. Ѳ. МЕРТЦА.

1903.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 12 апрѣля 1903 года.

Типографія «В. С. Балашевъ и К°». Спб., Фонтанка 95.

ЗЛЫЕ ВИХРИ.

РОМАНЪ.

...а міра сего тлѣннаго и вихровъ, исходящихъ отъ злыхъ человѣкъ, не перенять, потому что во всемъ свѣтѣ разсѣяни быша, точію бо человѣку *душою* предъ Богомъ не погрѣшить, а *вихри злые*, отъ человѣкъ нашедшіе, кромѣ воли Божіей. что могутъ учинить?

(Изъ письма царя Алексѣя Михайловича Ордину Нащокину).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Наталья Порфирьевна остановилась въ дверяхъ между двумя гостиными, гдѣ сосредоточилось, на этотъ разъ, все оживленіе, и окинула быстрымъ, внимательнымъ взглядомъ ту и другую комнату. На ея губахъ еще не успѣли застыть послѣднія слова только-что произнесенныхъ ею безсознательно заученныхъ фразъ, всегда казавшихся, какъ ей самой, такъ и другимъ, новыми и умными.

Сейчасъ произнесетъ она другія, подобныя-же фразы. Ея бѣлыя, пухлыя щеки, дряблость и морщинки которыхъ таятся за незамѣтнымъ слоемъ искуснаго притиранья, уже дрогнули отъ привычно вызываемой, тихой и безконечно мягкой полуулыбки. Это та самая полуулыбка, о которой лѣтъ двадцать тому назадъ, послѣ аудіенціи, давно ужъ замолкшія, ласковыя уста сказали: «Cette bonne madame Vilimsky a le sourire d'une sainte».

Теперь репутація святости Натальи Порфирьевны Вилимской-Талубьевой была общеизвѣстнымъ, несомнѣннымъ фактомъ, отпраздновала свой юбилей, а ея мягкая, тихая полуулыбка полу-

чила оффиціальное значеніе и неизмѣнно находилась на своемъ посту, при исполненіи своихъ обязанностей.

Внимательный взглядъ на обѣ гостиныя доложилъ Натальѣ Порфирьевнѣ, что все обстоитъ благополучно. Да и могло-ли быть иначе? Развѣ она, полноправная хозяйка этого чуднаго дома, гдѣ каждая мельчайшая подробность носила на себѣ слѣды неподдѣльнаго стариннаго барства, не обладала, рядомъ со своею святостью, знаніемъ всѣхъ глубочайшихъ тайнъ свѣтской жизни? Развѣ не восприняла она съ юныхъ лѣтъ своею художественною душой всю гармоничную красоту внѣшнихъ формъ этой жизни? Развѣ не была она иной разъ незримымъ, но вѣчно дѣйствующимъ капельмейстеромъ прекрасно разучивающаго свои партіи оркестра, носящаго названіе «большого свѣта»?..

Шла третья недѣля Великаго поста, а потому вечеръ Натальи Порфирьевны имѣлъ, конечно, соотвѣтствующій этому времени характеръ. Длинная анфилада парадныхъ комнатъ, отъ яркаго освѣщенія двухъ гостиныхъ, казалась потонувшей въ полумракѣ. Приглашенныхъ насчитывалось всего около сорока человѣкъ. Однако, это вовсе не было случайное собраніе добрыхъ знакомыхъ хозяйки. Наталья Порфирьевна не любила, да и не хотѣла даже признавать ничего случайнаго.

Съ тѣхъ поръ, какъ она вышла замужъ и стала проводить зимы въ этомъ домѣ, то-есть уже болѣе тридцати лѣтъ, каждый день ея жизни имѣлъ свою задачу, былъ стремленіемъ къ какой-либо опредѣленной цѣли. Сначала дни и вечера оказывались нужными для устройства ея собственныхъ дѣлъ. Когда всѣ эти дѣла были устроены, когда она почувствовала, что создала свое положеніе «на скалѣ», которую не расшатаютъ никакія волны, она вовсе и не подумала складывать руки. Въ ней жила, не слабѣя и не притупляясь съ годами, жажда дѣятельности, потребность строить планы и приводить ихъ въ исполненіе.

Эта женщина, объявленная образцомъ семейныхъ добродѣтелей, эта Пенелопа нашихъ дней, безупречно вѣрная своему вовсе не «хитроумному», но вѣчно пребывавшему въ разныхъ отлучкахъ Улиссу, знала въ жизни одно лишь наслажденіе, наслажденіе побѣды. Задумать—и исполнить. И чѣмъ труднѣе достиженіе цѣли, чѣмъ хитрѣе и тоньше пущенные въ ходъ дипломатическіе и стратегическіе пріемы, тѣмъ наслажденіе полнѣе.

Такой страсти Натальи Порфирьевны многія, иной разъ и дѣйствительно общеполезныя, предпріятія были обязаны своимъ процвѣтаніемъ, а сотни мужчинъ и женщинъ устройствомъ своихъ дѣлъ, карьеры, даже, если хотите, счастья. Она протежировала охотно и творила просто чудеса. Только надо было умѣть поймать ее въ такую минуту, когда запасъ ея «насущнаго хлѣба»

истощался и она, чувствуя первые приступы голода, спрашивала себя: «что бы такое устроить? чего бы добиться?»

Если же «хлѣба» у нея было достаточно,—она превращалась въ камень и оставалась равнодушною къ страданіямъ всего человѣческаго рода. На ея лицѣ сіяла святая улыбка; но значеніе этой улыбки становилось безнадежнымъ. Оставалось выжидать болѣе подходящаго времени, а если дѣло не допускало отлагательства, то ставить на немъ крестъ...

Нѣсколько заранѣе подготовленныхъ партій предстояло Натальѣ Порфирьевнѣ разыграть и въ этотъ вечеръ. Она уже выставила первые вѣрные ходы и обдумывала дальнѣйшіе. Въ такъ-называемой «маленькой» гостиной, за двумя карточными столами, партнеры были соединенн съ «доброй цѣлью». Въ «большой» гостиной образовались группы и велись достаточно оживленные, но до того малошумные разговоры, что они не покрывали собою позвякиванія ложечекъ о севрскій фарфоръ чайныхъ чашекъ.

«Кого же еще нѣтъ?»—подумала Наталья Порфирьевна, вспомнила кого именно, сдѣлала почти неуловимую недовольную мину—и вернулась на свое мѣсто, между двумя немолодыми уже дамами, погруженными въ тихую, малооживленную бесѣду и въ какое-то рукодѣлье.

Въ эту минуту маленькій, очень развязный молодой человѣкъ ловко и неслышно пробирался черезъ всю огромную комнату. Онъ останавливался на мгновеніе, обмѣнивался то съ тѣмъ, то съ другимъ двумя-тремя словами, и спѣшилъ дальше. На его замѣчательно красивомъ, хотя черезчуръ женственномъ лицѣ, въ его большихъ черныхъ глазахъ, въ невольномъ поднятіи шнурочкомъ выведенныхъ бровей, читалось изумленіе и въ то же время какъ бы нѣкоторая радость.

Теперь ужъ можно было видѣть, что онъ направляется къ человѣку, только-что покинутому сказавшею ему нѣсколько словъ молодою, но некрасивою дамой и остановившемуся въ сторонѣ.

— Миша! милый! est-ce bien toi?—ласково и весело заговорилъ маленькій красавецъ, сжимая протянувшуюся къ нему руку своей нѣжною рукой, до того красивой и выхоленной, что ей могла позавидовать любая кокетка.—Ты ли это? и коими судьбами здѣсь? и давно ли въ Петербургѣ? Вѣдь, я думалъ, что ты гдѣ-нибудь за тридевять земель, chez les antipodes... я ужъ панихиды по тебѣ заказывалъ... просвирки вынималъ pour le salut de ton âme... вѣдь, сколько... да, четыре года, какъ ты исчезъ! покажись-ка! все тотъ же! и ничевошеньки-то ты не постарѣлъ!

— Да, вѣдь, и въ тебѣ, Вово, никакой перемѣны!—услышалъ онъ давно знакомый, звучный, но сдерживаемый голосъ:—на тѣхъ

же крылышкахъ порхаешь, съ тѣмъ же лукомъ и колчаномъ за плечами...

— Это я-то? à d'autres, mon cher, voyez un peu ça!

Онъ наклонилъ голову, комичнымъ жестомъ указывая на свои сильно рѣдѣющія, коротко подстриженныя кудри и затѣмъ внезапно стихая.

— La belle et la bête!—торжественно возвѣстилъ онъ, поведя глазами ко входнымъ дверямъ и слегка подтолкнувъ локтемъ пріятеля.

Въ гостиную входилъ маленькій, толстый человѣчекъ неопредѣленныхъ лѣтъ, съ лицомъ не только некрасивымъ, но противнымъ и глупымъ до послѣдней степени. Этотъ господинъ велъ подъ руку молодую женщину, бывшую почти на голову выше его и поражавшую своею яркой, побѣдоносной красотой. При первомъ же взглядѣ на эту пару каждый долженъ былъ согласиться, что болѣе мѣткаго, остроумнаго ея опредѣленія, чѣмъ опредѣленіе Вово, нельзя было и придумать. Дѣйствительно— la belle et la bête!

Однако, тотъ, за упокой чьей души Вово вынималъ просвирки, не успѣлъ улыбнуться. Онъ вглядѣлся въ «la belle» и сразу поблѣднѣлъ и застылъ, какъ только умѣютъ блѣднѣть и застывать черезчуръ нервные люди.

II.

Двѣ молоденькія дѣвушки,—одна маленькая, бѣленькая, синеглазая, а другая черноволосая, съ горячими глазами и такая огромная, что видно было какъ она дѣлаетъ послѣднія, безплодныя усилія, чтобы казаться меньше,—проходили мимо пріятелей.

— Князь,—сказала маленькая:—рѣшите нашъ споръ...

Вово тотчасъ-же къ нимъ присоединился, и они прошли дальше.

Его пріятель остался на своемъ мѣстѣ, будто приросъ къ нему. Онъ видѣлъ, какъ «la belle» и «la bête» приближались къ хозяйкѣ, какъ она встала и сдѣлала два, три шага имъ навстрѣчу.

Вотъ она подводитъ ихъ къ сидящей рядомъ съ нею дамѣ, «La belle» дѣлаетъ граціозный реверансъ; «la bête» склоняется и почтительно прикладывается губами къ протянутой ему рукѣ. «La belle» остается съ дамами, присаживаясь въ указанное ей Натальей Порфирьевной кресло. Она что-то говоритъ, чуть-чуть опустивъ глаза и невинно улыбаясь, причемъ сверкаютъ ея ровные хорошенькіе зубы, а на правой щекѣ образуется прелестная ямочка. «La bête», осторожно пятясь, отходитъ и присоединяется къ группѣ мужчинъ, которымъ онъ пожимаетъ руки.

Все это видитъ пріятель князя Вово и не видитъ ничего

иного. А на него ужъ обращаютъ вниманіе. Онъ слишкомъ выдѣляется своимъ одиночествомъ, своею застывшей позой. Да и самая наружность его какъ-то не совсѣмъ у мѣста въ этой гостиной—въ немъ есть что-то неуловимое, но прямо говорящее, что онъ не принадлежитъ къ этому свѣту, что онъ здѣсь не *свой*, а только случайный посѣтитель.

Его небольшая плотная фигура изящна, но своеобразнымъ изяществомъ, съ которымъ споритъ не то усталость, не то привычная лѣнь и разсѣянность. Его мягкіе волосы небрежно зачесаны, и блѣдно золотистая прядь ихъ то и дѣло непослушно спадаетъ на широкій бѣлый лобъ. Ему ужъ, очевидно, за тридцать лѣтъ, а то, пожалуй, даже и больше; но вообще онъ очень моложавъ и только вокругъ свѣтлыхъ глазъ съ тяжелыми вѣками сгустилась темная тѣнь и собрались мелкія морщинки. Эти глаза и взглядъ ихъ изъ тѣхъ, которые часто раздражаютъ, отталкиваютъ мужчинъ и сводятъ съ ума женщинъ.

— Вово, съ кѣмъ ты это сейчасъ говорилъ?—спрашивалъ видный молодой человѣкъ хорошенькаго князя, когда тотъ покончилъ свою бесѣду съ маленькой и огромной барышнями.

— Что? гдѣ? и когда?—разсѣянно проговорилъ Вово.

— Да сейчасъ, вонъ тотъ... такой странный...

— Странный? чѣмъ же? C'est mon vieil ami, Аникѣевъ.

— Аникѣевъ? это что-жъ такое? и почему онъ здѣсь? откуда взялся?

Вово пристально взглянулъ своими бархатными глазами на собесѣдника.

— Его не было въ Петербургѣ года четыре, а теперь вотъ онъ вернулся. Здѣсь онъ потому, что Наталья Порфирьевна его очень любитъ, elle a été jadis très liée avec sa mère. Да неужели ты никогда о немъ не слыхалъ, графъ? Онъ такой умница, plein de talents, какой музыкантъ, какъ поётъ...

— Аникѣевъ! да, теперь вспоминаю... mais, cher, c'est un homme, qu'on ne connait pas!

Въ лицѣ Вово что-то дрогнуло, и на лбу появилась морщина.

— Qu'on ne connait pas? почему же это? Откуда тебѣ померещилось, когда, видишь, онъ здѣсь et quand je te dis qu'il est mon vieil ami? — очень серьезно произнесъ онъ.

— Enfin... нѣтъ, я вспомнилъ,—презрительнымъ тономъ подтвердилъ графъ: — была какая-то скверная исторія... quelque chose de très vilain...

— Что такое? Какая исторія?

— Была, была, и прескверная... тутъ женщина еще замѣшана... его жена или чужая... онъ кого-то обманулъ, ограбилъ... или его тамъ, что ли ограбили, словомъ, что-то невозможное,

скандалъ по всей формѣ... и его нигдѣ не принимали. А тутъ вдругъ... у Натальи Порфирьевны! Времена!

Молодой человѣкъ пожалъ плечами и, оставивъ своего собесѣдника, величественно подошелъ къ дамамъ. Вово остался съ разинутымъ ртомъ. Онъ хотѣлъ было остановить графа, отвѣтить ему, но вдругъ услышалъ вблизи свое имя въ устахъ маленькой бѣленькой барышни, весело разсказывавшей что-то молодому флигель-адъютанту.

— Княжна, по какому это поводу вы произносите мое имя всуе?—повернулся онъ на своихъ лакированныхъ башмачкахъ безъ каблуковъ, и забылъ и графа, и Аникѣева, и всю его «скверную» исторію.

— Если «по поводу»—значитъ, не всуе!—отвѣтила барышня, лукаво скользнувъ по его лицу смѣющимся, дѣтски-веселымъ взглядомъ...

Аникѣевъ все слѣдилъ за «la belle». Ни одно малѣйшее движеніе ея прелестнаго лица не ускользнуло отъ его пристальнаго взгляда. И онъ видѣлъ, какъ все въ ней, начиная отъ слабой улыбки, показывавшей кончики сверкавшихъ зубовъ и ямку на щекѣ,—обдуманно, взвѣшено, законченно и совершенно. Онъ не могъ слышать того, что она говорила; но былъ увѣренъ, что и слова ея такъ же взвѣшены, хладнокровно обдуманы, какъ выраженіе лица, мины и позы.

Около шести лѣтъ не видалъ онъ ея. Онъ зналъ, что раньше или позже, вѣроятно, ее встрѣтитъ, и не разъ представлялъ себѣ ту перемѣну, какую найдетъ въ ней. Вѣдь, ей уже двадцать восемь лѣтъ, насколько же померкла ея ослѣпительная красота за это время? Вѣдь, женская красота—такой нѣжный, быстроотцвѣтающій цвѣтокъ.

И вотъ онъ видитъ, что она не только не померкла, но стала еще болѣе торжествующей, всепобѣдной. Для нея время даже и не остановилось, а будто пошло назадъ и вернуло ей всѣ самыя свѣжія краски первой юности...

Но вмѣстѣ съ этимъ какая перемѣна! Совсѣмъ новое существо, свѣтская актриса, да и какая еще—первостепенная, безукоризненная... А онъ пророчилъ ей, что та жизнь, на какую пошла она, скоро ее измучаетъ, состаритъ, убьетъ!...

Грустная усмѣшка мелькнула и застыла на губахъ его.

И, погруженный въ свои мысли, воспоминанія, наблюденія сосредоточенныя на одномъ, всецѣло притянувшемъ его къ себѣ центрѣ, онъ не замѣтилъ какъ въ гостиной и вблизи отъ него произошло нѣкоторое движеніе. Онъ очнулся, только заслыша аккорды рояля. Старый князь Бирскій, съ видомъ человѣка, приступавшаго къ исполненію своихъ прямыхъ обязанностей, вы-

соко поднимая руки, ударялъ по клавишамъ. Позади его табуретки, на приличномъ другъ отъ друга разстояніи, стояли кавалеръ и дама. Дама была молода, не хороша и не дурна, съ очень смѣлыми и холодными глазами. Кавалеръ былъ безукоризненно приличный молодой человѣкъ, и выраженіе его лица говорило, что онъ намѣренъ, во что бы ни стало, идти впередъ, ни подъ какимъ видомъ не останавливаясь и пользуясь всѣмъ, что можетъ попасться ему на дорогѣ.

Кавалеръ и дама обмѣнялись быстрымъ взглядомъ сообщниковъ и запѣли подъ аккомпаниментъ князя Бирскаго.

Строго относиться къ ихъ пѣнію было нельзя, да и никто не думалъ объ этомъ. Они детонировали, но не особенно; ихъ маленькіе голоса были не безъ пріятности, и все дѣло заключалось, конечно, въ выбранномъ ими дуэтѣ. Этотъ дуэтъ изъ оперы, поставленной передъ масляницей, только-что начиналъ входить въ моду.

Послѣ дуэта, тотъ же скромный и безукоризненный молодой человѣкъ, аккомпанируемый тѣмъ же княземъ Бирскимъ, пропѣлъ старинный французскій романсъ, изо всѣхъ силъ постаравшись сдѣлать это со вкусомъ. Затѣмъ, быстро и неуловимо, произошло слѣдующее. Старый, но сохранившійся въ отличномъ порядкѣ и представительности господинъ, уныло дремавшій подъ пѣніе и глядѣвшій на всѣхъ до безнадежности безучастно, вдругъ, поддакивая оказавшейся рядомъ съ нимъ Натальѣ Порфирьевнѣ, похвалилъ и старинный романсъ и его исполненіе.

Онъ рѣшительно не зналъ, что такое, какъ и кѣмъ было пѣто, потому что сознательно ничего не слышалъ и потому что, несмотря на свою репутацію меломана, давно ужъ потерялъ охоту ко всякому пѣнію. Наталья Порфирьевна хвалила, и онъ, естественно, выразилъ свое полное одобреніе. Она отозвалась о пѣвцѣ, какъ о прекрасномъ молодомъ человѣкѣ, способномъ къ серьезной службѣ, исполненномъ самыхъ лучшихъ стремленій. Старый господинъ отозвался, что это весьма утѣшительно и похвально.

Тутъ молодой пѣвецъ, какъ бы магически привлеченный, очутился возлѣ нихъ и былъ представленъ старому господину. Въ доброй улыбкѣ Натальи Порфирьевны и въ ея ласково и побѣдно сіявшихъ глазахъ, обращенныхъ къ пѣвцу, сказалось: »я на сегодня свое сдѣлала, теперь вы ужъ постарайтесь—et bonne chance!»

Пѣвецъ отвѣтилъ ей благодарнымъ взглядомъ, почтительно присѣлъ на стулъ, отодвинувъ его чуть-чуть назадъ, чтобы не быть на одной линіи съ тѣмъ, кому онъ былъ представленъ, и началъ стараться, вдохновляемый надеждой на исполненіе своихъ завѣтныхъ мечтаній.

Въ это время гостиная оглашалась высокими, форсированными нотами тоже стариннаго, но уже не французскаго, а нѣмецкаго романса. Принявъ изящно скромную позу и видимо пытаясь по возможности меньше раскрывать ротъ, пѣвица невольно своими смѣлыми и холодными глазами смотрѣла все по одному и тому же направленію.

Она видѣла, какъ Наталья Порфирьевна подсѣла къ дамѣ, съ которой такъ долго и съ такимъ замѣтнымъ успѣхомъ бесѣдовала предъ тѣмъ «la belle».

Наталья Порфирьевна шепнула нѣсколько словъ дамѣ, та отвѣтила едва замѣтнымъ наклономъ головы, и вотъ ласково и ободрительно глядитъ на пѣвицу.

Пѣвица томно опустила глаза и вытянула такую опасную ноту, что сама было испугалась. Но все сошло благополучно, и романсъ закончился при общемъ шопотѣ одобренія. Пѣвица уловила два призывающіе ее взгляда и, вспыхнувъ отъ удовольствія, устремилась за полученіемъ своей aubaine, подготовленной ей «этой милой-милой, этой ангельски-доброй Натальей Порфирьевной»...

Прошло именно столько времени, сколько надо было, чтобъ испарилось впечатлѣніе и замолкли разговоры, вызванные модньмъ дуэтомъ и двумя старинными романсами. Когда всевидящій взглядъ и всеслышащія уши хозяйки убѣдились въ томъ, что настало самое подходящее мгновеніе, она незамѣтно оказалась возлѣ Аникѣева.

— Михаилъ Александровичъ,—дружескимъ тономъ и достаточно громко, чтобы многіе это слышали, сказала она:—доставьте намъ удовольствіе послушать вашъ голосъ и вашу музыку, вѣдь, это, во всѣхъ смыслахъ, такое рѣдкое удовольствіе!

Аникѣевъ, какъ ей показалось, очень странно взглянулъ на нее, проговорилъ: «слушаю-съ»—и лѣниво подошелъ съ нею къ роялю.

— Что вы намъ споете?—шепнула ему Наталья Порфирьевна.

— Я еще и самъ не знаю,—разсѣянно отвѣтилъ онъ.

Она посмотрѣла на него почти съ испугомъ. Онъ придвинулъ табуретъ, сѣлъ, опустилъ руки на колѣни, закрылъ глаза. Такъ прошло около долгой, долгой минуты. Можно было подумать, что онъ заснулъ.

Всѣ глядѣли на него съ едва замѣтнымъ насмѣшливымъ изумленіемъ, и кое-кто уже переглянулся между собою. Съ лица Натальи Порфирьевны сбѣжала безъ остатка ея святая полуулыбка, брови ея поднялись...

III.

Вдругъ нѣсколько сильныхъ, смѣлыхъ аккордовъ огласили гостиную. Аникѣевъ выпрямился, поднялъ голову, и его бѣлыя руки съ длинными гибкими пальцами привычно, какъ бы безъ участія его воли, забѣгали по клавишамъ. Онъ глядѣлъ затуманившимися, широко раскрытыми глазами прямо передъ собою и видѣлъ клубящійся голубоватый туманъ, наплывавшій со всѣхъ сторонъ и отдѣлявшій его отъ остального міра. Ощущеніе глубокаго одиночества быстро охватило его, и въ то же время по всѣмъ нервамъ пробѣжалъ знакомый трепетъ. Что-то кипѣло въ сердцѣ, въ мозгу, во всемъ существѣ его. Проносились, обгоняя другъ друга, неясныя воспоминанія, неуловимыя, какія-то таинственныя ощущенія появлялись и пропадали.

Весь этотъ странный, волшебный хаосъ воплощался въ безсознательно вызываемыхъ звукахъ, сливался съ ними...

Это была необычная гармонія, возбуждавшая самые крѣпкіе и спокойные нервы; въ ней было что-то захватывающее, опьяняющее—и всѣ слушатели ощутили на себѣ ея вліяніе. Даже бывшій меломанъ прервалъ свою полудремоту и спрашивалъ себя: хорошо это или плохо, и вообще что же это такое?

Между тѣмъ туманныя вереницы ощущеній и образовъ, проносившихся передъ Аникѣевымъ, мало-по-малу исчезли. Ему казалось теперь, что онъ лежитъ, какъ лежалъ когда-то, у открытаго окна, и что темная южная ночь глядитъ на него всѣми своими звѣздами, дышетъ на него всѣмъ своимъ горячимъ благоуханіемъ. А на сердцѣ смутно, въ мысляхъ темно—и томитъ мучительная безсонница. Это все ужъ было, не разъ было, и онъ даже когда-то передалъ это словами и переложилъ на музыку...

Онъ вспомнилъ слова, вспомнилъ музыку, незамѣтно, тихими, подбирающимися звуками перешелъ къ ней, глубоко вздохнулъ всей грудью—и запѣлъ:

Мучительно тянется время ночное,
Какъ жизнь одинокая, вяло, безъ цѣли...
И мрачныя думы толпой налетѣли...
И кровью заплакало сердце больное...

У него былъ сильный, хорошо обработанный теноръ, чистый и звонкій въ высокихъ нотахъ и совсѣмъ мягкій въ низкихъ. Съ этимъ послушнымъ гибкимъ голосомъ онъ могъ, какъ истинный, поддающійся вдохновенію художникъ, дѣлать что угодно. Главное же, придя въ такое настроеніе, въ какомъ теперь находился, онъ совсѣмъ не замѣчалъ своей творческой работы—

онъ игралъ и пѣлъ безсознательно, испытывая при этомъ сладкое и мучительное наслажденіе.

Наслажденіе это было капризно и являлось вовсе не часто, а когда его не было—Аникѣевъ не любилъ ни играть, ни пѣть, такъ какъ ему приходилось, въ такихъ случаяхъ, играть и пѣть не *свое*, но *чужое*, не вылившееся изъ собственной души его. Для слушателей онъ оставался превосходнымъ пѣвцомъ и піанистомъ; но ему самому это было скучно.

Поэтому, съ юности много поработавъ надъ своимъ даромъ и пройдя хорошую школу, онъ никогда не выступалъ не только на театральныхъ подмосткахъ, но даже и въ большихъ концертахъ. Наталья Порфирьевна, говоря, что его музыка и пѣніе во всѣхъ смыслахъ рѣдкое удовольствіе,—сказала только правду.

До сихъ поръ было издано всего нѣсколько его романсовъ и пьесъ, настолько своеобразныхъ и настолько терявшихъ въ обыкновенномъ, *не его*, исполненіи, что они среди «публики» не могли имѣть особеннаго успѣха. Лучшія же его фантазіи не только не были изданы, но оказывались даже и не записанными: онѣ были въ немъ, онъ никому не хотѣлъ ихъ отдавать, да и законченности въ нихъ не было, потому что, исполняя ихъ, онъ каждый разъ придавалъ имъ иной видъ, включалъ въ нихъ много новаго, для него самого неожиданнаго, внезапной импровизаціи.

Когда находилъ на него мучительно-сладкій трепетъ, и дѣйствительность исчезала передъ безплотными образами—онъ, самъ того не замѣчая, импровизировалъ. Въ его мозгу внезапно создавались мѣрныя рифмованныя фразы, одѣвались переливами его голоса и пополнялись звуками инструмента, послушно оживавшаго подъ его пальцами. Потомъ онъ часто хотѣлъ вспомнить и слова, и мелодію, но не могъ этого.

Импровизировалъ онъ и теперь на нѣсколько прежнихъ словъ и мотивовъ...

... Безсонница становится мучителнѣй. Все, что отравило жизнь, все, что обмануло — встаетъ теперь въ сердцѣ неотвязнымъ, злымъ призракомъ...

Немолчные стоны тоски, униженья,
Любви опозоренной горькія слезы.
Разбитая вѣра, погибшія грезы.
Мучительный ядъ и вражды и прзерѣнья...

Куда скрыться отъ этого призрака, въ чемъ найти забвенье?..

Проклятья! проклятья! безумныя муки!..
Но вдругъ... будто искра небеснаго свѣта,
Но вдругъ—будто капля тепла и привѣта.
Закралися въ душу забытые звуки...,

Это все тѣ же звуки далекой чистой любви, сулившей когда-то дѣтски наивному, просившему счастья сердцу неизвѣданное и безпредѣльное блаженство. Это голосъ, нѣжный и ласковый, не умѣющій лгать и притворяться... Это она—и онъ видитъ ее такою, какою была она въ ясные дни и долгіе блѣдные вечера той далекой весны, когда вокругъ нихъ осыпались бѣлые лепестки со старыхъ яблонь, грушъ и вишенъ... Осыпался цвѣтъ весенній!.. и опять призракъ!...

Но жизнь все же зоветъ, зовутъ добро, правда, всѣ завѣтные идеалы. Въ нихъ — спасенье! Кипитъ борьба, напрягаются силы, а послѣ долгихъ лѣтъ,—уставшія руки, уставшая голова, уставшее сердце и — вѣтряныя мельницы съ машущими, даже неполоманными крыльями...

Что жъ остается?

И вотъ, какъ бы изъ самой глубины чернаго, душистаго мрака этой южной ночи, доносится глухой призывный голосъ. Онъ зоветъ къ наслажденію, ибо внѣ грубаго, животнаго наслажденія—ничего нѣтъ въ этомъ мірѣ...

Что-то жгучее и жуткое пробѣжало по клавишамъ рояля—и застонало, а потомъ засмѣялось злымъ, мучительнымъ смѣхомъ. Голосъ Аникѣева замеръ послѣднимъ вздохомъ на самой высокой, незамѣтно ушедшей въ безпредѣльность ноткѣ, — потомъ быстро упалъ до своихъ крайнихъ низкихъ нотъ и, дѣйствительно, будто изъ глубины бездны, началъ жутко-циничный призывъ къ наслажденію...

«Боже мой! что жъ это онъ такое поетъ!—вся насторожившись и въ неподдѣльномъ ужасѣ соображала Наталья Порфирьевна.—Вѣдь, это ужасти! это безнравственно... и у меня!.. молодежь тутъ... Lise... маленькая княжна Ninette... другія... слушаютъ! во всѣ уши слушаютъ... и теперь Великій постъ, наконецъ! Да онъ просто съ ума сошелъ... Богъ мой, какъ я обманулась»...

Она ужъ давно не видала такой неблагодарности. Она такъ обласкала его, «все поняла—и простила», взялась его реабилитировать,—а онъ вотъ чѣмъ отплачиваетъ! «Но, вѣдь, это хоть и безнравственно, а дивно хорошо—то, что онъ поетъ, съ какою душой, съ какою страстью! Хоть бы слова то не такъ ясно выговаривалъ...»

Она повела однимъ глазомъ въ самыя опасныя мѣста—и увидѣла, что всѣ какъ бы парализованы, всѣ подъ обаяніемъ этихъ необычныхъ, чудныхъ звуковъ.

«Enfin! c'est un vrai artiste!»—рѣшила она, забыла свою тревогу—и слушала.

Исходящій изъ глубины бездны голосъ, сверкающими мрачнымъ огнемъ звуками, убѣждалъ:

Неизбѣжный законъ—сладострастье..
Для земного, мгновеннаго счастья
Онъ природою мудрою данъ;
Въ этомъ мірѣ безплодныхъ стремленій,
Сновъ прекрасныхъ и злыхъ пробужденій
Все иное—обманъ!
Пусть на днѣ этой чаши лишь тлѣнье—
Изъ нея ароматъ наслажденья,
Къ ней припавъ, не смущаясь ты пей.
Пусть полна она грязи и яда,
Но краса вся и неба и ада
Отразилась лишь въ ней!..

Послѣдній звукъ замеръ, слившись съ оглушительнымъ, торжествующимъ аккордомъ. Аникѣевъ поднялся будто выросшій, съ блѣднымъ, какъ слоновая кость, лицомъ и сверкавшими, лучистыми глазами. Нѣсколько мгновеній въ огромной гостиной стояло полное молчаніе. Никто еще не пришелъ въ себя, не шевельнулся.

— Вотъ такъ пѣніе! вотъ музыка!—первый произнесъ сановный меломанъ, совершенно вышедшій изъ своей полудремоты.—Давно ужъ я не испытывалъ такого художественнаго удовольствія!—прибавилъ онъ тише, обращаясь къ «la bête», оказавшемуся его сосѣдомъ.

Потомъ онъ невольно, прежнимъ привычнымъ движеніемъ, поднялъ руки и громко ими хлопнулъ. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ гостиной раздались и тутъ же прилично смолкли рукоплесканія.

Наталья Порфирьевна окинула всѣхъ взглядомъ, приподнялась и подошла къ Аникѣеву съ протянутой рукою.

— Спасибо вамъ, Михаилъ Александровичъ,—громко сказала она, пожимая ему руку:—вы, кажется, никогда еще такъ дивно не пѣли!

Она подвела его къ только что покинутой ею дамѣ, дотронулась до кресла, приглашая его сѣсть, и затѣмъ сдѣлала общій обходъ гостиной.

— Oui, c'est beau!—говорила она то тамъ, то здѣсь:—это необыкновенно хорошо... Онъ истинный артистъ, un grand artiste... И онъ имѣетъ право кой о чемъ забыть и слушаться только своего вдохновенія...

Эти слова, а главное, ихъ тонъ, объявляли всѣмъ, что ничего компрометантнаго не случилось, и что позволительно только восхищаться.

IV.

— Я подумала о томъ, какое бы удовольствіе доставлялъ такой вашъ талантъ Софьѣ Михайловнѣ,—сказала дама, опу-

ская свое рукодѣлье и останавливая на Аникѣевѣ ласковый взглядъ большихъ, спокойныхъ глазъ.

— Да, ваше — ство, моя мать очень заботилась о томъ, чтобъ я сдѣлалъ изъ моихъ музыкальныхъ способностей все, что можно... вѣдь, это *ея* наслѣдство,—отвѣтилъ Аникѣевъ.

Онъ уже очнулся отъ припадка вдохновенія и владѣлъ собою. Весь его внутренній міръ, еще за минуту кипѣвшій и наплывавшій на него со всѣхъ сторонъ, внезапно заснулъ, исчезъ, будто его никогда и не бывало. Только легкое и довольно пріятное утомленіе чувствовалось въ тѣлѣ.

Вспомнилось далекое время, когда мать давала первые уроки музыки, когда онъ такъ любилъ тихими вечерами слушать ея пѣніе. Матери давно нѣтъ, она забыта, а ужъ особенно въ этомъ «большомъ свѣтѣ», гдѣ такъ скоро все забывается. И вотъ ее вспомнили!

Его собесѣдница прочла и почувствовала въ его глазахъ благодарность.

— Софья Михайловна чудесно пѣла,—отозвалась она на эту благодарность. — Я какъ теперь помню... она часто бывала у насъ до своего замужества, когда мы были еще дѣтьми, да и потомъ, пріѣзжая въ Петербургъ... Мы съ сестрой ее очень, очень любили!.. И нельзя было не любить ее... Мы были такъ поражены ея слишкомъ ранней кончиной... Вѣдь, вы не одни? Elle nous parlait de ses enfants...

— У меня есть и братья и сестры, ваше—ство.

— Гдѣ же они?

— Всѣхъ насъ вырвали изъ родного гнѣзда и разметали по свѣту злые вихри.

— Злые вихри!—тихо повторила она:—васъ они, должно быть далеко теперь носили! нѣсколько лѣтъ не слыхали мы вашего пѣнія...

Аникѣевъ сказалъ сколько было надо о своихъ далекихъ путешествіяхъ, о своей деревенской жизни. Его слушали съ живымъ интересомъ, глядѣли на него съ очевидной добротой и симпатіей. Наталья Порфирьевна долго не прерывала этой бесѣды и была ею довольна.

Наконецъ, она рѣшила, что ея «артистъ», по крайней мѣрѣ, на сей вечеръ, достаточно реабилитированъ, а потому подошла именно въ то мгновеніе, когда порвалась нить разговора. Аникѣевъ почтительно уступилъ ей свое кресло и, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, оказался рядомъ съ княземъ Вово, который шепнулъ ему, крѣпко сжавъ его руку:

— Ну, Мишенька, удружилъ! je suis dans les nues! Ужъ какъ ты тамъ себѣ хочешь, а заберусь я къ тебѣ завтра же на весь

вечеръ — и пой! Знаешь, что мнѣ сейчасъ одна дама сказала? Отъ такого пѣнія, говоритъ, и святая можетъ стать великой грѣшницей... Угадай, кто?

— Это все равно,—улыбаясь отвѣтилъ Аникѣевъ: — вотъ если-бъ она сказала, что великая грѣшница можетъ стать святою—тогда стоило бы еще потрудиться...

— Князь, представь меня, пожалуйста!—любезно произнесъ, подходя, молодой человѣкъ, въ началѣ вечера увѣрявшій Вово, что Аникѣевъ—un homme qu'on ne connait pas.

Хорошенькій князь повелъ на него своими великолѣпными черными глазами, закусилъ губу и оффиціальнымъ тономъ произнесъ:

— Графъ Ильинскій, о добродѣтеляхъ котораго ты, конечно, много наслышанъ.

Важный молодой человѣкъ чуть-чуть сморщилъ брови, но тутъ же сталъ еще важнѣе.

— Къ несчастію, я о добродѣтеляхъ вспоминаю только Великимъ постомъ, да и то къ вечеру, весь день провозившись съ благотворительницами,—сказалъ онъ, пожимая руку Аникѣева.— Я, увы, всѣмъ въ мірѣ добродѣтелямъ предпочитаю вотъ хоть бы такое удовольствіе, какимъ вы насъ сегодня подарили monsieur Аникѣевъ. И особенно великолѣпенъ этотъ призывъ къ наслажденью... все иное — обманъ! oui, c'est ça! но и смѣлы же вы... пропѣть такую вещь въ *этой* гостиной и, вдобавокъ, постомъ! Если-бы вы видѣли, какъ вытянулись нѣкоторыя лица... on a voulu crier au scandale, да Наталья Порфирьевна стала всѣмъ объяснять, что для артистовъ (онъ подчеркнулъ это слово)—законъ не писанъ. Да жестоко вы съ ней поступили...

Все это графъ Ильинскій проговорилъ съ видомъ полнѣйшаго добродушія и даже наивности.

«Экая дрянь!» подумалъ про него князь Вово.

Аникѣевъ ничего о немъ не подумалъ; но только теперь сталъ вспоминать и соображать, что, вѣдь, дѣйствительно, онъ, пѣлъ нѣчто совсѣмъ не подходящее къ мѣсту и времени и что, конечно, поставилъ въ неловкое положеніе любезную и добрую хозяйку. Вѣдь, онъ зналъ, отправляясь сюда, что долженъ будетъ пѣть и даже рѣшилъ спѣть два романса, выборъ которыхъ Наталья Порфирьевна непремѣнно бы одобрила.

Отказать ей онъ не могъ и готовился къ исполненію непріятной для него обязанности. И все шло очень хорошо. Онъ споетъ два романса и потомъ постарается какъ-нибудь незамѣтно, или подъ благовиднымъ предлогомъ, уѣхать пораньше.

Но почемъ же онъ зналъ, что увидитъ здѣсь Алину—и уви-

дить «такою»! Прежняго въ немъ нѣтъ, но оно вспомнилось... Онъ ужъ не могъ пѣть приготовленныхъ романсовъ, онъ долженъ былъ пѣть то, что вдругъ наполнило всю его душу и не вылей онъ всего этого въ звуки—онъ бы задохся...

Вотъ и подвелъ Наталью Порфирьевну, да и самъ сдѣлалъ большую неловкость... Хорошо еще если сочтутъ за дерзость, за нахальство, за вызовъ, а то, вѣдь, просто: intrus mal élevé— и больше ничего...

Ему стало неловко и противно. Графъ Ильинскій достигъ своей цѣли.

«Поскорѣе бы отсюда! И зачѣмъ только попалъ я сюда!» устало думалъ онъ, почти безсознательно отвѣчая на вопросы своего новаго знакомца.

Но Вово вдругъ повлекъ его куда-то.

— Съ тобой непремѣнно желаетъ познакомиться княжна Хрепелева, Ninette... Она премиленькая и преумненькая... совсѣмъ ребенокъ... Говорятъ, этотъ Ильинскій имѣетъ у нея успѣхъ и жениться собирается... Жаль будетъ, она стоитъ чего-нибудь получше...—быстрымъ шопотомъ объяснилъ онъ, подводя Аникѣева къ маленькой, бѣленькой дѣвушкѣ, бывшей на этотъ разъ безъ своей громадной подруги и сидѣвшей въ уютномъ уголкѣ.

— Вотъ вамъ и онъ, получайте съ рукъ на руки!—весело и дружески глядя на нее, проговорилъ Вово и упорхнулъ.

Она по истинѣ была очень мила, эта живая саксонская куколка, со своимъ почти еще дѣтскимъ личикомъ и большими синими глазами, горѣвшими радостью жизни, изумленіемъ и любопытствомъ. Ей недавно исполнилось восемнадцать лѣтъ и ея только-что стали вывозить эту зиму. Она очень смущалась и хотѣла казаться совсѣмъ развязной.

Ея крохотная рука черезчуръ крѣпко сжала руку Аникѣева.

— Я непремѣнно хотѣла вамъ сказать, что никогда не могла себѣ представить ничего такого. Вы какой-то волшебникъ, ваша игра, ваше пѣніе, именно: чудо. Не отвѣчайте... это, вѣдь, не комплиментъ и не похвала, хвалить васъ и дѣлать вамъ комплименты я не имѣю никакого права, и понимаю это. Только я думаю, вы должны знать какое впечатлѣніе производите, отъ васъ не надо, не должно скрывать этого. И потому я вамъ говорю, что я совсѣмъ какъ-то подавлена и ничего не понимаю. Я знаю только вотъ что: до тѣхъ поръ, какъ вы подошли къ роялю, я была какъ всегда, а съ той минуты, какъ вы отошли отъ него, я стала другая. Не знаю долго ли останется это такъ; но вы меня и восхитили и ужаснули, мнѣ хочется и смѣяться и плакать, и чего-то ужасно-ужасно жалко! вотъ!..

— Вы меня смущаете, княжна,—сказалъ Аникѣевъ, любуясь

ея оживленнымъ лицомъ и сверкавшими, даже какъ-то жутко сверкавшими глазами:—я вовсе не хотѣлъ производить такого сильнаго впечатлѣнія, такъ потрясать чьи-либо нервы. Я пѣлъ совсѣмъ не то и не такъ, какъ бы слѣдовало, и теперь, послѣ вашихъ словъ, особенно жалѣю объ этомъ.

Нѣтъ, нѣтъ, не жалѣйте!—быстро и горячо воскликнула княжна:—вѣдь, такого, можетъ-быть, никогда въ жизни больше и не услышишь...

Она остановилась. Она увидѣла свою мать, величественно подходившую къ нимъ съ такимъ лицомъ, которое не предвѣщало ей ничего добраго.

— Maman... monsieur Аникѣевъ...—прошептала бѣдная Ninette, опуская свои внезапно померкшіе глаза.

Княгиня Хрепелева, дама еще красивая и такая же бѣлокурая, какъ дочь, только почти на голову выше ее ростомъ, окинула «артиста» холоднымъ, какъ ледъ, взглядомъ и, на его поклонъ, отвѣтила вѣжливымъ наклоненіемъ головы. Лицо ея было серьезно и строго, и очень ясно внушало ему, что между ними нѣтъ и не можетъ быть ничего общаго.

Онъ не успѣлъ очнуться, какъ обѣ онѣ ужъ исчезли.

— Cousin, вы меня совсѣмъ не узнаете!—разслышалъ онъ за собою рѣзкій, скрипящій голосъ.

Онъ обернулся, и увидѣлъ «la bête».

Трудно было и представить себѣ что-нибудь противнѣе этого человѣка. Его лысѣющая голова съ низкимъ и покатымъ лбомъ и съ такими шишками черепа, по которымъ френологъ узналъ бы развитіе самыхъ неблагородныхъ свойствъ, его желтоватые масляные глаза, черезчуръ тонкій носъ, оканчивающійся спускавшимся къ верхней губѣ утолщеніемъ, выдвинутая впередъ челюсть, покрытая рѣденькой и жесткой растительностью, короткое круглое туловище на тоненькихъ ножкахъ, и этотъ скрипящій, рѣзкій голосъ—все было подъ стать одно другому.

— Узнаю, князь, — отвѣтилъ Аникѣевъ: — васъ не узнать трудно, вы все тотъ же.

— Зачѣмъ же измѣняться,—кривя толстыя губы въ улыбку и показывая два ряда слишкомъ ослѣпительныхъ вставныхъ зубовъ, скрипѣлъ князь.—Ну, какъ же я радъ, что вы въ Петербургѣ... Вѣдь, Алина здѣсь, а вы ее и не видѣли... впрочемъ вы никого не видите... вы въ эмпиреяхъ... ну, а мы всѣ только на васъ и глядѣли... Ахъ, какъ вы поете, mon-cher, чортъ возьми, какъ вы поете! Пойдемъ же къ Алинѣ. Она вамъ намылитъ голову за то, что вотъ уже сколько дней въ Петербургѣ, а къ намъ ни ногою! къ роднымъ-то!

Аникѣевъ могъ только съ удивленіемъ глядѣть на него, и

слушать, едва вѣря своимъ ушамъ: «cousin», «къ роднымъ» откуда подулъ этотъ вѣтеръ?

— Идемъ же!—опять проскрипѣлъ «la bête», беря его подъ руку.

V.

«La belle» встрѣчала его своей самой прелестной и въ то же время нѣсколько загадочной улыбкой, смыслъ которой онъ, такъ хорошо когда-то изучившій это лицо, не могъ теперь разобрать. Ея рука крѣпко сжала, но тотчасъ же, даже слишкомъ поспѣшно, отпустила его руку.

— Пожалуйста, будь строже съ твоимъ кузеномъ, Алина; онъ, право, заслуживаетъ отъ тебя примѣрнаго взысканія,—странно осклабляясь, не то любезнымъ, не то насмѣшливымъ тономъ проговорилъ «la bête», и покинулъ ихъ.

Однако, «la belle» очевидно не желала быть строгой. Она глядѣла на Аникѣева грустными и нѣжными глазами, то-есть, именно тѣмъ самымъ взглядомъ, которымъ въ прежніе годы ей такъ легко было послать его на какое угодно преступленіе.

— Неужели вы, дѣйствительно, такъ бы и не подошли ко мнѣ, Michel, если-бъ я сама не отправила его за вами?—тихо спросила она.

— Конечно!—еще тише отвѣтилъ Аникѣевъ.

— Чѣмъ же я заслужила это? я отпускала васъ какъ друга... шесть лѣтъ прошло... что же такое случилось за это время? относительно васъ я все та же...

— Вы знали, Алина, что за эти года я два раза былъ въ Петербургѣ...

— Знала, и очень бы хотѣла васъ видѣть... но тогда это было невозможно.

— Ничто не измѣнилось и теперь, развѣ вотъ, что мы встрѣтились *здѣсь*, что я пѣлъ безнравственную пѣснь и что, несмотря на это, со мною все же милостиво бесѣдовали...

— А хоть бы и такъ!.. одного желанія слишкомъ мало, надо имѣть хоть самую крохотную возможность... и вотъ я ухватываюсь за первую такую возможность. Вы ничего не понимаете, Michel, не хотите понимать, вы неисправимый идеалистъ. Ну, и что-жъ? вамъ тепло что ли на свѣтѣ отъ вашего идеализма, котораго, вдобавокъ, никто въ васъ и не признаетъ кромѣ меня? довольны вы жизнью? вы не говорите ужъ, какъ прежде, что жизнь—страданіе?

— Все осталось постарому, только, вѣдь, я, если помните, никогда и не ожидалъ никакой перемѣны,—сказалъ Аникѣевъ спокойнымъ равнодушнымъ тономъ.

— Да, но, однако, вы чего-то все ищете, вы бѣгаете за призраками счастья,—говорила она и опять глядѣла на него грустными и нѣжными глазами:—вѣдь, я многое о васъ знаю, я всѣ эти годы старалась какъ можно больше узнавать о васъ...

Онъ хотѣлъ сказать ей, что самое вѣрное средство узнать о немъ было—написать ему, что со дня ихъ разлуки онъ два долгихъ года ждалъ отъ нея письма, клятвенно обѣщаннаго ею. Но онъ не сказалъ ничего этого. И онъ тоже, пока не находилъ на него «припадокъ звуковъ», умѣлъ владѣть собою и не выдавать своихъ чувствъ и мыслей. Только этому онъ и научился какъ слѣдуетъ отъ жизни.

— Вы надолго?—спрашивала Алина.

— Развѣ я когда-нибудь могу отвѣтить на такой вопросъ? Я усталъ путешествовать, усталъ скучать въ деревнѣ, пріѣхалъ сюда, взялъ квартиру на годъ, а что будетъ дальше, не знаю.

— Что-жъ, миръ и старая дружба? Пріѣдете? Когда? Будемъ говорить обо всемъ... пріѣзжайте завтра обѣдать, а теперь—отойдите.

Все это было сказано такъ, какъ только можетъ сказать женщина, навѣрное знающая, что ей ни въ чемъ не будетъ отказа.

И отказа не послѣдовало. Онъ отвѣтилъ: «хорошо» — и послушно отошелъ.

Его взглядъ встрѣтился со взглядомъ графа Ильинскаго; но ему некогда было удивляться тому выраженію, съ какимъ глядѣлъ на него этотъ молодой человѣкъ. Притомъ же все это было очень мгновенно: мелькнула и коснулась чуткихъ нервовъ «артиста» направленная на него изъ чужихъ глазъ злоба— и только.

Такое ощущеніе было ему давно и хорошо знакомо; онъ испытывалъ его почти всегда въ людныхъ собраніяхъ, гдѣ приходилось сталкиваться со знакомыми и полузнакомыми. Поэтому онъ и не любилъ большихъ собраній, поэтому многіе и считали его за мрачнаго нелюдима, за человѣка съ тяжелымъ, непріятнымъ характеромъ, и когда кто-нибудь изъ близкихъ его пріятелей увѣрялъ, что онъ въ сущности крайне добръ, способенъ на дѣтскую экспансивность и веселость — этому не хотѣли вѣрить.

Вообще, сталкиваясь съ новыми людьми, онъ почти всегда возбуждалъ къ себѣ внезапную симпатію или антипатію, — середины не бывало. Антипатія оказывалась несравненно чаще, и онъ всякій разъ это безошибочно и болѣзненно чувствовалъ. Но и помимо того, его чуткость, особенно въ тѣ дни, когда онъ былъ «музыкально» настроенъ, до и послѣ «припадка звуковъ», оказывалась совсѣмъ необыкновенной.

Находясь въ театральной или концертной залѣ, въ многолюдномъ обществѣ, онъ очень быстро выходилъ изъ своего обычнаго спокойнаго состоянія, ощущалъ на себѣ вліяніе окружавшей его толпы, превращался въ какую-то губку, невольно вбиравшую въ себя чужія ощущенія.

Такое свойство, особенно съ тѣхъ поръ, какъ онъ его созналъ и даже нерѣдко анализировалъ,—очень быстро его опьяняло, утомляло, доводило до мучительнаго раздраженія. Онъ возвращался домой разбитымъ, съ тяжелой головою, какъ послѣ долгой попойки, и только мало-по-малу приходилъ въ себя, освобождался отъ незримыхъ бактерій, попавшихъ въ него изъ чужихъ организмовъ.

Конечно, онъ никому не разсказывалъ о такихъ своихъ странностяхъ,—вѣдь, и такъ уже многіе, даже иногда самые близкіе ему люди, почему-то склонны были считать его «фокусникомъ» и не довѣрять его искренности, тогда какъ именно искренность, доходившая до наивности, была отъ юныхъ дней его отличительнымъ качествомъ или недостаткомъ...

Не будь Аникѣевъ такъ поглощенъ теперь подробностями своей встрѣчи съ Алиной, онъ больше бы обратилъ вниманія на графа Ильинскаго, такъ какъ давно ему не случалось внезапно, и безо всякаго со своей стороны желанія, создать себѣ такого врага. Этотъ важный, изящный молодой человѣкъ съ перваго взгляда почувствовалъ къ разсѣянному «артисту» самую рѣшительную злобу.

Графъ Ильинскій, несмотря на свою молодость,—ему было всего лѣтъ двадцать семь или восемь,—уже начиналъ имѣть въ обществѣ и въ служебномъ мірѣ значеніе, возроставшее съ каждымъ годомъ. О немъ говорили, какъ о человѣкѣ, предназначенномъ для крупной карьеры. Ни способностей, ни знаній, ни трудолюбія у него не было; но за нимъ числились самыя важныя качества: полезное родство и связи, умѣнье красиво говорить пріятнымъ голосомъ, умѣнье устраивать и поддерживать отношенія съ нужными ему людьми, отсутствіе какихъ-либо «нравственныхъ предразсудковъ», всепобѣждающая наглость и, наконецъ, мстительная зависть ко всему, что, такъ или иначе, выдѣлялось изъ сѣрой посредственности.

Съ такими качествами ему, конечно, была открыта гладкая, удобная дорога, которая обѣщала привести его очень далеко и высоко.

По своимъ свойствамъ графъ Ильинскій, естественно, оказывался прирожденнымъ врагомъ всего выходящаго изъ узкихъ и строго очерченныхъ рамокъ того круга, гдѣ онъ вращался,—если-бы въ его власти было, онъ бы оградилъ этотъ кругъ та-

кой китайской стѣною, черезъ которую не имѣлъ бы доступа даже самый воздухъ.

И вотъ этотъ строжайшій «цензоръ нравовъ», среди своего законнаго общества, да вдобавокъ еще въ гостиной Натальи Порфирьевны, увидѣлъ Аникѣева. Онъ сразу призналъ въ немъ человѣка съ чужой планеты и притомъ почему-то и чѣмъ-то выдающагося. Этого было за глаза достаточно, чтобы заставить его возмутиться. А тутъ еще какая-то, возбудившая въ свое время толки, исторія!

Графъ Ильинскій относился свысока ко всякому искусству и всѣ ихъ считалъ, по меньшей мѣрѣ, безполезными; но все же, послѣ импровизаціи Аникѣева, онъ не могъ не почувствовать огня и силы его оригинальнаго таланта. Тогда въ немъ поднялась обычная зависть, дошедшая до ненависти, когда онъ увидѣлъ вниманіе, оказываемое «артисту».

Но дальше случилось уже совсѣмъ неожиданное. На сцену явилась княжна Ninette. Онъ незамѣтно подслушалъ ея горячія слова, обращенныя къ Аникѣеву, видѣлъ ея возбужденіе и восторгъ, видѣлъ какими глазами она глядѣла на «волшебника».

Княгиня Хрепелева была не далеко. Онъ поспѣшилъ къ ней и шепнулъ что надо, указавъ на возмутительный tête-à-tête княжны съ этимъ безнравственнымъ пѣвцомъ и напомнивъ о томъ, кто такое этотъ Аникѣевъ «avec sa vilaine histoire».

При этомъ онъ велъ тутъ сложную игру, и обстоятельства складывались для него неожиданно благопріятно. Аникѣевъ оказался его невольнымъ сообщникомъ.

Еще съ прошлой весны графъ Ильинскій ухаживалъ за Ninette, а въ послѣднее время, какъ всѣмъ было отлично извѣстно, состоялъ ея женихомъ, хоть еще и не объявленнымъ. Въ интимномъ кружкѣ Хрепелевыхъ знали, что свадьба будетъ лѣтомъ, что приданое невѣсты уже заказано въ Парижѣ. О томъ, что это, какъ съ той, такъ и съ другой стороны, партія очень подходящая и что молодые люди неравнодушны другъ къ другу, было рѣшено и подписано.

Но вотъ уже больше мѣсяца, какъ въ мысляхъ Ильинскаго произошла рѣшительная перемѣна. Онъ увидѣлъ, что, выбравъ Ninette, чуть было не сдѣлалъ непоправимой ошибки. Любви или чего-либо подобнаго у него не было къ этой прелестной дѣвушкѣ. Сначала, рѣшивъ, что ему слѣдуетъ именно теперь жениться, что пришло время, когда этого требуютъ планы дальнѣйшаго преуспѣянія на житейскомъ поприщѣ, онъ считалъ Ninette самой подходящей невѣстой. Онъ взвѣсилъ ея красоту и юность, цифру ея приданаго, новыя связи, приносимыя ему этимъ бракомъ,—и всего этого оказалось достаточно.

Сближеніе ихъ, уже въ качествѣ жениха и невѣсты, привело его, однако, къ тревожнымъ вопросамъ. Онъ видѣлъ, что Ninette увлекается имъ больше и больше; но въ то же время, пристально ее разглядывая, подмѣчалъ въ ней нѣкоторыя свойства характера, идущія въ разрѣзъ съ его планами. Несмотря на свою крайнюю юность, маленькая княжна была, какъ говорится, «съ душкомъ», проявляла самостоятельность и упорство.

Главное же—направленіе ея самостоятельности и упорства было отвратительно жениху. Она именно отрицала то, что онъ признавалъ, и обратно. Она всѣмъ своимъ юнымъ существомъ возмущалась не только китайскими стѣнами, но и менѣе прочными перегородками, отдѣляющими ея ограниченный міръ отъ остального безпредѣльнаго Божьяго міра. Она чувствовала себя въ клѣткѣ и рвалась на просторъ, къ солнцу, хоть и не знала, гдѣ это солнце и какіе пути ведутъ къ нему.

Когда маленькая княжна признала въ себѣ что-то особенное, новое, повлекшее ее къ этому красивому и важному молодому человѣку, о которомъ всѣ отзывались съ такимъ одобреніемъ, когда онъ сдѣлалъ ей предложеніе и родители ея дали свое согласіе, она рѣшила, что очень счастлива. Она вдругъ стала взрослой и получила право громко говорить обо всемъ, о чемъ до сихъ поръ молчала и только про себя думала.

У нея явился слушатель. Кому же ей и говорить все-все, какъ не ему! Онъ долженъ все знать, всѣ ея мысли. А такъ какъ этихъ мыслей, безпорядочныхъ и горячихъ, накопилось много въ быстро работавшей головкѣ, она и говорила, говорила безъ умолку въ тѣ рѣдкіе часы, когда свѣтская жизнь, разгаръ сезона, позволяли имъ оставаться вмѣстѣ подъ надзоромъ княгини или старой англичанки.

Женихъ внимательно слушалъ и съ каждымъ разомъ все больше и больше возмущался направленію мыслей своей невѣсты и несомнѣннымъ признакамъ ея упорства, подмѣченнаго имъ въ разныхъ случаяхъ.

Онъ никакъ не ожидалъ ничего подобнаго. Вѣдь, Хрепелевы совсѣмъ безукоризненно порядочные люди; Ninette, ея двѣ младшія сестры и братъ, хорошенькій пажикъ, воспитываются по самой лучшей программѣ. Откуда же взялось все это? Значитъ, оно сидитъ въ самой природѣ Ninette, значитъ, она, такая изящная и безупречная по внѣшности, въ сущности, нравственный уродъ. Положимъ, она очень молода еще, почти ребенокъ, ее можно вылѣчить... но, вѣдь, это цѣлая возня, и ему вовсе некогда заниматься перевоспитаніемъ жены...

Неизвѣстно къ какимъ рѣшеніямъ пришелъ бы графъ Ильинскій, если бы въ свѣтѣ не появилась невѣста, несравненно болѣе

выгодная во всѣхъ отношеніяхъ, чѣмъ Ninette, и уже безо всякихъ нравственныхъ недостатковъ, о чемъ она сама и заявляла съ первыхъ же словъ. Такая невѣста появилась—и графъ рѣшилъ, что необходимо спастись отъ Ninette, пока это еще не поздно.

Положеніе его было трудно и щекотливо. Требовалось дѣйствовать крайне осторожно, такъ, чтобъ остаться на высотѣ своей репутаціи и даже, по возможности, еще больше ее возвысить въ глазахъ «порядочныхъ» людей.

До сихъ поръ это не удавалось, да и времени было слишкомъ мало.

Сейчасъ же вотъ, вслушиваясь въ «неприличныя и глупыя» слова Ninette, вглядывась въ выраженіе ея глазъ, устремленныхъ на Аникѣева, графъ почувствовалъ, что рѣшительный мигъ насталъ и что надо ковать желѣзо, пока оно горячо.

Его внезапная ненависть и зависть «къ артисту» осложнились новымъ еще ощущеніемъ. Это ощущеніе было: ревность къ дѣвушкѣ, которую онъ не любилъ, отъ которой хотѣлъ отказаться. Она, по его мнѣнію, дѣлала именно то, что давала ему въ руки необходимое противъ нея оружіе, а онъ негодовалъ на нее, злился и ревновалъ. Впрочемъ, это была, конечно, не настоящая ревность, а исключительно одно самолюбіе, которое и всегда-то составляетъ чуть ли не девять десятыхъ самой даже законной ревности.

VI.

Между тѣмъ настало время собравшимся въ этой гостиной испытать новое эстетическое наслажденіе. Молодой дипломатъ, съ лицомъ, похожимъ на блѣдную загадочную маску и съ очень солидной лысиной, славившійся не столько дипломатическими способностями, сколько мастерскимъ чтеніемъ французскихъ proverbes и эффектныхъ монологовъ, — обратилъ на себя общее вниманіе.

Съ книжкой въ рукѣ, кидая направо и налѣво объяснительныя фразы, онъ подошелъ къ столу, выдвинутому по сосѣдству съ роялемъ, непринужденно подсѣлъ къ нему, удобнѣе перемѣстилъ подсвѣчникъ съ четырьмя свѣчами, прикрытыми длиннымъ абажуромъ—и выжидалъ пока всѣ займутъ свои мѣста.

Въ гостиной водворилось молчаніе. Тогда онъ началъ чтеніе небольшой пьесы, пересыпанной блестками французскаго остроумія и съ совершенно неуловимымъ содержаніемъ. Молодой лысый дипломатъ оказывался на высотѣ своей репутаціи—онъ читалъ отлично, гармонія его «дипломатическаго» французскаго языка была удивительна.

Дамы болѣе или менѣе прилежно занимались своимъ рукодѣльемъ и, послѣ каждой особенно яркой блестки остроумія, обмѣнивались легкими одобрительными улыбками. Сановный меломанъ надѣлъ темное pince-nez, чтобы удобнѣе закрывать глаза. Нижняя его челюсть отвисла, онъ скоро самъ себя поймалъ на легкомъ всхрапѣ, тряхнулъ головою, скинулъ pince-nez и уныло повелъ вокругъ себя почти безжизненными глазами. Глядя на его томительную борьбу съ усталостью и сномъ, на его очевидныя мученія, никакъ нельзя было понять—зачѣмъ же онъ здѣсь, когда ему совсѣмъ необходимо быть въ постели.

«La belle» сидѣла на видномъ мѣстѣ, облитая мягкимъ свѣтомъ, въ застывшей позѣ, и каждый завитокъ ея волосъ, каждая складка ея тяжелаго платья говорили: «любуйтесь мною». Было не мало глазъ, слушавшихся этого приказа и невольно любовавшихся ею. Аникѣевъ старался не глядѣть на нее; но не всегда могъ справиться съ собою—слишкомъ ужъ много возбуждала она въ немъ жгучихъ и печальныхъ воспоминаній.

Графъ Ильинскій помѣстился недалеко отъ Ninette и наблюдалъ за нею. Онъ хорошо видѣлъ, что она вовсе не слушаетъ чтенія; что ея возбужденіе вовсе не прошло, а только еще усилилось. Онъ никогда не видалъ ее такой: глаза неестественно горятъ, румянецъ то ярко вспыхиваетъ, то совсѣмъ потухаетъ, смѣняясь блѣдностью, грудь высоко, нервно дышетъ. Онъ стискиваетъ зубы и мысленно повторяетъ: «вотъ какъ! тѣмъ лучше!»

Князь Вово вынулъ крошечную записную книжку, съ веселостью школьника въ нѣсколько штриховъ карандаша рисуетъ удачныя и смѣшныя изображенія то того, то другого изъ присутствующихъ, вырываетъ листки изъ книжки и передаетъ ихъ сосѣдямъ. Листки таинственно ходятъ по рукамъ, вызывая улыбки и производя легкій безпорядокъ.

Всевидящая Наталья Порфирьевна замѣчаетъ это, понимаетъ въ чемъ дѣло и едва замѣтно грозитъ ему пальцемъ, только поощряя его этимъ къ дальнѣйшему вдохновенію. Лысый читающій дипломатъ съ тонкой улыбкой на растянутыхъ губахъ, а также ведущій отчаянную борьбу со сномъ меломанъ — вышли особенно удачно.

Вово принялся за почтенную старушку, бывшую лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ украшеніемъ петербургскихъ салоновъ, а теперь составлявшую ихъ неизбѣжную принадлежность, когда чтеніе закончилось и гостиная, вся какъ бы всколыхнувшись, оживилась.

Дипломатъ, на своемъ изысканномъ языкѣ, довольно громко излагалъ дамамъ свои взгляды на новѣйшую французскую лите-

ратуру. Онъ разъяснялъ стремленія различныхъ новаторовъ. Далеко было слышно:

— On a imaginé un nombre incalculable d'essentielles bagatelles qui obscurcissent le fond unique et réel de toutes choses... Le rêve du Vrai!.. Le Beau!.. Mais d'abord, que sait s'il existe? Est-il dans les objets ou dans notre esprit? L'idée du Beau, ce n'est peut-être qu'un sentiment immédiat, irraisonné, personnel, qui sait?

Наконецъ, онъ сообразилъ, что лекція не входитъ въ программу сегодняшняго вечера, да къ тому же немного сбился и начиналъ забывать что же дальше...

— Enfin, est-ce la décadence, la vraie, ou l'aurore du jour nouveau? — заключилъ онъ свои фразы вопросомъ и затѣмъ, уже по-русски, прибавилъ:—пока, мнѣ кажется, слѣдуетъ воздержаться отъ опредѣленнаго отвѣта, надо имъ дать время совершенно высказаться... но все-таки тутъ есть что-то... что-то смущающее!

Дамы не стали возражать противъ этого.

Французское чтеніе значительно сократило время. Слишкомъ затягивать великопостный вечеръ было нельзя, и черезъ нѣсколько минутъ общество, уже бодрѣе и оживленнѣе переговариваясь, открыло шествіе къ ужину. Аникѣевъ встрѣтился со взглядомъ Алины—и очень ясно прочелъ въ этомъ взглядѣ, что она хотѣла бы имѣть его за ужиномъ своимъ кавалеромъ, но что если онъ вздумаетъ подойти къ ней, онъ сдѣлаетъ глупость и будетъ наказанъ за это. Его отвѣтный взглядъ долженъ былъ ее успокоить. Онъ не претендовалъ на такую честь и даже рѣшилъ, что какъ можно дальше отъ нея сядетъ.

Передъ нимъ мелькнула прелестная фигурка Ninette, но онъ не успѣлъ еще сообразить, какая была бы съ его стороны безтактность и жестокость, еслибъ онъ повелъ эту свою новую поклонницу къ ужину,—какъ она уже прошла мимо него подъ руку съ графомъ Ильинскимъ.

Сама Наталья Порфирьевна, обо всемъ думавшая и заботившаяся, нашла для своего «артиста» *настоящую* даму. Незамѣтнымъ образомъ направила она его къ madame Туровой. Это, какъ и всегда, съ ея стороны было умно и въ интересахъ обѣихъ сторонъ.

Madame Турова, уже далеко немолодая, но интересная женщина, жена одного изъ вліятельнѣйшихъ сановниковъ, могла очень и очень пригодиться Аникѣеву въ смыслѣ его дальнѣйшей реабилитаціи.

Она сама считалась превосходной піанисткой: по крайней мѣрѣ, старикъ Гензельтъ оставилъ ей репутацію своей лучшей ученицы. Ея характеръ и положеніе ставили ее выше всякихъ

возможныхъ и невозможныхъ сплетенъ, и она имѣла право позволять себѣ, какъ и Наталья Порфирьевна, интересоваться кѣмъ угодно. Она уже немного знала Аникѣева въ прежнее время и ставила его очень высоко, понимала всю оригинальность его таланта.

Проходя съ нею длинной галлереей, увѣшанной и уставленной произведеніями стариннаго искусства, въ глубинѣ которой, за рѣзной дубовой дверью, помѣщалась столовая, Аникѣевъ сразу почувствовалъ себя непринужденно. Онъ понялъ, что съ этой женщиной нечего бояться скуки. Она не станетъ вынимать изъ кармана болѣе или менѣе избитыхъ фразъ, не заставитъ придумывать приличныхъ отвѣтовъ на обычные комплименты. У нея, въ сужденіяхъ объ искусствѣ, есть кое-что свое, продуманное, пережитое ею, а потому, во всякомъ случаѣ, интересное.

Она, съ первыхъ же словъ, и сказала ему, что очень понимаетъ его артистическое отшельничество, что по достоинству цѣнитъ и уважаетъ въ немъ его исключительное во всѣ времена, а ужъ тѣмъ болѣе въ наше время, равнодушіе къ толпѣ, къ успѣху, къ извѣстности.

— Я, кажется, въ первый еще разъ слышу подобное одобреніе!—весело улыбнувшись воскликнулъ Аникѣевъ.—Меня обыкновенно упрекаютъ именно за это «артистическое отшельничество», находятъ его нелѣпымъ. Но я не хочу оставлять васъ въ заблужденіи относительно его настоящей причины. Я думаю, что тутъ у меня вовсе не равнодушіе...

— Не страхъ же! не трусость? Ихъ у васъ быть не можетъ!

— Почемъ знать, бываютъ разныя причины страха. Вѣдь, мы всѣ, если строго разбирать, не совсѣмъ нормальны—у каждаго есть какой-нибудь «пунктикъ», навязчивая, преслѣдующая идея, и пунктики эти многочисленны и разнообразны. Иныхъ вотъ преслѣдуетъ страхъ смерти; кого-нибудь можетъ преслѣдовать «страхъ жизни» въ смыслѣ вѣчнаго волненія, суеты, ожесточенной борьбы, столкновенія страстей, интересовъ, этой вѣчной трагикомедіи...

Madame Турова повернула къ нему свое поблекшее, но очень пріятное лицо и внимательно глядѣла на него умными глазами. Она чувствовала, что онъ говоритъ искренно и серьезно. Это, вѣдь, такая рѣдкость. Разговоръ завязался даже, пожалуй, слишкомъ крѣпко для времени и мѣста.

VII.

Громадная столовая, въ строго выдержанномъ стилѣ, вся изъ темнаго дуба, встрѣчала проголодавшихся гостей Натальи Пор-

фирьевны, уже давно имъ знакомымъ, красивымъ величіемъ. Весело затопленный въ ея глубинѣ каминъ, своими очертаніями и размѣрами, переносилъ воображеніе въ какой-нибудь, художественно реставрированный, средневѣковой замокъ.

Огни высокихъ тяжелыхъ канделябровъ выдѣляли, по темнымъ стѣнамъ, матовый блескъ разнообразной серебряной утвари, огромная коллекція которой, носившая на себѣ слѣды многихъ поколѣній, была одною изъ рѣдкостей этого дома.

Ужинъ оказался сервированнымъ на нѣсколькихъ небольшихъ круглыхъ столахъ, уютно размѣщенныхъ недалеко отъ камина. Такъ всегда бывало у Натальи Порфирьевны во время ея интимныхъ собраній, когда число приглашенныхъ не превышало сорока, самое бо́льшее пятидесяти человѣкъ. Лакеи въ чулкахъ и башмакахъ, съ гербомъ Вилимскихъ-Талубьевыхъ на пуговицахъ, подъ командой почтеннаго дворецкаго, до неприличія похожаго на хорошіе портреты Гете въ старости, артистически и безшумно дѣлали свое дѣло.

Аникѣевъ и его дама продолжали, съ видимымъ интересомъ, отвлеченную бесѣду, не забывая, однако, тонкаго ужина Натальи Порфирьевны и осторожно отдавая должную дань винамъ ея домашняго погреба. Этотъ погребъ былъ гордостью отсутствовавшаго хозяина—Улисса, нарочно объѣзжавшаго ежегодно всѣ мѣста Европы, славящіяся лучшими винами. Погребъ то и дѣло пополнялся новыми сокровищами, а изъ самой глубины его, по реестру за собственноручной подписью хозяина, въ дни званыхъ обѣдовъ и ужиновъ, появлялись на свѣтъ такіе «старички», какихъ нельзя было найти нигдѣ въ Петербургѣ.

Аникѣевъ былъ доволенъ, что «la belle» далеко отъ него и онъ даже ея не видитъ. Это дало ему возможность, сдѣлавъ надъ собой усиліе, о ней не думать. Но оказалось другое отвлеченіе и отъ разговора съ madame Туровой, и отъ превосходнаго ужина и отъ рѣдкихъ винъ. Очень близко отъ него, за сосѣднимъ столомъ и, вдобавокъ, такъ, что ему не надо было повертывать головы для того, чтобы ее видѣть, сидѣла Ninette.

Ихъ взгляды то и дѣло встрѣчались.

Аникѣевъ и въ болѣе юномъ возрастѣ не былъ фатомъ, а ужъ особенно сегодня вовсе не думалъ о томъ, чтобы «культивировать» впечатлѣніе, произведенное его игрою и пѣніемъ на молоденькую дѣвушку. Онъ уѣдетъ черезъ часъ изъ этого дома и, можетъ быть, никогда больше не встрѣтится съ нею, ничуть о томъ не жалѣя.

Мало ли юныхъ сердецъ и пылкихъ воображеній зачаровывалъ онъ своимъ искусствомъ, дѣйствующимъ непосредственно! Только, вѣдь, это недолговѣчныя чары: замерли волшебные звуки

въ которыхъ выливается душа его, и съ каждой минутой слабѣетъ и слабѣетъ ихъ власть, ихъ вліяніе.

Ninette очень мила и граціозна; въ ней чувствуется, особенно рѣдкое среди этого свѣта, что-то цѣльное, нетронутое, чистое... Но стоитъ ему допустить въ себѣ ощущеніе женскаго обаянія, и его тотчасъ же влечетъ совсѣмъ иная красота, имѣющая очень мало общаго съ дѣвственной чистотою.

Отчего же онъ не можетъ оторваться отъ Ninette и то и дѣло глядитъ на нее съ возрастающей тревогой? Его чуткіе нервы все громче и громче подсказываютъ ему, что непремѣнно, вотъ-вотъ сейчасъ, должна случиться какая-нибудь бѣда съ этимъ прелестнымъ полуребенкомъ. Не онъ одинъ глядитъ на нее и ее видитъ; но никто ничего не замѣчаетъ.

Если-бъ онъ только могъ, онъ сейчасъ бы кинулся къ ея матери и шепнулъ ей: «скорѣй, скорѣй увозите вашу дочь, не то ей непремѣнно грозитъ здѣсь какая-то бѣда». Онъ до такой степени, наконецъ, увѣренъ въ неминуемости этой бѣды, что не сталъ бы думать о себѣ, если-бы такой его поступокъ могъ достигнуть цѣли. Но онъ отлично зналъ, что только сдѣлаетъ себя общимъ посмѣшищемъ и вдобавокъ скомпрометируетъ дѣвушку, возбуждавшую его жалость...

Зачѣмъ же пришла эта глупая мысль? зачѣмъ не уходитъ мучительное, назойливое, почти непреодолимое желаніе идти къ такъ враждебно взглянувшей на него женщинѣ и шепнуть ей слова, которыя, на законномъ основаніи, будутъ приняты всѣми за неслыханную дерзость или прямое доказательство его сумасшествія? Такъ и тянетъ, такъ и тянетъ!..

«Вотъ одна изъ причинъ моего «отшельничества»,—подумалъ Аникѣевъ,—вѣдь, пожалуй, братъ Николай и правъ, когда вертитъ пальцемъ у лба и объявляетъ, что у меня «въ этомъ мѣстѣ того... не всѣ дома!.. да, пожалуй, онъ и правъ!..»

И какъ бы для того, чтобы вѣрнѣе доказать себѣ это, онъ тихо сказалъ madame Туровой:

— Взгляните на княжну Хрепелеву, вы не находите въ ней чего-нибудь особеннаго?

Madame Турова съ удивленіемъ посмотрѣла сначала на него, а потомъ на Ninette.

— То-есть, какъ это, особеннаго?—спросила она

— Мнѣ кажется... она, вотъ теперь, не такая, какъ всегда какъ была, ну, часъ что ли тому назадъ... Она въ какомъ-то неестественномъ возбужденіи, будто въ горячкѣ... можетъ быть, она больна, только еще сама не понимаетъ или не хочетъ понимать этого...

Madame Турова нѣсколько мгновеній очень внимательно

всматривалась въ дѣвушку, которая, замѣтя ея взглядъ, ей совсѣмъ по-дѣтски улыбнулась, не прерывая своего оживленнаго разговора съ графомъ Ильинскимъ и съ красивымъ флигель-адъютантомъ, сидѣвшимъ по другую ея сторону.

— Какія, однако, у васъ мрачныя и, полагаю, на этотъ разъ невѣрныя наблюденія!—сказала madame Турова, слегка пожавъ плечами и усмѣхаясь.—За что вы хотите уложить въ постель, и даже надѣляете горячкой эту хорошенькую княжну? Она, конечно ужъ, гораздо здоровѣе насъ съ вами. У нея горячка юности и здоровья, а можетъ быть, почти даже навѣрно, и счастья... Она очень мила и не можетъ не нравиться художнику, поэтому вамъ лучше совсѣмъ не смотрѣть на нее, car, vous savez, puisque tout le monde le sait: la place est prise...

Между тѣмъ Аникѣевъ былъ правъ.

Возбужденіе маленькой княжны достигало высшаго предѣла, становилось болѣзненнымъ, истеричнымъ. Здоровая и выносливая, несмотря на свою кажущуюся хрупкость фарфоровой куколки, она все-таки съ дѣтства была всегда очень нервна и впечатлительна. Сегодня же у нея весь день гуляли нервы. Она, изъ-за какого-то пустяка, чуть не поссорилась со своей шестнадцатилѣтней сестрой, Кэтъ, которую особенно нѣжно любила. Ее заставили надѣть на вечеръ не то платье, какое она хотѣла. Наконецъ, уже передъ самымъ выѣздомъ, она вдругъ, сама не зная почему, всплакнула. Все это было очень глупо и совсѣмъ на нее не похоже. Она разсердилась на себя; но что-то давило ей грудь, подступало къ горлу, точно клубокъ какой.

Потомъ, когда она вошла въ гостиную Натальи Порфирьевны, все какъ рукой сняло. Ей сдѣлалось даже необыкновенно легко и весело. Женихъ показался ей особенно красивымъ, и она трепетно чувствовала его присутствіе. Князь Вово, ея старый другъ и пріятель,—она его часто называла даже своей «подругой»,—былъ, какъ и всегда, милъ и забавенъ. Всѣ, начиная съ Натальи Порфирьевны, относились къ ней такъ ласково и внимательно.

Но эта игра, это страшное, волшебное пѣніе Аникѣева! Оно осталось въ ней и звучитъ, звучитъ, наполняя ее трепетомъ, восторгомъ и ужасомъ... Онъ, конечно, не такой человѣкъ, какъ другіе; но что же въ немъ: добро или зло? Ей такъ хотѣлось послушать, что онъ будетъ говорить ей, хотѣлось понять, разглядѣть...

А тутъ мама... съ такимъ лицомъ... такъ холодно, такъ обидно отнеслась къ нему... А потомъ ей выговоръ, тихо, кратко, такъ что никто, разумѣется, не замѣтилъ; но какія слова: «ты бы сама могла понимать, что для тебя прилично и что нѣтъ».

Больше ничего; но, вѣдь, кажется, черезчуръ довольно и слишкомъ ясно! За что же это?! Неприлично поблагодарить ce grand artiste (сама Наталья Порфирьевна такъ его называетъ) за его волшебное пѣніе, пожать ему руку, поговорить съ нимъ!..

Она никакъ не можетъ примириться съ такой очевидной и злой несправедливостью... она ни за что не уступитъ, она будетъ спорить съ мама и докажетъ ей, да, докажетъ, что не сдѣлала ничего неприличнаго, а напротивъ, напротивъ!

— Графъ!..—вдругъ обратилась она къ Ильинскому, совершенно безсознательно выпивая почти залпомъ рюмку густого, душистаго вина, которую онъ ей подставилъ:—вы, вѣдь, знакомы съ Аникѣевымъ... я видѣла, какъ вы съ нимъ говорили...

— Такъ что же?

Онъ покосился на нее, и въ глазахъ его мелькнуло самое злое выраженіе.

— Я очень прошу васъ уговорить мама и привезти его къ намъ, если только онъ захочетъ... Я непремѣнно должна еще разъ слышать его пѣніе, чтобы понять...

— Что вы такое говорите!—какъ бы съ ужасомъ прошепталъ ей Ильинскій. — Бога ради тише... я просто не вѣрю ушамъ своимъ... Я увѣренъ, что княгиня сильно раскаявается, что повезла васъ на этотъ ужасный вечеръ...

Маленькой княжнѣ сдѣлалось душно и жарко. Кровь быстро прилила ей въ голову и въ виски застучало. Въ то же время она почувствовала сильную жажду, у нея совсѣмъ пересохло горло.

— Я васъ не понимаю, Жоржъ,—прошептала она:—тутъ просто какая-то тайна... пожалуйста, объясните мнѣ ее...

Графъ Ильинскій въ это время потянулся, чтобы взять ея тарелку, такъ какъ увидѣлъ возлѣ своего плеча подаваемое блюдо.

— Нѣтъ, нѣтъ, не кладите!—поспѣшно сказала Ninette.

— Но, вѣдь, вы совсѣмъ ничего не кушаете, вы какъ есть ни до чего не дотронулись...

— У меня сегодня никакого аппетита, я и обѣдала плохо... А вотъ пить ужасно хочется...

«Бабочка сама летитъ въ сѣтку!» подумалъ графъ Ильинскій, указывая на стаканъ стараго бургундскаго, его стараніями стоявшій передъ нею.

— Да, вѣдь, это вино! вы знаете—я не люблю вина... и оно, навѣрно, крѣпкое.

— Нѣтъ, это слабое вино и очень вкусное, оно освѣжаетъ, попробуйте.

Она поднесла стаканъ къ губамъ, сдѣлала глотокъ и кивнула головой.

— Правда, очень вкусно!

Она, не отрываясь, медленно выпила до дна.

— Хотите еще?

Онъ оглянулся, лакей уловилъ его взглядъ, и стаканъ снова полонъ.

— Вы увѣрены, что это не крѣпко?—спрашивала она.

— Для меня не существуетъ крѣпкихъ винъ, да, вѣдь, вы же сами должны были почувствовать слабо оно или крѣпко.

— Кажется, нѣтъ, очень вкусно... и я такъ пить хочу!

Флигель-адъютантъ, все время разговаривавшій со своей дамой, повернулъ голову къ Ninette.

— Это очень крѣпкое вино, княжна, особенно съ непривычки,—серьезно сказалъ онъ.

Ея стаканъ уже былъ пустъ.

Сидѣвшій за тѣмъ же столомъ напротивъ чтецъ-дипломатъ поглядывалъ на нее, и выраженіе его глазъ, его не то насмѣшливая, не то плотоядная усмѣшка, кривившая кончики тонкихъ губъ, ясно говорили: «fichtre! ça promet!»

Но она, кажется, даже и не подозрѣвала его существованія. У нея начинала кружиться голова, мысли путались, хотѣлось то заплакать, то засмѣяться.

— Да!—вспомнила она:—объясните же мнѣ, Жоржъ, эту тайну... почему... почему вы называете этотъ вечеръ ужаснымъ... и мама разсердилась...

— Вы все о томъ же!—съ недоброй улыбкой произнесъ графъ Ильинскій:—вы ставите, однако, меня въ очень странное положеніе, и я, право, не знаю, что думать... завтра я буду у васъ... мы обо всемъ потолкуемъ, если угодно, сегодня же вы въ такомъ... настроеніи...

— Въ какомъ, въ какомъ?..

Ея голова кружилась все больше и больше. Она хотѣла говорить, но языкъ сдѣлался какимъ-то деревяннымъ. Вдругъ вернулось ощущеніе клубка, поднимающагося къ горлу. Это было такъ мучительно, такъ невыносимо, и притомъ же ей ясно почувствовалось, что она обижена, оскорблена и не въ силахъ вынести этой обиды. Она поблѣднѣла какъ мертвая, откинулась на высокую спинку стула, взвизгнула не своимъ голосомъ, дико захохотала. Хохотъ тотчасъ же перешелъ въ громкія, отчаянныя рыданія.

Впечатлѣніе было произведено—настоящее.

VIII.

Всѣ встали со своихъ мѣстъ и растерянно глядѣли другъ на друга. Княгиня Хрепелева, съ блѣднымъ, искаженнымъ лицомъ, кинулась къ дочери.

— Боже мой, что-жъ это съ нею?!— отчаянно повторяла она.—Вѣдь, никогда, никогда ничего подобнаго не бывало.., au nom du Ciel!.. que faut-il faire... je perds la tête!..

Откуда-то появился стаканъ воды. Княгиня, дрожавшей рукою, разливая воду на шею и платье дочери, старалась заставить ее выпить. Наталья Порфирьевна протягивала флакончикъ съ англійской солью и громко шептала: «Ah! la cherie! la pauvre petite!»

Но ея святая полуулыбка исчезла, ея лицо становилось все мрачнѣе. Вѣдь, и у нея въ домѣ «никогда ничего подобнаго не бывало!»

Дамы и мужчины безцѣльно суетились.

Бѣдная княжна Ninette извивалась и билась, какъ рыбка, выброшенная на песокъ, оглашая громадную столовую порывами истерическаго хохота и рыданій.

Графъ Ильинскій и Аникѣевъ, не сговариваясь, внезапно и рѣшительно подошли къ ней, подняли ее и, крѣпко держа, понесли. Наталья Порфирьевна спѣшила впереди; княгиня, окруженная нѣсколькими дамами, то и дѣло спотыкаясь, вся въ слезахъ, замыкала это шествіе.

Княжна все билась, вырывалась, кричала: «душно! душно!.. пустите!» Аникѣевъ, крѣпко охвативъ ея тонкую талію, дѣлалъ послѣднія усилія, чтобы не выпустить ее изъ рукъ. Наконецъ, онъ возмутился и вознегодовалъ на нее, на себя, на всѣхъ и на все.

— Перестаньте! замолчите! успокойтесь! — произнесъ онъ раздраженнымъ и повелительнымъ голосомъ.

Ninette широко открыла глаза, увидѣла и узнала возлѣ своего лица его лицо, его строгіе блестящіе глаза. Она внезапно стихла, вѣки опустились, тѣло ея вытянулось, руки повисли. Еслибы не порывистое дыханіе, ее можно было бы принять за мертвую...

Въ столовой безпорядокъ продолжался. Великолѣпный старикъ-дворецкій, похожій на Гете, неслышно ступая, подходилъ то къ тому, то къ другому и почтительно приглашалъ къ столамъ. Но его никто не слушалъ. То тамъ, то здѣсь слышалось: «нашъ нервный вѣкъ», «la grande hystèrie», «Шарко», «гипнотизмъ».

— L'hystèrie! mais voyons! y est elle pour quelque chose, quand la petite demoiselle s'est tout bêtement grisée!—конфиденціально сообщилъ чтецъ-дипломать стоявшему возлѣ него «la bête».

— Allons donc!—съ нѣкоторымъ недовѣріемъ, но радостно воскликнулъ «la bête», сразу оживляясь.

— Quand je vous le dis! я, да и не я одинъ, многіе видѣли какъ она, будто воду, осушала старый «Кло» стаканъ за стаканомъ... Ну, думаю, молодецъ! обѣщаетъ! — et v-la! trop verte!

— Tiens! c'est joli... прелесть!

«La bête» тихонько отошелъ отъ дипломата, и черезъ двѣ-три минуты не оставалось никого, кто бы не зналъ въ чемъ дѣло.

Теперь повторялось:

«Ну, что-жъ княгиня! сама виновата, такъ дѣтей не воспитываютъ!..»

«Кого жаль, такъ это Ильинскаго... Вѣдь, онъ, кажется, былъ серьезно неравнодушенъ... всѣмъ извѣстно—женихъ... и приданое заказано... свадьба весною...»

«Да неужто онъ послѣ этого женится?! вѣдь, онъ долженъ понимать... Это было бы и съ его стороны непростительно... Нѣтъ, онъ благоразуменъ... et tout le monde sera de son coté... vous savez, il y a des choses... des choses ..»

Князь Вово пробовалъ было заступаться за бѣдную Ninette.

— Ecoutez... c'est trop méchant!—горячо толковалъ онъ.—Она, вѣдь, еще такой ребенокъ...

— Tant pis!—возражали ему.

— Да тутъ вовсе не вино,—не сдавался онъ:—причемъ тутъ вино! просто нервы... ну тамъ, можетъ быть, корсетъ слишкомъ затянутъ... que sais-je! право нельзя же! И если-бы даже такъ, вѣдь, Ильинскій былъ рядомъ съ нею, это было его дѣло остановить... развѣ она понимаетъ!..

— Всѣ знаютъ, князь, что вы не изъ друзей Ильинскаго, но теперь онъ въ такомъ положеніи... его и не друзья пожалѣть могутъ!—замѣтилъ кто-то.

Вово долженъ былъ замолчать. Онъ хорошо понималъ, что не ему измѣнить внезапно сложившееся мнѣніе свѣта. Какъ бы ни было нелѣпо это мнѣніе, разъ оно установлено, съ нимъ ничего не подѣлаешь, пока оно само собою, такъ же неожиданно и быстро, какъ создалось, не разсыпется безъ слѣда и помина.

Одинъ только флигель-адъютантъ дѣйствительно слышалъ, видѣлъ и понималъ все происшедшее. Но Ильинскій былъ ему очень нуженъ для его собственныхъ, личныхъ дѣлъ, и онъ не могъ наживать себѣ въ немъ врага: это было бы ужъ черезчуръ

глупо. Поэтому онъ запретилъ себѣ думать объ этомъ вздорѣ и рѣшительно сводилъ разговоръ со своей дамой на посторонніе предметы.

Появилась Наталья Порфирьевна, соболѣзнующая, разстроенная и въ то же время, очевидно, скрывающая свое законное раздраженіе.

Едва вступивъ въ столовую и ни съ кѣмъ не сказавъ еще и двухъ словъ, она уже, какимъ-то таинственнымъ способомъ, была увѣдомлена обо всемъ.

— Elle est à plaindre, cette jeune personne,—многозначительно сказала она:—она больна, бѣдняжка... это очень, очень жаль, но...

Она не договорила. Ея «но» было окончательной, безаппелляціонною конфирмаціей составленнаго здѣсь приговора...

Минутъ черезъ десять въ картинной галлереѣ Аникѣевъ нагналъ хорошенькаго князя, быстро, почти скользя, стремившагося въ своихъ маленькихъ башмачкахъ по мозаичному паркету.

— Вово,—сказалъ Аникѣевъ:—мнѣ какъ-то не по себѣ и просто жутко моего одиночества... мы такъ давно не видались... поѣдемъ ко мнѣ...

— Милый, avec plaisir!—отвѣтилъ князь, беря пріятеля подъ руку.

Они спустились съ лѣстницы, надѣли шубы, вышли на подъѣздъ. Мокрый снѣгъ падалъ хлопьями. Вово усадилъ Аникѣева въ свою карету, спросилъ адресъ, повторилъ его кучеру и захлопнулъ за собой дверцу. Прозябшія лошади помчались.

Аникѣевъ закрылъ глаза, поддаваясь ощущенію нервной усталости, сразу его охватившей.

Ну, развѣ не правъ онъ, отказываясь отъ общества, гдѣ, какъ ему всегда говорили, онъ могъ бы играть роль и многаго достигнуть! Чего достигнуть? Какихъ такихъ благъ, за которыя стоило бы заплатить этимъ вѣчнымъ раздраженіемъ, усталостью души, смятеніемъ мыслей? Вѣдь, вотъ, стоило только окунуться на нѣсколько часовъ,—и сколько путаницы, сколько тяжелыхъ, утомившихъ впечатлѣній!..

Ему вспомнились слова Алины: «Однако, вы чего-то все ищете; вы бѣгаете за призраками счастья». Чего-чего не испробовалъ онъ въ самомъ дѣлѣ! И все-таки вернулся опять сюда, въ этотъ Петербургъ, къ вѣчному, когда-то такъ замучившему его утомленію. Зачѣмъ же онъ вернулся? А вотъ затѣмъ, что это неизбѣжно, что пришло такое время, когда онъ не можетъ больше владѣть собою...

Прежде это было не такъ часто, находило и уходило, забывалось. А теперь, уже сколько мѣсяцевъ, ночью и днемъ, и все чаще и чаще слышится ему тоненькій голосокъ маленькой дѣвочки: «папа! гдѣ ты, папа?»

Только и всего, эти четыре слова. И каждый разъ, когда онъ заслышитъ ихъ, ему тяжко и душно. Такъ жить нельзя...

— Прежде я любилъ всѣхъ,—вдругъ заговорилъ Вово, какъ-то по-кошачьи кутаясь въ шубу, подбираясь и ютясь въ своемъ углу кареты:—теперь я люблю только дѣтей, да вотъ иногда старенькихъ-старенькихъ старушекъ, которыя давно-давно забыли свои грѣхи, сдѣлались совсѣмъ святыми, всѣмъ интересуются, и какъ есть ровно ничего не понимаютъ. Вотъ такихъ я люблю, я у нихъ цѣлую ручки, а онѣ меня въ плѣшку... Батюшки, не отъ этого ли волосы такъ вылѣзать стали!

Онъ засмѣялся своимъ веселымъ смѣхомъ и продолжалъ:

— Non, sérieusement, je les aime, ces petites vieilles... есть у насъ такія, да съ ними бѣда: сегодня ты у ней ручки цѣлуешь, она тебѣ всякія миленькія исторійки разсказываетъ, а черезъ недѣлю: «съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщаютъ»... Иной разъ ночью проснешься, послѣ похоронъ-то, такъ и ждешь, войдетъ она—и въ плѣшку! Бр!.. А потому только дѣти и остаются. Ихъ тоже мало, есть такія, что похуже взрослыхъ, совсѣмъ испорченныя, ледащія, злыя,—черти, а не дѣти. Но все-таки еще попадаются настоящія дѣти, и лучше ихъ у насъ нѣтъ ничего и быть не можетъ. Такой была и эта бѣдняжка Ninette... Вѣдь, они, какъ грибы растутъ, вчера еще была совсѣмъ крошка, въ куклы со мною играла, въ «ангельскомъ чинѣ» состояла, comme disaient nos chères няни russes, dont la race s'est éteinte... А сегодня вотъ выросла... Споткнулась на гладкомъ мѣстѣ, и только на недѣлю о ней разговоровъ, а затѣмъ... coulée!..

— Забудется!—сказалъ Аникѣевъ.

— Никогда. Ты, вѣдь, не слышалъ, приговоръ произнесенъ... Entre nous, этотъ негодяй Ильинскій навѣрное подпоилъ ее потому, что расхотѣлъ на ней жениться. Теперь онъ, конечно, свободенъ. И замѣть, что онъ правъ, мнѣ слова сказать не дали, это, видишь ли, у меня противъ него личность, я его всегда недолюбливалъ. Ninette исключена изъ списка живыхъ, держу какое угодно пари, ее нигдѣ больше не примутъ... У насъ все дозволено, больше чѣмъ все; но только за прозрачною ширмочкой, на которой написано: «безъ именныхъ билетовъ никто не впускается»...

Онъ остановился, и потомъ прибавилъ:

— Да и какъ тутъ быть? нельзя, вѣдь, тоже допускать такихъ публичныхъ представленій... и гдѣ же! у Натальи Порфирьевны!.. А все ты виноватъ, одинъ ты!

— Я?—спросилъ Аникѣевъ, тоскливо чувствуя, что есть много странной правды въ такомъ обвиненіи.

— Конечно, ты, и это очень на руку Ильинскому... Ты будешь героемъ исторіи,—je t'en reponds!

Они замолчали.

Аникѣевъ опять закрылъ глаза, и ему представилось, съ ясностью почти вещественной, почти осязательной, женское лицо. Но это было не Ninette, и не Алина. Эта была тоже очень красивая женщина. Она глядѣла на него, сдвинувъ брови, глядѣла холоднымъ, злымъ и упрекающимъ взглядомъ. Ему слышался ея голосъ:

«Вздоръ! Все это потому, что у тебя нѣтъ сердца, ты безнравственный человѣкъ, ты эгоистъ! Ты никогда никого не любилъ и любить не можешь... Ты любишь только какія-то тамъ свои фантазіи, а до всего остального тебѣ нѣтъ дѣла! Ты безсердечный деспотъ, и ничего больше!..»

На него пахнуло тѣмъ адомъ, отъ котораго въ конецъ истерзанный, весь полный негодованія, возмущенія и жгучей боли, онъ бѣжалъ, очертя голову.

«Папа! гдѣ ты, папа?» — раздалось нѣжнымъ и невыносимо жалобнымъ призывомъ въ сердцѣ.

Онъ задыхался. Карета остановилась.

IX.

Имъ пришлось долго звонить и стоять на подъѣздѣ подъ порывами вѣтра и пронизывавшей сырости. Вово переминался съ ноги на ногу и попрыгивалъ отъ холоду въ своихъ лакированныхъ башмачкахъ.

— Однако, тебя видно здѣсь не балуютъ... Sapristi! quel ogre de suisse!—не выдержалъ онъ.

Аникѣевъ нѣсколько разъ рванулъ колокольчикъ изо всей силы.

Наконецъ, послышался звукъ повертывающагося въ замочномъ отверстіи ключа, и толстая дубовая дверь тяжело пріотворилась.

Заспанный губошлепъ, въ резиновыхъ калошахъ на босу ногу и съ ливреей, накинутой на плечи, пропустилъ пріятелей. Онъ не спѣша заперъ дверь, а потомъ, опять-таки не спѣша, зашлепалъ вслѣдъ за ними по лѣстницѣ, слабо озаряя ихъ путь маленькою ручною лампочкой.

— Encore?—спрашивалъ Вово при каждомъ поворотѣ.

— Encore,—отвѣчалъ Аникѣевъ.

На площадкѣ третьяго этажа онъ остановился у двери и, нащупавъ кружокъ электрическаго звонка, придавилъ костяную пуговку. Въ то же время свѣтъ мгновенно погасъ, и заспанный губошлепъ исчезъ, какъ призракъ, даже его калошъ не было слышно.

Изнутри, у двери, раздался глухой голосъ:

— Баринъ, это вы?

— Я, я! Да отворяй же скорѣе, изверг, не держи въ темнотѣ... бою-юся!—крикнулъ Вово.

— Кто-жъ это? не барина голосъ... чего вамъ угодно? кто такое? этакъ-то я, вѣдь, и не отопру!—какимъ-то грустнымъ, но вмѣстѣ и рѣшительнымъ тономъ объявилъ голосъ изъ-за двери.

— Никакъ все онъ же? Платонъ Пирожковъ?—вопросительно шепнулъ Вово.

— Кому-жъ другому быть... мой вѣчный Лепорелло! — тоже шопотомъ отвѣтилъ Аникѣевъ и уже почти весело приказалъ:

— Платонъ, отворяй!

Дверь отворилась и передъ Вово, озаренная лампой, поставленной на подзеркальный столъ тѣсной передней, оказалась давно ему знакомая, маленькая худощавая фигура. Тѣ же рѣденькіе, прилизанные, бѣлобрысые волосы, тотъ же неестественно длинный острый носъ, огромные желтые усы, печально повисшіе съ двухъ сторонъ едва замѣтнаго за ними бритаго подбородка, унылый взглядъ широко разставленныхъ глазъ. Не человѣкъ, а дятелъ, да и только! Дятелъ былъ въ вышитой «русскимъ узоромъ» косовороткѣ и свѣтло-сѣромъ, съ барскаго плеча, пиджачкѣ, черезчуръ для него просторномъ.

Вово приподнялся на носки, раздулъ щеки, скорчилъ страшное лицо и кинулся впередъ рыча:

— А! отворилъ! ну, теперь тебѣ капутъ!

Платонъ Пирожковъ, въ одинъ отчаянный прыжокъ отскочилъ къ противоположной двери и уже готовился заорать не своимъ голосомъ, да вдругъ узналъ князя.

Онъ осклабился, причемъ его носъ выступилъ еще больше, а подбородокъ исчезъ совсѣмъ.

— Ваше сіятельство! вотъ кого Богъ послалъ... и напугали же вы меня... шутникъ вы!

— А ты все такой же трусъ! съ твоимъ-то носомъ!—засмѣялся Вово, сбрасывая ему на руки свою пушистую соболью шубку и опять попрыгивая, чтобы согрѣть озябшія ноги.

— Да что носъ!—уныло говорилъ дятелъ, вѣшая шубку и спѣша къ Аникѣеву:—на носъ кто нынче посмотритъ, кто его испугается... вонъ у землячка одного былъ онъ не моему чета, куда объемистѣй и словно мраморный, темно-сизый съ жилками, а все-жъ таки, лѣтъ семь это тому будетъ, напали невѣдомо кто въ верстѣ отъ села, на «шасѣ», онъ имъ—носъ, а они хвать по переносью—и духъ вонъ!... Ныньче народъ балованный... намедни, въ Московской части, чай, изволили слышать?

— Что такое въ Московской части?—отозвался Вово, причесывая свои черные кудерьки и плѣшку передъ зеркаломъ.

— Не слыхали-съ? Вотъ этакимъ-же манеромъ, въ часъ ноч-

ной, замѣсто барина, позвонилъ, вошелъ, лакея пристукнулъ, ограбилъ все какъ есть начисто, и ушелъ, будто дѣло сдѣлалъ... Баринъ-то возвращается, дверь отперта, а лакей въ крови разливанной—«мм!»—мычитъ и больше ничего, такъ Богу душу и отдалъ. Какъ же тутъ отпирать дверь всякому безъ разбору? и днемъ-то опасливо, а ужъ ночью—и-и!

— Да, вѣдь, это ты все врешь, Платонъ Пирожковъ, ничего такого не было въ Московской части!

— Какъ не было-съ!—весь вспыхнулъ и смѣшно будто ощетинился Платонъ, переходя за Аникѣевымъ въ слѣдующую комнату и чиркая спичками: — обижать изволите, ваше сіятельство. Это точно, бываютъ такіе, что и врутъ, а я врать передъ господами за грѣхъ почитаю. Было все это какъ докладываю, самъ-съ, своими глазами, вчерась въ «Листкѣ» читалъ и весь этотъ пассажъ съ доподлинностью тамъ ихній «рапорторъ» пропечаталъ...

— Закусить прикажете? А не то крушончикъ... у насъ три бутылки «езельціора», «финь» есть настоящій и апельсинчики,— прибавилъ онъ, зажигая лампу, и уже совсѣмъ другимъ, дѣловымъ тономъ.

— Ну, подавай скорѣе!—зѣвнувъ, проговорилъ Аникѣевъ, почти падая въ широкое низенькое кресло.

X.

Яркая лампа, заслоненная только одностороннимъ абажуромъ, освѣтила обширную, довольно высокую комнату.

Ничего въ ней не было роскошнаго, ни одного предмета значительной цѣнности, но все вмѣстѣ производило художественное и оригинальное впечатлѣніе. Это именно оказывалась музыкальная комната, гдѣ каждая вещь гармонично сливалась съ другою, пополняла, выясняла ея смыслъ, поднимая ея цѣнность, гдѣ не встрѣчалось ни одного кричащаго разнозвучія.

Тяжелыя, фантастическаго рисунка занавѣси на окнахъ и дверяхъ, восточные ковры и темные французскія обои, даже совсѣмъ вблизи похожія на старые гобелены, своимъ мягкимъ круглящимся узоромъ уничтожали всякую пустоту. Каждый столикъ, стулъ, этажерка, вазочка, бездѣлушка были своеобразны и до того на своемъ мѣстѣ, что если хоть что-нибудь взять и переставить—тотчасъ нарушится цѣлость, будто отрубится палецъ отъ руки.

Со стѣнъ, изъ прекрасныхъ рамъ, глядѣли совсѣмъ живыя лица. Особенно выступала, сильно освѣщенная лампой, молодая женщина въ ореолѣ чудныхъ золотистыхъ волосъ и съ глу-

бокими мечтательными глазами. Она чуть-что не говорила, прелестно приподнявъ удивительно хорошенькую верхнюю губку своего маленькаго рта, въ которомъ заключалось особенное очарованіе.

Это былъ портретъ матери Аникѣева въ лучшую пору ея жизни. Сынъ сильно походилъ на нее; но не чертами, а чѣмъ-то неуловимымъ, въ чемъ, однако, и заключается очень часто истинное, сразу поражающее сходство...

Вово неслышно мелькалъ то тамъ, то здѣсь, все осматривая и даже трогая. Наконецъ, онъ остановился, кинулъ вокругъ себя общій взглядъ и подсѣлъ къ пріятелю:

— Ахъ, Миша, какъ у тебя здѣсь мило,—сказалъ онъ:— un nid adorable... впрочемъ, какъ и всегда. Когда только ты успѣлъ это устроить?... уютно, будто вѣкъ здѣсь живешь...

— Долго ли! въ два дня устроилъ, какъ могъ... чтобъ не задыхаться, — отвѣтилъ Аникѣевъ: — ты знаешь, я не въ своей обстановкѣ, если кругомъ меня гадко—просто задыхаюсь, боленъ дѣлаюсь, дня не могу прожить...

— И у тебя прелестно, ты изъ ничего умѣешь создать красоту, только знаешь ли что я тебѣ скажу... вотъ сейчасъ почувствовалъ... уютно здѣсь, красиво, тепло, а все-жъ таки есть что-то такое... жуткое и грустное — будто призраки, духи печальные витаютъ... того и жди какой-нибудь жалобный вздохъ услышишь!.. Нѣтъ, хоть убей меня, я ни за какія сокровища здѣсь бы одинъ не остался!

Аникѣевъ повернулъ голову и ласково взглянулъ на хорошенькаго князя.

— Вотъ за это я и люблю тебя, Вово,—ты мотылекъ порхающій, ты какая-то свѣтская записная книжка «на каждый день»; но въ тебѣ душа живая, ты иной разъ чувствуешь и понимаешь, par intuition, такое, чего самые серьезные люди не поймутъ и не почувствуютъ. За это и люблю! Вѣрно, голубчикъ: у меня и жутко, и грустно, печальные духи вокругъ меня витаютъ... и часто я слышу ихъ вздохи...

Вово вдругъ разсмѣялся.

— Чего ты?

— Да помилуй... вотъ мы о духахъ... я и вспомнилъ. Вѣдь, теперь у насъ спиритизмъ понемногу въ моду входитъ... Я, знаешь, какъ и ты, кажется, въ духовъ вѣрю... и до смерти боюсь ихъ. Только у насъ совсѣмъ не то, у насъ завелись «сеансы» съ побоями.

— Съ побоями?

— Еще и съ какими! Тутъ есть старичокъ одинъ, Бундышевъ, спиритъ «убѣжденный». Такъ устраиваютъ сеансы, чаще всего у

Гатариныхъ, и зовутъ на Бундышева... Забавно! Тушится все, свѣчи и лампы, дѣлаютъ ночь, столъ поднимается, стучитъ, колокольчикъ звонитъ, а потомъ начинаютъ Бундышева бить куда попало, щипать... на прошлой недѣлѣ ему чуть ухо не открутили. Онъ кричитъ, визжитъ, молитъ, а на слѣдующій день по всему Петербургу ѣздитъ и съ восторгомъ разсказываетъ, какъ его духи избили, какихъ пощечинъ ему надавали, синяки показываетъ. При дамахъ отвертываетъ рукава и показываетъ—parole! Коко Гатаринъ не выдержалъ, признался ему: это я самъ говоритъ, вотъ этою рукой васъ и щипалъ и тумака вамъ далъ въ шею. Такъ, вѣдь, тотъ не вѣритъ, ни за что въ мірѣ, «jeune homme,— говоритъ,— on ne profane pas impunément les vérités sacrées! vous allez subir les conséquences de votre mensonge!» Коко озлился. «Такъ я же васъ такъ изобью,— говоритъ, — что поневолѣ мнѣ повѣрите!» И избилъ, а старичокъ, какъ ни въ чемъ не бывало, духовъ прославляетъ и синяки дамамъ показываетъ. Сегодня у княгини Червинской показывалъ... кругомъ хохотъ, а онъ въ позу—и цѣлую лекцію о perisprit reincarnations и ужъ не знаю о чемъ еще...

— Чортъ знаетъ что такое!—устало проговорилъ Аникѣевъ:— неужели ничего не могутъ придумать поумнѣе этого издѣвательства надъ старымъ и, очевидно, больнымъ человѣкомъ?

— А ну-ка придумай!—вѣдь, скука тоже! Изъ дома въ домъ однѣ и тѣ же небылицы переносятся, всѣ передаютъ ихъ другъ другу, connaissant fort bien leur généalogie, ровно ничему не вѣря и все-таки дѣйствуя и судя такъ, будто бы всѣ эти враки были святою истиной...

Но Аникѣевъ ужъ не слушалъ или, вѣрнѣе, слышалъ совсѣмъ другое.

Платонъ Пирожковъ внесъ на подносѣ «крушончикъ» и розлилъ прохладительный напитокъ въ высокіе тонкіе стаканы.

Аникѣевъ чокнулся съ Вово, медленно выпилъ до дна и подошелъ къ піанино.

И снова, какъ передъ блестящимъ обществомъ Натальи Порфирьевны, холодныя клавиши ожили и запѣли. Но это были ужъ не мечты, не погибшія надежды, не борьба жизни, не пожаръ страсти и отчаянный призывъ къ наслажденію. Это было именно то, что почудилось Вово въ жилищѣ артиста: грустный шопотъ витающихъ призраковъ, ихъ жалобные вздохи.

Вово сидѣлъ съ забытымъ стаканомъ въ рукѣ и жадно слушалъ.

Дятелъ стоялъ у двери, уныло опустивъ носъ, но скоро неодобрительно мотнулъ рукою и тихонько вышелъ.

А призраки пѣли такъ внятно, такъ хватали за душу, что

Вово почти ужъ начиналъ понимать, о чемъ именно поютъ они, на что жалуются. Вдругъ въ ихъ мелодію ворвалось что-то новое, звонкая, серебристая нотка безпечнаго дѣтскаго смѣха. Только смѣхъ этотъ сейчасъ же замеръ и опять зашептали, залетали въ мучительной истомѣ тоскующіе духи... Тише, тише... такъ тихо, будто въ безсонной темнотѣ стучитъ только, обливаясь кровью, усталое сердце, а потомъ... нѣтъ, это невыносимо, это мучителнѣй и жалобнѣй, чѣмъ всѣ вздохи призраковъ...

— Перестань, ну чего ты! c'est insoutenable... будто ребенокъ тонетъ, зоветъ и плачетъ!—крикнулъ Вово, подбѣгая къ піанино и хватая руки Аникѣева.

Все смолкло.

Аникѣевъ повернулъ къ пріятелю блѣдное лицо, испуганно взглянулъ на него сухими, расширившимися глазами.

— Ты понялъ?!. въ этомъ все... и я не могу больше,—прошепталъ онъ.

Вово начиналъ соображать. Ему стало очень неловко. Онъ налилъ стаканы, заставилъ Аникѣева выпить и принялся болтать всякій вздоръ, чтобъ отвлечь пріятеля отъ печальныхъ мыслей. Онъ разсказалъ даже нѣсколько смѣшныхъ и неприличныхъ анекдотовъ, которыхъ у него былъ всегда неистощимый запасъ, невѣдомо откуда бравшійся.

Но Аникѣевъ, въ другое время громко смѣявшійся и неприличному анекдоту, лишь бы онъ былъ остроуменъ, теперь очевидно ничего не понималъ. Его внезапно охватила такая слабость, что онъ легъ на диванъ, вытянулся, заложилъ руки за голову и закрылъ глаза. Ему казалось, что его заливаетъ какая-то волна и что онъ вмѣстѣ съ нею опускается все ниже и ниже. Голосъ Вово все слабѣлъ, удалялся,—и все исчезло.

— Миша!.. да никакъ ты спишь?

Вово прислушался и увидѣлъ, что это предположеніе вѣрно.

Носъ дятла показался у двери. Онъ не спѣша, осторожно ступая, подошелъ къ дивану и грустнымъ тономъ громко произнесъ:

— Баринъ, а баринъ!

Отвѣта не послѣдовало.

Тогда онъ отошелъ на нѣсколько шаговъ, зажегъ свѣчу, стоявшую на столѣ, взялъ ее и таинственно поманилъ Вово.

— Ваше сіятельство, пожалуйте-ка!

Вово прошелъ за нимъ въ сосѣднюю комнату, оказавшуюся спальной. Тутъ было тоже уютно. Вово втянулъ въ себя воздухъ.

— Чѣмъ это такъ сильно пахнетъ?—спросилъ онъ.

— А вотъ-съ, изволите видѣть, этимъ самымъ-съ—мрачно

произнесъ Платонъ Пирожковъ, беря съ туалетнаго стола бутылку ярко-зеленой жидкости и подавая ее князю.—Варвена-съ индѣйская, настоящая, вотъ этакими громадными бутылями выписываемъ и по нѣсколько разъ на дню прыскаемъ всю спальню, бѣлье, все. Больше трехъ лѣтъ какъ безъ этого жить не можемъ, а по-моему-съ духъ тяжелый, пронзительный и сколько разъ у меня отъ него голова болѣла.

— Нѣтъ, ничего, пахнетъ не дурно,—сказалъ Вово наливая себѣ на ладонь изъ бутылки, а потомъ растирая руки.

Платонъ усмѣхнулся.

— Да, вѣдь, чего стоютъ-съ, выписки-тѣ эти... А я, знаете хотѣлъ спросить у вашего сіятельства... какъ вы нашли барина?

Вово присѣлъ въ кресло у кровати и пристально посмотрѣлъ на дятла.

— Ну, вотъ что, Платонъ Пирожковъ, разсказывай все по порядку,—серьезно и внушительно произнесъ онъ.

XI.

Платонъ заглянулъ въ дверь, прислушался и тотчасъ же возвратился.

— Спятъ, теперь ежели не расшевелить, до утра не проснутся. Это у насъ, вѣдь, давно завелось, не по-людски. И въ деревнѣ, да и за границей тоже было. Иной разъ всю ночь, до поздняго утра, за книжкой либо просто со своими мыслями просидятъ на одномъ мѣстѣ. Часу въ десятомъ будить придешь, а они: «а? что? никакъ ужъ утро?» Другой разъ вотъ этакимъ манеромъ, во всемъ какъ есть, одѣмшись, приткнутся гдѣ-нибудь на диванѣ и спятъ. Боже упаси разбудить, такой крикъ пойдетъ, что хоть святыхъ уноси... Да нешто одно это! Одно слово, ваше сіятельство, никакъ невозможно. Замыкался я совсѣмъ, несогласенъ больше, уходить хочу....

— Это ты-то? уходить отъ Михаила Александровича? Хорошъ гусь!

— Нечего гусь! каковъ ни гусь, а все-жъ таки и я человѣкъ... всю-то жизнь какъ рабъ за ними, какъ цѣпная собака стерегу, а что въ томъ проку? какая мнѣ отъ нихъ благодарность? дѣло начну толковать, а они только ругаются: «ничего, молъ, ты не понимаешь, дуракъ, едеотъ!» Обидѣть-то легко, едеотомъ-то, а ужъ чего тутъ не понимать... кто другой, можетъ, а я ихъ понимаю вотъ какъ! наскрозь вижу. Да и кого угодно со стороны спросить,—всякъ скажетъ, что при такой жизни до добра не дойти: либо смерть моментная приключится, либо желтый домъ. Такъ-то-съ!..

— Однако, постой, Платонъ Пирожковъ,—перебилъ его Вово:— говори ты толкомъ.

— Толкомъ и хочу, ваше сіятельство,—вздыхая протянулъ дятелъ:—какъ увидѣлъ васъ, такъ и осѣнило. Все выложу какъ на духу, образумьте вы барина, не то я ни часу, вотъ какъ Богъ святъ, не останусь. Вы баринъ ласковый, настоящій, съ измальства я на васъ, ровно какъ на родного нашего... чай, помните, пажикомъ-съ еще хаживали, при барынѣ Софьѣ Михайловнѣ, а потомъ при бабушкѣ... Можетъ, во всемъ Питерѣ у насъ такого... дружбою и пріятельствомъ любящаго, такъ сказать, друга не найдется...

— Такъ чего-жъ ты тянешь?

— Я не тяну-съ, а нельзя-жъ безъ объясненія... ка-бы вы все видѣли, такъ сами бы то же сказали... Одно слово: сотворите вы божескую милость, ваше сіятельство, уговорите ихъ, помирите съ барыней, съ Лидіей Андреевной...

— Съ Лидіей Андреевной?! ты никакъ и впрямь рехнулся...

— Не рехнулся я... знаю, что трудно, да коли другого ничего не остается,—какъ тутъ быть? А вотъ зачѣмъ мы сюда пріѣхали,— спросите!

— Ну?

Платонъ сдѣлалъ испуганное лицо, таинственно наклонился къ Вово и, чуть не задѣвъ его по щекѣ носомъ, шепнулъ:

— По Сонечкѣ стосковались.

Вово кивнулъ головой. Слова дятла были для него только новымъ подтвержденіемъ.

— Ну, а Сонечку-то намъ не дадутъ,—продолжалъ Платонъ уже громче:—объ этомъ и думать нечего. Это разъ. А другое,— все равно такъ жить невозможно, дѣла-то, ваше сіятельство не прежнія.

— И это знаю, что не прежнія.

— Нѣтъ, видно мало знаете, можетъ, я одинъ только и знаю каковы у насъ дѣла-то. Еще когда все въ раззоръ пошло! какъ померла барыня Софья Михайловна за дѣлежку эту промежъ себя съ братцами—сестрицами сдѣлали. А потомъ годъ отъ году хуже и хуже. Лидія-то Андреевна рвали и метали, чуяли, что не къ добру идетъ. «Служи да служи!» — ничего только изъ этого не вышло. А потомъ пріятель, господинъ Медынцевъ, подвернулся,—тутъ все прахомъ и пошло.

— А Снѣжково-то?

Платонъ безнадежно махнулъ рукой.

— Снѣжково въ рукахъ и теперь золотое дно, да руки-то у насъ гдѣ?! Снѣжково-то, помяните мое слово, черезъ годъ съ «укціону» пойдетъ,—и званія отъ него не останется. Какъ вы-

шла эта послѣдняя, значитъ ссора, какъ рѣшили они барыню, Лидію Андреевну, значитъ, оставить,—такъ что сдѣлали? откуда денегъ добыли? Снѣжково заложили. Два года по заграницамъ мы, прости Господи, слонялись, а деньги водой текли. Потомъ, какъ ужъ не осталось ничего, въ Снѣжково переѣхали. Зажили. Хозяйство и все такое. Только вижу я, по глазамъ вижу, не будетъ въ томъ проку. Такъ, по моему, и вышло. Прохозяйничали годъ—и доходовъ ровно на половину убавилось. Прохозяйничали другой,—одна четверть осталась. А Лидіи Андреевнѣ деньги въ сроки подай и подай. Все, что было,—то и высылали. Вѣрите-ли, ваше сіятельство, эти полгода почитай безъ копѣйки въ карманѣ прожили. Иной разъ по недѣлямъ изъ комнаты не выходили, пѣть, играть забыли, отъ пищи отбиваться стали. Того и ждалъ,—руки на себя наложатъ...

— Да ты бы, дуракъ, ко мнѣ написалъ, и я бы къ нему пріѣхалъ!

— Эхъ, ваше сіятельство! — убѣжденнымъ тономъ отвѣчалъ Платонъ: — и не пріѣхали бы, гдѣ ужъ вамъ отсюда въ нашу глушь выбраться. Собираться, это точно, стали-бы, а пріѣхать-то и не удалось-бы... Да я не къ тому, я и жительства-то вашего не зналъ... А вдругъ приказъ: «укладываться!» Ковры это, картины, вещи, книги, небель любимую — въ ящики, и въ три дня — сюда! Остановились въ Европейской, номеръ пятнадцать рублей въ сутки... Я скорѣе по квартирамъ.. Богъ помогъ, вотъ эту сразу найти удалось. Перевезъ ихъ... вотъ видите, а что будетъ дальше, чѣмъ жить будемъ—этого я знать не могу...

Вово сморщилъ лобъ и сдѣлалъ печальную мину, отъ чего сразу подурнѣлъ и постарѣлъ на нѣсколько лѣтъ, сталъ на себя непохожимъ.

— Ну, ужъ вотъ этого я не ожидалъ никакъ!—проговорилъ онъ тоже не своимъ голосомъ.—Что-жъ онъ, Сонечку видѣлъ?

— Никакъ нѣтъ-съ... они, вѣдь, туда, четыре года тому рѣшили, ни въ жизнь ни ногой. Съ запиской я бѣгалъ, просили прислать барышню, да Лидія Андреевна не пускаютъ. Записку прочли, вышли ко мнѣ. Я было къ ручкѣ, а онѣ отъ меня, какъ отъ гадины, голову закинули и такъ гордо: скажи, молъ, своему барину, что онъ напрасно писать безпокоится. Я не стерпѣлъ... про барышню... о здоровьи спрашиваю... думалъ, не выбѣжитъ-ли... вѣдь, на рукахъ носилъ Сонечку, а она меня за усы таскала, любила меня, «платочкомъ» все называла... Да куда тебѣ! повернулись Лидія Андреевна и дверь за собой затворили. Постоялъ я, постоялъ въ прихожей, все барышню поджидалъ, да такъ ни съ чѣмъ и отъѣхалъ. А вы-то, ваше сіятельство, нешто у Лидіи Андреевны не бываете?

— Не бываю; но изрѣдка встрѣчаю...

— И барышню нашу видѣли?

— Недавно видѣлъ... показали мнѣ ее, а то не узналъ бы, вытянулась, вотъ какая большая!

Платонъ опустилъ носъ и высчитывалъ.

— Какъ же не большая, вѣдь, черезъ три мѣсяца двѣнадцать годковъ будетъ,—сказалъ онъ.

— И прехорошенькая, въ отца, или вотъ въ бабушку Софью Михайловну,—кивнулъ Вово на большой фотографическій портретъ, висѣвшій надъ кроватью.

— Какъ же теперь быть?—растерянно прибавилъ онъ.

— Да ужъ сдѣлайте божескую милость, помирите вы насъ съ Лидіей Андреевной—одно осталось.

Вово раздражительно повелъ плечами.

— Ты опять съ этимъ вздоромъ! Неужели ты понять не можешь, что этого никакъ нельзя?..

— А коли окромя этого неминучая погибель?..

Они не слышали какъ проснулся Аникѣевъ, какъ онъ прошелъ по мягкому ковру, и замѣтили его ужъ, когда онъ нѣсколько мгновеній стоялъ у двери.

Платонъ, какъ ужаленный, заметался и юркнулъ въ дверцу, въ глубинѣ спальни. Вово тоже совсѣмъ сконфузился, густо покраснѣлъ и не могъ взглянуть на пріятеля.

Аникѣевъ потянулся, зѣвнулъ.

— Прости, голубчикъ,— сказалъ онъ:—видно, я слишкомъ много выпилъ старыхъ винъ у Натальи Порфирьевны... не знаю какъ это вдругъ заснулъ... Охъ, какъ ужъ поздно!—прибавилъ онъ, взглянувъ на часы.

— Да, пора мнѣ!—встрепенулся Вово:—ну, прощай, Миша, Христосъ съ тобою!

Онъ звонко поцѣловалъ Аникѣева и совсѣмъ по-старушечьи, три раза, быстро-быстро перекрестилъ его.

— A quand?—спрашивалъ онъ выходя въ первую комнату и ища свой «клякъ» и шапку.

— Если ужъ этотъ дурень развивалъ передъ тобой свои планы и на меня жаловался, такъ поговоримъ, я только съ тобой и могу говорить обо всемъ этомъ... Но теперь нельзя же,—и поздно, и силъ нѣтъ, пріѣзжай завтра вечеромъ, часовъ въ одиннадцать... можешь?

— Конечно, могу.

Платонъ Пирожковъ, свѣтя князю на лѣстницѣ, шепнулъ:

— Слышали они... всегда спятъ такъ, что пушками не разбудишь, а нынче вонъ грѣхъ какой... Да ужъ все одно... я уйду, безпремѣнно уйду... силъ моихъ нѣту...

Вово обернулся и молча показалъ ему кулакъ.

XII.

На слѣдующій день, ровно въ половинѣ двѣнадцатаго, лакей разбудилъ князя Вово. Онъ, глядя на часы, десять минутъ зѣвалъ, потягивался и разминался подъ своимъ алымъ атласнымъ стеганымъ одѣяломъ, а затѣмъ сдѣлалъ надъ собою усиліе и спрыгнулъ съ кровати.

Просунувъ ноги въ мягкія туфли и накинувъ мохнатый купальный халатъ, онъ, какъ сумасшедшій, кинулся въ сосѣднюю со спальней ванную. Здѣсь лакей уже ожидалъ его и подхватилъ на ходу сброшенный халатъ. Вово съ крикомъ, визгомъ и фырканьемъ окунулся въ холодную, душистую ванну, поплескался въ ней съ минуту—и выскочилъ продолжая визжать и отфыркиваться.

Лакей накинулъ на него халатъ и принялся, съ почтительнымъ и серьезнымъ выраженіемъ, растирать его до красна.

Затѣмъ послѣдовалъ, въ строгой постепенности, обрядъ умыванья, чистки зубовъ, лощенія ногтей и всякаго прихорашиванья.

Къ половинѣ перваго Вово, въ визитномъ одѣяніи, свѣжій, сіяющій, сидѣлъ въ небольшой своей столовой за завтракомъ. Онъ пробѣжалъ политическія новости въ газетѣ, просмотрѣлъ, уже болѣе внимательно, перемѣщенія по службѣ и назначенія, заглянулъ въ объявленія о смертяхъ и панихидахъ—и отбросилъ газету.

Окончивъ завтракъ, онъ перешелъ въ свой кабинетъ. Кабинетнаго и вообще мужского въ этой комнатѣ оказывалось весьма мало. Это былъ настоящій будуаръ легкомысленной, избалованной женщины. Причудливая низенькая и мягкая мебель. Всюду пришпиленные и набросанные куски старинныхъ пестрыхъ матерій и парчи. Пушистые ковры, тигровыя шкуры, душистые цвѣты въ корзинкахъ, фарфоровыя куколки, мелкія вещицы, альбомы, фотографіи пріятелей и пріятельницъ.

Вово подсѣлъ къ маленькому дамскому письменному столу, просмотрѣлъ кучку приглашеній и записочекъ, а потомъ развернулъ свой бюваръ. На болѣе чѣмъ полдюжинѣ крохотныхъ бумажекъ съ художественно сдѣланнымъ гербомъ Вово набросалъ каллиграфическимъ почеркомъ по нѣскольку привычныхъ французскихъ фразъ, заклеилъ въ конвертики съ такимъ же гербомъ и подавилъ пуговку звонка.

— Вотъ, отошли,—сказалъ онъ вошедшему лакею:—да закладывать скорѣе и никого не принимать, скажи швейцару, а какъ Петръ подастъ карету, сейчасъ же доложи мнѣ.

Сдѣлавъ эти распоряженія, Вово быстро замелькалъ по

своимъ коврамъ и тигровымъ шкурамъ, находясь, очевидно, въ необычномъ нервномъ настроеніи. Ему, дѣйствительно, приходилось рѣшать задачу, а это никакъ ужъ не входило въ его всегдашнее утреннее препровожденіе времени.

Вово нерѣдко брался исполнять чьи-нибудь порученія, даже иной разъ и довольно деликатнаго свойства, требовавшія отъ него осмотрительности и такта. Онъ всѣмъ былъ радъ услужить. Но при этомъ онъ относился къ дѣлу всегда очень спокойно и равнодушно, чужіе интересы и затрудненія не волновали его, не нарушали его внутренняго равновѣсія.

Теперь же онъ волновался,—этотъ «Миша» не выходилъ у него изъ головы и не давалъ ему покою. Вчера, возвращаясь отъ него и даже лежа въ постѣли, онъ думалъ о словахъ Платона Пирожкова.

Сегодня проснулся, и опять, сразу, тѣ же мысли.

Кончилось тѣмъ, что онъ рѣшилъ побывать у Лидіи Андреевны.

Это было не особенно для него пріятно. Лидія Андреевна, со времени своего разрыва съ мужемъ и внезапнаго его отъѣзда изъ Петербурга, сдѣлала все, что можетъ только сдѣлать женщина, для того, чтобы удержать при себѣ всѣхъ его друзей и знакомыхъ. Относительно большинства, и большинства подавляющаго, ей удалось это. Но все же оказалось нѣсколько человѣкъ, незамѣтно прекратившихъ посѣщать ее. Въ ихъ числѣ, и даже раньше другихъ, былъ князь Вово.

Съ тѣхъ поръ, изрѣдка встрѣчая Лидію Андреевну, онъ ясно видѣлъ, что она не только вычеркнула его изъ своего списка,—а прежде онъ пользовался всѣми знаками большого ея расположенія,—но прямо занесла его въ новый списокъ — своихъ личныхъ враговъ. Онъ зналъ, что многіе изъ «ея друзей», поддерживающихъ съ нею постоянныя сношенія, не стѣсняются осуждать ее и подсмѣиваться надъ нею. Онъ же никогда и никому не говорилъ о ней ничего дурного.

Вся эта семейная драма оставалась ему непонятною, и онъ склоненъ былъ считать въ ней виноватымъ, главнымъ образомъ, Аникѣева. Но дѣло въ томъ, что онъ безсознательно любилъ «артиста», влекся къ нему, а Лидія Андреевна никогда не казалась ему привлекательной.

Пока закладывали лошадей, Вово нѣсколько разъ измѣнялъ свое рѣшеніе... Ѣхать сегодня и сейчасъ, чтобы застать навѣрно, ѣхать до вечерняго свиданія съ Аникѣевымъ. Можетъ быть, что-нибудь и выяснится. Потомъ являлась мысль: нѣтъ, лучше подождать, послушать что *онъ* говорить будетъ... Однако, вѣдь, «дятелъ» сказалъ достаточно, и все ясно...

Ѣхать ужасно не хотѣлось.

Все-таки, садясь въ карету, Вово объяснилъ кучеру адресъ Лидіи Андреевны и даже прибавилъ «пошелъ скорѣе».

Карета остановилась у большого, новаго дома на Фурштатской. Швейцаръ весьма предупредительно распахнулъ двери и на вопросъ Вово отвѣтилъ, что госпожа Аникѣева дома. По широкой отлогой лѣстницѣ, на каждой площадкѣ которой оказывалось четыре двери, Вово поднялся въ третій этажъ и прямо передъ собою увидѣлъ ярко-вычищенную мѣдную дощечку Лидіи Андреевны.

Онъ позвонилъ. Ему тотчасъ же отперла франтоватая горничная, впустила его, повѣсила его шубу въ темной передней, пригласила войти и пошла докладывать.

Вово оказался среди просторной гостиной, гдѣ все находилось на своемъ мѣстѣ, какъ всегда бываетъ въ «приличныхъ» домахъ средняго круга. Вово узналъ не мало знакомыхъ прежнихъ вещей. Вотъ и Мишинъ рояль. Но Мишинаго духа, его вкусовъ и слѣда не осталось въ этой комнатѣ... Она полна Лидіей Андреевной, она представляетъ полную противоположность тому жилищу, гдѣ вчера ночью витали призраки и слышались ихъ печальные вздохи. Здѣсь нѣтъ, да чувствуется, что и не можетъ быть, никакихъ призраковъ.

XIII.

Въ сосѣдней комнатѣ легкое покашливанье, шорохъ,—спущенная портьера раздвинулась и пропустила высокую, темноволосую, массивную фигуру Лидіи Андреевны. Совсѣмъ еще молодое,—ей было небольше тридцати лѣтъ,—лицо ея съ крупными очертаніями и большими сѣрыми глазами, многими признавалось очень красивымъ. Въ немъ, однако, недоставало главнаго: изящества и выраженія. Глаза ея ровно ничего не говорили. Вся она казалась какою-то тусклой, несмотря на блескъ волосъ и здоровый румянецъ, почти никогда не сходившій съ ея крѣпкихъ, круглыхъ щекъ.

Лидія Андреевна оказалась въ темномъ, но весьма нарядномъ платьѣ, которому, впрочемъ, тоже недоставало изящества.

На губахъ ея мелькнула не то улыбка, не то усмѣшка, когда она, немного прищурясь, взглянула на Вово и протянула ему руку.

Онъ почтительно поцѣловалъ эту бѣлую, крупную руку, и попробовалъ было сдѣлать ту самую милую и невинную физіономію, за которую ему обыкновенно прощалось очень многое.

На этотъ разъ, однако, «физіономія» не подѣйствовала.

— Князь, какими судьбами? чему я обязана удовольствію

васъ у себя видѣть?—медленно произнесла Лидія Андреевна, присаживаясь на диванчикъ и указывая ему на кресло передъ собою.

«Parbleu! le commencement ne promet pas grand'chose!» подумалъ онъ.

— Я къ вамъ по дѣлу, Лидія Андреевна...

— Я очень хорошо знаю, что безъ дѣла вы бы не пріѣхали, знаю, вѣроятно, и больше того... Вы, конечно, по порученію Михаила Александровича.

— Даю вамъ слово, что безъ всякаго порученія и что онъ бы изумился, если-бъ узналъ, что я у васъ. Пожалуйста, вѣрьте мнѣ, я скажу вамъ все.. если-бъ я пріѣхалъ отъ него или съ его вѣдома, то не сталъ скрывать отъ васъ... croyez-moi, je vous prie!

— Но, вѣдь, вы его видѣли, конечно... я знаю, что онъ въ Петербургѣ уже нѣсколько дней.

— Да, вчера я съ нимъ встрѣтился на вечерѣ у madame Вилимской и потомъ къ нему заѣхалъ вмѣстѣ съ нимъ...

— Вчера... у madame Вилимской?—съ удивленіемъ, помимо своей воли, переспросила Лидія Андреевна и сильно покраснѣла.

Отъ Вово не скрылись ни ея удивленіе, ни краска, ни выраженіе явнаго неудовольствія, мелькнувшее на лицѣ ея.

«Проговорился!»—подумалъ онъ и продолжалъ:

— Миша прямо мнѣ ничего не сказалъ; но изъ двухъ-трехъ его намековъ я не могъ не понять, что онъ и пріѣхалъ-то сюда главное затѣмъ, чтобы видѣть Соню... Voyons, Лидія Андреевна, не дѣлайте сердитаго лица, будемъ говорить откровенно.

Она неласково усмѣхнулась и пожала плечами.

— Говорить съ вами, князь, если-бы вы обратились ко мнѣ по порученію Михаила Александровича... это я еще понимаю...

— Ну, хорошо, конечно... вы правы... Только, вѣдь, вы знаете мои отношенія съ Мишей... Et quis... enfin... я могу обратиться *къ нему* по вашему порученію... Затѣмъ я и пріѣхалъ...

Она опять усмѣхнулась, потомъ сдвинула брови, очевидно соображая.

— Я охотно просила бы васъ передать ему что-нибудь,—медленно сказала она:—но въ томъ-то и дѣло, что мнѣ передавать ему совсѣмъ нечего.. Наши взаимныя отношенія и дѣла окончательно выяснились уже больше четырехъ лѣтъ тому назадъ... и никакихъ вопросовъ, какъ есть ничего, съ моей стороны, по крайней мѣрѣ, теперь, быть не можетъ... я все пережила, какъ смогла, но теперь... теперь это для меня далекое прошлое.

— Вопросъ только въ Сонѣ,—проговорилъ Вово:—отецъ хочетъ видѣть своего ребенка и, я надѣюсь, вы не будете настолько жестоки, чтобы желать лишить его этого права.

— Ah! ne parlons pas de cruauté! — воскликнула, оживляясь, Лидія Андреевна.—Съ *моей* стороны никогда не было и не будетъ никакой жестокости. Какъ ни тяжело мнѣ это, какъ ни вредно это, наконецъ, для моей дочери, я не въ силахъ отказать ему увидѣться съ нею здѣсь, въ моемъ домѣ... Но, вѣдь, онъ, по своему всегдашнему упрямству, по своему деспотическому характеру, чтобы только поставить на своемъ, требуетъ ее къ себѣ. Этого никогда не будетъ! слышите, князь,—никогда!

Лицо ея вдругъ исказилось, стало злымъ и совсѣмъ некрасивымъ. Она поднялась съ мѣста и трагически произнесла:

— Только черезъ мой трупъ Соня переступитъ порогъ его дома! Я переносила все, я всегда поддавалась, не имѣла своей воли... но всему есть предѣлъ, и въ этомъ вопросѣ ни ему, да и никому со мною не справиться. Онъ зналъ на что идетъ, онъ самъ отказался отъ дочери. А у меня только она одна и осталась. Я, кажется, его ни въ чемъ не стѣсняла и не стѣсняю, я ничего не прошу и мнѣ ничего не надо... Если-бъ онъ оставилъ меня безъ всякихъ средствъ, совсѣмъ нищей—я и тогда бы не сказала ни слова, я стала бы работать, чтобы кормить мою дѣвочку. У меня все, какъ есть все отнято, и я молчу; но единственнаго моего сокровища, моего ребенка, я не отдамъ! Передайте же ему это!

Вово глядѣлъ на нее во всѣ глаза и уже почти былъ готовъ восхищаться ею. Онъ никогда не видалъ ее такою, въ такомъ экстазѣ. Жалко Мишу; но, вѣдь, и она права, она мать... и вотъ ей ничего не надо, она готова работать, чтобы кормить своего ребенка.

Однако онъ все же началь соображать кое-что и вспоминать. Его всегдашняя невольная антипатія къ этой женщинѣ прорвалась сквозь восхищенія ея горячей рѣчью.

— Хорошо,—со вздохомъ сказала онъ:—je vais lui dire tout... съ вашей стороны вы, конечно, правы. Сочувствуя Мишѣ, я все же не могу не сочувствовать и вамъ, особенно какъ подумаю о будущемъ... счастье еще, что вы такъ мужественны!..

Лидія Андреевна насторожилась.

— О чемъ вы говорите?—тревожно спросила она.

— Вы, конечно, ужъ знаете каковы теперь денежныя дѣла Миши?

— Ничего я не знаю, — вся замирая, прошептала Лидія Андреевна.

— Онъ разоренъ въ конецъ, благодаря этому негодяю Медынцеву. Снѣжково почти не приноситъ доходу, какой же Миша хозяинъ! Въ банкъ платить нечего, того и гляди съ аукціона продать придется...

Лидія Андреевна забыла все.

— Господи, что-же это! только этого и недоставало!—всплеснула она руками и вдругъ заплакала горько, неудержимо.

Вово поднялся. Но она внѣ себя, всхлипывая, его удерживала.

— Князь... постойте... мнѣ надо поговорить съ вами... пожалуйста, устройте наше свиданіе... вѣдь, онъ въ дѣлахъ какъ малый ребенокъ... я должна помочь ему... мнѣ необходимо его видѣть...

— Ну, вотъ мы и договорились,—скромно сказалъ Вово:— только знайте одно, chère Лидія Андреевна, никто не помышляетъ отнимать у васъ единственное, что вамъ дорого, вашу Соню... но Миша непремѣнно долженъ ее видѣть... отъ этого зависитъ очень многое...

— Боже мой... да развѣ я противъ?!. вы очень, очень ко мнѣ несправедливы... Привезите его ко мнѣ, уговорите его... это будетъ съ вашей стороны истинная дружеская услуга...

XIV.

Садясь въ карету, Вово увидѣлъ подъѣзжавшія извозчичьи сани, а въ саняхъ толстую даму неопредѣленныхъ лѣтъ, съ крупнымъ мясистымъ лицомъ, круглыми сѣрыми глазами на выкатѣ, со вздернутымъ и въ то же время какъ-то странно загнутымъ носикомъ.

«Вдовица Бубеньева... совушка!» — мелькнуло у него въ головѣ. и онъ приподнялъ свою маленькую «котиковую» шапочку.

Но дама, по своей крайней близорукости, не замѣтила ни его самого, ни его поклона. А онъ, несмотря на свою всегдашнюю любезность и услужливость, не нашелъ нужнымъ подойти къ ней. Онъ скорѣе захлопнулъ за собою каретную дверцу, спустилъ переднее стекло, крикнулъ кучеру куда его везти, и помчался.

«Бѣдный Миша!—не то съ гримасой, не то съ усмѣшкой подумалъ онъ: — вѣдь, теперь и косточекъ отъ него не оставятъ вдовица Бубеньева съ Лидіей Андреевной, on va le massacrer... en effigie»...

Между тѣмъ толстая дама, до смѣшного оправдывавшая одно изъ своихъ прозвищъ: «совушка-вдовушка», съ помощью швейцара вылѣзла изъ саней и стала подниматься по лѣстницѣ.

Время отъ времени она комично подпрыгивала, глядя передъ собою во всѣ свои круглые совиные глаза и все-таки наткнулась на кресло, поставленное на одномъ изъ поворотовъ лѣстницы. Она испуганно прищурилась, сразу не отдавая себѣ отчета, на что это такое наткнулась, на неодушевленный пред-

метъ, или живого человѣка. Затѣмъ она грузно упала въ кресло и крикнула:

— Швейцаръ, гдѣ ты тамъ!? Да позвони же къ Лидіи Андреевнѣ, чтобы дверь мнѣ отворили поскорѣе!

Швейцаръ внизу разслышалъ ея пронзительный голосъ, подошелъ къ проведеннымъ изъ квартиръ, помѣщавшимся у вѣшалки электрическимъ звонкамъ, и позвонилъ.

Черезъ минуту дверь на верху отворилась.

Тогда толстая дама закричала:

— Катя, это вы?

Франтоватая горничная Лидіи Андреевны, узнавъ ея голосъ, спустилась къ ней по лѣстницѣ.

— Снимите съ меня, милая, шубку!—отдуваясь и вздыхая, жалобно заговорила дама.—По четвертой лѣстницѣ нынче поднимаюсь, замучилась совсѣмъ... мое больное сердце...

Горничная, не безъ труда, боясь какъ бы гдѣ не лопнуло, стянула съ нея шубку и стала помогать ей взбираться.

Лидія Андреевна встрѣтила madame Бубеньеву въ гостиной и звонко расцѣловалась съ нею:

— Ахъ, chère amie, прикажите стаканъ сахарной воды!—съ глубокимъ вздохомъ выговорила «совушка», протягиваясь на низенькой кушеткѣ. — Сердце у меня... сердце!.. Едва забралась къ вамъ, думала умру на лѣстницѣ... Всю-то жизнь, всѣ непріятности въ одно мѣсто... прямо вотъ сюда, въ сердце! Ну, и нельзя вынести... Je finirai mal, je le sens...

— Mais vous, chère, qu'avez vous donc!? Что съ вами!?—воскликнула она, вдругъ оживляясь, прищуривая глаза и замѣчая слѣды волненія и слезъ на лицѣ своей пріятельницы.

Лидія Андреевна печально махнула рукой.

— Ахъ, дорогая Варвара Егоровна!—съ глубокимъ вздохомъ произнесла она.

Варвара Егоровна забыла свое сердце, спустила ноги съ кушетки и захватила пухлыми руками руку Лидіи Андреевны.

— Il ya du nouveau?! Что такое, что?! Какъ хорошо, что я собралась къ вамъ, у меня это просто предчувствіе вѣрно было, съ утра я о васъ думала и сердце за васъ щемило... Разскажите все, отведите душу... Вы знаете, какъ я люблю васъ, какъ высоко цѣню всѣ ваши душевныя качества и героизмъ въ несчастіяхъ. Вы знаете, что я все это время, всѣ эти годы, вашъ самый горячій адвокатъ!

— Знаю, милая Варвара Егоровна!—съ новымъ вздохомъ сказала Лидія Андреевна, цѣлуя пріятельницу въ толстую, дряблую и пылавшую щеку.—Вы не встрѣтили на лѣстницѣ князя Вово?

— Князя Вово?—протянула Бубеньева:—нѣтъ! Правда, мнѣ

показалось, когда я подъѣзжала, какъ будто карета стояла и кто-то въ нее садился. Вы знаете, я такъ удивительно близорука... Могъ бы, кажется, подойти, не со вчерашняго дня знакомы!.. Такъ онъ былъ у васъ? Посланцемъ, конечно?

Лидія Андреевна заперла дверь въ переднюю, печально подсѣла къ пріятельницѣ, еще глубже вздохнула. Во всей ея фигурѣ, грустно упавшихъ на колѣни рукахъ, въ глазахъ, безнадежно устремленныхъ куда-то прямо передъ собою, въ опущенныхъ и жалобно подергивающихся углахъ губъ, — выражалась кроткая покорность судьбѣ.

Тихимъ и зачѣмъ-то таинственнымъ шопотомъ разсказала она во всѣхъ подробностяхъ свою бесѣду съ хорошенькимъ княземъ. Она ничего не перепутала и даже не прибавила. Но тѣмъ не менѣе, вслѣдствіе нѣсколькихъ штриховъ и оттѣнковъ, бесѣда эта въ ея устахъ приняла совсѣмъ новый характеръ. Изъ-за нее вдругъ выглянулъ ужасный человѣкъ, злодѣй и мучитель.

И этотъ ужасный человѣкъ, злодѣй и мучитель былъ, конечно, Аникѣевъ. Выходило достаточно ясно, что онъ и разорился-то съ единственною цѣлью истерзать сердце Лидіи Андреевны.

Именно такъ отнеслась къ этой печальной новости Варвара Егоровна.

— C'est abominable!—взвизгнула она и вплеснула руками:— за что вамъ такое испытаніе, бѣдная моя? вѣдь, это непростительно, ужасно! только этого и недоставало!

— Только этого и недоставало!—трагическимъ голосомъ повторила за нею Лидія Андреевна свою любимую фразу, и неудержимыя слезы, какъ въ ту минуту, когда Вово сообщилъ ей горькую новость, брызнули изъ глазъ ея.

Однако, она ихъ удержала и заговорила, прижимая къ глазамъ платокъ.

— Но, вѣдь, вы понимаете, нельзя же допустить это... нельзя! Мнѣ ничего не надо, я давно ужъ отказалась отъ всего... Не во мнѣ тутъ дѣло, а въ Сонѣ! За что же онъ ее нищей дѣлаетъ?!

— Да! ужъ его отношеніе къ дочери!—воскликнула Варвара Егоровна:—ça n'a pas de nom... и онъ очень ошибается, думая, что все можно. Нашъ свѣтъ прощаетъ многое, смотритъ сквозь пальцы на всякій развратъ, но такое отношеніе къ своему ни въ чемъ неповинному ребенку, нѣтъ, на этомъ онъ оборвался! Знаете, когда я кому-нибудь разсказываю... что бы я ни говорила о немъ — ничто не производитъ никакого впечатлѣнія; только и всего что отмалчиваются, пожимаютъ плечами, говорятъ: «Ну да, конечно, это дурно, очень дурно», и въ то же время я чувствую, что это совсѣмъ не то, совсѣмъ не то, нѣтъ

никакого возмущенія, слова и больше ничего! А вотъ какъ я скажу о Сонѣ, сразу всѣ приходятъ въ ужасъ и васъ жалѣть начинаютъ. Ваша сила въ Сонѣ, я вамъ давно это говорю...

— Да, вѣдь, я же и не спорю!—сказала Лидія Андреевна.— Боже мой, Боже мой, что вынесла я въ жизни ради этой дѣвочки! никто въ мірѣ не знаетъ, каково мнѣ было. Я скрывала отъ всѣхъ... вѣдь, вы сами считали насъ счастливыми, примѣрными супругами и, помните, какъ удивились тогда... вѣрить не хотѣли...

— Еще бы!—крикнула Варвара Егоровна: — какъ съ небесъ упало, онъ мнѣ казался всегда такимъ хорошимъ, гуманнымъ человѣкомъ и, главное, человѣкомъ съ сердцемъ. Я всѣмъ такъ и говорила про него: вотъ семьянинъ, вотъ идеальный человѣкъ!.. Эти годы вашего молчаливаго страданія, я всегда всѣмъ на нихъ указываю... Потомъ, какъ ужъ это случилось, я, конечно, многое припоминать стала и поняла. О, онъ хитрый человѣкъ, онъ умѣлъ отводить глаза!

— Конечно, умѣлъ!—усмѣхнулась Лидія Андреевна, и по лицу ея пробѣжала злая гримаса.—Я, разумѣется, молчу и теперь передъ всѣми. Я не изъ тѣхъ, которыя любятъ выставлять на показъ все некрасивое, всю грязь... Наконецъ, я все же ношу его имя; но иной разъ таить въ себѣ все тяжело...

Она ударила себя въ грудь рукой и приготовилась плакать.

Варвара Егоровна кинулась къ ней, обняла ее, начала громко цѣловать.

— Успокойтесь, голубушка, не разстраивайте себя, знаю я какъ тяжело все таить, по себѣ знаю... Я, вѣдь, тоже таю не мало, моя жизнь не легче вашей, можетъ быть, еще ужаснѣе. Но, вѣдь, мнѣ-то, мнѣ вы можете говорить все, вы знаете, какъ я люблю васъ... довѣренное мнѣ не пропадетъ, все равно какъ положенное въ государственный банкъ на храненіе...

Ей показалось, что она сострила, и она сама себѣ улыбнулась.

«Вотъ дура»! пронеслось въ мысляхъ Лидіи Андреевны.

Но это было совсѣмъ, совсѣмъ невольно, и тотчасъ же забылось.

Она глядѣла на круглое совиное лицо вдовушки, на ея влажные, быстро мигавшіе глаза съ дружескимъ довѣріемъ.

Она заговорила:

— Отъ васъ не таюсь. Правда, иной разъ силъ нѣтъ молчать... Что меня убиваетъ, такъ это фальшь. Вѣдь, онъ самый фальшивый человѣкъ, какого можно себѣ представить! Подумайте только... Я на него молилась, я ему вѣрила, какъ Богу, я считала его просто святымъ какимъ-то, готова была за нимъ въ

огонь и воду... И все это только маска, всѣ его громкія фразы, вся его поэзія... Это человѣкъ безъ нравственныхъ убѣжденій, лѣнтяй и деспотъ. Къ тому же, повѣрите ли, иной разъ я поневолѣ начинала думать, что онъ... что у него въ головѣ не совсѣмъ въ порядкѣ...

— Я это давно уже говорю, всѣмъ говорю!—перебивая ее воскликнула Варвара Егоровна.

Лидія Андреевна подняла глаза, и взглядъ ея случайно упалъ на довольно большой портретъ Аникѣева, не безъ цѣли выставленный въ этой гостиной. На нее, какъ живое, глянуло тонкое лицо артиста съ этой характерной прядью волосъ, непослушно падавшей на широкій лобъ. Свѣтлые глаза, своимъ загадочнымъ и строгимъ выраженіемъ, будто спрашивали ее: «Такъ я сумасшедшій?»

И она потупилась. Но тутъ же ее вдругъ охватила вся злоба, все негодованіе, вся жажда мести, которыя давно, давно ее душили.

— Если онъ сумасшедшій, для него же лучше,—сказала она:— тогда ему есть хоть оправданіе. Нѣтъ, онъ не сумасшедшій, онъ просто-на-просто избалованный эгоистъ безо всякаго чувства! Онъ никогда, никогда не любилъ меня и не цѣнилъ. Ну, скажите, вы меня знаете, развѣ ужъ я въ самомъ дѣлѣ такая дурная женщина? Развѣ я была ему плохою женой?!

— Ахъ, что вы говорите!—крикнула madame Бубеньева, опять принимаясь цѣловать ее.—Ужъ относительно него вы чисты, какъ кристалъ! Онъ былъ за вами какъ за каменной стѣною. Вы говорите «избалованный», да вы же первая его избаловали.

— Нѣтъ, не я,—съ убѣжденіемъ отвѣтила Лидія Андреевна.— Онъ попалъ мнѣ въ руки совсѣмъ ужъ испорченнымъ. Да и потомъ... Вѣдь, я была такъ молода, почти ребенокъ, развѣ я что-нибудь понимала! А когда понимать стала—было уже поздно. Самое ужасное это то, что онъ никогда и не въ чемъ меня не слушался. Онъ считалъ меня глупой и даже не скрывалъ этого. Уменъ былъ только онъ одинъ...

— Нечего сказать, очень!—язвительно перебила Варвара Егоровна:—если-бъ уменъ былъ, такъ теперь все было бы совсѣмъ иначе.

— Именно, что все было бы совсѣмъ иначе,—согласилась съ нею Лидія Андреевна: — я все, все заранѣе предчувствовала, и Богъ видитъ, что сдѣлала все для того, чтобъ отвратить погибель. Когда, послѣ кончины maman и раздѣла, дѣла стали запутываться, все можно было еще спасти, все было въ рукахъ. Ему необходимо было начать службу. Я умоляла, я приставала до того, что онъ, наконецъ, согласился. Былъ причисленъ... Вы знаете ли, я дѣйствовала очень осторожно и почти все уже со-

всѣмъ устроила. Было обѣщано прекрасное назначеніе. И чѣмъ же все кончилось! Я со всѣми моими хлопотами въ дурахъ только осталась. Онъ, видите, не сошелся во взглядахъ, онъ, видите ли, не можетъ говорить то, чего не думаетъ, не можетъ дѣлать того, что считаетъ безполезнымъ или вреднымъ. Онъ не можетъ торчать въ переднихъ, лебезить и подлизываться—это его выраженія... Одинъ умнѣйшій человѣкъ, да и вы его знаете,—Николай Ѳедоровичъ,—просто рвалъ и металъ тогда, себя ему въ примѣръ ставилъ, былъ такъ добръ, что училъ его.

— И что же?

— А онъ ему вдругъ при мнѣ: развѣ вы тоже достигли своего положенія такимъ путемъ, развѣ вы тоже по переднимъ бѣгали и кланялись? А Николай Ѳедоровичъ, это, вѣдь, добрѣйшій человѣкъ, и онъ къ намъ расположенъ былъ, онъ ему прямо: «да, говоритъ, только и добился этимъ, что же дѣлать.» Ну, словомъ, ничего не вышло, кромѣ непріятностей. Кричалъ, кричалъ, мучилъ меня: я, видите ли, заставляю его унижаться, отравляю ему душу, я запрятала его въ темный чуланъ, гдѣ нѣтъ ни свѣта, ни воздуха. Это его любимое сравненіе было. А какой же чуланъ, куда я могла его запереть, когда никакого вліянія я на него не имѣла, когда онъ всегда все дѣлалъ по-своему. Мнѣ оставалось только глядѣть на эти чудачества и мучиться. Мошенникъ придетъ въ домъ, на лицѣ написано, что мошенникъ, подольстится къ нему, и онъ сейчасъ же его за святого считаетъ. Тотъ ему въ карманъ лѣзетъ; а онъ ему карманъ и выворачиваетъ. Вѣдь, его, я думаю, всѣ петербургскіе жулики знали, такъ прямо и идутъ, разскажутъ какую-нибудь сказку, онъ имъ и выложитъ свои послѣднія деньги. Мнѣ нужно на хозяйство, на Соню, на самыя первыя необходимости—нѣтъ денегъ. Да гдѣ же онѣ, вѣдь, недавно сколько было?! Тутъ вотъ и приходилось узнавать всякія прелести.

— Воля ваша, или сумасшедшій, или ужъ отъ своего этого ужаснаго характера, чтобы вамъ досадить и страдать заставить!— перебила madame Бубеньева. Но Лидія Андреевна, поглощенная воспоминаніями, не обратила вниманія на ея слова и продолжала:

— Я письма перехватывала, никого до него не допускала, и все-таки не уберегла. Довѣрился онъ этому каторжнику Медынцеву, отдалъ ему весь капиталъ. Я какъ узнала, въ ужасъ пришла. Только, конечно, сама еще тогда не знала, какой это негодяй Медынцевъ... А онъ меня успокоиваетъ, говоритъ: «вотъ ты меня считаешь ни на что не способнымъ, не практичнымъ, такъ я докажу тебѣ обратное. Меньше чѣмъ черезъ годъ нашъ капиталъ удвоится». Ну, вы знаете, черезъ годъ не было ни капитала, ни Медынцева. Кажется урокъ хорошій на всю жизнь,

кажется, послѣ этого можно придти въ себя и начать меня слушаться, а онъ—какимъ былъ, такимъ и остался.

— Да, ужасный, ужасный человѣкъ!.. — повторяла качая головою Варвара Егоровна:—счастье еще, что у васъ одна Соня.

— Хоть и одна Соня, а все же, вѣдь, и ей жить надо!—съ отчаяніемъ въ голосѣ воскликнула Лидія Андреевна.

— Что же вы теперь думаете дѣлать?

— А ужъ и не знаю. Я въ такомъ чаду, что не могу собраться съ мыслями.

— Знаете что?!—внезапно сообразила Варвара Егоровна:—времени терять нечего, вѣдь, теперь все ясно, онъ расточитель, его необходимо взять подъ опеку, только этимъ способомъ можно еще спасти то, что осталось!

Лидія Андреевна задумалась.

Потомъ она схватила свою голову руками и громко заплакала.

— Я не могу больше!—кричала она, совсѣмъ уже не владѣя собою:—я не хочу нищеты, я его жалѣла, я не жаловалась, выносила все. Но вижу, что моя деликатность съ нимъ насъ только погубитъ... Я его не буду жалѣть больше... я сорву съ него маску... пусть всѣ видятъ, какой это человѣкъ!.. Ахъ, скажите, пожалуйста, артистъ, талантъ, идеалистъ, художникъ!.. развратный, низкій человѣкъ—и ничего больше, самый жестокій эгоистъ—вотъ онъ кто!..

Она остановилась переводя духъ.

Въ это время за спущенною портьерой, изъ сосѣдняго будуара, раздались горькія всхлипыванія.

Лидія Андреевна стремительно кинулась туда и заглянула за портьеру.

Прелестная худенькая дѣвочка съ длинною тяжелою бѣлокурою косой стояла посреди будуара, вся какъ-то съежившись, вся трепеща и горько, горько плача.

— Зачѣмъ ты здѣсь? Что ты тутъ дѣлаешь? Чего ты ревешь? Какъ ты смѣешь подкрадываться? Вѣдь, я тебѣ сколько разъ запрещала!..—крикнула Лидія Андреевна.

Дѣвочка подняла великолѣпные глаза, полные слезъ, испуганно и безсмысленно посмотрѣла на нее, притиснула руку съ мокрымъ платкомъ себѣ къ груди—и стремительно убѣжала.

XV.

Лидія Андреевна заперла на ключъ дверь изъ будуара въ корридоръ и вернулась къ своей гостьѣ.

— Что это съ Соней?—спрашивала Варвара Егоровна:—она плакала? неужели слышала?

— А вотъ видите!—заговорила Лидія Андреевна, въ волненіи ходя по гостиной:—это еще мое мученье... несносная дѣвочка, вѣчно какъ-то подкрадывается и слышитъ то, чего ей не слѣдуетъ слышать. Плакса, нервная, обидчивая... мука, мука мнѣ съ нею! Вѣдь, сколько времени просто дышать она мнѣ не давала—все объ отцѣ, все объ отцѣ... такая тоска! и никакими мѣрами я не могла съ нею сладить. Ну, наконецъ, слава Богу, перестала, ни слова теперь о немъ никогда...

— Вы думаете, она его забыла?

— Нѣтъ, я этого не думаю... Только... дѣти, вѣдь, очень чутки, она понимать начинаетъ, какъ онъ виноватъ передо мною... такъ никогда о немъ и не заговариваетъ... Вотъ эти слезы ея, эта нервность!.. Надо лѣтомъ непремѣнно везти ее, если не за границу, такъ хоть въ Крымъ... Въ морѣ ей купаться, чтобы окрѣпнуть... Кумысъ тоже ей принесетъ пользу... Я ужъ съ докторомъ говорила, онъ со мною согласенъ, находитъ, что надо везти ее непремѣнно... А тутъ эти дѣла, эти ужасы относительно Снѣжкова! Что-жъ такое будетъ!

— Я говорю, надо опеку, — рѣшительно объявила Варвара Егоровна:—а то, вѣдь, чего добраго, онъ послѣднее возьметъ, да и отдастъ кому-нибудь, какой-нибудь женщинѣ...

— Вы слышали? что такое? новое еще?—глухимъ голосомъ произнесла Лидія Андреевна, остановясь передъ нею.

— Нѣтъ, я ровно ничего не слыхала... я такъ, свое предположеніе...

— Говорите, говорите все, не скрывайте отъ меня, ради Бога!

— Милочка, не волнуйтесь, ma parole, я ничего не слыхала... если бы слышала что... развѣ вы меня не знаете, я бы ни минуты не могла скрыть отъ васъ, прямо бы къ вамъ...

Лидія Андреевна, дѣйствительно знала, ее, а потому могла ей повѣрить. Стала бы она скрывать!—Первая прибѣжала бы, да еще и съ разными прибавленіями.

— Ахъ, зачѣмъ только вы коснулись этой гадости!—съ брезгливымъ жестомъ вдругъ воскликнула Лидія Андреевна.—Отвратительно, тошно и подумать! Ну, какъ же не фальшь, не жалкая, грязная комедія! Идеалистъ, художникъ! Вѣдь, это началось съ перваго времени, я вамъ, кажется, говорила... Какой же онъ мужъ, какой семьянинъ? И чего онъ отъ меня требовалъ! Смѣшно и противно вспомнить. Онъ не могъ выносить ночной кофты, папильотокъ, ну, и всего такого... онъ былъ бы доволенъ, еслибъ я сидѣла всегда передъ нимъ въ бальномъ платьѣ, съ цвѣтами въ волосахъ, сидѣла бы и съ нимъ кокетничала, принимала разныя граціозныя позы, вела поэтическіе разговоры.

— Жизнь не бальная зала и не поэзія, la vie est toujours

la vie!—глубокомысленно замѣтила Варвара Егоровна:—безъ ночныхъ кофточекъ можно только простуду схватить — и ничего больше!

— Вотъ это самое и я ему говорила, хоть и была еще тогда совсѣмъ дѣвчонкой... Я ему говорила: я тебѣ жена, а не танцовщица!... Вѣдь, не могла же я въ самомъ дѣлѣ стѣснять себя съ утра и до вечера у себя въ домѣ, играть вѣчно роль куртизанки... Аспазіи какой-то, чтобы ему нравиться. Я никогда ни на одного мужчину не взглянула; но это, кажется, ему было не по вкусу. «Если не для меня, такъ хоть для другихъ будь привлекательна, будь женщиной!» Такъ и говорилъ...

— C'est un monstre de perversité! чудовище!—въ негодованіи взвизгнула madame Бубеньева.

— И двухъ лѣтъ не прошло послѣ нашей свадьбы, какъ онъ сталъ все чаще и чаще объявлять мнѣ, что я «оскорбляю его эстетическое чувство». Я, говоритъ, не могу жить безъ красоты и гармоніи... Какъ вамъ это покажется! вѣдь, повѣрить трудно!

— Dieu sait quoi!

Варвара Егоровна пожала плечами и фыркнула своимъ совинымъ носикомъ.

— Ну, скоро и стала я замѣчать, что онъ ищетъ эту свою красоту и гармонію... сначала, конечно, мучилась, оскорблялась, унижалась до ревности, объяснялась съ нимъ, плакала, больная лежала, а потомъ ужъ и рукой махнула. Я слышала, онъ обвинялъ меня въ томъ, что я рѣдко дома бывала... Прежде я любила и музыку, и пѣніе; но, вѣдь, всему есть предѣлъ, онъ до одуренія меня довелъ своею музыкой, своимъ пѣніемъ, своею этою артистичностью и поэзіей! Дуры всякія, въ него влюбленныя, появляться стали, а онъ все браковалъ: не то, говоритъ не то! Каково же было все это выносить порядочной женщинѣ!

— А, вѣдь, у васъ весело бывало!— неожиданно для самой себя воскликнула Варвара Егоровна, очевидно вспомнивъ что-то пріятное.

— Можетъ, кому и было весело, только не мнѣ. Всѣ веселились, а я хлопотала и видѣла, что мы живемъ не по средствамъ. Къ тому же я терпѣть не могу этого вѣчнаго цыганскаго табора, этой безалаберщины, шума. И чего, чего стóили всѣ эти обѣды, да ужины! А дѣла—хуже, да хуже! Со службой ничего не вышло. Вдругъ, полное разочарованіе! все надоѣло, все невыносимо, скорѣе въ деревню, въ Снѣжково. Это въ февралѣ-то, въ глушь! Для меня, вы знаете, хуже деревни быть ничего не можетъ. Мнѣ надо очень, очень мало; но безъ Петербурга я жить не могу. Отправился одинъ; я сократила расходы.. Пріѣзжаю въ Снѣжково въ концѣ мая. Онъ неузнаваемъ, за-

горѣлъ, глаза блестятъ... Такъ сразу и встрѣтилъ: кузина, кузина, Алина, Алина! Какая еще тамъ кузина проявилась! Никогда о ней и слуху не было, седьмая вода на киселѣ...

— Да развѣ же вы ее прежде не знали?

— И во снѣ не снилась... maman никогда ни слова... въ Харьковѣ онѣ жили... отецъ, Лукановъ, служилъ тамъ, предсѣдателемъ что ли какой-то палаты. Умеръ, жить нечѣмъ, дѣвчонка эта съ больною матерью поневолѣ и перѣхала въ деревню, совсѣмъ маленькое у нихъ имѣньице, въ пяти верстахъ отъ Снѣжкова...

— Что-жъ, вы такъ сразу и замѣти ли?

— Онъ и не скрывался! тотчасъ же отрекомендовалъ свою красавицу... Отъ нее не отходитъ, такъ и ѣстъ ее глазами, всѣ дни тамъ, въ ихъ старомъ гниломъ домишкѣ пропадаетъ. А потомъ вдругъ пришелъ—и прямо:

— Lydie, я не могу молчать, я люблю ее безумно, фатально, дѣлай что знаешь...

— Что-жъ вы ему на это? вѣдь, вы никогда, никогда такъ подробно объ этомъ мнѣ не разсказывали,—съ жаднымъ интересомъ спрашивала madame Бубеньева.

— Развѣ мнѣ пріятно вспомнить объ этихъ гадостяхъ!—съ большимъ достоинствомъ произнесла Лидія Андреевна.—Я отстранилась, я не хотѣла ничего видѣть, ничего знать. Я въ началѣ августа взяла Соню съ гувернанткой и вернулась въ Петербургъ. Что-жъ другое я могла сдѣлать?

— Еще бы! О, моя бѣдная!—съ нѣкоторымъ разочарованіемъ протянула «совушка», хлопая глазами.—Mais enfin, ну, скажите мнѣ, я никому... если хотите, да и какая же тутъ тайна?.. Было между ними что-нибудь?...

— Это ужъ надо спросить у ея умнаго и красиваго князя, за котораго она выскочила... какъ она такое смастерила—удивительно!... Но, вѣдь, у меня свои глаза, и я имъ вѣрю...—съ гадливою гримасой медленнно проговорила Лидія Андреевна.

— Я такъ всѣмъ и говорила... Михаилъ Александровичъ былъ тогда, предъ ея свадьбой и послѣ, ужасенъ... я помню!

— Да, я помню это, конечно, лучше чѣмъ вы... Я все на себѣ вынесла... цѣлыхъ полтора года! Никакія влюбленныя въ него психопатки его не развлекали... Только всѣ же отошло, перемололось, кончилъ онъ свой трауръ по Алинѣ и опять началъ искать «красоту и гармонію». Ну, и нашелъ, наконецъ, психопатку, бросилъ меня и Соню, скрылся со своею «артисткой» за границу, а тамъ, кажется, очень скоро она его самого бросила...

— Фуроръ теперь она здѣсь производитъ. Вы были на ея послѣднемъ концертѣ?

Лидія Андреевна только посмотрѣла съ удивленіемъ на «совушку», дернула плечомъ и даже ничего ей не отвѣтила.

Въ дверь раздался стукъ и, получивъ разрѣшеніе, горничная внесла чай съ вареньями и печеніемъ.

— А наливки хотите?...—спросила хозяйка

— Вы знаете, я отъ этого никогда не отказываюсь, у васъ такія чудныя наливки, и совсѣмъ не крѣпки.

Лидія Андреевна едва замѣтно улыбнулась.

Пріятельницы подсѣли къ маленькому чайному столику и внезапно, сами того не замѣчая, измѣнили тему разговора. Слѣды слезъ и волненія исчезли съ лица Лидіи Андреевны. На сцену выступила скабрезная исторія общей пріятельницы, которая, отправивъ мужа въ долгую командировку, увлеклась молодымъ учителемъ сына самымъ «наглядным» образомъ. Пріятельницу смѣнилъ романъ Поля Бурже, потомъ Михайловскій театръ, несравненные, прелестные его актеры: Вальбель и Гитри и, наконецъ, все померкло и стушевалось предъ новостями Гостинаго двора.

Варвара Егоровна очень ловко и незамѣтно уничтожала рюмку за рюмкой густую сладкую вишневку, пока, наконецъ, лицо ея не стало пылать, а круглые глаза не подернулись масляною пленкой.

На сцену опять появилась легкомысленная пріятельница.

— C'est ignoble!—негодовала Лидія Андреевна.

— Et avec ça, вѣдь, ея Иванъ Иванычъ... il est très bien... прекрасный мужчина! Очень, очень пріятный, я вотъ именно такимъ могла бы увлечься!—откровенно объявила «совушка».—Съ ея стороны это просто развратъ... О, Боже мой! Вотъ я сколько лѣтъ вдовой, я только про то знаю, какъ мнѣ это трудно... но, вѣдь, я же себѣ никогда, никогда ничего не позволила! Замужъ, да! а такъ... хоть умереть,—честь дороже всего въ мірѣ! Я не способна на паденіе!

Добродѣтельная «совушка» уже болѣе десяти лѣтъ упорно искала по всѣмъ гвардейскимъ полкамъ и министерствамъ того, кто толкнулъ бы ее такъ, чтобы она упала. Но всѣ ея старанія оставались всегда тщетными. Не обладая красотой и богатствомъ, она, вдобавокъ, не умѣла скрывать своихъ матримоніальныхъ цѣлей. Мужчины бѣгали отъ нея, какъ отъ огня, и пуще всего боялись оставаться съ нею глазъ на глазъ. Поэтому ей очень часто казалось, что ее обижаютъ. Она любила дать понять, что такой-то и такой-то къ ней неравнодушенъ, и что если-бъ не ея добродѣтель и строгость... Она любила двусмысленные разговоры, могла перепить любого мужчину, жаловалась на болѣзнь сердца и время отъ времени впадала въ истерику—

отъ избытка добродѣтели. Она, конечно, убавляла себѣ по меньшей мѣрѣ лѣтъ восемь и была искренно увѣрена, что ей вѣрятъ.

— Богъ мой, какъ я съ вами засидѣлась! всегда такъ!—воскликнула, наконецъ, Варвара Егоровна, къ самымъ глазамъ поднося свои часики.—Такъ что-жъ, cherie, вы послѣдуете моему совѣту? Опека и, главное, скорѣе!

— Увидимъ! — раздумчиво отвѣтила Лидія Андреевна: — я должна, какъ это ни ужасно, съ нимъ увидаться...

— Онъ у васъ будетъ! только бы съ нимъ не столкнуться... Я не хочу его видѣть, а если увижу, вы меня знаете, выскажу все мое презрѣніе... Я слишкомъ люблю васъ!

Она поднялась съ кресла и схватилась за сердце.

— Ахъ, мое бѣдное сердце! оно чувствуетъ ваши несчастія какъ свои... Ай-ай голова!

У нея, дѣйствительно, кружилась голова отъ предательски крѣпкой, на спирту настоенной вишневки. Пошатываясь вышла она въ переднюю.

— Ужъ вы, милая Катя, пожалуйста, сведите меня съ лѣстницы,—говорила она горничной, одѣваясь: — отъ сердца голова кружится...

Горничная, благо было темно въ передней, пофыркивала себѣ въ кулакъ, застегивая ея шубку.

Сползла «совушка» съ лѣстницы благополучно, швейцаръ кликнулъ извозчика, усадилъ ее въ сани и пристегнулъ полостью.

На поворотѣ сани столкнулись съ другими извозчичьими санями. «Совушка» близко-близко разглядѣла красивое лицо молодого незнакомаго офицера, не воздержалась—и очень выразительно ему подмигнула.

«Ишь, старая сова!.. туда же!»—весело подумалъ онъ отъѣзжая.

XVI.

У подъѣзда на набережной остановилась щегольская карета. Выѣздной лакей поразительно быстро слетѣлъ съ козелъ и распахнулъ дверцу. Въ то же мгновеніе чудесная сквозная дверь дома, черезъ которую по вечерамъ прохожіе могли любоваться на художественную обстановку широкихъ сѣней съ колонами и перспективу отлогой лѣстницы,—безшумно отворилась.

Княгиня Алина, пахнувъ неопредѣленнымъ, какимъ-то весеннимъ запаховъ тонкихъ духовъ, мелькнула на подъѣздѣ, потомъ у лѣстницы, сбросила подбитую темнымъ соболемъ накидку на руки лакея и легко, едва касаясь мягкаго ковра, поднялась къ себѣ, въ обширную квартиру втораго этажа.

— Князь у себя?—спросила она.

— Съ полчаса какъ изволили выѣхать, ваше сіятельство,— отвѣтилъ ей мягкимъ басомъ старый лакей, почтительно обращая ея вниманіе на серебряный подносикъ съ нѣсколькими визитными карточками лицъ, пріѣзжавшихъ къ ней въ ея отсутствіе изъ дому.

Она перебрала карточки своею маленькою тонкою рукой, затянутою въ перчатку. Увидѣвъ одну изъ нихъ, она едва замѣтно сама себѣ кивнула головой—вслѣдъ за этимъ визитомъ непремѣнно должно получиться важное для нея приглашеніе, которое она подготовляла уже двѣ недѣли. Остальныя карточки были не особенно интересны.

Алина прошла дальше, черезъ нѣсколько высокихъ, съ большимъ вкусомъ устроенныхъ комнатъ—и очутилась въ своей спальнѣ, передъ большимъ трюмо, отразившимъ ея прелестную фигуру. Снявъ шляпку, она прижала пуговку электрическаго звонка на туалетномъ столѣ.

Вошла молоденькая, стройная горничная, въ темномъ шерстяномъ платьицѣ и шелковомъ передничкѣ, съ манерами скромной институтки, съ хорошенькимъ, весьма неглупымъ лицомъ, которому она, очевидно намѣренно, придавала постное выраженіе.

— Скорѣе, Вѣра, переодѣваться... я ужасно устала—и поздно!—сказала княгиня, и по едва уловимому оттѣнку въ тонѣ этого обращенія можно было заключить, что хорошенькая горничная пользуется ея особенными милостями.

— Что же, надѣнете, ваше сіятельство?—освѣдомилась Вѣра.

— Я никого сегодня не принимаю и вечеромъ никуда не выѣду... со мной будетъ только обѣдать мой пріѣзжій родственникъ, котораго я давно-давно не видала... Принеси что-нибудь мягкое, теплое...

Вѣра подняла на княгиню свои большіе, зеленоватые, хитрые глаза, но тотчасъ же ихъ опустила и вкрадчивымъ голоскомъ произнесла:

— Слушаю-съ... понимаю.

Она исчезла, а княгиня, уйдя вглубь спальни, за свою высокую кровать, устроенную по заграничному въ нишѣ подъ балдахиномъ, стала спѣшно раздѣваться...

«La belle» провела этотъ день, какъ и всегда. Она проснулась въ обычный часъ, во-время одѣлась, позавтракала съ аппетитомъ. Она только приказала подать себѣ «меню» сегодняшняго обѣда, чего почти никогда не дѣлала, и очень смутила повара, потребовавъ отъ него значительныхъ измѣненій.

Въ третьемъ часу она выѣхала, сдѣлала нѣсколько необходимыхъ визитовъ и заѣхала въ благотворительное учрежденіе, гдѣ была «главною дѣятельницей».

Никто не могъ замѣтить въ ней чего-либо новаго. Таже ослѣпительная красота, сознающая себя и требующая восторженнаго, почтительнаго поклоненія. Каждое слово, каждое движеніе обдуманны, такъ что ни къ чему нельзя придраться.

Въ свѣтѣ, конечно, не могли не злословить и не подшучивать надъ Алиной по поводу ея «невозможнаго» мужа; но злословіе и шуточки съ каждымъ годомъ стихали. Она сумѣла себя поставить, побѣдила зависть, возбужденную ея рѣдкою красотой, отняла оружіе у вражды своимъ тактомъ и безупречнымъ поведеніемъ.

Въ первые годы ея замужества на ея сердцѣ была самая ожесточенная травля и облава. Такъ молода, такая красавица и такой отвратительный идіотъ мужъ! Не находилось, кажется, ни одного свѣтскаго человѣка, который бы не испробовалъ надъ нею свои чары, не подвергъ ее самому разнообразному ухаживанію. Но она оставалась холодна и неприступна, очень ловко и рѣшительно указывала своимъ поклонникамъ ихъ настоящее мѣсто. Притомъ она дѣлала все въ мірѣ, чтобъ ихъ не обидѣть, не нажить себѣ враговъ. Ей удавалось это, такъ какъ она никому не отдавала предпочтенія и всѣ это чувствовали.

Она всюду являлась подъ руку съ уродомъ-мужемъ, выдѣляя еще больше свою красоту его безобразіемъ и усугубляя его безобразіе своею красотой. Наконецъ, рѣшили, что она не женщина, а только внѣшнимъ образомъ оживленная статуя.

Впрочемъ, Вово разносилъ другую легенду: онъ увѣрялъ, что «la bête» разъ навсегда привелъ ее въ ужасъ, и вотъ она вѣчно живетъ подъ этимъ впечатлѣніемъ.

— Онъ увѣрилъ ее, что онъ такой-же мужчина, какъ и всѣ— и съ тѣхъ поръ она чувствуетъ отвращеніе ко всему мужскому роду. . que voulez-vous! c'est plus fort qu'elle... parole! je le tiens de bonne source!—съ самымъ серьезнымъ лицомъ толковалъ онъ, всюду, особенно дамамъ.

У нея не было друзей, ни мужчинъ, ни женщинъ, не было своего интимнаго кружка; но пожилыя дамы, во главѣ съ Натальей Порфирьевной, очень къ ней благоволили и устроили ей въ обществѣ прекрасное положеніе. О томъ—счастлива ли она или несчастна, какъ живетъ, что скрывается подъ этою великолѣпною оболочкой—никто не зналъ, да и знать не хотѣлъ: «дитя не плачетъ—мать не разумѣетъ», а ужъ свѣтъ и подавно...

Между тѣмъ, хоть и незамѣтно было въ Алинѣ и на этотъ разъ никакой перемѣны, хоть она и продолжала имѣть видъ

холодной статуи, на которую можно только любоваться,—перемѣна была, и даже большая.

Здѣсь, въ своей спальнѣ, быстро, не по-всегдашнему, скинувъ визитное платье и ожидая возвращенія Вѣры, она сразу изъ статуи превратилась въ живую женщину. Такого выраженія въ ея великолѣпныхъ темныхъ глазахъ не видалъ никто: что-то горячее, и ясное, и мечтательное мерцало въ нихъ, то вспыхивая, то потухая.

Вдругъ она почти подбѣжала къ туалетному столу, быстро выдернула изъ головы шпильки, и ея темно-каштановые, почти черные волосы, тонкіе и блестящіе какъ шелкъ, скользнули густою волной по обнаженной шеѣ. Она тряхнула ими, они разсыпались и охватили ее всю, доходя ей почти до колѣнъ. Тогда она подняла руки, красивѣе и бѣлѣе которыхъ нельзя было себѣ представить, и тонкими, почти прозрачными пальцами искусно и привычно заплела сначала одну длинную косу, а потомъ другую, совсѣмъ даже не замѣчая, что Вѣра стоитъ сзади и съ удивленіемъ смотритъ.

— Ваше сіятельство, позвольте я сдѣлаю... какъ прикажете?— наконецъ, проговорила горничная.

— Оставь, ты не умѣешь... я сейчасъ!

Черезъ минуту новая прическа была готова. Переплетенныя косы тяжелымъ узломъ легли низко на затылокъ, совсѣмъ измѣнивъ форму головы и общее впечатлѣніе.

— Смотри, ничего такъ?—обратилась Алина къ горничной.

Та глядѣла все съ возраставшимъ удивленіемъ.

— Ничего-то ничего,—фамильярно сказала она:—такую красавицу развѣ что можетъ испортить!.. Только къ чему этакъ? всегдашняя прическа не въ примѣръ лучше... и никто нынче такимъ способомъ не носитъ...

— А развѣ нужно носить какъ всѣ? У меня съ утра голова болитъ, такъ легче гораздо... Ну, покажи-ка, что ты принесла? Да, это самое! Давай, я надѣну...

Это было что-то среднее между капотомъ и платьемъ, что-то неопредѣленнаго дымчатаго цвѣта и неопредѣленной мягкой матеріи, все отороченное дорогимъ, переливчатымъ, мѣстами совсѣмъ серебристымъ мѣхомъ хинхиллы.

Алина стояла предъ трюмо, вопросительно глядя на свою высокую стройную фигуру, на свое лицо, измѣненное теперь въ этой новой прическѣ. Потомъ она выдвинула одинъ изъ внутреннихъ ящиковъ шифоньерки, вынула оттуда довольно большой въ складномъ футлярѣ, портретъ и подала его Вѣрѣ.

— Смотри и говори только правду, похоже? измѣнилась я? очень постарѣла?

Она такъ и впилась глазами въ глаза Вѣры.

Та взглянула: эта прическа! Съ портрета перевела взглядъ на княгиню и сказала:

— Похоже, конечно, только лучше вы стали, безъ сравненія лучше!

— Не лги! Постарѣла я?

— Вотъ какъ передъ Богомъ! ишь что выдумали: постарѣть... да вы какъ есть барышня молоденькая... красавица... во всемъ мірѣ такой нѣту!..

Говоря это, Вѣра граціозно опустилась на колѣни, прижалась губами къ рукѣ Алины и глядѣла на нее снизу вверхъ влюбленными глазами. Алина рѣзко и съ видимымъ неудовольствіемъ отстранила ее.

— Теперь уходи,—сказала она:—и какъ только снизу швейцаръ позвонитъ, сейчасъ же иди сюда и скажи мнѣ.

Вѣра поднялась, опустила глаза, сдѣлала постное лицо и выскользнула изъ спальни.

«Куда-жъ дѣвались эти годы?»—думала Алина, разглядывая свой старый портретъ.—«Будто недавно, а шесть ужъ лѣтъ! Говорятъ, если весело живешь, такъ не замѣтишь времени! Какая неправда! Хорошо мое веселье!..»

Она спрятала портретъ, взглянула на часы и присѣла въ низенькое мягкое кресло.

«А вдругъ не пріѣдетъ?»—пронеслось у нея въ головѣ.

Она вся дрогнула и совсѣмъ застыла, чутко прислушиваясь. Глаза ея горѣли, щеки то и дѣло вспыхивали румянцемъ, руки похолодѣли. Она считала минуты: разъ, два, три... до шестидесяти, чтобы хоть этимъ сократить ожиданіе.

Никто, никто не повѣрилъ бы, что она можетъ быть такою, никто бы не узналъ ея.

XVII.

Аникѣевъ подъѣхалъ къ знакомому дому, знакомому, хоть онъ и никогда не бывалъ въ немъ. Уже пять зимъ жила здѣсь Алина, и онъ, конечно, зналъ это. Еще до разрыва своего съ женой, да и потомъ, пріѣзжая въ Петербургъ, сколько разъ загадывалъ онъ себя предъ этимъ подъѣздомъ.

Сначала онъ долго ждалъ, что она ему напишетъ, позоветъ его. Затѣмъ ужъ не ждалъ ничего, и все же его неудержимо тянуло къ ея двери. Онъ могъ бы, разумѣется, придти къ ней, она не рѣшилась бы не принять его. Онъ могъ заставить ее говорить, объясниться, и неизвѣстно еще, чѣмъ бы кончились эти объясненія...

Но она хорошо знала его, знала, что онъ скорѣе умретъ, чѣмъ явится безъ ея зова. Онъ сказалъ ей это, а что онъ говорилъ «такъ», что онъ рѣшалъ, то рѣшалъ безповоротно, чего бы ему это ни стоило.

И она его не звала, значитъ, не хотѣла видѣть.

Никакая сила не могла его заставить подняться по этимъ ступенямъ. Но бывали безумныя минуты, бывали темные, холодные вечера съ пронзительными вѣтрами, съ дождемъ или метелью. Въ такія безумныя минуты, въ такіе ненастные, мрачные вечера безысходная тоска гнала его сюда помимо его воли. И онъ именно «заставалъ себя» у гранитнаго парапета набережной, противъ этого дома.

На вѣтру, на дождѣ, осыпаемый хлопьями снѣга, коченѣющій отъ мороза, онъ ходилъ взадъ и впередъ, со взглядомъ, прикованнымъ къ ея окнамъ, то темнымъ, то освѣщеннымъ.

Да, это было чистое безуміе, и, когда оно остывало, онъ, со стыдомъ и злобой, спѣшилъ дальше отсюда, пряча и скрывая отъ самого себя свою позорную тайну. Онъ старался не думать объ этой женщинѣ, гналъ прочь ея соблазнительный образъ. Онъ проклиналъ ее, презиралъ.

Годами постоянныхъ усилій онъ побѣдилъ, наконецъ, въ себѣ невыносимую страсть. Алина перестала врываться въ его внутренній міръ, она ужъ не звучала въ его музыкѣ, въ его пѣніи, въ его горячихъ импровизаціяхъ.

Наконецъ, онъ почувствовалъ, что можетъ безнаказанно встрѣтиться съ нею.

И онъ встрѣтился. Онъ спокойно, какъ ему казалось, вынесъ ея присутствіе, ея близость, пожатіе ея руки. Вотъ онъ входитъ къ ней, потому что она позвала его, наконецъ, и потому, что онъ когда-то сказалъ ей: «я приду къ тебѣ, когда ты меня позовешь, и я знаю, что будетъ время, когда ты позовешь меня». Это время пришло. Онъ вѣренъ своему слову...

Но, вѣдь, онъ долженъ былъ идти спокойнымъ, равнодушнымъ, владѣющимъ собою. А развѣ это спокойствіе, когда такъ больно замираетъ сердце, развѣ это равнодушіе? Не лучше ли назадъ, пока есть еще время? Какая цѣль, зачѣмъ ему теперь Алина? Онъ искупилъ ее, ту прежнюю Алину, своимъ душевнымъ униженіемъ, которое долго, долго жгло его стыдомъ... Вѣдь, къ прошлому нѣтъ возврата...

«Эхъ, да о чемъ тутъ думать! вѣдь, хуже того, что было и что есть не будетъ!»—вдругъ рѣшилъ онъ и блѣдный, съ замирающимъ сердцемъ и презрительнымъ выраженіемъ въ лицѣ вошелъ къ Алинѣ.

Его почтительно провели въ уютную «интимную» комнату,

по которой носился мучительно знакомый запахъ ириса. Хозяйка не заставила себя ждать. Она вышла съ ласковою улыбкой, крѣпко сжала его руку обѣими руками.

— Благодарю, благодарю васъ, Michel! Вы все такой же добрый, вѣдь, вы могли, имѣли право и не пріѣхать!—говорила она.

Но онъ и не слышалъ. Она ему нанесла нежданный, вѣроломный ударъ: онъ ѣхалъ къ новой, ко вчерашней, чужой Алинѣ, а предъ нимъ была прежняя *его* Алина, съ прежнимъ, неизмѣнившимся лицомъ, даже въ той, всегдашней, любимой прическѣ. И она глядѣла на него тѣми самыми глазами весеннихъ и лѣтнихъ *снѣжковскихъ* дней...

Это было черезчуръ. Онъ чуть не застоналъ, такъ сжалось сердце. Онъ взглянулъ на нее еще разъ острымъ, холоднымъ, какъ ей показалось, взглядомъ, и, наконецъ, засмѣялся, зло засмѣялся отъ боли.

— Что же тутъ маскарадъ, кузина?—проговорилъ онъ:—вчерашнее или сегодняшнее?

— Ни то, ни другое.—просто отвѣтила она, садясь и приглашая его рядомъ съ собою.

Это была игра, самая мучительная игра, на которую оба они потратили много искусства и силы. Это былъ поединокъ не на жизнь, а на смерть. Женщинѣ надо было навѣрное, безошибочно узнать, сохранила ли она свою власть, или ее уничтожили эти годы. Если она побѣждена—насколько рѣшительна побѣда, нельзя ли вернуть потерянное. Мужчина, уже побѣжденный, задыхающійся отъ нежданно нахлынувшей страсти, гордости и самолюбія, долженъ былъ сохранить видъ спокойнаго побѣдителя и въ то же время проникнуть тайны женщины.

Оба они жадно, напрягая всѣ силы, искали отвѣтовъ въ глазахъ другъ друга. Но, вѣдь, это старая ложь, что глаза—зеркало души. Они могутъ быть зеркаломъ тогда лишь, когда человѣкъ ничего противъ этого не имѣетъ. Иначе, глядящій въ чужіе глаза увидитъ въ нихъ только свое отраженіе, пойметъ въ нихъ только себя, свои мысли и чувства...

Они говорили обо всемъ, и о самихъ себѣ между прочимъ, и бесѣда ихъ имѣла видъ самой естественной оживленной бесѣды между старыми знакомыми, между давно невидавшимися родственниками. А безмолвный поединокъ продолжался все съ возраставшимъ ожесточеніемъ.

Когда доложили, что обѣдъ поданъ, Алина сказала:

— Мы съ вами обѣдаемъ вдвоемъ, князя нѣтъ и раньше часовъ одиннадцати онъ не вернется.

Аникѣевъ только при этихъ словахъ вспомнилъ о князѣ. Если-бъ онъ оказался дома, если-бъ съ нимъ сейчасъ пришлось

встрѣтиться, онъ бы не выдержалъ, онъ или бы убѣжалъ, или кончилъ какимъ-нибудь безумiемъ.

Алина, ведя своего гостя въ столовую, обошла съ нимъ и показала ему почти все великолѣпное помѣщеніе.

— Я всегда зналъ, что у васъ настоящій вкусъ,—сказалъ Аникѣевъ:—помните, съ вашей прежней деревенской грубостью вы говорили про себя: бодливой коровѣ Богъ рогъ не даетъ... Рога выросли... значитъ, вы достигли всего, о чемъ мечтали.

— Какъ видите,—спокойно отвѣтила она:—а вы сами развѣ измѣнили прежнимъ вашимъ вкусамъ? Развѣ не даетъ вамъ прежняго художественнаго удовлетворенія хоть бы вотъ такая обстановка? Развѣ бы вы отъ нея отказались?

— Конечно, нѣтъ, я попрежнему люблю все, что красиво, роскошь меня ласкаетъ; но я никогда не могъ и не могу ничѣмъ своимъ, внутреннимъ, пожертвовать ради ея достиженія. Вы знаете, что это правда.

Алина усмѣхнулась.

— Любовь безъ жертвъ—не любовь! Это ваши слова,—медленно произнесла она.

Онъ отвѣтилъ ей вызывающимъ, насмѣшливымъ взглядомъ.

«Боже мой, зачѣмъ она теперь это вспомнила! какъ глупо, какъ жестоко!» мелькнуло въ головѣ его.

Но съ ея стороны это былъ лишь новый ударъ, и ударъ удачный. Цѣлый міръ былого опьяненія, былого безумнаго счастья воскресъ въ немъ. «Любовь безъ жертвъ—не любовь!»—повторялось въ каждомъ біеніи сердца.

Алина не щадила: ударъ слѣдовалъ за ударомъ. Садясь за небольшой, накрытый на два прибора столъ, Аникѣевъ увидѣлъ посреди нѣ его, въ прелестной вазѣ, большой букетъ своихъ самыхъ любимыхъ цвѣтовъ—ландышей.

— Что можетъ быть печальнѣе этихъ зимнихъ петербургскихъ ландышей,—сказалъ онъ:—они совсѣмъ не пахнутъ, они совсѣмъ даже не похожи какъ-то на лѣсные душистые ландыши... Когда я ихъ вижу, мнѣ всегда представляется, что это картинки съ далекой выставки...

— А все же они настоящіе, и при такомъ воображеніи какъ ваше, вы легко можете перенести ихъ куда угодно и перенестись вмѣстѣ съ ними, — небрежно, ему въ тонъ, замѣтила княгиня.

— Вы слишкомъ разсчитываете на мое воображеніе, кузина, оно совсѣмъ охладѣло за эти годы.

— Не думаю, вы сами еще не можете знать, куда оно способно унести васъ...

Оно ужъ его уносило: передъ его приборомъ оказался ста-

ринной чеканки массивный серебрянный кубокъ. Это былъ ея кубокъ, доставшійся ей отъ бабушки, рожденной Аникѣевой. Съ одной стороны на немъ изображенъ былъ гербъ Аникѣевыхъ, а съ другой можно было разобрать буквы М. и А.

Такое совпаденіе сразу бросилось въ глаза Михаилу Александровичу, когда онъ увидѣлъ этотъ фамильный кубокъ у Алины, около восьми лѣтъ тому назадъ. Она непремѣнно хотѣла ему подарить его; но онъ наотрѣзъ отказался и горячо доказалъ, какъ ему пріятно, что такая вещь именно у нея. Она всегда пила изъ этого кубка, а когда у нихъ, въ ихъ старомъ гниломъ домишкѣ, по выраженію Лидіи Андреевны, бывалъ Аникѣевъ,— онъ непремѣнно подавался ему. Онъ даже носилъ названіе «нашъ кубокъ» и пророчески соединялъ ихъ своими буквами М. и А.

Промолчать, не обратить вниманія было нельзя.

— А! старый знакомый!—съ блѣдной улыбкой проговорилъ Аникѣевъ, беря кубокъ и его разглядывая.

— Онъ дожидался и дождался своего хозяина,—шепнула Алина.

Этимъ не кончилось. Весь обѣдъ состоялъ изъ его любимыхъ блюдъ. На это, по крайней мѣрѣ, можно было не обратить словесно вниманія; но все же нельзя было этого не замѣтить, не почувствовать.

Все, какъ есть все, оказалось сдѣланнымъ для него, чтобы доказать ему, что ничего не забыто и обо всемъ подумано. Никакая самая нѣжная сестра не въ состояніи была бы такъ позаботиться объ единственномъ, дорогомъ, послѣ долгой разлуки вернувшемся братѣ.

Сдѣлать это могла только или безумно любящая, или жестоко мстящая женщина.

XVIII.

Къ концу обѣда Алина достигла многаго. Вѣдь, Аникѣевъ жилъ нервами, и всѣ неуловимыя, ускользающія отъ людей иной организаціи, мелочи дѣйствовали на него неотразимо. Алина окутала и опутала его своей атмосферой. Въ этой атмосферѣ, живой красоты и внѣшней роскоши, гармонично сливавшихся другъ съ другомъ, было столько опьяненія, усыплявшаго мысль и ласкавшаго чувства.

Необходимы были рѣзкія разнозвучія, чтобы заставить Аникѣева очнуться, собрать силы, призвать на помощь всю гордость, все старое истерзавшее оскорбленіе.

Но его насторожившаяся чуткость никакъ не могла подслушать такихъ разнозвучій. Въ полунасмѣшливомъ, легкомъ и, повидимому, непринужденномъ тонѣ Алины звучало что-то и гру-

стное и нѣжное. Съ каждой минутой онъ ощущалъ сильнѣе, что это прежняя Алина, что перемѣна, поразившая его въ ней вчера, была только внѣшней.

«Или все это игра? когда же она «играла» — вчера ли для всѣхъ, или сегодня—для него?»

Однако, скоро стихли и эти вопросы. Бѣдный «артистъ» такъ усталъ за эти послѣдніе годы, такъ чувствовалъ себя постоянно въ клѣткѣ, съ обрѣзанными крыльями. Иной разъ онъ почти физически задыхался въ своей клѣткѣ — и спрашивалъ себя: когда же пахнетъ на него свѣжимъ воздухомъ, когда же мелькнетъ передъ нимъ хоть призракъ того, что онъ называлъ теплomъ и свободою?

Ему часто бывало такъ невыносимо холодно, что даже душа въ немъ какъ бы замирала и съеживалась. Онъ умиралъ съ голоду безъ красоты, безъ теплыхъ художественныхъ впечатлѣній. Куда ни глядѣлъ, что ни встрѣчалъ — все представлялось ему холоднымъ, некрасивымъ, отталкивающимъ.

Прежде онъ могъ еще отстраняться, хоть на нѣкоторое время, отъ «безобразія жизни». Хорошія денежныя средства помогали, оторвавшись отъ всякихъ заботъ, уходить въ невѣдомую область, существованіе, дѣйствительность которой почти осязалъ, вызывая ихъ творческими звуками.

Теперь, и уже давно, всякія мелочныя заботы ежечасно требовали его, завладѣвали имъ, держали въ плѣну.

Онъ барахтался въ какой-то грязной лужѣ, съ чувствомъ омерзѣнія стараясь выловить изъ нея грязь и своими неловкими, мучительными усиліями только взбалтывая ее все больше и больше...

Въ его неудавшейся жизни, полной вѣчныхъ надеждъ на завтрашній день и никогда не сбывавшихся ожиданій, полной иногда просто смѣшныхъ погонь за всякими иллюзіями,—было одно лишь счастливое время, когда не думалось о завтрашнемъ днѣ, когда легко и свободно, во всѣ высоты и глубины, поднимали его и спускали внезапно выросшія крылья. Это было время его страсти къ Алинѣ, страсти таинственной, жутко прекрасной, безумной, раздѣленной, жадно-ненасытной, преступной...

Преступной!... развѣ самъ онъ не повторялъ себѣ и тогда этого слова! Но душа молчала и совѣсть была спокойна. Онъ всегда былъ голоденъ, великимъ голодомъ жизни, онъ всегда томился въ молчаливомъ одиночномъ заключеніи... И при этомъ никто, конечно, не только не могъ сочувствовать его страданіямъ, но даже и признать ихъ дѣйствительность. Ему говорили, доказывали, что онъ сытъ по горло, что онъ ничуть не одинокъ, что у него есть все для полноты счастья. Его считали нелѣпымъ

фантазеромъ, распустившимъ себя, бьющимъ на оригинальность...

Нашлась только одна умненькая свѣтская женщина, которая какъ-то разъ, глядя ему въ глаза нѣжными глазами, грустно сказала:

— Vous êtes une âme en peine! Вы всегда должны томиться, это ваша судьба; если-бъ вы вдругъ почувствовали себя счастливымъ,—это были бы ужъ не вы...

Онъ оставался къ ней совсѣмъ равнодушенъ; но никогда не могъ забыть ея взгляда и этихъ словъ. Онъ чувствовалъ, что она сказала правду, только, вѣдь, отъ такой правды не стало легче. Онъ продолжалъ испытывать невыносимый голодъ, томиться, ждать, погибать отъ своего мучительнаго одиночества...

Внезапная страсть къ Алинѣ, такъ щедро раздѣленная ею, накормила и напоила его, осуществила всю ту красоту, по которой изнывалъ онъ, наполнила собою его одиночество, дала, ему, наконецъ, не призрачную, а живую жизнь. Преступная страсть! Значитъ жизнь—преступленіе!.. И совѣсть его молчала...

Теперь, еще больше истерзанный, одинокій, голодный—онъ очутился передъ старымъ соблазномъ

Алина хорошо его знала, говоря, что еще неизвѣстно куда воображеніе унесетъ его. Онъ ужъ вьявь видѣлъ передъ собою далекія заглохшія аллеи своего Снѣжковскаго парка. Онъ ужъ переживалъ всѣ дни и минуты своего былаго преступнаго счастья.

Когда, послѣ обѣда, онъ велъ ее подъ руку, черезъ слабо освѣщенныя комнаты, въ уютный уголокъ дальней гостиной, гдѣ теперь пылалъ каминъ, и куда она приказала подать имъ кофе,—она не могла не чувствовать трепетъ его руки. Лицо его оставалось холодно и строго.

— А знаете ли, въ городѣ сегодня только и разговоровъ, что о вчерашней исторіи у Вилимской,—говорила она. Эта маленькая княжна возбуждаетъ всеобщее негодованіе: скажите, что вы такое сдѣлали съ нею? что вы ей говорили?

— Конечно, ничего,—отвѣчалъ онъ, едва соображая, о чемъ это она говоритъ.—Я обмѣнялся съ нею нѣсколькими самыми банальными фразами. Я видѣлъ ее въ первый разъ, и меня представилъ ей Вово.

— А между тѣмъ вы играете главную роль во всемъ этомъ... vox populi... Впрочемъ, я вовсе не желаю васъ исповѣдывать... Лишній грѣхъ на вашей душѣ, и только. Я думаю, вы имъ и счетъ потеряли со времени нашей разлуки.

Онъ поднялъ на нее глаза и не опускалъ ихъ. Она выдержала его взглядъ.

Внесли кофе. Потомъ стало какъ-то особенно тихо, только

потрескивали дрова въ каминѣ и мерцающія полосы теплаго свѣта ходили по комнатѣ.

Молча просидѣли они двѣ-три минуты и оба чувствовали что вотъ сейчасъ начнется послѣдняя ихъ битва.

— Вы заговорили о моихъ грѣхахъ, кузина,—самъ испугавшись своего глухого голоса, едва шевеля внезапно высохшими губами, прошепталъ Аникѣевъ:—неужели вамъ интересно это? Или, можетъ быть, вы хотите мнѣ, какъ старому другу, исповѣдаться въ вашихъ?

Это былъ дерзкій и грубый вызовъ; но ихъ прошлое давало ему на него право. Развѣ не слыхалъ онъ отъ нея самыхъ важныхъ и безумныхъ клятвъ, какія только, подобно вспышкамъ разряжающагося электричества, произносятся, между вздохомъ и поцѣлуемъ, въ иныя минуты! Онъ никогда не освобождалъ ее отъ этихъ клятвъ.

И теперь, когда она глядѣла на него прежними глазами, вспоминала о прошломъ и снова брала себѣ его душу—онъ могъ требовать отъ нея отчета.

Главное же, она сама признала его право и нисколько не смутилась его грубостью. Онъ сказалъ именно то, что ей такъ хотѣлось отъ него слышать, безъ чего ей трудно было начать.

Она близко склонилась къ нему, опустила голову и въ то же время подняла на него свои чудные глаза, въ которыхъ отражалось пламя камина.

— Я могу исповѣдаться не только передъ вами, но и передъ всѣми, потому что «такихъ» грѣховъ у меня нѣтъ...

— Смотри мнѣ въ глаза, смотри!—вдругъ прошептала она и, прежде чѣмъ онъ могъ понять смыслъ этихъ словъ, крѣпко обняла его шею руками, пряча лицо на груди его.

Она уже знала теперь, навѣрное знала, что онъ попрежнему въ ея власти и не найдетъ въ себѣ силу оттолкнуть ее.

— Алина... вѣдь, это безуміе!—разслышала она.

Что-жъ! или она ошиблась? Онъ силой разжалъ ея руки, отстранилъ ее и поднялся съ мѣста.

— Зачѣмъ это?—сверкая глазами, сказалъ онъ:—ты хороша, ты можешь опьянить кого угодно... Я человѣкъ... могу быть и звѣремъ... Ты хочешь посмотрѣть, правду ли я пѣлъ вчера, что «въ этой чашѣ отражается краса неба и ада»?..

Она поблѣднѣла; но щеки ея тотчасъ же покрылись румянцемъ. Ей даже пріятно было, что онъ ее оскорбляетъ; вѣдь, она знала и понимала теперь, глядя на него, сколько мученій принесла ему.

— Нѣтъ, ты опять поторопился, Миша,—кротко проговорила

она, беря его за руки и заставляя сѣсть на прежнее мѣсто:— ты и тогда не хотѣлъ ничего слушать, не хотѣлъ понять меня. Но ты долженъ, наконецъ, понять... Дай мнѣ сказать все, не перебивай меня... Ты мнѣ говорилъ тогда, что я вдругъ тебя разлюбила, что я испугалась скандала и продала себя за деньги, за положеніе въ обществѣ, за титулъ. Если-бъ это было такъ— я не стала бы скрывать этого теперь отъ тебя, да и не говорила бы съ тобою. Но это неправда...

— Неправда?!—повторилъ онъ.

— Я не о себѣ только думала, я спасала любовь твою, которая для меня была и есть все. Вѣдь, я ужъ не ребенокъ была, когда тебя полюбила... мнѣ минулъ двадцать одинъ годъ... жизнь, вспомни, не легкая выпала, надумалась, наплакалась, всего было!.. Мы встрѣтились съ тобою оба голодные, оба холодные... намъ обоимъ надо было такъ много... Мы не могли не полюбить другъ друга... Развѣ когда-нибудь, хотя въ мысли мимолетной, я могла упрекнуть тебя за мое паденіе?! Паденія не было, было счастье! Только тебя одного я могла любить, только тебя одного я любила въ жизни...

— Алина, ради Бога не играй ты мною!—почти простоналъ онъ, уже не скрывая своего безсилія, съ ужасомъ и невѣдомою надеждой вслушиваясь въ слова ея.

Она продолжала крѣпко сжимать его руку.

— Когда прошелъ первый бредъ, когда, помнишь, ты уѣзжалъ на двѣ недѣли изъ Снѣжкова, я оглянулась, я обо всемъ, обо всемъ передумала... Я хорошо поняла тебя, и ужаснулась за наше счастье. Я знала, что если соглашусь уѣхать съ тобой за границу, то все кончится очень скоро. Что-жъ? я позора что ли испугалась? или того, что ты меня бросишь? Я знала, что насъ ждетъ проза, самая ужасная проза и въ концѣ-концовъ бѣдность. Ну, а твое счастье съ прозой и бѣдностью—несовмѣстимо.

— Поэтому надо было бросить меня, какъ собаку, а самой превратиться въ grande dame, продавъ себя... такому человѣку!..

— Положимъ, въ концѣ-концовъ твоя жена согласилась бы, на разводъ, положимъ, мы нашли бы возможность обвѣнчаться... что-жъ было бы дальше? Мы превратились бы въ супруговъ, не обезпеченныхъ и въ то же время вѣчно стремящихся къ поэзіи, красотѣ, роскоши. Въ концѣ-концовъ мы только бы измучили, истерзали другъ друга. Можетъ быть наша любовь и не умерла бы, я думаю даже, что нѣтъ, но умерло бы счастье этой любви, и она превратилась бы въ жалкаго больного уродца, подъ которымъ бы мы вѣчно терзались, отравляя себя и доходя до отчаянія... Ну, скажи же мнѣ, что это только мои фантазіи, что въ моихъ словахъ нѣтъ правды!

— Если въ нихъ правда, мы съ тобою очень жалкіе люди,

— Можетъ быть; но разъ мы таковы, что-жъ тутъ дѣлать! Да и не унижай себя напрасно. Настоящій художникъ, такой какъ ты, все же выше самаго великаго мѣщанина! Но, вѣдь, noblesse oblige... злая завистливая волшебница является со своимъ роковымъ подаркомъ, и этотъ ея подарокъ родившемуся художнику—вѣчная жажда и голодъ, вѣчная неудовлетворенность души, погоня за убѣгающимъ счастьемъ. Или ты забылъ, какъ пѣлъ мнѣ про это въ Снѣжковѣ? Да я-то помню, я никогда не забуду этой твоей легенды. Ты довелъ меня до слезъ тогда! почти до припадка этою своею легендой. И я поняла, тебя слушая, до какой степени ты несчастенъ, и я поклялась тогда дать тебѣ сколько можно счастья... я навсегда отдалась тебѣ съ той минуты.

— Ты бредишь, Алина, или жестоко издѣваешься надо мною...

Она покачала головой и еще крѣпче сжала его руку.

— Такъ зачѣмъ же ты ушла отъ меня, зачѣмъ заставила прожить эти тяжкія шесть лѣтъ, зачѣмъ умерла для меня и до сегодня не вставала изъ гроба?

Въ его словахъ прозвучала такая боль, что и у нея защемило сердце.

— А вотъ именно для того, чтобы могъ настать сегодняшній день,—такимъ ласкающимъ шопотомъ говорила она:—этотъ день не могъ наступить раньше, поэтому я и не звала тебя... Только теперь я всего достигла, теперь я могу быть поэзіей твоей жизни...

Ея голосъ дрогнулъ, изъ глазъ брызнули слезы.

Онъ глядѣлъ на нее, какъ безумный.

— Миша, ихъ нѣтъ, этихъ шести лѣтъ... Наше время вернулось, только я спокойна теперь за будущее... я твоя, какъ всегда... и ты одинъ для меня въ мірѣ... тебѣ холодно—я согрѣю тебя, ты усталъ—отдохнешь у моего сердца... Миша, жизнь моя, или ты ужъ не вѣришь мнѣ?.. или ты ужъ меня не любишь?!

— Если ты лжешь... все равно—лги, только не дай мнѣ проснуться!

Онъ привлекъ ее къ себѣ, впиваясь въ губы прежнимъ, безумнымъ поцѣлуемъ.

— Peut-on entrer?—послышался за дверью громкій, скрипящій голосъ.

Они вздрогнули, быстро отстраняясь другъ отъ друга.

Они оба совсѣмъ даже забыли о самомъ существованіи этого человѣка. Но онъ о себѣ напомнилъ.

Онъ вошелъ красный, потирая руки, отвратительно осклабляясь и сверкая вставными зубами.

— А, Михаилъ Александровичъ, chèr cousin, вотъ и вы, наконецъ, въ нашемъ гнѣздѣ... По лицу вижу, что вамъ хорошо намылили голову... Алина на это мастеръ!—проскрипѣлъ онъ.

XIX.

Аникѣевъ поднялся при этихъ словахъ и съ дрожью отвращенія отвѣтилъ на крѣпкое пожатіе красной и холодной руки князя. Онъ чувствовалъ себя въ положеніи уставшаго нищаго, заснувшаго по дорогѣ возлѣ канавы. Въ яркомъ снѣ привидѣлись ему всѣ райскія утѣхи. Онъ входилъ по пышнымъ коврамъ, въ пиршественный залъ, полный неземной музыки и благоуханій. Онъ ужъ ощущалъ вкусъ сочныхъ блюдъ и чудныхъ напитковъ... И вдругъ ударъ грома надъ его головой—онъ очнулся и видитъ, что во время сна свалился въ канаву, что барахтается въ зловонной, отвратительной тинѣ.

Не разъ, въ мучительныя, лихорадочныя ночи, на Аникѣева наплывали самые безобразные кошмары; но всякій ужасный кошмаръ былъ пріятенъ въ сравненіи съ тѣмъ, что случилось.

Сразу, все замерло: ни страсти, ни ревности, ни злобы—ничего не осталось, кромѣ ощущенія гадливаго ужаса—и къ этому самодовольному уроду, сверкавшему предъ нимъ вставными зубами, и къ Алинѣ—уже спокойной, ласково небрежной и скучающей, а прежде всего—къ самому себѣ.

И въ то же время онъ старался внимательно, соображая, слушать болтовню «la bête», отвѣчать ему, и въ свою очередь задавать ему вопросы. Только онъ былъ неестественно блѣденъ, только глаза его поминутно вспыхивали, а то никакому самому тонкому наблюдателю ни пришло бы въ голову, что въ сердцѣ этого лѣниво и насмѣшливо бесѣдующаго человѣка кипитъ цѣлый адъ.

Алина время отъ времени бросала на него мгновенные, тревожные взгляды; но онъ ея не замѣчалъ, хоть и глядѣлъ на нее и переговаривался съ нею.

— Я безъ церемоніи, Михаилъ Александровичъ, —вдругъ объявилъ «la bête»:—мнѣ надо быть въ концертѣ, я заѣхалъ домой только переодѣться... А ты, Алина, у тебя сегодня никого нѣтъ? ты никуда не ѣдешь?

— Никуда,—устало откидываясь на спинку кресла скучающимъ тономъ протянула она:—меня весь день что-то ломаетъ...

— Богъ съ тобою... что ты! ужъ не инфлуэнца ли?—слишкомъ тревожно воскликнулъ «la bête», а между тѣмъ скосилъ глаза, подозрительно и насмѣшливо оглядывая всю фигуру жены.

— Такъ вы сдѣлайте такую милость, останьтесь съ ней ча-

сокъ-другой въ видѣ сидѣлки!—вдругъ повернулся онъ къ Аникѣеву.

Онъ ужъ, очевидно, и не хотѣлъ скрывать насмѣшки. Осклабляясь во все лицо, оттопыривая нижнюю губу и щуря глаза, онъ вызывающе глядѣлъ то на жену, то на гостя.

Аникѣевъ не могъ больше выдержать.

— Нѣтъ, мнѣ пора, — сказалъ онъ вставая: — меня ждутъ дома по неотложному дѣлу.

— Останьтесь,—спокойно произнесла Алина.

— Извините, хоть мнѣ и очень не хочется, но долженъ ѣхать,—ей въ тонъ отвѣтилъ Аникѣевъ, взялъ ея руку и поднесъ ее къ губамъ.

Она изумленно взглянула на него и тотчасъ же опустила глаза.

Она увидѣла по лицу его, что настаивать опасно и поняла его состояніе.

Князь проводилъ гостя до передней, просилъ «не забывать»—и вернулся къ женѣ. Онъ засталъ ее на томъ же креслѣ, въ той же позѣ, съ откинутой головой и застывшимъ лицомъ.

— Что-жъ, ты въ самомъ дѣлѣ нездорова?—спросилъ онъ.

Она подняла на него глаза, потомъ закрыла ихъ и ничего не отвѣтила. Князь постоялъ передъ нею, раскачиваясь своимъ короткимъ круглымъ туловищемъ на тонкихъ ногахъ, потомъ глупо и противно не то фыркнулъ, не то хрюкнулъ, взглянулъ на часы, и вдругъ спокойно, заложивъ нога-на-ногу, разлегся въ креслѣ.

— Отчего же вы не идете переодѣваться?—спросила Алина, не открывая глазъ.

— Успѣю,—произнесъ онъ, и опять хрюкнулъ: — не безпокойтесь, я не стану мѣшать вашимъ мечтаніямъ, я уѣду... Если вы покинуты вашимъ интереснымъ гостемъ — это не моя вина: я предлагалъ ему остаться... Но вотъ онъ сбѣжалъ, и я хочу вамъ сказать нѣсколько словъ, моя прекрасная княгиня...

Она открыла глаза, но на него все же не взглянула.

Онъ продолжалъ:

— Я хочу вамъ сказать, что вы самымъ... неблаговиднымъ образомъ нарушили наше условіе...

Алина выпрямилась.

— Я никогда не обѣщала вамъ, что не буду принимать Михаила Александровича, — сказала она: — къ тому же, вѣдь, онъ былъ здѣсь съ вашего вѣдома, вы сами вчера ничего не имѣли противъ него.

— Я и сегодня ничего не имѣю; но вы такъ стремительны, вы такъ, очевидно, спѣшите наверстать потерянное время, что

слишкомъ ужъ неосторожны. Вмѣсто меня могъ войти кто-нибудь другой... лакей, ваша горничная, всѣ могли увидѣть то, что я увидѣлъ.

Она невольно вздрогнула, и отвратительное чувство возмущенія, соединеннаго со стыдомъ, защемило ей сердце.

— Оставьте меня,—прошептала она не своимъ голосомъ:—передъ вами я не отвѣтственна и никакихъ объясненій не желаю...

— Ого-го!—перебилъ «la bête»:—нѣтъ, извините меня, княгиня, разъ вы носите мое имя, и разъ между нами договоръ... Что жъ это съ вами такое случилось? шесть лѣтъ, шутка сказать! держались на своемъ пьедесталѣ и вдругъ—«dis moi, Venus, quel plaisir trouves tu...» старый Парисъ явился... Ого-го!

Этотъ тонъ, это «ого-го!» подняли въ Алинѣ такое бѣшенство, какого она еще никогда не испытывала. Она встала и направилась къ двери; но князь, въ то время какъ она проходила мимо него, поймалъ ея руку и не выпускалъ. Она поневолѣ должна была остановиться, вся пылающая, съ искаженнымъ лицомъ, силясь освободить руку, которую сжимали, какъ клещи, костлявые, холодные пальцы.

— Пустите же меня!—почти задыхаясь крикнула Алина.

— Ma belle enfant, не горячитесь! — проскрипѣлъ «la bête», поднимаясь съ кресла.

Онъ выпустилъ ея руку, но сталъ такъ, чтобъ она не могла пройти къ двери.

— Вы очень хорошо понимаете, что я вовсе не намѣренъ читать вамъ нотацій или обращаться къ вашимъ высокимъ чувствамъ,—продолжалъ онъ, стараясь придать себѣ видъ горделиваго достоинства, выпячивая губу и становясь въ позу:—нашъ бракъ, какъ это называется... фиктивный, между нами заключено условіе, и если я, со своей стороны, его исполняю—я требую того же и отъ васъ.

— Ничего не можете вы требовать,—задыхаясь отъ презрѣнія къ нему, чувства гадливости и въ то же время отъ жгучаго стыда, проговорила Алина.

— Вотъ какъ!—взвизгнулъ князь:—прежде у васъ со мною былъ иной тонъ... Я спасъ васъ отъ позора, отъ нищеты, далъ вамъ такое положеніе, какого вамъ и во снѣ не снилось...

Теперь Алина ужъ не порывалась уйти. Она окинула своего мужа уничтожающимъ взглядомъ и зло усмѣхнулась.

— Вы возвращаетесь къ прошлому, — медленно произнесла она: —и, кажется, желаете показаться моимъ благодѣтелемъ! Однако, я слишкомъ щедро заплатила вамъ за ваше имя и все остальное. Вспомните-ка, что вы были и что вы теперь, князь!. князь, котораго даже въ порядочный трактиръ не впускали...

Что-жъ, это полученное вами наслѣдство дало вамъ что ли теперешнее ваше положеніе?! Вы отлично знаете, что все, все дала вамъ я!

Онъ зналъ это.

— Но... но, вѣдь, вашимъ поведеніемъ вы можете все испортить, Алина, — уже совсѣмъ инымъ тономъ, внезапно стихая, протянулъ онъ.

— Не безпокойтесь, не заботьтесь о моемъ поведеніи... Будьте увѣрены, я ни себя, ни васъ не уроню... Завтра мы получимъ приглашеніе — вы знаете какое... а къ лѣту у васъ будетъ то, чего вы такъ пламенно желаете...

— Алина... это вѣрно? Когда ты узнала? — встрепенувшись, багровѣя и съ заблиставшими глазами спрашивалъ «la bête».

Она будто не слышала его вопросовъ и продолжала:

— Если же вы еще разъ позволите себѣ вмѣшиваться въ мои дѣла, я уѣду... возьму и уѣду... въ Петровское... за границу... куда вздумаю... Тогда безъ меня и устраивайтесь какъ знаете.

Проговоривъ это, Алина вернулась на свое прежнее кресло у камина и стала глядѣть въ огонь широко раскрытыми, неподвижными глазами. Въ ней ужъ не было ни отвращенія, ни стыда, ни гнѣва. На нее нашло тяжелое оцѣпенѣніе.

— Только, Бога ради, будьте осторожны! подумайте о себѣ, о себѣ подумайте!—воскликнулъ «la bête»: — и быстро вышелъ изъ комнаты.

XX.

Вотъ она и сидѣла, глядя въ огонь камина, и долго-долго о себѣ думала среди невозмутимой, застывшей тишины своей уютной любимой гостиной. Впрочемъ это были не мысли, а скорѣе ощущенія, смутныя, тревожныя, въ которыхъ то и дѣло сказывалась нежданная и совсѣмъ даже не подозрѣвавшаяся ею, внутренняя, неприкрашенная правда ея жизни.

Замирая отъ страсти, полная жаждой стараго «снѣжковскаго» счастья и оправдывая себя передъ Аникѣевымъ, объясняя ему свои поступки, Алина говорила искренно. Она сама была увѣрена въ томъ, что все это и было именно такъ, что въ словахъ ея заключается самая настоящая правда. Да, все было сдѣлано ею ради любви къ нему, объ одномъ она думала—о немъ, объ его счастьи. Она не задумываясь готова была бы принять присягу, произнести какую угодно клятву, что все такъ именно и произошло, что таковы именно и были ея мысли и чувства.

А, между тѣмъ, такъ ли оно случилось въ дѣйствительности?

Конечно, Алина полюбила тогда Аникѣева безъ оглядки, пережила безумный припадокъ страсти въ старыхъ аллеяхъ великолѣпнаго, заросшаго парка, среди невозмутимой деревенской тишины.

Дѣтство Алины прошло одиноко, а юность скучно.

Мать у нея была неглупая, очень начитанная женщина, и даже сама напечатала двѣ недурныя повѣсти, о которыхъ въ свое время говорили. Она передала единственной дочери всѣ свои познанія, развила ея вкусы, возбудила въ ней потребности, несовмѣстимыя съ окружавшей ихъ провинціальной средою.

Какъ мать протомилась и проскучала всю жизнь, такъ и дочь, придя въ возрастъ, стала скучать и томиться. Въ губернскомъ обществѣ она скоро прослыла за гордячку, недоступную, холодную. Ее иначе и не называли, какъ «принцесса на горошинкѣ». Такъ оно и было за исключеніемъ, однако, холодности. Она чувствовала себя самой настоящей принцессой, ко всѣмъ относилась свысока, даже съ презрѣніемъ, и ждала «настоящаго» принца. Крѣпкая, здоровая, не знавшая, что такое болѣзнь, полная бьющей ключемъ жизненности и хорошѣвшая съ каждымъ годомъ, она сознавала свою красоту и силу и спокойно, терпѣливо ждала счастья.

А счастье не приходило, мало того начались бѣды, настоящее горе. Мать перенесла сильное воспаленіе легкихъ, послѣ котораго ужъ не могла оправиться; у нея медленно развивалась чахотка. Отецъ задумалъ разбогатѣть, отдалъ весь свой небольшой капиталъ въ какое-то предпріятіе и скоро потерялъ все, безъ остатка. Человѣкъ онъ былъ матеріальный, внутри себя поддержки никакой не нашелъ, и такая неудача представилась ему гибелью. А разъ онъ сказалъ себѣ, что это гибель — онъ, конечно, и погибъ. Его хватилъ параличъ, онъ просуществовалъ больше года въ состояніи безсмысленнаго, нѣмого и недвижимаго звѣря и, наконецъ, умеръ.

Пришлось собрать послѣднія крохи и переселиться въ деревню, въ старый мелкопомѣстный домикъ.

Здѣсь Алина, глядя на мать, совсѣмъ придавленную горемъ и быстро таявшую, собиралась съ мыслями, рѣшала и не могла рѣшить вопроса: что же теперь будетъ и откуда *теперь* можетъ придти судьба ея?

А судьба была очень близко и надвигалась съ двухъ сторонъ. Верстахъ въ двадцати съ одной стороны находилось Петровское, огромное старинное помѣстье богатаго рода Каташовыхъ, а въ пяти верстахъ съ другой стороны было Снѣжково, перешедшее послѣ матери въ собственность Михаила Аникѣева.

Старикъ Каташовъ, дряхлый нелюдимъ, умеръ безъ завѣщанія, и Петровское, вмѣстѣ съ большимъ, прикопленнымъ долгими годами богатствомъ, перешло по закону, къ его единственному внуку, сыну дочери.

Исторія этого внука была старой исторіей. Дѣдъ его давно проклялъ, и никто не смѣлъ произносить передъ нимъ его имени. Почему, за что проклялъ? Говорили, что еще юношей этотъ нукъ надѣлалъ самыхъ невозможныхъ гадостей и даже, кажется, обокралъ дѣда. Потомъ носились слухи, что онъ совсѣмъ спился, впалъ въ крайній, отвратительный развратъ. Наконецъ, не мало лѣтъ о немъ совсѣмъ ничего не было слышно.

Но вотъ онъ нежданно получилъ дѣдовское наслѣдство и появился сначала въ городѣ, а потомъ и въ Петровскомъ. Нѣсколько мѣсяцевъ только и разговору было что о князѣ. Въ виду такого крупнаго богатства, о прошломъ, конечно, можно было забыть, и отъ самого князя зависѣло теперь достигнуть въ губерніи чего угодно.

Только въ томъ-то и дѣло, что князь оказался «невозможнымъ». Онъ представлялъ рѣдкое соединеніе физическаго уродства съ глупостью, грубостью и безтактностью. Онъ сначала вооружилъ противъ себя всѣхъ, а потомъ потребовалъ себѣ перваго мѣста, пожелалъ быть избраннымъ въ губернскіе предводители дворянства. Надъ нимъ смѣялись въ глаза и забаллотировали единогласно.

Онъ выходилъ изъ себя, полетѣлъ въ Петербургъ; но тамъ потерпѣлъ окончательное пораженіе. Онъ имѣлъ даже нѣсколько непріятностей благодаря тому, что весьма глупо и грубо предлагалъ взятки въ неподходящихъ мѣстахъ и неподходящимъ лицамъ.

Между тѣмъ, послѣ долгихъ лѣтъ глубокаго паденія и всяческихъ униженій, въ немъ теперь клокотало честолюбіе — единственная страсть, ему оставшаяся. Къ женщинамъ онъ не только былъ равнодушенъ; но и терпѣть ихъ не могъ. Отъ пьянства, едва не унесшаго его въ могилу, онъ отсталъ ради любви къ жизни и здоровью, которое теперь берегъ всѣми мѣрами.

Онъ рѣшилъ во что бы ни стало наверстать потерянное, проникнуть въ высшее общество и создать въ немъ себѣ блестящее положеніе. Неудачи въ провинціи и въ Петербургѣ довели его до бѣшенства и отчаянья.

Онъ поѣхалъ въ свое Петровское и готовъ былъ вызывать чорта себѣ на подмогу. Чортъ не явился въ собственномъ образѣ, но выслалъ вмѣсто себя женщину: князь познакомился съ Алиной.

Еще въ Петербургѣ его повѣренный, человѣкъ понимающій,

неоднократно ему доказывалъ, что только женитьбой на очень красивой, умной и ловкой женщинѣ онъ можетъ утвердиться въ обществѣ, устроить «домъ» и достигнуть «положенія». Князь, по своему обычаю, хрюкалъ и гримасничалъ на это. А между тѣмъ мысль запала, и онъ, въ своемъ деревенскомъ уединеніи, перевертывалъ ее во всѣ стороны.

Увидя красавицу Алину, эту «принцессу на горошинкѣ», онъ сказалъ себѣ: «Вотъ была бы княгиня... такихъ въ Петербургѣ не сыщешь!» Это-то онъ могъ сообразить, что она гдѣ угодно будетъ на мѣстѣ, что она умна, ловка и хорошо воспитана. Главное же—бѣдна, а когда мать умретъ—куда-жъ ей? жениховъ нѣтъ, въ гувернантки не пойдетъ...

Князь зачастилъ было въ маленькій домикъ, сталъ подъѣзжать со своими намеками сначала къ матери, а потомъ и къ самой Алинѣ. Но онъ былъ слишкомъ отвратителенъ, а Алина, конечно, не знала, что бракъ съ нимъ можетъ быть только «фиктивнымъ» бракомъ. Она очень ловко отстранила его слишкомъ частыя посѣщенія. Однако, онъ все же появлялся время отъ времени и, упрямый по своей природѣ, не терялъ надежду. Онъ ждалъ смерти матери Алины.

Такъ стояли дѣла когда, среди зимы, пріѣхалъ въ Снѣжково Аникѣевъ. Онъ тотчасъ посѣтилъ своихъ родственницъ, съ которыми не видался лѣтъ десять. Алина сразу произвела на него потрясающее, именно потрясающее впечатлѣніе. Мало ли какихъ женщинъ и дѣвушекъ встрѣчалъ онъ, мало ли къ кому изъ нихъ влекло его болѣе или менѣе горячее, мимолетное желаніе. Но это было совсѣмъ не то.

Послѣ перваго свиданія съ Алиной онъ возвращался въ Снѣжково опьяненный ею до отчаянья и до экстаза. Въ немъ проснулись два существа: голодный звѣрь и еще болѣе голодный, умирающій съ голоду, истинный художникъ.

Очнувшись, онъ хотѣлъ бѣжать, бѣжать назадъ, въ Петербургъ, отъ этого отчаянья, отъ этого соблазна. Онъ и побѣжалъ, но не въ Петербургъ, а къ Алинѣ.

Они поняли другъ друга очень скоро. Черезъ мѣсяцъ ихъ уже охватилъ слѣпой, всепожирающій эгоизмъ страсти, весь міръ сосредоточился въ ихъ двухъ существахъ, а все остальное исчезло. Весна прошла въ мучительной и сладкой идилліи, которую уничтожилъ пріѣздъ въ Снѣжково Лидіи Андреевны.

Дѣло было не совсѣмъ такъ, какъ разсказывала она madame Бубеньевой. Алина показалась въ Снѣжковѣ всего разъ, а затѣмъ уѣхала съ матерью верстъ за пятьдесятъ въ монастырь и прожила тамъ два мѣсяца. Аникѣевъ бродилъ какъ тѣнь, исху-

далъ, потерялъ сонъ и аппетитъ и, наконецъ, повинился предъ женою въ любви своей, въ своемъ несчастіи.

Уже нѣсколько лѣтъ ихъ бракъ, и совершенно не по его винѣ, имѣлъ только внѣшній видъ брака. Онъ умолялъ теперь Лидію Андреевну дать ему разводъ, причемъ, конечно, бралъ вину на себя и предоставлялъ женѣ значительное обезпеченіе. Но она объ этомъ и слышать не хотѣла.

Она очень спокойно и съ презрительной миной сказала ему:

— О разводѣ ты и не мечтай! Что ты безсовѣстный фантазеръ, это я давно знаю... Нашелъ такую же безсовѣстную дуру—ну, и любитесь сколько угодно. Только чтобы все было шито и крыто. Я еще мѣсяцъ пробуду въ Снѣжковѣ,—это мнѣ такъ надо,—а потомъ уѣду. Вотъ ты и оставайся тогда со своею красавицей, только смотри — отъ любви не одурѣй совсѣмъ, продай хлѣбъ во время, собери всѣ деньги и привези ихъ мнѣ. Если же вздумаешь на нее тратить—тогда берегись: разговоръ у насъ будетъ совсѣмъ ужъ другой...

Объяснила все это Лидія Андреевна и вышла изъ комнаты, оставивъ его въ настоящемъ столбнякѣ. Онъ долго не могъ придти въ себя; но когда пришелъ, то понялъ, что, вѣдь, иначе она говорить не могла и не могла остановиться ни на какомъ иномъ рѣшеніи. Она ужъ давно перестала съ нимъ церемониться и очень часто, во время ихъ объясненій, снимала маску.

Этотъ второй мѣсяцъ былъ еще хуже перваго. Лидія Андреевна дѣлала свое дѣло. Она выказывала полнѣйшее и спокойное презрѣніе къ Аникѣеву и въ то же время по нѣсколько разъ въ день находила предлоги косвенно, намеками, конечно, не называя, оскорблять Алину. Она очевидно вызывала Аникѣева на бѣшенство, на припадокъ, на грубую сцену. Онъ понялъ это и сталъ отъ нея скрываться. Такъ прошло недѣли двѣ...

Но ей было скучно, она принялась его преслѣдовать и въ то же время явно, съ подчеркиваніемъ, отстраняла отъ него Соню. Онъ почувствовалъ, что не отвѣчаетъ за себя, что начинаетъ ненавидѣть эту женщину.

— Объ одномъ только прошу, — шепталъ онъ, блѣдный какъ смерть, стуча зубами: — оставьте меня, не говорите со мной!

— Нѣтъ, отчего же не говорить!—отвѣчала Лидія Андреевна, пристально и зло глядя ему прямо въ глаза:—я вовсе не хочу, чтобы гувернантка и прислуга на насъ пальцами показывали. Надо соблюдать приличія—это мое единственное условіе... Кажется, я не многаго требую!

Наконецъ, она уѣхала.

Когда Алина, вернувшись изъ монастыря, увидѣла Аникѣева,

она его не узнала. Онъ имѣлъ видъ не только совсѣмъ больного человѣка, но и помѣшаннаго.

XXI.

Теперь ужъ никакая сила не могла ихъ оторвать другъ отъ друга. Бѣдная мать Алины все видѣла, все понимала и, прежде всего, понимала свое безсиліе. Что могла она? Въ ихъ любви, вмѣстѣ съ опьяненіемъ и блаженствомъ, было столько муки! Значитъ, больной матери оставалось только окончательно истерзать единственную любимую дочь своими жалобами, безплодными совѣтами и слезами.

Къ тому же она сама не въ силахъ была смотрѣть на Аникѣева, какъ смотрѣла бы на всякаго другого въ такихъ обстоятельствахъ; она сама поддалась его обаянію, почувствовала его неотразимость для такой дѣвушки, какъ Алина.

Безсонными ночами, запершись въ своей укромной спаленкѣ, эта несчастная мать задавала себѣ все одинъ и тотъ же вопросъ: «что-жъ теперь будетъ?» Отвѣта не было, не могло быть. Она плакала, плакала неслышными, горькими, материнскими слезами, кашляла, дрогла въ чахоточной лихорадкѣ, слабѣла съ каждымъ днемъ и прислушивалась къ приближенію смерти...

Какъ непрерывная, волшебная мелодія протекали для Аникѣева съ Алиной деревенскіе дни и ночи. Ненасытная страсть, поэзія, музыка, пѣніе, недоговоренныя мысли, смѣняющія одна другую причудливыя мечты... Незамѣтно надвигавшаяся теплая, душистая, грустно ласкающая осень...

Однако, и осень эта стала холодной и дождливой. Старый паркъ умиралъ, и жутко становилось въ его облетѣвшихъ, влажныхъ, покрытыхъ сухою листвой, аллеяхъ...

Хлѣбъ былъ проданъ и даже очень выгодно. Лидія Андреевна настоятельно требовала, чтобы Аникѣевъ непремѣнно самъ привезъ деньги въ Петербургъ. Она грозила, въ случаѣ отказа, своимъ появленіемъ. Это было не особенно страшно: Аникѣевъ зналъ, что поздней осенью она въ деревню не поѣдетъ ни за что въ мірѣ. Но, дѣйствительно, неотложныя дѣла требовали его присутствія въ Петербургѣ—главное же онъ рѣшилъ снова, и на этотъ разъ окончательно, требовать отъ жены развода. Вѣдь, не могъ же онъ такъ оставлять Алину.

Онъ уѣхалъ—и вотъ тутъ-то все совершилось. Алина очнулась отъ припадка страсти, увидѣла себя, увидѣла свою больную мать, увидѣла въ безнадежномъ, отчаянномъ взглядѣ матери, что тайны нѣтъ. Да развѣ она думала о томъ, чтобы скрывать свою тайну—она до сихъ поръ ни о чемъ не думала, а только любила.

Ну, и довольно, гроза налетѣла—и пронеслась. Алинѣ стало жутко.

Когда Аникѣевъ былъ здѣсь,—не могло даже представиться, какъ это будетъ безъ него. Теперь его нѣтъ. Онъ вернется, но когда? А вдругъ совсѣмъ не вернется? вдругъ «не вернется»—если и не теперь, то, все равно, хоть чрезъ годъ, чрезъ два, чрезъ пять лѣтъ?!.

Сѣрое, безпривѣтное небо, порывы вѣтра, безконечный дождь, обливающій стекла маленькихъ оконъ, отъ которыхъ невыносимо, дуетъ, низенькія комнатки съ закопченными потолками и старой мебелью, кашель матери, ея тихіе, сдерживаемые стоны.

Алина запиралась у себя и плакала по часамъ, а до сихъ поръ, съ самаго дѣтства, она никогда не плакала. Когда останавливались слезы, она, опять-таки по часамъ, сидѣла у подоконника, прижавшись лбомъ къ холодному стеклу и безсмысленно глядѣла широко раскрытыми, немигавшими глазами прямо предъ собою, на ненастное небо, на пожелтѣвшую траву, на косогоръ, по которому извивалась грязная дорога. Распустившаяся коса ея тяжело спускалась съ кресла, плечи нервно вздрагивали подъ сѣрымъ пуховымъ платкомъ, на прелестномъ поблѣднѣвшемъ лицѣ блуждало страдальческое, жалкое выраженіе...

А дождь лилъ, вѣтеръ завывалъ, отъ окна и отъ полу дуло, такъ что ноги стыли въ теплыхъ, подшитыхъ толстою байкой ботинкахъ. А изъ сосѣдней комнаты раздавался мучительный кашель матери, ея тихіе стоны...

Въ одинъ изъ такихъ дней и часовъ Алина увидѣла, что по косогору спускается маленькая карета, вся забрызганная грязью. Тоска и это мертвое уединеніе были такъ невыносимы, что даже пріѣздъ безобразнаго и глупаго князя заставилъ встрепенуться, превратился въ радостное событіе. Князь никогда еще не былъ встрѣченъ такъ радушно, съ такимъ искреннимъ удовольствіемъ. Онъ торжествующе потиралъ себѣ руки, показывая во всю ширину громаднаго рта вставные зубы, и скрипѣлъ:

— Пріѣхалъ навѣдаться, живы ли! вѣдь, теперь, въ такую погоду, деревня—это смерть, могила!.. Вонъ барышня какъ поблѣднѣла!.. да, не мѣсто вамъ здѣсь, не мѣсто... все равно, какъ если-бы роза въ темномъ, холодномъ подвалѣ... А въ Петербургѣ теперь—сезонъ, балы, театры, концерты, жизнь... А заграницей... вотъ я именно въ позднее осеннее время въ Біаріцѣ купался... теплынь... на небѣ ни облачка... океанъ...

Онъ не могъ не видѣть, что его вовсе не краснорѣчивые разсказы производятъ на Алину подавляющее впечатлѣніе. Соблазнъ былъ грубый, избитый; но и такого даже соблазна оказывалось за глаза довольно въ эти осенніе, безнадежные дни.

И князь продолжалъ подливать масла въ разгорѣвшееся воображеніе Алины.

Онъ вернулся чрезъ два дня и и принялся за то же. А когда прогляну́ло солнце и грязь немного пообсохла, онъ пріѣхалъ въ покойномъ ладно, уговорилъ больную и повезъ ихъ къ себѣ въ Петровское, обязавшись доставить обратно засвѣтло.

Петровскій домъ былъ обновленъ и послѣ жалкаго домика не могъ не показаться Алинѣ настоящимъ раемъ. Вотъ тутъ-то она окончательно поняла свое призваніе и увидѣла, что именно ей теперь остается, какой можетъ быть для нея выходъ.

Но она любила Аникѣева, она еще не остыла послѣ его поцѣлуевъ и если-бы князь вздумалъ глядѣть на нее влюбленными глазами и говорить ей о своемъ чувствѣ она отвергла бы его предложеніе съ негодованіемъ и ужасомъ. Князь не сдѣлалъ, да и не могъ сдѣлать такой ошибки. Онъ долженъ былъ дѣйствовать «на чистоту», не скрылъ отъ нея ничего, прямо и цинично высказалъ свои требованія, выяснилъ ей еще безцеремоннѣе и грубѣе всю безвыходность ея положенія, очень ясно намекнулъ ей, что подозрѣваетъ ея отношенія съ Аникѣевымъ, но что это ничему не мѣшаетъ, если она хочетъ впредь быть «благоразумной».

Онъ ошеломилъ ее, не далъ ей возможности во время остановить его, заставилъ выслушалъ все до конца и спокойно заключилъ словами:

— Подумайте и обдумайте хорошенько. Жизнь—не шутка!

Если-бъ установилась хорошая погода, если-бы на слѣдующій день вернулся Аникѣевъ, Алина все же никогда, быть можетъ, не превратилась бы въ княгиню и владѣтельницу Петровскаго. Но погода на слѣдующій день была адская; больная мать простудилась немного во время поѣздки и кашляла невыносимо. Когда, чрезъ три дня, пріѣхалъ изъ Петербурга Аникѣевъ, Алина уже все обдумала, все рѣшила и встрѣтила его совсѣмъ преображенною.

Ей было очень трудно, очень тяжело, она ночью плакала и даже въ отчаяньи билась головой объ стѣну. Онъ писала «своему Мишѣ» письмо за письмомъ, клялась ему въ вѣчной любви, выставляла свое рѣшеніе неизбѣжной, тяжкой жертвой, рвала эти письма и не послала ни одного изъ нихъ.

Аникѣевъ явился опять, добивался объясненія, но такъ и не добился. Алина не отходила отъ матери, которой было очень нехорошо. Онъ все же нашелъ возможность шепнуть, что Лидія Андреевна ни за что не соглашается на разводъ, что безъ ея согласія ничего нельзя сдѣлать и что имъ остается одно — уѣхать скорѣе за границу. Алина показала глазами на мать, а потомъ молчала и старалась не глядѣть на него.

На слѣдующее утро она извѣстила его, что выходитъ замужъ за князя, что это единственное, остающееся ей въ ея положеніи, что она проситъ его ѣхать теперь въ Петербургъ, гдѣ они скоро должны встрѣтиться, и встрѣтиться друзьями, родными...

Вотъ какъ было дѣло.

Алина осталась вѣрной Аникѣеву, она долго о немъ думала, томилась по немъ; но сумѣла побѣдить въ себѣ голосъ страсти, такъ, что, наконецъ, почти его не чувствовала. Къ тому же въ первый годъ ее отвлекала предсмертная болѣзнь матери, а потомъ тоска по ея утратѣ. Мало-по-малу она втянулась въ свою новую жизнь, ставила себѣ цѣли и, достигая ихъ, испытывала удовлетвореніе. Она добилась многаго, и князь до сихъ поръ могъ только гордиться своимъ выборомъ. Давно ли его не впускали ни въ одинъ мало-мальски порядочный домъ, а теперь вотъ онъ сдѣлался, хоть и въ роли «la bête», неизбѣжнымъ украшеніемъ всѣхъ великосвѣтскихъ собраній. Уже послѣ полученія дѣдовскаго наслѣдства онъ никакъ не могъ достигнуть хоть сколько-нибудь «приличнаго положенія», а теперь для него открыта самая завидная почетная перспектива и скоро-скоро онъ будетъ видѣть блескъ и золото не только вокругъ себя, но и на себѣ самомъ. Всѣ эти чудеса совершила Алина, одна она, и ей все, самое трудное, такъ легко, быстро и незамѣтно, удается. Онъ слушается ее во всемъ, дѣйствуетъ и говоритъ согласно ея предписаніямъ и дѣло «катится какъ на резиновыхъ шинахъ», по его любимому выраженію...

И все это для Аникѣева? Алина думаетъ теперь, она увѣрена, что все это только для него, для него одного, что она всѣ эти шесть лѣтъ жила и дѣйствовала съ единственной цѣлью дожить до минуты, когда можно будетъ сказать ему: «теперь подо мною твердая, непоколебимая почва, теперь, о, вѣчно возлюбленный, приди въ чертогъ мой и вкуси со мною счастье!»

Алина не останавливается на вопросѣ о томъ, почему же именно *теперь* пришла «эта минута». Развѣ она не могла прійдти и годъ, и два года тому назадъ? Вѣдь, ужъ давно подъ нею «твердая почва». Да и что-жъ, развѣ это она, чарами своей любви, вызвала Аникѣева на вечеръ къ Вилимской-Талубьевой, гдѣ съ нимъ встрѣтилась? Аникѣевъ за эти года могъ сто разъ умереть, сойти съ ума, безумно полюбить другую женщину, устроить свою жизнь такъ, что никогда бы и не встрѣтился съ Алиной. Что сталось бы тогда съ шестью годами ея жизни, съ ея цѣлью «создать счастье для несчастнаго избраника своего сердца?»

Но какое дѣло ей до всѣхъ этихъ разсужденій. Онъ здѣсь. На губахъ ея горитъ поцѣлуй его. Художникъ снова оживилъ

свою Галатею, и прекрасная статуя вся блещетъ и свѣтится возродившейся страстью.

Легенда шестилѣтняго ожиданія «этой минуты» создана — и Алина вѣритъ ей, какъ только можетъ вѣрить женщина своей завѣтной «оправдательной» легендѣ.

XXII.

Князь Вово, вѣрный данному обѣщанію, въ одиннадцать часовъ звонилъ у двери Аникѣева. Сбросивъ съ плечъ шубку, онъ, какъ истый школьникъ, пригнулъ «дятла» къ полу, перескочилъ черезъ его голову и влетѣлъ въ комнату—румяный, смѣющійся, веселый, съ такимъ безмятежнымъ выраженіемъ лица, будто никогда еще въ жизни не видалъ и не слыхалъ ничего печальнаго.

— Вотъ и я,—затрещалъ онъ, звонко цѣлуясь съ Аникѣевымъ: – сегодня вездѣ умираютъ со скуки... я отбылъ свою повинность, и скорѣе къ тебѣ... Уфъ! усталъ! Sais-tu, je file du mauvais coton... право! начинаю уставать... и здѣсь вотъ, подъ ложечкой, что-то неладно...

— Просто объѣдаешься разными вредными гастрономическими штуками; поѣзжай въ деревню, ѣшь простоквашу—и все какъ рукой сниметъ,—отвѣтилъ Аникѣевъ съ невольной, старой симпатіей глядя на это «погибшее, но милое созданіе», какъ онъ мысленно называлъ его.

Еще нѣсколько минутъ передъ тѣмъ Аникѣевъ съ неудовольствіемъ и даже негодованіемъ думалъ о появленіи Вово. Ему, послѣ того, что съ нимъ только-что случилось, хотѣлось быть одному и хоть немного разобраться въ себѣ, успокоиться. А тутъ эти откровенности, опять вся старая исторія... И какъ будто что-нибудь изъ этого выйдетъ!...

«Ни о чемъ я съ нимъ говорить не буду!»—рѣшилъ онъ.

А между тѣмъ оказывалось, что именно одиночество было въ такомъ состояніи хуже всего, что появленіе Вово сейчасъ же его оживило, измѣнивъ ходъ и направленіе мыслей.

Вово подобрался поближе къ пріятелю, усѣлся съ ногами на низенькій диванъ, вынулъ изъ жилетнаго кармана маленькую, золотую эмальированную бонбоньерку и принялся грызть заключавшіяся въ ней мятныя лепешечки и какія-то разноцвѣтныя крупинки.

— Ты знаешь, Миша, я не хитеръ и подкрадываться не умѣю,—сказалъ онъ: — а потому начну прямо: вѣдь, я сегодня былъ... tu sais où? Chez Лидія Андреевна!

Аникѣевъ вопросительно взглянулъ на него.

— Ну да, былъ и не раскаяваюсь. Ты хочешь видѣть Соню, n'est ce pas? Такъ вотъ что: поѣдемъ завтра вмѣстѣ... Лидія Андреевна проситъ тебя объ этомъ.

Лицо Аникѣева вспыхнуло, но тотчасъ же и поблѣднѣло.

— Если я поѣду туда, такъ единственно для того, чтобы взять Соню и ужъ больше не отпускать ее, — неожиданно для самого себя проговорилъ онъ.

— Voyons, tu ne feras pas de sottises!—перебилъ его Вово:— скандалъ ничему не поможетъ и потомъ... вѣдь, надо же подумать о дѣвочкѣ... съ ней надо быть очень, очень осторожнымъ.

Аникѣевъ безсильно опустилъ руки. Онъ и безъ Вово отлично понималъ, что это такъ, что Соню нельзя подвергать никакимъ сценамъ.

— Скажи мнѣ, видѣлъ ты ее? Какая она? Здорова? Боже мой неужели она совсѣмъ меня позабыла? — вдругъ почти простоналъ онъ, хватая Вово за руку.

— Сегодня я не видалъ ее, вѣрно,или училась, или гуляла съ гувернанткой... Но я видѣлъ ее недавно. Прелестная дѣвочка... Ты не волнуйся, пожалуйста... надо все хорошенько обдумать...

Онъ подробно и очень живо, ничего не пропуская, передалъ Аникѣеву свое свиданіе и разговоръ съ Лидіей Андреевной. Это было ему очень трудно, такъ какъ вѣчная привычка «благировать», все обращать въ шутку, въ легкую насмѣшку, сильно ему мѣшала. Но, такъ какъ это было дѣло «Миши», онъ постарался не пересолить и отлично вышелъ изъ затрудненія. Аникѣевъ будто самъ присутствовалъ при этомъ свиданіи, видѣлъ передъ собою живую Лидію Андреевну.

— Разумѣется, если ты напугалъ ее моими денежными дѣлами, она станетъ сговорчивѣй, — усталымъ голосомъ проговорилъ онъ, когда Вово кончилъ свой «отчетъ»:—только это совсѣмъ не то... Я не могу, пойми, ни за что не могу идти къ ней. Это вовсе не капризъ и не вопросъ самолюбія...

Онъ замолчалъ не договоривъ, и опустилъ голову.

— Я никогда не могъ понять и не понимаю, зачѣмъ ты женился!—воскликнулъ Вово.—Какъ это могло случиться?! Повидимому, ты женился по любви, всѣ тогда это говорили, да и какъ объяснить иначе! Вѣдь, Софья Михайловна и слышать не хотѣла, отказала тебѣ въ благословеніи... И если ты все же поставилъ на своемъ... Et d'un autre coté—между тобой и Лидіей Андреевной ничего общаго: огонь и вода. И это въ глаза бросалось, всякій дуракъ видѣлъ...

Аникѣевъ поднялся и въ волненіи заходилъ по комнатѣ. Но вотъ онъ остановился передъ Вово, тяжело дыша и съ помержшими глазами.

— Бываютъ ошибки, которыя, дѣйствительно, ужаснѣе всякаго преступленія! — сказалъ онъ. — Такія ошибки наказываются жестоко, вѣчной, безсрочной каторгой... да что я—каторгой! нѣтъ, засадятъ тебя за такую ошибку въ темный ящикъ, и сиди... а если вздумаешь вырваться, еще хуже будетъ, никуда не уйдешь, нигдѣ не скроешься... Я никому не говорилъ и не говорю объ этомъ... вспоминать страшно и противно... ну что-жъ... слушай.

Онъ опять заходилъ по комнатѣ. Онъ говорилъ почти безсознательно, отрывисто о томъ, что вызвалъ изъ своего прошлаго, что воскресло теперь передъ нимъ въ образахъ, съ почти осязательной матеріальностью.

— Никто не повѣритъ какимъ наивнымъ, ничего не знающимъ въ жизни существомъ былъ я тогда!—говорилъ онъ.— Право, мнѣ казалось, что дурные люди, клевета, интриги, зло ради зла—существуютъ только въ романахъ... Это нелѣпо, а между тѣмъ было именно такъ... Я вѣрилъ всему, что мнѣ говорили... Когда она говорила мнѣ, что не можетъ безъ меня жить, что умретъ, если я уйду отъ нея,—я ей вѣрилъ. Самъ же я очень скоро почувствовалъ, что нетолько не люблю ее, но что она мнѣ физически антипатична. Я рѣшился и сказалъ ей, что изъ нашего знакомства ничего не выйдетъ, что жениться на ней не позволитъ мнѣ мать, отъ которой я совсѣмъ завишу въ денежномъ отношеніи, потому что самъ ничего не имѣю. Я ушелъ; но она не оставила меня въ покоѣ, она писала мнѣ отчаянныя письма. Я встрѣтилъ ее на улицѣ, не знаю, случайно или нѣтъ... Она шла и среди бѣла дня, при всѣхъ, плакала. Она была тогда такая хрупкая будто фарфоровая, жаловалась на боль въ груди, на слабость, избалованная, бѣлоручка, почти ребенокъ... только что кончила курсъ и вынуждена была давать уроки... Вотъ она и шла съ урока... и плакала... Мнѣ стало ее такъ жалко, такъ невыносимо жалко, что я не могъ уйти... И я вернулся къ ней. А черезъ мѣсяцъ я ужъ долженъ былъ на ней жениться, потому что мнѣ говорили, что она скомпрометирована мною, да и самъ я это видѣлъ. Она вовсе ничего не требовала, она говорила, что готова быть моей служанкой, только, чтобъ я не гналъ ее, чтобы позволилъ ей жить со мною... Ты видишь, что я долженъ былъ жениться!

— Я вижу, что тебя ловко поймали и провели!—воскликнулъ Вово, раздувая ноздри и моргая глазами, какъ всегда это дѣлалъ, когда былъ золъ.

— Ну, что ужъ объ этомъ!—перебилъ его Аникѣевъ.— Бытьможетъ, и она, и всѣ они, поступали безсознательно. Я не виню ихъ. Только это была такая мука, моя свадьба! Я шелъ, какъ на казнь.... Любовь скрасила бы все, а тутъ, въ этотъ ужасный

день, даже моя жалость ослабѣла. Я чувствовалъ себя совсѣмъ одинокимъ. Мать сначала просила, умоляла меня не жениться, но когда я написалъ ей, что это неизбѣжно, она объявила, что знать меня не хочетъ, что я ей не сынъ, что она никогда не проститъ меня... Она все еще надѣялась остановить меня, и я сознавалъ ея правоту, вѣрность ея материнскаго предчувствія. Но я не могъ пойти назадъ и не сдѣлать того, что почелъ ужъ своимъ долгомъ. Да, это была пытка! Жалость молчала при видѣ спокойствія и довольства невѣсты. Оставалось только сознаніе своей гибели, одинокости, безнадежности и... я скажу тебѣ все, Вово, и ты-то поймешь меня. Это моя мелочность, конечно! но, вѣдь, человѣкъ не можетъ быть не собою, а другимъ существомъ... Дѣло въ томъ, что окончательно меня придавливала тогда вся обстановка, всѣ лица. которыхъ я видѣлъ и слушалъ, все, что вокругъ меня дѣлалось и говорилось... все это сѣренькое, приличное мѣщанство, казавшееся мнѣ отвратительнымъ кошмаромъ... Любовь скрасила бы все! Что такое недостаточность? Она можетъ быть все же не оскорбительной, даже изящной. Но это «приличное» петербургское мѣщанство... чтобы все было «мило», «какъ у людей»... оно рѣзало меня, рѣзало! Конечно, я мелоченъ...

— Не мелоченъ, а просто художникъ!—съ очень серьезнымъ, даже строгимъ, совсѣмъ не своимъ лицомъ сказалъ Вово: — ah diable! si je te comprends! Ну, нѣтъ, я бы изъ церкви, отъ вѣнца сбѣжалъ, parole!

— Не сбѣжалъ бы, ты честный человѣкъ, Вово!

— Да честнымъ-то, Миша, надо прежде всего быть относительно себя, а ты вотъ съ собою сдѣлалъ самую что ни на есть возмутительную и глупую подлость... Мало ли ихъ здѣсь, этихъ скромницъ, гововыхъ сейчасъ же повиснуть на шеѣ, чтобы превратиться въ une dame comme il faut... Такъ на всѣхъ и жениться!?.. Еще если бы по-японски, на болѣе или менѣе короткій срокъ, по контракту – ça passe encore...

— Не болтай! — остановилъ его Аникѣевъ: — я не винилъ и не виню ее за все, что было до свадьбы. Если я не могъ любить ее, не ушелъ во время, а потомъ поддался жалости, это ужъ мое дѣло, моя судьба... Но вотъ, въ первый же день, она закапризничала и сдѣлала мнѣ сцену. Этого я не ожидалъ! Скоро я увидѣлъ, что между нами совсѣмъ нѣтъ ничего общаго, что мы не понимаемъ другъ друга, какъ существа съ двухъ разныхъ планетъ...

Онъ остановился и на лицѣ его мелькнуло выраженіе испуга, смѣшаннаго съ отвращеніемъ.

— Нѣтъ, есть вещи, которыя не слѣдуетъ вспоминать и о

которыхъ невозможно говорить! — прошепталъ онъ.—Я знаю какія усилія я надъ собою дѣлалъ... Я, конечно, скрывалъ ото всѣхъ, а прежде всего отъ матери, мое положеніе... Я пробовалъ смотрѣть на все, какъ на крестъ, посланный мнѣ Богомъ, терпѣлъ чрезъ силу, боролся съ природой. Но, вѣдь, такая борьба напрасна. Я, можетъ быть, совсѣмъ ни на что негодный человѣкъ, но и такой человѣкъ долженъ имѣть свой уголъ, гдѣ онъ спокоенъ и свободенъ, гдѣ его не пилятъ и не раздражаютъ съ утра до вечера. Нельзя не задыхаться и не дойти до отчаянья, когда тебѣ то и дѣло, на всѣ лады, толкуютъ о твоихъ недостаткахъ, не только дѣйствительныхъ, но и мнимыхъ, когда ненавидятъ, и презираютъ все, что ты любишь, и любятъ только то, что тебѣ противно. Вся моя жизнь превратилась въ какую-то приходо-расходную книгу, я былъ окруженъ тенетами изъ кредитныхъ бумажекъ, сплетенъ, пересудовъ, истерическихъ сценъ...

— Довольно, милый, ты слишкомъ волнуешься... Забудь обо всемъ этомъ,— перебилъ Вово, схватывая и сжимая руки Аникѣева.

Но тотъ продолжалъ:

— И такъ прошли лучшіе годы молодости... Когда мнѣ улыбнулось короткое счастье, я отдался ему безо всякихъ угрызеній совѣсти. Но это счастье было призракомъ и потомъ я оказался, въ глазахъ жены, такимъ, конечно, преступникомъ, котораго необходимо было преслѣдовать и наказывать постоянно. Я, наконецъ, не выдержалъ и бѣжалъ...

— Но ты бѣжалъ не одинъ... Любилъ ли ты твою пѣвицу?

— Нѣтъ, я любилъ ея пѣніе и, къ тому же, мнѣ слишкомъ жутко было мое одиночество... Я былъ не первой ея любовью. Когда я увидѣлъ, что ея увлеченіе мною остываетъ, что она близко и прямо подходитъ къ новой любви, я разошелся съ нею безъ всякаго сожалѣнія...

Въ передней раздался звонокъ. И Аникѣевъ и Вово даже вздрогнули отъ неожиданности.

— Кто бы это могъ быть... ужъ почти двѣнадцать часовъ,— проговорилъ Аникѣевъ, прислушиваясь.

Послышались шаги Платона Пирожкова, шумъ отпираемой наружной двери, потомъ тихіе голоса.

«Дятелъ» вошелъ со всѣми признаками смущенія и таинственности, скосивъ носъ на сторону.

— Отъ барыни... записка... горничная ихняя отвѣта дожидается,—уныло произнесъ онъ, подалъ письмо и какъ-то бокомъ вышелъ въ переднюю.

Вово не могъ усидѣть на мѣстѣ отъ любопытства. Аникѣевъ разорвалъ конвертъ и сразу охватилъ глазами строки, написан-

ныя знакомымъ, но непривычно неровнымъ, спѣшнымъ почеркомъ.

Лидія Андреевна писала:

«Соня провѣдала, что вы въ Петербургѣ. Она больна. Съ нею какой-то странный, ужасный припадокъ. Она кричитъ не переставая и зоветъ васъ. Пріѣзжайте не медля ни минуты.

Л. А».

Аникѣевъ поблѣднѣлъ. бросилъ письмо князю Вово, схватился рукою за сердце, и кинулся въ переднюю.

Вово едва наѣналъ его внизу лѣстницы и, не говоря ни слова, втолкнулъ въ свою карету.

— На Фурштатскую! скорѣй! скорѣй!—крикнулъ онъ кучеру.

XXIII.

Соня, дѣйствительно, знала, что ея отецъ въ Петербургѣ. Съ нею, дѣйствительно, сдѣлался къ вечеру нервный, почти истерическій припадокъ. Лежа въ кровати, она нѣсколько разъ принималась плакать, и когда ея француженка, черноглазая и курносенькая mademoiselle Ernestine, допытывалась у нея о причинѣ этихъ рыданій, она отчаянно шептала ей:

— Je veux voir papa! je sais que papa est à Pétersbourg... je veux papa!.. papa!.. papa!..

Лидія Андреевна, однако, отлично знала, что ничего ужаснаго во всемъ этомъ нѣтъ, что дѣвочка въ концѣ-концовъ успокоится и крѣпко заснетъ. Вернувшись въ двѣнадцатомъ часу изъ Михайловскаго театра и выслушавъ докладъ mademoiselle Ernestine, Лидія Андреевна только нетерпѣливо передернула плечами.

Но вдругъ ея мысли приняли новое направленіе. Она такъ заволновалась, что совсѣмъ изумила француженку, жившую въ домѣ уже три года и хорошо знавшую, «le sang froid de madame». Она кинулась въ спальню Сони, испугала начинавшую засыпать дѣвочку, довела ее до новыхъ слезъ и такъ приставала къ ней, что, наконецъ, Соня прошептала и ей свое признаніе:

— Мнѣ такъ ужасно грустно безъ папа... Я такъ хочу его видѣть!...

— Успокойся моя дѣвочка,—красиво произнесла Лидія Андреевна, еще полная впечатлѣніемъ только-что видѣнной ею на сценѣ французской драмы, и обнимая дочь: — успокойся... я напишу ему сейчасъ же... и, можетъ быть, онъ пріѣдетъ.

Она глубоко вздохнула, еще разъ прижала Соню къ груди и вышла изъ ея комнаты. Дѣвочка, почти незнавшая материнской ласки, проводила свою мать изумленнымъ взглядомъ.

«Какъ это кстати!»—думала Лидія Андреевна, присаживаясь

къ письменному столику и стараясь писать «какъ можно тревожнѣе».

Это, конечно, было очень кстати. Пріѣхавъ въ Петербургъ въ первый разъ послѣ своего разрыва съ женой, Аникѣевъ сталъ навѣщать Соню, и даже очень часто. Онъ ужъ успѣлъ, за время своихъ заграничныхъ скитаній, почувствовать и сознать въ себѣ нѣжную любовь къ дочери.

Пока Соня была мала, она почти совсѣмъ для него не существовала. Когда она стала подростать, онъ время отъ времени замѣчалъ ее, возился съ нею, ласкалъ ее и цѣловалъ съ присущей ему чисто женственной нѣжностью. Но порывъ проходилъ, мысли, интересы и чувства направлялись въ другую сторону... и Соня будто безслѣдно исчезала изъ его сердца.

Когда въ его жизни появилась Алина и наполнила собою всю эту жизнь, Соня ушла еще дальше. Она вернулась только потомъ, гораздо позднѣе, среди его глубокаго одиночества въ залитой солнцемъ странѣ, на берегу южнаго моря. Это было такое время, что вдругъ замерло все прежнее, даже призракъ Алины пересталъ появляться.

Это была ночь, темная, зачарованная, душная ночь, спускавшаяся въ сердце, и среди этой ночи, неожиданно и явственно, раздался голосъ маленькой дѣвочки. Она пришла и ужъ не хотѣла уходить надолго, возвращалась все чаще и чаще.

Къ великой радости Платона Пирожкова, Аникѣевъ приказалъ ему тогда укладывать чемоданы и объявилъ, что они возвращаются въ Петербургъ. И вотъ, вернувшись, онъ сталъ часто навѣщать Соню, и эти свиданія были для него полны тоски, грусти и новыхъ, еще неизвѣданныхъ имъ наслажденій.

Въ первое время Лидія Андреевна держала себя съ достоинствомъ и ничему не мѣшала. Она потребовала, чтобъ Аникѣевъ назначилъ дни и часы своихъ посѣщеній, и, ко времени его пріѣзда, всегда уѣзжала изъ дому.

Но долго такъ выдержать Лидія Андреевна не могла; къ тому же она замѣтила, что Соня, несмотря на всю подготовку, не только не чуждается отца, а каждый разъ ждетъ его прихода, какъ свѣтлаго праздника. Допускать такую «неестественность» было вовсе не въ ея планахъ.

Придя какъ-то въ назначенный часъ, Аникѣевъ засталъ Лидію Андреевну, и она объявила ему, что Соня гуляетъ съ француженкой, но скоро вернется. Онъ хотѣлъ было идти навстрѣчу дѣвочкѣ. Тогда Лидія Андреевна очень ласково попросила его въ свою гостиную, такъ какъ ей необходимо съ нимъ поговорить.

— Мнѣ кажется, говорить намъ не о чемъ,—смущенно замѣ-

тилъ Аникѣевъ:—если же у васъ до меня какое дѣло, напишите мнѣ, это будетъ всего лучше: я обдумаю и тоже письменно вамъ отвѣчу.

— Нѣтъ, Михаилъ Александровичъ,—опуская глаза, спокойно и рѣшительно перебила Лидія Андреевна: — въ письмѣ всего не скажешь, да и дѣла особеннаго нѣтъ, а просто я хочу потолковать съ вами о Сонѣ... Надѣюсь, мы можемъ теперь говорить, не раздражая другъ друга. Пожалуйста, войдите...

Онъ, дѣлать нечего, послѣдовалъ за нею, очень хорошо зная, что ничего путнаго изъ этого разговора выйти не можетъ.

Лидія Андреевна начала:

— Надѣюсь, вы согласитесь со мною, что чѣмъ меньше Соня задумывается надъ нашими отношеніями, тѣмъ для нея лучше.

— Конечно!—прошепталъ Аникѣевъ.

— Очень рада, что вы со мной согласны. Видите ли, она ужъ начинаетъ удивляться тому, что вы не только не живете вмѣстѣ съ нами, но и никогда не видаетесь со мною; когда вы пріѣзжаете, я уѣзжаю. Вы у насъ не завтракаете и не обѣдаете. Я дѣлаю все, на что способна любовь матери въ такихъ обстоятельствахъ, я сглаживаю предъ нею все, лгу, вывертываюсь. Но очевидность слишкомъ бросается въ глаза, а Соня очень развита и вдумчива для своихъ лѣтъ. Придите мнѣ на помощь. Ради нашего ребенка принесите и вы какія-нибудь маленькія жертвы. Я не хочу васъ лишать свиданій съ дочерью, я признаю ваши права... но... я не стану больше уходить изъ дому, когда вы здѣсь. Будемъ при Сонѣ относиться другъ къ другу такъ, какъ будто ничего между нами не произошло. Мнѣ это очень трудно; но я подамъ вамъ примѣръ. Останьтесь у меня сегодня обѣдать. Увѣряю васъ, что это крайне необходимо для Сони, сами увидите...

Говоря все это, Лидія Андреевна имѣла такой грустно-спокойный, исполненный достоинства, видъ, въ словахъ ея было столько правды, что Аникѣеву оставалось толко молча согласиться съ нею.

Когда Соня вернулась домой и увидѣла отца и мать, мирно бесѣдовавшихъ въ гостиной, она вся такъ и просіяла.

— Ахъ, какъ это хорошо, что мама дома!—весело говорила она, крѣпко обхватывая рученками шею Аникѣева и звонко его цѣлуя.—А то все такъ какъ-то случается, что когда ты, папочка, пріѣзжаешь, мамы какъ на зло нѣтъ и нѣтъ... Папочка, милый, отчего ты никогда не обѣдаешь съ нами!.. Мама, вѣдь, правда? непремѣнно надо, чтобы папочка обѣдалъ съ нами?..

Сказала и смутилась, и тревожно взглянула на мать. Но Лидія Андреевна добродушно улыбнулась.

— Такъ вотъ ты и пригласи папочку сегодня... а у насъ кстати его любимое пирожное—шоколадный пирогъ... вотъ и пригласи...

— Папа! милый!...—вопросительно и умоляя воскликнула Соня.

Аникѣевъ взялъ ее къ себѣ на колѣни, охватилъ руками ея бѣлокурую хорошенькую головку и, глядя ей въ глаза затуманившимся взглядомъ, шепнулъ:

— Будемъ ѣсть шеколадный пирогъ... а ты его тоже любишь?

— Очень!—блаженно вздохнула Соня, жмуря глаза и прижимаясь къ отцу граціознымъ движеніемъ ласкающейся кошечки.

Слѣдствія этого новаго положенія вещей оказались очень скоро. Лидія Андреевна легко, съ видимымъ удовольствіемъ и, притомъ, съ большимъ мастерствомъ принялась разыгрывать свою новую роль. Она относилась къ Аникѣеву такъ предупредительно и любезно, какъ не относилась къ нему никогда, даже въ самое первое время послѣ свадьбы. Она часто упрашивала его, вмѣстѣ съ Соней, спѣть имъ что-нибудь, и, если онъ былъ въ музыкальномъ настроеніи и садился къ роялю, слушала его со всѣми признаками эстетическаго наслажденія. А когда онъ прерывалъ свою игру или пѣніе, она глубоко вздыхала и у нея вырывалось:

— И такой талантъ не пользуется европейской извѣстностью!

Одинъ разъ она ему сказала:

— Я увѣрена, мой другъ, что если-бы вы рѣшились дать нѣсколько концертовъ за границей: въ Вѣнѣ, Парижѣ, Лондонѣ и Берлинѣ, то вернулись бы въ Россію съ большою славой и большими деньгами.

— Не поздно ли объ этомъ думать, если до сихъ поръ я не сдѣлалъ этого,—отвѣтилъ онъ, насмѣшливо взглянувъ на нее.

— Ничуть не поздно, напротивъ, мнѣ кажется, что теперь именно самое время. Вашъ голосъ въ полной силѣ, ваши импровизаціи восхитительны. Прежде вы находили, что не имѣете нужды извлекать деньги изъ своего таланта... ну, а теперь деньги начинаютъ становиться очень не лишними... Я совѣтую вамъ серьезно подумать о моихъ словахъ...

Если-бъ это было сказано въ другое время, можетъ-быть, Аникѣевъ и подумалъ бы о словахъ ея. Но за часъ передъ тѣмъ она просила у него значительную экстренную сумму на какіе-то совсѣмъ фантастическіе расходы «для Сони»,—и ея дружескій тонъ поднялъ въ его нервахъ знакомое раздраженіе...

Между тѣмъ Лидія Андреевна такъ хорошо играла свою роль, что ей даже захотѣлось похвастаться собою передъ добрыми знакомыми, — и вотъ Аникѣевъ сталъ заставать у нея, будто случайно, ея интимный, дружескій кружокъ. Съ нимъ всѣ,

конечно, были любезны и дѣлали видъ, что ничего не знаютъ и не замѣчаютъ, но и менѣе чуткій, менѣе впечатлительный человѣкъ почувствовалъ бы себя не въ своей тарелкѣ среди такихъ собраній...

Лидія Андреевна, иной разъ даже съ подчеркиваньемъ, представлялась добродѣтельной жертвой. Ея предупредительность и ласковость, ея грустное лицо, подавленные вздохи, напускная, гутъ же остывающая и смѣняющаяся грустью, веселость—все это выставлялось напоказъ, находило себѣ откликъ въ присутствовавшихъ дамахъ, которыя своею строгой, изысканной любезностью очень внятно говорили Аникѣеву, что онъ негодяй—и ничего больше.

Онъ объявилъ Лидіи Андреевнѣ о своемъ нежеланіи встрѣчать у нея кого-либо и опять сталъ проходить прямо къ Сонѣ.

Но Лидія Андреевна не могла допустить этого; она всякій разъ вызывала его подъ видомъ дѣлъ и, перемѣнивъ тонъ, раздражала его своими требованіями и совѣтами до того, что онъ переставалъ владѣть собою. Словомъ, началось именно то самое, отъ чего онъ бѣжалъ, и что совершенно отравляло его жизнь многіе годы, до и послѣ его «грѣхопаденія», то-есть исторіи съ Алиной.

Маска снова снималась, какъ только они оставались вдвоемъ. Глаза Лидіи Андреевны уже не ласкали своимъ грустнымъ взглядомъ. Ея губы ужъ не повторяли: «мой другъ, теперь, когда все кончено между нами, мы можемъ говорить безъ раздраженія о томъ, что одинаково важно для насъ обоихъ—о Сонѣ».

Лидія Андреевна вдругъ позабыла, что они чужіе другъ для друга. Она обращалась къ Аникѣеву такимъ тономъ, будто онъ былъ преступникъ, котораго слѣдовало подвергнуть смертной казни, и которому только благодаря чрезмѣрному снисхожденію судей оставлена жизнь подъ условіемъ вѣчной каторги. Она не упускала рѣшительно ничего, что могло больно задѣть его, оскорбить, а главное—довести до нервнаго возбужденія. Она хорошо знала всѣ его больныя мѣста, а потому всегда попадала мѣтко. Наконецъ, она, уже безо всякихъ стѣсненій, требовала отъ него такихъ денежныхъ средствъ, какими онъ не располагалъ.

При первомъ же словѣ о деньгахъ онъ обыкновенно, какъ и въ прежніе годы, вынималъ свой бумажникъ и отдавалъ ей все, оставляя себѣ нѣсколько рублей. Но ей этого было мало. Она принималась стонать и плакать, плакать такъ, какъ будто съ нею случилось самое ужасное несчастіе.

Онъ хорошо зналъ, что она никогда не можетъ тратить всего получаемаго ею, что она «откладываетъ». Эта комедія

доводила его до сердцебіенія и удушья. Тогда ея слезы превращались въ глухія рыданія.

— Безсовѣстный извергъ, убійца!—тихо произносила она сквозь рыданія и, внезапно возвышая голосъ, закатывалась:— несчастная я, несчастная! лучше убейте меня сразу... только не ломайтесь надо мною!.. не тяните изъ меня душу... что я вамъ сдѣлала? за что вы погубили и меня, и бѣдную Соню?..

Его охватывало бѣшенство. Онъ блѣднѣлъ и шепталъ:

— Ради Бога тише... успокойтесь... вѣдь, Соня слышитъ... пожалѣйте ее!..

Но ей именно и надо было, чтобы Соня слышала. Она рыдала и причитала все громче и громче. Соня сидѣла въ сосѣдней комнатѣ и тоже рыдала, дрожа всѣмъ тѣломъ.

Онъ схватывалъ себя за голову и убѣгалъ, а потомъ лежалъ дня два, три, совсѣмъ разбитый, съ истерзанными нервами.

Послѣ нѣсколькихъ подобныхъ сценъ онъ рѣшилъ, что никогда не переступитъ порога Лидіи Андреевны, такъ какъ это убійственно не только для него, а прежде всего для Сони. Онъ просилъ прислать ему Соню. Но Лидія Андреевна написала:

«Этого никогда не будетъ. Если хотите видѣть дочь,—пріѣзжайте ко мнѣ, а къ вамъ я ее не отпущу, потому что вовсе не желаю, чтобъ она встрѣчалась съ разными женщинами, которыя у васъ хозяйничаютъ и съ которыми вы ее познакомите, не признавая въ этомъ ничего для нея вреднаго и дурного».

Онъ жилъ одинъ, въ гостиницѣ, со своимъ вѣрнымъ, никогда не покидавшимъ его Платономъ Пирожковымъ, и Лидія Андреевна отлично знала, что никакихъ женщинъ у него не бываетъ.

Первымъ его движеніемъ, по полученіи этого письма, была рѣшимость взять Соню, отнять ее, украсть, и уѣхать съ нею какъ можно дальше. Но онъ сейчасъ же и понялъ, что это неисполнимо, что это значило бы подвергнуть бѣднаго ребенка цѣлому ряду новыхъ, потрясающихъ впечатлѣній. Ему оставалось одно: опять бѣжать, и онъ бѣжалъ за границу, даже не простясь съ дочерью, такъ какъ чувствовалъ, что не выдержитъ этого прощанія, не найдетъ въ себѣ силы оторваться отъ Сони...

XXIV.

Лидія Андреевна вздрогнула и даже поблѣднѣла, услыша рѣзкій звонокъ и понявъ, что черезъ нѣсколько мгновеній ея мужъ будетъ предъ нею.

Она увѣряла своихъ пріятельницъ и сама себя увѣрила, что «долго-долго, страстно и безумно любила его, что была ему

примѣрною женой, что онъ истерзалъ и погубилъ всю ея жизнь».

Теперь, когда прошло столько времени и когда онъ нанесъ ей послѣднее оскорбленіе, то-есть окончательно разорился, она, конечно, имѣла право его презирать и ненавидѣть. Но она была добродѣтельная женщина, она была христіанка, а потому роль самоотверженной жертвы, неспособной на озлобленіе и все еще хранящей нѣжную память о далекомъ, погибшемъ счастьи, представлялась ей естественной и пріятной.

Она такъ давно не видала Аникѣева, такъ соскучилась по «объясненіямъ» съ нимъ, вошедшимъ въ ея плоть и кровь и оставившимъ послѣ себя ничѣмъ незамѣнимый пробѣлъ въ ея существованіи.

Наконецъ, ее разбирало любопытство: ей сказали, что онъ будто бы очень измѣнился за послѣдніе годы, постарѣлъ, не имѣетъ уже прежняго, покорявшаго всѣ сердца вида. Она же ничуть не постарѣла, напротивъ, пріобрѣла пріятную полноту и свѣжесть спокойной духомъ и тѣломъ женщины, вступившей въ зрѣлый возрастъ. Она считала себя болѣе привлекательною, чѣмъ когда-либо.

Ну, такъ вотъ, ей очень пріятно было показаться во всей своей новой красотѣ предъ постарѣвшимъ Аникѣевымъ и подразнить его хорошенько этой красотой.

Она взглянула въ зеркало, поспѣшно оправилась, приняла въ креслѣ граціозную, печальную позу.

Аникѣевъ вошелъ одинъ. Вово остался въ каретѣ, сказавъ, что будетъ ждать и, въ случаѣ надобности, поѣдетъ за докторомъ. Лидія Андреевна увидѣла передъ собою блѣдное лицо мужа, какъ ей показалось нѣсколько помятое, съ темной тѣнью вокругъ усталыхъ глазъ, съ замѣтно-порѣдѣвшими волосами.

«О! да еще какъ постарѣлъ-то!»—чуть было громко не крикнула она.

Между тѣмъ Аникѣевъ взглянулъ на нее растерянно и дрожавшимъ голосомъ спрашивалъ:

— Гдѣ же Соня? что такое съ нею? я долженъ знать всю правду!

Но онъ, не дожидаясь отвѣта на свои вопросы, шелъ прямо черезъ гостиную, очевидно направляясь, по старой памяти, въ комнату Сони.

Лидія Андреева его удержала.

— Нельзя, Михаилъ Александровичъ, — сказала она: — тамъ съ Соней спитъ француженка... и она ужъ вѣрно раздѣта... Подождите, я пойду посмотрю... и, ради Бога, успокойтесь...

— Что съ ней, что?.. Вѣдь, вы писали...

— О! она ужасно напугала насъ... только, когда я ужъ послала къ вамъ съ письмомъ, она нѣсколько успокоилась и задремала... я посмотрю... подождите минуту...

Онъ остановился, а Лидія Андреевна скрылась за спущенной дверной занавѣсью.

Онъ ничего не могъ сообразить и врядъ ли даже понималъ, что именно говорила ему Лидія Андреевна. Его охватило ощущеніе близости Сони, сознаніе, что онъ сейчасъ ее увидитъ, чувство безпредѣльной радости, смѣшанное съ чисто-паническимъ страхомъ, ожиданіемъ чего-то рокового, ужаснаго.

«А вдругъ она... вдругъ ея ужъ нѣтъ?!»—мелькнула у него мысль, и онъ застылъ. Онъ кинулся впередъ и у двери, ведшей изъ будуара въ корридоръ, столкнулся съ Лидіей Андреевной.

— Войдите, только тихонько... Француженка перебралась въ столовую... Соня спитъ... войдите!—шепнула она.

Шатаясь, съ почти остановившимся сердцемъ вошелъ онъ въ Сонину комнату, въ ту самую комнату, гдѣ четыре года тому назадъ проводилъ съ нею сладкіе и грустные часы. Онъ увидѣлъ не прежнюю, не дѣтскую, а совсѣмъ ужъ большую бронзированную кровать и на ней, подъ краснымъ шелковымъ одѣяломъ, длинную, худенькую фигуру. Онъ увидѣлъ толстую бѣлокурую косу, и только: лица Сони не было видно, она повернула его къ стѣнѣ и уткнулась въ подушку.

Аникѣевъ какъ безумный взглянулъ на Лидію Андреевну, прося ее этимъ взглядомъ уйти, затворилъ дверь и неслышно подошелъ къ Сониной кровати.

Съ расширенными отъ страха глазами, весь дрожа и обливаясь холоднымъ потомъ, онъ сталъ прислушиваться. Вдругъ огромная, никогда еще въ жизни не испытанная имъ радость охватила его, онъ явственно разслышалъ мѣрное, спокойное дыханіе.

Она жива! она спитъ!..

Совсѣмъ обезсиленный опустился онъ на стулъ, стоявшій у кровати, и закрылъ глаза, тяжело дыша, съ кружившейся головою. Наконецъ, онъ очнулся и опять склонился надъ кроватью, и опять слушалъ ровное, спокойное дыханіе спавшей дѣвочки. Онъ прижался губами къ ея косѣ, впивая въ себя легкій, милый запахъ этихъ шелковистыхъ волосъ.

Но онъ не могъ больше такъ оставаться, онъ долженъ видѣть ее, свою Соню! Осторожно, затаивъ дыханіе, онъ обѣими руками взялъ ея голову и повернулъ къ себѣ ея личико. Онъ сразу не узналъ ее, такъ она измѣнилась за эти годы. Ему показалось, что это совсѣмъ не она и въ то же время его поразило въ ней необычайное, новое сходство съ его матерью. Это было даже что-то странное, даже стало ему жутко на мгновеніе.

Она вздохнула, открыла большіе, темные и блестящіе глаза, [illegible]ѣла на него съ испугомъ, съ изумленіемъ.

Но вотъ она его узнала.

— Папа! — крикнула она, приподнялась, охватила тонкими длинными ручками его шею и замерла на груди его.

Если-бъ онъ могъ думать и сознавать свои ощущенія въ эти минуты, онъ только теперь понялъ бы до какой степени, со смерти матери, былъ одинокъ, страшно одинокъ. Онъ понялъ бы, что даже и во дни безумнаго счастья съ Алиной, его тяжкое одиночество не совершенно уничтожалось. Между нимъ и Алиной все же стоялъ призракъ разлуки. Бывали, конечно, минуты, когда этотъ призракъ совсѣмъ блѣднѣлъ, забывался; но стоило какому-нибудь, едва уловимому звуку дѣйствительной жизни нарушить любовный бредъ и призракъ разлуки снова яснѣлъ, сгущался.

Теперь же, держа въ объятіяхъ Соню, чувствуя ея дыханіе, трепетъ ея дѣтскаго тѣла, ея поцѣлуи, Аникѣевъ безсознательно, но всѣмъ своимъ существомъ испытывалъ именно противоположное чувству одиночества. Между нимъ и Соней не было никакого призрака. Это *его* Соня, она сразу наполнила собою всю унылую, томительную пустоту, такъ давно вокругъ него образовавшуюся. Онъ ужъ не одинъ,—и только смерть можетъ разлучить ихъ.

Но въ то же время ему было такъ больно, такъ невыносимо жалко и себя, и Соню.

— Чего же ты плачешь, Соня? Дѣточка моя, жизнь моя, чего же ты плачешь?!—повторялъ онъ, покрывая поцѣлуями ея влажные глаза и щеки, и не замѣчая, что самъ онъ плачетъ.

— Папа, я такъ рада... я такъ ужасно рада, что ты пріѣхалъ!—отвѣчала ему шопотомъ Соня.

Она отрывалась отъ него, запрокидывала голову, вглядываясь въ его лицо, и опять жадно къ нему прижималась.

Между тѣмъ Лидія Андреевна, стоявшая все время за дверью и глядѣвшая въ щелку, начинала сердиться.

«Дурацкая мелодрама!» —думала она:—«сантиментальнаго папашу разыгрываетъ, и это—бросивъ дочь и сдѣлавъ насъ нищими!»

Главное же, ее раздражала нѣжность Сони, ея восторженное, непобѣдимое чувство къ отцу. Въ теченіе четырехъ лѣтъ она дѣлала все, чтобы уничтожить въ дѣвочкѣ это чувство. Казалось бы чего легче, а между тѣмъ Соня не забывала отца, къ которому всѣ вокругъ нея, начиная съ матери, относились какъ къ запретному и недостойному предмету.

Лидія Андреевна, конечно, никакъ не могла понять, что именно

благодаря ея образу дѣйствій живетъ и развивается восторженная, почти мистическая любовь Сони.

Для чуткой и нервной дѣвочки образъ отца сливался съ чѣмъ-то таинственнымъ. Отецъ представлялся ей прекраснымъ, милымъ, нѣжнымъ и любящимъ. Она помнила его волшебное пѣніе, его ласки, тѣ часы, когда онъ бывалъ съ нею и такъ *понималъ* ее, какъ будто онъ былъ вовсе не взрослый, а такой же ребенокъ, какъ и она.

Она знала, *навѣрное* знала, что онъ хорошій, что онъ лучше и добрѣе всѣхъ. А вотъ никто его не любитъ, о немъ даже никто не говоритъ, какъ будто это стыдно и неприлично говорить о немъ. Всѣ непремѣнно думаютъ, что онъ сдѣлалъ что-нибудь очень дурное. Но Соня знаетъ, что онъ ничего дурного не сдѣлалъ, потому что не можетъ сдѣлать ничего дурного, потому что онъ хорошій, гораздо лучше всѣхъ...

Глубокое чувство обиды за отца, большая къ нему жалость поселились въ сердце Сони,—и росли по мѣрѣ того, какъ росла и развивалась она сама.

И вмѣстѣ съ этимъ росло въ ней отчужденіе отъ матери. Она ужъ *чувствовала* ее виновницей всей этой тайны, всего этого мучительнаго горя своей дѣтской жизни, о которомъ она никогда и никому не говорила...

Лидія Андреевна, наконецъ, не выдержала, распахнула дверь и вошла.

— Вотъ, Соня, ты и увидѣла папа, и увидишь его завтра,— сказала она: — а теперь, пожалуйста, усни,—очень поздно, уже часъ ночи...

— Всѣмъ пора спать, — прибавила она, дѣлая удареніе на словѣ «всѣмъ».

Аникѣевъ и Соня вернулись къ дѣйствительности.

— Ты вернешься завтра? навѣрно?—шепнула Соня.

— Конечно,— отвѣтилъ онъ, обнимая всю дѣвочку жаднымъ, нѣжнымъ взглядомъ и скорѣе выходя изъ комнаты, будто боясь, что если останется еще хоть на секунду, то ужъ никогда не уйдетъ отъ нея.

— Пожалуйста, спи! — своимъ обычнымъ суровымъ тономъ произнесла Лидія Андреевна и поспѣшила за Аникѣевымъ.

XXV.

Она непремѣнно должна была на нѣсколько минутъ удержать его. Онъ уѣдетъ обласканный ею, но въ то же время увѣренный въ ея твердой рѣшимости ни за что въ мірѣ не отпускать къ нему Соню.

Между тѣмъ Аникѣевъ уходилъ, онъ былъ ужъ въ передней. Она прямо взяла его за руку и умоляющимъ голосомъ шепнула:

— Нѣтъ... ради Бога не уѣзжайте... останьтесь на минуту...

Она не выпускала его руку, держала его крѣпко. Онъ не могъ бороться съ ней, вырываться отъ нея въ присутствіи горничной, а потому вернулся въ гостиную. Къ тому же онъ былъ такъ растерянъ и разсѣянъ, полонъ близостью Сони. Онъ даже не соображалъ—съ какою-же это цѣлью Лидія Андреевна прислала за нимъ, если Соня, очевидно, совсѣмъ здорова. Онъ позабылъ, что у подъѣзда, въ каретѣ, дожидается его Вово.

Лидія Андреевна начала прямо, со свойственною ей въ такихъ случаяхъ рѣшимостью.

— Ахъ, Михаилъ Александровичъ,— сказала она:—вотъ мы опять увидѣлись съ вами. Сколько времени! шутка сказать!.. Не знаю, какъ вы, а я за эти годы столько передумала и такъ перестрадала, что во мнѣ, право, ничего прежняго не осталось. У меня теперь только одно въ жизни—Соня. Себя я похоронила, я давно все простила, забыла, и все то, чѣмъ я прежде возмущалась—мнѣ кажется теперь такимъ пустымъ, ничтожнымъ... для меня, то-есть, пустымъ и ничтожнымъ...

— Постойте, дайте мнѣ договорить!—воскликнула она, видя, что онъ хочетъ ее перебить и сказать что-то:—я нахожу теперь, что была очень виновна предъ вами, заявляя свои права отстаивая для себя самой значительное мѣсто въ вашей жизни (она запомнила эту фразу изъ послѣдняго прочитаннаго ею французскаго романа—и перевела ее). Я вижу, что должна была сразу дать вамъ полную свободу...

Тонкія ноздри Аникѣева дрогнули,—онъ, видимо, началъ ужъ раздражаться.

— Къ чему вы все это?—презрительно и уныло произнесъ онъ:—и притомъ... вы, кажется, предоставляли мнѣ свободу...

— Да, на словахъ,— откровенно и съ блѣдною улыбкой сказала она:—но я мучилась этою вашей свободой и мучила васъ... И вотъ теперь каюсь... Я поняла, что должна была смотрѣть на васъ во всемъ, какъ на чужого мнѣ человѣка, что только въ одномъ мы съ вами близки, связаны на вѣкъ... наша связь—Соня, и ради нея я должна была на все закрыть глаза, ничего не видѣть, не замѣчать... только чтобы вы не покидали... не меня, а Соню. Неужели вы не понимаете еще, какъ ужъ давно поняла я, что наши отношенія, нашъ разъѣздъ — это для нея ядъ, смертельный ядъ?!

Она закончила красиво, горячо—и глядѣла на него пристально, съ полнымъ сознаніемъ своей правоты и зная, что если онъ не согласится съ нею—ей легко будетъ разбить его.

— Я знаю, что ядъ,—медленно выговорилъ Аникѣевъ: — но еще большій ядъ для нея тѣ сцены, тѣ безобразныя сцены, которыя заставили меня бѣжать отъ васъ...

— Да, вѣдь, я же и говорю, что поняла это! Можетъ быть, меня оправдаетъ передъ людьми чувство, вызывавшее мое раздраженіе... только я не ищу оправданій... я каюсь... Простите меня, Михаилъ Александровичъ...

Она подняла на него свои выпуклые, увлаженные слезами глаза; но тотчасъ же опустила ихъ. Она казалась совсѣмъ искренней, да и, дѣйствительно, была, неожиданно для себя самой, искренна въ эту минуту.

Помимо всѣхъ разсчетовъ и практической, крайней необходимости снова сойтись съ мужемъ во избѣжаніе въ близкомъ будущемъ уже настоящей нищеты, Лидія Андреевна за эти четыре года испытала многія неудобства своего положенія. Хоть она и жаловалась вдовѣ Бубеньевой, что Аникѣевъ превращалъ домъ въ какой-то цыганскій таборъ; но на повѣрку вышло совсѣмъ иное. Безъ него вокругъ Лидіи Андреевны стало настолько уныло, что и она замѣтила, наконецъ, это уныніе, поняла его причину. Съ другой стороны, приходилось постоянно всѣмъ новымъ знакомымъ объяснять свою невинность, бороться противъ свѣтскаго предубѣжденія.

Пріятельницы Лидіи Андреевны, со всею назойливостью сердобольной жестокости, то и дѣло втыкали въ нее ядовитыя дружескія шпильки и булавки, охая и ахая надъ фальшивостью ея положенія. Madame Бубеньева, встрѣчая новый годъ у Лидіи Андреевны и придя въ вакхическое настроеніе, даже подняла бокалъ и провозгласила такой тостъ: «Я пью за освобожденіе въ этомъ году нашей милой хозяйки отъ ея тягостныхъ узъ,— гораздо лучше быть вдовой, чѣмъ женой отсутствующаго мужа!...»

— Я вовсе не желаю смерти моему мужу и нахожу такой тостъ больше чѣмъ страннымъ, особенно въ моемъ домѣ, — съ достоинствомъ отвѣтила Лидія Андреевна, отстраняя бокалъ, протянутый ей «совушкой».

Но этими словами и ограничилось ея негодованіе: она осталась близкимъ другомъ Бубеньевой. Да и за что было на нее сердиться, вѣдь, она сказала это по своей, всѣмъ извѣстной, глупости и уже значительно подвыпивъ. Ну, а въ сущности все же она сказала правду, конечно, гораздо лучше овдовѣть, чѣмъ быть въ такомъ двусмысленномъ положеніи.

Поэтому-то теперь, видя предъ собой Аникѣева, Лидія Андреевна не могла не чувствовать, что было бы во всѣхъ отношеніяхъ хорошо, еслибъ онъ навсегда здѣсь и остался. Можетъ

быть, она и дѣйствительно иногда съ нимъ черезчуръ рѣзко обращалась. Надо показать ему, что она сознаетъ свои ошибки,— это всегда такъ нравится мужскому самолюбію.

И она скромно повторила:

— Михаилъ Александровичъ, простите мнѣ мои ошибки, простите ради Сони!

Его чуткость никогда не обманывалась въ такихъ случаяхъ; онъ тотчасъ же подмѣтилъ бы неискренность, и особенно ужъ въ этой-то женщинѣ, которую такъ хорошо зналъ. Нѣтъ, она, какъ ни странно это, говоритъ отъ души.

— Что же намъ и дѣлать, какъ не простить другъ другу наше прошлое? — останавливая на ней внимательный и усталый взглядъ, сказалъ онъ.

Ей стало неловко подъ этимъ взглядомъ.

— Необходимо, чтобы такое прощенье было не на словахъ только, а и на дѣлѣ,—медленно произнесла она.—Послушайте, вѣдь, Соня вонъ какая стала большая... она все видитъ... она понимаетъ очень многое... Если вы искренно прощаете меня и хотите забыть прошлое, которое ужъ не можетъ повториться— вернитесь къ намъ. Я не стану васъ стѣснять... о прошломъ не будетъ и помину. Если вы любите вашу дочь, не губите же ее, побѣдите же въ себѣ эгоистическое чувство и вернитесь. Наконецъ, посмотрите на себя, развѣ за все это время вы были счастливы? У васъ такой утомленный видъ... скитальческая жизнь не по васъ... только лютый врагъ вашъ не посовѣтуетъ вамъ того, о чемъ я прошу...

Онъ молчалъ, и она не знала, что же означаетъ его молчаніе. На него, между тѣмъ, наплывали самыя отвратительныя воспоминанія его жизни съ этою женщиной. Ну, что-жъ такое, если она теперь искренно сознаетъ свою вину и даетъ какія-то обѣщанія! Вѣдь, и у звѣря бываютъ добрыя минуты. А стоило бы ему поддаться, вернуться къ ней, и черезъ день она начнетъ то самое, отъ чего онъ бѣжалъ, чего онъ не можетъ вспомнить безъ трепета отвращенія. Да развѣ мыслимо вернуться... къ ней... къ ней!!

— Это невозможно... И вы сами отлично знаете, что я бѣжалъ не затѣмъ, чтобы возвращаться!

Онъ поднялся, чтобы уйти.

— Одно слово...—сказала она глухимъ голосомъ.—Вы не думаете о Сонѣ, такъ я должна думать о ней за двоихъ. Виню себя въ слабости... Я сдѣлала сегодня большую ошибку. Только эта ошибка, клянусь вамъ, не повторится. Въ такихъ условіяхъ ей видаться съ вами нельзя, вредно, всѣ умные люди согласятся съ мною въ этомъ. Во избѣжаніе напрасныхъ сценъ, сканда-

ловъ—я объявляю вамъ, хоть мнѣ это и очень тяжело, что больше вы ее не увидите. Клянусь вамъ вы ее больше не увидите!.. Если же вы пожелаете прибѣгнуть къ насилію—знайте, я не остановлюсь ни передъ чѣмъ, я найду себѣ такую защиту, предъ которой вы будете совсѣмъ безсильны!

Она не выдержала и сразу превратилась въ настоящую, такъ хорошо ему знакомую Лидію Андреевну. Щеки ея вспыхнули густымъ румянцемъ, изъ глазъ полились слезы, слезы злобы и бѣшенства, дѣлавшія ея лицо неузнаваемымъ, отталкивающимъ. Внѣ себя она кричала и визжала такъ, что всѣ въ квартирѣ должны были ее слышать:

— Ахъ, вы думаете, что ваши великосвѣтскіе дамы, разныя Вилимскія, къ которымъ вы опять сумѣли подольститься, помогутъ вамъ погубить Соню!.. Не безпокойтесь! за меня будутъ, въ такомъ дѣлѣ, люди посильнѣе, да и дамы ваши отъ васъ опять, и ужъ навсегда, отступятся, когда узнаютъ, что вы за человѣкъ, какую комедію вы передъ ними играете, какъ ихъ обманываете! Знайте, что не пройдетъ и двухъ недѣль, и васъ ни въ одинъ порядочный домъ не примутъ... Увидите!.. Я терпѣла, я унижалась передъ вами... я на колѣняхъ готова была умолять васъ одуматься, поступить честно и вернуться... Вы не желаете!.. ну, хорошо, пусть будетъ по вашему... но ужъ не совѣтую вамъ звонить у моей двери... да и у другихъ дверей тоже!..

Она зарыдала, порывисто скрылась въ будуаръ и заперла за собою дверь на ключъ.

Аникѣевъ, отвыкшій отъ подобныхъ сценъ, будто опьянѣлъ. Шатаясь вышелъ онъ изъ гостиной, не замѣтилъ какъ горничная подала ему шубу и очнулся только ужъ спускаясь съ лѣстницы.

Онъ вспомнилъ, что Вово дожидается Богъ знаетъ сколько времени въ каретѣ.

Вово дожидался; но безсознательно, потому что крѣпко спалъ, уйдя съ головой въ свои пушистые соболя. Однако, онъ проснулся, когда Аникѣевъ отворилъ дверцу кареты.

— Ну, что? все благополучно?—спрашивалъ онъ, сразу приходя въ себя.

— Прости меня,—могъ только выговорить Аникѣевъ.

— Развѣ долго? А я, представь, заснулъ, и такой скверный сонъ видѣлъ, кошмаръ отвратительный... une chose tout à fait répugnante... будто меня вѣнчаютъ... Значитъ, къ тебѣ?

— Ко мнѣ... куда хочешь... дай отдышаться!—черезъ силу выговорилъ Аникѣевъ.

XXVI.

На слѣдующій день, съ утра преслѣдуемый мыслью, что Соня ждетъ его, Аникѣевъ, во второмъ часу, поѣхалъ на Фурштатскую. Онъ рѣшилъ дорогой, что если ему снова сдѣлаютъ сцену, то останется уйти, а потомъ, выждавъ время, когда Лидіи Андреевны не будетъ дома, взять съ собою дѣвочку—и уже не отпускать, увезти ее изъ Петербурга. Пусть это будетъ для нея тяжелая минута; но, вѣдь, она выросла, слишкомъ многое понимаетъ...

Онъ чувствовалъ только одно: Соня не можетъ быть счастлива съ такою матерью. Соня любитъ его и страдаетъ въ разлукѣ съ нимъ. Онъ зналъ теперь это навѣрно, точно такъ же, какъ и то, что самъ не можетъ жить безъ нея...

Однако, Лидія Андреевна вовсе не готовила ему новой сцены. Послѣ его отъѣзда она успокоилась и обдумала планъ дѣйствій.

Швейцаръ, отворяя ему двери, объявилъ:

— Ни барыни, ни барышни нѣтъ дома, выѣхали съ часъ тому назадъ.

— Куда?—спросилъ озадаченный Аникѣевъ.

— Не могу знать-съ. Онѣ пѣшкомъ вышли и вонъ-эвона гдѣ взяли извозчика!

Онъ махнулъ рукой по направленію къ Литейной.

Аникѣевъ все же поднялся по лѣстницѣ и сталъ звонить, сказавъ себѣ, что войдетъ и будетъ дожидаться возвращенія Сони, хотя бы пришлось ждать до вечера.

На его нѣсколько повторенныхъ сильныхъ звонковъ дверь, наконецъ, пріотворилась; но она оказалась на цѣпочкѣ, такъ что войти было невозможно. Въ щелку глянула горничная и повторила слова швейцара.

— Когда же онѣ вернутся?

— Не могу знать.

— Отвори дверь, я буду дожидаться,—произнесъ Аникѣевъ упавшимъ голосомъ.

Горничная замялась; но все же не осмѣлилась захлопнуть двери, отворила ее и, видимо, смущенная, пропустила Аникѣева.

Онъ убѣдился, что дома нѣтъ не только Лидіи Андреевны съ Соней, но и француженки. Тишина квартиры нарушалась однимъ лишь однообразнымъ звукомъ большого маятника старинныхъ часовъ въ столовой.

Аникѣевъ почувствовалъ себя очень нехорошо. Онъ не спалъ почти всю ночь. Съ утра, кромѣ чашки чаю безъ хлѣба, у него ничего во рту не было. Ощущеніе томительной усталости разливалось по всему тѣлу.

Онъ прилегъ на диванѣ въ гостиной и ждалъ, то и дѣло вынимая часы, слѣдя за секундною стрѣлкой. На столикѣ возлѣ дивана лежала французская книга. Онъ взялъ ее и сталъ перелистывать.

Это былъ романъ Поля Буржэ, «Mensonges». Аникѣевъ умѣлъ про себя читать необыкновенно быстро, мгновенно охватывая страницу и ничего существеннаго въ ней не пропуская. Чтеніе заняло его, пока онъ не добрался до сути романа. Но эта суть заставила его только взглянуть въ конецъ, а затѣмъ онъ бросилъ книгу на столъ и закрылъ глаза, утомленные тысячами промелькнувшихъ передъ ними строкъ.

Онъ зналъ навѣрное, что не читалъ этого романа, а между тѣмъ въ этой книгѣ, прекрасно написанной, не оказалось ровно ничего для него новаго, оригинальнаго, неожиданнаго. Вѣчная, на всѣ лады уже повторенная тема: свѣтская парижанка, имѣющая видъ порядочной женщины и живущая холоднымъ, разсчитаннымъ развратомъ,—мужъ, для положенія въ свѣтѣ, одинъ любовникъ для денегъ и подарковъ, другой для сладострастія. А затѣмъ—подробности и сцены, гдѣ вся разница съ тайными порнографическими книжками заключается въ маленькомъ виноградномъ листикѣ, да въ какомъ-то прозрачномъ кисейномъ трико дымчатаго цвѣта...

«И, вѣдь, такъ языкъ свой отшлифовали, такъ устроили, что все это сходитъ за художественное творчество и за дозволенное женское чтеніе! — думалъ Аникѣевъ. — Ни поэзіи, ни огня, ни страсти, ни красоты—ничего!.. Съ разрѣшенія полиціи школа ежедневнаго, приходо-расходнаго разврата для дѣвицъ, женъ и матерей!..»

Мысль о томъ, что эта современная французская порнографія всегда составляла и, очевидно, продолжаетъ составлять единственную умственную пищу Лидіи Андреевны, что эти книжки вѣчно валяются вокругъ нея и могутъ попадаться на глаза Сони, могутъ читаться ею,—усилила раздраженіе Аникѣева. А минуты тянулись медленно, и тишина ничѣмъ не нарушалась.

Наконецъ, въ передней раздался звонокъ. Кровь ударила въ голову Аникѣева. Его жадный слухъ ловилъ малѣйшій шорохъ. Но это была не Лидія Андреевна съ Соней. Въ гостиную вошла француженка, изящно поклонилась и объяснила, что monsieur напрасно дожидается, что madame и Sophie уѣхали въ Царское Село, гдѣ и будутъ ночевать. Француженка назвала неизвѣстную Аникѣеву фамилію дамы, къ которой онѣ уѣхали, и добавила:

— Sophie est en grande amitié avec les enfants de cette dame... Oh! elle était bien heureuse de son petit voyage!..

Онъ хотѣлъ крикнуть ей, что она лжетъ, что его Соня не

могла быть счастлива ѣхать куда бы то ни было сегодня, когда она знала, что онъ долженъ придти къ ней. Ее увезли насильно или она такъ ужъ боится матери, что не смѣла выказать своего горя... Во всякомъ случаѣ, она теперь несчастна... .

Француженка опять поклонилась и съ любезною улыбкой выпорхнула изъ гостиной.

Безсильное бѣшенство охватило Аникѣева. Лидія Андреевна, какъ и всегда, побѣдила его, оскорбила, одурачила, и онъ уходилъ, подавляемый старымъ, вернувшимся кошмаромъ.

Но, вѣдь, этому будетъ конецъ, завтра онѣ вернутся изъ Царскаго, и онъ добьется своего, увидитъ Соню, возьметъ ее... возьметъ себѣ навсегда!..

XXVII.

Онъ пріѣзжалъ нѣсколько дней подъ-рядъ,—по два, по три раза на дню,—Лидія Андреевна и Соня не возвращались изъ Царскаго. Прошло шесть дней, онъ не видѣлъ Сони. Онъ просто съ ума сходилъ, не могъ ни о чемъ думать, не могъ никого видѣть, цѣлыми часами бродилъ по улицамъ, а возвращаясь къ себѣ, запирался и лежалъ, какъ мертвый.

Піанино не издавало ни одного звука, обѣдъ уносился почти не тронутымъ.

Платонъ Пирожковъ сначала повѣсилъ носъ, шевелилъ усами и вздыхалъ. Потомъ онъ озлобился и, отпирая Аникѣеву двери, глядѣлъ на него съ ненавистью. Наконецъ, на шестой день, онъ не выдержалъ. Когда Аникѣевъ приготовился утромъ выйти изъ дому, онъ сталъ «собирать» его по обычаю, практиковавшемуся имъ съ незапамятныхъ временъ, благодаря чрезмѣрной разсѣянности Михаила Александровича.

— Портфель съ деньгами взяли?—спросилъ онъ глухимъ и унылымъ голосомъ.

Аникѣевъ ощупалъ карманъ.

— Портсигаръ взяли?—продолжалъ «дятелъ», еще унылѣе и глуше, неизмѣнные вопросы.

Портсигаръ оказался на своемъ мѣстѣ.

— Платокъ взяли?

Платка, какъ и всегда почти въ такихъ случаяхъ, не было.

«Дятелъ» принесъ платокъ; но при этомъ лицо его ясно выражало, что онъ вовсе не успокоился исполненіемъ своихъ обязанностей. Брови его поднялись, усы ощетинились. Подавая барину пальто въ передней, онъ многозначительно произнесъ:

— Михаилъ Александровичъ!

— Чего тебѣ?

— Что-жъ будетъ этому конецъ, сударь? Поглядите на себя... вѣдь, на васъ лица нѣту... вѣдь, вонъ на столѣ письма дожидаются... два письма ужъ пятый день дожидаются, а вы ихъ и не читали... Вчерась братецъ, Николай Александровичъ, пріѣзжалъ, просилъ, чтобы вы безпремѣнно къ нимъ заѣхали, а, вѣдь, вы то у нихъ, знаю я это, не были... Пора бы кончить, сударь... Христосъ съ вами... пожалѣйте себя... да и меня до грѣха не доводите...

Аникѣевъ разсердился.

— Что ты тамъ мелешь! — крикнулъ онъ: — оставь меня въ покоѣ!

Онъ отворилъ дверь и сталъ спускаться съ лѣстницы.

— Я запью-съ! — мрачно и рѣшительно проговорилъ ему во слѣдъ «дятелъ», запирая дверь.

Аникѣевъ вернулся домой только въ обѣденное время, сталъ звонить и не могъ дозвониться. Пришлось ему сойти съ лѣстницы и искать со двора чернаго хода въ свою квартиру, о которомъ онъ до сихъ поръ не имѣлъ понятія. Наконецъ, онъ нашелъ его.

«Если этотъ болванъ заперъ дверь и ушелъ, что я буду дѣлать?»—съ новымъ ужъ волненіемъ подумалъ Аникѣевъ, отрываясь отъ своихъ мрачныхъ и спутанныхъ мыслей.

Но дверь въ кухню была не заперта. Печь топилась; однако, Платонъ Пирожковъ, превосходный поваръ, никогда не заставлявшій барина дожидаться обѣда, на этотъ разъ объ обѣдѣ еще и не подумалъ. По столу была разложена сырая провизія. Тутъ же стоялъ полуштофъ съ водкой, далеко ужъ не полный.

Рядомъ со столомъ, на кухонномъ табуретѣ, сидѣлъ «дятелъ», совсѣмъ свѣсивъ на грудь голову, такъ что видѣнъ былъ только длинный носъ его на фонѣ желтыхъ громадныхъ усовъ, да растрепанные волосы.

При входѣ Аникѣева, онъ поднялъ было голову; но сейчасъ же опять опустилъ ее, и не трогался съ мѣста.

— Что-жъ это такое? ты и вправду напился, разбойникъ! — крикнулъ Аникѣевъ.

Тогда Платонъ Пирожковъ поднялся съ табурета, пошатнулся и бокомъ, мотая носомъ, подошелъ къ барину.

— Нѣтъ-съ, я еще не пьянъ,—зашамкалъ онъ не своимъ голосомъ:—я еще въ своемъ... то-есть, умѣ, а только... тиранства, то-есть вашего.. терпѣть больше не намѣренъ..: Обѣда то-есть нѣтъ и не будетъ, а пожалуйте мнѣ разсчетъ немедля, потому я человѣкъ вольный...

Аникѣеву такая сцена была не въ новость; но онъ всякій разъ смущался духомъ и чувствовалъ большую неловкость, когда его «дятелъ», вообще непьющій, вдругъ напивался и требовалъ

разсчета. Онъ хорошо долженъ былъ знать, по прежнимъ примѣрамъ, что изъ этого ничего не выйдетъ; но все же пугался, какъ передъ нежданной бѣдою.

— Ложись сейчасъ спать, протрезвись сначала, а ужъ потомъ и толкуй о разсчетѣ!—строго сказалъ они.

Платонъ Пирожковъ не намѣренъ былъ сдаться.

— Это вы только зря лежите да спите, — тономъ грознаго упрека вдругъ пробасилъ онъ.—Что мнѣ спать! Съ вами не поспишь... Измочалили вы меня всего, душу изъ меня высосали!.. Не баринъ вы, а... то-есть... монстръ... кровопивецъ...

Аникѣевъ поспѣшилъ черезъ корридоръ въ переднюю.

Но «дятелъ», держась за стѣну, не отставалъ отъ него и убѣдительно басилъ:

— Жалости въ васъ нѣту... что я вамъ, каторжникъ что ли достался... мало было здѣсь, то-есть, тиранить... по заграницамъ таскали, таскали! Вѣдь, тамъ... у этого моря проклятаго... вѣдь, я, то-есть, не разъ топиться собирался... Этакъ-то нельзя-съ.. этакого закону нигдѣ не написано... Я, сударь, я завтра же на васъ градоначальнику жалобу подамъ... какъ вамъ, то-есть, угодно... а живого человѣка... души лишать... это... что-жъ такое!.. за это самое по закону отвѣтить можно!..

Голосъ его оборвался. Онъ сѣлъ на полъ и зарыдалъ.

Аникѣевъ поднялъ его, свелъ въ его комнату, повалилъ на постель и заперъ къ нему дверь на ключъ. Потомъ онъ прошелъ въ кухню, заперъ и тамъ дверь на лѣстницу, машинально переодѣлся въ спальнѣ и, наконецъ, вышелъ въ свою «музыкальную» комнату, слабо освѣщенную, изъ-за тяжелыхъ оконныхъ занавѣсей, послѣднимъ отблескомъ дневного свѣта.

Чувство глубокаго уныніа и омерзѣнія засосало ему сердце. Онъ остановился посреди комнаты.

«И это жизнь! и это жизнь!—повторялось въ его мысляхъ.— Но развѣ можно такъ жить! развѣ можно выносить такую отвратительную, безсмысленную гадость!!.»

Въ передней едва слышно звякнулъ колокольчикъ. Онъ вздрогнулъ, прислушался и рѣшилъ, что это ему только послышалось.

Но вотъ опять слабое дребезжанье, а потомъ уже совсѣмъ ясный звонокъ.

Онъ зажегъ свѣчу и, держа ее въ рукѣ, прошелъ въ переднюю, отперъ дверь.

Передъ нимъ маленькая, стройная женская фигура. Она подняла съ лица черную вуалетку,—и онъ попятился, не вѣря глазамъ своимъ.

Это была княжна Хрепелева, хорошенькая Ninette.

XXVIII.

— Какъ вы сюда попали, княжна? Кого вы ищите на этой лѣстницѣ?—спросилъ онъ, соображая, что рѣшительно не имѣетъ никакого понятія о томъ, кто такое живетъ въ этомъ домѣ.

Княжна глядѣла ему прямо въ глаза своими большими синими глазами, и онъ читалъ въ нихъ дѣтское смущеніе и въ то же время не дѣтскую рѣшимость.

— Я никого не ищу,—тяжело переводя дыханіе, медленно проговорила она:—я къ вамъ, Михаилъ Александровичъ, мнѣ очень надо васъ видѣть... можете вы принять меня?..

— Ко мнѣ?

Онъ совсѣмъ растерялся, почтительно пропустилъ ее въ переднюю, заперъ дверь и не зналъ—снимать ли съ нея шубку.

Но прежде чѣмъ онъ рѣшилъ этотъ вопросъ, она сама быстро сняла ее съ себя, такъ что онъ едва успѣлъ подхватить ее и повѣсить на вѣшалку.

— Пожалуйте!—говорилъ онъ все съ возроставшимъ смущеніемъ, вводя ее въ «музыкальную» комнату.

Княжна шла за нимъ робко, опустивъ глаза, и даже невольно прижала руку къ груди, такъ у нея, очевидно, билось сердце.

Онъ увидѣлъ, что въ комнатѣ значительно стемнѣло. Онъ зажегъ лампу и придвинулъ къ столу мягкое, удобное кресло.

— Садитесь, княжна, вотъ сюда, здѣсь вамъ будетъ хорошо... и—я весь къ вашимъ услугамъ...

Маленькая княжна сѣла, все не поднимая глазъ, и нѣсколько секундъ продолжалось неловкое молчаніе. Наконецъ, она взглянула на Аникѣева и улыбнулась. Но это была не вызывающая улыбка бойкой шалуньи, а жалкая улыбка, просящая о снисхожденіи и, въ то же время, полная настоящей грусти.

— Боже мой, что вы должны обо мнѣ думать!—вырвалось у нея, и онъ хорошо видѣлъ, что еще мгновеніе, какое-нибудь не должное съ его стороны слово, невольное, не такъ понятое ею движеніе, и она зарыдаетъ.

— Я ничего о васъ не думаю,—тихо и почтительно сказалъ онъ:—то-есть, я думаю: вѣрно, съ вами случилось очень дурное, большая бѣда... и вамъ кажется, что я могу помочь вамъ... Если-бы только я дѣйствительно могъ... располагайте мною... Я одинъ, намъ никто не помѣшаетъ, успокойтесь, скажите мнѣ все.

Онъ протянулъ ей руку, и въ глазахъ его засвѣтился отблескъ той нѣжности, съ какою онъ глядѣлъ на свою Соню. Она сжала его руку и вглядывалась въ его лицо.

— Вотъ вы меня успокоили! Какъ я вамъ благодарна!—уже новымъ голосомъ, оживляясь, воскликнула она.—Когда мнѣ принесли сегодня утромъ вашъ адресъ изъ адреснаго стола, и я рѣшилась къ вамъ ѣхать, мнѣ это казалось очень легко... Но я едва не убѣжала дойдя до вашей двери... А когда вы мнѣ отворили... Боже мой, почему же я думала, почему я была увѣрена, что вы мнѣ именно сами отворите?!.. Когда вы мнѣ отворили, у меня голова закружилась, я едва не упала... Если-бы вы иначе меня встрѣтили... но, вѣдь, не могла же я въ васъ ошибиться!.. теперь я вамъ скажу все, все... затѣмъ и пришла... ничего не стану утаивать... Знаете... Я въ прошломъ году... j'ai commis un grand péché... я утаила на духу... но отъ васъ ничего не могу утаить, иначе, вѣдь, и нельзя, не стоитъ...

Онъ внимательно слушалъ ея тихій лепетъ и все больше успокоивалъ ее своимъ взглядомъ...

Она продолжала:

— Вы угадали... конечно, со мною большая бѣда... Впрочемъ, и угадывать было нечего, бѣда, вѣдь, случилась тогда вечеромъ, на вашихъ глазахъ... вѣдь, я помню все, до той самой минуты, какъ мнѣ стало дурно... Потомъ я ужъ ничего не помню, я пришла въ себя только въ каретѣ, когда мы возвращались домой...

— Хорошо, что не случилось самаго худшаго,—перебилъ Аникѣевъ:—я боялся, что вы очень какъ-нибудь заболѣете.

— А это, по вашему, было-бы худшее?! Нѣтъ, я не заболѣла, я на слѣдующее утро уже была здорова, только въ головѣ осталась такая странная тяжесть... Но всему наступилъ конецъ, то-есть, всей моей прежней жизни... Я ужъ теперь навсегда погибла, опозорена, свѣтъ для меня не существуетъ.

Онъ улыбнулся и покачалъ головой.

— Не такъ страшно, какъ вамъ кажется!—сказалъ онъ.

— Вы думаете? вамъ смѣшно? Это хорошо, что вы улыбаетесь... Однако... знаете, вѣдь, я была невѣста...

— Знаю.

— Ахъ, ну, тѣмъ лучше, если знаете... такъ знайте же и то, что мой женихъ, графъ Ильинскій, на другой же день послѣ этого ужаснаго вечера прислалъ, на имя папа, письмо, очень приличное письмо, которымъ онъ отъ меня отказался. Вотъ это письмо, вотъ оно! Папа бросилъ мнѣ имъ въ лицо... онъ, папа, всегда сдержанный, ласковый... Онъ сказалъ, что я его навѣкъ опозорила, что я ему не дочь... Теперь онъ боленъ, не выходитъ изъ своихъ комнатъ, а я его не видала съ той минуты, какъ онъ бросилъ мнѣ это письмо... Читайте, посмотрите, какъ дѣлаются такія вещи...

Она маленькой, задрожавшей рукою, затянутой въ черную перчатку, вынула изъ кармана смятый листокъ толстой почтовой бумаги и подала его Аникѣеву.

Онъ прочелъ строки, написаннныя твердымъ, крупнымъ, ровнымъ почеркомъ.

«Глубокоуважаемый князь Валентинъ Илларіоновичъ, я немедленно уѣзжаю изъ Петербурга, чтобы гдѣ-нибудь, подальше, пережить то, что случилось. Да поможетъ Богъ вамъ и достойнѣйшей княгинѣ. Таково сердечное желаніе всегда вамъ преданнаго и уважающаго васъ

Гр. П. Ильинс...»

— Не правда-ли, коротко и ясно!—насмѣшливо проговорила княжна задрожавшими губами, вдругъ блѣднѣя.

— Тутъ одно только серьезно,—сказалъ Аникѣевъ, возвращая ей письмо:—вы очень любили этого господина?

— Мнѣ казалось, что я люблю его. Онъ представлялся мнѣ такимъ интереснымъ... Я высоко его ставила... Но послѣ этого, сразу я поняла, что не люблю его... И вотъ теперь, знаете-ли, у меня къ нему такое чувство, какъ если считаешь человѣка хорошимъ, честнымъ, и вдругъ узнаешь, что онъ укралъ. И жалко его какъ-то, и противенъ онъ очень...

— Самое настоящее чувство,—съ усмѣшкой сказалъ Аникѣевъ:—и, въ такомъ случаѣ никакой бѣды и погибели нѣтъ. Напротивъ, вы сами должны видѣть, что вамъ слѣдуетъ только радоваться и благодарить Бога. Что бы это было, если-бы вы замужъ за него вышли и уже послѣ свадьбы почувствовали, что вамъ его «и жалко какъ-то, и противенъ онъ очень»... что бы тогда было?

— Я это понимаю,—проговорила княжна, сдвигая брови и внезапно превращаясь изъ наивнаго ребенка въ женщину: — я ужъ это про себя рѣшила. Только дѣло не въ немъ, не въ этомъ женихѣ, отъ котораго меня Богъ избавилъ, а въ моей жизни дома, въ папа и мама. Мнѣ болѣе нельзя жить, вотъ что!

— Отчего нельзя жить? Разсержены, глядятъ на дѣло по своему, у васъ непріятности... только, вѣдь, посердятся, да и перестанутъ... Вотъ весна подходитъ, увезутъ васъ куда-нибудь въ деревню или за границу, а къ будущему сезону все это будетъ забыто, и заживете вы попрежнему!

Княжна опустила руки на колѣни и качала головой.

— Ахъ, какъ вы ничего не знаете!—печально воскликнула она:—да я-то знаю. Вѣдь, я знаю ихъ хорошо, ихъ и всѣхъ нашихъ... Я ни въ чемъ не виновата, совѣсть моя чиста, я сама не понимаю, какъ все это случилось со мною, а между тѣмъ, я ихъ опозорила, и сама погибла!.. И вотъ, такъ какъ я все

равно ужъ преступница и безсовѣстная, то я и прибѣжала къ вамъ... Это очень не годится; но иначе я не могла... сами увидите! Спасите меня... я знаю, что вы это можете, я вамъ вѣрю... Я всѣ эти дни о васъ думала и рѣшала, что только вы одинъ можете спасти меня... Оттого я и сдѣлала такую ужасную вещь, оттого къ вамъ и прибѣжала, вырвалась изъ дому... тихонько.

Она быстро поднялась со своего кресла, подошла къ Аникѣеву и глядѣла на него умоляющимъ взглядомъ, глазами полными слезъ.

«Что-жъ это: Enfant précosce?.. совсѣмъ извращенная дѣвочка?.. бабочка, летящая на свѣчу?..»—думалъ онъ.

Художникъ залюбовался прелестною бабочкой и даже не замѣчалъ, что слишкомъ долго любуется ею, а она трепещетъ передъ нимъ своими радужными крылышками.

XXIX.

— Если вы мнѣ вѣрите и думаете, что я могу помочь вамъ, такъ объясните въ чемъ дѣло, вѣдь, я еще ничего не понимаю!— наконецъ, сказалъ онъ.

— Ахъ, какъ это трудно сразу... въ одномъ словѣ нельзя!— воскликнула почти плача маленькая княжна и потомъ прибавила.—Когда я одна думала, все мнѣ было ясно, такъ просто и ясно, а вотъ теперь я спуталась. Но я вамъ вѣрю, такъ же вѣрю какъ и всѣ эти дни, и теперь еще больше знаю, что вы ужасно добрый...

Ему стало неловко и непріятно. Онъ невольно пожалъ плечами.

— Вы меня совсѣмъ не знаете, княжна,—сказалъ онъ:—и я очень боюсь, что вы скоро сами увидите свою ошибку. Я, конечно, не обману вашего довѣрія... но...

Онъ не договорилъ своей мысли; въ его тонѣ ужъ прозвучали и скука и досада.

Ninette почувствовала это, поблѣднѣла, и изъ ея глазъ брызнули слезы. Однако, она сейчасъ же и сдержала ихъ.

— Если вы отъ меня отвернетесь, такъ я дѣйствительно погибла!—проговорила она такъ серьезно и съ такимъ отчаяньемъ, что онъ встрепенулся.

Онъ взглянулъ ей прямо въ глаза, потомъ улыбнулся, какъ улыбался Сонѣ, и она мгновенно оживилась.

— Знаете-ли вы, что я всю жизнь была одна?—вдругъ спросила она.

— Какъ одна? Вы въ семьѣ выросли...

— Что-жъ такое!.. И все же—одна. Съ тѣхъ поръ, какъ я

стала хоть что-нибудь смыслить, я ни съ кѣмъ не могла сказать слова по душѣ. Пробовала, конечно, но меня или совсѣмъ не понимали, или увѣряли, что я говорю глупости и бранили меня. Я ужъ давно поняла, что и папа, и мама меня не любятъ. Папа намъ совсѣмъ какой-то чужой, а мама болѣе всего на свѣтѣ любитъ приличія, только о нихъ и думаетъ. Вся ея жизнь—приличіе! Это ужасно такъ говорить; но что же мнѣ дѣлать, если это правда, а лгать предъ вами я не хочу. Я очень люблю чтеніе и много читала... разумѣется по выбору моего профессора и съ одобренія мама. Меня часто въ послѣднее время возятъ въ театръ... Словомъ, кое-что я знаю о жизни. Но это не важно, а вотъ что меня мучаетъ. Я знаю Евангеліе и очень люблю читать его, читать и думать. У меня до этой зимы былъ добрый и хорошій законоучитель, отецъ Петръ, онъ мнѣ растолковалъ многое. И я увидѣла ужасную, ужасную вещь! Мы называемся христіанами, а живемъ не только хуже всякихъ язычниковъ, но если кто-нибудь вздумаетъ поступать по христіански, это считается позорнымъ, глупымъ, неприличнымъ, да—неприличнымъ! Мы ѣздимъ въ церковь, говѣемъ, исповѣдываемся, причащаемся только потому, что это принято въ нашемъ кругу...

Аникѣевъ развелъ руками.

— Княжна!—воскликнулъ онъ:—такъ это вы пришли ко мнѣ съ христіанствомъ! Ко мнѣ! Да знаете ли вы, что я ужъ и забылъ то время, когда читалъ Евангеліе... У меня его и нѣтъ совсѣмъ! Я много лѣтъ не былъ въ церкви, не исповѣдывался и не пріобщался...

Она пристально на него глядѣла.

— Почему?—спросила она.—Почему вы не читаете Евангеліе? Потому-ли, что не вѣрите въ Бога и отреклись отъ христіанства?

— Нѣтъ, не потому, а оттого, что я далекъ отъ всего этого... какъ-то такъ случилось... Видите-ли, меня давно ужъ закрутили какіе-то злые вихри, и вотъ я мечусь, какъ мечутся почти всѣ въ наше время...

Княжна сидѣла, сдвинувъ свои хорошенькія брови.

— Я такъ и думала,—сказала она:—что вы не набожный и не читаете Евангеліе. Но это ничего не измѣняетъ, все же вы, вы... не такой, какъ всѣ... и вы, конечно, понимаете то, чего никто не понимаетъ... Злые вихри! Какое хорошее слово!.. Это и есть... они и въ пропасть кинутъ, и въ небеса поднимутъ!..

Онъ глядѣлъ теперь на нее и вслушивался въ ея слова съ изумленіемъ.

— Откуда у васъ обо мнѣ такое высокое мнѣніе?—улыбаясь проговорилъ онъ.—Вы меня не знаете, вы даже врядъ-ли обо мнѣ и слышали, а если слыхали, то навѣрное одно дурное.

— Въ то время, какъ вы тогда играли и пѣли, я почувствовала какой вы, а потомъ думала объ этомъ и поняла,—просто и увѣренно отвѣтила она.

— Охъ, ничего вы не поняли! Простите, вы еще дитя и хоть и очень умны, какъ я теперь вижу, но жизни совсѣмъ не знаете, не можете знать. Мы живемъ въ тяжелое время... Красота и гармонія исчезаютъ, и никому онѣ какъ-то совсѣмъ даже не надобны. А кто не въ силахъ жить безъ нихъ, тотъ томится, мучается, и для него теряется всякій смыслъ жизни.

— Этого не можетъ быть!—страстно воскликнула княжна:— и не вамъ бы говорить! Скажите, я такъ хочу, мнѣ такъ надо знать это, неужели вы въ самомъ дѣлѣ не свѣтлы душой, неужели вы несчастны?

Онъ ничего ей не отвѣтилъ; но она прочла отвѣтъ на лицѣ его.

— Ахъ, какъ это нехорошо!—тихо проговорила она.—Ну что-жъ! если вы не нашли, такъ будемъ искать вмѣстѣ... Почему такъ случилось, я не понимаю; но такъ случилось, мнѣ кажется будто я давно-давно васъ знаю и вы мнѣ все равно какъ родной, какъ братъ... Хотите быть моимъ другомъ, навсегда, навѣки?

Глаза ея сіяли; она протягивала ему руку.

— Удивительное вы дитя... совсѣмъ, совсѣмъ дитя!—ласково улыбаясь, говорилъ онъ, задерживая ея руку въ своей.—Смотрите, скоро откажетесь отъ такого брата и друга... Я безнадеженъ.

— Никогда!—торжественно воскликнула она.—Правда, я не того ждала, не такъ оно вышло; но я тѣмъ болѣе хорошо сдѣлала, что пріѣхала къ вамъ... А впрочемъ, отчего же не такъ?! Я не одна теперь, мы вдвоемъ съ вами, мнѣ только этого и надо. Я рѣшилась покончить со всѣмъ прежнимъ... Я хочу жить по новому, и вы мнѣ поможете въ этомъ. Не считайте меня такимъ ужъ ребенкомъ. Я очень рѣшительна, да къ тому же мнѣ и терять нечего... Я погибла для свѣта, но хочу жить для себя, такъ жить, чтобъ не стыдно было предъ своею душой... О, у меня планъ, хорошій планъ... Я теперь еще не скажу вамъ его... Скоро узнаете... я вернусь къ вамъ... вѣдь, можно?

— Княжна...

Аникѣевъ замялся.

— Вы боитесь, что узнаютъ, и это очень компрометантно... Конечно, только согласитесь: гораздо лучше, если я буду видаться съ вами, моимъ другомъ, которому я вѣрю и который можетъ, да, можетъ спасти меня, чѣмъ если-бы я сдѣлалась графиней Ильинской и превратилась въ безукоризненную свѣтскую даму!

— Знаете, лучше ужъ пишите мнѣ, если надо,—сказалъ Ани-

кѣевъ, снова чувствуя неловкость и даже сожалѣя, что она застала его дома.

— Я такъ и сдѣлаю, да, мнѣ необходимо сообразить, подумать... Прощайте, Михаилъ Александровичъ, будьте веселѣе, ради Бога будьте веселѣе... Au revoir, vous aurez bientôt de mes nouvelles!.. Сюда, вѣдь?

Она сдѣлала нѣсколько шаговъ къ передней, потомъ обернулась.

— Какъ у васъ хорошо... какъ красиво и тихо!—прошептала она.

Аникѣевъ проводилъ ее, заперъ за нею дверь и вернулся, чувствуя тоску и усталость. Но эта странная дѣвочка все же оставила вокругъ него атмосферу своей красоты и свѣжести.

«Психопатка!»—повторялъ онъ себѣ:—«и вотъ попала! Это я спасать ее буду, когда самому впору удавиться!»..

А все же ему стало какъ-будто теплѣе. Онъ подумалъ о томъ, что навѣрно это ея первое и послѣднее посѣщеніе. Пройдетъ у нея блажь, одумается, не пріѣдетъ и не напишетъ. А если и напишетъ, авось онъ будетъ тогда далеко, и не одинъ, а съ Соней.

Онъ подошелъ къ письменному столу. На немъ, дѣйствительно, какъ сказалъ Платонъ Пирожковъ, лежало нѣсколько нераспечатанныхъ писемъ. Аникѣевъ взглянулъ и узналъ на одномъ конвертѣ почеркъ Алины. Онъ распечаталъ и прочелъ:

«Пріѣзжайте какъ можно скорѣе».

Письмо это было послано два дня тому назадъ.

Онъ поспѣшилъ было въ переднюю, чтобы сейчасъ же къ ней ѣхать; но вернулся, упалъ на диванъ и закрылъ глаза въ глубокомъ нервномъ утомленіи...

XXX.

Пробило ужъ десять часовъ утра, когда Платонъ Пирожковъ проснулся, сѣлъ на своей кровати, свѣсилъ ноги и сталъ осматриваться. Онъ былъ совсѣмъ трезвъ, только голова сильно болѣла и память отшибло въ первую минуту. Увидя себя одѣтымъ, онъ подумалъ, что прилегъ такъ, между дѣломъ, да и заспался. Онъ соображалъ—который же теперь можетъ быть часъ, вытащилъ изъ жилетнаго кармана толстые серебряные часы и, убѣдясь, что они показываютъ десять,—недовѣрчиво приложилъ ихъ къ уху. Часы чикали исправно.

Тогда память вернулась къ «дятлу» и онъ вспомнилъ даже какъ баринъ втащилъ его сюда и заперъ дверь на ключъ.

Онъ всталъ на ноги, причёмъ почувствовалъ въ тѣлѣ разби-

тость, повернулъ дверную ручку и, такъ какъ дверь оказалась не запертой, вышелъ съ корридоръ.

Неслышно, затаивъ дыханіе, пробрался онъ въ спальню Аникѣева, увѣренный, что баринъ еще спитъ и желая, по возможности, исправить всѣ свои погрѣшности.

Чувство раскаянья, нѣкотораго стыда, а главное, жалости къ «монстру», выражалось во всей фигурѣ Платона Пирожкова. Онъ былъ теперь похожъ не столько на дятла, сколько на провинившуюся собаку съ опущенной мордой и поджатымъ хвостомъ.

Ему стоило большого труда рѣшиться поднять глаза на кровать барина; но онъ тотчасъ же преобразился, увидя, что хоть кровать смята, а Михаила Александровича на ней нѣтъ.

Онъ прислушался.

Все вокругъ было тихо. Онъ обошелъ квартиру и убѣдился въ довольно необыкновенномъ обстоятельствѣ: баринъ, вставшій всегда поздно, не только всталъ, умылся и одѣлся, но даже ушелъ изъ дому, заперевъ парадную дверь снаружи и взявъ отъ нея ключъ съ собою. Значитъ баринъ ушелъ безъ росинки во рту, безъ стакана чаю...

Казалось бы все это должно было только увеличить въ Платонѣ Пирожковѣ и раскаянье, и стыдъ, и жалость къ «монстру»; вышло же совсѣмъ наоборотъ. Онъ вскипѣлъ и разсердился на барина.

Онъ сталъ громко выражать свое негодованіе.

— Ишь, вѣдь... въ этакую рань поднялся!—ворчалъ онъ:— Дверь-то ко мнѣ отперъ, а небось не разбудилъ... Нарочно, вѣдь, это, на зло ушелъ голодный... все-то мнѣ на зло... для одного тиранства... Ишь, вѣдь!.. ишь!.. Психикъ!..

«Психикъ» въ устахъ Платона Пирожкова было самымъ обиднымъ, презрительнымъ названіемъ. Онъ безсознательно заимствовалъ его изъ своеобразнаго знакомства съ отечественной прессой; но производилъ это слово отъ «пса».

Ворчанье и брань не облегчили на сей разъ душу «дятла» и чѣмъ яснѣе и нагляднѣе бросалось ему въ глаза положеніе, имъ же самимъ созданное, тѣмъ страстнѣе ненавидѣлъ онъ Аникѣева. Эта ненависть возросло до высшаго предѣла при видѣ вчерашней сырой провизіи, лежавшей попрежнему на кухонномъ столѣ. Онъ осмотрѣлъ ее, понюхалъ мясо, искоса взглянулъ на холодную печь, и плюнулъ.

— Чортъ! безстыжій юбошникъ... балаганщикъ съ музыкой, а не баринъ!—громко рѣшилъ онъ, порывисто сбросилъ съ себя сѣрую жакетку, засучилъ рукава рубахи и подошелъ къ крану водопровода.

Долго стоялъ онъ, подставивъ голову подъ струю ледяной

воды и отфыркиваясь. Умыванье освѣжило его и нѣсколько усмирило въ немъ расходившіяся чувства. Онъ скрылся въ своей комнаткѣ и вышелъ изъ нея на себя не похожимъ. Волосы были примазаны, громадные усы расчесаны, вмѣсто вышитой русскимъ узоромъ косоворотки на немъ красовалась туго накрахмаленная рубашка съ высочайшимъ стоячимъ воротничкомъ. Вокругъ шеи былъ повязанъ синій шелковый галстухъ съ большой булавкой въ видѣ подковы. Сѣрая жакетка оказалась замѣненной длиннополымъ чернымъ сюртукомъ, застегнутымъ на всѣ пуговицы, а сапоги были вычищены до почти неестественнаго блеска.

Вышелъ Платонъ Пирожковъ въ «музыкальную» комнату, остановился передъ зеркаломъ и осмотрѣлъ себя со всѣхъ сторонъ. Особенно долго глядѣлъ онъ на свои сапоги, поворачивая ноги во всѣ стороны.

Но тутъ онъ сообразилъ, что какъ же это: онъ разодѣлся, а квартира еще и не прибрана, вонъ пыль-то, соръ...

«Ну и чортъ съ нимъ! И пусть пыль!..»—рѣшилъ онъ, снова ожесточаясь.

Онъ подошелъ къ письменному столу и увидѣлъ, что баринъ, наконецъ, распечаталъ и прочелъ всѣ письма, скопившіяся за эти дни. Тогда онъ въ свою очередь вынулъ ихъ изъ конвертовъ и принялся разбирать почерки.

Это было для него обычнымъ дѣломъ и казалось ему не только непредосудительнымъ, но даже входящимъ въ кругъ его прямыхъ обязанностей.

Разобралъ «дятелъ» и записку «братца Николая Александровича», гдѣ тотъ писалъ, что онъ ужъ нѣсколько дней въ Петербургѣ, отчаялся застать брата; но все же хотѣлъ бы съ нимъ поскорѣе повидаться и проситъ его заѣхать къ нему пораньше утромъ въ «Европейскую гостиницу». Разобралъ «дятелъ» и маленькую записочку Алины. Эту записочку онъ и перевертывалъ, и нюхалъ, долго соображая, отъ кого она можетъ быть. Почеркъ знакомый, очень что-то знакомый. Наконецъ, онъ вспомнилъ чей это, дѣйствительно, хорошо ему знакомый и памятный, почеркъ.

Сдѣлавъ такое открытіе, «дятелъ» даже позеленѣлъ.

«Вотъ оно что!.. Опять снюхались... опять эта самая снѣжковская канитель начнется... То-то онъ ошалѣлъ совсѣмъ... Одно къ одному!.. Ну, теперь что-жъ—прямо въ желтый домъ... Страшное дѣло, не сносить ему головы... Ишь, вѣдь, дьяволъ!..»—мрачно и безнадежно думалъ «дятелъ», свѣсивъ носъ на сторону и прибирая письма.

Онъ отперъ красивую инкрустированную шкатулочку съ папиросами и сигарами, стоявшую на столѣ, вынулъ изъ кармана

свой старый кожаный портсигаръ и наполнилъ его барскими папиросами.

Въ кухнѣ раздался рѣзкій звонокъ.

«Дворникъ дрова принесъ»,—сообразилъ Платонъ Пирожковъ, поставилъ шкатулочку на мѣсто, положилъ портсигаръ въ карманъ и пошелъ отпирать.

Это и былъ дворникъ, огромный молодой малый, съ вязанкой дровъ за плечами.

— И что это за модель!—сердито заговорилъ дворникъ, шагнувъ черезъ порогъ и грузно сваливая свою ношу на полъ:— третій разъ дрова приношу, звонилъ, звонилъ, стучалъ, стучалъ, кулаки всѣ отшибъ, а вы, Платонъ Ивановичъ, и не откликаетесь...

— А какъ же тебѣ откликнуться, коли меня дома не было, по парадной бѣгалъ, съ самымъ что ни есть естреннымъ порученіемъ отъ барина?— спокойно и не задумываясь совралъ «дятелъ».

— Тэ-экъ-съ!—протянулъ дворникъ, поводя глазомъ на полуштофъ, стоявшій прямо передъ нимъ.—Прозябли видно, Платонъ Иванычъ, горяченькую пропустили..! Вотъ бы и рабочаго человѣка попотчевать... Какъ передъ Истиннымъ, три раза съ дровами задаромъ по лѣстницѣ подымался...

— Лопай!—снисходительно отвѣтилъ Платонъ Пирожковъ, налилъ изъ полуштофа полный стаканчикъ и подалъ его дворнику.

Тотъ проглотилъ залпомъ, утерся рукавомъ, крякнулъ отъ удовольствія.

— Эхъ, славно! Особливо утреннимъ дѣломъ, на ходу ежели... такъ по всѣмъ жилушкамъ съ головы до ногъ и разольется, такъ и переберетъ... А баринъ-то твой, Платонъ Иванычъ, видно баловникъ!—вдругъ неожиданно заключилъ дворникъ.

— То-есть, это ты насчетъ чего?—подозрительно спросилъ «дятелъ».

— А насчетъ того самаго... женска пола.

— Изъ чего-жъ собственно ты полагаешь?

— Да вотъ штучка-то вчерась пріѣзжала...

— Какая штучка? Когда штучка?

«Дятелъ» совсѣмъ растерялся.

— Ишь! какая! Да нешто васъ дома не было?

— Не было, весь вечеръ не было... ей-Богу, до вечерень еще услали.

— А она, штучка-то, передъ сумерками пріѣзжала. Швейцаръ-то отлучился въ трактиръ съ землякомъ, меня просилъ у дверей постоять. Вотъ и стою я... Подъѣзжаетъ извозчикъ, расплатилась она, скокъ, и прямо ко мнѣ: «здѣсь, молъ, живетъ господинъ Аникѣевъ? Какъ, молъ, пройти?..» Я и показалъ...

— Какая же она изъ себя?—спросилъ Платонъ Пирожковъ упавшимъ голосомъ.

— Съ рыла-то я, признаться, не разглядѣлъ, а тому подивился, что ужъ мала больно да тонка, посадить ее на ладонь, дунуть, ну, и полетитъ какъ перо... Бѣлобрысенькая такая, какъ подымалась по лѣстницѣ, запримѣтилъ я... волосы-то бѣ-ѣ-лые, что твой лёнъ!.. И какъ это господа въ такихъ скусъ находятъ? Только названье, что баба, а хлопнулъ, и нѣтъ ничего!

— Да ты не врешь?—перебилъ его Платонъ Пирожковъ, окончательно теряясь отъ подобныхъ показаній.

Онъ сразу подумалъ, конечно, что это пріѣзжала вчера Алина; но ея высокая, пышная фигура, ея темные волосы никакъ не подходили къ описанію этой «штучки».

— Чего-жъ мнѣ врать? Эка невидаль! Всякаго навидались,— усмѣхнулся дворникъ, пожавъ плечомъ.

— И что-жъ... долго она пробыла?

— Да съ часъ, не то съ два, пожалуй... Ужъ совсѣмъ давно стемнѣло, давно фонари зажгли, какъ я-жъ ей и дверь отворилъ. Швейцаръ-то все въ трактирѣ, а мнѣ Богъ прибыль послалъ... «Спасибо,»—говоритъ она, сунула мнѣ въ руку, а сама какъ побѣжитъ! Бумажка у меня въ рукѣ, глянулъ я у фонаря—цѣлковый рупь! Ну, думаю, видно съ большой радости!..

Платонъ Пирожковъ вытянулся, поднялъ носъ и вдругъ не своимъ голосомъ произнесъ:

— Водку ты выпилъ, дрова сложилъ, чего-жъ стоишь? Али думаешь, время мнѣ съ тобой балясы точить? Дѣловъ у меня что ли мало?

Дворникъ только ухмыльнулся и вышелъ изъ кухни, ясно говоря своими смѣющимися глазами: «смотри, не лопни съ зависти... Что ужъ тутъ—ты-то, братъ, прозѣвалъ, тебя дома не было, а у меня цѣлковый-рупь въ карманѣ!»

XXXI.

Платонъ Пирожковъ заперъ дверь и долго не могъ собраться съ мыслями. Какъ ни бывало ему подчасъ тяжко, какъ ни тиранилъ его «монстръ» своими несуразными дѣлами, у него всегда оставалось одно утѣшеніе: онъ зналъ все, какъ есть все, зналъ часто даже больше самого «монстра». Ничто не ускользало отъ его проницательности. Онъ могъ, въ любую минуту, представить полный отчетъ не только въ поступкахъ, сношеніяхъ, но даже и въ мысляхъ своего барина. Онъ былъ относительно Аникѣева, самымъ безупречнымъ сыщикомъ и шпіономъ.

Извѣстіе, принесенное дворникомъ, поразило его какъ ударъ. Ничего подобнаго никогда еще не случалось. Откуда могла взяться эта невѣдомая маленькая и бѣловолосая «штучка»? Коли ужъ «штучки» появляться начинаютъ, значитъ, баринъ дошелъ до точки, не въ себѣ... И что-жъ это такое будетъ?!.

Дѣло въ томъ, что хоть Платонъ Пирожковъ и обозвалъ своего барнна «юпошникомъ», но онъ лучше чѣмъ кто-либо зналъ насколько зто названіе не подходитъ къ Аникѣеву. Онъ зналъ, какъ съ юныхъ лѣтъ Аникѣевъ былъ скроменъ и какъ сурово отвѣчалъ онъ на слишкомъ рѣшительныя, иной разъ, нападенія влюблявшихся въ него дамъ и дѣвицъ. Эту черту въ своемъ баринѣ Платонъ Пирожковъ безсознательно уважалъ, хоть и не могъ понять ея причины.

Причина заключалась въ тонкой, художественной природѣ Аникѣева, въ его, такъ сказать, душевной музыкальности. Онъ могъ находить не только счастіе, но и простое, мимолетное удовольствіе лишь подъ условіемъ гармоніи. Какъ бы ни былъ онъ возбужденъ, какія бы странныя вожделѣнія ни бушевали въ немъ, достаточно было малѣйшаго нарушенія гармоніи, малѣйшаго разнозвучія, чтобы сразу охладить его, вывести изъ очарованія.

Въ немъ всегда было много огня, даже много сладострастія, ибо истинный художникъ безъ сладострастія почти полная невозможность. Животная сторона человѣческой природы съ юныхъ его лѣтъ громко въ немъ говорила. Онъ признавалъ безстрастный аскетизмъ только патологическимъ состояніемъ и жизнь безъ женской близости, безъ женской ласки была для него неестественна, являлась голодомъ, холодомъ, страданіемъ.

Вѣчно жившая въ немъ прелестная грёза, помогавшая ему въ творчествѣ звуковъ, то и дѣло просилась воплотиться въ жизни. Онъ притягивалъ къ себѣ, какъ магнитъ, женщинъ и дѣвушекъ, если онѣ хоть разъ почувствовали на себѣ его горячій и, какъ имъ всегда казалось, странный, смущающій взглядъ, если онъ хоть на одно лишнее мгновеніе задержалъ въ своей рукѣ ихъ руку. Иначе не могло и быть, потому что настоящія женщины, не потерявшія женственности, инстинктивно угадываютъ истиннаго художника, и его обаяніе для нихъ неотразимо.

Если-бы всѣ эти женщины и дѣвушки могли служить Аникѣеву хоть временнымъ воплощеніемъ его грёзы, онъ любилъ бы ихъ всѣхъ, одну за другою, и Платонъ Пирожковъ могъ бы по праву назвать его «юпошникомъ». Но случалось такъ, что всѣ эти женщины и дѣвушки слишкомъ скоро охлаждали его заключавшимися въ нихъ разнозвучіями.

Только начнетъ онъ понемногу воплощать въ которую-ни-

будь изъ нихъ свою грёзу, вдругъ зазвучала фальшивая струна, и конецъ очарованію. Что произошло? повидимому, ровно ничего, но его взглядъ ужъ скользитъ мимо, пожатіе его руки безжизненно, отъ него самого такъ и вѣетъ холодомъ.

Единственнымъ воплощеніемъ его грезы, единственной женщиной, никогда не заставившей его музыкальную душу вздрогнуть отъ разнозвучія, была Алина.

Покинутый ею, онъ хотѣлъ было сдѣлать надъ собою насиліе, хотѣлъ заставить себя любить хорошенькую пѣвицу; но скоро такъ измучился отсутствіемъ въ ней гармоніи, что ушелъ отъ нея безъ всякихъ сожалѣній. Въ ней было такъ мало художественности, такъ много вульгарнаго, она такъ *некрасиво* сердилась и плакала! Онъ видалъ какъ сердилась и плакала Алина; только у той все, даже злость, все, все выходило *красиво*, не оскорбляло въ немъ художественнаго чувства.

Уйдя отъ своей пѣвицы, онъ, какъ и въ прежніе годы, жилъ вдали отъ женщинъ, очень тяготясь этимъ вынужденнымъ аскетизмомъ. Но чего онъ не могъ даже и въ юности, того тѣмъ болѣе не могъ въ зрѣлые годы...

Такимъ образомъ Платонъ Пирожковъ, отлично зналъ, что опасна только Алина. Нѣтъ ее, покончено съ нею навѣки, такъ никого больше и не будетъ. До сегодняшней записки онъ былъ увѣренъ, что съ Алиной все покончено навѣки, что баринъ никогда ее не проститъ и даже не увидитъ.

Устроится миръ съ Лидіей Андреевной, вернется Соня и начнется тогда жизнь настоящая. Перестанетъ баринъ метаться—вѣдь, ужъ и года не тѣ, пора успокоиться и быть какъ всѣ добрые люди. Служить не станетъ, чиновъ да почету не наживетъ, а все-жъ-таки Лидія Андреевна,—она мастеръ на это, хоть и любитъ денежки транжирить,—какъ ни на есть, а устроитъ дѣла, выручитъ Снѣжково.

«Тогда что-жъ ему, барину-то,—пой себѣ, заливайся курскимъ соловьемъ, колоти по музыкѣ, пока всѣ струны не лопнутъ, корпи невѣдомо на кой прахъ надъ книгами, пиши невѣдомо что всѣ ночи напролетъ, бей себѣ баклуши, никто запрещать не станетъ...

«А то нешто можно этакъ жить? Книги, вотъ ужъ не одинъ мѣсяцъ, и не раскрываются, будто ихъ и нѣтъ совсѣмъ на свѣтѣ. Не то, что писать по ночамъ, какъ прежде, а и записочки маленькой написать не можетъ. Струментъ-піанино, такъ и тотъ даже пылится...»

Но появленія снова на сцену Алины и, одновременно съ нею, какой-то новой бѣловолосой «штучки» Платонъ Пирожковъ окончательно не могъ переварить. Это разбивало всѣ его планы,

всѣ надежды, представлялось окончательной, безвозвратной гибелью.

«Господи Боже, да, вѣдь, ѣсть скоро нечего будетъ, а онъ себѣ и въ усъ не дуетъ! Оглашенный, право оглашенный!»—съ отчаяніемъ думалъ «дятелъ», подобраннымъ ключемъ отпирая въ барскомъ столѣ ящикъ, гдѣ всегда хранились деньги, и принимаясь пересчитывать кредитныя бумажки.

«Сто, двѣсти... тутъ двадцать... еще пятьдесятъ... вотъ и все, а получки скоро никакой не предвидится!.. По жидамъ черезъ недѣлю гонять меня станетъ»...

«Нѣтъ, съ этакимъ дьяволомъ силъ нѣту больше... я сбѣгу! найду себѣ генеральское, либо княжеское мѣсто... выѣзднымъ буду... одежа и все въ порялкѣ... человѣкъ бывалый, по всѣмъ заграницамъ ѣзжалъ... да меня озолотятъ, оцѣнку мнѣ настоящую сдѣлаютъ, а онъ и сиди одинъ, некормленный да нетопленный, хоть съ голоду поколѣй, мнѣ то что!»

На этомъ рѣшеніи и остановился Платонъ Пирожковъ, опять прошелъ въ свою комнату и вышелъ оттуда въ длинномъ ваточномъ пальто съ мерлушковымъ воротникомъ и въ заграничномъ «котелкѣ» на головѣ.

Онъ прошелъ черезъ кухню, заперъ дверь снаружи и ключъ взялъ съ собою.

На улицѣ онъ представлялъ изъ себя довольно невѣроятную фигуру: между «котелкомъ» и мерлушкой выступалъ громадный носъ, повѣшенный на еще болѣе громадныхъ желтыхъ усахъ, и кромѣ носа да усовъ рѣшительно ничего не было видно. На выѣздного лакея, ищущаго генеральскаго или княжескаго мѣста онъ, во всякомъ случаѣ, былъ совсѣмъ непохожъ.

Тоска, несносная тоска, сосала сердце бѣднаго «дятла». Онъ направлялся къ князю Вово, который вотъ появился, да сейчасъ же и пропалъ въ самое нужное время.

«Вѣтрогонъ баринъ,—размышлялъ про него «дятелъ»:—а все-жъ таки окромѣ него къ кому теперь пойдешь, кому про всѣ эти пакости разскажешь! Не къ братцу же Николаю Александровичу! Этотъ и слушать не станетъ... Ты, молъ, лакей, ну и служи, исполняй свои обязанности, а въ барскія дѣла не мѣшайся... Всегда таковъ былъ, сызмальства... никакого въ немъ человѣческаго пониманія нѣтъ... Ишь ты, обязанности! Да коли тутъ и обязанностевъ-то нѣтъ никакихъ, а одно голое тиранство!.. Князь вотъ хоть и вѣтрогонъ и человѣкъ совсѣмъ неположительный, все-жъ-таки въ немъ чувство есть и жалость... Онъ вотъ, можетъ, и на слѣдъ «штучки» наведетъ»...

XXXII.

Николай Александровичъ Аникѣевъ пріѣхалъ съ юга Россіи, гдѣ въ теченіе послѣднихъ четырехъ лѣтъ занималъ хорошо оплачиваемое мѣсто въ правленіи одного изъ еврейско-русскихъ «Обществъ». Это мѣсто онъ получилъ, такъ-сказать, въ приданое за своей женою, такъ какъ отецъ ея, Борисъ Веньяминовичъ Самуйловъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ и русскій дворянинъ, былъ однимъ изъ учредителей «Общества».

Николай Александровичъ остановился въ «Европейской гостиницѣ» и занялъ очень представительный «номеръ», состоящій изъ передней, большой высокой гостиной, меблированной довольно чисто, даже съ претензіей на роскошь, и просторной спальни.

Въ этихъ комнатахъ почти не было воздуха, благодаря паровому отопленію, поднимавшему термометръ иной разъ градусовъ до двадцати пяти; но зато можно было «прилично» принять кого угодно.

Было рано. Большіе аляповатые часы на каминѣ показывали всего только половину десятаго. Несмотря, однако, на раннее время Николай Александровичъ давно уже былъ одѣтъ, и даже успѣлъ напиться чаю и слегка позавтракать, что доказывали серебряный самоварчикъ и тарелки въ уголку, на кругломъ, покрытомъ бѣлой скатертью, столикѣ.

Николай Александровичъ, плотный и видный господинъ, лѣтъ подъ сорокъ, нисколько не походилъ на брата. Небольшая голова съ порѣдѣвшими, коротко подстриженными темными волосами, круглая борода, кое-гдѣ уже подернутая сѣдиною, крупный, неправильный носъ, толстыя губы, глубоко сидящіе, безпокойные каріе глаза подъ густыми сростающимися бровями.

Въ общемъ онъ былъ недуренъ и весьма представителенъ, только въ немъ не замѣчалось и слѣда того прирожденнаго, тонкаго изящества, которое его братъ унаслѣдовалъ отъ красавицы матери.

Николай Александровичъ большими шагами ходилъ по мягкому, пыльному ковру гостиной. Онъ былъ не одинъ. На маленькомъ пунцовомъ диванѣ возлѣ камина чернымъ пятномъ выдѣлялась скорбная, почти траурная фигура Лидіи Андреевны. Она явилась сейчасъ послѣ девяти, очень мило исполнила сцену радостнаго родственнаго свиданія, объяснила свой ранній визитъ тѣмъ, что, вернувшись вчера изъ Царскаго, гдѣ гостила съ Соней, увидѣла карточку пріѣзжаго и такъ обрадовалась, такъ

спѣшила его обнять, такъ боялась, что если пріѣдетъ сегодня позднѣе, то навѣрно не застанетъ его...

— Поздравляю, отъ всей души поздравляю тебя, Коля,—говорила она, крѣпко пожимая руки Николая Александровича: —я все знаю, до меня дошелъ объ этомъ слухъ еще недѣли три назадъ, только я боялась вѣрить... вѣдь, у насъ въ Петербургѣ часто назовутъ двадцать именъ, а на дѣлѣ выходитъ совсѣмъ другое—такъ это теперь какъ-то внезапно дѣлается, всѣ такія назначенія... Ну, и вотъ, въ пятницу, въ Царскомъ, утромъ принесли газету... мнѣ такъ прямо въ глаза и бросилось... Слава Богу! enfin tu es à ta place... Теперь до всего дойдешь... дай тебѣ Господи... Какъ maman бѣдная была бы рада, еслибы дожила... а?!

У Лидіи Андреевны даже слезы на глаза навернулись.

— Спасибо, Лидія, что ты это такъ близко принимаешь къ сердцу! — очень мягко, но все же съ едва замѣтной усмѣшкой отвѣчалъ Николай Александровичъ.

Они вовсе не были дружны, и въ прежнее время, когда братъ ея мужа былъ еще ничѣмъ, Лидія Андреевна даже относилась къ нему съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ. Но съ тѣхъ поръ обстоятельства перемѣнились, и въ послѣдніе годы она не только старалась поддержать родственную переписку, а и съѣздила нарочно на югъ, чтобы познакомиться съ «этой жидовкой», какъ она мысленно называла жену своего beau-frère'a.

Когда радость по поводу внезапнаго, очень виднаго назначенія, полученнаго Николаемъ Александровичемъ, а также всѣ вопросы о «милой Маргаритѣ и двухъ дѣточкахъ» были окончательно исчерпаны, Лидія Андреевна мало-по-малу приняла скорбный видъ и заговорила о своихъ ужасныхъ обстоятельствахъ, о мужѣ.

— Ты себѣ представить не можешь, Коля, въ какое безвыходное положеніе онъ меня поставилъ!—говорила она въ то время, какъ Николай Александровичъ шагалъ по гостиной, видимо, недовольный оборотомъ этой бесѣды.—Вѣдь, отчего ты меня не засталъ, отчего я гостила въ Царскомъ, да и теперь пріѣхала одна, оставивъ тамъ Соню? Я просто бѣжала отъ его посѣщеній, отъ сценъ, свидѣтельницей которыхъ является моя дочь, нервная дѣвочка... Наконецъ, я просто боюсь, что онъ силой вырветъ у меня Соню и увезетъ ее.

— Все это весьма печально,—перебилъ Николай Александровичъ, поднимая брови и пощипывая себѣ бороду:—но я тутъ рѣшительно ни въ чемъ не могу помочь тебѣ... Я не судья между вами, не хочу становиться ни на ту, ни на другую сторону... Главное же, ты очень хорошо знаешь, что я никогда не имѣлъ на брата никакого вліянія.

Лидія Андреевна покраснѣла и глаза ея на мгновеніе стали злыми.

— Однако, его поступки относительно меня и дочери совсѣмъ неблаговидны, его поведеніе прямо безнравственно, скандалезно,— медленно произнесла она.

— Я крайне скорблю объ этомъ; но опять-таки что же мнѣ дѣлать?!—очень тихо и холодно отвѣтилъ Николай Александровичъ.

Она быстро поблѣднѣла: этотъ человѣкъ, особенно ей противный именно теперь, благодаря своей крупной удачѣ, выводилъ ее изъ всякаго терпѣнія. А между тѣмъ онъ былъ ей такъ нуженъ, она такъ ухватилась, въ своихъ цѣляхъ, за его нежданный пріѣздъ и его удачу.

— Но, Коля, — принимая кроткій тонъ, сказала она: — вѣдь, онъ твой братъ, вы носите общее имя, онъ все же пользуется нѣкоторой извѣстностью и, хоть я, конечно, до послѣдней крайности не выношу сору изъ избы, объ его поведеніи со мной и вообще объ его образѣ жизни говорятъ... Это можетъ повредить тебѣ, особенно на первыхъ порахъ...

Николай Александровичъ усмѣхнулся.

— Не думаю,—сказалъ онъ:—что же общаго между нами! Я дѣловой человѣкъ, а онъ, художникъ, пѣвецъ, музыкантъ, дилетантъ... ничего общаго!

Лидія Андреевна даже встала съ дивана отъ волненія.

— Ахъ, ты совсѣмъ не знаешь Петербурга! — воскликнула она.—Вѣдь, твое назначеніе, это острый ножъ для многихъ... Ты мало съ кѣмъ здѣсь знакомъ, но у тебя ужъ навѣрное съ пятницы цѣлая толпа враговъ, которые были бы рады утопить тебя въ ложкѣ съ водой... И вотъ, всѣ эти враги, всѣ недовольные будутъ пользоваться чѣмъ угодно, чтобы подставить тебѣ ногу... Дѣйствія твоего брата станутъ приписывать тебѣ, соединятъ васъ въ одно и сочинятъ такую грязную путаницу, въ которой никто не разберется...

Николай Александровичъ, повидимому, нисколько не смутился этими предсказаніями.

— Ты меня пугаешь, Лидія!—безжалостно засмѣялся онъ.— Послушать тебя, такъ мнѣ остается все бросить и бѣжать восвояси... Да въ такомъ случаѣ я долженъ бояться всего, долженъ вотъ и теперь бояться, что ты у меня, потому что, если сочинять, такъ и тутъ можно сочинить какую-нибудь исторію.

Лидія Андреевна совсѣмъ обидѣлась.

— Смѣйся... а вотъ увидишь,—прошептала она.

Николай Александровичъ взглянулъ на нее, пересталъ смѣяться и заговорилъ гораздо ужъ серьезнѣе.

— Ну, вотъ ты и сердишься! Увѣряю, что мнѣ очень тебя

жаль, только подумай сама, голубушка, какъ же мнѣ вмѣшиваться во все это! Съ Мишей, тебѣ извѣстно, мы всю жизнь врозь, онъ меня въ свои интимныя дѣла никогда не посвящалъ и посвящать, я знаю, не станетъ. Онъ не допуститъ моего вмѣшательства, да и вообще объясняться съ нимъ я не умѣю и не люблю. Мы никогда не понимали и не понимаемъ другъ друга. Я, говоря откровенно, считаю его просто не вполнѣ нормальнымъ, какъ теперь называютъ, психопатомъ... Онъ обо мнѣ невысокаго мнѣнія, и къ этому я совершенно равнодушенъ... А вотъ есть другой вопросъ...

Лидія Андреевна насторожилась.

Николай Александровичъ замолчалъ немного и потомъ продолжалъ.

— Изъ твоихъ писемъ и такъ, стороною, я узналъ, что онъ совсѣмъ разстроилъ свое состояніе, что Снѣжково заложено, приведено въ крайній упадокъ и, того и гляди, будетъ продано съ молотка. Вотъ это очень серьезно и объ этомъ я долженъ поговорить съ нимъ. Только не знаю, когда мы увидимся: я былъ у него, не засталъ, написалъ ему, и вотъ онъ до сихъ поръ не ѣдетъ...

— О чемъ же, собственно, ты хочешь говорить съ нимъ?— спросила Лидія Андреевна, пристально вглядываясь въ безпокойно бѣгающіе глаза своего beau-frère'a и тщетно стараясь поймать въ нихъ какую-нибудь мысль.

— Да такъ, вообще, тамъ будетъ видно!—уклончиво отвѣтилъ Николай Александровичъ и прислушался.

— Кто тамъ?—громко крикнулъ онъ.

Вошелъ лакей и подалъ ему карточку. Взглянувъ на нее, онъ молча передалъ ее Лидіи Андреевнѣ.

— Au nom du Ciel!—прошептала она, быстро направляясь къ двери въ спальню.

Николай Александровичъ прошелъ за нею, видимо, очень недовольный этой сценой.

— Богъ знаетъ, что такое! — говорилъ онъ: — хорошо, что отсюда есть дверь въ другой корридоръ... Я прикажу, чтобы вынесли твое пальто...

— Только ради Бога, ради Бога не говори ему, что я была у тебя... онъ долженъ думать, что я все еще въ Царскомъ!— умоляющимъ голосомъ шептала Лидія Андреевна.

Онъ ничего ей не отвѣтилъ и вышелъ въ гостиную. Запирая за собою дверь, онъ увидѣлъ идущаго къ нему навстрѣчу брата.

XXXIII.

Они обнялись, крѣпко поцѣловались и инстинктивно оба одновременно откинулись назадъ, чтобы разглядѣть перемѣну, происшедшую съ ними во время ихъ пятилѣтней разлуки.

Михаилъ Аникѣевъ никогда не спрашивалъ себя, насколько и какъ любитъ онъ брата. Они вмѣстѣ выросли; но уже съ отрочества между ними оказалась такая рознь во всемъ, что они не могли никогда сойтись безъ того, чтобы не поспорить и не разойтись возмущенными другъ другомъ.

Въ то время, какъ Михаилъ, очень хорошо окончивъ университетскій курсъ, предался и въ Россіи, и заграницей, своему музыкальному образованію, Николай, лѣнивый малый, къ тому же лишенный способностей брата, просидѣвъ въ университетѣ лишнихъ два года, кое-какъ справился съ выпускнымъ экзаменомъ, уѣхалъ въ деревню, засѣлъ тамъ и, повидимому, не желалъ ничего дѣлать. Онъ охотился, зналъ съ людьми по большей части необразованными и весьма сомнительной нравственности, изрядно попивалъ и покучивалъ.

Ему очень рано, послѣ смерти отца, досталось родовое Аникѣевское имѣніе, и онъ, подъ видомъ «раціональнаго хозяйничанья», раззорялъ его и обезцѣнивалъ самымъ исправнымъ образомъ. «Убѣжденій» онъ былъ не только «красныхъ», но даже «ярко-пурпуровыхъ», гдѣ только могъ сыпалъ фразами изъ подпольныхъ изданій и видѣлъ единственное спасеніе современнаго общества въ его радикальномъ разрушеніи.

— Надобно доходить до точки,—кричалъ онъ:—полумѣры ни къ чему не поведутъ... Все съ корнемъ вонъ; все какъ есть, всю старую чащобу и гниль, такъ, чтобы и пней обгорѣлыхъ не осталось... Только такимъ манеромъ на гладкомъ мѣстѣ и вырастетъ что-нибудь новое...

— А ежели это новое окажется, опять-таки, никуда негоднымъ?—иной разъ спрашивали его.

— Въ такомъ случаѣ и его къ чорту!—не смущаясь рѣшалъ онъ.—Когда-нибудь да выростетъ-же и путное!

Спорить съ нимъ было безполезно, такъ какъ онъ не только не принималъ, но и не выслушивалъ никакихъ доказательствъ.

— Ну и чего вы лѣзете ко мнѣ съ «фактами»!—останавливалъ онъ собесѣдника.—Какіе тутъ факты, очень они нужны, нечего сказать! Дѣло не въ фактахъ, а въ принципѣ!

Съ годами такая крайность сгладилась. Николай сталъ утихать и умнѣть. Онъ ужъ ограничивался «приличнымъ и общепринятымъ» недовольствомъ и насмѣшкой. Всѣ принимаемыя

мѣры были въ его глазахъ никуда не годными ужъ по одному тому, что онѣ принимались. Обсуждать эти мѣры даже и не стоило, достаточно было презрительно пожимать плечами и фыркать.

Въ этотъ періодъ за Николаемъ Аникѣевымъ установилась репутація весьма неглупаго и либеральнаго человѣка. Деревня и губернскій городъ ему надоѣли, онъ сдалъ въ аренду свое разоренное имѣніе и явился въ Петербургъ искать занятій. Государственную службу онъ все еще презиралъ, а потому одинъ изъ друзей его матери пристроилъ его на югѣ, въ «Обществѣ».

Тутъ съ Николаемъ Александровичемъ, въ какіе-нибудь два, три года, произошла удивительная перемѣна: изъ шероховатаго, съ «демократическими» манерами и ухватками крикуна онъ превратился въ весьма представительнаго господина, благородно либеральнаго, сдержаннаго, отлично умѣющаго ладить съ людьми и цѣнить ихъ по достоинству.

Быстро и ловко онъ обворожилъ «русскаго дворянина» Самуйлова, влюбилъ въ себя его дочь Маргариту и создалъ себѣ прочное положеніе.

Михаилъ Аникѣевъ еще не видалъ брата въ его новомъ образѣ и съ большимъ изумленіемъ воскликнулъ:

— Что ты съ собою сдѣлалъ? Вѣдь, тебя узнать нельзя! у тебя видъ англійскаго лорда... Только вотъ зачѣмъ такъ рано борода сѣдѣетъ?

— Время измѣняетъ,—съ легкой, самодовольной улыбкой отвѣтилъ Николай:—это вотъ только ты въ пять лѣтъ почти не измѣнился... раздобрѣлъ, отяжелѣлъ немного, а то совсѣмъ прежній, безпечальный юноша... Наконецъ-то ты заглянулъ, я ужъ думалъ, что мы и вѣкъ не увидимся. По крайней мѣрѣ хорошо, что заѣхалъ именно сегодня; у меня, а теперь это большая рѣдкость, часа два, даже три свободныхъ, никуда до второго часу не поѣду и никого не жду... Ты, вѣдь, посидишь?

— Конечно.

— Хочешь завтракать?

Михаилъ Александровичъ вспомнилъ, что онъ вчера не обѣдалъ, вечеромъ съѣлъ всего одинъ кусокъ ветчины, найденный имъ въ буфетѣ, а сегодня ничего еще не бралъ въ ротъ. Онъ почувствовалъ сильный приступъ голода и отвѣтилъ:

— Очень хочу, я еще и чаю не пилъ.

— Вотъ и отлично, я распоряжусь, а ты тѣмъ временемъ налей себѣ чаю... Вотъ видишь... тутъ и чашка подана... ты изъ стакана-то кажется не пьешь...

Николай Александровичъ указалъ на чайный столъ и поспѣ-

шилъ въ корридоръ, захвативъ съ вѣшалки въ передней пальто Лидіи Андреевны.

Когда онъ вернулся, братъ ужъ пилъ чай и съ видимымъ удовольствіемъ хрустѣлъ мягкимъ, поджаристымъ калачомъ.

— Право-же тебя совсѣмъ узнать нельзя,—сказалъ Михаилъ Аникѣевъ, допивая чашку и продолжая съ изумленіемъ всматриваться въ Николая Александровича:—мнѣ кажется, я никогда еще не видалъ въ человѣкѣ такой перемѣны... Надолго ты въ Петербургѣ?

Николай Александровичъ подошелъ къ нему, взглянулъ ему въ глаза и громко засмѣялся.

— Кажется надолго,—сказалъ онъ сквозь смѣхъ.

— Что-жъ, службу перемѣнилъ, здѣсь мѣсто нашелъ?

— Да ты и въ самомъ дѣлѣ ничего не знаешь?! Это очень недурно.

Онъ взялъ со стола нумеръ газеты и указалъ брату нѣсколько строкъ въ отдѣлѣ назначеній.

Тотъ прочелъ, перечелъ, и сразу даже не понялъ, такъ это ему показалось невѣроятнымъ.

— Что? изумился? недоволенъ моимъ назначеніемъ?—спрашивалъ Николай Александровичъ.

Наконецъ, Аникѣевъ справился съ изумленіемъ.

— Ну вотъ,—сказалъ онъ:—я, конечно, не ждалъ ничего подобнаго... Поздравляю тебя...

Онъ всталъ и поцѣловался съ братомъ.

Между тѣмъ Николай Александровичъ говорилъ:

— У меня, у самого, еще мѣсяца четыре тому назадъ ничего подобнаго и въ мысляхъ не было, а вотъ случай и подготовилъ такую неожиданность. Ну, что-жъ, служить, такъ служить! И послужимъ, благо привелось начинать службу не съ начала, а почти съ конца... Подумай, вѣдь, это сразу изъ пѣшекъ въ дамки! Нѣсколько лѣтъ удачи, и легко достигнуть высшаго, такъ-сказать, предѣла...

Говоря это, онъ вглядывался въ лицо брата, стараясь подмѣтить въ немъ выраженіе зависти.

«Вотъ! въ себя придти не можетъ!—думалъ онъ:—конечно, завидуетъ... всѣ завидуютъ, а онъ тѣмъ болѣе... Что!.. съ тобою, Мишенька, носились всегда какъ съ сокровищемъ... талантъ! талантъ! а я былъ неудачный, ни на что непригодный, лѣнтяй, пьяница... Ну, вотъ ты и сиди со своимъ талантомъ...»

Дѣло въ томъ, что самъ онъ всю жизнь завидовалъ брату и даже старался себя увѣрить, что и талантъ его преувеличиваютъ. Онъ вспоминалъ въ прошломъ много для себя обиднаго, и чувство глубокаго удовлетворенія наполняло его теперь. Это

чувство было настолько сильно, настолько пріятно и радостно, что онъ ощутилъ въ себѣ даже приливъ чего-то, похожаго на добродушіе.

— Конечно, теперь тебѣ не трудно ужъ и всего, чего угодно достигнуть!—между тѣмъ говорилъ Михаилъ Аникѣевъ.—Однако, все же... какъ это такъ вдругъ случилось, будто въ сказкѣ?

— Собственно говоря, совсѣмъ не вдругъ,—весело отвѣтилъ Николай.—Ты знаешь, что Павелъ Егоровичъ, которому я почти всецѣло обязанъ своимъ назначеніемъ, былъ когда-то очень друженъ съ нашей матерью... Удивительная женщина! Во всѣхъ, близко ее знавшихъ, она оставила какое-то неизгладимое впечатлѣніе... Всѣ мужчины, очевидно, были въ нее влюблены... Ну, такъ вотъ у Павла Егоровича оказалось весьма для него важное и довольно-таки сложное дѣло въ нашемъ «Обществѣ», то-есть собственно не у него, не подъ его именемъ, а только онъ тутъ былъ сильно заинтересованъ. А меня въ то самое время «Общество» командировало для разныхъ ходатайствъ въ Петербургъ. Я здѣсь все это и разузналъ и прямо говорю ему: «поручите это дѣло мнѣ, ваше высокопревосходительство, я для васъ его устрою». Ни о чемъ я тогда и не помышлялъ, а просто изъ любезности, ну... думалъ, потомъ когда-нибудь можетъ этотъ господинъ пригодиться...

— Онъ тебѣ поручилъ, а ты устроилъ...

— Точно такъ-съ, да и устроить удалось быстро и неожиданно удачно. Онъ мнѣ письмо: «никогда, молъ, этого не забуду, я вашъ должникъ». Только такъ бы онъ и оставался до сихъ поръ моимъ должникомъ, если-бъ, опять-таки по дѣламъ «Общества», не былъ я этимъ лѣтомъ командированъ заграницу. Выхожу я изъ вагона, уже за предѣлами отечества, смотрю, его высокопревосходительство! Изволятъ слѣдовать въ заграничный отпускъ для поправленья здоровья. Сейчасъ онъ меня къ себѣ, одинъ ѣхалъ, скучалъ... Тутъ и произошло наше сближеніе. Я ради него свой маршрутъ даже измѣнилъ, благо это было возможно, и три недѣли мы не разлучались. За то время я, подобно покойницѣ maman, его въ себя влюбилъ. «Намъ, говоритъ, нужны дѣльные, энергичные и знающіе люди! У насъ, говоритъ, людей мало, мы съ огнемъ ихъ ищемъ!..» А потомъ, передъ разставаньемъ, ужъ прямо: «Хотите ко мнѣ въ сотрудники?» Я говорю: «трудно это, ни связей у меня, ни службы за мною...» «Ничего, говоритъ, я постараюсь устроить, очень намъ именно свѣжіе люди нужны!» Такъ и разстались. Вотъ онъ и устроилъ.

Николай Александровичъ остановился и самодовольно глядѣлъ на брата своими безпокойными глазами.

Тотъ помолчалъ немного, и вдругъ рѣшился.

— Я готовъ вѣрить,—сказалъ онъ:—что ты, подобно Ильѣ Муромцу, сиднемъ сидѣлъ на печи тридцать три года, да вдругъ богатыремъ и объявился... Но все же откуда взялись у тебя спеціальныя познанія для такого отвѣтственнаго дѣла?

Николай Александровичъ весело махнулъ рукою.

— Эхъ, Мишенька, другъ ты мой, не боги горшки лѣпятъ! Если-бы не былъ увѣренъ въ себѣ, такъ не взялся бы за подобную вещь. Спеціалистъ не спеціалистъ, а кое-что и я смыслю, главное же, люди у меня подобраны. Я иду не одинъ, а съ подходящей компаніей... безъ этого бы и не пошелъ. Нѣтъ, я увѣренъ и въ себѣ, и въ моихъ, дѣло у насъ пойдетъ какъ по маслу... вотъ увидишь... Тутъ вовсе не спеціальныя знанія нужны для человѣка организующаго и управляющаго, а нужно нѣчто совсѣмъ иное. И это иное у меня есть... Павелъ Егоровичъ человѣкъ все же умный, онъ вотъ понялъ. Ему надо, чтобъ я снялъ съ него тяжесть, и нѣтъ ему никакого дѣла, самъ я буду ее нести или, въ свою очередь, взвалю на другого. Я же на одного человѣка ее не взвалю,—это было бы крупной ошибкой,—а распредѣлю на многихъ...

— Ну, а какъ же ты примиришь свою новую дѣятельность съ твоимъ... принципіальнымъ недовольствомъ всѣмъ существующимъ, съ твоей жаждой разрушенія? Ломать будешь?—спросилъ, неудержавшись, Михаилъ Аникѣевъ, сглаживая рѣзкость вопроса его шутливымъ тономъ.

— Зачѣмъ ломать!—со смѣхомъ отвѣтилъ Николай Александровичъ и нѣсколько разъ прошелся по комнатѣ.

XXXIV.

Онъ испытывалъ новое, подзадоривающее его ощущеніе.

Вотъ уже нѣсколько лѣтъ, съ тѣхъ поръ какъ онъ сталъ, согласно совѣту одного мудраго россійскаго *кулака*, «вести свою линію, доходить до точки, и обдѣлывать дѣла», ему приходилось держать ухо востро, застегиваться, такъ-сказать, на всѣ пуговицы и остерегаться откровенности съ кѣмъ бы то ни было. Въ свой внутренній міръ онъ не посвящалъ никого, держалъ про себя всю житейскую мудрость, открытую имъ и принесшую ему такіе богатые плоды.

А между тѣмъ по природѣ своей онъ былъ циникъ и удовольствіе, вкушаемое тайно, о которомъ нельзя никому хвастливо разсказать, теряло для него половину своей прелести. Тайна «дохожденія до точки», постигнутая имъ теперь вполнѣ, заставляла его играть со всѣми постоянную комедію, и это его тяго-

тило. Даже отъ жены своей онъ тщательно скрывалъ себя и представлялся ей вовсе не такимъ, какимъ былъ въ дѣйствительности.

И вотъ передъ нимъ *единственный* человѣкъ, съ которымъ можно и не притворяться. Онъ, какъ бы то ни было, братъ и не повредитъ ему, не въ состояніи повредить. Онъ не захочетъ о немъ распространять ничего для него опаснаго ужъ по одному тому, что, говоря дурно о своемъ родномъ братѣ, прежде всего повредитъ этимъ себѣ же. Наконецъ, этотъ братъ чудакъ, онъ живетъ особой, нелѣпой жизнью, какъ-то прячется, мало гдѣ бываетъ...

А похвастаться передъ нимъ, отвести душу, огорошить его— это такое удовольствіе! Пуще всего любилъ Николай Александровичъ огорошивать своего брата, это осталось еще съ отроческихъ лѣтъ.

— Зачѣмъ ломать!—повторилъ онъ.—Такое занятіе и безполезно, и вовсе не гигіенично. Вотъ ты, Миша, нашелъ во мнѣ перемѣну, такъ, вѣдь, она не въ одной наружности. Я вообще не похожъ на того глупца, лѣнтяя и крикуна, какимъ былъ въ первые годы послѣ университета. Мы какъ-то все не сходимся съ тобою и ты не удостоивалъ меня своими наблюденіями, а то бы увидѣлъ, что перемѣна со мною произошла не вдругъ, а въ строгой постепенности. Просто—жизнь учила... Эхъ, ты милый мой другъ, какія тамъ убѣжденія! Убѣжденій никакихъ нѣтъ и не должно быть... такъ, кричатъ себѣ зря либо мальчишки, которымъ еще прыгать хочется, либо безнадежные глупцы, не понимающіе жизни и не умѣющіе брать отъ нея того, что она можетъ дать...

Михаилъ Аникѣевъ глядѣлъ на брата во всѣ глаза, не понимая еще—шутитъ онъ или говоритъ серьезно. Онъ никогда не заблуждался насчетъ глубины «убѣжденій» Николая Александровича; но все же склоненъ былъ думать, что онъ искренно самъ себя морочитъ.

Между тѣмъ лицо бывшаго разрушителя имѣло серьезный видъ, а безпокойные его глаза блестѣли одушевленіемъ.

Онъ продолжалъ:

— Я давно понялъ, что люди, кричащіе о какомъ-то тамъ благѣ человѣчества, какъ бы и въ чемъ бы они его ни понимали,—или очень зелены, или крайне глупы, или, наконецъ, имѣютъ просто какую-нибудь цѣль и выгоду разыгрывать человѣколюбцевъ... Глупцомъ я давно пересталъ быть, а цѣли и выгоды въ подобныхъ крикахъ для себя, особенно ужъ теперь, не вижу. Ну, скажи на милость, какое намъ съ тобою дѣло до отдаленныхъ судебъ человѣчества или даже до судебъ нашей дра-

жайшей родины, когда мы существа, ограниченныя пространствомъ и временемъ и когда наша жизнь продолжается всего нѣсколько десятковъ лѣтъ!

— Такъ ты теперь вѣщаешь ужъ изъ самой глубины матеріализма?—усмѣхнулся Михаилъ Александровичъ.

— Ничуть, и вовсе я даже не считаю себя матеріалистомъ. Я иной разъ склоняюсь, чего прежде со мною не было, къ вѣрѣ и въ Бога, и въ загробную жизнь... конечно, я объ этомъ предметѣ не стану писать трактатовъ и даже говорить не буду; но, право вотъ, склоняюсь... Однако же, вѣдь, это нисколько не принуждаетъ меня интересоваться всякими утопіями.

— Я все же изъ словъ твоихъ еще не вижу.... программы твоей такъ нежданно и такъ блестяще начавшейся служебной дѣятельности,—невольно впадая въ насмѣшливый тонъ, всегда раздражавшій брата, замѣтилъ Михаилъ Александровичъ. Но на этотъ разъ его насмѣшливый тонъ или не былъ замѣченъ, или не произвелъ обычнаго дѣйствія.

Николай Александровичъ съ видимымъ удовольствіемъ продолжалъ:

— Программа ясна: плыть по теченію, всматриваться и вслушиваться въ вѣянія минуты—вотъ и все! Только это вовсе не такъ ужъ легко и просто, какъ тебѣ, можетъ быть, кажется. Это своего рода спортъ... ловкость, искусство пріобрѣтаются посредствомъ постоянныхъ упражненій... И знаешь, тутъ, въ концѣ-концовъ, при видѣ собственнаго усовершенствованія, является настоящее наслажденіе. Я уже испыталъ... кромѣ шутокъ, тутъ и вдохновеніе, и творчество, все, что угодно! Право, я теперь вижу, что maman и мнѣ передала частицу своей художественной натуры. Во всякомъ случаѣ хуже всего—апатія, а я вступаю въ мою новую дѣятельность съ предвкушеніемъ такихъ наслажденій, съ такими вожделѣніями, что ужъ одно это есть извѣстная гарантія успѣха. Да и вообще я знаю игру, приготовился, прошелъ отличную школу съ моими южными дѣльцами и жидами...

— Послушай, Николай,—вдругъ перебилъ его братъ:—ты совершенно увѣренъ, что не пожалѣешь о такой своей... чрезмѣрной откровенности со мною?

— Конечно, не пожалѣю, — очень спокойно и нѣсколько насмѣшливо глядя на брата, отвѣтилъ Николай Александровичъ:— я говорю не съ врагомъ, а съ братомъ, котораго считаю, несмотря на всю разницу нашихъ взглядовъ, порядочнымъ человѣкомъ. Видишь, какъ я тебѣ довѣряю... къ тому же, думай, какъ тебѣ угодно, а въ моихъ словахъ нѣтъ ничего для меня постыднаго. Такъ смотрятъ и такъ дѣйствуютъ всѣ умные люди. Только они,

вѣроятно, никому объ этомъ не разсказываютъ, а я передъ тобой исповѣдуюсь... Зачѣмъ? А вотъ хоть бы затѣмъ, что мнѣ хочется посмотрѣть насколько *тебя* жизнь научила... Ужасно интересно, неужели ты остался такимъ же не отъ міра сего, какимъ былъ лѣтъ десять тому назадъ... А впрочемъ, если тебѣ скучно, я замолчу...

— Нѣтъ, продолжай, пожалуйста, это во всякомъ случаѣ интересно... я только думалъ, что ты слишкомъ увлекся, а потомъ будешь каяться...

Николай Александровичъ засмѣялся, и смѣхъ его былъ добродушнымъ смѣхомъ человѣка, которому весело и даже очень пріятно.

— Чудакъ ты, право, чудакъ!—воскликнулъ онъ.—Да, вѣдь, если-бы я не дошелъ до этой самой эквилибристики, а служить все же бы рѣшился, такъ моя судьба была бы весьма плачевна: не только бы впередъ не пустили, а сразу подставили бы ногу и оказался бы я человѣкомъ непригоднымъ, недалекимъ. Нужны вовсе не знатоки дѣла, не труженики, ихъ много, только толку въ нихъ мало,—нужны, крайне нужны именно ловкіе, дошедшіе до сути эквилибристы, умѣющіе ладить со всѣмъ и со всѣми, быть всѣмъ пріятными, люди тактичные, мягкіе, умѣющіе жить... Или, по твоему, не такъ!

— Нѣтъ, такъ, такъ... я вовсе не спорю съ тобою... давно извѣстно, что положеніе между двумя стульями рекомендуется какъ самое удобное.

— Эхъ! если-бы только между двумя!—съ комическимъ сожалѣніемъ произнесъ Николай Александровичъ.—Въ томъ-то и дѣло, что стульевъ цѣлыя дюжины и на каждомъ необходимо посидѣть красиво, съ граціей, съ достоинствомъ, и въ то же время перепархивая съ одного на другой и производя настоящіе salto mortale! Но вернемся къ моей «программѣ». Когда-то я любилъ нѣжиться, ничего не дѣлать, валяться въ своей берлогѣ и, какъ медвѣдь, сосать лапу. Я ужъ давно отказался отъ такихъ лѣнивыхъ привычекъ и съ тѣхъ поръ отлично себя чувствую, какъ тѣлесно, такъ и душевно. Теперь же я буду въ непрестанномъ движеніи съ постоянной смѣной впечатлѣній. Ничто такъ не переутомляетъ и не сокращаетъ жизни, какъ сидѣніе на одномъ мѣстѣ и однообразіе въ занятіяхъ. Вся моя дѣятельность будетъ, такъ сказать, на ходу... Для письменной работы, для сидѣнья—у меня, говорю тебѣ, собраны отличные люди. Говорю, безъ нихъ я не взялся бы ни за что Всѣ они знатоки, труженики, скромники, словомъ—чернорабочіе. Мое же главнѣйшее дѣло—внѣшнія сношенія и представительство. Надо шумѣть, надо—чтобы обо мнѣ говорили, чтобы всѣ меня знали, чтобы я

всѣмъ кидался въ глаза—это самое главное! Пусть бранятъ, пусть даже смѣются надо мной, злословятъ—это нисколько не вредитъ—лишь бы не молчали! Пройдетъ два-три мѣсяца, и вотъ ты увидишь, сумѣю ли я это, будутъ ли обо мнѣ говорить... Тогда и потолкуемъ о моей дальнѣйшей программѣ!

Николай Александровичъ вдругъ замолчалъ. Онъ былъ удовлетворенъ, потому что видѣлъ, что въ достаточной мѣрѣ «огорошилъ» брата.

Тотъ, дѣйствительно, сидѣлъ какъ бы отуманенный и устало глядѣлъ на него.

«Что-жъ это въ самомъ дѣлѣ такое?—думалъ онъ.—Вѣдь, это чистое паясничество, вѣдь, онъ, въ самомъ дѣлѣ, только осрамится и провалится!.. А впрочемъ... отчего же?! Наглость, при удачѣ, можетъ сойти за что угодно»...

Онъ почувствовалъ себя очень утомленнымъ этой бесѣдой. Ему захотѣлось встать и поскорѣй уйти на чистый воздухъ. Но въ это время бѣлобрысый нѣмецъ во фракѣ, съ необычайно длиннымъ лицомъ, хранящимъ выраженіе какой-то хронической горькой обиды, появился, бережно неся большой подносъ. Вкусный запахъ блюдъ возбудилъ заснувшій было аппетитъ.

Михаилъ Аникѣевъ зажмурилъ глаза, глубоко зѣвнулъ, потянулся и, какъ бы стряхнувъ съ себя что-то, какую-то опутавшую его паутину, придвинулся къ столу, осторожно принимая изъ руки брата тонкую рюмочку «англійской мятной».

XXXV.

Быть можетъ, въ этомъ играла значительную роль чисто физическая причина—прекращеніе чувства голода, только Аникѣевъ сразу успокоился и даже сталъ ласково глядѣть на брата. Онъ былъ такъ одинокъ, ощущалъ внутри себя такую унылую и мучительную путаницу, а этотъ человѣкъ все-таки напоминалъ собой далекое-далекое время, когда еще жилось хорошо, въ семьѣ, подъ крыломъ матери, когда все еще было впереди и даль грядущаго представлялась заманчивой, полной самыхъ соблазнительныхъ обѣтованій.

Что касается Николая Александровича, онъ, очевидно, ничего не вспоминалъ, онъ весь находился подъ обаяніемъ настоящаго. Ему только очень вдругъ захотѣлось доканать «Мишу», указавъ ему его собственное ничтожество и непригодность.

— Ну, вотъ видишь,—началъ онъ, когда завтракъ былъ оконченъ:—худо ли, хорошо ли,—я давно взялся за умъ, работаю, какъ умѣю, устроиваю свое благосостояніе, чтобы подъ старость,

если доживу до старости, было на чемъ отдохнуть. Я понялъ, что весь зрѣлый возрастъ сознательно живущаго человѣка долженъ быть посвященъ на подготовленіе пріятной и покойной старости. Глядя же на тебя, я съ изумленіемъ вижу, что ты о своей старости совершенно не думаешь... Могу я откровенно, какъ брата, спросить тебя, какіе у тебя планы? Что ты намѣренъ дѣлать, какъ жить?

Михаилъ Аникѣевъ простодушно усмѣхнулся.

— Зачѣмъ же ты меня спрашиваешь,—сказалъ онъ:—когда самъ ужъ и отвѣтилъ на этотъ вопросъ? Ты правъ, я никогда до сихъ поръ не думалъ о старости... и вообще я какъ-то никогда не строю никакихъ плановъ...

— Все это прекрасно,—перебилъ его братъ:—но такимъ отношеніемъ къ жизни вотъ ты поставилъ себя въ очень скверное положеніе... Впрочемъ, можетъ быть, мнѣ невѣрно передавали... Неужели въ самомъ дѣлѣ ты совсѣмъ раззорился, и Снѣжково того и гляди погибнетъ?

Тѣнь глубокаго унынія разлилась по лицу Михаила Александровича. Всѣми усиліями воли онъ отгонялъ отъ себя эти мысли; но онѣ все же возвращались время отъ времени и томили его не мало. Сначала онъ искалъ, не на дѣлѣ конечно, а въ разсужденіяхъ съ самимъ собой, исхода изъ своего все ухудшавшагося положенія. Однако, какъ онъ ни перевертывалъ дѣло, исхода никакого не оказывалось. Тогда онъ рѣшилъ, что помочь себѣ не въ состояніи и что остается одно: плыть по теченію.

Что-нибудь непремѣнно случится, что-нибудь совершенно неожиданное. И это неожиданное непремѣнно, такъ или иначе, окажется самымъ лучшимъ и единственно-возможнымъ исходомъ.

Онъ доходилъ иной разъ до того, что даже съ интересомъ и любопытствомъ, какъ зритель, ожидалъ, когда же, наконецъ, поднимется занавѣсъ и какого рода будетъ этотъ спасительный deus ex machina...

Но это все же не мѣшало ему въ другія минуты понимать всю нелѣпость своего отношенія къ дѣлу и своихъ фаталистическихъ ожиданій. Тогда имъ овладѣвало уныніе, доходившее почти до отчаянья, и онъ старался забыться, уйти въ иной міръ, въ міръ художественныхъ образовъ и гармоніи.

А въ послѣднее время онъ былъ полонъ почти исключительно однимъ—Соней, такъ что все остальное отошло на задній планъ и ужъ не томило.

— Твои свѣдѣнія о моихъ дѣлахъ вѣрны,—рѣзко произнесъ онъ:—я разоренъ совсѣмъ, окончательно, безнадежно... Но говорить объ этомъ и скучно, и тяжело... Ну, что тебѣ за охота! Потолкуемъ о чемъ-нибудь болѣе... общеинтересномъ.

Николай Александровичъ прищурилъ глаза, сдѣлалъ серьезное, даже строгое лицо и спокойно заговорилъ:

— Я очень хорошо понимаю, что такой разговоръ не можетъ быть тебѣ пріятенъ, только я, вѣдь, не изъ пустого любопытства его началъ. Есть два пункта, которые я бы очень хотѣлъ выяснить... Первое, скажи мнѣ, пожалуйста, неужели ты не можешь, хотя бы въ виду того, что у тебя есть дочь, приняться за какое-нибудь дѣло?..

— То-есть, какъ это дѣло? — перебилъ его Михаилъ Александровичъ, еще болѣе блѣднѣя.—Если я не присяжный ученый, не чиновникъ, не промышленникъ, а музыкантъ и пѣвецъ, то кѣмъ же я могу быть, какъ не пѣвцомъ и музыкантомъ?..

Николай Александровичъ повелъ плечомъ и презрительно усмѣхнулся.

— Если-бы музыка и пѣніе были твоею дѣятельностью, карьерой, я бы молчалъ, да и ты не находился бы въ такомъ положеніи. Но, вѣдь, ты—диллетантъ, ты баринъ, и твои таланты, твое искусство не приносятъ тебѣ ни гроша. Давай концерты, поступай на оперную сцену, собирай деньги и рукоплесканія, тогда ты будешь правъ... Послушай, Миша, вѣдь, я все же тебѣ не чужой и, ей-Богу, добра тебѣ желаю... Оставимъ въ сторонѣ твою музыку и пѣніе. Эти твои таланты, вѣдь, не мѣшали тебѣ отлично учиться и кончить университетскій курсъ. Конечно, ты имѣлъ достаточно времени забыть все, что зналъ въ университетѣ, но все же ты себя считаешь образованнымъ человѣкомъ и разъ, что отъ прежнихъ пятнадцати тысячъ годового дохода ничего не осталось, а надо воспитывать дочь,—ты, прости меня, не имѣешь никакого права бить баклуши, ровно ничего не дѣлать и только пѣть и играть для собственнаго удовольствія и для удовольствія своихъ близкихъ знакомыхъ!

Въ первое мгновеніе Аникѣеву захотѣлось закричать брату, что онъ вовсе не намѣренъ съ нимъ разговаривать о такихъ предметахъ и не желаетъ выслушивать отъ него никакихъ нотацій.

Но онъ тотчасъ же подавилъ въ себѣ приступъ злобы и раздраженія. Вѣдь, въ словахъ Николая такъ много правды, а ложь, въ нихъ заключающуюся, не докажешь никакимъ образомъ.

Не одинъ Николай, а и всѣ скажутъ то же самое, въ глазахъ всего свѣта онъ, Аникѣевъ, несчастный художникъ, диллетантъ, играющій и поющій для собственнаго удовольствія, бездѣльничающій, весь вѣкъ бьющій баклуши. А теперь, надѣлавъ столько глупостей и раззорившись, бить баклуши, когда есть Соня, противно и преступно!

Ноющая, давящая боль охватила сердце Аникѣева, и онъ, тя-

жело дыша, расширившимися глазами глядѣлъ на брата, не въ силахъ будучи говорить и не зная, что сказать.

Въ его мозгу повторялись, будто выстукивались только эти слова: «ты не имѣешь никакого права бить баклуши!»

XXXVI.

Да развѣ онъ бьетъ баклуши? Развѣ онъ всю жизнь только и дѣлалъ, что билъ баклуши?...

Конечно, бываютъ дни, и теперь вотъ ихъ много, когда все изъ рукъ валится, теряется интересъ ко всему въ мірѣ, когда часы проходятъ въ туманѣ, среди отвратительнаго кошмара и ни одной свѣжей, опредѣленной мысли не укладывается, не удерживается въ головѣ.

Только, вѣдь, это—дни, а не мѣсяцы, не годы...

Нѣтъ, жизнь прошла не въ бездѣльи! Онъ никогда не былъ лѣнтяемъ, и съ дѣтскихъ лѣтъ въ немъ кипѣла, не ослабѣвая, а все увеличиваясь, страстная жажда знанія. Мысль работала постоянно, требовала себѣ пищи. Міръ образовъ и гармоніи не удовлетворялъ, онъ былъ лишь большой потребностью, самою насущной, но, во всякомъ случаѣ, одной изъ многихъ потребностей, дѣйствовавшихъ во внутренней его жизни.

На постоянныя, усидчивыя, строго опредѣленныя занятія онъ былъ мало способенъ. Онъ вообще не любилъ жить по звонку. Онъ весь состоялъ изъ порывовъ, самыхъ разнообразныхъ, но всегда сильныхъ, горячихъ, завладѣвавшихъ имъ всецѣло.

Почувствовавъ умственный и духовный голодъ, онъ накидывался на пищу, казавшуюся ему самою заманчивой, и насыщался ею жадно. Онъ мѣсяцъ-другой зарывался въ книги, читалъ, дѣлалъ выписки, приводилъ въ систему получаемыя знанія. Ему нерѣдко случалось цѣлыя ночи напролетъ просиживать за работой.

Потомъ порывъ проходилъ, наступали дни, недѣли видимой лѣни, ничегонедѣланья. Онъ какъ бы переваривалъ полученную умственную пищу, и это длилось до тѣхъ поръ, пока не вычеканился окончательный результатъ, не дѣлался послѣдній выводъ. Тогда готовился новый порывъ, но еще было неизвѣстно, привлечетъ ли онъ къ той же самой пищѣ, или потребуетъ чего-нибудь новаго.

Когда, въ первое время послѣ окончанія университетскаго курса, Аникѣевъ предался изученію музыки, онъ, живя то въ Россіи, то заграницей, работалъ страстно и, въ концѣ-концовъ, получилъ прекрасное музыкальное образованіе. Онъ не только

чудесно развилъ свой голосъ, не только достигъ совершенства какъ музыкантъ-исполнитель, но и сталъ большимъ знатокомъ исторіи музыки, серьезнымъ музыкальнымъ критикомъ.

Нѣсколько его статей, затерявшихся въ повременныхъ изданіяхъ, но высоко цѣнимыхъ немногими безпристрастными знатоками, доказали его познанія, самостоятельность и оригинальность. Къ тому же онъ оказался вовсе не увлеченнымъ модными вѣяніями, и «музыка будущаго» не вызывала въ немъ преувеличенныхъ восторговъ. Онъ даже прямо заявлялъ, что подобные восторги страстныхъ поклонниковъ Вагнера и его школы часто происходятъ или отъ сознательной неискренности,—боязно имѣть и высказывать свое собственное мнѣніе, или, просто, отъ непониманія.

Статьи его, при своемъ появленіи, вызвали полемику, и онъ тотчасъ же раскаялся, что ихъ напечаталъ. Онъ не любилъ спорить, а печатный споръ, особенно при нашихъ журнальныхъ пріемахъ, былъ ему просто противенъ. Онъ продолжалъ время отъ времени писать о музыкѣ, только ужъ ничего не печаталъ.

Его увлекали также естественныя науки. Нѣсколько лѣтъ, съ присущимъ ему жаромъ, онъ занимался антропологіей и біологіей. Когда ему приходилось, случайно, и въ Россіи, и въ западной Европѣ, разговаривать съ настоящими учеными—они непремѣнно изумлялись его большимъ и разнообразнымъ познаніямъ. Эти познанія особенно поражали ихъ въ свѣтскомъ человѣкѣ, не имѣющемъ ровно никакихъ претензій...

Такимъ образомъ, оказывалось, что онъ вовсе не былъ лентяемъ; только онъ работалъ не на показъ, а для одного себя, даже никогда и не подумавъ о томъ, что его всѣ считаютъ, и непремѣнно должны считать, тунеядцемъ.

Чувствуя свою жизнь неудавшейся, будучи, опять-таки вопреки общему мнѣнію, очень несчастнымъ и много страдавшимъ человѣкомъ, Аникѣевъ пуще всего дорожилъ своимъ единственнымъ благомъ—независимостью, свободой передвиженій, отсутствіемъ привязи къ одному и тому же мѣсту, къ одному и тому же обязательному занятію.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, обезсиленный пиленіями своей жены, отъ которыхъ некуда было дѣваться, онъ чуть было не связалъ себя службой. Но все же, въ послѣднюю минуту, понялъ, что такая жертва чрезмѣрна, и отстоялъ свою свободу.

Теперь же вотъ пришло черное, безнадежное время, и братъ, воплощающій въ себѣ *вѣхъ*, снова поднимаетъ ужасный вопросъ. До сихъ поръ можно было отдѣлываться отъ этого вопроса, возражать. Теперь нѣтъ никакихъ возраженій, приходится соглашаться со *вѣми*, потому что они правы.

И онъ весь застылъ и внутренно съежился, какъ человѣкъ, ожидающій неотвратимаго удара, смирившійся подъ его неизбѣжностью.

— Если-бы ты пришелъ и предложилъ мнѣ какое-нибудь дѣло,—медленно выговорилъ онъ:—все равно какое, лишь бы оно порядочно оплачивалось, я взялъ бы его съ благодарностью.

Николай Александровичъ поднялся съ кресла и прошелся по комнатѣ.

Глаза его загорѣлись и забѣгали. Вся зависть, которую онъ съ дѣтства чувствовалъ къ талантливому брату, любимцу матери, баловню женщинъ, къ этому «сладкопѣвцу» и «Сарданапалу» (онъ такъ издавна называлъ его)—теперь была успокоена окончательно.

— Наконецъ-то!—весело воскликнулъ онъ:—мнѣ только этого отъ тебя и надо! Я обдумаю и, при первой же возможности, постараюсь добыть для тебя подходящее мѣстечко. Только сразу, конечно, придется удовольствоваться не Богъ знаетъ чѣмъ... Ты ужъ будь благоразуменъ... въ нѣсколько лѣтъ, съ моей помощью, добьешься чего-нибудь и хорошаго... а теперь главное—лишь бы прицѣпиться...

Михаилъ Аникѣевъ глядѣлъ на него внимательно и печально.

Самое худшее было въ томъ, что онъ очень ясно понималъ и чувствовалъ причину братней радости, его добродушія и внезапно проявившагося родственнаго чувства.

«Благодѣтелемъ моимъ хочетъ быть!—мелькнуло у него въ головѣ:—ну и пусть будетъ! Чѣмъ хуже, тѣмъ лучше!»

Николай Александровичъ продолжалъ.

— Теперь, покончивъ съ первымъ моимъ пунктомъ, перехожу ко второму. Во сколько цѣнишь ты Снѣжково?

— Почемъ я знаю!—устало отвѣтилъ Аникѣевъ.

— Ну вотъ! ай-да хозяинъ! Впрочемъ, настоящую сумму опредѣлить не трудно, сообразуясь съ оцѣнкой банка и мѣстными цѣнами на землю. Я думаю, если ты продашь, тебѣ все же придется дополучить, за вычетомъ долга, тысячъ пятьдесятъ, шестьдесятъ...

Аникѣевъ соображалъ.

— Такъ, вѣдь, это земля,—сказалъ онъ наконецъ:—а домъ, вся усадьба... ты знаешь, что одну обстановку комнатъ, картины, библіотеку, по самой малой оцѣнкѣ, нельзя считать меньше какъ въ пятьдесятъ тысячъ...

Николай Александровичъ усмѣхнулся.

— Не увлекайся, мой другъ,—сказалъ онъ:—все это намъ съ тобой можетъ быть очень дорого по воспоминаніямъ, все это въ свое время стоило хорошихъ денегъ; но теперь—старьё. Да

и вообще, при продажѣ, усадьба и обстановка не играютъ роли, не идутъ въ счетъ, за это лишнихъ денегъ никто не дастъ.

— Да я ни за какія деньги не отдамъ усадьбы и дома, гдѣ жили дѣды и прадѣды, гдѣ родилась и выросла мама!—въ волненіи крикнулъ Аникѣевъ.

— А если черезъ годъ съ аукціона продадутъ имѣніе, что ты сдѣлаешь?

Противъ этого возразить было нечего,—все клонилось именно къ неизбѣжному аукціону, такъ какъ расплачиваться съ банкомъ у Аникѣева ужъ не было возможности.

— Я вотъ что тебѣ скажу,—продолжалъ Николай Александровичъ:—буде ты найдешь возможность распутаться и удержать Снѣжково, конечно, держи его крѣпко. Но если катастрофа неминуема, необходимо избѣгнуть аукціона и не выпустить Снѣжкова изъ нашего рода. Согласенъ ты съ этимъ?

— Да, конечно!—растерянно прошепталъ Аникѣевъ.

— Въ такомъ случаѣ я его куплю у тебя... то-есть, не я, у меня такихъ денегъ не водится... а тесть купитъ, то-есть моя жена... понимаешь... все равно, оно, въ концѣ-концовъ, достанется моему сыну... Аникѣеву...

— Понимаю,—такъ же растерянно выговорилъ Михаилъ Александровичъ.

— Согласенъ?

— Согласенъ.

У него голова закружилась и сердце стучало съ невыносимой болью. Но въ то же время онъ сознавалъ, что комбинація брата—еще лучшее изъ того, что можетъ случиться. И со стороны Николая это естественно и ничуть не предосудительно...

Но, Боже мой, отчего же такъ противно и мучительно думать обо всемъ этомъ?!

А думать необходимо... Вотъ онъ—исходъ! вотъ нежданный и спасительный deus ex machina. Онъ долженъ былъ явиться, и явился...

Аникѣевъ не слышалъ, что еще говорилъ братъ. Онъ разслышалъ и понялъ только послѣднія слова его:

— Такъ ты, пожалуйста, собери къ завтрему всѣ документы, счеты и банковскія квитанціи... Ну, до свиданія, голубчикъ... Теперь ужъ мнѣ пора... Выйдемъ вмѣстѣ... я довезу тебя, если хочешь...

— Нѣтъ, я пойду пѣшкомъ: у меня голова болитъ,—сказалъ Аникѣевъ.

— Въ такомъ случаѣ, разумѣется, пройдись.

Когда они спускались съ лѣстницы, Николай Александровичъ тихо говорилъ:

— А знаешь ли, Миша, въ заключеніе я позволю себѣ дать тебѣ благой совѣтъ: помирись съ женою. Покуралесилъ... и полно! Года ужъ не тѣ, дочь выростаетъ... Мало-ли съ чѣмъ приходится мириться... и вовсе не слѣдуетъ, въ особенности теперь, когда ты долженъ начать новую жизнь, давать пищу разнымъ пересудамъ и скандаламъ... Я, говоря откровенно, Лидію не очень обожаю; но во всякомъ случаѣ, вѣдь, она приличная и честная женщина... и всѣ знаютъ, что она тебя всегда безумно любила... да и теперь еще любитъ... Не будь же безсердеченъ и жестокъ съ нею... Наконецъ, женщина, оскорбленная въ своемъ чувствѣ, на все способна... она можетъ надѣлать тебѣ самыхъ серьезныхъ непріятностей... Право, помирись... подумай о дочери...

Аникѣевъ ничего не отвѣтилъ...

XXXVII.

Когда князю Вово доложили, что пришелъ «человѣкъ отъ господина Аникѣева», онъ почувствовалъ нѣкоторое угрызеніе совѣсти. Несмотря на всю свою любовь къ «Мишѣ» и на участіе къ его судьбѣ, онъ совсѣмъ было позабылъ о немъ и не вспомнилъ цѣлую недѣлю.

Конечно, оправданій у него нашлось сколько угодно: недѣля задалась суматошная. Во-первыхъ, отправилась на тотъ свѣтъ одна изъ его милыхъ старушекъ, цѣловавшихъ его въ плѣшку, восьмидесятилѣтняя княгиня Евдокія Петровна, вдова знаменитаго князя Ивана Ивановича. Княгиню знали *всѣ*, родни у нея былъ непочатый уголъ, на панихиды съѣзжался «весь свѣтъ». Похороны оказались просто-на-просто удавшейся partie de plaisir, такъ какъ княгиню хоронили въ родовомъ склепѣ, въ ея имѣніи, куда и былъ заказанъ экстренный поѣздъ для провожатыхъ.

Вово былъ тронутъ безболѣзненной и мирной кончиной доброй старушки, тѣмъ болѣе, что она вспомнила о немъ въ послѣдній день своей жизни, пожелала съ нимъ проститься, поцѣловала его въ плѣшку, перекрестила его и подарила ему на память о себѣ три прекрасныя вещицы: старинный перстень удивительной работы, собственноручно ею вышитый плэдъ на собольемъ мѣху и художественную шкатулку съ туалетными принадлежностями, купленную ею на первой парижской всемірной выставкѣ.

Вово, какъ малый ребенокъ, носился съ этими сувенирами, такъ подходившими къ его вкусамъ, хорошо извѣстнымъ и весьма одобрявшимся почтенной княгиней.

Во-вторыхъ, одновременно съ панихидами и похоронами, Вово

долженъ былъ распинаться, принявъ на себя самое дѣятельное участіе въ концертѣ и живыхъ картинахъ у Гатариныхъ. По случаю этого концерта онъ и вспомнилъ было объ Аникѣевѣ, но рѣшилъ, что, судя по прежнимъ примѣрамъ, а ужъ въ особенности при теперешнихъ обстоятельствахъ, отъ него все равно ничего не добьешься, и поспѣшилъ позабыть о немъ.

Но все-жъ таки совѣсть упрекнула. Бѣдный Миша, какія еще бѣды съ нимъ случились, что̀ онъ еще накуралесилъ за эту недѣлю?!.

Вово приказалъ позвать «человѣка» и принялъ Платона Пирожкова въ спальнѣ, гдѣ, послѣ только-что взятой ванны, производилъ сложную и продолжительную операцію своего туалета.

Онъ сидѣлъ въ какомъ-то совсѣмъ женскомъ пудермантелѣ передъ большимъ, тройнымъ зеркаломъ, съ трехъ сторонъ отражавшимъ его плѣшку, окруженный ящичками, коробочками, флакончиками, баночками и самыми разнообразными, таинственными инструментиками.

Тутъ же помѣщалась и великолѣпная шкатулка покойницы, но Вово, несмотря на большой соблазнъ, не прикасался къ ней и даже приказывалъ на ночь уносить ее въ другую комнату. Шкатулка вызывала въ немъ воспоминаніе о доброй старушкѣ, ея смерти, панихидахъ и похоронахъ, а онъ не на шутку боялся покойниковъ. Онъ надѣялся, что это скоро пройдетъ и онъ будетъ безмятежно наслаждаться интересной вещицей. Пока же, лучше не смотрѣть на нее, особенно на ночь.

«Дятелъ» вошелъ, какъ и всегда, бокомъ и скосивъ носъ. Онъ кинулъ быстрый взглядъ на свои блистательные сапоги, а затѣмъ втянулъ въ себя воздухъ, пропитанный смѣсью всякихъ благоуханій, вышедшихъ изъ парфюмерныхъ лабораторій Парижа и Лондона..

«Ишь надушилъ! — подумалъ онъ: — не продохнешь!.. Это еще пронзительнѣе, чѣмъ наша индѣйская вервена, чтобъ ей пусто было!»

— Честь имѣю кланяться, ваше сіятельство! — почтительно произнесъ онъ, косясь на диковинный пудермантель Вово.

— Здравствуй, Платонъ Пирожковъ! — ласково отозвался Вово, неотрываясь отъ зеркала, сморщивъ все лицо и вырывая крошечными щипчиками два слишкомъ длинныхъ волоска, вздумавшихъ совсѣмъ некстати расти и упорно торчать изъ правой брови. — Что Михаилъ Александровичъ? здоровъ? у тебя вѣрно письмо? давай сюда!

— Никакъ нѣтъ, ваше сіятельство, я не отъ барина, а то-есть самовольно, не извольте гнѣваться...

— А! что-жъ такое случилось? Не пугай, говори скорѣе...

«Дятелъ» безнадежно махнулъ рукою.

— Къ самому окончательному, то-есть, концу подступило,— мрачно произнесъ онъ.

— Что-о?

— Къ самому, говорю, концу... Какъ вамъ угодно, а я молчать и терпѣть не согласенъ... Они не въ своемъ видѣ...

Вово въ пудермантелѣ, черныхъ, шелковыхъ чулкахъ со стрѣлками и дамскихъ туфелькахъ вскочилъ изъ-за зеркала и подбѣжалъ къ «дятлу».

— Платонъ Пирожковъ, не выводи ты меня изъ терпѣнія... Я тебя бить буду!—сердито закричалъ онъ.—Что за чепуху ты несешь! Какъ это не въ своемъ видѣ? Что такое значитъ?

— А хоть бейте!—тоже озлился «дятелъ» и поднялъ носъ.— Истину я вамъ докладываю... Не въ своемъ они видѣ... Сами посудите: человѣческаго слова отъ нихъ добиться нельзя, съ голоду себя морятъ... Вчерась не обѣдамши, вечеромъ тоже ничего, нынче утромъ безъ чаю раннимъ рано выбѣжали на улицу и голодные-то невѣдомо гдѣ, извините, шляются. Развѣ такъ господа дѣлаютъ? Сами посудите... Всю недѣлю, съ тѣхъ самыхъ поръ какъ вы были, ровно маятникъ, туда-сюда, а къ людямъ хорошимъ ни ногою... Ни къ намъ кто, ни мы къ кому... Все васъ я поджидалъ, ваше сіятельство, думалъ, пріѣдете, разговорите, авось урезоните... а васъ и слѣдъ простылъ.

Вово поморщился.

— Каждый день собирался,—скороговоркой шепнулъ онъ,—да дѣлъ поверхъ головы... не могъ... не могъ! Съ чего же это онъ? Сонечка что ли больна?

— Никакъ нѣтъ-съ, не больна Сонечка, а нѣтъ ее, изъ Петербурга ее увезли въ Царское...

Для «дятла» было достаточно двухъ минутныхъ столкновеній съ горничной Лидіи Андреевны, чтобы завести знакомство, основанное на взаимной любознательности. Онъ уже два раза тихомолкомъ былъ на Фурштатской и отлично зналъ всѣ обстоятельства.

— Такъ вотъ что!—нѣсколько растерянно сказалъ Вово.— Ну, барыня!

— Барыня у насъ чувствительная, ее на кривой не объѣдешь, на червячка она не пойдетъ, не клюнетъ!—убѣжденно замѣтилъ Платонъ Пирожковъ.— Да кабы, ваше сіятельство, одно это...

Онъ замялся.

— Что-жъ еще? говори разомъ, не то, право, бить буду!

— Княгиня вернулась, вотъ что.

— Господи, какая еще тамъ княгиня?

— Будто не знаете... Все та же, прежняя... Лакея присылала... съ записочкой.

«Дятелъ» спокойно солгалъ, Алина прислала свою записку съ посыльнымъ и въ квартиру Аникѣева подалъ ее швейцаръ; но, вѣдь, нельзя же было сказать правду.

Вово хлопнулъ себя по лбу своей выхоленной ручкой и забѣгалъ въ развѣвавшемся пудермантелѣ, представляя собою самую невѣроятную маскарадную фигуру.

Вотъ затменіе! Ну, какъ же было не сообразить, не догадаться... тамъ... у Натальи Порфирьевны!.. Миша никогда не дѣлалъ ему никакихъ прямыхъ признаній; но онъ зналъ эту исторію, какъ знали ее многіе. Онъ никогда и никому не говорилъ о ней въ своемъ кругу, въ томъ кругу, гдѣ вращалась теперь Алина... Онъ далъ Мишѣ слово, когда Лидія Андреевна, при немъ, сдѣлала какъ-то разъ самые ясные намеки, молчать «въ свѣтѣ» о прошломъ Алины и обо всѣхъ на ея счетъ сплетняхъ, и держалъ это слово ради своихъ отношеній къ Мишѣ. Онъ былъ увѣренъ, какъ и Платонъ Пирожковъ, какъ и всѣ, что все это прошло навсегда и кончено безповоротно.

Но, вѣдь, княгиня Алина, сумѣвшая добраться до Натальи Порфирьевны, совсѣмъ обворожить ее и съ ея помощью устроить себѣ положеніе «въ свѣтѣ»—теперь интересна, соблазнительна. Она оперилась, признана всѣми, стала настоящей княгиней, будто и всегда была ею, она такъ красива и ловка... И когда она поманила Мишу, эта мраморная статуя, что-жъ мудренаго, если прежнее вернулось.

«Это серьезно, очень серьезно! и какъ не во-время!.. Теперь она всему помѣшаетъ»...—думалъ Вово.

XXXVIII.

А «дятелъ» готовилъ ему новую неожиданность.

— Да кабы одна княгиня, а то у насъ и новыя «штучки» заводиться начали,—таинственнымъ, многозначительнымъ шопотомъ произнесъ онъ, повѣсивъ голову, такъ что носъ ткнулся въ бронзовую подкову, красовавшуюся на синемъ галстухѣ.

— Какъ? Ну, вотъ еще вздоръ какой!

— А не вѣрьте! Вчерась это, передъ сумерками... Я-то былъ ушодши...

И онъ, во всѣхъ подробностяхъ, передалъ разсказъ дворника.

Вово внимательно слушалъ, не перебивая.

— Ну, какъ же тутъ думать прикажете?—занылъ «дятелъ» разводя руками.—Никогда мы такимъ баловствомъ не занимались, и очень высоко себя цѣнимъ, со всякими, смѣю сказать, шлюхами возиться не станемъ. Вотъ я иду сюда, да и думаю:

нѣтъ, это совралъ онъ, дворникъ-то... она хоть и махонькая, хоть и вертлявенькая, а надо такъ полагать, что вовсе не «штучка»... Кто жъ бы такое могла быть?.. Ваше сіятельство, явите божескую милость, прикиньте въ мысляхъ, кто бы такое могла быть? Ничего они вамъ не говорили... ни про какую такую?..

Платонъ Пирожковъ во время пути совсѣмъ истомился любопытствомъ и не могъ больше переносить своего незнанія.

— Постой! какъ ты сказалъ? бѣловолосая... маленькая... тоненькая?—быстро спрашивалъ Вово.

— Такъ точно-съ... дворникъ говоритъ: волосы, говоритъ, бѣлые, что твой ленъ, а махонькая, говоритъ, такая, что вотъ взялъ, посадилъ ее на ладонь, прихлопнулъ—и нѣтъ ничего!

«Богъ мой, да, вѣдь, это Ninette!—чуть было громко не крикнулъ Вово:—она, она... другому некому и быть... Сумасшедшая!.. Ну, дѣточки!»

А совѣсть опять упрекнула—вѣдь, онъ и у Хрепелевыхъ не былъ послѣ «скандала». Можно себѣ представить, что тамъ творится! Онъ рѣшилъ сегодня же къ нимъ поѣхать и постараться увидѣть Ninette. Она ничего отъ него не скроетъ. Но прежде всего надо навѣдаться къ Натальѣ Порфирьевнѣ. Онъ видѣлъ ее на одной изъ панихидъ, только ни слова не сказалъ съ нею, а на похоронахъ ее не было.

— Такъ кто же это? сдѣлайте божескую милость!—между тѣмъ изнывающимъ тономъ тянулъ «дятелъ».

— А я почемъ знаю,—сказалъ Вово.

— Такъ вы узнайте, безпремѣнно узнайте, потому ежели теперь эта самая любовная канитель еще начнется, да съ двухъ концовъ, тогда, прямо говорю, все пойдетъ прахомъ!..

Платонъ Пирожковъ вдругъ осѣкся и очень странно фыркнулъ носомъ.

Вово съ изумленіемъ взглянулъ на его нелѣпое лицо, подергиваемое жалкой гримасой, и увидѣлъ, что онъ вотъ-вотъ сейчасъ разревется.

— Никакъ ты ужъ и рюмить собрался?.. Ну, чего тамъ... полно!—ласково проговорилъ онъ и похлопалъ «дятла» по плечу.

Слова эти произвели поразительное дѣйствіе. Платонъ Пирожковъ сразу выпрямился, закинулъ голову, ощетинилъ усы и отставилъ ногу.

— Это кто-жъ такое... рюмить! Я-то?!... Обознались, ваше сіятельство!—мрачно заговорилъ онъ.—Что я, баба что-ли! Да и нечего сказать, невидаль!... Мнѣ-то что! Пускай себѣ пропадаетъ баринъ, они мнѣ ни братъ, ни сватъ, я лакей ихній, а они господинъ, ну и пускай пропадаютъ!... Богъ имъ судья—

всю-то жизнь мою они погубили... Можетъ, я теперь человѣкомъ былъ бы, а по ихней милости что я такое?.. тьфу! мочалка!..

Платонъ Пирожковъ остановился и, принявъ болѣе скромную позу, уже совсѣмъ инымъ, скорбнымъ тономъ продолжалъ:

— Вѣдь, еще въ Снѣжковѣ, какъ ребятками мы были, они надо мной тиранство свое показывали... Бывало, нашалятъ они что-нибудь несообразное, чувствуешь, что безъ строгаго взысканія никакъ не обойтись, сейчасъ и бѣжишь либо къ барынѣ, либо къ мусье Жульяру и въ ноги: простите, молъ, это я все надѣлалъ, я должонъ быть въ отвѣтѣ, а Михайло Александрычъ ни-ни... Ну, и попадетъ иной разъ, барыня-то больше прощали, а мусье Жульяръ сѣкъ, то-есть, такъ надо сказать—дралъ безъ милосердія... Мальшишка, говоритъ, кошонъ рюсъ, говоритъ, и приказываетъ Семену: сэкъ иво, сэкъ, говоритъ, карашо сэкъ! А Семенъ буфетчикъ и радъ—аспидъ былъ, какъ есть палачъ... такъ отдеретъ, что потомъ дня три все норовишь бочкомъ присаживаться, потому прямо и сѣсть-то невозможно...

Вово, снявъ пудермантель, продѣлывалъ гимнастическія движенія руками и ногами, присѣдалъ, подпрыгивалъ, вертѣлъ туловищемъ, улыбаясь глядѣлъ на «дятла» и начиналъ чувствовать настоящее умиленіе.

— Такъ чѣмъ же Михаилъ-то Александровичъ тебя тиранилъ?—наконецъ, воскликнулъ онъ, лаская бѣднаго «дятла» своими великолѣпными бархатными глазами.—Развѣ онъ заставлялъ тебя брать на себя его провинности?

— Заставлять не заставляли, а все-жъ таки мнѣ отъ этого не легче, драли-то не ихъ, вѣдь, а меня,—объяснилъ Платонъ Пирожковъ.

— Ну, да что розги! — помолчавъ, продолжалъ онъ:—то были цвѣтики, а ягодки-то впереди созрѣвали. Выросли мы, жить, что называется, стали... Такъ нешто это жизнь моя была... сами посудите, ваше сіятельство: всякій человѣкъ свое удовольствіе имѣетъ, свою волю, свободу... время придетъ, своимъ домкомъ обзаведется, женой, дѣтишками. А я, прости Господи, бобылемъ былъ, бобылемъ и остался, рабомъ ихнимъ былъ, рабомъ и по сіе время... Имъ весело, а мнѣ отъ ихъ веселья какая прибыль? Сапоги да платье ихнее чищу, пыль обметаю. Плохо имъ —тутъ вотъ и мнѣ плохо... Старая барыня померли, они грустятъ, какъ тѣнь ходятъ—и я за ними. Съ барыней, съ Лидіей Андреевной нелады идутъ, такъ и у меня душа не на мѣстѣ. Они мечутся изъ города въ городъ, и я за ними. Амуры пошли Снѣжковскіе, съ барышней Лукановской въ паркѣ пропадаютъ, а я караулю, какъ бы кто въ паркъ не прошелъ, да, Боже упаси, чего не замѣтилъ... Барышня за князя замужъ, а я дрожу какъ осиновый

листъ, ночей не сплю напролетъ, у дверей прислушиваюсь, пистолеты, ножи, бритвы стерегу, какъ бы грѣха не случилось... потому, больно они страшны тогда были... и-и!.. не приведи Господи!.. О заграницахъ нашихъ ужъ и не говорю, ежели поминать эти мытарства, такъ лучше набрать себѣ полыни въ ротъ, да и жевать... Нѣтъ, ваше сіятельство, хоть я и простой человѣкъ, хоть мать родила и въ дворовой избѣ, а все-жъ таки никто не похвалитъ ихъ за то самое...

— За что? за что?—съ серьезнымъ видомъ спрашивалъ Вово, становясь въ фехтовальную позу, наступая на «дятла» и вертя передъ его грудью кулакомъ.

— А за то, что они изъ меня цѣпного пса сдѣлали,—отвѣтилъ Платонъ Пирожковъ, отскакивая въ уголъ.

— Кто-жъ это тебя на цѣпь посадилъ?.. Разъ-два, разъ два!..— настигалъ его Вово и въ углу.—Всѣмъ крестьянамъ волю дали, а ты одинъ во всей Россіи крѣпостнымъ остался! Да ты, братецъ, феноменъ, ты—анахронизмъ рѣдкостный!

«Дятелъ» совсѣмъ оскорбился.

— Обидныхъ словъ, ваше сіятельство, я на своемъ вѣку не мало наслушался...—заговорилъ онъ: — хоть какимъ угодно а... хранисомъ обзывайте, меня отъ того не убудетъ... я къ вамъ по старой памяти, какъ къ доброму барину, другу ихнему старинному, я къ вамъ съ душою, а вамъ все шуточки, вы все на смѣхъ...

Вово пересталъ фехтовать и скорчилъ дѣтское лицо.

— Ну, извини, Платочекъ, я больше не буду... никогда не буду больше называть тебя а...хранисомъ!

— Да и не придется, потому я принялъ рѣшеніе, сейчасъ такъ прямо въ газету и иду... публиковаться.

Вово сталъ совсѣмъ серьезенъ.

— Слушай,—сказалъ онъ: — ты теперь иди публиковаться... вотъ тебѣ и на публикацію (онъ взядъ со стола портъ-монэ, вынулъ оттуда десятирублевую бумажку и далъ ее «дятлу»)... все я сегодня разузнаю и обо всемъ подумаю, а Михаилу Александровичу ты скажи, чтобы онъ пождалъ меня часовъ около восьми, скажи, что ты меня на улицѣ встрѣтилъ, что у меня къ нему дѣло есть и что я буду около восьми непремѣнно...

— Очень вами благодаренъ,—поклонился «дятелъ»:—только какъ же это я имъ скажу, когда ихъ, можетъ, и весь день дома не будетъ?

— А какъ знаешь... Ну, сокращайся.

— Счастливо оставаться!—со вздохомъ произнесъ Платонъ Пирожковъ, взглянулъ на свои сапоги и бокомъ прошмыгнулъ въ дверь.

XXXIX.

— Мой милый князь! васъ-то мнѣ и надо...—сказала Наталья Порфирьевна, когда Вово, неслышно, но быстро подлетѣвъ къ ней, почтительно цѣловалъ ея руку.—Садитесь вотъ сюда, постарайтесь сидѣть смирно и быть серьезнымъ... Я очень рада, что, пока, никого нѣтъ и мы можемъ нѣсколько минутъ поговорить свободно...

Вово никакъ не ожидалъ подобнаго приступа. Наталья Порфирьевна никогда съ нимъ не говорила такимъ торжественнымъ тономъ. Къ тому же она, видимо, чѣмъ-то очень разсержена, до того разсержена, что на ея мягкомъ, художественно подправленномъ лицѣ нѣтъ даже обычной «святой» улыбки. Очевидно, онъ сейчасъ услышитъ что-нибудь крайне интересное.

Онъ граціозно помѣстился на указанномъ ему мѣстѣ, сложилъ губы сердечкомъ, поднялъ брови и весь превратился въ почтительное вниманіе.

Наталья Порфирьевна строго спросила:

— Вѣдь, вы, если не ошибаюсь, очень близки и дружны съ Мишелемъ Аникѣевымъ?

Брови Вово поднялись еще выше.

— Да, я съ нимъ друженъ,—сказалъ онъ:—я еще мальчикомъ изъ Пажескаго корпуса ходилъ къ нимъ въ отпускъ.

— Помню, помню... покойная ваша maman должна была, страдая легкими, постоянно жить въ Египтѣ и поручила васъ Софьѣ Михайловнѣ... Вы и теперь съ нимъ хороши, съ Мишелемъ? видаетесь?

— Разумѣется... je l'aime de tout mon coeur, c'est un homme adorable, ce Michel...

— Вотъ, вотъ... поэтому васъ-то мнѣ и надо! Скажите, пожалуйста, онъ съ ума сошелъ, этотъ вашъ homme adorable? У меня, знаете, тоже была къ нему симпатія et puis... j'aimais tant sa pauvre mère... я съ нимъ теперь встрѣтилась случайно, въ магазинѣ, у Кнопа... обласкала его, позвала къ себѣ, поисповѣдовала, пожурила, и простила. Онъ надѣлалъ столько всякаго вздора въ своей жизни и совсѣмъ меня знать не хотѣлъ. Но онъ мнѣ все представляется мальчикомъ, рядомъ съ Софьей Михайловной... и онъ такъ похожъ на нее! Въ немъ что-то милое и жалкое... et plein de talents avec ça! Я хотѣла мало-помалу исправить всѣ его глупости, устроить его, пустить въ ходъ. Я за него хлопотала, заинтересовывала имъ... и что же!..

— Это вы за его великопостную импровизацію, Наталья Порфирьевна?—не утерпѣвъ, съ хитрой миной перебилъ Вово.

— Какое импровизація!—сказала она, становясь еще торжественнѣе и строже:—кабы только этотъ грѣхъ! Нѣтъ, похуже, во сто разъ похуже! Всю недѣлю мнѣ только и говорятъ о немъ одно дурное и удивляются, какъ это я могу принимать въ немъ участіе. Да и кто говоритъ! если-бы такъ, болтали, я бы не обратила вниманія. А то, вѣдь, Елена Федоровна, князь Иванъ Николаевичъ, графъ Бибергейль, Казарлинъ... наконецъ, Ольга Петровна прислала ко мнѣ вчера свою mademoiselle Пиперъ, знаете?—и, съ перваго же слова, о немъ!

— Господи! да что же такое ужасное сдѣлалъ этотъ бѣдный Мишель? Какое таинственное преступленіе?!—воскликнулъ Вово.

— Онъ очень глупо держитъ себя со своей женой,— рѣзко проговорила Наталья Порфирьевна.—Несчастье можетъ быть со всякимъ, молодежь иногда себя губитъ необдуманными браками, все это такъ. Vous savez... sa femme... je ne la porte nullement dans mon coeur... у меня нѣтъ и не можетъ быть съ нею ничего общаго, она у меня никогда не бывала и не будетъ... но... вотъ она сумѣла заинтересовать своимъ положеніемъ всѣхъ этихъ лицъ. On la dit très malheureuse... Она, видите ли, очень порядочная женщина, безумно его любитъ, а онъ бросилъ ее, убѣжалъ съ кѣмъ-то и теперь самымъ жестокимъ образомъ отнимаетъ у нея единственную дочь—ея послѣднее сокровище!

— Наталья Порфирьевна, да, вѣдь, это все вздоръ!—воскликнулъ, даже вспыхнувъ, Вово.

— Ахъ, Богъ мой! — пожавъ плечами, произнесла Наталья Порфирьевна:—не звать же слѣдователя, прокурора, адвоката и присяжныхъ, чтобы разбирать, кто тамъ изъ нихъ правъ, кто виноватъ. Вы очень хорошо понимаете, что не въ этомъ дѣло... Тутъ Елена Федоровна и Ольга Петровна, и князь Иванъ Николаевичъ и всѣ!.. Да что онъ, о двухъ головахъ, вашъ другъ Мишель?! Противъ такой арміи я не могу защитить его, къ тому же мнѣ и неприлично защищать его когда такія обвиненія и факты!

— Что же ему, однако, дѣлать, если его жена—это олицетворенное притворство и безсердечіе!—уныло сказалъ Вово. — Она извращаетъ правду ужасно и ни передъ чѣмъ не останавливается!

Наталья Порфирьевна опять слегка пожала плечомъ.

— Эта madame Anikeieff, должно быть, не глупа, вотъ что!— замѣтила она. — Если-бъ ею были пущены въ ходъ чистыя выдумки, тогда бы еще другое дѣло; но она, мы съ вами, вѣдь, знаемъ это, вышиваетъ свой узоръ по крѣпкой канвѣ... Посмотрите: бросилъ онъ ее? да. Убѣжалъ съ какою то тамъ дамой или дѣвицей? да. Хочетъ онъ взять къ себѣ дочь? думаю, что

да... онъ мнѣ не признавался въ этомъ прямо, но изъ его словъ я вывела, что ему невыносимо оставлять дѣвочку въ ея рукахъ. Наконецъ, что она и его, и дочь безумно любитъ — кто же можетъ доказать, что это не такъ? Я, по крайней мѣрѣ, не берусь.

— Вы можете одно, Наталья Порфирьевна, — горячо сказалъ Вово, блеснувъ своими великолѣпными глазами: — вы можете говорить, что хорошо знаете Аникѣева, что онъ человѣкъ честный и съ сердцемъ, что его жена недостойна его, что она фиглярка, отравила его жизнь и не можетъ хорошо воспитать дочери. Наконецъ, дѣвочка обожаетъ отца и вовсе не обожаетъ свою мамашу. Дѣти чувствуютъ, кто ихъ любитъ! Все это вы можете говорить, и всѣ вамъ повѣрятъ!

— Вы увлекаетесь, мой милый князь,—протянула, слабо улыбнувшись, Наталья Порфирьевна. — Очень жаль, но мы тутъ безсильны. Начать съ того, что у меня нѣтъ никакихъ данныхъ порочить эту даму, я ее совсѣмъ не знаю. Главное же, всегда нужно предвидѣть возраженія, которыя вамъ будутъ дѣлать. Хорошо, скажутъ, но почему же она не можетъ воспитать дочери, а онъ можетъ? Она ему не измѣнила, ни съ кѣмъ не бѣгала, ея нравственность чиста... Онъ же легкомысленный человѣкъ во всякомъ случаѣ... онъ... сердцеѣдъ... вѣдь, я вамъ далеко не все разсказала...

— Неужели есть и еще что-нибудь новое?—жалобно прошепталъ Вово.

— Rien de bon! Онъ вскружилъ голову этой... княжнѣ Хрепелевой... Боже мой, а я то считала ее чистымъ и прелестнымъ ребенкомъ!.. Да, вскружилъ ей голову... Ильинскій, женихъ, замѣтилъ это, подслушалъ ихъ нѣжное объясненіе et... enfin... въ результатѣ извѣстная вамъ милая исторія у меня въ домѣ! Я вовсе не заступаюсь за эту пропащую дѣвочку... c'est la perversion même! Но хорошъ и вашъ другъ... у меня! Да, вѣдь, она еще вчера короткія платья носила! совсѣмъ ребенокъ!.. C'est du progre—allez!

Вово не могъ усидѣть въ креслѣ.

— Наталья Порфирьевна! Бога ради... Pas ça, oh, pas ça!— горячился онъ:—voyons... вѣдь, онъ ее увидѣлъ... въ первый разъ тогда, уже въ концѣ вечера... я самъ его къ ней подвелъ... они и двухъ минутъ не говорили другъ съ другомъ! non, ma foi c'est par trop fort!

Наталья Порфирьевна съ удивленіемъ глядѣла на хорошенькаго князя.

— Я васъ никогда такимъ не видала! — наконецъ, сказала она, озаряя его своей появившейся «святою» улыбкою.—Вѣрно,

дружба еще жива на свѣтѣ! Такъ вотъ вы уговорите вашего друга образумиться, помириться, что-ли, съ женою, словомъ, прекратить всѣ эти толки, остепениться... Пусть бы онъ взялъ примѣръ со своего брата... vous savez... кто о немъ зналъ? и вдругъ такое видное назначеніе! Il va faire une bien belle carière! а еще его, помню, лѣнтяемъ и недалекимъ считали.

— Такимъ онъ и былъ,—замѣтилъ Вово.

— Однако, вотъ, его выдвигаютъ... Ему уже выданъ патентъ на высшія способности... О немъ говорятъ, какъ о будущемъ государственномъ дѣятелѣ... И сразу, безъ службы, такое положеніе!.. excusez du peu! Нѣтъ, видно онъ уменъ! А этотъ Мишель... да знаете ли — онъ ко мнѣ и не заглянулъ... боленъ онъ, что ли?

— Я у него буду сегодня... все узнаю.

— И прекрасно сдѣлаете... Образумьте. Скажите ему отъ меня, что дѣла его такъ плохи, какъ онъ и не воображаетъ... avec les meilleures intentions je ne puis rien pour lui!

— Alors-c'est un arret de mort?

— Presque... Кто же виноватъ! А впрочемъ... какъ это говорится... сердце не камень! Передайте ему, чтобы онъ ко мнѣ заѣхалъ... только я не могу... (она хотѣла сказать, что не можетъ принять его въ тѣ часы, когда у нея всѣ бываютъ, но остановилась) нѣтъ, позвольте! Пусть онъ заѣдетъ въ субботу вечеромъ послѣ всенощной...

Въ это время входилъ князь Бирскій, обязанность котораго въ этомъ домѣ состояла не только въ аккомпанированьи свѣтскихъ пѣвцовъ и пѣвицъ, но и въ доставленіи Натальѣ Порфирьевнѣ самыхъ свѣжихъ городскихъ новостей. Она его обыкновенно и встрѣчала словами старой пѣсенки о Мальбругѣ: «quelle nouvelle m'apportez». На этотъ разъ онъ ей не далъ даже времени для вопроса.

— А я къ вамъ съ удивительной новостью, съ новостью fin de siècle! — весело объявилъ онъ, цѣлуя ея руку: — imaginez-vous... le dènouement du drame... маленькая княжна Хрепелева вчера въ ночь сбѣжала изъ дома родительскаго... и къ кому? къ вашему импровизатору—Аникѣеву!

— Это неправда!—вырвалось у Вово.

— Извините, князь, это правда!—сухо проговорилъ Бирскій, кланяясь. — Мнѣ сейчасъ сообщилъ это мой старый пріятель Лотухинъ, родной братъ княгини Хрепелевой, онъ заѣхалъ ко мнѣ прямо отъ нихъ... тамъ Богъ знаетъ, что происходитъ... un vrai drame!

Наталья Порфирьевна посмотрѣла на Вово уничтожающимъ взглядомъ.

Онъ совсѣмъ растерялся и ничего не могъ сообразить.

Наскоро простясь, онъ пустился почти бѣгомъ черезъ анфиладу громадныхъ гостиныхъ и галлерей Талубьевскаго дома, едва не забылъ надѣть пальто, и поѣхалъ къ Хрепелевымъ.

Но тамъ никого не принимали.

XL.

Разставшись съ братомъ, Аникѣевъ медленно пошелъ, направляясь къ Михайловскому скверу. День разгулялся, подулъ мягкій вѣтеръ, чувствовалось первое дыханіе приближавшейся весны.

Было еще довольно рано, и Аникѣевъ соображалъ, что всего лучше дойти пѣшкомъ до набережной. Такимъ образомъ онъ попадетъ къ Алинѣ именно въ самое время.

Конечно, онъ рисковалъ не застать ее дома, или застать не только ее, а и ея князя, и всякихъ постороннихъ людей.

Опять увидѣть этого невыносимо противнаго человѣка, услышать его отвратительно-скрипящій голосъ, дотронуться до его красной, холодной руки...

Все равно, все равно; но онъ уже не можетъ не идти къ ней, потому что усталъ невыносимо и кромѣ нея у него никого нѣтъ теперь. На Фурштатской онъ опять ничего не добился, то-есть не добился Сони. Ему сказали, что Лидія Андреевна вернулась вчера вечеромъ одна и очень рано ушла изъ дому. Тогда онъ поѣхалъ въ Европейскую гостиницу, къ брату. Ничего особенно пріятнаго, радостнаго онъ и не ждалъ отъ этого свиданія, но все же не думалъ, что придется истомиться и устать до такой степени...

Правда, есть одинъ человѣкъ, съ которымъ не холодно, это— Вово. Онъ чуть ли не одинъ остался отъ прежняго времени. Несмотря на свое удивительное подчасъ легкомысліе и мелочность, онъ все-же не измѣнилъ, вмѣстѣ съ измѣнившимися обстоятельствами, какъ измѣнили другіе. Что-жъ такое, если онъ производитъ впечатлѣніе вѣчнаго полуребенка, если онъ довольствуется самымъ пустымъ существованіемъ и никогда не могъ ни на чемъ серьезно остановиться. Все же онъ гораздо выше множества людей, считающихся серьезными. Онъ честенъ и добръ, ни въ комъ не заискиваетъ, неспособенъ ни на какую интригу. Съ нимъ случаются минуты духовнаго просвѣтлѣнія, когда вдругъ, сквозь оболочку свѣтской маріонетки, проглядываетъ что-то разумное, сердечное, человѣческое.

Къ нему бы? Только, вѣдь, неизвѣстно, на какую попадешь минуту, а главное,—гдѣ же его искать: въ этотъ часъ онъ ужъ кончаетъ свой туалетъ и начинаетъ свое вѣчное порханіе по городу.

Никого нѣтъ кромѣ Алины. Эту недѣлю, до вчерашняго дня, Аникѣевъ мало о ней думалъ, онъ думалъ только о Сонѣ. Но записка, прочтенная имъ вчера вечеромъ, опять его отравила. Не забывая о Сонѣ, то и дѣло мучительно возвращаясь къ ней мыслями, онъ чувствовалъ, однако, что образъ Алины снова вернулся, что онъ здѣсь—и не уйдетъ.

То было жуткое, мучительное и въ то же время зачаровывающее ощущеніе. Въ немъ заключался и паническій ужасъ близости призрака и сердечная радость близости живого, любимаго существа. Аникѣевъ сталъ, наконецъ, удивляться, какъ же онъ могъ эти дни, эти мучительные дни прожить безъ Алины—до того возростало въ немъ, съ каждой минутой, страстное влеченіе къ ней, желаніе скорѣе,—скорѣе ее видѣть, слышать ея голосъ...

Самъ того не замѣчая, онъ ускорялъ шагъ и, повернувъ отъ Лѣтняго сада на набережную, почти бѣгомъ спѣшилъ къ ея подъѣзду.

Теперь ему казалось, что онъ непремѣнно опоздаетъ, что вотъ она, можетъ быть, въ эту самую минуту уже выѣхала изъ дому, что онъ засталъ бы ее, если-бъ не потерялъ даромъ столько времени.

Если ея нѣтъ, если онъ не можетъ сейчасъ же ее увидѣть,—что станетъ онъ дѣлать? Ему уже представлялось, какъ онъ долгіе часы, въ томительномъ нетерпѣніи, ходитъ взадъ и впередъ по набережной...

Запыхавшись, съ громко стучащимъ сердцемъ, отворилъ онъ тяжелую дверь. Швейцаръ, очевидно, его узнавшій, сказалъ ему:

— Княгиня дома, только врядъ ли принять могутъ.

— Отчего?

— Да онѣ что-то нездоровы, второй день не выѣзжаютъ. Однако, распоряженія никакого не было-съ. Я сейчасъ позвоню, вы извольте отдать свою карточку человѣку...

Черезъ нѣсколько секундъ съ лѣстницы сбѣжалъ длинный молодой лакей, сіявшій бѣлымъ галстухомъ и гербовыми пуговицами. Онъ почтительно принялъ отъ Аникѣева карточку и также быстро поднялся по широкимъ ступенямъ.

Аникѣевъ совсѣмъ застылъ и смутно чувствовалъ, что если Алина не приметъ его,—онъ никогда больше къ ней не вернется.

Прошло двѣ-три длинныя минуты.

— Пожалуйте!—раздалось, наконецъ, сверху.

Тогда онъ медленно снялъ съ себя пальто и сталъ подниматься по лѣстницѣ.

Тотъ же молодой лакей провелъ его по знакомымъ уже комнатамъ и оставилъ у спущенной портьеры, за которой была та уютная маленькая гостиная, гдѣ нѣсколько дней тому назадъ скрипящій голосъ «la bête» нарушилъ наплывшее было любовное очарованіе.

Аникѣевъ не успѣлъ еще рѣшить—слѣдуетъ-ли ему пройти туда или подождать, какъ шевельнулась портьера. Но это была не Алина, а молоденькая хорошенькая дѣвушка съ хитрыми зеленоватыми глазами, въ гладкомъ темномъ платьицѣ, черномъ шелковомъ передничкѣ и съ манерами скромной институтки.

Вѣра граціозно поклонилась, остановила на лицѣ Аникѣева слишкомъ внимательный взглядъ и нѣжнымъ голоскомъ произнесла:

— Княгиня васъ просятъ... только онѣ извиняются, онѣ совсѣмъ нездоровы... Пожалуйте за мной, я васъ проведу.

Онъ послѣдовалъ за нею черезъ маленькую гостиную, прошелъ еще одну какую-то комнату. Затѣмъ Вѣра отворила дверь, пропустила его,—и сама исчезла, громко щелкнувъ за нимъ дверною ручкой.

Аникѣевъ очутился въ обширной комнатѣ, затянутой пушистымъ блѣднымъ ковромъ, задрапированной бѣлымъ шелкомъ съ затканными по немъ, тоже блѣдными букетами. Онъ увидѣлъ свою фигуру, отраженную въ громадномъ трюмо, увидѣлъ туалетный столъ, жардиньерку съ разноцвѣтными душистыми гіацинтами, всякія шифоньерки, столики, бездѣлушки. Онъ понялъ, что это спальня Алины.

Когда она, въ тотъ разъ, показывала ему свое помѣщеніе, она отворила и эту дверь, сказавъ: «это моя спальня». Но онъ тогда заглянулъ, ничего не видя, и тотчасъ же отошелъ отъ двери, почувствовавъ неловкость и какое-то тоскливое раздраженіе.

Да, это спальня Алины. Но гдѣ же кровать? Гдѣ она сама?

— Это вы?—услышалъ онъ ея тихій голосъ.

Тогда, вглядѣвшись по направленію, откуда раздался голосъ, онъ понялъ. Кровать и вся глубокая, большая ниша, гдѣ она помѣщалась, были скрыты подвижной бѣлой шелковой занавѣсью. Ему внезапно вспомнилось, что самъ же онъ какъ-то разъ, въ Снѣжковѣ, нарисовалъ ей именно такое устройство спальни. Кровать должна быть вдоль ниши, подъ балдахиномъ, а занавѣсь, если ее совсѣмъ отдернуть, собирается у стѣны, гдѣ изголовье, мягкими складками, почти теряется и не нарушаетъ общаго впечатлѣнія.

— Вы больны? Что такое?—тревожно спросилъ Аникѣевъ.

— Какъ видите... настолько больна, что со вчерашняго вечера не могу поднять головы и не встаю съ постели... Впрочемъ, это не опасно, а только очень мучительно. Это мигрень, которой я время отъ времени страдаю. Она проходитъ гораздо скорѣе, если я лежу неподвижно иногда всего нѣсколько часовъ, иногда сутки. Если же я вздумаю встать пока совсѣмъ не прошло, боль сейчасъ же усиливается и тогда приходится мучиться два, три, даже четыре дня. Сегодня ночью было ужасно!.. Теперь гораздо лучше, минутами почти стихаетъ; но если я вздумаю подняться, одѣться и пройтись въ другія комнаты—тогда вернется, и конца не будетъ! Поэтому мнѣ оставалось или совсѣмъ не принять васъ, или принять вотъ такъ... Но, вѣдь, я ждала васъ, Боже мой, какъ ждала!..

Она остановилась и потомъ прибавила:

— Отчего вы не заглянули всѣ эти дни?.. хоть бы отвѣтили на мою записку... вы-то здоровы?

— Я на ногахъ,—сказалъ Аникѣевъ:—даже чувствую особенную потребность двигаться, двигаться потому, что не нахожу себѣ мѣста. Кажется, я никогда не ходилъ столько по улицамъ, сколько хожу это время... Отчего я не заглянулъ, Алина? Да, вѣдь, я тогда выбѣжалъ отъ васъ въ такомъ ужасѣ, какъ послѣ встрѣчи съ привидѣніемъ... Мнѣ страшно было и подумать о томъ, какъ же я вернусь, какъ вынесу новую такую встрѣчу... Потомъ... со мной случилось несчастье... да, несчастье...

Онъ остановился.

— Скажите мнѣ все, не скрывайте отъ меня, ради Бога,—прежнимъ, такъ живо вспомнившимся ему, нѣжнымъ и умоляющимъ голосомъ заговорила Алина.—Ваше несчастье—мое несчастье... Разберемъ же, обсудимъ его вмѣстѣ, какъ тогда... Миша! Только вы такъ далеко... мнѣ трудно громко говорить и я васъ почти не слышу... Гдѣ вы? Пойдите сюда, сядьте вотъ въ это кресло, тогда мы можемъ говорить тихо-тихо, насъ будетъ раздѣлять только занавѣсъ...

Онъ такъ и сдѣлалъ. Кресло было приставлено почти къ самой кровати. Занавѣсъ зашевелилась.

— Гдѣ ваша рука?—сказала Алина.—Дайте мнѣ ее пожать хоть черезъ матерію...

Она собрала, какъ только было можно, тяжелый толстый шелкъ и, почувствовавъ руку Аникѣева, крѣпко сжала его пальцы.

Его бросило въ жаръ отъ этого пожатія. Онъ чувствовалъ Алину рядомъ съ собою, слышалъ ея малѣйшее движеніе, слышалъ ея дыханіе.

— Говори же, говори, что случилось?—страстнымъ шопотомъ спросила она.

Онъ разсказалъ ей о своемъ свиданіи съ Соней, о предложеніи и бѣшенствѣ Лидіи Андреевны, о томъ, какъ она увезла Соню въ Царское, и, наконецъ, о своемъ рѣшеніи похитить дочь.

Алина не прерывала его ни однимъ словомъ. Когда онъ замолчалъ, она сказала:

— Это невозможно, изъ этого ничего не выйдетъ... У тебя силой отберутъ Соню, заставятъ, понимаешь, заставятъ тебя ее отдать... Тебя истерзаютъ!.. И потомъ... подумай же, что будетъ съ бѣдной дѣвочкой, каково ей будетъ вынести все это! Хорошо, что ты мнѣ разсказалъ, для меня все это ужъ не новость, только, конечно, я совсѣмъ не такъ слышала. Объ этомъ говорятъ... Лидія Андреевна дѣйствуетъ энергично, она себѣ нашла очень сильныхъ защитниковъ. Третьяго дня я заѣхала къ Натальѣ Порфирьевнѣ и застала у нея князя Ивана Николаевича... знаешь! При мнѣ говорили... Боже мой, какая это была пытка!.. я должна была выслушивать, что ты какой-то извергъ... и молчать!

— Это Наталья Порфирьевна меня извергомъ объявила?— спросилъ дрогнувшимъ голосомъ Аникѣевъ.

— Нѣтъ, она была довольно сконфужена, даже пробовала что-то возразить; но потомъ, конечно, замолчала, когда князь объявилъ, какія лица тоже заинтересованы судьбою этой «несчастной, покинутой женщины». Вотъ видишь, ничего нельзя! Она ужъ и такъ испортила тебѣ репутацію... Очень можетъ быть, что тебя ждутъ всякія непріятности... сила солому ломитъ.

— Боже мой, да, вѣдь, это съ ума сойти можно!—прошепталъ Аникѣевъ.

— Тебѣ остается одно, одинъ способъ побѣдить Лидію Андреевну, это—послѣдовать ея совѣту, исполнить ея желаніе. Вернись къ ней.

— Этого вотъ и Платонъ Пирожковъ желаетъ!—съ печальной усмѣшкой сказалъ Аникѣевъ.

— Это единственное, что тебѣ могутъ теперь посовѣтовать всѣ твои друзья...

— И ты? и ты?

— А я прежде всѣхъ, потому что больше всѣхъ дорожу твоимъ спокойствіемъ и думаю о твоей репутаціи.

— Хорошо спокойствіе... рядомъ съ нею!

— Скажи лучше, рядомъ съ Соней!.. Вѣдь, отъ тебя самого зависитъ ограничить Лидію Андреевну извѣстными рамками... Тогда, въ Снѣжковѣ, я слишкомъ была молода, она представлялась мнѣ страшной, и я боялась ее за тебя. Теперь же... переѣзжай къ ней, этимъ ты страшно много выиграешь и возьмешь у нея изъ рукъ всѣ козыри. А при первой непріятности, прямо ко мнѣ, и я научу тебя, какъ справляться съ ней, если ты самъ

не умѣешь... Я завтра же кое-кого увижу, все разузнаю, всѣ ея ходы, и сейчасъ же сообщу тебѣ... До тѣхъ поръ, умоляю тебя, не дѣлай ровно ничего, подожди моихъ извѣстій... Обѣщаешь? Дай слово, иначе я не отпущу тебя! Слышишь? Миша! Ты слишкомъ горячъ, слишкомъ возбужденъ, ты не судья въ своемъ дѣлѣ... довѣрься мнѣ... Дай же слово, что подождешь!

— Ну, хорошо, подожду,—растерянно произнесъ онъ, сознавая, что, во всякомъ случаѣ, ему только теперь и остается ждать.

Къ тому же онъ начиналъ забывать и Соню, и Лидію Андреевну, и все на свѣтѣ. Близость Алины опьяняла его.

Онъ сдѣлалъ надъ собой послѣднее усиліе и поднялся съ кресла.

— Однако, я долженъ уходить... Что-жъ ты меня не гонишь?— прошепталъ онъ такъ тихо, что она едва разслышала.

— Зачѣмъ?—сказала она:—мы здѣсь въ безопасности,—иначе я такъ не приняла бы тебя... Никто не посмѣетъ меня безпокоить, пока я не позвоню...

— Такъ же, какъ и въ тотъ разъ?—перебилъ ее Аникѣевъ.

— Этого никогда больше не повторится! Къ тому же онъ уѣхалъ на два дня въ Лугу, опять наслѣдство получаетъ... не большое, послѣ тетки... Да неужели ты думаешь, что онъ хоть-разъ, когда-нибудь, осмѣлился войти въ эту комнату?! Неужели ты думаешь...

Аникѣевъ ничего не думалъ. У него кружилась голова, звенѣло въ ушахъ, и сквозь этотъ звонъ онъ слышалъ:

— Миша, это безуміе какое-то! Ты долженъ простить меня... Ты не можешь такъ мучить и себя, и меня... Ты не смѣешь мнѣ не вѣрить... Пойми же, наконецъ... я шесть лѣтъ ждала тебя, жила этимъ ожиданіемъ... Я берегла себя, я не допустила въ себѣ ни одной мысли, которая была бы для тебя оскорбительна. Жизнь моя, милый мой... я только твоя, всегда была и буду только твоей...

Онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ и отдернулъ занавѣсъ.

Передъ нимъ была Алина, *его* Алина. Она приподняла голову съ подушекъ и трепетно протягивала къ нему свои обнаженныя, милыя руки...

Конецъ первой части.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

У Хрепелевыхъ происходила если и не настоящая драма, то, во всякомъ случаѣ, нѣчто крайне тяжелое и непріятное, нарушившее мирное и безукоризненное теченіе дѣлъ этого богатаго дома, всегда пользовавшагося въ свѣтѣ самой лучшей репутаціей.

Князь Валентинъ Илларіоновичъ,—по внѣшности и манерамъ всесовершеннѣйшая, хоть и противуестественная смѣсь англійскаго лорда и утонченнаго парижскаго «вивера»,—чувствовалъ себя совсѣмъ скверно, такъ скверно, какъ, можетъ быть, никогда еще въ жизни. Если-бы онъ былъ англійскимъ лордомъ, онъ, вѣроятно, принялъ бы какое-нибудъ рѣшеніе, конечно, самое эксцентричное, исполнилъ бы его безъ всякихъ колебаній, а затѣмъ сохранилъ бы полную джентельменскую невозмутимость. Если-бы онъ былъ «жизнерадостнымъ» свѣтскимъ парижаниномъ,—онъ сразу бы сообразилъ, что никакая непріятность, никакой семейный скандалъ не стоютъ быстро-бѣгущаго дня, полнаго всякими житейскими удовольствіями, а потому завилъ бы свое горе веревочкой и продолжалъ бы вкушать отъ всѣхъ плодовъ земныхъ.

Но внѣшность, манеры и даже привычки—сами собой. Внутри же себя «dans les fins fonds de son individualité»,—какъ онъ о себѣ выражался, князь былъ русскимъ богатымъ бариномъ, избалованнымъ неизмѣнными удачами. Онъ смотрѣлъ на эти удачи, какъ на нѣчто должное, принадлежавшее ему по неотъемлемому праву.

Поэтому неслыханный «скандалъ» съ Ninette на вечерѣ у Натальи Порфирьевны, отказъ графа Ильинскаго и затѣмъ побѣгъ дочери изъ дому—привели его въ состояніе полной умственной и душевной разслабленности. Все это было ни съ чѣмъ несообразно, никакимъ образомъ, а ужъ тѣмъ болѣе съ нимъ не могло случиться, и вотъ случилось, сразу, одно за другимъ, въ нѣсколько дней.

Князь ничего не понималъ. Онъ не могъ сообразить, что̀ же ему теперь дѣлать, что̀ дѣлаютъ другіе въ подобныхъ обстоятельствахъ. Безпомощность его увеличивалась съ каждымъ днемъ, съ каждымъ часомъ.

Князь стоялъ у камина въ своемъ кабинетѣ и, съ хронометромъ въ рукѣ, провѣрялъ каминные часы, что̀ дѣлалъ неизмѣнно каждое утро въ одно и то же время. Онъ питалъ страсть къ часамъ и имѣлъ у себя очень интересную ихъ коллекцію.

Взглянувъ на князя, въ первую минуту никакъ нельзя было подумать, что это человѣкъ, надъ которымъ стряслась большая бѣда. Его высокая, сухощавая и мускулистая фигура держалась прямо, будто затянутая въ корсетъ.

Его пятидесятилѣтнее лицо, съ острыми чертами и нѣсколько выдвинутой впередъ нижней челюстью, украшалось тщательно расчесанными, зачесанными и приглаженными волосами. Такая прическа почти совсѣмъ скрывала лысину, а слишкомъ черный цвѣтъ волосъ легко могъ быть произведеніемъ какого-нибудь красящаго вещества. Великолѣпныя «англійскія» бакенбарды были такъ же черны и такъ-же носили на себѣ слѣды опытной руки сихъ дѣлъ мастера.

Щеки отличались свѣжестью, крѣпкій подбородокъ былъ тщательно выбритъ, каріе глаза, не утратившіе еще блеска, имѣли обычное пріятное и ласковое выраженіе.

Утренній англійскій костюмъ сидѣлъ на князѣ превосходно и весьма шелъ къ нему.

Князь проснулся, какъ и всегда, съ первымъ ударомъ девяти, облился холодной водой, полчаса дѣлалъ гимнастику и упражненія съ тяжелыми гирями. Потомъ онъ съѣлъ, у себя въ спальнѣ, кусокъ кроваваго ростбифа, выпилъ стаканъ портеру и занялся туалетомъ. Ровно въ половинѣ одиннадцатаго вышелъ онъ въ кабинетъ и началъ провѣрку часовъ.

До сихъ поръ все шло по давно ужъ заведенному порядку. Послѣ провѣрки часовъ надо было подойти къ столу, пробѣжать полученныя письма, а затѣмъ сѣсть въ качалку, закурить сигару и, наскоро проглядѣвъ русскую газету, приняться за «Times» и «Figaro». Князь подошелъ къ столу, прочелъ три-четыре неинтересныхъ полученныхъ письма, но въ качалку не сѣлъ, сигары не закурилъ, газетъ не тронулъ.

Онъ большими шагами своихъ длинныхъ ногъ измѣрялъ кабинетъ во всѣхъ направленіяхъ.

Ему пришло въ голову, что сегодня «засѣданіе». Онъ ужъ пропустилъ одно и непремѣнно слѣдовало бы поѣхать. Но онъ чувствовалъ себя не въ силахъ встрѣтиться съ людьми, которые хоть и не будутъ, разумѣется, ничего спрашивать, но непре-

мѣнно будутъ глядѣть на него съ тайнымъ злорадствомъ. Вѣдь, люди,—думалъ онъ не безъ нѣкотораго основанія,—какія бы хорошія и высокія слова ни говорили, всегда какъ-то невольно рады несчастію, бѣдѣ ближняго...

Его же бѣда особенно ужасна тѣмъ, что надъ ней позволительно посмѣяться. Его дочь не умерла, она жива, она только напилась публично пьяной, безчинствовала, а потомъ убѣжала... убѣжала ночью къ любовнику!.. Его дочь!!

Онъ поблѣднѣлъ, и глаза его потеряли свое пріятное выраженіе, расширились, показали бѣлокъ, испещренный тонкими, яркими жилками. Онъ сжалъ большіе, сильные кулаки и, кажется, появись передъ нимъ Ninette, онъ бы уложилъ ее на мѣстѣ. Но Ninette не было, и онъ, себя не помня, хватилъ кулакомъ по массивному столу съ мраморной верхней доскою.

Боль заставила его очнуться. Онъ растеръ руку и сразу почти успокоился, однако, все же продолжая нервно шагать по комнатѣ.

Онъ опять задавалъ себѣ остающійся безъ отвѣта вопросъ: какимъ это образомъ могла съ нимъ случиться подобная гадость? Все шло такъ хорошо, каждый годъ приносилъ что-нибудь пріятное, такъ или иначе подвигалъ впередъ, вверхъ. Отъ него не требовалось никогда никакихъ заботъ, хлопотъ, напряженія. Все дѣлалось само собою, мягко, незамѣтно, вытекало одно изъ другого.

Такъ было съ самаго дѣтства, проведеннаго въ обширномъ родительскомъ домѣ среди родныхъ, сверстниковъ и сверстницъ, среди неутомительныхъ занятій языками и различныхъ дѣтскихъ увеселеній.

Потомъ наступили школьные годы. Сразу переходъ былъ чувствителенъ; но это скоро обошлось. Въ заведеніи было очень недурно, уроками не утомляли, экзамены не представляли особенной трудности, такъ какъ и начальство, и наставники помогали всѣми мѣрами. А на старшемъ курсѣ ученіе отошло совсѣмъ на задній планъ. Блестящая молодежь пробилась на волю и жадно вкушала отъ всякихъ запретныхъ плодовъ.

Правда, нѣсколько товарищей работали усидчиво; но это были юноши, уже сознавшіе, что имъ придется своею головой прокладывать себѣ дорогу, или честолюбцы.

Князь не чувствовалъ въ себѣ «такого» честолюбія и очень хорошо зналъ, что папа, мама, дяденьки, тетеньки и ихъ друзья, и безъ всякихъ съ его стороны усидчивыхъ занятій, доставятъ ему въ свое время все, что надо для безпечальнаго, почетнаго существованія.

Такъ оно, конечно, и случилось. Князь, по своему рожденію,

родству и связямъ, принадлежалъ къ тѣмъ людямъ, блестящую карьеру которыхъ легко и подробно можно начертать въ минуту ихъ рожденія, не прибѣгая къ гороскопу. Едва сойдя со школьной скамьи, онъ получилъ уже все, чего одни добиваются десять-двѣнадцать лѣтъ и чего другіе никогда не могутъ добиться. Все это давалось не ему, а его отцу, дядямъ, теткамъ, которыхъ нельзя было обидѣть.

Въ тридцать лѣтъ, занимая очень видное и притомъ ничуть не отвѣтственное, не требующее никакихъ знаній, даже никакихъ занятій служебное положеніе и получивъ послѣ отца отличное состояніе, князь женился на красивой дѣвушкѣ изъ своего круга.

Это было счастливое супружество. Княгиня Катерина Петровна оказалась именно такой женой, о какой онъ только и могъ мечтать.

Въ первые годы они испытывали другъ къ другу значительное влеченіе, потомъ незамѣтно, мало-по-малу, охладѣли и остались навсегда друзьями. Княгиня требовала отъ мужа только того, чего онъ не могъ не дать и безъ всякихъ требованій. Ninette сказала Аникѣеву истинную правду—ея мать любила въ жизни, охладѣвъ къ мужу, только одно: приличія.

Князь былъ тоже воплощеніемъ приличнаго свѣтскаго человѣка. Съ женой онъ былъ всегда безупреченъ, предупредителенъ и вѣжливъ до послѣдней степени. Онъ сгорѣлъ бы со стыда, если-бъ она увидѣла его неодѣтымъ и непричесаннымъ. Когда они выѣзжали вмѣстѣ или принимали у себя—на нихъ пріятно было смотрѣть.

Въ свободные часы князь посѣщалъ хорошенькую и скромную молодую особу, живущую въ отдѣланной имъ премиленькой квартирѣ. Эта особа, обыкновенно, года черезъ два-три, замѣнялась новою въ томъ же родѣ и вкусѣ, и тогда князю приходилось отдѣлывать новую квартиру. Кромѣ того онъ каждый годъ уѣзжалъ на три мѣсяца заграницу «на родину»—какъ говорилъ онъ, подразумѣвая Парижъ и Лондонъ. Тамъ онъ велъ жизнь очень-очень веселую, настолько веселую, что возвращался каждый разъ сильно осунувшимся и какъ-то полинявшимъ.

Даже хорошенькая и скромная молодая особа смущалась такой перемѣной. Но князь увѣрялъ всѣхъ, что это дѣйствіе минеральныхъ водъ, отъ которыхъ человѣкъ въ первое время всегда худѣетъ и кажется утомленнымъ.

Онъ началъ вести строго регулярную жизнь, обливался холодной водою, занимался гимнастикой и всякими физическими упражненіями, ѣлъ на тощакъ почти сырой ростбифъ и пилъ портеръ. Мѣсяца черезъ три онъ принималъ свой обычный, достаточно цвѣтущій видъ и объяснялъ:

— Вотъ видите... c'est chaque fois la même chose: въ первое время я отъ нихъ чувствую утомленіе и худѣю, а потомъ—приливъ силъ, здоровья, свѣжести! О, безъ моихъ минеральныхъ водъ я бы пропалъ... я живу ими!..

Не было никакого основанія не вѣрить словамъ его. Не вѣрила имъ только княгиня. Она знала очень многое, но относилась къ тому, что знала—снисходительно. Князь былъ остороженъ, скроменъ, не нарушалъ приличій. Преслѣдовать же его упреками, поднимать цѣлыя исторіи—она считала не только безполезнымъ и глупымъ, но прежде всего неприличнымъ.

За такіе взгляды мужъ признавалъ ее умнѣйшей женщиной, искренно уважалъ ее и, въ свою очередь, никогда не позволялъ себѣ вмѣшиваться въ ея дѣла.

Словомъ, это было самое примѣрное, счастливое супружество. Такимъ оно и считалось въ петербургскомъ «свѣтѣ».

Подросла Ninette, ей представилась приличная партія. Князь разсчитывалъ, справивъ свадьбу, ѣхать въ свой обычный отпускъ на «родину». Все шло какъ по маслу, — и вдругъ такая бѣда! Ninette, эта милая синеглазая дѣвочка, чуть не вчера еще игравшая въ куклы, всегда такая скромная, почти ребенокъ, оказалась испорченной, безсовѣстной, развратной дѣвченкой и опозорила его передъ цѣлымъ свѣтомъ!

Да когда-жъ она поспѣла такъ испортиться и развратиться? откуда это взялось? при такомъ надзорѣ, при такой умной матери, только и думающей о приличіяхъ!

Этого понять было нельзя... это былъ какой-то бредъ...

Бѣшенство опять подступило къ сердцу князя.

«Фу! даже въ голову кровь кидается... такъ и стучитъ!»— подумалъ онъ, и сдѣлалъ нѣсколько гимнастическихъ движеній для отвлеченія крови отъ головы.

II.

— Ты здѣсь, мой другъ? — послышался у двери печальный голосъ.

Князь поспѣшилъ отпахнуть портьеру и съ привычной почтительностью пропустилъ жену въ кабинетъ.

Она никогда не входила сюда въ это время, и вообще они обыкновенно не встрѣчались до завтрака, то есть до двухъ часовъ. Но за эти ужасные дни всѣ ихъ привычки были нарушены, они то и дѣло искали другъ друга, чтобы въ сотый разъ повторять однѣ и тѣ же фразы, восклицанія, а то и просто, чтобы только почувствовать себя вмѣстѣ. Они тщетно искали одинъ

въ другомъ поддержки, какой-нибудь новой мысли, откровенія.

Давно уже разъединенные, они снова теперь тѣсно сошлись, благодаря общей бѣдѣ, на нихъ обрушившейся...

Войдя въ кабинетъ мужа, княгиня медленно прошла къ дивану, присѣла на край его и опустила голову съ видомъ глубокой безнадежности.

При вечернемъ освѣщеніи она была очень красива и казалась моложавой. Но днемъ, особенно на этомъ уже яркомъ весеннемъ солнцѣ; прямо ударявшемъ въ высокія окна кабинета, отъ кажущейся моложавости не оставалось и слѣда. Это была почти совсѣмъ увядшая блондинка съ желтоватымъ цвѣтомъ лица и блѣдными губами. Вокругъ ея все еще прекрасныхъ синихъ глазъ собрались мелкія морщинки. Такія же морщины образовывались на лбу и возлѣ угловъ рта.

Къ тому же за эти дни княгиня сразу постарѣла и осунулась, какъ послѣ долгой, жестокой болѣзни. Если ея мужъ былъ пораженъ и доходилъ то до бѣшенства, то до отчаянья, — она была, дѣйствительно, уничтожена, убита.

Онъ все же могъ отвлекаться отъ своей бѣды, забывать ее на нѣсколько минутъ, могъ то и дѣло возвращаться къ своимъ обычнымъ мыслямъ, чувствамъ, привычкамъ, заниматься своимъ туалетомъ, гимнастикой, ѣсть, пить и спать.

Княгиня почти не спала, не пила и не ѣла. Она не знала, умыта ли она, одѣта, причесана. Она не понимала, что́ такое ей говорятъ, не отвѣчала на обращаемые къ ней вопросы.

Можетъ быть, она, по временамъ, и испытывала къ своей хорошенькой дочери что-нибудь подобное материнскому чувству; но, во всякомъ случаѣ, теперь это чувство замѣнилось жестокой злобой, почти ненавистью.

— У меня нѣтъ больше дочери!—говорила она мужу и навѣщавшимъ ее близкимъ роднымъ, и въ ея устахъ это была не фраза.

Дочь безсовѣстно и безжалостно разбила все, что́ она признавала единственнымъ богатствомъ какъ своего, такъ и всякаго существованія, насмѣялась надъ ея святыней, уничтожила все зданіе, созданное ею трудами цѣлой жизни.

Теперь она посрамлена, уничтожена, обезчещена на вѣкъ, она — непрощавшая другимъ ни малѣйшаго отклоненія отъ кодекса свѣтскихъ приличій, неумолимо строгая ко всѣмъ безъ исключенія. Съ нею случился такой позоръ, какого никогда не могло случиться ни съ кѣмъ изъ осуждаемыхъ и презираемыхъ ею. Да, она убита, она чувствуетъ, что убита совсѣмъ, навсегда, и ее убила дочь! Какая же это дочь?! Это смертельный ея врагъ, преступница, матереубійца... У нея нѣтъ дочери!

Если-бы можно было, она собственноручно подписала бы ея приговоръ, засадила бы ее на вѣкъ въ монастырь, въ тюрьму, куда угодно, чтобы только о ней больше не было и помина.

А между тѣмъ необходимо думать о ней постоянно, только о ней и думать, необходимо найти ее, вернуть...

Что же будетъ потомъ? Княгиня не знала этого, да и не задавала себѣ такого вопроса.

— У тебя что-нибудь новое? — мрачно спросилъ князь, наклоняясь и цѣлуя блѣдную, холодную руку жены.

— Ахъ, къ несчастію, ничего новаго, ничего хорошаго!— съ глубокимъ вздохомъ отвѣтила она: — вотъ, слушай... сейчасъ принесли... это письмо отъ брата Николая Петровича.

Она развернула листокъ почтовой бумаги и читала:

«Самые тщательные розыски, порученные надежному, лучшему въ Петербургѣ сыщику не привели ни къ чему. Тогда, передъ вечеромъ, N., дѣйствительно, была въ квартирѣ А. По крайней мѣрѣ, описаніе ея примѣтъ, сдѣланное дворникомъ, впустившимъ ее за отсутствіемъ швейцара, вполнѣ подходитъ. Она провела въ квартирѣ А. около часу, затѣмъ вышла одна, и дворникъ видѣлъ, какъ она почти бѣжала по улицѣ. Послѣ того она въ квартиру А. не возвращалась. Самъ же онъ здѣсь, уходитъ и приходитъ, ночуетъ дома. По всѣмъ участкамъ дано знать; но до сихъ поръ ее нигдѣ не нашли. Я начинаю сильно склоняться къ тому мнѣнію, что ея совсѣмъ нѣтъ въ Петербургѣ, что она куда-нибудь уѣхала...»

— Вотъ! — настоящимъ трагическимъ тономъ воскликнула княгиня, складывая письмо.

Князь густо покраснѣлъ, схватился за голову и тотчасъ же сдѣлалъ нѣсколько отвлекающихъ кровь гимнастическихъ движеній.

— Къ чему жъ эти распоряженія по участкамъ, эти сыщики, если до сихъ поръ могли узнать только то, что намъ и безъ нихъ извѣстно!—воскликнулъ онъ.—Да въ Лондонѣ или въ Парижѣ ее давно бы къ намъ привели, а этого... негодяя арестовали!

— Я думаю его можно арестовать и здѣсь, тебѣ стоитъ только заѣхать къ кому слѣдуетъ,—сказала княгиня.—Конечно, онъ одинъ только и знаетъ, гдѣ она теперь. Но, вѣдь, мы и такъ опозорены на весь свѣтъ. И такъ весь городъ говоритъ о насъ, смѣется надъ нами...

Князь отвѣтилъ только новыми гимнастическими движеніями; онъ вертѣлъ руками во всѣ стороны, изгибая спину, и, наконецъ, сталъ крутить головою.

Княгиня не обращала на все это никакого вниманія и продолжала:

— Это ужасно, что ты проговорился брату, что ты все разсказалъ ему... Какъ будто ты его не знаешь! Онъ добрый человѣкъ, но, вѣдь, совсѣмъ не умѣетъ держать языкъ за зубами... Я увѣрена, что онъ ѣздитъ по всему городу и всѣмъ разсказываетъ о тайныхъ дѣйствіяхъ сыщиковъ... Боже мой! Боже мой! И вотъ, несмотря на весь этотъ срамъ,—никакихъ извѣстій!

— Послушай, Катринъ,— вдругъ перебилъ ее князь:—а, что если этотъ... музыкантъ тамъ, что-ли... тутъ не причемъ?

Она съ изумленіемъ подняла глаза и посмотрѣла на мужа.

— Не причемъ, когда она посылала Машу въ адресный столъ за его адресомъ и когда справка адреснаго стола у меня? Не причемъ, когда изъ письма брата видно, что она была у него, какъ мы и предполагали?..

— У меня просто мысли путаются... я самъ не знаю, что думаю и что говорю,—такъ кровь приливаетъ въ голову! Того и гляди еще—ударъ!

Онъ не только завертѣлъ руками, но сталъ даже присѣдать, держась на носкахъ и стараясь не потерять равновѣсія.

Княгиня отвернулась. Она только теперь обратила вниманіе на его упражненія и нашла ихъ не только неумѣстными, но и крайне неприличными. Ну, что, если-бы кто-нибудь, хотя бы лакей, увидѣлъ его за такимъ шутовскимъ занятіемъ, въ такихъ позахъ, да вдобавокъ еще въ подобные дни и минуты!..

— Однако, надо же какъ-нибудь дѣйствовать!—проговорила она.—Вѣдь, мы въ безысходномъ положеніи!

— Я тоже думаю, что въ безысходномъ, — отвѣтилъ князь, переставая присѣдать.

Кровь у него отлила отъ головы, мысли прояснились, и онъ значительно успокоился.

— Такъ какъ положеніе наше безысходно, — продолжалъ онъ:—значитъ, изъ него нельзя искать исхода, котораго нѣтъ. Я согласенъ съ тобою, мой другъ, что братъ Николай Петровичъ напрасно все это поднялъ, всѣ эти розыски... Для насъ одно спасеніе, время. Единственное, что я могъ придумать... вотъ сейчасъ это пришло въ голову... мы должны не медля собраться и уѣхать съ Кэтъ изъ Петербурга... въ деревню, заграницу, все равно, куда хочешь...

— А что-жъ ее... такъ и оставить на свободѣ... чтобъ она по городу разъѣзжала... съ этимъ... чтобъ на нее всѣ пальцами показывали и ежеминутно топтали въ грязь наше имя?..

— Оно и такъ въ грязи... больше загрязнить нельзя,—глухимъ голосомъ и сдвигая брови прошепталъ князь. — Подумай сама... ну, хорошо, отыщутъ ее, привезутъ къ намъ... что-жъ мы будемъ съ нею дѣлать?! Убить ее, что ли, держать въ запертой

комнатѣ, везти ее? Куда? Водить ее за собою на привязи, глядѣть на нее?! Я не могу себѣ представить, что-жъ это такое будетъ!

— И я тоже не могу себѣ представить!—начиная дрожать и совсѣмъ зеленѣя, воскликнула княгиня.—Главное же... вѣдь, у насъ Кэтъ... Вѣдь, я не могу допустить, чтобъ онѣ хоть минуту были вмѣстѣ, подъ однимъ кровомъ...

— Вотъ видишь! Значитъ, я правъ, значитъ, остается только одно, и пусть она пропадаетъ...

— Однако...

Княгиня не договорила. Портьера зашевелилась, и въ кабинетъ вошла пожилая дама, въ шляпкѣ, съ румянымъ круглымъ лицомъ и съ довольно рѣшительнымъ видомъ. На дамѣ было надѣто скромное черное платье, вовсе не моднаго фасона, а излишнія округлости ея маленькой, почти шарообразной фигуры скрывались подъ черной шалью, заколотой у краснаго двойного подбородка старинной мозаиковой брошкой.

Несмотря, однако, на этотъ незатѣйливый, старомодный костюмъ, на маленькую и круглую свою фигуру, на красное лицо, заплывшіе глаза и короткій носъ, вошедшая дама чѣмъ-то неуловимымъ производила впечатлѣніе именно настоящей дамы, барыни, привыкшей внушать къ себѣ почтеніе и даже его заслуживающей.

— Марья Эрастовна!—изумленно произнесъ князь.

— Chère cousine!—еще болѣе изумленно и не совсѣмъ одобрительно сказала княгиня.

— А ужъ извините!—здороваясь, то-есть обнимая кузину и протягивая руку князю, начала Марья Эрастовна.—Безъ докладу, такъ прямо, съ нарушеніемъ всѣхъ приличій и обычаевъ этого дома... Да видите ли, тамъ по всѣмъ комнатамъ люди, а Кэтъ говоритъ: папа и мама въ кабинетѣ... Я сюда... Не до церемоній!.. Была у меня только-что Ниночка.

Хрепелевы не вѣрили ушамъ своимъ.

— Какъ была? Гдѣ-жъ она?

— Ты привезла ее съ собою?

— Я и предложила ей ѣхать, только она не хочетъ. Не силой же было, съ помощью лакеевъ, везти ее...

— Гдѣ-жъ она пропадаетъ?

— Не знаю, ни за что не сказала... Дайте сѣсть... разскажу все. Надо только запастись хладнокровіемъ и благоразуміемъ...

Княгиня будто окаменѣла. Князь шагалъ по кабинету, боясь пуще всего, чтобы кровь опять не прилила въ голову.

— Вѣдь, я ничего не знала. Вдругъ сегодня, я еще въ кровати была, влетаетъ Ниночка,—говорила между тѣмъ Марья

Эрастовна, усаживаясь въ креслѣ:—все она мнѣ и разсказала... какъ это съ ней на вечерѣ у Талубьевой скандалъ случился и какъ она погибла для свѣта, какъ отъ нея отказался благородный женихъ, какъ вы ее почти проклинали, какъ она ѣздила къ одному хорошему человѣку за совѣтомъ; но онъ ей никакого совѣта не могъ подать... Какъ она вернулась домой, а ты, Катринъ... ее позорила и какъ она послѣ этого, когда всѣ улеглись спать, совсѣмъ убѣжала изъ дому, чтобъ никогда больше не возвращаться...

— Куда она сбѣжала? Гдѣ она? — задыхаясь спрашивала княгиня.

— Говорю, не знаю гдѣ, не сказала. Просить ее не разыскивать, потому, что все равно не станетъ жить съ вами... бѣгать будетъ... не на цѣпь же вы ее, въ самомъ дѣлѣ, посадите!

Князь остановился передъ Марьей Эрастовной и дѣлалъ всѣ усилія, чтобы говорить спокойно.

— Однако, позвольте... вѣдь, это невозможно... вѣдь, это Богъ знаетъ, что такое...

— Конечно, это Богъ знаетъ, что такое; но что же тутъ дѣлать?! — хмурясь перебила его Марья Эрастовна. — Позвольте мнѣ сказать все, что я думаю. Я женщина не свѣтская и буду разсуждать по своему. За припадокъ я Нину не виню, это со всякимъ можетъ случиться... Постой, Катринъ, не перебивай, пожалуйста... Что Ильинскій вашъ, послѣдній негодяй, съ этимъ, я такъ полагаю, и вы согласны. Пилили вы и раздражали дѣвочку совсѣмъ напрасно. Ея визита къ «хорошему человѣку», котораго она, однако, видѣла всего разъ въ жизни, никакъ не могу одобрить; вижу въ этомъ своеволіе и ребячество, только не безнравственность. Не одобряю также ея ночного побѣга и, разбранила ее за него, какъ слѣдуетъ... но нахожу, что теперь ей вернуться домой и жить съ вами невозможно. Я ея не знала, считала малымъ и милымъ ребенкомъ. А она ухъ какая! съ душкомъ, съ характерцемъ! Ее въ бараній рогъ согнуть нельзя, кусаться станетъ...

— Господи! что за мука!—простонала княгиня и горько заплакала.

— Конечно, мука! Ну, что-жъ тутъ дѣлать? Большая бѣда, особенно для васъ, въ вашемъ-то положеніи... что и говорить!

— Надо, необходимо надо намъ уѣхать!—воскликнулъ князь, поднялъ было руки для гимнастическаго движенія, но остановился, косясь на Марью Эрастовну.

Та продолжала:

И уѣзжайте съ Богомъ, лучшаго никто не придумаетъ... время все сгладитъ... Знайте одно, этотъ Ниночкинъ хорошій

человѣкъ, не знаю кто онъ, къ дѣлу не причастенъ. Отвѣчаю вамъ головою... она какъ была чистымъ ребенкомъ, такъ и осталась, такъ и останется. Она полоумная... но ничего такого, Боже упаси... Чиста какъ слеза! Вы уѣзжайте, а ее мнѣ поручите; пусть, пока что, живетъ со мною... Она придетъ ко мнѣ не то сегодня, не то завтра, я и устрою... Согласны?

Хрепелевы долго молчали... Наконецъ, княгиня встала, подошла къ кузинѣ, обняла ее и смочила ей лицо слезами. Князь тоже подошелъ и съ чувствомъ поцѣловалъ маленькую, круглую ручку Марьи Эрастовны.

А она говорила:

— Я ее сохраню и понемногу образумлю. Счастье еще, что она пришла ко мнѣ, догадалась... Нѣтъ, она хоть и съ гвоздемъ у васъ, а все же умная и добрая дѣвочка... Вы передъ нею тоже неправы... Эти теперешніе ребятишки, Богъ ихъ знаетъ... съ ними надо осторожно, съ обходцемъ... А вы смиритесь... что ужъ тутъ!.. Безъ испытанія не проживешь на свѣтѣ!..

III.

Все это случилось, какъ уже рѣшила сама Ninette, очень просто. Отправляясь къ Аникѣеву, она второпяхъ и въ волненіи забыла у себя на столѣ адресную справку. Когда княгиня узнала, что дочь въ неурочное время и, главное, одна, безъ англичанки, вышла изъ дома, поднялось, естественно, большое волненіе. Первымъ дѣломъ княгиня отправилась въ комнату дочери, и тамъ сразу ей въ глаза бросилась справка, лежавшая на столѣ.

Откуда она могла взяться? кто доставилъ? Княгиня позвала горничную, та смутилась и, въ концѣ концовъ, должна была сознаться, что, по просьбѣ барышни, ѣздила утромъ за справкой, не подозрѣвая въ этомъ ничего дурного.

Княгиня, ожидая возвращенія «этого чудовища, этой ужасной погибшей дѣвченки», дошла до припадка настоящаго бѣшенства, до истерическихъ слезъ, хохота и судорогъ. Еще въ юности княгиня страдала истеріей. Своевременное лѣченье, уходъ и спокойная, безъ всякихъ нервныхъ раздраженій, жизнь остановила развитіе болѣзни, зачатки которой оказались, однако, въ организмѣ дочери.

Когда Ninette вернулась домой, мать встрѣтила ее такой сценой, такими упреками, проклятіями и словами, какихъ бѣдная дѣвочка не только никогда не слыхала, но даже почти не понимала.

Внѣ себя и ничего не сознавая, кромѣ все расзроставшейся

мысли о томъ, что преступная дочь опозорила всѣхъ ихъ на вѣки, княгиня рвала на себѣ волосы, падала на полъ, билась головой о коверъ.

Ninette изо всѣхъ силъ сдерживала въ себѣ желаніе, потребность тоже упасть на полъ, кричать и биться головою. Истерическій «клубокъ» ужъ поднимался къ горлу, ужъ начиналъ душить. Она вся дрожала.

Было въ ней, однако, одно чувство, помогшее ей удержаться во-время, побѣдить и ослабить нервное напряженіе: зрѣлище припадка матери возбуждала въ ней отвращеніе. Въ этихъ крикахъ, безумныхъ движеніяхъ, въ искаженномъ лицѣ княгини заключалось столько ужаснаго, противнаго, унизительнаго и животнаго, что Ninette запретила себѣ, поклялась никогда не быть такою.

При первой возможности она выбѣжала отъ матери, заперлась у себя и рѣшила, что теперь ужъ все кончено, нельзя терять ни одного дня, нельзя больше оставаться дома.

Это рѣшеніе, смѣлое и безповоротное, оказалось въ ея душевномъ мірѣ такимъ громаднымъ событіемъ, что заслонило собою все. Ninette внезапно успокоилась, достала свой хорошенькій ручной чемоданчикъ, купленный ею прошлой весной въ Парижѣ, и уложила въ него все, что, по ея соображеніямъ, было ей необходимо на первое время. При этомъ она выказала необыкновенное искусство, такъ какъ уложила въ чемоданчикъ столько вещей, сколько въ него, казалось, никакъ не можетъ помѣститься.

Выйдя къ чаю, маленькая княжна узнала, что ея мать лежитъ у себя въ спальнѣ, а отца нѣтъ дома.

Князь вернулся около двѣнадцати отъ «своей скромной молодой особы», нѣсколько развлекшей его послѣ всѣхъ этихъ непріятностей, и прошелъ прямо къ себѣ. Скоро всѣ огни въ домѣ погасли.

Ninette спокойно одѣлась, взяла чемоданчикъ и неслышно прошла по всѣмъ комнатамъ. Она благополучно, только едва не падая подъ непосильной для ея хрупкихъ ручекъ тяжестью битковъ набитаго чемоданчика, добралась до парадной двери. Швейцаръ не подавалъ никакихъ признаковъ жизни въ своей комнаткѣ, ключъ отъ двери оказался тутъ же, на столѣ. Княжна знала, что это не случайность, что швейцаръ всегда кладетъ ключъ на столъ.

Дверь отперта. Теперь все дѣло въ дворникѣ. Сидитъ онъ на крыльцѣ или нѣтъ?

Дворникъ сидѣлъ; но не на крыльцѣ, а подъ воротами и, закутавшись въ свой тулупъ съ головою, какъ и всѣ безъ исключенія дворники, спалъ непробудно.

Княжна, выйдя на улицу, оглядѣлась. Вотъ бѣда—нигдѣ не видно извозчика. Ей было очень страшно. Къ тому же, какъ она дотащитъ чемоданчикъ? Такъ стало тяжело, такъ разломило руки, что бѣдная Ninette даже заплакала тихонько, сама не замѣчая своихъ слезъ. Но вотъ издали, по застывшей отъ ночного морозца улицѣ, донесся стукъ колесъ.

О, если-бъ это былъ извозчикъ! Ближе, ближе,—извозчикъ и есть! Онъ спросилъ полтора рубля, чтобы свезти ее на Васильевскій островъ. Онъ могъ бы спросить и десять,—съ ней были всѣ ея капиталы, заключавшіеся въ двухстахъ рубляхъ и двухъ билетахъ внутренняго займа, на которые она могла выиграть, и даже не одинъ разъ, двѣсти тысячъ.

Она ѣхала къ Ольгѣ Травниковой.

Кто же такое была эта особа?

Въ домѣ Хрепелевыхъ, ужъ съ давнихъ поръ, такъ-сказать по наслѣдству отъ ихъ родителей, проживала бѣдная дворянка Ольга Ивановна. Дочь этой Ольги Ивановны, Лидія, воспитывалась въ Николаевскомъ Сиротскомъ Институтѣ. Потомъ она вышла замужъ за маленькаго чиновника Травникова, прожила съ нимъ нѣсколько лѣтъ, овдовѣла и, наконецъ, сама умерла, оставивъ послѣ себя восьмилѣтнюю дочь Олю.

Когда княжна Нина настолько подросла, что стала сознавать окружающее,—Ольга Ивановна была ужъ дряхлой старушкой, а внучка ея ходила въ гимназію и жила вмѣстѣ съ бабушкой, въ ея комнатѣ, куда имъ обыкновенно носили съ княжескаго стола остатки завтрака и обѣда.

Оли,—ей шелъ тринадцатый годъ, когда маленькой княжнѣ исполнилось десять,—въ домѣ не было ни видно, ни слышно. Она только иной разъ скользила, какъ робкая тѣнь, въ большомъ корридорѣ и при малѣйшемъ шорохѣ скрывалась за дверью комнаты Ольги Ивановны. Старая бабушка совсѣмъ истомила ее вѣчными наставленіями не надоѣдать благодѣтелямъ.

Впрочемъ по праздникамъ, когда не было званыхъ гостей, Олю призывали въ княжескія комнаты и позволяли Нинѣ, конечно, подъ присмотромъ англичанки, играть и разговаривать съ нею.

Прежде чѣмъ разрѣшить это, княгиня долго присматривалась къ Олѣ и, въ концѣ-концовъ, нашла ее достаточно приличной, съ робкими, почтительными и пріятными манерами, а главное, знающей свое мѣсто. Къ тому же тутъ вдругъ пошла въ «обществѣ» мода на русскій языкъ. Княжна въ то время говорила по-русски нѣсколько странно, и Олю звали къ ней, главнымъ образомъ, для «практики».

Дѣвочки, представительницы двухъ различныхъ міровъ, скоро сошлись. Ninette любила появленія своей скромной подруги, лю-

била ея худенькую фигурку въ коричневомъ платьицѣ, ея круглое, нѣсколько блѣдное личико, толстую, темную косу, вѣчно чѣмъ-то изумленные каріе глазки, вздернутый носикъ и пухлыя губки.

Оля сначала дичилась маленькой княжны и какъ будто даже что-то противъ нея имѣла. Но это быстро измѣнилось. Ninette была такъ мила, такая хорошенькая, бѣленькая,—такой ласковый, веселый котенокъ.

Прошло время. Ольга кончила гимназію, слушала педагогическіе курсы. Потомъ, около года тому назадъ, ея бабушка умерла, и она выѣхала изъ дома Хрепелевыхъ. Ninette уговаривала отца и мать оставить Ольгу, и они противъ этого ничего не имѣли; но сама молодая дѣвушка ни за что не хотѣла остаться. Она была недовольна своимъ положеніемъ въ домѣ, «возмущалась» многими взглядами княгини, не хотѣла «даромъ ѣсть чужой хлѣбъ», толковала о самостоятельности.

Бабушка передала ей передъ смертью маленькій капиталъ, приносившій въ годъ четыресто рублей, и эти деньги казались ей достаточными на первое время. Она будетъ давать уроки, будетъ «переводить въ журналахъ». Чего же больше!

— Гдѣ же вы будете жить, Ольга?—спросила княгиня.

— Какъ гдѣ? Мало ли домовъ въ Петербургѣ,—очень спокойно и просто отвѣтила Ольга, устремивъ на княгиню свои попрежнему вѣчно изумленные каріе глаза.

— Я васъ спрашиваю: съ кѣмъ вы будете жить?

— Какъ съ кѣмъ? Одна, а вѣрнѣе всего, съ подругой.

Княгиня разсердилась.

— Я вовсе не шучу, моя милая, а спрашиваю васъ серьезно.

— Боже мой, княгиня, я серьезно и отвѣчаю. Какъ же мнѣ иначе жить, вѣдь, родныхъ у меня, вы сами знаете, нѣтъ. Такъ живутъ многія изъ моихъ подругъ, и, увѣряю васъ, тутъ нѣтъ ничего дурного.

— Да, вѣдь, это совсѣмъ, совсѣмъ неприлично!—въ глубокомъ негодованіи воскликнула княгиня.

— Для людей вашего круга, съ вашей точки зрѣнія, конечно,— храбро защищалась Ольга:—но, вѣдь, я принадлежу къ совсѣмъ другому кругу, гдѣ понятія о томъ, что̀ прилично, а что̀ неприлично, совсѣмъ иныя...

— Такъ живутъ только нигилистки... или...

Княгиня не договорила. Блѣдныя щеки Ольги вспыхнули, и ея изумленные каріе глаза загорѣлись недобрымъ огонькомъ.

— Что-жъ дѣлать...—прошептала она, едва удерживаясь, чтобы не сказать чего-нибудь черезчуръ рѣзкаго.

— Какъ что-жъ дѣлать?! Кто васъ заставляетъ такъ жить? Я вамъ говорю, вы можете остаться въ комнатѣ Ольги Ивановны,

она для васъ очень достаточна и прилична... только, конечно, вы не станете принимать у себя этихъ вашихъ... подругъ и знакомыхъ... которыя живутъ однѣ, невѣдомо какъ и гдѣ...

Ольга улыбнулась.

— Я еще разъ благодарю васъ, княгиня, за вашу доброту, за все, что вы для меня сдѣлали... Конечно, бабушкина комната вполнѣ хороша для меня, и я къ ней очень привыкла... Но лучше ужъ я поселюсь гдѣ-нибудь на чердакѣ, лишь бы чувствовать себя свободнымъ человѣкомъ... Я ужъ не маленькая.

Княгиня прищурила свои синіе глаза и посмотрѣла на дѣвушку съ явнымъ презрѣніемъ.

— При бабушкѣ вы такъ бы не говорили!—сказала она.— Бѣдная Ольга Ивановна хорошо сдѣлала, что умерла, она была женщина честныхъ правилъ. Такъ вотъ къ чему привела васъ ваша гимназія и эти... ваши курсы! Мнѣ васъ очень жаль, моя милая, я вижу вы плохо кончите... Что-жъ... вы свободны... только, если вы такъ отъ насъ уходите и будете жить одна... Dieu sait comment... я не могу допустить продолженія вашего знакомства съ моей дочерью.

— Я это знаю, княгиня,—стискивая зубы, выговорила Ольга:— мнѣ жалко разстаться съ княжной, я ее люблю... но... я не могу, даже не въ правѣ поступиться своею свободой и своимъ человѣческимъ достоинствомъ!

Она произнесла эти слова съ восторгомъ и осталась очень довольна собою.

Княгиня презрительно кивнула головой и, не протянувъ ей руки, вышла.

IV.

Ольга переѣхала отъ Хрепелевыхъ, поселилась сначала съ какой-то подругой; но скоро поссорилась съ нею и жила одна на Васильевскомъ островѣ. Она устроилась въ двухъ комнаткахъ, нанимая ихъ у нѣмки-старушки, которая сама помѣщалась въ третьей, совсѣмъ маленькой клѣткѣ, рядомъ съ кухней.

Эта нѣмка, Генріетта Богдановна, была когда-то экономкой въ богатомъ домѣ, съэкономила себѣ капиталецъ и жила «на фольной фолѣ, сама сибэ барина». Но она оказалась скупенька, да къ тому же не выносила полнаго одиночества. Поэтому она обрадовалась случаю отдать молодой дѣвушкѣ двѣ свои «лютшія» комнаты, за которыя Ольга платила ей тридцать рублей въ мѣсяцъ. Она же и стряпала завтраки и обѣды своей жилицѣ, а для комнатныхъ услугъ и побѣгушекъ существовала разбитная четырнадцатилѣтняя дѣвченка, Саша.

Ольга жила, не скучала. Она окончила курсы, какъ-будто давала уроки и занималась переводами, но, собственно говоря, мѣняла и тратила свои «билеты», такъ что оставленныя бабушкой деньги таяли не по днямъ, а по часамъ.

У Хрепелевыхъ Ольга не бывала, и княгиня думала, что всякая связь между «этой погибшей курсисткой» и Ninette порвана.

Княгиня ошибалась. Дѣвушки особенно сошлись въ послѣднее время, Нина очень жалѣла Ольгу, а потому изрѣдка переписывалась съ нею при посредствѣ горничной Маши.

Эта Ольга, сама того не зная и вовсе о томъ даже не думая, сослужила маленькой княжнѣ большую службу. Она открыла ей глаза на то, что міръ великъ, что въ немъ не только свѣтскія гостиныя, а есть много, много очень серьезныхъ, хорошихъ и дурныхъ, веселыхъ и печальныхъ вещей. Нина только что собиралась хорошенько разглядѣть эти вещи съ помощью пріятельницы, какъ та уѣхала, разсердивъ княгиню, и свиданія дѣвушекъ прекратились. Въ письмахъ же немногое скажешь и поймешь...

Вотъ теперь Нина и ѣхала со своимъ чемоданчикомъ къ Ольгѣ Травниковой, увѣренная, что она не только приметъ ее, но и поможетъ ей во многомъ на первыхъ порахъ ея новой, самостоятельной жизни.

Извозчикъ везъ-везъ по замерзшей грязи, и, наконецъ, привезъ. Большой многоэтажный домъ, во всѣхъ окнахъ темно, подъѣздъ запертъ, ворота тоже, и прислоненный къ нимъ, на старомъ чурбанѣ, неизмѣнный дворникъ, закутанный съ головой въ тулупъ и храпящій чуть ли не на всю улицу.

Долго будила его маленькая княжна. Сначала она звала его заискивающимъ тономъ, почти нѣжно, только это не привело ни къ чему, и она разсердилась.

— Да вставай же! что ты спишь!.. Какой ты нехорошій... какъ тебѣ не стыдно! я... полицейскому офицеру буду жаловаться!— почти кричала она у самаго отверстія тулупа, откуда исходилъ храпъ.

Наконецъ, дворникъ, только вовсе не отъ ея криковъ, бывшихъ для него не страшнѣе жужжанія мухи, а просто самъ собою, проснулся.

Онъ поглядѣлъ изъ отверстія тулупа, лѣниво всталъ на ноги, зѣвнулъ и произнесъ:

— Кого вамъ? Чего кричите-то? Нешто я сплю... Кого вамъ?

— Гдѣ тутъ квартира госпожи Хазенклеверъ?

— Такой у насъ въ домѣ не значится... нѣтути!—объявилъ дворникъ, поспокойнѣе усѣлся на свой чурбанъ и спряталъ голову въ тулупъ.

Ninette пришла въ отчаяніе. Она опять готова была плакать.

— Какъ нѣтъ?!—то сердито, то вдругъ переходя къ самымъ жалобнымъ нотамъ объясняла она.—Да я навѣрно знаю, что она здѣсь, въ этомъ домѣ № 30 живетъ... Только вотъ гдѣ ея квартира, какъ пройти къ ней?.. Ты обязанъ знать и указать мнѣ!.. Хазенклеверъ, понимаешь, Хазенклеверъ!

— Такъ вы, такъ бы и говорили,—вдругъ сказалъ дворникъ:—это нѣмка, она самая и есть... Она-то у насъ живетъ... Такъ бы и говорили... Двадцать седьмой нумеръ, во дворѣ, вторая дверь направо, въ четвертомъ этажѣ. Тутъ она и есть... нѣмка.

Онъ лѣниво поднялся, отперъ желѣзную калитку въ воротахъ и впустилъ княжну.

Она очутилась подъ длиннымъ сводомъ, въ полной темнотѣ и тишинѣ. Дрожа всѣмъ тѣломъ, съ замирающимъ сердцемъ, почти ощупью выбралась она во дворъ, таща свой тяжелый чемоданчикъ. На дворѣ было немного посвѣтлѣе, такъ что отыскать вторую дверь направо не представлялось особенно труднымъ. Но восхожденіе съ чемоданчикомъ на четвертый этажъ, по темной лѣстницѣ, оказалось совсѣмъ невозможнымъ. Княжна было попробовала, да сейчасъ же и вернулась опять во дворъ. Она сообразила, что если даже и побѣдитъ въ себѣ ужасъ, паническій страхъ, возбуждаемый въ ней неизвѣстностью и темнотою, если даже и сможетъ когда-нибудь дотащить чемоданчикъ въ четвертый этажъ, какъ же она найдетъ дверь двадцать седьмого нумера?

Она вернулась въ черную бездну длиннаго свода и, добравшись до воротъ, принялась своими кулаченками что есть силы стучать въ нихъ.

— Дворникъ, дворникъ! встань, пойди сюда, мнѣ очень-очень тебя надо!—кричала она.

Дворникъ не шевелился.

— Вотъ, на тебѣ, возьми рубль... Проводи меня въ двадцать седьмой нумеръ. Пожалуйста, возьми!

Калитка быстро отперлась. Дворникъ шагнулъ въ нее, побарахтался въ своемъ тулупѣ и зажегъ невѣдомо откуда взявшійся фонарикъ.

Дрожащими руками вынула маленькая княжна свой кошелекъ, нашла рубль и подала его дворнику.

Тотъ принялъ, разглядѣлъ бумажку у фонарика и произнесъ:

— Пожалуйте!

Княжна почувствовала приливъ необыкновенной храбрости.

— Снеси вотъ это!—сказала она, передавая дворнику чемоданчикъ

— Ладно!—не безъ благосклонности отвѣтилъ онъ и пошелъ впередъ.

Наконецъ, всѣ препятствія уничтожены. Цѣль достигнута. Восхожденіе на четвертый этажъ по крутой лѣстницѣ совершено.

— Вотъ онъ и есть, двадцать седьмой нумеръ, звоните шибче,—объявилъ дворникъ и тотчасъ же сталъ спускаться со своимъ фонарикомъ.

Опять темнота. Княжна ухватилась за ручку звонка и дернула ее изо всей силы.

«Спятъ всѣ, разумѣется... Это безсовѣстно такъ будить... Но что-жъ сдѣлать... пусть проснутся!» — подумала она и опять дернула.

Она хотѣла ужъ дернуть и въ третій разъ, какъ заспанный тоненькій голосокъ за дверью спросилъ:

— Кто тутъ?

— Ольга Николаевна дома?

— Барышня-то? Да онѣ ужъ спятъ, всѣ теперь спятъ... ночь.

— А мнѣ все же надо ее видѣть, по самому важному дѣлу... и я буду звонить до тѣхъ поръ, покуда вы мнѣ не отопрете,— рѣшительно объявила маленькая княжна.

За дверью наступила тишина и продолжалась такъ невыносимо томительно, что звонокъ опять зазвонилъ, только ужъ не одинъ разъ, а нѣсколько разъ сряду.

— Господи! что такое, что случилось, кому меня надо?— разслышала Нина знакомый голосъ.

— Это я, Ольга, впустите, пожалуйста... Это я, неужели не узнаете?.. Я... Нина!

Дверь отворилась, и княжна увидѣла свою пріятельницу, озаренную свѣчкой, въ сѣренькой, коротенькой юбочкѣ, въ большомъ шерстяномъ платкѣ на плечахъ и съ такими изумленными глазами, какихъ у нея еще никогда не бывало.

Ольга Травникова, спросонья, отъ изумленія и неожиданности не могла выговорить слова. Она молча глядѣла какъ княжна втащила свой чемоданчикъ. Она отворила дверь въ первую комнату, пропустила Нину, вошла за нею со свѣчкой, заперла дверь, поставила свѣчку на столъ, и только ужъ тогда къ ней вернулся даръ слова.

— Нина... Я ничего не понимаю... Откуда вы? Что все это значитъ?—проговорила она какъ въ бреду.

Княжна обняла ее, поцѣловала и шепнула ей на ухо, боясь, что дѣвочка, стоящая за дверью, услышитъ:

— Я убѣжала изъ дому... понимаете, совсѣмъ убѣжала, навсегда... никогда больше не вернусь къ нимъ... Могу я переночевать у васъ?.. Больше мнѣ негдѣ...

Ольга Травникова открыла ротъ, да такъ и стояла. Наконецъ, она поняла.

— Это умно!—дѣлая серьезное лицо и хмуря брови, сказала она.—Давно пора выбраться изъ-подъ гнета... Только я этого отъ васъ никакъ не ожидала, я считала васъ неспособной... лишенной характера и силы воли! Я ошиблась... Нина, я васъ уважаю!..

V.

Маленькая княжна не могла, однако, въ эту минуту остаться на достодолжной высотѣ. Вмѣсто того, чтобы проникнуться радостью и гордостью при извѣстіи о томъ, что Ольга Травникова ее «уважаетъ»,—она вдругъ выказала не «характеръ и силу воли», а позорную слабость. Слишкомъ долго напряженные, ея нервы не выдержали. Она, какъ была, въ пальто и шляпкѣ, сѣла на оказавшійся рядомъ съ нею диванчикъ, и громко заплакала.

Ольга Травникова сдѣлала гримаску и отъ видимаго неудовольствія передернула, подъ своимъ платкомъ, плечами.

— Вотъ тебѣ разъ!—сказала она:—вмѣсто того, чтобы радоваться и смѣяться, вы въ ревъ пустились... Перестаньте же... что съ вами!.. нечего нервничать изъ-за пустяковъ...

Нина подавила свои громкія рыданія, но слезы неудержимо лились изъ ея глазъ. Она дрожала, какъ въ лихорадкѣ.

Тогда Ольга подошла къ столу, зажгла другую свѣчку, скрылась рядомъ въ комнату и вернулась, неся стаканъ воды.

— Выпейте, Нина, и перестаньте плакать,—суровымъ тономъ, вовсе не подходившимъ къ ея наивно изумленнымъ глазамъ, вздернутому носику и добродушному складу губъ, произнесла она:—возьмите себя въ руки... стыдитесь такого малодушія.

Княжна покорно выпила воду, отерла глаза душистымъ платочкомъ и глубоко вздохнула.

— Простите,—сказала она:—я такъ ужасно устала, такъ измучилась... больше не буду...

Она черезъ силу, храбрясь, улыбнулась Ольгѣ и прибавила:

— Такъ можно мнѣ у васъ переночевать? Я васъ не стѣсню?

— Вотъ вопросъ!—воскликнула та.—Я очень вамъ благодарна, что вы обо мнѣ подумали и, надѣюсь, буду достойна вашего довѣрія!.. Я ни о чемъ не стану васъ разспрашивать, успокойтесь сначала... да и потомъ, коли хотите, коли вамъ тяжело это, такъ и не говорите. Я не изъ любопытныхъ...

Она помогла Нинѣ снять пальто, снесла его въ переднюю.

— Вы чего же здѣсь торчите, Саша?—говорила она дѣвочкѣ, переминавшейся съ ноги на ногу у двери и сгоравшей любопытствомъ.—Ступайте спать.

— А можетъ, что-нибудь понадобится?—жалобно пропищала Саша:—гостья, вѣдь, будутъ ночевать...

— Ничего, ничего не надо, гдѣ ужъ тутъ, часъ-то какой!.. Идите спать скорѣе, я постель сама устрою... Да идите же!..

Дѣвочка неохотно скрылась изъ передней въ маленькій темный корридорчикъ, гдѣ на двухъ сундукахъ было устроено ея неприхотливое ложе.

Тогда Ольга внесла въ комнату Нининъ чемоданчикъ, заперла за собой дверь на ключъ и объявила:

— Ну, теперь все въ порядкѣ, остальное не суть важно! Сейчасъ я вамъ устрою постель, вотъ здѣсь, на диванчикѣ. Онъ, конечно, послѣ вашихъ пружинокъ и пуховичковъ неахтителенъ, и даже вотъ одинъ мой знакомый его почему-то «успокоительнымъ рожномъ» обзываетъ; но это ничего... Я покажу вамъ, какъ надо на немъ лежать... тутъ, дѣйствительно, одна пружина какъ-то странно торчать стала... А то вотъ что: спите-ка вы на моей кровати, а я здѣсь лягу...

— Ни за что! ни за что!—очнувшись крикнула Нина.—Мнѣ здѣсь будетъ отлично, вѣдь, я маленькая, свернусь клубочкомъ... Да и спать мнѣ совсѣмъ не хочется, врядъ ли я засну эту ночь.

— Ну, хорошо,—тотчасъ же согласилась Ольга, вспомнивъ, что и на ея кровати съ матрацомъ происходитъ что-то неладное:—а знаете ли, вѣдь, и мнѣ совсѣмъ спать не хочется. Такъ ужъ вы меня удивили!.. Я спала, какъ убитая. Саша, эта вотъ наша дѣвочка, едва меня добудилась... а теперь я окончательно разгулялась. Поѣсть бы вотъ намъ чего-нибудь, я думаю вы проголодались?

— Богъ съ вами, мнѣ объ ѣдѣ противно и вспомнить,— отозвалась княжна, отпирая свой чемоданчикъ. — Лягу я здѣсь, а вотъ вещи мои, милая Ольга, позвольте мнѣ разобрать въ вашей спальнѣ.

— Конечно... давайте я помогу вамъ... Чаю бы? а? Вы озябли? Только нѣтъ, теперь объ этомъ нечего и думать, ставить самоваръ... моя нѣмка такую исторію подыметъ!..

Онѣ прошли въ Ольгину спальню.

Какъ ни была истомлена и разстроена маленькая княжна, она замѣтно оживилась. Да и обильныя слезы подѣйствовали освѣжающимъ образомъ.

Она оглядѣлась и увидѣла себя въ небольшой комнатѣ. Ей бросились въ глаза унылые сѣренькіе обои, на которыхъ, даже и при слабомъ мерцаніи одной свѣчки, въ нѣсколькихъ мѣстахъ виднѣлись крупныя жирныя пятна. Единственное окно, ничѣмъ не задрапированное, холодно чернѣло изъ-за пыльной полуспущенной шторы. Передъ окномъ стоялъ покосившійся ломберный

столъ, а на немъ зеркало въ сломанной деревянной рамѣ, щетка, двѣ гребенки и большая открытая коробка отъ конфектъ, наполненная шпильками, булавками, нитками и старыми ленточками.

Въ глубинѣ комнаты помѣщалась желѣзная кровать, рядомъ съ нею маленькій, дешевый умывальникъ, дальше платяной шкапъ рыночной работы. По другую сторону неуклюже выступалъ огромный старый комодъ краснаго дерева. Ободранное клеенчатое кресло и три стула довершали меблировку.

На темномъ крашеномъ полу съ обозначающимися половицами, въ разныхъ мѣстахъ комнаты, стояли одна на другой большія и маленькія картонки; тутъ же валялись ботинки, грязныя калоши, а кресло было завалено платьемъ и бѣльемъ.

Нина вспомнила комнату Ольгиной бабушки у нихъ въ домѣ, уютную, блестѣвшую отъ чистоты комнату, гдѣ передъ старымъ кіотомъ съ образами горѣла неугасимая лампада.

— Что это какой у васъ тутъ безпорядокъ!—со своею обычной прямотой и живостью воскликнула она.

Ольга усмѣхнулась, бросила шерстяной платокъ на кровать, прикрыла обнаженныя плечи ситцевой кофточкой и отвѣтила:

— Вотъ! а вы у меня порядку и чистоты захотѣли! Это бабушка по десяти разъ на дню убирала и чистила свою комнату, такъ, вѣдь, ей другого нечего было и дѣлать. А я, признаться, даже и не вижу, что такое вокругъ меня, некогда этими пустяками заниматься. Лакеевъ и горничныхъ у меня нѣтъ, Саша или занята на кухнѣ, или куда-нибудь послана, или у нея голова болитъ, кто-жъ мнѣ будетъ прибирать да чистить... Да и зачѣмъ это! Лишь бы достигать прогресса въ своемъ интеллектуальномъ развитіи, а остальное не суть важно!

— Какъ вы сказали?—изумленно переспросила княжна:—прогресса въ своемъ интеллектуальномъ развитіи? Это что-жъ значитъ? Читать, учиться, размышлять?

— Ну да, конечно!—съ жаромъ отвѣтила Ольга:—нельзя же жить инстинктивно, необходимо уяснить себѣ смыслъ жизни, задачи человѣчества. Надо отдать всего себя на служеніе человѣчеству, только тогда можно надѣяться на жизнь вѣчную, то-есть, жизнь въ человѣчествѣ.

Она выдвинула одинъ изъ ящиковъ комода, взяла въ охапку все, что тамъ заключалось, бросила на кровать и прибавила:

— Вотъ вамъ ящикъ, онъ большой, глубокій, кладите въ него ваши вещи.

— Благодарю, Ольга, очень, очень благодарю!

VI.

Нина стала раскладывать свой чемоданчикъ и въ то же время мысленно повторяла слова пріятельницы.

— Какъ вы стали трудно выражаться,—наконецъ, заговорила она:—или это у меня такъ голова болитъ, что сразу не понимаю простыхъ вещей... Вы сказали, что надо отдать свою жизнь ближнимъ? Какъ это хорошо, какъ я рада, что вы такъ думаете, милая, милая Ольга! Я тоже думаю, что если не любить ближнихъ, если не стараться сдѣлать для нихъ все... все, что можно, что въ силахъ,—лучше и не жить... Только вотъ я не понимаю... мнѣ показалось, у васъ такъ вышло, будто вѣчная жизнь, жизнь послѣ смерти тѣлесной, только и всего, что одинъ слѣдъ добра, которое человѣку удалось сдѣлать на землѣ своимъ ближнимъ.

— А то еще чего же вамъ надо!—воскликнула Ольга:—личнаго райскаго блаженства что ли? Личной награды за добрыя дѣла? Откажитесь скорѣе отъ этого стараго, отъ этого... пагубнаго заблужденія! Единственный существующій рай, это жизнь въ человѣчествѣ!

Нина забыла даже о своихъ вещахъ, стояла предъ разрытымъ чемоданчикомъ и во всѣ глаза глядѣла на Ольгу.

— Какъ заблужденія? — растерянно повторяла она. — Какъ заблужденія?! Да, вѣдь, вы... вы въ Бога и загробную жизнь перестали вѣрить, вы отказываетесь отъ христіанства!

— Я? Никогда!—вся вспыхивая перебила ее Ольга.—Я именно послѣдовательница истиннаго христіанства... Только теперь я не буду объяснять... Къ тому же, признаюсь откровенно, я сама еще вдумываюсь и выясняю себѣ все это... Я боюсь, что буду для васъ темно выражаться, и вы меня не поймете. Вамъ нуженъ болѣе меня опытный и краснорѣчивый учитель... Вотъ завтра я познакомлю васъ съ Евгеніемъ... Петровичемъ Вейсомъ...

— Кто это?--спросила Нина.

— Онъ русскій, у него только фамилія нѣмецкая,—воодушевляясь и съ новымъ блескомъ въ своихъ изумленныхъ глазахъ объясняла Ольга.—Это замѣчательный человѣкъ, хоть ему всего двадцать четыре года... Вотъ сила воли и любовь къ человѣчеству! Онъ отказался отъ всего, ушелъ отъ всякаго земного зла, ограничилъ свои потребности до минимума... и отдаетъ всего себя служенію человѣчеству... Ахъ, вотъ вы даже не слыхали о немъ, а его имя извѣстно...

— Что-жъ онъ такое: ученый, писатель?

Ольга разгоралась больше и больше. Она внезапно вся преобразилась, и въ наивномъ, пухленькомъ лицѣ ея мелькнуло

страстное, восторженное выраженіе, сдѣлавшее ее очень привлекательной.

— Онъ писатель... съ огромнымъ талантомъ! Ему предстоитъ,— въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія,—великая будущность. Конечно, теперь онъ недавно еще началъ... но умные люди уже давно обратили на него вниманіе и высоко его цѣнятъ... Онъ покуда печатаетъ свои маленькіе разсказы и статьи въ «Столичномъ Листкѣ» и въ журналѣ «Міръ». Но это только покуда! Онъ пишетъ теперь большую повѣсть: «Смыслъ жизни»... Ахъ, если-бы вы только знали, какая это глубокая, художественная вещь! А его маленькіе разсказы! Маленькіе, коротенькіе-коротенькіе, и въ каждомъ масса содержанія, цѣлое откровеніе! Непремѣнно вамъ слѣдуетъ скорѣе прочесть ихъ... они у меня всѣ собраны... я вамъ ихъ дамъ...

— Я прочту ихъ съ удовольствіемъ,—перебила ее Нина и лукаво прищурила свои синіе глаза:—а покуда я скажу вамъ вотъ что: вы ужасно-ужасно влюблены въ этого господина!

Ольга совсѣмъ покраснѣла и растерянно глядѣла на княжну.

— Откуда вы это взяли?.. Вовсе нѣтъ...—шептала она.

— Перестаньте... не притворяйтесь, это къ вамъ не идетъ, и вы совсѣмъ не умѣете притворяться. Вѣдь, вы знаете—я вашъ другъ, я васъ очень люблю, и вы можете быть съ мной откровенны.

— Нѣтъ, да откуда вы взяли?—слабо защищалась Ольга.

Маленькая княжна подошла къ ней, обняла ее и стала ласкаться.

— Миленькая вы моя! Ну-ка посмотрите мнѣ въ глаза! а! что! не можете! Откуда я взяла? Да, вѣдь, вы сами сейчасъ мнѣ очень внятно сказали, каждымъ вашимъ словомъ... вотъ и теперь, теперь говорите!

— Ну, Нина... я никогда... никому... вы первая... да, я люблю его...

Она такъ крѣпко обняла и сжала Нину, будто это была не маленькая княжна, а самъ Евгеній Петровичъ Вейсъ.

— А онъ... онъ васъ любитъ?

— Да, конечно!

— Ахъ, значитъ, это очень серьезно! Дай вамъ Богъ счастья!— воскликнула Нина, громко цѣлуя раскраснѣвшуюся дѣвушку.— Когда же ваша свадьба? Скоро?

— А вотъ, какъ только онъ окончитъ «Смыслъ жизни», мы и отпразднуемъ свадьбу... Теперь ужъ скоро!

Она вдругъ успокоилась, сдѣлалась сосредоточенной и даже сдвинула брови.

— У меня сначала были совсѣмъ другія мысли,—говорила

она, помогая Нинѣ разбираться и укладывать вещи въ комодъ:—мнѣ казалось, что женщина, для того, чтобы завершить свое интеллектуальное развитіе и стать полезнымъ общественнымъ дѣятелемъ, должна быть свободна, не связана ни мужемъ, ни дѣтьми. Помните, я часто вамъ и говорила, что ни за что не выйду замужъ, что я врагъ всяческихъ узъ. Вы еще все смѣялись и увѣряли, что я такъ разсуждаю «до перваго красиваго случая».

— Вотъ видите, какъ я была права!—весело перебила Нина.

— Ничуть не правы! Неужели вы думаете, что я позволила бы себѣ увлечься Евгеніемъ, и все такое, если-бъ это шло въ разрѣзъ съ основными моими убѣжденіями, съ принципомъ, бывшимъ знаменемъ моей жизни?! О! вы меня не знаете! Я отлично сумѣла бы подавить въ себѣ все ради принципа!.. Но Евгеній мнѣ доказалъ невѣрность моего взгляда.

— А вы такъ сейчасъ ему и повѣрили!—не утерпѣла Нина.

— Я не ему повѣрила, а нашему съ нимъ общему великому учителю.

— Кому? какому великому учителю?—удивленно спросила княжна; но сейчасъ же прибавила:—ахъ, зачѣмъ вы такъ? Отчего такъ вычурно, а не просто: Христу Спасителю?

— Да я вовсе не о Христѣ!—поднимая брови и дѣлая свои всегдашніе изумленные глаза, сказала Ольга.—У насъ въ Россіи одинъ только великій учитель, одинъ титанъ мысли—Левъ Толстой! Только его одного можно назвать великимъ учителемъ, потому что до него ученіе Христа было мертвою буквой, и онъ первый, первый, почти черезъ два тысячелѣтія, открылъ истинный смыслъ этого ученія и объяснилъ его міру!

— Какъ вамъ не стыдно говорить такой вздоръ!—приходя въ негодованіе, воскликнула Нина.—Какъ! съ первыхъ временъ христіанства и до сегодня, никто на всемъ свѣтѣ не понималъ Евангелія, не былъ настоящимъ христіаниномъ... и одинъ только Левъ Толстой, одинъ... первый?!

— А вы бы лучше не спорили о томъ, чего не знаете,—обиженно и задорно возразила Ольга:—вы, вѣдь, не читали, а я читала, сама читала и всѣ это знаютъ—онъ самъ написалъ, въ своихъ объясненіяхъ, что до него никто не понималъ, а онъ первые понялъ и объяснилъ... Вѣдь, вы не читали, такъ вотъ сначала прочтите, тогда и толковать будемъ.

Нина замолчала, смущенная и ровно ничего не понимая.

«Всѣ знаютъ... онъ самъ написалъ, и объяснилъ—что же все это значитъ и развѣ это можетъ быть?!»

Ольга, успокоясь, говорила, закрывая глаза, и тономъ вытверженнаго урока:

— Великій учитель открылъ мнѣ глаза и я поняла, что не имѣю права отказываться отъ своего призванія. Призваніе каждаго человѣка, мужчины и женщины (о! я наизусть знаю всѣ эти слова его!) состоитъ въ томъ, чтобы служить людямъ. Служеніе человѣчеству само собою раздѣляется на двѣ части: одно—увеличеніе блага въ существующемъ человѣчествѣ, другое—продолженіе самаго человѣчества. Ко второму призваны преимущественно женщины, такъ какъ исключительно онѣ способны къ нему. Это его слова. Потомъ онъ говоритъ, что если женщина исполняетъ свое призваніе, состоящее въ рожденіи, кормленіи и воспитаніи дѣтей, продолжателей человѣчества, то она чувствуетъ, что дѣлаетъ то, что *должно*, и возбуждаетъ къ себѣ любовь и уваженіе другихъ людей, потому что исполняетъ предназначенное ей по ея природѣ. Потомъ онъ говоритъ, что если женщина, имѣющая, по своему естеству, малое число обязанностей, хоть онѣ и глубже мужскихъ, измѣнитъ одной изъ нихъ, то она тотчасъ же нравственно падаетъ ниже мужчины, измѣнившаго девяти изъ своихъ сотни обязанностей. Таково *всегда* было *общее* мнѣніе и таково оно *всегда будетъ*, потому что *такова сущность* дѣла. Это его слова! Онъ говоритъ еще, что служеніе женщины только черезъ дѣтей, что видѣть молодую, женщину, способную имѣть дѣтей, занятою *мужскимъ* трудомъ, *всегда* будетъ жалко, такъ какъ она можетъ произвести то, выше чего ничего нѣтъ—человѣка. И только одна она можетъ это сдѣлать...

— Какъ же вы всегда смѣялись надъ тѣми женщинами, которыя забываютъ всѣ общіе интересы и думаютъ только о семьѣ, о дѣтяхъ? Вы ихъ называли няньками и кухарками, вы презирали ихъ... Помните, вы говорили, что онѣ неразвиты, тупы и глупы?—спрашивала Нина.

Ольга сдѣлала недовольную мину.

— Ну что-жъ, и говорила! Мнѣ такъ казалось, а выходитъ, что совсѣмъ иначе, потому что, если онъ пишетъ, значитъ такъ оно и есть. Это очень жаль, что призваніе женщины такое узкое, но все же, вотъ видите, оно глубже мужского. Мужчина не можетъ произвести на свѣтъ ребенка, женщина же можетъ—и только одна она, а ребенокъ продолжатель человѣчества, дороже его ничего нѣтъ въ мірѣ. Развѣ не такъ?

— Разумѣется, это такъ,—помолчавъ, согласилась Нина.

— Къ тому же, онъ вовсе не лишаетъ женщину интеллектуальнаго развитія и того, что онъ называетъ мужскимъ трудомъ,—продолжала Ольга:—женщина можетъ заниматься своимъ развитіемъ пока у нея нѣтъ дѣтей и вернуться къ умственному труду, когда у нея перестанутъ рождаться дѣти.

— А тѣ, которыя не выходятъ замужъ или у кого нѣтъ дѣтей?

— Тѣмъ, конечно, предоставлена свобода участвовать въ мужскомъ трудѣ, но онъ говоритъ: нельзя будетъ не жалѣть о томъ, что такое драгоцѣнное орудіе, какъ женщина, видите: драгоцѣнное орудіе!—что она лишилась возможности исполнять ей одной свойственное, великое, замѣтьте—*великое*—назначеніе. Значитъ, мы должны, сдѣлать все въ мірѣ, чтобы найти мужа и имѣть дѣтей. Вы согласны съ этимъ?

— Знаете, пожалуй, это и такъ!—сказала Нина.

— Еще бы не такъ! Развѣ онъ можетъ ошибаться?—каждое его слово—великая, святая истина! Оттого я и полюбила Евгенія, позволила себѣ полюбить его, и ужасно хочу имѣть дѣтей, чѣмъ больше, тѣмъ лучше, и скорѣе! Въ этомъ все,—а остальное не суть важно!

Она задумалась и нѣсколько мгновеній стояла, опустивъ руки, съ какимъ-то новымъ и непонятнымъ для Нины выраженіемъ лица. Потомъ она какъ бы очнулась и тряхнула своею толстою, растрепавшеюся косой.

— Однако, все же спать надо!—медленно произнесла она:—смотрите, совсѣмъ свѣтло... утро! Вотъ, ваши вещи уложены... я сейчасъ устрою вамъ постель... Завтра наговоримся... и вы увидите Евгенія; надѣюсь, онъ вамъ понравится... онъ такой милый, умный, такъ много въ немъ таланта и силы воли! Онъ достойный ученикъ нашего великаго учителя!..

VII.

Было уже совсѣмъ свѣтло, когда Нина раздѣлась и улеглась на диванчикъ, выслушавъ отъ Ольги обстоятельное наставленіе, какъ надо лежать на немъ, не вступая въ непріятную борьбу съ лопнувшей и торчавшей пружиной.

Сначала маленькой княжнѣ казалось, что она совсѣмъ не заснетъ. Ей было неловко и холодновато, хоть она и прикрылась, сверхъ плэда, принесеннаго Ольгой, еще и своимъ мягкимъ, теплымъ пальто. Цѣлый вихрь мыслей и впечатлѣній клубился въ ея затуманившейся головѣ. Она старалась сосредоточиться на чемъ-нибудь; но никакъ не могла этого.

Ей не было теперь ни грустно, ни весело, она ни о чемъ не сожалѣла и ничего не боялась.

Широко раскрытыми глазами, въ которыхъ застыло выраженіе усталости, она безучастно, почти безсознательно глядѣла

вокругъ себя на неуютную, запыленную обстановку комнаты. Она видѣла посѣрѣвшія кисейныя занавѣски двухъ оконъ, старые обои шоколаднаго цвѣта съ крупными разводами, въ причудливыхъ завиткахъ которыхъ ей представлялись странныя лица и фигуры. Она видѣла между оконъ небольшой письменный столъ, заваленный бумагами, газетами и коробками, а надъ нимъ привѣшенную этажерку съ книгами. Ей то-и-дѣло бросались въ глаза двѣ буро-зеленыя олеографіи въ тоненькихъ и облупившихся багетныхъ рамахъ.

Вся эта совсѣмъ непривычная обстановка, а главное, ея неряшливость, производили въ ней чисто физическое ощущеніе чего-то холоднаго, жесткаго и противнаго.

Но вотъ глаза ея стали смыкаться, и она заснула.

Обѣ молодыя дѣвушки спали крѣпко и проснулись только въ одиннадцатомъ часу.

Такъ какъ Ольгѣ Травниковой,—послѣ ночной работы надъ большимъ срочнымъ переводомъ или слишкомъ долгой, далеко-за-полночь, душеспасительной бесѣды съ Евгеніемъ Вейсомъ о новосозданномъ христіанствѣ,—случалось иной разъ просыпаться даже около полудня, то и на сей разъ Генріетта Богдановна Хазенклеверъ не была нисколько удивлена. Однако, дѣвочка Саша, терзаемая любопытствомъ скорѣе и хорошенько познакомиться съ гостьей, нѣсколько разъ подбиралась къ двери, прислушивалась и старалась хоть что-нибудь разглядѣть въ замочную скважину. Ничего не видя и не слыша, она возвращалась въ кухню, гдѣ у плиты уже возилась Генріетта Богдановна. Въ половинѣ одиннадцатаго она даже не могла утерпѣть и печальнымъ голоскомъ объявила:

— Спятъ-съ!

Генріетта Богдановна, пожилая особа, средняго роста и пропорціональнаго сложенія, безъ особыхъ примѣтъ, кромѣ бѣльма на правомъ глазу и обычая ходить до обѣда, ради удобства, въ кофточкѣ съ открытымъ воротомъ и совсѣмъ короткими, «бальными рукавами», неодобрительно на нее взглянула.

— А ти нэшево шмигаль,—вразумительно проговорила она:— ти лючша кастрюль и пасудъ помой; будутъ просыпай такъ тебэ звонокъ дадутъ.

— Да, вѣдь, тамъ, Генріетта Богдановна, гостья, такая маленькая, хорошенькая и нарядная барышня!—страстно объясняла Саша, стараясь поднять госпожу Хазенклеверъ на высоту своего любопытства и нетерпѣнія.

Но та методически и невозмутимо распоряжалась у плиты.

— Тебэ штой за тэло! На вотъ пьять копэкъ, спэгай въ лавочка за лимонъ.

Саша вздохнула, накинула на голову старый шерстяной платокъ и выбѣжала на лѣстницу. Съ лѣстницы она слѣтѣла такъ стремительно, что даже не замѣтила, какъ на площадкѣ второго этажа сидѣвшіе другъ передъ другомъ котъ и кошка въ ужасѣ отскочили отъ нея, приняли оборонительныя позы и подняли хвосты трубой. Когда она вернулась съ лимономъ, Генріетта Богдановна объявила ей, что «баришне звонка даваль».

Со всѣхъ ногъ кинулась Саша въ «лютшія» комнаты и была вознаграждена за всѣ терзанія. Она прямо очутилась передъ Ниной, только-что умывшейся и расчесывавшей свои великолѣпные, блѣдные и блестящіе какъ шелкъ волосы. Саша не только на-яву, но и во снѣ никогда не видала такихъ волосъ, такихъ синихъ глазъ, такого хорошенькаго, ласковаго лица и такихъ нѣжныхъ ручекъ, какъ у этой барышни. Она остановилась совсѣмъ очарованная и стояла, блаженно улыбаясь во весь ротъ, показывая всѣ свои бѣлые, еще деревенскіе зубы.

Черезъ двѣ-три минуты она влетѣла въ кухню и, запыхавшись, шептала:

— Ну, Генріетта Богдановна, пожалуйте скорѣе кофію... Барышня-то какая! раскрасавица, волосы-то что твой ленъ, длинные-длинные... ну, ужъ и барышня! Только малю-ю-сенькая... ручки, вотъ! Нарядная-пренарядная... Кофію-то пожалуйте!

— Бери подносъ,—степенно отозвалась Генріетта Богдановна.

На подносъ, поданный Сашей, она поставила кофейникъ, двѣ чашки, молочникъ съ синеватыми «сливками» и проволочную корзиночку съ крендельками. Саша торжественно понесла все это, не забывъ на ходу очень ловко поймать зубами съ корзиночки кренделекъ и съ поразительной быстротой его уничтожить.

Подавъ кофе, она ушла; но тотчасъ же вернулась съ ушатомъ воды, потомъ со щеткой и пыльной тряпкой. Она выказала такое рвеніе, какого до этого дня Ольга Травникова за ней никогда не замѣчала. Убирая, стирая пыль, кидаясь изъ угла въ уголъ, она то и дѣло впивалась въ Нину восторженнымъ, благоговѣйнымъ взглядомъ, будто собираясь на нее молиться. Наконецъ, Ольга нашла нужнымъ удалить ее, сказавъ, что больше никакихъ услугъ отъ нея не потребуется.

Нина чувствовала теперь себя отдохнувшей, и къ ней вернулась бодрость духа. По окончательномъ удаленіи Саши, она разсказала пріятельницѣ главныя свои бѣды и обратилась къ ней съ вопросомъ:

— Что же вы мнѣ теперь посовѣтуете?

— Быть твердой въ своемъ рѣшеніи и ни за что домой не возвращаться,—отвѣтила Ольга.

Маленькая княжна даже немного обидѣлась.

— Я не комедію играю,—сказала она:—домой я больше не вернусь. Я ихъ осрамила, опозорила, и мнѣ тамъ нѣтъ мѣста. Я не могу ужъ никогда жить такъ, какъ жила прежде и буду жить по новому. Когда они успокоятся, то поймутъ мой поступокъ и увидятъ, что иначе я не могла сдѣлать какъ уйти, и что это для нихъ гораздо лучше.

— А если они васъ будутъ требовать... силой?

— Я все равно не пойду, со мной не легко справиться, хоть я и маленькая. Да какъ же они узнаютъ, гдѣ я? Нѣтъ, Ольга, вы меня не поняли, я не спрашивала, что мнѣ дѣлать потомъ, я должна рѣшить покуда одно: что мнѣ дѣлать сегодня, завтра?

— Завтра увидимъ, а сегодня самое лучшее цѣлый день просидѣть вотъ здѣсь, со мною. Я тоже весь день останусь дома, а вечеромъ придетъ Евгеній.

— Развѣ у васъ нѣтъ занятій? А уроки?—удивленно спросила маленькая княжна.

Ольга не то безнадежно, не то презрительно махнула рукою.

— Было у меня два урока,—сказала она:—одинъ на десять, а другой на двѣнадцать рублей въ мѣсяцъ, измучилась я только съ ними, а толку никакого не вышло. Въ одномъ домѣ мальчикъ-полуидіотъ, какъ ни долби ему, ровно ничего не понимаетъ. Въ другомъ домѣ двѣ дѣвочки гимназистки, съ ними я репетировала по вечерамъ. Такъ обѣ онѣ теперь лежатъ въ скарлатинѣ.

— А переводы? Вѣдь, вы мнѣ писали, что занимаетесь переводами въ журналахъ?

— Ахъ, это чистое мученье! Знаете ли, что дѣлается? Тутъ есть одинъ господинъ—Шуликовъ, очень слабая личность! Онъ сотрудничаетъ въ разныхъ изданіяхъ и поставляетъ переводы, только онъ дѣлаетъ ихъ не самъ, а раздаетъ разнымъ лицамъ. Вотъ и мнѣ Евгеній добылъ отъ него работу, съ французскаго. Большая книга... я трудилась надъ нею три мѣсяца, иногда почти цѣлыя ночи напролетъ не разгибаясь сидѣла. И какъ бы вы думали, за сколько?—по три рубля за печатный листъ! Это шестнадцать большихъ страницъ!.. Да и то едва-едва получила.

Нина соображала, разсчитывала и глядѣла на нее изумленными, почти испуганными глазами.

— Потомъ я пошла по публикаціямъ въ газетахъ,—продолжала Ольга:—въ пяти мѣстахъ была и... вѣдь, это ужасъ! Во всѣхъ пяти мѣстахъ оказалось, что нужны совсѣмъ не уроки, а... другое!

Она закрыла лицо руками и прибавила:

— Боже мой, что я вынесла... отъ одного негодяя едва убѣжала! Никогда ужъ не повѣрю никакой публикаціи!

Нина не поняла, о чемъ это «другомъ» говоритъ Ольга, но

сообразила по ея тону, что это должно быть очень дурное и стыдное, а потому не рѣшилась разспросить ее, хоть и хотѣла бы знать, въ чемъ именно дѣло.

Одно она видѣла ясно: Ольга потерпѣла крушеніе всѣхъ своихъ надеждъ на «разумный трудъ и самостоятельную дѣятельность», о которыхъ она такъ много ей говорила еще до смерти своей бабушки.

— Предлагалъ мнѣ одинъ знакомый выхлопотать мѣсто въ телефонныя барышни,—вдругъ сказала Ольга.

— Въ телефонныя барышни?—переспросила маленькая княжна.

— Да, только всѣ стали отсовѣтывать, потому что это очень нервы разстроиваетъ... Съ этимъ «алло» вѣчная путаница, трудно соединить правильно, телефоны то и дѣло портятся, выходятъ всякія недоразумѣнія, непріятности, и многіе нервные и нетерпѣливые абоненты ругаютъ въ телефонъ телефонныхъ барышень разными грубыми и неприличными словами... Самое бы лучшее, конечно, въ театральныя спящія дѣвы...

— Это еще что такое?—воскликнула Нина.

— А это тѣ дѣвицы, которыя въ театральной кассѣ сидятъ... Онѣ разбираютъ открытыя письма съ запросами о билетахъ, отрываютъ отвѣтную сторону письма съ адресомъ и прикладываютъ къ ней штемпель со словомъ «нѣтъ»... Ихъ «спящими дѣвами» называютъ... Это бы самое лучшее и покойное... только тамъ нужна громадная протекція!

— Такъ, значитъ, что же?—въ смущеніи проговорила маленькая княжна:—значитъ, образованіе, вотъ, вѣдь, вы кончили и курсы, не даетъ возможности дѣвушкѣ жить своимъ трудомъ? А помните, что вы говорили прежде? Вѣдь, вы увѣряли меня, что времена варварства,—это ваши слова,—прошли, что теперь русская образованная дѣвушка во всѣхъ своихъ правахъ равна мужчинѣ и, какъ и онъ, можетъ своимъ трудомъ, никому не обязываясь, жить и быть счастливой!

Ольга подняла брови, сдѣлала изумленные глаза и печальное лицо.

— А вы думаете, у насъ образованный мужчина обезпеченъ?—сказала она.—Онъ точно такъ же, если у него нѣтъ протекціи, легко можетъ умереть съ голоду, какъ умирала бы теперь я—не оставь мнѣ бабушка денегъ. Вотъ у меня еще деньги, и я ихъ трачу и живу. Придетъ день, когда я ихъ истрачу всѣ,—деньги, даже и при моей самой скромной жизни, идутъ такъ скоро, просто таютъ,—и я, если не устроюсь, буду бѣдствовать самымъ ужаснымъ образомъ: мои курсы, дипломы, мои знанія мнѣ не помогутъ нисколько.

— Ольга, милая, тутъ что-нибудь не такъ, это было бы слиш-

комъ ужасно, слишкомъ несправедливо!—внѣ себя перебила ее Нина.

— Увы, это такъ! Пока мы учились, у насъ у всѣхъ были самыя розовыя надежды, даже у тѣхъ моихъ подругъ, которыя страшно и тогда бѣдствовали. Онѣ утѣшали себя убѣжденіемъ, что ихъ нищета происходитъ оттого, что онѣ еще не кончили своего образованія, не получили еще дипломы. Будетъ дипломъ— и онъ откроетъ имъ всѣ двери... А между тѣмъ, уже годъ прошелъ съ тѣхъ поръ, какъ мы получили дипломы, и каждой изъ насъ пришлось разочароваться...

— Гдѣ онѣ, ваши подруги? Вотъ, скажите, что вы о нихъ знаете, о нихъ и другихъ дѣвушкахъ, кончившихъ раньше васъ... Скажите, тогда будетъ видно... гдѣ онѣ? что онѣ дѣлаютъ?— спрашивала Нина, видимо страстно заинтересованная всѣмъ этимъ.

Ольга подумала немного, вызывая въ своей памяти знакомыя лица.

— Есть нѣсколько счастливыхъ,—начала она:—только ихъ сравнительно очень немного, самая малость. Онѣ уѣхали къ роднымъ и живутъ припѣваючи, потому что у родителей есть средства. Четыре вышли замужъ. Это все самыя счастливыя. Но остается большинство... съ ними я встрѣчаюсь, потомъ мы собираемся иногда то у одной, то у другой изъ насъ. Увѣряю васъ, даю вамъ слово,—всѣ онѣ бѣдствуютъ, до того бѣдствуютъ, что вотъ еще недавно, около мѣсяца тому назадъ, двѣ не выдержали и покончили съ собою...

— Какъ покончили? Убили себя?

— Да, отравились и умерли, отравилась и третья, только неудачно, она теперь въ больницѣ.

— Боже! Боже!—прошептала Нина и поблѣднѣла.

— Это еще ничего, есть факты похуже,—медленно и выразительно произнесла Ольга.

— Что-жъ можетъ быть хуже этого?

— По моему, есть хуже... Я знаю нѣсколько дѣвушекъ, получившихъ высшее женское образованіе, которыя измучились нищетою, покончить съ собой не рѣшились, а потому... сдѣлались... ну, знаете, какими женщинами.

Нина совсѣмъ не знала, и Ольгѣ Травниковой пришлось объяснить ей. Она слушала внимательно, не проронивъ ни одного слова и прямо глядя въ глаза пріятельницѣ своими потемнѣвшими синими глазами. Она дажа сама задавала вопросы и требовала подробнаго, яснаго отвѣта. Только съ каждымъ новымъ словомъ, съ каждымъ новымъ представленіемъ, врывавшимся въ ея наивныя полудѣтскія понятія, по милому лицу ея мелькала тѣнь страданія.

Когда она поняла все, и у нея ужъ не оставалось никакихъ вопросовъ, она вдругъ закрыла лицо руками и заплакала.

— Какъ на свѣтѣ все гадко! какъ гадко!—вырвалось у нея сквозь слезы.

Ольга глядѣла на нее съ изумленіемъ.

— Какое у васъ странное отношеніе къ законамъ природы...— начала было она:—но у двери послышался легкій стукъ, затѣмъ дверь отворилась и въ комнату вошла Генріетта Богдановна Хазенклеверъ.

Она сдѣлала весьма мудреный полукниксенъ-полупоклонъ, не безъ удивленія вглядѣлась въ хорошенькую, изящную и заплаканную княжну, а потомъ обратилась къ Ольгѣ:

— Баришна и сефотни, и зафтри у фасъ будутъ ночеваль?

— Да, а что?—спросила Ольга.

— Старшьи тфорникъ пришелъ... требувайтъ фитъ.

VIII.

Фрейленъ Хазенклеверъ (по документамъ она значилась въ дѣвицахъ) представляла изъ себя такую курьезную фигуру и такъ комично произносила русскія слова, что будь Нина иначе настроена, она врядъ-ли бы удержалась отъ смѣха. Но теперь ее поразило одно—таинственное слово «фитъ», значеніе котораго она рѣшительно не могла постигнуть.

— Что это «фитъ»?—тревожно спрашивала она Ольгу.

Та, между тѣмъ, ужъ нашлась.

— Хорошо, скажите ему, чтобъ онъ подождалъ, я сейчасъ къ вамъ выйду,—торопливо проговорила она.

— Gut... aber bitte поскорѣе,—отвѣтила Генріетта Богдановна:—онъ такой груби, горди мужикъ, и мене всегда сердце стучаль, когда онъ говориль!

Она ушла.

— Да что-жъ это такое «фитъ»?—повторила Нина свой вопросъ.

— Вашъ видъ ему нуженъ для прописки,—объяснила Ольга.

Бѣдная маленькая княжна ничего не поняла и въ этой правильной русской фразѣ.

— Какъ видъ? мой видъ? и для... прописки?

— Ну да, теперь такія строгости, вотъ вы одну ночь переночевали, и ужъ сейчасъ требуютъ видъ на жительство. Объ этомъ вы вѣрно и не подумали... Какіе-нибудь документы есть съ вами?

— Со мною только два моихъ выигрышныхъ билета, а больше никакихъ документовъ у меня нѣтъ... Про какіе документы вы говорите?— все больше удивляясь, и ужъ начиная чего-то бояться, сказала княжна.

Ольга развела руками.

— Что-жъ мы теперь будемъ дѣлать?— почти трагически воскликнула она:— и какъ это мнѣ не пришло въ голову сразу спросить васъ! Поймите — безъ законнаго документа, бумаги, ну, паспорта, вы не можете жить ни у меня, и нигдѣ!

Нина начинала соображать.

— Понимаю,— проговорила она:— требуютъ моего паспорта, но, вѣдь, паспорты бываютъ только у прислуги, и потомъ вотъ когда ѣдутъ за границу, такъ получаютъ такія маленькія зеленькія книжки, и ихъ смотрятъ на границѣ.

Ольга нетерпѣливо пожала плечами.

— Вы совсѣмъ малый ребенокъ,—строго сказала она:—вотъ плоды великосвѣтскаго воспитанія! Вы не имѣете понятія о самыхъ простыхъ вещахъ. Однако, старшій дворникъ ждетъ, и съ этимъ шутить нельзя... Могутъ быть большія непріятности... Кончится еще тѣмъ, что васъ попросятъ въ полицію и съ жандармомъ вернутъ къ папашѣ и мамашѣ!

Нина сама чувствовала себя совсѣмъ глупой и безпомощной. Но вдругъ счастливая мысль пришла ей въ голову. Она вынула свой кошелекъ и подала Ольгѣ нѣсколько рублей.

— Милочка, ради Бога, вотъ... дайте ему это и попросите его оставить насъ въ покоѣ... Можетъ быть онъ согласится...

— Попробую... Только это и остается.

Ольга ушла, а маленькая княжна стала тревожно дожидаться ея возвращенія. Наконецъ, дверь отворилась. По лицу Ольги было видно, что все благополучно.

— Онъ взялъ,—объявила она:— и обѣщалъ ждать три дня, вотъ все, чего я добилась. Я наврала ему жестоко; но это не суть важно. Значитъ, *пока* вы можете успокоиться... Однако, нашъ поступокъ—подкупъ человѣка и отвращеніе его отъ исполненія обязанностей,—нельзя назвать похвальнымъ! Или вы объ этомъ другого мнѣнія, Нина?

Княжна ничего не отвѣтила. Она совсѣмъ даже не разслышала послѣднихъ словъ Ольги. Она сидѣла на диванчикѣ, въ ямкѣ возлѣ выскочившей пружины. Въ мысляхъ у нея было смутно, въ сердцѣ тяжко, и хотѣлось ей опять бѣжать, бѣжать подальше отъ всего, что она узнала и увидѣла, но куда бѣжать, она ужъ не знала.

Между тѣмъ Ольга Травникова говорила и говорила. Ей, очевидно, пріятно было найти слушательницу, незнакомую еще съ

«неприглядной стороной жизни», какъ она выражалась. Она, можетъ быть, также чувствовала потребность въ участіи.

Разглядѣвъ ее хорошенько, Нина замѣтила въ ней большую перемѣну. Это ужъ не была прежняя свѣжая дѣвушка, выдерживавшая учебныя занятія безъ всякаго ущерба для своего здоровья. Лицо ея осунулось, какъ послѣ долгой болѣзни, щеки поблѣднѣли, наивные и удивленные каріе глаза обвились темноватой тѣнью.

И вотъ она передавала Нинѣ разныя исторіи о своихъ подругахъ и знакомыхъ, и во всѣхъ этихъ исторіяхъ, несмотря на очевидное различіе характеровъ дѣйствующихъ лицъ и подробностей, чувствовалось поразительное, роковое однообразіе.

Тотъ же самый припѣвъ возвращался постоянно. Деньги, деньги и деньги. Нужда, нужда и нужда. Отсутствіе работы, сопряженное съ нищетой, отчаяніемъ, болѣзнью и всякими бѣдами. Найденная работа—непосильная, плохо оплачиваемая, едва хватающая на удовлетвореніе самыхъ первыхъ потребностей, а въ результатѣ такой непосильной работы опять разстроенные нервы, болѣзнь, отчаяніе и бѣды. Отъ начала и до конца—непрестанная, подавляющая все остальное, погоня за кускомъ хлѣба, за работой. А цѣль, конечная цѣль этого чрезмѣрнаго, губящаго и тѣло и душу напряженія — ея не было видно. Какая-то безсрочная каторга...

Нина слушала съ возраставшимъ ужасомъ. Она забыла ужъ о себѣ, о своихъ бѣдахъ и слушала. Ея чуткое сердце и ясная мысль охватывала сразу всю эту мрачную, безнадежную картину, понятную Ольгѣ только въ подробностяхъ.

Такіе разговоры продолжались и до обѣда, и послѣ обѣда, изготовленнаго Генріеттой Богдановной, восторженно поданнаго Сашей и показавшагося Нинѣ хоть и страннымъ, но очень вкуснымъ.

Наконецъ, она не выдержала.

— Довольно, довольно Ольга! — почти закричала она: — это все то же, все то же и ничего новаго, ничего болѣе ужаснаго быть не можетъ! Я не понимаю, какъ можете вы разсказывать эти вещи такъ спокойно, съ такимъ видомъ, какъ будто такъ оно и должно быть, какъ будто это... естественно!

— А что-жъ мнѣ, плакать что ли? Такъ, вѣдь, слезъ не хватитъ, — разсудительнымъ тономъ отвѣтила Ольга: — факты всесильны и, разъ они существуютъ, значитъ, они естественны...

— Какъ естественны!—будто маленькая красивая птичка хорохорилась Нина, сверкая синими глазками: — развѣ это естественно оставлять такое множество молодыхъ людей и дѣвушекъ, которые надрываются и чуть не умираютъ съ голоду! Развѣ это

естественно—давать имъ образованіе и потомъ бросать ихъ на произволъ судьбы? Надо, чтобы всѣ, всѣми силами, нашли корень зла, боролись съ такимъ ужаснымъ зломъ, побѣдили его и уничтожили!

— Бороться со зломъ, противиться всему злому—нельзя. Непротивленіе злу или злому—это первая заповѣдь нашего великаго учителя,—объяснила Ольга.

Нина разсердилась.

— Я съ ученіемъ графа Толстого незнакома,—сказала она:—если вы увѣрены, что онъ запрещаетъ вамъ бороться противъ зла—тѣмъ хуже для него и для васъ... Я знаю, что христіанамъ запрещено мстить врагамъ, что добродѣтельный человѣкъ обязанъ даже совсѣмъ смириться предъ своими врагами и за нихъ молиться. Только изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что надо терпѣть зло и, видя его, бездѣйствовать... Люди тонутъ, а я должна спокойно идти мимо; человѣка рѣжутъ, а я должна идти мимо, не постаравшись отнять ножъ у того, кто рѣжетъ! По вашему такъ выходитъ!.. Ахъ, какъ мило! Зачѣмъ же вы мнѣ говорили о любви къ ближнему, о служеніи человѣчеству? Какъ же это вы будете служить человѣчеству съ вашимъ непротивленіемъ всему злому? Вы будете служить только себѣ, своему безсердечію, лѣни, эгоизму!

Ольга спуталась въ мысляхъ и не знала, что отвѣтить на это. Она знала одно—великій учитель сказалъ: «не противься злу», знала, что тутъ же, въ скобкахъ, какъ позднѣйшее разъясненіе или поправка, стоитъ «злому».

Но она вспомнила очень важное.

— Все это не то, не то!—спѣша заговорила она.—Нельзя остановить гніенія, а все наше общество, съ его законами, устройствомъ, съ его наукой, искусствами—гніетъ, а потому надо спасаться отъ заразы, и уйти, оздоровить себя, чтобы не погибнуть безполезно...

Въ передней раздался самый безцеремонный оглушительный звонокъ.

— Евгеній! Онъ всегда такъ звонитъ!—воскликнула Ольга, недоговоривъ своей фразы, и побѣжала къ двери.

Нина ушла въ спальню. Она слышала мужскіе шаги, потомъ разговоръ вполголоса. Черезъ минуту показалась Ольга и шепнула ей:

— Это онъ, пойдемте, я васъ познакомлю... я его предупредила, сказала все, что надо... онъ очень, очень радъ познакомиться съ вами...

Длинный, сухой молодой человѣкъ, съ бѣлокурыми кудряшками, рыжеватою бородкой, большимъ носомъ и блѣдными, нервно

моргающими глазами, неловко поднялся съ диванчика. Онъ былъ одѣтъ въ старую суконную блузу, стянутую у таліи широкимъ кожанымъ поясомъ.

— Вотъ мой женихъ,—съ нѣкоторымъ смущеніемъ произнесла Ольга.

Нина улыбнулась и пожала его длинную руку. Она почему-то представляла его себѣ очень красивымъ, а потому онъ въ первую минуту показался ей не только дурнымъ, но и комичнымъ, такъ что она совсѣмъ изумилась выбору Ольги.

— А мы все споримъ,—сказала она, подсаживаясь къ окну у письменнаго столика.

— Да. да,—встрепенувшись перебила Ольга:—придите мнѣ на помощь, Евгеній! Докажите ей, что необходимо уйти изъ гніющаго общества и оздоровить себя!

Евгеній Вейсъ исподлобья пристально посмотрѣлъ на Нину, усѣлся на диванчикѣ (это было его обычное мѣсто) и, закуривая папиросу, началъ очень внушительнымъ тономъ:

— Неужели это еще надо доказывать? Вся современная цивилизація безполезна, всѣ науки и искусства тоже, потому что не могутъ принести человѣчеству никакой дѣйствительной пользы, все общество разложилось и гніетъ въ порокахъ, преступленіяхъ, лжи, фальши и стадной тупости. Вокругъ насъ не люди, а звѣри, звѣри! Мы сами ужъ стали обростать звѣриной шерстью. А потому мы скорѣе должны вернуть себѣ человѣческій образъ. Я вотъ теперь очень занятъ большой повѣстью «Смыслъ жизни». Хоть романы и повѣсти, и всякая, такъ-называемая, беллетристика, всякое искусство—сущій вздоръ, но я въ своей повѣсти развиваю очень важныя мысли. Мои мысли послужатъ дальнѣйшимъ развитіемъ ученія Льва Николаевича. Я только принялъ, сойдясь въ этомъ съ нашимъ великимъ учителемъ, форму повѣсти, какъ болѣе для всѣхъ доступную. Согласитесь, что такую работу нельзя покинуть, что ее необходимо кончить, какъ можно лучше и скорѣе!

Вейсъ вопросительно глядѣлъ на Нину.

Она, въ нѣкоторомъ смущеніи, кивнула головой.

— Такъ вотъ я и кончу, а когда кончу, тогда и уйду.

— Куда уйдете?—спросила она.

— Свезу «Смыслъ жизни» Льву Николаевичу... Онъ, я увѣренъ, вполнѣ одобритъ... Потомъ, получивъ его учительское благословеніе, я и уйду въ деревню... У меня ужъ есть на примѣтѣ такое мѣстечко. Буду жить въ маленькой хаткѣ, по-крестьянски, буду заниматься портняжнымъ ремесломъ, шить мужичкамъ жилетки... теперь, вѣдь вы знаете, они, поверхъ рубахи, все жилетки носятъ... такъ вотъ я и стану шить жилетки и наниматься на полевыя работы...

IX.

Нина глядѣла на Вейса такими же глазами, какъ и на Генріетту Богдановну, когда та произнесла таинственное слово «фитъ».

Потомъ ей пришло на мысль: не помѣшанный ли онъ, но она видѣла, что Ольга относится къ его словамъ спокойно и даже одобрительно киваетъ ему головой. Неужели оба они смѣются надъ нею? Все это шутка? Зачѣмъ же такая глупая шутка?! Нѣтъ, они слишкомъ серьезны, да Ольга и неспособна смѣяться надъ нею, а ужъ особенно теперь, и при человѣкѣ, котораго Нина видитъ въ первый разъ. Такъ что же все это значитъ?

Года полтора тому назадъ, по настоянію учителя словесности, Нинѣ было разрѣшено прочесть *Войну и Миръ*. Она читала этотъ романъ съ такимъ страстнымъ интересомъ, съ какимъ еще ничего не читала. Онъ оставилъ въ ней огромное и неизгладимое впечатлѣніе. Она почувствовала всю силу таланта русскаго художника, и съ тѣхъ поръ имя Льва Толстого сдѣлалось однимъ изъ ея любимыхъ именъ.

Она смутно слышала, что онъ сталъ писать какія-то странныя вещи, что онъ странно живетъ, шьетъ сапоги и пашетъ землю; но вокругъ нея этимъ нисколько не интересовались, и она забыла слышанное. Никакихъ газетъ, а ужъ тѣмъ болѣе русскихъ, ей не давали въ руки. Онѣ проносились утромъ въ кабинетъ князя, и никто въ домѣ не видалъ ихъ.

Теперь ей казалось яснымъ, что тутъ какая-то ошибка, что такой писатель не можетъ проповѣдывать того, что приписываетъ ему Ольга, не можетъ никого благословлять на бѣгство отъ живой дѣятельности въ обществѣ, отъ благородной, обязательной для всякаго умнаго и хорошаго человѣка борьбы противъ зла и... на шитье жилетокъ.

— Зачѣмъ же вы будете шить жилетки? — спросила она Вейса.—Развѣ у васъ особенная склонность къ этому занятію, призваніе?

— Какое же тутъ призваніе! — серьезно и важно отвѣтилъ онъ.—Необходимо выбрать себѣ какое-нибудь ремесло. Онъ тачаетъ сапоги, я буду шить жилетки. Онъ работаетъ съ крестьянами, и я буду тоже.

— Ахъ, понимаю!—догадалась Нина:—все это для здоровья! Теперь все гимнастика, массажъ, движеніе на воздухѣ, физическій трудъ... Мой отецъ каждый день дѣлаетъ гимнастику и говоритъ, что это ему очень полезно... Такъ вотъ, вѣрно, и графъ Толстой, онъ вѣдь, ужь старый человѣкъ, хочетъ поправить

здоровье и подольше жить... А вы, значитъ, тоже нездоровы? По лицу этого нельзя сказать...

Вейсъ посмотрѣлъ на нее, какъ ей показалось, довольно презрительно и перевелъ взглядъ на Ольгу.

Та покраснѣла за неумѣстную наивность своей пріятельницы и заговорила, спѣша объяснить ей ея дѣтскую ошибку:

— Нина, что вы такое говорите, причемъ тутъ массажъ, гимнастика! Я здорова, и Евгеній здоровъ тоже, но мы поѣдемъ въ деревню, онъ будетъ шить жилетки и пахать землю, а я, доить коровъ, прясть, ну, словомъ, буду дѣлать все, что дѣлаютъ крестьянки. Поймите, необходимо опроститься, совсѣмъ опроститься, жить съ народомъ и такъ жить, какъ живетъ народъ. Только при такой жизни мы будемъ людьми и достигнемъ истиннаго счастья... неправда ли Евгеній?

— Что-жъ объ этомъ спрашивать!—произнесъ Вейсъ.

Ольга внимательно на него смотрѣла. Она, какъ только онъ пришелъ, подмѣтила въ немъ что-то необычное и странное. Она чувствовала въ немъ какую-то не нравившуюся ей перемѣну. Онъ чѣмъ-то разстроенъ, или недоволенъ, или пораженъ. Теперь же, послѣ тона, какимъ онъ произнесъ эти слова, у нея ужъ не оставалось сомнѣній. Да, что-то случилось. Ей надо скорѣе спросить его, узнать, и нельзя: Нина мѣшаетъ, а вызвать его въ спальню при ней неловко...

Нина между тѣмъ спрашивала:

— Отчего же вы думаете, что народъ,—даже если онъ сытъ и у него есть все, что ему надо,—счастливъ? Отчего вы думаете, что всѣ мы въ грубомъ, тяжеломъ трудѣ и лишеніяхъ, отказавшись отъ нашихъ привычекъ, отъ наукъ и искусствъ, отъ умственныхъ наслажденій, будемъ счастливы, а не станемъ ужасно, ужасно страдать? И какъ же вы вотъ вчера, и еще сегодня утромъ говорили о необходимости достигать прогресса... въ интеллектуальномъ развитіи?

Ольга почувствовала себя очень неловко. Она сама никакъ не умѣла разобраться во всемъ этомъ. Она то и дѣло возвращалась къ своимъ прежнимъ, такъ недавнимъ, понятіямъ и путала ихъ со своей новой толстовской вѣрой.

Ей было такъ жаль разстаться съ «интеллектуальнымъ развитіемъ», съ женскими правами, съ любимыми, такими хорошими и побѣдоносными фразами, произнося которыя она чувствовала себя «развитою личностью», «передовою русской женщиной». Съ другой стороны, истина заключается въ ученіи Толстого, въ каждомъ его словѣ! Онъ одинъ открылъ новую вѣру, внѣ которой, все фальшь и обманъ.

Она видитъ, что общество гніетъ, что такъ жить нельзя и

что сама она, со смерти бабушки, живетъ сносно только до тѣхъ поръ, пока у нея еще есть деньги. Она вѣритъ и Толстому, и Евгенію, что будетъ счастлива, когда переселится въ деревенскую избушку, станетъ доить коровъ, прясть и дѣлать всякую черную работу, когда станетъ ѣсть пустыя щи, кашу и квасную тюрю. Она вѣритъ, хоть и не знаетъ, какимъ образомъ придетъ истинное счастье отъ такой жизни, издали кажущейся ей ужасною. Если и Толстой, и Евгеній—значитъ: такъ! И вотъ, какъ только будетъ оконченъ «Смыслъ жизни», они обвѣнчаются, уѣдутъ навсегда изъ Петербурга и сдѣлаются крестьянами...

А тутъ эта несносная Нина со своими вопросами, придирками!..

Она ей ничего не отвѣтила и была очень рада, когда заговорилъ Вейсъ.

— Что истинное счастье только тамъ, съ народомъ, и въ трудѣ народномъ, это фактъ!—сказалъ онъ.—Нашъ великій учитель не можетъ ошибаться; наконецъ, уже нашлись люди, повѣрившіе ему и достигшіе счастья. Примѣровъ такихъ все больше и больше. Вотъ, недавно, одинъ молодой князь, очень богатый человѣкъ, по совѣту Льва Николаевича, роздалъ все свое имѣніе, всѣ свои земли крестьянамъ, оставилъ себѣ всего десять десятинъ земли, воздѣлываетъ ее, живетъ какъ крестьянинъ, и счастливъ.

— Вы его знаете? Онъ самъ сказалъ вамъ, что счастливъ?— перебила его Нина.

— Онъ писалъ одному своему знакомому и я читалъ копію его письма.

— И самъ графъ Толстой такъ живетъ? И онъ самъ роздалъ все свое имѣніе бѣднымъ?—спрашивала Нина.

— Онъ хотѣлъ это сдѣлать. О! онъ хотѣлъ непремѣнно!— отвѣчалъ Вейсъ.

— Ну... и что-жъ?

— Да вотъ видите ли... жена его уговорила не дѣлать этого и взялась управлять всѣмъ его состояніемъ... Если-бъ не она, онъ навѣрное все бы роздалъ...

— Знаете, — сказала Нина: — это странно и... очень, очень жалко!

Она улыбнулась и прибавила:

— Вотъ этого я никогда бы не подумала... Значитъ, онъ просто только мечтаетъ о хорошихъ вещахъ, толкуетъ о нихъ, а самъ не исполняетъ... И до него всѣ слышали, что надо раздавать свое имѣніе нищимъ...

Ольгѣ стало неловко и совѣстно за княжну передъ Вейсомъ. Онъ же пришелъ въ глубокое негодованіе; ему хотѣлось найти что-нибудь язвительное и рѣзкое по адресу этой маленькой и

нарядной дѣвушки, осмѣлившейся «улыбаться» надъ его кумиромъ.

Ничего не найдя, онъ собирался ужъ просто напомнить ей басню о слонѣ и моськѣ. Но вдругъ эта басня навела его на болѣе, какъ ему казалось, удачное и эффектное сравненіе, слышанное имъ отъ одного ветхаго литератора, въ свое время пользовавшагося большимъ успѣхомъ и до сихъ поръ желающаго слыть остроумцемъ.

Онъ откинулся на спинку диванчика, заложилъ ногу за ногу и, отчаянно затянувшись папироской, пустилъ густой клубъ дыму черезъ всю комнату. Нина, съ непривычки, зажмурила глаза и закашлялась. Онъ не обратилъ на это никакого вниманія.

— Подобное отношеніе къ великому человѣку,—важно и съ достоинствомъ сказалъ онъ:—ни для кого непозволительно, да и совсѣмъ безполезно. Смѣшны могутъ быть только хулители этого титана мысли. Когда я слышу такія сужденія, какъ ваши, мнѣ всегда представляется Исаакіевскій соборъ и... блоха, скачущая передъ нимъ по площади... Что можетъ сдѣлать блоха Исаакіевскому собору, хотя бы она его не одобряла и питала въ себѣ намѣреніе пошатнуть его?!.

Нина съ изумленіемъ посмотрѣла на Вейса, потомъ на Ольгу, опять закашлялась отъ новаго клуба дыму, ушла въ спальню, заперла за собою дверь и сѣла на Ольгину кровать. Она почувствовала, что ей здѣсь совсѣмъ не мѣсто и что она не умѣетъ говорить съ этими людьми.

— Евгеній, ты слишкомъ рѣзко! Вотъ она обидѣлась, а она, вѣдь, у меня гостья и... ты не долженъ судить ее строго. Въ сущности, она хорошая дѣвушка, ее можно направить...—шопотомъ говорила Ольга, подсаживаясь къ Вейсу на диванчикъ.

— Она просто дура и ничего больше! -- раздраженно отвѣтилъ онъ, раздавливая окурокъ своей папиросы въ грязной чугунной пепельницѣ, стоявшей рядомъ на столикѣ.

Ольга зажала ему ротъ рукою, показывая глазами на дверь спальни.

Она хотѣла было пойти успокоить Нину и все сгладить. Но, вѣдь, тогда Нина опять придетъ сюда и будетъ упущена единственная удобная минута узнать, что же такое случилось съ Евгеніемъ, почему онъ сегодня такой странный?..

Она осталась на своемъ мѣстѣ, обняла Вейса, прижалась къ нему и вытягивала, какъ всегда это дѣлала вотъ уже четвертый мѣсяцъ, губы для поцѣлуя.

Обыкновенно поцѣлуй не заставлялъ себя ждать, былъ нѣженъ и продолжителенъ. На сей разъ случилось, однако, совсѣмъ другое. Вейсъ тихонько, но рѣшительно отстранялъ отъ

себя Ольгу, стараясь высвободиться изъ ея объятій. Онъ отвертывалъ лицо подальше отъ ея губъ.

Она поблѣднѣла и не выпускала его, боролась съ нимъ. Ея наивные глаза выражали теперь ужъ не изумленіе, а испугъ, и наполнились слезами.

— Евгеній! Господи, что-жъ это значитъ? Что такое случилось? Чѣмъ я провинилась передъ тобою?.. Не томи... скажи скорѣе... Вѣдь, нельзя же такъ!—шептала она дрожавшимъ голосомъ.

— Вы ничѣмъ не провинились, Ольга, я ровно ничего противъ васъ не имѣю,—произнесъ онъ наконецъ, избѣгая глядѣть на нее.

Онъ сдѣлалъ рѣшительное движеніе, оторвалъ отъ себя ея руки и поднялся съ диванчика.

Ольга видѣла, что онъ направляется прямо къ двери въ переднюю. Она кинулась за нимъ, подбѣжала къ двери, загораживая ее собою.

— Нѣтъ, вы такъ не уйдете: ты долженъ объясниться!—съ отчаяньемъ въ голосѣ шепнула она.

— Да я и не ухожу еще... мнѣ только надо взять въ передней изъ кармана пальто одну вещь,—сказалъ Вейсъ медленно и, повидимому, очень спокойно.

Ольга пропустила его, совсѣмъ растерявшись.

Онъ вернулся, неся въ рукѣ довольно засаленную литографированную тетрадь и торжественно воскликнулъ:

— Вотъ она!

— Кто она? Что... что такое?—спрашивала Ольга, идя за нимъ.

— «Крейцерова Соната»,—тѣмъ же торжествующимъ тономъ объяснилъ Вейсъ. — Наконецъ я ее добылъ и проштудировалъ. Двѣ ночи просидѣлъ надъ нею. Теперь я все понялъ, все ясно... Его геній никогда еще не достигалъ такой высоты и не возвѣщалъ міру такихъ великихъ истинъ!.. Вотъ, прочтите, Ольга, я долженъ уйти, у меня назначено свиданіе съ однимъ человѣкомъ, который завтра ѣдетъ къ Льву Николаевичу... Я вамъ ее оставлю, принимайтесь сейчасъ же за чтеніе, да хорошенько думайте надъ каждою строкой. Послѣзавтра, вечеромъ, я у васъ буду... устройте такъ, чтобы эта (онъ понизилъ голосъ и кивнулъ головою на дверь спальни) не помѣшала... въ крайнемъ случаѣ, приходите ко мнѣ, только во́ время напишите мнѣ съ посыльнымъ... Тогда вы прочтете... и мы поговоримъ...

— Хорошо,—въ волненіи перебила его Ольга, беря у него изъ рукъ литографированную тетрадь:—я прочту... сегодня же стану читать внимательно, съ восторгомъ... Только, Евгеній, вѣдь, ты все же ничего не объясняешь! Отчего ты не глядишь на меня? Зачѣмъ говоришь мнѣ «вы»?. Да не мучь же меня... Пришелъ

на минуту, уходишь такимъ... И ждать до вечера послѣзавтра! Евгеній!

Она опять потянулась, чтобы обнять его, но онъ быстро отошелъ.

— Это великое произведеніе все вамъ объяснитъ, Ольга... Пожалуйста, не волнуйтесь... прочтите, и тогда увидите, что мы чуть было не погубили другъ друга... увидите, что отнынѣ къ прошлому, гадкому и преступному прошлому, не должно быть возврата... До свиданья!

Онъ пожалъ ея руку и, прежде чѣмъ она могла опомниться, скрылся въ передней.

X.

Нина долго сидѣла на Ольгиной кровати и думала свои смутныя, тревожныя думы. Она ничего не слышала, а потому догадалась, что Ольга и Вейсъ говорятъ шопотомъ. Ей стало совѣстно: она стѣсняетъ своимъ присутствіемъ жениха и невѣсту. Она хорошо помнила, какъ еще недавно ей были несносны всѣ люди, даже самые близкіе и привычные, когда они мѣшали ея разговорамъ съ графомъ Ильинскимъ.

Вотъ она слышитъ мужскіе шаги, это Вейсъ ходитъ. Онъ что-то говоритъ громко, потомъ опять понижаетъ голосъ. Шаги удаляются. Ничего не слышно... Нина все сидѣла въ темной комнатѣ, едва-едва озаряемой блѣдными весенними сумерками, проникавшими въ глубокій, подобный колодцу, дворикъ пятиэтажнаго дома. Уже нѣсколько минутъ продолжалась полная тишина. Было только слышно звяканье ножей и вилокъ, очевидно чистившихся Сашей въ кухнѣ, да ея тоненькій голосокъ, мурлыкавшій однообразную деревенскую пѣсеньку.

Наконецъ, Нина рѣшила, что Вейсъ ушелъ, и обрадовалась этому. Что же, однако, дѣлаетъ Ольга? или и она ушла съ нимъ? не простясь... нѣтъ, этого быть не можетъ!

Тогда она подошла къ двери, нарочно громко нѣсколько разъ повертѣла ручкой и, пождавъ, отворила. Передъ письменнымъ столикомъ, гдѣ горѣла лампа, сидѣла Ольга съ засаленной литографированной тетрадью на колѣняхъ и съ очень страннымъ лицомъ.

Увидя Нину, она поднялась со стула, видимо очнувшись и выходя изъ глубокаго раздумья.

— Простите меня, Ольга,—прямо сказала свою мысль маленькая княжна:—я попала къ вамъ совсѣмъ не во-время и очень

вамъ мѣшаю... Потомъ... я такая спорщица, я разсердила и васъ, и вашего жениха... вотъ онъ ушелъ, и все я виновата!

— Что вы, Нина, что вы!—отвѣтила Ольга, опуская глаза:— это я извиняюсь и за себя, и за него. Я не понимаю, что съ нимъ такое сегодня, онъ никогда такимъ не былъ... убѣжалъ. невѣжливъ, за что-то на меня сердится... даже тоску нагналъ!

Она печально улыбнулась.

— Что это у васъ?—спросила Нина.

— А вотъ онъ принесъ... «Крейцерову Сонату» Толстого... Неужели вы не слыхали? Всѣ о ней давно говорятъ... Евгеній сказалъ, что это вещь геніальная, выше которой ничего нѣтъ, что въ ней рѣшены всѣ вопросы...

— Отчего она такъ... а не напечатана?

— Оттого... оттого, что великія вещи иногда не разрѣшаются къ печати!—многозначительно объяснила Ольга.—Но это, какъ видите, не мѣшаетъ ихъ распространенію! Напротивъ!—прибавила она.

Нина взяла у Ольги тетрадь и ее разглядывала.

— Тутъ даже не сказано, чье это сочиненіе...—замѣтила она.—Вотъ бы намъ съ вами прочесть громко! Хотите я начну читать, а потомъ вы?

— Я хотѣла вамъ это предложить... Такъ интересно! Только вотъ что, Нина: вы, пожалуй, съ непривычки, будете плохо разбирать литографію, а я привыкла. Я начну.

— Отлично!

Нина хотѣла было пойти на диванчикъ; но вернулась, вспомнивъ, что тамъ все время сидѣлъ Вейсъ и курилъ свой противный табакъ. Она сѣла у окошка. Ольга придвинулась къ лампѣ—и началось чтеніе «Крейцеровой Сонаты».

Нина была вся—вниманіе. Она готовилась наслаждаться твореніемъ своего любимаго писателя. Она слушала, не проронивъ ни одного слова.

На оживленномъ, подвижномъ лицѣ ея и въ синихъ выразительныхъ глазахъ отражались самыя разнородныя ощущенія. Она то глядѣла предъ собою скучающимъ взглядомъ, то вдругъ загоралась проснувшимся интересомъ, то стыдливо вспыхивала и готова была, отъ ужаса и отвращенія, закрыть глаза, зажать уши и крикнуть Ольгѣ, чтобъ она остановилась, что она не въ силахъ больше слушать.

Но она борола въ себѣ и досаду, и ужасъ, и отвращеніе—и слушала съ жаднымъ вниманіемъ.

Уже потрясенная открытыми ей Ольгой тайнами, съ которыми не могла примириться, она видѣла теперь такую смрадную

и безсмысленную картину человѣческаго общества, хуже какой ничего не могло быть.

Авторъ, устами полубезумнаго; циничнаго убійцы Позднышева, объявлялъ ей, что религіи нигдѣ нѣтъ, что изъ десяти вступающихъ въ бракъ, едва ли найдется одинъ, который бы серьезно относился къ супружеской вѣрности, что большинство людей смотрятъ на поѣздку въ церковь лишь какъ на извѣстное условіе для обладанія такой-то женщиной.

Нина слушала, что у людей нѣтъ совѣсти, собственной совѣсти, а есть только какая-то совѣсть общественнаго мнѣнія и уголовнаго закона. Любовь—ложь, потому что она никогда не бываетъ и быть не можетъ на всю жизнь, а бываетъ лишь рѣдко на годы, а чаще на мѣсяцы, недѣли, дни и даже часы.

Эта любовь происходитъ отъ излишне сытной пищи, и каждый мужчина чувствуетъ такую любовь ко всякой красивой женщинѣ. Иначе—не можетъ и быть. Любви, которую воспѣваютъ всѣ человѣческія искусства — нѣтъ, любовь не можетъ быть высокой, духовной, идеальной, она—мерзость, въ ней даже нѣчто свиное, о чемъ вспоминать мерзко и стыдно.

Бракъ—обманъ и неизбѣжное отношеніе мужа къ женѣ и жены къ мужу—только отвратительная, ужасная ревность и безсмысленная ненависть, взаимная ненависть сообщниковъ мерзкаго преступленія, то-есть брачной жизни.

Нина слушала, что вся цѣль женскаго воспитанія— выучить дѣвушку, какъ лучше прельщать мужчину и овладѣть имъ, что всѣ женскіе наряды и украшенія—безстыдны, что всѣ увѣрены будто женщина создана только для наслажденія мужчины, что отношенія между женихомъ и невѣстой, мужемъ и женой—простая «пакость», что всѣ искусства — поэзія, музыка, живопись, скульптура—одна лишь вредная гадость.

Нина слушала и еще болѣе страшныя, позорныя вещи и такія противныя слова, смыслъ которыхъ она только смутно угадывала, вся содрогаясь и краснѣя отъ стыда.

Все разрѣшилось омерзительной сценой убійства жены мужемъ. Тутъ проповѣдникъ какъ бы отошелъ въ сторону, проснулся мастеръ-художникъ, отыскалъ свои чудесныя краски, свою старую могучую кисть и нарисовалъ, въ мельчайшихъ подробностяхъ, картину, терзающую какіе угодно нервы.

Для чего же онъ рисовалъ все это, для чего поучалъ, проповѣдывалъ, изливалъ свою желчь? Для того, чтобъ имѣть возможность сказать, что бракъ есть мерзость, убійство и самоубійство, что любовь—грубый, животный инстинктъ и развратъ, что дѣтей не должно быть и родъ людской долженъ стремиться

къ самоуничтоженію, потому что въ этомъ самоуничтоженіи, въ прекращеніи человѣчества—его благо...

Нина совсѣмъ измучилась, чувствовала себя избитой нравственно, подавленной, уничтоженной, опозоренной.

Предъ нею вставали нѣкоторыя впечатлѣнія ея юной жизни, многое изъ того, что она подмѣчала вокругъ себя, въ своемъ кругу.

Она видѣла и чувствовала, что въ словахъ изверга Позднышева есть ужасная правда. Если одно—правда, другое—правда, смѣетъ ли она, такъ многаго совсѣмъ не знающая, утверждать, что вся эта смрадная, грязная картина человѣческаго общества—чрезмѣрное преувеличеніе, сочиненіе, клевета!

А если все, все это правда?!.

Вѣдь, вотъ же она сама, и до этого чтенія, послѣ того, что узнала отъ Ольги, плакала и повторяла: «какъ на свѣтѣ все гадко! какъ гадко!»

«Крейцерова соната» только досказала ей недоговоренное Ольгой, только назвала все это по имени: «пакость, гадость, свиное и стыдное». Такъ оно и есть, и въ такомъ случаѣ онъ правъ—пусть родъ человѣческій прекратится, только, чтобъ *этою* не было!

XI.

— Ольга, онъ правъ!—воскликнула она внѣ себя.—Какое счастье, что я не вышла замужъ! Богъ спасъ меня... Все это такой позоръ, такая ужасная, ужасная гадость, что надо бѣжать, навсегда бѣжать отъ этого, какъ можно дальше, и никогда не думать ни о чемъ такомъ... Скажите, вѣдь, вы согласны?

Ольга сидѣла, опустивъ руки, совсѣмъ блѣдная, и глядѣла на нее испуганными глазами.

Наконецъ, она заговорила глухимъ голосомъ:

— Да, вѣдь, онъ же самъ... онъ самъ писалъ, объявлялъ, что всѣ люди должны жить парами, что, если женщина хочетъ исполнить свое прямое, высокое назначеніе, если она хочетъ, чтобъ ее уважали—она должна быть женой и матерью! Вотъ что онъ говорилъ, вотъ что онъ писалъ... это его ученіе!.. Господи! какъ же это... что-жъ это теперь такое?!. И, вѣдь, вы сами, вы были согласны!

— Да, я была согласна, мнѣ казалось, что женщина должна быть женой и матерью,—сказала Нина:—но, вѣдь, я тогда еще не знала многаго... того, что вы мнѣ открыли...

— Но, вѣдь, онъ-то, онъ, вѣдь, хорошо зналъ все, чего вы не знали,—даже злобно крикнула Ольга.—Вѣдь, онъ самъ всю свою жизнь женатъ, у него куча дѣтей... онъ старикъ, и вотъ недавно у него родился ребенокъ! Онъ-то, вѣдь, зналъ и не считалъ мерзостью и пакостью! Гдѣ же правда? Какъ найти ее, когда мы всѣ вѣримъ каждому его слову, а онъ сегодня говоритъ одно, а завтра совсѣмъ другое, противоположное... Какой же это учитель!..

Нина, въ волненіи ходившая по комнатѣ, остановилась и съ печальною улыбкой сказала:

— Милая Ольга, какъ вы скоро отказались отъ вашего великаго учителя!.. Вотъ мнѣ теперь приходится защищать его передъ вами. Мнѣ кажется... что виноваты прежде всего вы всѣ. Только Богъ безъ грѣха и безъ ошибки, только Христа Спасителя можно называть великимъ учителемъ, потому что каждое Его слово—истина, и Онъ не могъ ошибаться... Вольно же вамъ такъ увлекаться!.. Вотъ теперь вы и видите, что вашъ учитель, сегодня говоритъ одно, а завтра можетъ сказать другое. Что же это значитъ? Это значитъ, что онъ вовсе не учитель, а самъ—ученикъ. Онъ ищетъ, гдѣ правда; ему кажется, что онъ нашелъ ее—и онъ увлекается и громко всѣмъ говоритъ: я нашелъ правду, вотъ она! А потомъ онъ видитъ, что это вовсе не правда, а что правда совсѣмъ другое. И онъ опять громко всѣмъ говоритъ: нѣтъ, вотъ она—правда, смотрите!

Ольга продолжала волноваться.

— Какъ же это? развѣ это возможно, развѣ это возможно!—повторяла она, глядя на Нину своими изумленными глазами:—какъ можетъ онъ говорить такъ утвердительно, такъ проповѣдывать—и противорѣчить себѣ! Вѣдь, онъ знаетъ, что многіе примутъ каждое его слово, какъ законъ, и станутъ поступать по этому слову, а если онъ потомъ скажетъ совсѣмъ иное—такъ, вѣдь, этимъ ему легко погубить, совсѣмъ погубить тѣхъ, кто послушался того, что онъ сказалъ раньше!

— Значитъ, онъ не думаетъ объ этомъ,—замѣтила Нина:—онъ просто дѣлаетъ свое дѣло, ищетъ правду и говоритъ обо всемъ томъ, что находитъ. Другой бы помолчалъ, а онъ молчать не можетъ... онъ ужъ очень вѣритъ себѣ... И, вѣдь, вотъ теперь онъ сказалъ такую правду!

— Почему же это правда? почему же правда—это, а не то, что онъ говорилъ прежде?—воскликнула Ольга.

— Потому что я чувствую, что это такъ,—отвѣтила маленькая княжна, сдвигая брови и строго глядя на Ольгу:—потому что это ужасная гадость, губящая человѣка, и отъ нея надо бѣжать!

Ольга вспыхнула и проговорила:

— Вы еще совсѣмъ ребенокъ, вы ничего не понимаете въ жизни, еще не можете судить объ этомъ.

— Да это не я такъ сужу, такъ судитъ онъ, вашъ великій учитель, а я только съ нимъ согласна,—усмѣхнулась Нина.

Ольга ничего ей не отвѣтила, подошла къ окну и долго, долго стояла неподвижно, забывшись, полная самыми тревожными, тоскливыми мыслями.

«Зачѣмъ же онъ раньше не досталъ «Крейцерову сонату»?—думалось ей:—вѣдь, можно было достать раньше, а онъ все откладывалъ...

Какія ужасныя слова онъ сказалъ: къ гадкому и преступному прошлому отнынѣ не должно быть возврата!.. Что-жъ это значитъ?!.»

Какъ ни гнала она отъ себя ужасную мысль, но не могла отогнать.

Изъ этихъ словъ, изъ поведенія Вейса и изъ «Крейцеровой сонаты» она ясно видѣла, что именно это значитъ.

Великій учитель сказалъ, что люди должны жить «парами»—и они рѣшили сдѣлаться парой. Они разсудили на основаніи словъ своего учителя, что ужъ одно это рѣшеніе равносильно совершившемуся браку и что потомъ, если для чего-нибудь это понадобится, всегда будетъ время устроить «церковный обрядъ». Пока же—это излишне, разъ существуетъ фактъ истиннаго брака, то-есть образовалась пара.

И они были очень счастливы, особенно Ольга, мечтавшая о великомъ призваніи женщины и желавшая, какъ можно скорѣе, его исполнить.

Медовой мѣсяцъ ихъ свободной любви, какъ имъ казалось, благословляемой высочайшимъ авторитетомъ учителя, имущаго власть разрѣшать и вязать, вовсе не былъ для нихъ «мерзостью», по словамъ Позднышева. Они не испытывали ни «стыда», ни «гадливости», ни «неловкости», ни «жалости», и имъ ничуть не было «до невозможности скучно».

Вейсъ, со своимъ длиннымъ носомъ, и Ольга, со своими наивными, изумленными глазами, были все же молоды и здоровы. Они исполняли законъ матерьяльной природы,—разъ имъ великій учитель не только разрѣшалъ, но рекомендовалъ образовать «пару»,—со всѣмъ блаженствомъ и наслажденіемъ, вложенными природой въ исполненіе этого величайшаго ея закона.

Можетъ быть ихъ остановило бы и удержало порицаніе, запретъ верховнаго авторитета. Но верховный авторитетъ былъ, какъ они знали, за нихъ, а потому никакое облачко не затемняло ихъ наслажденія. Для Ольги все было рѣшено, и бу-

дущность рисовалась ей хоть и туманными, но манящими красками.

И вотъ, налетѣла гроза. Раздалось *новое* слово учителя. Все, что было хорошо, законно, естественно, въ чемъ заключалось исполненіе высшаго призванія женщины, стало вдругъ мерзко и преступно.

И эта Нина, не имѣющая понятія о самыхъ простыхъ вещахъ,—туда же! Она тоже находитъ, что это мерзко и преступно, что отъ этого надо бѣжать!

А бѣжать ужъ поздно, никуда не убѣжишь, этихъ трехъ мѣсяцевъ не вернуть!

Ольга чувствовала себя и опозоренной, и совсѣмъ невиноватой. Она ненавидѣла теперь «великаго учителя» со всею страстностью, на какую она была только способна. Она завтра же пойдетъ къ Евгенію, откроетъ ему глаза, заставитъ его отказаться отъ ужасныхъ словъ, имъ произнесенныхъ... Какъ «нѣтъ возврата къ прошлому»? Что-жъ, онъ хочетъ ее бросить... бросить теперь, теперь?!

Она сейчасъ бы къ нему побѣжала, но ужъ поздно и неизвѣстно гдѣ онъ...

— Нина, у меня такъ трещитъ голова, что я едва держусь,— сказала она, сжимая себѣ голову руками:—я пойду спать.

— Я тоже лягу, я очень устала почему-то,—отвѣтила маленькая княжна.

Не прошло и получаса, какъ обѣ онѣ потушили свѣчи. Нина долго не спала, обдумывая свое положеніе. Ей казалось, что за этотъ день она прожила цѣлые годы, что она стала совсѣмъ другая и даже постарѣла. Все представлялось ей въ новомъ и печальномъ свѣтѣ.

Но прежде всего она знала, что ей нельзя оставаться здѣсь, нельзя и незачѣмъ стѣснять Ольгу. Надо скорѣе, скорѣе уйти... Куда уйти?..

Она вспомнила тихій женскій монастырь, верстахъ въ двадцати отъ ихъ имѣнія. Она вспомнила добродушную, всегда веселую матушку-игуменью Минодору, угощавшую ее въ густомъ запущенномъ саду очень вкусными вареньями и мягкими просфорами, вспомнила сыроватыя, скромныя кельи монахинь въ старинномъ монастырскомъ зданіи...

Тамъ хорошо, тихо и весь этотъ міръ, съ его открывшейся ей теперь мерзостью, такъ далеко. Тамъ бы отдохнуть, приготовиться къ жизни...

Но какъ же она поѣдетъ туда, не написавъ матушкѣ Минодорѣ и не получивъ ея отвѣта! Матушка Минодора просто благоговѣетъ передъ ея отцомъ и матерью; она хоть и добрая, а все

же ни за что не приметъ ее безъ ихъ согласія. Одинъ разъ прибѣжала къ ней дѣвушка, дочь богатаго помѣщика, которую родные уговаривали выйти замужъ за нелюбимаго человѣка, и вотъ игуменья, не говоря ни слова, послала за этими родными и сдала имъ съ рукъ на руки несчастную дѣвушку. Нина очень хорошо помнитъ всю эту исторію и разсужденія Минодоры о послушаніи родителямъ, которые, по ея мнѣнію, всегда мудры и желаютъ добра своимъ дѣтямъ.

Куда же идти? куда бѣжать теперь и отъ мерзостей жизни, и отъ старшихъ дворниковъ, требующихъ паспортъ?

Вдругъ Нина вспомнила про Марью Эрастовну—и удивилась на себя, какъ это до сихъ поръ о ней не подумала.

XII.

Марья Эрастовна, двоюродная сестра княгини Хрепелевой, не принадлежала къ петербургскому «обществу». Она къ нему не принадлежала только потому, что сама не хотѣла этого, ненавидя всякія стѣсненія, условности, моды. Величайшимъ благомъ жизни она признавала свободу, но, по своему характеру, понятіямъ и вкусамъ, никогда не злоупотребляла ею.

Она была дочерью богатѣйшаго помѣщика прежняго времени, хорошаго хозяина, домосѣда и скопидома. Она провела и дѣтство, и молодость въ глухой русской деревнѣ, настолько глухой, что до тридцатилѣтняго возраста не могла найти себѣ хоть сколько-нибудь подходящаго жениха.

Ей удалось выйти замужъ, только благодаря самому счастливому стеченію обстоятельствъ. Въ ихъ мѣстности, чего до тѣхъ поръ не случалось, былъ временно расквартированъ полкъ, а командиръ оказался еще далеко не старымъ, вдовымъ, и очень представительнымъ человѣкомъ. Словомъ, Марья Эрастовна вышла за этого полковника и сдѣлалась военной дамой.

Съ мужемъ она сошлась и жили они прекрасно, во взаимномъ согласіи.

Они открыли секретъ семейнаго счастія, заключавшійся въ періодическихъ и продолжительныхъ разлукахъ.

Мужъ служилъ, дѣлалъ военную карьеру, получалъ то одно, то другое назначеніе, переселялся съ сѣвера на югъ, съ востока на западъ. Марья Эрастовна слѣдовала за нимъ, нисколько не смущаясь такой кочевой жизнью. Но вотъ, что-то неуловимое, хоть и чувствуемое обоими начинало пробѣгать между женой и

мужемъ, какая-то тѣнь охлажденія, недовольства, скуки. Тогда Марья Эрастовна, не долго раздумавая, укладывалась и уѣзжала къ себѣ въ деревню, все равно—лѣтомъ или зимою, иногда на нѣсколько мѣсяцевъ, иногда на годъ, даже больше, смотря по внутреннему «самочувствію».

Каждый разъ послѣ такой разлуки супруги встрѣчались съ восторгомъ и будто вновь переживали молодость, будто вновь знакомились другъ съ другомъ.

У Марьи Эрастовны было двое дѣтей; но *этого* счастья судьба ей не дала: дѣти, ужъ не маленькія, умерли въ нѣсколько часовъ отъ страшнаго дифтерита. Марья Эрастовна мужественно пережила свое горе: только никогда его не забывала. Ея дѣти навсегда остались для нея живы, такъ что даже странно было ее слушать, когда она о нихъ говорила.

Между тѣмъ ея мужъ быстро подвигался по службѣ, получилъ большую извѣстность въ послѣднюю войну и, послѣ двадцатипятилѣтней супружеской жизни, умеръ заслуженнымъ и всѣми уважаемымъ генераломъ.

Марья Эрастовна, уже почти старуха по годамъ, но здоровая, моложавая и полная энергіи, осталась одна, безъ семьи и безъ близкихъ родныхъ. Единственный ея братъ, старый холостякъ, совсѣмъ неизвѣсто почему безвыѣздно жилъ во Флоренціи, въ купленномъ имъ тамъ за безцѣнокъ старомъ палаццо.

Марья Эрастовна была очень богата, а такъ какъ деньги всегда любятъ присоединяться къ деньгамъ, то она вдобавокъ получила послѣ мужа внушительную пенсію и аренду.

Наконецъ, умеръ и ея братъ, оставивъ ей, какъ единственной своей законной наслѣдницѣ, гораздо болѣе чѣмъ милліонное состояніе.

Что кругленькая генеральша богата—это знали всѣ; но никто и не подозрѣвалъ размѣровъ ея богатства. Сама же она о своихъ дѣлахъ никогда ни съ кѣмъ не говорила.

Она продолжала, и по врожденнымъ вкусамъ, и по привычкѣ, вести кочевую жизнь. Въ Петербургѣ у нея былъ собственный, большой доходный домъ близъ Владимірской, и тутъ, въ третьемъ этажѣ, издавна находилась ея квартира, комнатъ въ десять, если чѣмъ и поражавшая—такъ единственно простотою. Она пріѣзжала въ Петербургъ иногда среди зимы и оставалась до лѣта, но случалось и такъ, что вдругъ, проживъ недѣли три, неожиданно для нея самой, уложится и ѣдетъ то въ одно свое имѣніе, то въ другое, а то куда-нибудь за границу и, по большей части, въ такія мѣста, куда обыкновенно, никто даже и не ѣздитъ.

Петербургская родня давно ужъ всѣми способами подбивала

Марью Эрастовну обратиться къ дамской благотворительной дѣятельности и предлагала ей устроить предсѣдательствованіе въ разныхъ «кружкахъ» и «обществахъ». Однако, кругленькая генеральша, съ присущимъ ей веселымъ упорствомъ, всегда и отъ всего отказывалась, позволяя себѣ даже подтрунивать надъ дамской благотворительностью.

Разсерженные родственники, а главное, родственницы, не разъ готовы были объявить ее Плюшкинымъ; но для этого не хватало достаточныхъ основаній,—Марья Эрастовна, хоть и довольно просто жившая и одѣвавшаяся «какъ бѣдная учительница», скупости все же не выказывала и, чтобы только отъ нея отвязались, давала благотворительницамъ значительныя суммы на ихъ «кружки» и «общества».

Новыхъ знакомствъ генеральша заводить не любила, старыхъ у нея было не особенно много, въ родственныхъ домахъ, начиная съ дома Хрепелевыхъ, ее встрѣчали не безъ почета: ея странный видъ, безцеремонная рѣчь и «вульгарныя» манеры прощались ей ради ея богатства и возможности оказаться въ числѣ ея наслѣдниковъ. Она со всей своей дальней, хоть и многочисленной родней была всегда ласкова, добродушна, но до сихъ поръ никому не оказывала явнаго предпочтенія и не допускала съ собою никакихъ интимностей. Въ этомъ отношеніи она была кремень, а при слишкомъ назойливыхъ поползновеніяхъ на ея свободу просто исчезала, оказывалась уѣхавшей.

Къ маленькой княжнѣ Хрепелевой она благоволила, какъ и всѣ, знавшіе Ninette, и даже одинъ разъ подарила ей прелестную бѣлую пушистую собачку съ черными умными глазами и въ дорогомъ ошейникѣ. Этотъ подарокъ произвелъ значительное впечатлѣніе, такъ какъ Марья Эрастовна никому не дѣлала никакихъ подарковъ, ни взрослымъ, ни дѣтямъ.

Когда Нина, на слѣдующее утро послѣ чтенія «Крейцеровой сонаты», пріѣхала къ генеральшѣ и откровенно разсказала ей все, она должна была выдержать своего рода бурю. Марья Эрастовна съ покраснѣвшимъ лицомъ, въ ситцевомъ капотикѣ, измѣряя свою небольшую простенькую спальню частыми шагами коротенькихъ ногъ—бранилась по военному.

— Ай-да княжна!—говорила она, разводя руками.—Нечего сказать, умница! Дура-дурой! Изъ мухи слона сдѣлала...

— Mais, ma cousine...—начала было Нина.

— Это еще что такое?—крикнула Марья Эрастовна:—что я тебѣ за кузина! Нечего французить, меня этимъ не задобришь... Я тебѣ не кузина, а тетка, двоюродная тетка, а ты мнѣ двоюродная племянница... Я тебѣ старуха, а ты мнѣ глупая дѣвченка—такъ и знай!

Нина поняла, что вся эта брань, и военный тонъ—только ради сохраненія приличій, а что въ глубинѣ сердца тетушка вовсе не сердится и не считаетъ ее настоящей дурой. Поэтому она стала цѣловать Марью Эрастовну и пустила въ ходъ всѣ свои ужимки, доставившія ей удовольствіе получить въ подарокъ прелестную собачку.

Марья Эрастовна, однако, не сдавалась.

— Не стрекози!—опять крикнула она и даже топнула ногой.

Отъ такого никогда неслыханнаго ею, но весьма образнаго глагола Нинѣ стало совсѣмъ весело.

Она очень смѣшно передала сцену появленія госпожи Хазенклеверъ съ извѣстіемъ, что «старьши тфорникъ требувайтъ фитъ».

— Такъ что-жъ, ты воображаешь—это я должна скрывать тебя отъ полиціи?—сказала Марья Эрастовна.—Ты заварила прескверную и преглупую кашу, а я должна ее расхлебывать! Вмѣсто того, чтобы придти въ себя и вернуться домой, ты хочешь перебраться ко мнѣ? Такъ?

— Да, и если вы меня прогоните—я не знаю, куда пойду, но знаю, что домой не вернусь добровольно... Если же меня вернутъ силой—я опять убѣгу. Въ этомъ я даю вамъ слово,—печально и спокойно проговорила Нина, внезапно остывая и блѣднѣя послѣ своей веселости и возбужденія.

— Да, вѣдь, ты совсѣмъ сумасшедшая!—также спокойно, и пристально глядя на нее, сказала Марья Эрастовна.

— Такъ ужъ прибавьте: сумасшедшая безнадежно,—шепнула маленькая княжна.

Марья Эрастовна позвонила, велѣла горничной подать кофе и стала подробно разспрашивать обо всемъ. Выпивъ свою чашку, она сказала Нинѣ:

— Слушай... тебѣ нечего возвращаться на Васильевскій островъ, напиши записку этой Ольгѣ, я пошлю человѣка, и онъ привезетъ оттуда твои вещи. А ты сиди здѣсь. Я сейчасъ поѣду къ твоимъ и ужъ знаю, что буду говорить... пожалуйста, не учи меня и въ это не вмѣшивайся... Сиди здѣсь смирно и жди. Постой... Пойдемъ-ка, я тебѣ покажу твою комнату...

Она провела Нину въ простенькую, какъ и вся квартира, но уютную, веселую маленькую гостиную.

— Вотъ тутъ тебѣ кровать поставятъ, тутъ туалетъ... ничего, сойдетъ?—объяснила она и вдругъ подошла къ Нинѣ, обняла ее и крѣпко поцѣловала.

— Ахъ ты моя сумасшедшая, сумасшедшая!.. И кто бы подумалъ! Райская птичка какая-то, колибри... а презанозистая!

— Тетя! милая...—такъ и прильнула къ ней Нина, глядя ей въ глаза своими синими, полными слезъ глазами.

— То-то же—тетя, милая!.. Ахъ ты «ма кузина» этакая!.. Ну... одѣнусь и ѣду, авось Богъ поможетъ все уладить, какъ слѣдуетъ...

XIII.

Такимъ-то образомъ въ судьбѣ княжны Ninette, отвергнутой обществомъ и осрамившей своихъ, всѣми уважаемыхъ, родителей, произошла внезапная и рѣшительная перемѣна.

Какъ всегда бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда, по какимъ-то таинственнымъ законамъ, неизбѣжно должна совершиться судьба человѣка,—всѣ препятствія мгновенно разсыпались прахомъ. Маленькая княжна дѣйствовала наивно, смѣшно и даже предосудительно. Она завязала тайныя сношенія съ «музыкантомъ», проникла въ его холостую квартиру; не могла понять, что такое «фитъ»; сочла документами свои два выигрышные билета; подлежала вѣдѣнію не только явной, но и тайной полиціи. А въ результатѣ для нея оказалось,—спокойное переселеніе къ тетушкѣ Марьѣ Эрастовнѣ.

Чѣмъ больше въ тотъ день думали Хрепелевы о предложеніи, сдѣланномъ имъ этой хоть и вульгарной, но богатой кузиной, тѣмъ яснѣе они понимали, что самъ Богъ послалъ имъ ее.

Не будь Марьи Эрастовны въ Петербургѣ и не отнесись она такъ къ этой «ужасной, погибшей дѣвченкѣ»,—что бы они дѣлали! Князь не спасъ бы себя никакой гимнастикой отъ апоплексическаго удара. Княгиня зачахла бы отъ позора и преступная дочь не дала бы ей ни одной спокойной минуты.

Марья Эрастовна все устроила.

А когда княгиня упорно повторяла ей, что теперь у нея нѣтъ дочери, она прямо сказала:

— Ну и прекрасно, ты вотъ, душа моя, и постарайся забыть о ней. Я за тебя стану думать. Видно судьба... ничего не подѣлаешь...

Княгиня упала на грудь кругленькой генеральши и такъ долго рыдала и плакала, что подъ конецъ совсѣмъ успокоилась.

Она рѣшила сдѣлать визиты самымъ близкимъ людямъ и объяснить имъ все, что надо.

Она это исполнила на слѣдующій же день и съ честью вышла изъ своего тяжелаго положенія.

Ее встрѣчали съ недоумѣніемъ и не безъ замѣтнаго предубѣжденія, но черезъ нѣсколько минутъ она успѣвала возбудить къ

себѣ жалость и уѣзжала отовсюду, сохранивъ къ себѣ уваженіе.

Про Ninette отъ княгини узнавали, что она стала страдать ужасными нервными припадками.

«Что же тутъ дѣлать!.. Божье наказаніе... нашъ нервный вѣкъ... это въ воздухѣ носится какая-то зараза, психопатія.. Шарко... леченіе гипнотизмомъ... Она не выноситъ ни малѣйшаго замѣчанія, сейчасъ въ истерику... Во время припадка вырвалась изъ дому и убѣжала къ теткѣ... Vous savez—ma cousine, Марья Эрастовна, la veuve du general... Она хоть и чудачка, но добрая женщина, одинокая et avec ça богата очень... пожалуй, до двухъ милліоновъ... Она особенно любитъ эту несчастную дѣвочку, оставила ее у себя, уговорила насъ... будетъ лечить, повезетъ къ Шарко... Мы согласились... Что же намъ дѣлать, у насъ другія дѣти... Кэтъ выростаетъ... Да, наказалъ насъ Богъ!.. и я, и мужъ, мы совсѣмъ убиты... Ѣдемъ на Страстную и на Святую къ себѣ, а потомъ за границу... Бѣдный Валентинъ боится удара, у него такіе приливы въ головѣ, ему надо серьезно лечиться... А я—вы видите, на что я стала похожа!..»

Княгиня, дѣйствительно, имѣла самый поблекшій и жалкій видъ—и нельзя было не пожалѣть ее.

Насколько оказалось возможнымъ исправить дѣло, оно было исправлено.

Въ «свѣтѣ» даже акціи Ninette, совсѣмъ упавшія, значительно поднялись.

На Святой уже всѣ знали, что она больна, что ее будетъ лечить Шарко и что богатая тетка дѣлаетъ ее наслѣдницей двухъ милліоновъ. Ну, а при вкладѣ двухъ милліоновъ поднимаются акціи даже какого угодно общества, не то что молодой дѣвушки.

— А какъ же тотъ пѣвецъ... музыкантъ... Аникѣевъ?—спрашивали любопытные.

— Женится что-ли на ней и получаетъ два милліона?!.

— Какъ же ему жениться, когда онъ женатъ!..

— И притомъ, кажется, все это вздоръ, сплетни и ничего больше, говорятъ, они совсѣмъ и незнакомы. Князь Вово клянется, что онъ самъ его ей представилъ за нѣсколько минутъ до скандала, тогда, на вечерѣ у Тулубьевой...

— Да, Наталья Порфирьевна вчера еще все подробно разсказывала княгинѣ Гатариной, она-то, вѣдь, знаетъ...

— Что же она говоритъ?

— Elle dit que son artiste protégé n'y est pour rien.

— Тѣмъ хуже для него, два милліона не шутка...

— Да стоитъ ли толковать объ этомъ господинѣ!. Ильинскій вотъ, что Ильинскій?!

— Д-а-а! промахнулся Ильинскій! Entre nous... онъ, говорятъ, просто локти себѣ кусаетъ...

Послѣ Святой уже никто больше не думалъ обо всей этой исторіи.

Начинался разъѣздъ изъ Петербурга. Лѣтняя программа у всѣхъ была рѣшена и подписана. Наступало затишье. Общество прощалось до слѣдующаго сезона.

XIV.

А Нина жила въ своей уютной комнатѣ у Марьи Эрастовны, не имѣя никакого понятія обо всѣхъ этихъ толкахъ и сплетняхъ.

Она мало интересовалась своими свѣтскими знакомыми, всѣми этими лицами, окружавшими ее за короткое время ея выѣздовъ и представлявшимися ей теперь будто видѣнными только во снѣ.

Она чувствовала себя совсѣмъ какъ бы и не въ Петербургѣ, а въ какомъ-то новомъ городѣ и даже въ новой странѣ. На душѣ у нея было тихо, спокойно, какъ бываетъ утромъ, когда человѣкъ, заснувшій наканунѣ нездоровымъ, просыпается и чувствуетъ, что нездоровье прошло во время сна.

Да, это утро—и впереди цѣлый день, и надо подумать и рѣшить, какъ провести его.

Нина знала, что передъ нею день и собиралась о немъ думать, но еще не думала. Ей было хорошо. Единственное, что отравляло ея тихое, хорошее настроеніе, была, часто возвращавшаяся, тоскливая мысль о любимой сестрѣ, Кэтъ. Теперь Кэтъ, какъ ей казалось, ушла отъ нея навсегда—и это было ей очень больно.

Но—что же дѣлать!—Нина уже знала, что полнаго счастья никогда нѣтъ и не можетъ быть на свѣтѣ.

— Тебѣ не скучно? — на второй день Свѣтлаго Праздника спросила ее Марья Эрастовна: — не скучно? Говори только правду...

— Когда же было соскучиться, тетя?—отвѣтила Нина.

— Видишь-ли что, я думала въ началѣ Ѳоминой выбраться изъ Петербурга и ѣхать съ тобой въ деревню, ну а потомъ, можетъ-быть, и за границу. А вотъ тутъ нежданно дѣло у меня большое подвернулось. Дѣло случайное, выгодное, упустить его

я не хочу. Придется намъ засидѣться весь апрѣль, да пожалуй, и больше половины мая... Такъ ты ужъ не пеняй на меня.

Нина только съ изумленіемъ взглянула ей въ глаза и покачала головой.

— Что же ты намѣрена дѣлать?—спросила Марья Эрастовна.—Что ты о себѣ «ма кузина», думаешь и какъ бы желала жизнь свою провождать?... Или ты обо всемъ этомъ подумать еще не удосужилась?

— Удосужилась, тетя, много объ этомъ думаю,—съ серьезнымъ, даже строгимъ лицомъ и сдвигая брови, медленно заговорила Нина. — Я теперь отдыхаю, въ себя прихожу. Только скоро ужъ начну жить и жить буду не такъ, какъ прежде...

— А какъ же?

— Совсѣмъ по новому. Видите-ли, тетя, это невозможно разсказать и рѣшить заранѣе. Я увѣрена, что жизнь сама будетъ приходить ко мнѣ или посылать мнѣ то одно, то другое. И вотъ тогда я и буду дѣлать то, что мнѣ надо.

— Ты, кажется, мать моя, ужъ заговариваться начинаешь, разобрать тебя что-то мудрено...

— А вы все-таки постарайтесь, тетя, разберите! я не хочу жить для себя одной, а хочу жить прежде всего для всѣхъ тѣхъ, кого судьба будетъ посылать мнѣ навстрѣчу... Человѣкъ идетъ по своей дорогѣ и то и дѣло встрѣчается, сталкивается съ другими людьми, идущими тоже каждый своею дорогой. Иной разъ столкнутся два человѣка на короткую только минуту, только на ту минуту, когда пересѣкаются ихъ дороги. Другой разъ они идутъ рядомъ довольно долгое время. Случается и такъ, что они идутъ рядомъ всю жизнь. Такъ вотъ и я хочу, чтобы всѣ, кто будетъ сталкиваться со мною на минуту или на-долго, имѣли во мнѣ добраго дорожнаго товарища...

— Я хочу, — говорила она, разгораясь, сіяя своими синими глазами и дѣлаясь до того прелестной, что Марья Эрастовна начинала глядѣть на нее съ несвойственнымъ ея характеру умиленіемъ:—я хочу, изо всѣхъ силъ хочу, чтобы всякому, кто на короткое или на долгое время идетъ рядомъ со мною, было легче идти, легче, чѣмъ если-бы меня рядомъ не было.

— Ты, мать моя, философъ! —сказала кругленькая генеральша, подняла брови и все, не отрываясь, глядѣла на Нину.

— Не знаю, кто я. Можетъ-быть, и очень глупая, только я объ этомъ давно, давно ужъ думаю. И вотъ я знаю, что жить иначе нельзя, что только живя такъ, я буду счастлива. Можетъ-быть, я никогда не сумѣю облегчить путь моихъ дорожныхъ товарищей, можетъ-быть, несмотря на все мое желаніе, на всѣ мои усилія, я ничего для нихъ не сдѣлаю или вмѣсто добра невольно

дамъ имъ одно зло, тогда я буду очень несчастна. Но только нѣтъ, Богъ не допуститъ этого, я такъ сильно хочу и вѣрю, что Богъ мнѣ поможетъ...

Марья Эрастовна вдругъ встала и ушла къ себѣ въ свою спальню.

Она сама не отдавала себѣ отчета что съ нею,—и все же была смущена и разстроена.

Она присѣла къ столу, у котораго обыкновенно писала свои дѣловыя письма и гдѣ, въ запертыхъ ящикахъ, лежали ея бумаги. Она выдвинула одинъ изъ ящиковъ, вынула пакетъ, стала перечитывать вложенные въ него письма и документы, относившіеся къ дѣлу, задержавшему ее теперь въ Петербургѣ.

Ей предстояла необыкновенно выгодная покупка огромнаго доходнаго дома. Придется похлопотать, отдать на это дѣло мѣсяцъ времени—и она будетъ получать процентовъ пятьдесятъ съ затраченнаго капитала. Это не первое выгодное дѣло въ ея жизни. Она давно ужъ удачно и ловко, совсѣмъ по-мужски, занимается дѣлами.

Есть у нея очень выгодный и удобный помощникъ, такой Иванъ Иванычъ, старецъ бодрый, умудренный опытомъ, великій мастеръ на разныя дѣла и сдѣлки. Марья Эрастовна когда-то и чѣмъ-то одолжила его «по-гробъ жизни». Съ тѣхъ поръ онъ чувствуетъ къ ней мистическій трепетъ и служитъ ей какъ вѣрная собака—за самое умѣренное вознагражденіе. Только онъ одинъ и можетъ знать, насколько она богата, какъ при ея скромной жизни, при ея наслѣдственномъ скопидомствѣ, съ каждымъ годомъ растетъ и растетъ ея состояніе...

Прочла Марья Эрастовна письма и документы, и вдругъ ей стало скучно. Странное дѣло, она обыкновенно никогда не скучала.

Она заперла ящикъ стола и вернулась въ Нинину комнату.

Маленькая княжна сидѣла у окна все съ тѣмъ же выраженіемъ въ лицѣ, съ тѣми же вдохновенно сіявшими глазами.

Марья Эрастовна подошла къ ней и положила ей руку на плечо.

— Такъ ты хочешь жить для другихъ... хочешь облегчать своихъ дорожныхъ товарищей?!... глупая дѣвочка... вотъ теперь сошлись наши съ тобой дороги, я—твой дорожный товарищъ...

Ея громкій, веселый голосъ дрогнулъ, и она не договорила своей мысли.

Опять хотѣла она уйти, но осталась и все глядѣла на Нину, будто старалась понять что-то—и еще не понимая.

XV.

На Святой, послѣ холодовъ, вѣтровъ и даже гололедицы, наступили теплые, ярко красные дни, какіе иной разъ задаются въ Петербургѣ въ концѣ марта и въ началѣ апрѣля. Запоздавшая было весна сразу сдѣлала нѣсколько шаговъ впередъ.

Весна чувствовалась во всемъ, и Нина ощутила ее неясной тревогой, нетерпѣливымъ раздраженіемъ, жаждой движенія, дѣятельности, жизни, а по временамъ—тихой, пріятной грустью.

До сихъ поръ она почти не выходила изъ дома, только нѣсколько разъ выѣзжала съ Марьей Эрастовной въ каретѣ, спустивъ на лицо густой вуаль.

Когда изрѣдка у Марьи Эрастовны появлялись гости, Нина ни за что не хотѣла ихъ видѣть и оставалась въ своей комнатѣ. Если въ домѣ никого не было, она неслышно проходила въ большую гостиную, подсаживалась къ роялю и не-то-что играла, а тихо наигрывала свои любимые мотивы.

Цѣлые часы она проводила за чтеніемъ. По ея просьбѣ Марья Эрастовна перевезла ей всѣ ея книги. Каждый вечеръ, ложась спать, она долго читала Евангеліе и Апостольскія Посланія, вдумывалась въ каждое слово, то и дѣло справлялась со своими записками, составленными ею со словъ ея законоучителя.

Передъ Страстной она заѣхала въ книжный магазинъ и купила сочиненія Фаррара. Объ этихъ книгахъ она давно уже слышала и давно хотѣла познакомиться съ ними. Но въ прошломъ году княгиня рѣшила, что это для нея черезчуръ серьезно, а въ послѣдніе мѣсяцы, во время выѣздовъ и свиданій съ женихомъ, графомъ Ильинскимъ, она сама о нихъ позабыла.

Теперь же она принялась за нихъ съ жадностью.

На Страстной Нина вмѣстѣ съ Марьей Эрастовной говѣла во Владимірской церкви, но была недовольна своимъ говѣніемъ, никакъ не могла поднять себя и удержать на высотѣ должнаго настроенія, уже знакомаго ей по прежнимъ годамъ. Къ Свѣтлой Заутрени ей попасть не удалось, такъ какъ Марья Эрастовна во время говѣнія простудилась, а кромѣ нея не съ кѣмъ было отправиться въ церковь.

Но вотъ настали эти теплые весенніе дни, и Нина пришла въ новое настроеніе, сказавшееся прежде всего тѣмъ, что она увидѣла во снѣ Аникѣева и стала о немъ думать.

До сихъ поръ она ни о комъ особенно не думала, не думала и о немъ. Теперь же ей очень захотѣлось его видѣть.

Что онъ о ней думаетъ... столько времени прошло! Она обѣщала написать ему и не написала. Теперь, именно теперь не-

обходимо съ нимъ увидаться, поговорить. Вѣдь, все ужъ совершилось, и у нея накопилось многое, что она хотѣла бы сказать ему. Да и спросить его ей тоже нужно о многомъ.

А вдругъ его нѣтъ въ Петербургѣ?! Всѣ разъѣзжаются... Что если онъ уѣхалъ и совсѣмъ не вернется? Что если онъ столкнулся съ нею въ жизни только на одинъ мигъ, и дороги ихъ разошлись навсегда!

Нина, дойдя до этой мысли, испугалась и даже вся похолодѣла. Вотъ она о немъ не думала, какъ будто совсѣмъ позабыла его, но вспомнивъ, почувствовала, что онъ такъ же нуженъ ей послѣ всего, что случилось, даже еще нужнѣе.

И вмѣстѣ съ этимъ вспомнила она свое впечатлѣніе, вынесенное отъ него. Она рѣшительно и смѣло говорила себѣ, что и она ему точно такъ же нужна. Нѣтъ, она не даромъ его встрѣтила, не даромъ была у него, она должна, должна его видѣть...

— Тетя,—сказала она за обѣдомъ Марьѣ Эрастовнѣ:—вы помните, что я вамъ говорила объ Аникѣевѣ?

— Помню, въ чемъ же дѣло?

— Я хочу его видѣть...

Марья Эрастовна подняла брови.

— На всякое хотѣнье есть терпѣнье—это разъ, а во-вторыхъ, гдѣ же ты это собираешься съ нимъ встрѣтиться? Что ты побѣжала къ этому господину въ забвеніи чувствъ—это я еще хоть и съ трудомъ, но все-таки понять могу. Теперь же ты, надѣюсь, вышла изъ забвенія чувствъ, можешь понимать свои поступки, и нечего мнѣ объяснять тебѣ, что бѣгать по мужскимъ холостымъ квартирамъ—невозможно.

— Я это понимаю, тетя, а потому прямо прошу васъ позволить мнѣ написать ему и пригласить его сюда, къ вамъ.

Марья Эрастовна поморщилась.

— «Ма кузина», ты мнѣ совсѣмъ не нравишься. Ты затѣяла пустое!—болѣе серьезно, чѣмъ шутливо сказала она.

И Нина почувствовала, что наткнулась на серьезное препятствіе. Но она не смутилась и заговорила очень спокойно:

— Тетя, милая моя, я вижу, что намъ разъ навсегда надо рѣшить кое-что важное. Я васъ очень люблю и люблю все больше и больше... это правда!.. Я такъ рада, что вамъ нравлюсь и что вы взяли меня къ себѣ. Я поѣду съ вами, куда хотите... и въ деревню, и за границу... куда хотите, мнѣ все равно... Но я могу жить съ вами только въ одномъ случаѣ...

— Ну-съ?—неопредѣленно спросила Марья Эрастовна.

— Если вы будете довѣрять мнѣ... совсѣмъ, совсѣмъ довѣрять и оставите меня свободной... Если же вы думаете, что, я,

вотъ теперь, когда здорова, и когда меня никто не мучаетъ, и не проклинаетъ, могу сдѣлать что-нибудь дурное и гадкое, тогда я не могу у васъ жить...

— Видишь ли, «ма кузина», если-бъ я считала тебя дурной и гадкой, то ты теперь не сидѣла бы передо мною, и мы бы съ тобой не говорили,—остановила ее Марья Эрастовна.—Но ты забываешь, что ты еще почти дитя, хотя и начиталась и надумалась немало. Ты можешь не хотѣть ничего дурного, а все-таки сдѣлать это дурное по непониманію... Подожди, поживи, стань сначала взрослой...

— Тетя, Аникѣевъ порядочный, благовоспитанный человѣкъ, человѣкъ съ удивительнымъ, чуднымъ талантомъ... увѣряю васъ, и вѣрьте мнѣ... Когда вы его увидите, вы сами скажете, что знакомство съ нимъ ни для кого на свѣтѣ не можетъ быть дурнымъ дѣломъ. Я не могу жить, не имѣя знакомыхъ, или знакомясь съ такими людьми, которые мнѣ не интересны...

— Да ты влюблена въ него что ли?! — перебила ее Марья Эрастовна, пристально глядя ей въ глаза.

Нина спокойно выдержала этотъ взглядъ и у нея вырвалось:

— Богъ съ вами, тетя! И ради Бога не говорите мнѣ никогда о влюбленности, это такая гадость!..

Ея живое лицо выразило настоящее отвращеніе.

— Вотъ какъ! — произнесла Марья Эрастовна. — Такъ для чего же онъ тебѣ нуженъ? Заговоръ у васъ съ нимъ что ли какой? Что за тайна?..

— Когда вы увидите его, такъ и узнаете эту тайну,—отвѣтила Нина:—умоляю васъ, будьте такъ милы, позвольте мнѣ написать ему и пригласить его. Я ничего не хочу дѣлать тайкомъ отъ васъ, но мнѣ необходимо его видѣть. Если его нѣтъ въ Петербургѣ, если онъ уѣхалъ, я просто приду въ отчаяніе... Ну, тетя, тетя... добренькая, позвольте!..

— А коли не позволю?!

— Тогда я все же напишу ему и назначу свиданіе на улицѣ,— серьезно и рѣшительно отвѣтила Нина.

Марья Эрастовна подумала, качнула головою и разрѣшила.

— Пиши, посмотрю, что за птица... И завтра, и послѣ-завтра вечеромъ я дома, а днемъ занята... Такъ ужъ пусть прямо вечеромъ.

Нина, какъ ребенокъ, прыгнула со своего стула и стала обнимать и громко цѣловать Марью Эрастовну.

Но та была не въ духѣ.

XVI.

Послалъ свою пригласительную записку Аникѣеву, Нина очень волновалась. Ей чудилось, что отъ свиданья съ нимъ зависитъ нѣчто очень, очень важное въ ея судьбѣ. Не отвѣтитъ онъ, уѣхалъ изъ Петербурга—значитъ, ей грозитъ неудача во всѣхъ ея планахъ и замыслахъ жизни. Здѣсь онъ, придетъ—значитъ, все хорошо,—хорошо есть и будетъ.

Онъ отвѣтилъ коротко, сухо, оффиціально, что исполнитъ ея приказаніе и явится въ назначенный часъ.

Она такъ обрадовалась, что не обратила даже вниманія на тонъ его отвѣта, который въ другое время непремѣнно показался бы обиднымъ ея юному самолюбію.

Съ утра уже она чувствовала себя въ возбужденномъ состояніи, какъ человѣкъ, давно жившій въ полномъ одиночествѣ и ожидающій скораго свиданія съ самыми близкими родными и друзьями. Это было именно такое чувство: все близкое, родное и интересное теперь заключалось для нея въ Аникѣевѣ. Почему это такъ, откуда взялось это—она ничего не понимала, да и не спрашивала себя объ этомъ.

Несмотря на всю свою живость, она такъ ужъ умѣла владѣть собою, что Марья Эрастовна, зорко за нею слѣдившая, ровно ничего въ ней не замѣтила.

Аникѣевъ въ назначенное время, то-есть, ровно въ половинѣ восьмого вечера, явился. Марья Эрастовна была сильно не въ духѣ. Она и досадовала на себя за то, что согласилась на сумасбродное желаніе Нины, и въ то-же время сознавала, что не согласись она—и эта занозистая, полоумная, но уже милая ей дѣвчонка сдѣлаетъ что-нибудь еще несуразнѣе.

Пусть ужъ лучше всѣ ея глупости будутъ открыты, у нея на глазахъ.

Однако, что-же подумаетъ этотъ господинъ, что онъ вообразитъ? Какова роль ея, Марьи Эрастовны?

«А чортъ съ нимъ! Пусть думаетъ, что хочетъ!..»—рѣшила она и въ то же время почувствовала, что если Нининъ пѣвецъ ей не понравится, она все-же сразу оборветъ это.

Когда о немъ доложили, она сказала Нинѣ:

— Оставайся пока у себя, тебѣ нечего мнѣ представлять его. Я сначала одна выйду въ гостиную, а потомъ ужъ и ты можешь.

Увидя предъ собою нѣсколько смущенное, блѣдное и усталое лицо Михаила Александровича, она поразилась въ немъ сходствомъ съ кѣмъ-то. Но съ кѣмъ—не могла вспомнить. Что-

то знакомое, очень знакомое, далекое и милое для нея было въ этомъ человѣкѣ. И притомъ совсѣмъ не такимъ она его себѣ представляла.

Она пригласила его сѣсть и, со свойственнымъ ей спокойнымъ апломбомъ, объяснила ему по своему всѣ обстоятельства. Она даже рекомендовала себя, какъ большую любительницу музыки и пѣнія, хотя въ дѣйствительности до сихъ поръ была довольно равнодушна ко всѣмъ искусствамъ. Она даже солгала, что много слышала о немъ, Аникѣевѣ, давно хотѣла съ нимъ познакомиться, но нигдѣ не могла его встрѣтить, такъ какъ живетъ въ Петербургѣ обыкновенно не долго и не бываетъ въ обществѣ.

— Вы ужъ меня, старуху, извините,—говорила она:—я человѣкъ простой, такъ сказать, отставная полковая дама. Не пріѣхали-бы вы такъ вотъ, безъ церемоніи, я бы и сама къ вамъ поѣхала, не смутилась...

«Шутъ бы побралъ эту Нинку,—думала она:—экую ерунду я порю по ея милости!.. Коли дуракъ—такъ повѣритъ!..»

Аникѣевъ не то что вѣрилъ или не вѣрилъ, а просто чувствовалъ себя очень неловко. Приглашеніе Нины его даже разсердило, но онъ не нашелъ въ себѣ силы, по своему характеру, огорчить эту маленькую хорошенькую психопатку, быть съ нею невѣжливымъ. Конечно, въ немъ было при этомъ и нѣкоторое любопытство посмотрѣть, что все это значитъ и что такое творится теперь съ Ниной. Была въ немъ, наконецъ, и злость: онъ зналъ отъ Вово о сплетнѣ, соединившей его имя съ именемъ Ninette... все это было необычно, дико, странно,—а онъ любилъ необычное.

Его смущенье скоро прошло. Кругленькая генеральша, хотя мысленно и бранилась, и толковала что-то не совсѣмъ подходящее, все-же сразу ему понравилась. Онъ отвѣтилъ ей приличными по обстоятельствамъ фразами, поблагодарилъ за вниманіе, любезность и комплименты, и ждалъ—какъ выйдетъ и что скажетъ Нина.

Она вышла очень спокойная по виду, крѣпко сжала его руку, сѣла напротивъ него и глядѣла ему въ глаза съ непонятнымъ вопросомъ въ глубокихъ синихъ глазахъ.

Онъ нашелъ, что она измѣнилась въ эти три съ половиною недѣли, будто выросла, будто стала больше женщиной. И при этомъ она еще похорошѣла. Онъ любовался ею. Неловкое молчаніе началось и продолжалось. Но ни Аникѣевъ, ни Нина его не замѣчали; замѣчала его только Марья Эрастовна.

«Охъ, влюблены! Ишь глядятъ другъ на друга!.. Охъ, чтобъ васъ—изволь теперь возиться!..»

Наконецъ, Аникѣевъ сообразилъ, что надо прервать молчаніе, и заговорить съ Ниной. Хотя маленькая княжна и отдала ему торжественно свою братскую дружбу, но все-же въ такой обстановкѣ, при этой совсѣмъ новой и совсѣмъ еще непонятной кругленькой старушкѣ—какой интересный разговоръ могъ быть между «братцомъ и сестрицей?»

Аникѣевъ ухватился за еднистенное: онъ заговорилъ о Вово.

— Я никого съ тѣхъ поръ не видала,—сказала Нина:—и его тоже. Онъ всегда называлъ себя моимъ другомъ и, если-бы хотѣлъ меня видѣть, могъ бы пріѣхать сюда, тетя его знаетъ... я бы его приняла. Я его люблю, онъ добрый... Очень жаль... Я вижу, что и онъ теперь меня боится...

— Не взводите на него напраслины, княжна,—перебилъ ее Аникѣевъ:—его уже давно нѣтъ въ Петербургѣ. Около двухъ недѣль тому назадъ я получилъ отъ него записку, всего нѣсколько словъ: «прости, ради Бога, прости! Буду писать изъ Рима. Вернусь скоро». И я его простилъ. Простите его и вы, княжна, вѣдь, онъ всегда такъ, и на него нѣтъ возможности сердиться. Почему такъ неожиданно, въ одну минуту? Что ему Римъ и что онъ Риму?!. Вернется, станетъ объяснять и—ничего не поймешь... Его надо брать такимъ, каковъ онъ есть, и надо его любить, потому что, несмотря на все, онъ все-же лучшій изъ лучшихъ.

— Да, вы правы,—задумчиво сказала Нина, и нѣсколько минутъ поговорили они о хорошенькомъ князѣ.

Марья Эрастовна слушала и пристально смотрѣла на Аникѣева.

— Знаете, что?—вдругъ перебила она ихъ бесѣду:—на свѣтѣ бываютъ странныя, поражающія сходства. Вотъ гляжу я на васъ, Михаилъ Александровичъ, какъ только вы вошли, и все удивляюсь: на кого вы похожи, необыкновенно похожи! Только сейчасъ вспомнила. Въ моей молодости знала я одну чудесную свѣтскую дѣвушку. Она даже мнѣ свойственницей приходилась, и я ее очень любила... Нельзя было не любить ея! Красавица была, доброты ангельской, музыкантша, какъ пѣла!.. Вотъ и въ этомъ опять съ вами сходство... Я тогда зиму проводила въ Петербургѣ, въ домѣ у дяди Лотухина, выѣзжала тоже, и мы подружились, хотя и совсѣмъ ужъ не подходили другъ къ другу. Я деревенщина, толстушка, дурнушка. Меня отецъ иначе, какъ тумбой, и не называлъ никогда. Она, говоря изящнымъ «штилемъ»,—греза поэта! Она покоряла всѣхъ, изъ-за одной ея улыбки братья и закадычные друзья готовы были перерѣзаться и перестрѣляться. Всѣ думали, что ее ждетъ какая-нибудь высокая, счастливая доля. А между тѣмъ...

Но Аникѣевъ ужъ понималъ. Онъ не хотѣлъ, чтобы Марья Эрастовна продолжала.

— Мнѣ кажется,—сказалъ онъ, перебивая ее:—вы говорите о графинѣ Садовской, о Софьѣ Михайловнѣ... о моей матери...

Марья Эрастовна даже поднялась съ кресла и ротъ разинула, а потомъ ударила себя своей маленькой толстой рукой по лбу.

— Батюшки, вотъ затменіе-то! Да, вѣдь, я знала, что она вышла замужъ... и фамилію помнила. Нечего сказать, хороша! Такъ вы сынъ нашей Софи? Ну, знаете, милый мой, это ужъ совсѣмъ другое... дайте мнѣ обнять васъ!

Она по родственному взяла руками голову Аникѣева и крѣпко поцѣловала его въ лобъ.

Въ одно мгновеніе всѣ они оживились, и больше всѣхъ преобразился Михаилъ Александровичъ.

Онъ говорилъ о матери, разспрашивалъ, какимъ-же это образомъ Марья Эрастовна совсѣмъ потеряла ее изъ виду: вѣдь, они такъ часто жили въ Петербургѣ.

Марья Эрастовна объяснила ему всѣ обстоятельства своей жизни, свои скитанія, свою нелюбовь къ Петербургу, куда она, особенно въ прежніе годы, пріѣзжала только по необходимости и на короткое время. Потомъ они перебрали свое свойство и родство и то и дѣло находили общихъ дальнихъ родственниковъ, какъ это всегда случается между русскими дворянами.

Нина молча и внимательно слушала, слушала и радовалась: теперь знакомство ея, свиданія съ Аникѣевымъ обезпечены; тетя тряхнула стариной, ушла въ воспоминанія молодости и вонъ какъ ласково глядитъ на Аникѣева... Да и онъ совсѣмъ оживился!

Ахъ, какъ хорошо, какъ весело!

XVII.

Оживленная бесѣда между Аникѣевымъ и Марьей Эрастовной продолжалась и въ столовой, куда они перешли пить чай около десяти часовъ. Кончилось тѣмъ, что Михаилъ Александровичъ совсѣмъ побѣдилъ сердце кругленькой генеральши.

Самъ же онъ, подъ вліяніемъ ея воспоминаній и резсказовъ о покойной Софьѣ Михайловнѣ, впалъ въ грустно-пріятное, музыкальное настроеніе. Онъ ощущалъ какъ-бы близость своей матери, что съ нимъ случалось время отъ времени. Это ощущеніе всегда приносило ему атмосферу его дѣтства и юности, всегда рождало въ душѣ міръ образовъ и звуковъ, просившихъ воплощенія.

Такъ случилось съ нимъ и теперь—онъ долженъ былъ пѣть.

Таинственнымъ, но неизмѣннымъ процессомъ въ немъ созрѣвала импровизація.

Когда они снова пришли въ гостиную,—онъ прямо направился къ роялю.

Нина восхищенно переглянулась съ теткой. Онѣ сѣли рядомъ на диванчикъ, въ глубинѣ комнаты. Нина такъ вся и насторожилась.

Будто тихія волны, медленно набѣгая одна на другую, полились съ клавишей рояля. Потомъ издали донеслись звонкія трели соловьиной пѣсни. Но вотъ все стихло, открывалась какая-то таинственная завѣса, пахнуло какъ бы душистой теплотою—и пробужденный, задумчивый голосъ запѣлъ:

Полночныхъ розъ сильнѣй благоуханье,
Весь замеръ садъ въ объятьяхъ тишины,
Все глубже тѣнь, и все яснѣй сіянье
Изъ-за вѣтвей прокравшейся луны...

И Нина видѣла передъ собою эту чудную ночь, и тишина обступила ее, и благоухали розы, посеребренныя луннымъ сіяньемъ...

Откуда-же взялась эта весенняя ночь, со всей полнотою своего обаянія? Не сонъ-ли это?

И вотъ, сейчасъ-же отвѣчая ей, голосъ пѣвца поднимался выше и выше, разгорался вдохновеніемъ:

Не свѣтлый сонъ незримою рукою
Передо мной завѣсу распахнулъ,
Нѣтъ, не во снѣ далёкою весною
Мой старый садъ вновь на меня дохнулъ...
Не ты-ль мечта, давно забытый геній,
Мнѣ принесла воскресшіе цвѣты,
Не ты-ль зовешь изъ мрака привидѣній
Въ завѣтный міръ безсмертной красоты?..
Передъ тобой не скрою я страданья
Незримыхъ ранъ, невыплаканныхъ слёзъ...
О, мчи меня въ безбрежныя сіянья
Счастливыхъ грёзъ!..

Сколько порежитаго страданія, сколько долгой, тайной тоски, сколько душевныхъ слезъ слышалось въ этихъ звукахъ... И Нинѣ хотѣлось плакать, хотѣлось нѣжной, безконечной лаской залѣчить эту тоску, это страданіе, высушить эти тайныя слезы. Ей хотѣлось унестись вмѣстѣ съ измученнымъ поэтомъ въ безбрежныя сіянья счастливыхъ грезъ, въ завѣтный міръ безсмертной красоты—чистой, высокой, безгрѣшной, какъ эта весенняя ночь, какъ эти могучіе, вдохновенные звуки.

Марья Эрастовна сидѣла, задумчиво опустивъ голову.

Опять зашептали волны—и стихли...

— Боже мой, какъ ему не грѣхъ нападать на искусство, считать лишнимъ, вреднымъ, грѣховнымъ!—воскликнула внѣ себя Нина.

— Кому?—спросилъ Аникѣевъ, будто просыпаясь и отходя отъ рояля.

— Толстому... въ «Крейцеровой Сонатѣ».

— А вы развѣ читали?

— Матушки! когда-жъ это ты успѣла?—встрепенулась Марья Эрастовна.

— Я прочла съ Ольгой Травниковой, у нея,—просто отвѣтила Нина.

Кругленькая генеральша качала головою.

— Михаилъ Александровичъ, я не читала,—обратилась она къ Аникѣеву:—говорятъ, это ужасно... правда?

— И да, и нѣтъ, тамъ много страшной истины; но такъ же много и преувеличенія; во всякомъ случаѣ, это не для легкаго чтенія и... такой молодой дѣвушкѣ, какъ княжна, читать совсѣмъ бы не слѣдовало, — говорилъ Аникѣевъ. — Я помню, мнѣ было лѣтъ двѣнадцать, одинъ очень почтенный монахъ меня сталъ исповѣдывать по подробному требнику... Я многихъ грѣховъ совсѣмъ не понималъ и, думаю, до сихъ поръ бы, несмотря на всю мою грѣховность, не зналъ бы объ ихъ существованіи. Но монахъ счелъ нужнымъ дать мнѣ всѣ объясненія. Я ушелъ отъ него съ ужасомъ и омерзѣніемъ въ душѣ, я долго думалъ, что если въ мірѣ такіе отвратительные и безсмысленные грѣхи и если даже дѣти моихъ лѣтъ могутъ такъ грѣшить, а иначе зачѣмъ-же было меня о нихъ спрашивать, то люди совсѣмъ не должны существовать... Мнѣ кажется, княжна, что и вы это-же самое чувствовали послѣ «Крейцеровой Сонаты». Такъ, вѣдь?

— Да, вы угадали, — вспыхнувъ, произнесла Нина: — только вотъ-же вы сами говорите, что много ужасной правды...

— И въ требникѣ тоже правда,—сказалъ Аникѣевъ:—но изъ этого еще не слѣдуетъ, что нелѣпѣйшіе грѣхи, существованія которыхъ человѣкъ, проживя всю жизнь, можетъ совсѣмъ и не подозрѣвать, составляютъ общее правило, обычное явленіе даже и въ дѣтяхъ... А Толстой именно говоритъ обо всемъ, какъ объ общемъ правилѣ:.. Однако, онъ-ли говоритъ? «Крейцерова соната» возбуждаетъ столько толковъ, что, можетъ-быть, онъ самъ объяснитъ, гдѣ тутъ его собственныя мысли... Пока-же я думаю, что устами Позднышева говоритъ вовсе не авторъ.

— Почему-же вы такъ думаете?—нетерпѣливо спросила Нина.

— Потому что мнѣ странно предположить, что Толстой выбралъ въ провозвѣстники своихъ убѣжденій Позднышева, вложилъ свои мысли въ уста помѣшаннаго человѣка. А что Позднышевъ помѣшанный, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Толстой, со всѣмъ своимъ талантомъ, создалъ живой образъ помѣ-

шаннаго. Онъ придалъ ему всѣ черты, всѣ, какъ внутренніе, такъ даже и внѣшніе признаки ненормальности, психической болѣзни. Не только врачъ, но и всякій, кто видалъ сумасшедшихъ и маньяковъ, ошибиться въ Позднышевѣ не можетъ.

Нина задумалась.

— Такъ вы увѣрены, что тамъ очень много преувеличеній?— спросила она.

— Конечно, вѣдь, вотъ вы сами воскликнули, что онъ грѣшитъ, считая искусство вреднымъ и ненужнымъ... Такъ и во многомъ другомъ. Но много тамъ и правды, часто встрѣчающейся въ нашемъ обществѣ, и эта правда сказана съ огромною силой!.. Только выводы Позднышева—выводы помѣшаннаго, страдающаго idée fixe маньяка, и не могутъ быть выводами здравомыслящаго человѣка. Если есть люди, даже много людей, которые совсѣмъ заглушили въ себѣ духовнаго человѣка и живутъ, какъ звѣри—это еще не значитъ, что все человѣчество превратилось въ стадо животныхъ. Если Позднышевы, хотя-бы имя имъ было легіонъ, не понимаютъ ни истинной любви, ни настоящаго брака—это еще не значитъ, что совсѣмъ и нѣтъ любви, и что бракъ мерзость. Если музыка Бетховена на кого-нибудь имѣла дурное вліяніе и помѣшаннаго человѣка подтолкнула на гнусное преступленіе—это еще не значитъ, что искусство, высшій изъ даровъ природы, подлежитъ позорному истребленію. Провозглашать все это, требовать этого и видѣть спасеніе отъ зла въ прекращеніи человѣчества можетъ только безумецъ, такъ правдиво изображенный Толстымъ.

Аникѣевъ замолчалъ.

Молчала и Нина. У нея явились и новыя мысли, и новыя ощущенія. Она была согласна съ Аникѣевымъ и радовалось, что въ «Крейцеровой Сонатѣ» такъ много преувеличеній. Но все-же оставалось для нея много неяснаго, оставались тяжелыя противорѣчія. Она хотѣла-бы поговорить обо всемъ этомъ съ Аникѣевымъ, и ей жаль было, что именно съ нимъ объ этомъ говорить нельзя, и она никогда не рѣшится.

— Непремѣнно достану «Крейцерову Сонату» и прочту!—сказала Марья Эрастовна.

XVIII

Они не замѣтили, какъ кто-то позвонилъ въ передней, какъ отворили двери. Въ гостиную входилъ высочайшій сухой старикъ съ гладко выбритымъ лицомъ и бѣлою, какъ снѣгъ, головой. Благообразный и даже важный, весь въ черномъ и съ черепахо-

вымъ pince-nez на широкой лентѣ, онъ походилъ на отставного министра; но былъ всего-на-всего Иваномъ Ивановичемъ, скромнымъ стряпчимъ, «по гробъ жизни» преданнымъ генеральшѣ.

— Простите, ваше высокопревосходительство, что я въ столь позднее и неурочное время рѣшился васъ побезпокоить,—говорилъ онъ, направляясь къ Марьѣ Эрастовнѣ:—новость есть небольшая по нашему дѣлу, такъ не хотѣлъ тянуть, надо бы къ завтрашнему утру имѣть отъ васъ инструкціи.

— И прекрасно, что не теряете времени, Иванъ Ивановичъ,—отвѣтила ему, вставая, Марья Эрастовна:—пожалуйста, пройдите, и я за вами...

Иванъ Ивановичъ «прошелъ», а Марья Эрастовна обратилась къ Аникѣеву:

— Извините, дѣла! Этотъ господинъ какъ захватитъ, такъ не скоро выпускаетъ, человѣкъ онъ обстоятельный... но, вѣдь, вы еще посидите!

Такимъ образомъ Аникѣевъ съ Ниной остались вдвоемъ.

Она подсѣла къ нему поближе, взглянула ему въ глаза и улыбнулась. Въ этой улыбкѣ было что угодно: и безсознательное кокетство, и признаніе въ своей радости, и просьба о снисхожденіи.

— Вы на меня не сердитесь?—тихо спросила она.

Аникѣевъ отвѣтилъ ей ласковымъ взглядомъ.

— Если-бъ и было за что,—сказалъ онъ:—развѣ можно сердиться на васъ, когда вы умѣете такъ улыбаться!.. Вѣдь, мы друзья, я такъ и считаю... вы сами мнѣ предложили дружбу... Кажется, у васъ все устроилось, и устроилось хорошо? Я очень радъ за васъ, въ Марьѣ Эрастовнѣ ошибиться нельзя, и я чувствую, это видно сразу, она васъ любитъ.

— Да, слава Богу, мои дѣла устроились хорошо, и такъ быстро, такъ быстро! Я скоро начну жить, я ужъ отъ всего прежняго отдохнула, и скоро начну жить! А вы вотъ поблѣднѣли... vous êtes bien triste, bien fatigué! Это нехорошо и этого не должно быть!

— Запретите, да такъ, чтобы я не смѣлъ васъ ослушаться,—съ печальной улыбкой проговорилъ Аникѣевъ.—Вылѣчите меня,—je ne demande pas mieux!

— Чтобы лѣчить, надо знать болѣзнь, а я, вѣдь, ничего не знаю,—отвѣтила ему Нина.—И ни о чемъ я не смѣю васъ спрашивать и знаю, что моя навязчивость просто неприлична, что она можетъ васъ навсегда оттолкнуть отъ меня... и непремѣнно я должна знать, отчего вы такой, потому что больше желать вамъ добра и счастья, чѣмъ я желаю, нельзя, нельзя!

Не въ первый разъ слышалъ Аникѣевъ такія слова. Часто

его и жалѣли, и желали ему счастья, и увѣряли его въ чистой братской любви и дружбѣ... И когда онъ не хотѣлъ понять, вѣрнѣе, дѣлалъ видъ будто не понимаетъ, что эта чистая любовь и дружба лишь дипломатическая или военная хитрость, на него сердились.

Но тутъ было совсѣмъ не то — Аникѣевъ чувствовалъ, что къ нему стремится дѣйствительно чистая, юная душа, проснувшаяся для жизни и полная всякой благодати. Онъ ужъ не охлаждалъ себя разсужденіемъ о томъ, что Нина «психопатка». Ему просто вдругъ стало хорошо и уютно съ нею, отъ нея вѣяло на него тепломъ, и ея синіе прекрасные глаза ровно ничего не говорили его чувственности; но много говорили его очень уставшему сердцу. Кто-жъ и пойметъ его, кто-жъ и пожалѣетъ, какъ не такое юное созданіе, еще не успѣвшее умудриться жизнью, еще не научившееся считать и глупостью и пустяками то, отъ чего стонетъ душа бѣднаго художника!..

— Смотрите-же, не пеняйте потомъ на меня! — упавшимъ голосомъ, едва слышно, сказалъ онъ Нинѣ.—Не пеняйте на меня, если моя дружба принесетъ вамъ тягость! Между нами цѣлая бездна... но, можетъ быть, вы и черезъ эту бездну меня разслышите и поймете... Я въ васъ вѣрю, сейчасъ, вдругъ повѣрилъ! и мнѣ не трудно, не стыдно сказать вамъ все, только всего сразу не скажешь. Пока — знайте одно изъ многаго: есть такое, что мнѣ дороже и ближе всего въ мірѣ, и это самое дорогое и близкое у меня отнимаютъ, губя этимъ и его, и меня...

— Господи! что-жъ это такое?—широко раскрывая глаза и даже блѣднѣя, прошептала Нина.

— Это моя дочь, моя Соня.

Маленькая княжна нѣсколько мгновеній не могла произнести ни звука.

— У васъ есть дочь? Вы женаты?—наконецъ, воскликнула она.

— Да, я женатъ... только ужъ давно убѣжалъ отъ моей жены... видите, какой я ужасный человѣкъ, какой я неподходящій другъ для молодой дѣвушки...

Она молчала совсѣмъ пораженная. Но потомъ шепнула:

— Ради Бога говорите все, что можете.

Тогда онъ разсказалъ ей все, что могъ, относительно и Сони, и своего разоренія и той безысходности, въ которую поставили его дѣйствія Лидіи Андреевны, рѣшившейся во что бы ни стало заставить его вернуться къ ней...

— Это все? Вы мнѣ все сказали?—почти рѣзко, строго спросила Нина.

— Нѣтъ, не все... только довольно и этого.

— Не таите, ничего не таите! — настойчиво, почти плача,

требовала Нина.—Теперь вы ужъ не можете, не должны ничего таить отъ меня... Такъ пришлось, такъ надо... Вы сказали, что повѣрили въ меня, то-есть, повѣрили въ то, что я достойна вашей дружбы и откровенности. Не теряйте этой вѣры! Я все сдѣлаю, все, чтобъ облегчить ваше горе, найти для васъ выходъ... Я не знаю, что я могу, но вѣрю, Богъ мнѣ поможетъ... Не холодѣйте, не думайте, не разсуждайте, а скажите все!

Но онъ ужъ не могъ не думать, на него повѣяло холодомъ, ему стало неловко и стыдно за себя, за свою глупость.

«Какъ пошлый мальчишка разнѣжился и выложилъ передъ бѣдной, доброй дѣвочкой весь этотъ мракъ, всю эту путаницу!— думалось ему.—Что-жъ это? говорить ей еще и объ Алинѣ, посвящать ее и въ эту тайну?! Да, вѣдь, это было бы не только пошло и глупо, а просто безнравственно...»

Долго ждала Нина; но онъ молчалъ, и она рѣшилась:

— Такъ я сама скажу вамъ: вы кого-нибудь любите!

Онъ молчалъ.

— Ну, и не говорите. Я и безъ вашихъ словъ это вижу. Иначе быть не можетъ, такъ всегда бываетъ... И мнѣ кажется, что все ваше горе, самое ужасное ваше горе отъ этой любви...

Она воодушевилась и говорила будто подъ наитіемъ:

— Ваша любовь несчастна... не потому, что ея не раздѣляютъ... Я увѣрена, что и васъ тоже любятъ. Но все-таки она несчастна, потому что ея не должно быть... Я чувствую, что эта любовь нехорошая—и вотъ она омрачаетъ вашу душу, влечетъ ея къ гибели...

Аникѣевъ разсердился.

— Вы пророчествуете, княжна,—насмѣшливо сказалъ онъ:— и всему виной «Крейцерова Соната!»

Она хотѣла ему отвѣтить, что его горе, его невыносимая семейная жизнь, разрывъ съ женой, печальная судьба его дочери— все это, дѣйствительно, подтверждаетъ ужасы «Крейцеровой Сонаты». Она хотѣла сказать ему и еще многое, но въ дверяхъ гостиной показалась Марья Эрастовна, а за нею громадная фигура Ивана Ивановича.

Иванъ Ивановичъ почтительно поклонился сначала княжнѣ, потомъ Аникѣеву и шелъ въ переднюю, что-то тихо «докладывая ея высокопревосходительству».

Черезъ нѣсколько минутъ Аникѣевъ простился. Однако, Марья Эрастовна выпустила его только, когда онъ обѣщалъ ей непремѣнно пріѣхать въ воскресенье къ обѣду.

Выйдя на улицу, онъ осмотрѣлся. Онъ обѣдалъ у Алины и пріѣхалъ прямо оттуда. Теперь онъ сообразилъ, что ему всего нѣсколько минутъ ходьбы до дому, и тихо пошелъ самой даль-

ней дорогой, чтобы освѣжиться въ блѣдномъ, прозрачномъ сумракѣ свѣжей, апрѣльской ночи.

Какъ неотвязчивый мотивъ, то и дѣло повторяющійся и котораго нѣтъ возможности отогнать отъ себя, повторялись въ его головѣ слова Нины: «несчастная... недолжная... нехорошая любовь, омрачающая душу и влекущая къ гибели!»

«Да это философъ какой-то, проповѣдница,—эта милая синеглазая куколка!.. Скороспѣлка!»...—думалъ онъ.

И вспоминались ему встрѣчи съ такими-же дѣвушками-скороспѣлками. Въ семнадцать-восемнадцать лѣтъ онѣ обращали на себя общее вниманіе. Онъ встрѣчалъ ихъ и въ Россіи, и заграницей. И все это были русскія дѣвушки. Онѣ говорили и писали иной разъ очень серьезныя вещи, поражали своей талантливостью, горѣли яркимъ душевнымъ огнемъ... Однѣ изъ нихъ быстро сгорѣли. Такъ сгорѣла и самая яркая изъ нихъ, Марія Башкирцева... Другія—гдѣ онѣ? Во что обратилась ихъ скороспѣлость?.. Аникѣевъ потерялъ ихъ изъ виду...

«Несчастная... недолжная.. нехорошая любовь!»—снова повторялись неотвязныя слова.

Онъ весь былъ полонъ этой любовью. Эта любовь должна была вернуть ему прежнее «снѣжковское» блаженство, примирить его съ тягостью жизни, съ горемъ и неудачами, напоить, насытить, усыпить въ сладкомъ опьяненіи...

Но кромѣ мрака и ужаса, кромѣ тоски и съ каждымъ днемъ возроставшаго возмущенія—ничего не было въ душѣ его.

XIX.

Алина не обманула ожиданій своего мужа, и всѣ ея хлопоты за него увѣнчались полнымъ успѣхомъ. На Святой князь чувствовалъ себя счастливѣйшимъ человѣкомъ. Онъ дѣлалъ безчисленные визиты съ такимъ сознаніемъ своего новаго достоинства, съ такимъ чваннымъ выраженіемъ на отвратительномъ лицѣ, что швейцары принимали его не иначе, какъ за японскаго посланника.

Мелькая по городу въ красивой коляскѣ на резиновыхъ шинахъ, запряженной парой безупречныхъ вороныхъ рысаковъ, съ величественнымъ кучеромъ на козлахъ,—«la bête» испытывалъ такое блаженное опьяненіе, какого ему никогда не давали былыя его оргіи. Проѣзжая по нѣкоторымъ улицамъ, онъ вспоминалъ себя на нихъ во дни своего паденія, лѣтъ пятнадцать, десять тому назадъ.

Вотъ здѣсь, у этихъ самыхъ домовъ, по этимъ плитамъ тро-

туара, бывало, бродилъ онъ подъ дождемъ, въ слякоть. Порыжѣлая, помятая шляпа на головѣ, на плечахъ отрепанное пальто, на ногахъ сапоги съ протертыми подошвами. Небритый, нечесаный, беззубый, съ распухшимъ носомъ и отекшимъ лицомъ,— онъ самъ себя пугался, самъ себѣ былъ противенъ, проходя мимо зеркалъ въ Пассажѣ. Онъ цѣлые дни, смотря по состоянію своего жалкаго кошелька, проводилъ то на улицѣ, то въ подозрительныхъ ресторанахъ и трактирахъ, то въ разныхъ притонахъ, подкарауливая себѣ подходящую жертву.

Онъ примазывался къ кутящимъ купчикамъ или къ юнымъ провинціаламъ, покинувшимъ родное гнѣздо и затерявшимся въ столицѣ. Онъ спаивалъ ихъ самымъ ловкимъ образомъ, посвящалъ ихъ во всѣ таинства самаго неслыханнаго разврата и, живя на ихъ счетъ, временно приводилъ въ порядокъ свою внѣшность, наполнялъ свой кошелекъ.

Доходило до того, что два, три мѣсяца онъ могъ выдавать себя снова за богатаго человѣка, катался какъ сыръ въ маслѣ, расширялъ свои операціи. Но у него никогда не хватало ума довести дѣло до конца, онъ не въ состояніи былъ надолго держать въ повиновеніи избранную жертву. Жертва скоро возмущалась и начинала чувствовать къ нему невыносимое отвращеніе. Не разъ все кончалось для «la bête» крупными «физическими» непріятностями и даже послѣ одной изъ нихъ ему пришлось недѣль шесть вылежать въ больницѣ.

Такимъ образомъ, вслѣдъ за разгульными и пьяными мѣсяцами, наступала почти полная нищета. Никто этого не знаетъ; но, вѣдь, ему приходилось нѣсколько разъ протягивать руку...

Вотъ онъ мчится теперь по Малой Морской мимо магазина «Штоля и Шмита». И вспоминается ему:

Морозный день, ледяной вѣтеръ пронизываетъ, а онъ въ осеннемъ пальто на легонькой подкладкѣ. Онъ второй день не ѣлъ, такъ-таки и не ѣлъ ничего, въ карманѣ ни копѣйки. Онъ дрожитъ всѣмъ тѣломъ и не стучитъ зубами только потому, что зубовъ нѣтъ.

Нарядная молодая дама вышла отъ «Штоля и Шмита» и собирается сѣсть въ карету.

— Madame, au nom du ciel... je meurs de faim!—простоналъ онъ, подходя къ ней.

Она взглянула ему въ лицо и отшатнулась отъ него съ невольнымъ слабымъ крикомъ ужаса и отвращенія.

Но хорошій выговоръ французской фразы сдѣлалъ свое дѣло. Дама вынула портъ-монэ, бросила ему пятирублевую бумажку и поспѣшила сѣсть въ карету.

Это была счастливая пятирублевая бумажка. Благодаря ей

«la bête» не только утолилъ свой голодъ и жажду, но въ тотъ же вечеръ нашелъ самаго глупаго и довѣрчиваго юнаго провинціала, помогшаго ему экипироваться и вернуть себѣ болѣе или менѣе человѣческій образъ.

А потомъ скоро подоспѣло нежданное, огромное наслѣдство дѣда. «La bête» подлѣчился, избавился отъ опухоли носа, отековъ лица, вставилъ великолѣпныя челюсти, пересталъ пить, вернулъ себѣ давно покинутую приличность, въ которой былъ когда-то воспитанъ и, хоть и мало выигравъ въ привлекательности, все-же вотъ дошелъ, наконецъ, до того, что швейцары стали принимать его за японскаго посланника.

Даму, бросившую ему пятирублевую бумажку, онъ не только встрѣчалъ въ свѣтѣ, но встрѣчалъ и у себя, такъ какъ она состояла членомъ того благотворительнаго общества, гдѣ предсѣдательствовала Алина. Онъ даже особенно любилъ бесѣдовать и любезничать съ этой дамой. Ей, конечно, не могло и присниться, что этотъ глупый и любезный уродъ, принадлежащій къ одному съ нею кругу и даже приходящійся какимъ-то дальнимъ родственникомъ ея мужу, тотъ самый ужасный нищій, котораго она такъ испугалась нѣсколько лѣтъ тому назадъ, выходя изъ магазина «Штоля и Шмита».

Онъ же глядѣлъ ей въ глаза, и ему было пріятно, до сладострастія пріятно мысленно повторять: «ну, а что, кабы ты знала? что, кабы знала?!»

Онъ былъ спокоенъ: именно *такое* прошлое, и именно при *такой* перемѣнѣ обстоятельствъ, никогда не всплываетъ. А еслибы даже и всплыло, кто-жъ бы ему повѣрилъ, кто-жъ бы не почелъ все это лишь гнусною клеветой, придуманной отъ зависти къ богатому и знатному человѣку, крѣпко утвердившемуся въ «обществѣ».

Да, онъ теперь у пристани, на благодатной землѣ. Онъ ужъ пустилъ корни, и ничѣмъ не сковырнешь его. Впереди только блескъ, торжество, всякое благополучіе. И надо признаться, почти все это дѣло рукъ Алины. Безъ нея ничего не давалось въ руки. Главное-же, онъ помнилъ, какъ одинъ разъ случилось, что, недовольная имъ, она взяла да и уѣхала изъ Петербурга. Онъ хохоталъ и скрипѣлъ:

— Ну что-жъ, матушка, съ Богомъ, скатертью дорога! Теперь и безъ няньки обойдусь, ходить-то выучился!

Однако, черезъ три, четыре недѣли для него стало ясно, что безъ этой няньки совсѣмъ плохо. Онъ былъ слишкомъ глупъ, безтактно развязенъ и противенъ. На него начали коситься, имъ пренебрегали, онъ слышалъ только вопросы о княгинѣ, онъ не получалъ интересныхъ для него приглашеній. Пришлось вер-

нуть няньку и обѣщать ей никогда не выходить изъ повиновенія, пришлось согласиться на всѣ ея требованія. И жизнь опять покатилась плавно и мягко, «какъ на резиновыхъ шинахъ».

Теперь, достигнувъ цѣли своихъ самыхъ свѣтлыхъ мечтаній, князь болѣе чѣмъ когда-либо убѣдился во всемогуществѣ Алины. Онъ глядѣлъ на нее съ невольнымъ уваженіемъ и относился къ ней бережно, не желая ничѣмъ раздражать ея. Онъ не позволялъ себѣ никакихъ намековъ на счетъ Аникѣева, хоть и ясно видѣлъ, что «она вернулась къ старымъ шашнямъ».

«А чортъ съ ней!—думалъ онъ.—Мнѣ-то что!.. Благо она хитра и не теряетъ голову. Все у нея шито-крыто, вѣдь, вотъ при постороннихъ никогда его нѣтъ, да и бываетъ онъ, кажется, не всякій день... Ну, да это ихъ дѣло! Умна, не полѣзетъ въ петлю... Про Аникѣева чортъ знаетъ что болтаютъ: тутъ и жена его, и эта маленькая Хрепелева, а объ Алинушкѣ ни звука... Можетъ, она сама и сплетни-то всѣ эти пустила, для отвода глазъ... Ловка, ловка!»

Онъ совсѣмъ успокоился, на половину жены и не заглядывалъ, а встрѣчаясь изрѣдка съ Аникѣевымъ, любезно скрипѣлъ ему:

— А! Михаилъ Александровичъ! chèr cousin! Ну, какъ дѣлишки?..

XX.

Однако, «la bête» ошибался. Алина хоть и не совсѣмъ, но все же въ достаточной степени потеряла голову. На нее налетѣла настоящая гроза долго скоплявшейся, долго сдерживаемой страсти.

Она не могла теперь понять, какъ это прожила столько лѣтъ безъ своего Миши. Она уже забыла созданную ею «легенду», въ которой не было больше надобности, и спѣшила наслаждаться счастливымъ настоящимъ, разъ оно пришло и не уйдетъ отъ нея. Ей, дѣйствительно, представлялось, что ея съ Мишей будущее обезпечено навсегда. Никакихъ упрековъ совѣсти, никакихъ опасеній, никакой неловкости она не чувствовала.

Да и какіе упреки, какая неловкость въ ея-то положеніи, съ фиктивнымъ мужемъ, получившимъ отъ нея даже больше того, что слѣдовало ему по договору!

Этотъ мужъ въ первую минуту смутилъ Аникѣева; но теперь все объяснилось, Аникѣевъ ей вѣритъ и уже не поднимаетъ этихъ противныхъ вопросовъ. Они счастливы, и даже тайна ихъ любви, необходимость скрываться, только придаетъ, какъ ей чувствуется, больше прелести и поэзіи ихъ встрѣчамъ, ихъ блаженнымъ свиданіямъ.

Они ужъ провели въ уютной тишинѣ ея маленькой гостиной и причудливой спальни нѣсколько зачарованныхъ вечеровъ. Никто не могъ нарушить ихъ уединенія. И такихъ вечеровъ будетъ много. Алина объявила мужу, что она всю весну и даже, пожалуй, часть лѣта останется въ Петербургѣ, а потомъ поѣдетъ одна въ Петровское. Онъ отлично понялъ, что все это значитъ; но не сказалъ ей ни слова, а только пожалъ плечами и хрюкнулъ въ знакъ дружескаго предостереженія и совѣта быть осторожной.

Между тѣмъ «общество» разъѣзжалось, и Алина съ каждымъ днемъ чувствовала себя свободнѣй и свободнѣй. Она не стѣсняясь почти каждый день могла видаться съ Аникѣевымъ, звала его обѣдать съ нею вдвоемъ и не отпускала его до поздняго вечера.

Всегда сдержанная, обдумывавшая всякое свое слово, всякое движеніе, передъ нимъ она сбрасывала свѣтскую маску, становилась юной, веселой, даже болтливой. Она разсказывала ему все, чего навидалась и наслушалась за эти годы. Она передавала ему закулисную, скандальную хронику, гдѣ было, конечно, много ужасающей правды; но еще больше, гораздо больше завѣдомой лжи и клеветы, созданныхъ въ глубинѣ какой нибудь мстящей, мелкой, безсильной душонки и пущенныхъ въ обращеніе.

Сначала онъ слушалъ всѣ эти исторіи съ видимимъ интересомъ, глядѣлъ ей въ глаза не отрываясь, смѣялся вмѣстѣ съ нею, ловилъ каждое ея слово.

Но дѣло въ томъ, что онъ совсѣмъ даже и не думалъ объ этихъ исторіяхъ, смыслъ ихъ ускользалъ отъ него. Ему просто доставляло наслажденіе любоваться ея красотою, оживленіемъ, блескомъ ея глазъ, улыбками, смѣхомъ, звукомъ ея голоса.

Она умѣла хорошо разсказывать, представлять въ лицахъ; это выходило у нея живо, смѣшно, комично. Порою она становилась остроумна и зла, и очень тонко и колко язвила тѣхъ, кто былъ ей почему-либо непріятенъ.

Она еще полна была впечатлѣніями того времени, когда ей съ большимъ трудомъ приходилось устроивать свое положеніе въ обществѣ. Прежде чѣмъ завоевать себѣ, съ могущественной помощью Натальи Порфирьевны Талубьевой-Вилимской, прочное и почетное мѣсто, она прошла черезъ длинный строй всяческихъ щелчковъ ея самолюбію, и никогда не могла забыть этого.

Всѣ эти «обоего пола знатныя особы», когда-то вольно или невольно нанесшія ей большія и малыя обиды, были ея врагами. Нужды нѣтъ, что они давно забыли старое и теперь относились къ ней совсѣмъ добродушно, признали ее лучшимъ украшеніемъ своихъ гостиныхъ, звали ее къ себѣ, бывали у нея, считались ея добрыми знакомыми, ея «кружкомъ».

— О, я еще припомню ей это!..—говорила она Аникѣеву про какую-нибудь свѣтскую даму.

— Ну, да онъ прошлою зимой на горькомъ опытѣ могъ бы узнать, что меня нельзя обижать безнаказанно. Жаль только, что онъ врядъ-ли догадался, кто это устроилъ ему нѣсколько непріятныхъ сюрпризовъ...—объясняла она про какого нибудь господина, не пожелавшаго въ свое время оказать «la bête» протекцію.

Если-бы она не потеряла головы отъ страсти, если-бы попрежнему владѣла собою, она остереглась бы посвящать Аникѣева въ такіе тайники своихъ дѣлъ и отношеній. Но ей было не до разсужденій, въ ней кипѣла потребность говорить съ этимъ дорогимъ человѣкомъ, съ этимъ единственнымъ другомъ, безъ всякихъ сдержекъ, съ той прежней «снѣжковской» откровенностью. Вѣдь, она такъ долго таила въ себѣ все, вѣдь, и она была такъ же одинока, какъ и Аникѣевъ, такъ же глубоко одинока и несчастна, только почти не сознавала своего несчастья...

И онъ ее слушалъ, любуясь ея гнѣвомъ, злыми огоньками, загоравшимися въ глазахъ ея, маленькими ядовитыми змѣйками, внезапно мелькавшими въ уголкахъ ея прелестныхъ, насмѣшливо и язвительно складывавшихся губъ. Особенно красивы, волшебны и странно, чудно гармоничны были быстрые переходы отъ этого гнѣва, злыхъ огоньковъ и ядовитыхъ змѣекъ къ порывамъ страсти и нѣжности, къ милой, беззавѣтной, почти дѣтской, ласкѣ. Въ этой женщинѣ заключалось столько побѣдоносной, одуряющей, чисто женственной прелести.

И художникъ, истомленный жаждой пластической красоты и гармоніи, жадно упивался ею...

Это было опьяненіе, и какъ опьяненіе, не могло долго длиться. Изъ-за безупречно-красивой внѣшней формы, красивой во всѣхъ своихъ проявленіяхъ, то и дѣло выглядывало внутреннее содержаніе, и чуткая, хоть опьяненная теперь, душа Аникѣева должна была его замѣтить.

Въ первые дни своей *новой* жизни онъ повторялъ себѣ: «это прежняя, совсѣмъ прежняя, это *моя* Алина!» А между тѣмъ прежней Алины давно не существовало—она умерла тамъ, въ Снѣжковѣ, она похоронила себя и оплакала въ ту далекую глухую осень, сидя въ унылой комнаткѣ стараго деревенскаго дома и слушая чахоточный кашель своей больной матери.

Прежняя Алина, *его* Алина, была богато одаренная природой дѣвушка, всѣмъ существомъ стремившаяся къ жизни и наслажденію, отдавшаяся безъ оглядки молодому чувству. Въ теперешней, созрѣвшей Алинѣ воплотилась свѣтская интриганка, честолюбивая, разсчетливая, холодная, заморившая въ себѣ всѣ ду-

шевные и сердечные запросы. Въ ней вотъ закипѣла прежняя страсть; но даже и въ этой страсти не было прежней молодой свѣжести, не было «снѣжковской» поэзіи.

Аникѣевъ еще не понималъ, но уже все сильнѣе и сильнѣе чувствовалъ это. Разнозвучія начинались...

Она разсказывала ему какую-то скверную «свѣтскую» исторію. Весело, зло и остроумно, нѣсколькими фразами, она уничтожала очень извѣстную женщину, уже немолодую, жену и мать. Вдругъ Аникѣевъ перебилъ ее.

— Я уже слышалъ все это!—съ раздраженіемъ сказалъ онъ.— Я очень мало ее знаю, но увѣренъ, что все это ложь...

— Помилуй, какъ же ложь? это всѣ знаютъ, спроси у кого хочешь!—воскликнула, даже обидясь, Алина.

— А если-бъ и правда, такъ тебѣ-то какое дѣло?—еще больше раздражаясь, продолжалъ Аникѣевъ.—Что она, твой лютый врагъ что-ли? Мстишь ты ей за какое-нибудь несмываемое оскорбленіе?

— Ничуть, я съ нею въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ, но ты понимаешь... всѣ это знаютъ...

— Зачѣмъ-же ты думаешь и говоришь о такихъ ужасахъ, на которые нѣтъ и не можетъ даже быть доказательствъ, говоришь съ радостью, со злобой? Зачѣмъ чужая бѣда, чужой грѣхъ, чужой развратъ доставляютъ тебѣ наслажденіе? Вѣдь, радоваться всему этому, кричать, указывать пальцами, раздувать могутъ только люди, желающіе прикрывать чужой чернотой свою собственную черноту. Такъ всегда и бываетъ. Чистый человѣкъ не станетъ носиться съ чужой чернотою, не станетъ о ней думать, если она не грозитъ серьезнымъ интересамъ общества. А чѣмъ-же это чужое, личное дѣло, къ тому-же еще. я увѣренъ, выдуманное завистниками и клеветниками, грозитъ обществу? Чѣмъ оно грозитъ тебѣ и мнѣ, что мы говоримъ о немъ, что ты такъ радуешься и злобствуешь?

Алина поблѣднѣла.

Она разслышала въ тонѣ Аникѣева настоящее негодованіе и признала въ словахъ его правду. Она поспѣшила сдаться.

— Да, ты правъ,—сказала она:—свѣтъ очень золъ, только не всѣ злословятъ съ какой-нибудь цѣлью... просто такъ, по привычкѣ... Вотъ и у меня явилась эта дурная привычка... Помнишь, я тогда, въ Снѣжковѣ, вдругъ стала горбиться... ты сразу отучилъ меня. Это тоже самое. Отучи меня и отъ этой дурной привычки. Брани меня, наказывай... Не буду больше... Миша, милый мой, не буду, не буду!..

Она прижалась къ нему и заглядывала ему въ глаза влюбленными, нѣжными и кроткими глазами.

Онъ сталъ цѣловать эти глаза, и впивалъ въ себя тонкій, милый запахъ ея волосъ, и снова пьянѣлъ.

Но разнозвучіе ужъ оскорбидо его душу.

XXI.

Николай Александровичъ, какъ было условлено между братьями въ «Европейской гостиницѣ». пріѣхалъ ознакомиться со всѣми документами относительно Снѣжкова.

Онъ все подробно выпросилъ, и ему легко было убѣдиться, что братъ находится въ послѣдней крайности. Денегъ доставать больше неоткуда, не онъ же, въ самомъ дѣлѣ, будетъ давать ихъ ему! Расходы большіе, особенно при барскихъ замашкахъ и совсѣмъ дѣтской непрактичности Михаила Александровича. Доходы съ запущеннаго и совсѣмъ погибающаго въ неумѣлыхъ рукахъ имѣнія незначительны и, наконецъ, срокъ крупнаго платежа въ банкъ давно ужъ пропущенъ.

— Что-жъ, продавай,—сказалъ онъ брату:— я къ тебѣ являюсь въ самое время. Сегодня же напишу тестю, и этакъ черезъ недѣлю дѣло будетъ кончено. Я думаю, онъ не станетъ спорить и торговаться, дастъ шестьдесятъ тысячъ.

— Шестьдесятъ тысячъ! Николай, побойся Бога... за Снѣжково шестьдесятъ тысячъ!—почти въ ужасѣ воскликнулъ Аникѣевъ.

— Да развѣ есть какая-нибудь возможность дать больше?— грустнымъ голосомъ отвѣтилъ Николай Александровичъ. — На имѣніи такой долгъ. Ты ухитрился обезцѣнить его до невозможности. Соглашайся съ закрытыми глазами. Что я, надувать тебя что ли стану! Вѣдь, посредствомъ дворянскаго банка такое имѣніе, съ такимъ долгомъ и настолько разоренное всегда можно купить и за тридцать тысячъ—спроси кого хочешь...

— Можетъ быть, можетъ быть, развѣ я тебѣ не вѣрю.—растерянно шепталъ Аникѣевъ.—А домъ? собраніе рѣдкостей?.. всѣ коллекціи maman... картины?..

Николай Александровичъ даже ничего не отвѣтилъ и только передернулъ плечомъ, скрывая за этимъ жестомъ свое раздраженіе.

— Въ такомъ случаѣ, рѣшимъ такъ,—наконецъ, сказалъ онъ:— я напишу тестю, заручусь его согласіемъ и буду съ своей стороны готовъ приступить къ купчей, когда тебѣ угодно. А ты подумай, поговори съ кѣмъ знаешь... Можетъ быть, ты найдешь болѣе выгоднаго покупателя. Я вовсе не хочу пользоваться твоимъ затруднительнымъ положеніемъ, я только знаю, что больше шестидесяти тысячъ дать нельзя, и тесть мой больше не дастъ. А можетъ быть, ты какъ-нибудь и выпутаешься, можетъ быть, и

обойдешься безъ продажи! Это бы, конечно, для тебя всего лучше. Если-бъ у меня были теперь свободныя деньги, я бы, разумѣется, началъ съ того, что предложилъ тебѣ четыре тысячи. Вѣдь, тебѣ теперь для всѣхъ этихъ выплатъ надо не меньше четырехъ тысячъ. Но, ей Богу, голубчикъ, у меня лишнихъ денегъ нѣтъ, а расходы теперь, самъ понимаешь, страшные. Вѣдь, это не то, что въ провинціи, да и тамъ дорого, а Петербургъ совсѣмъ-таки кусается. Я квартиру отдѣлываю, деньги такъ и текутъ. Вотъ пятьсотъ рублей хочешь? это я могу, возьми пожалуйста...

Аникѣевъ поблѣднѣлъ.

— Нѣтъ, благодарю тебя, Николай, мнѣ и въ мысль не приходило занимать у тебя.

Николай Александровичъ, уже приготовившійся было вынуть бумажникъ, тотчасъ же застегнулъ сюртукъ на всѣ пуговицы и поспѣшилъ покончить съ этимъ дѣломъ.

— Ну, не хочешь, какъ знаешь! Если можно обойтись безъ долга, даже родному брату, тѣмъ лучше... А затѣмъ, прощай... дѣлъ у меня сегодня!

Онъ приложилъ губы къ щекѣ Аникѣева и направился въ переднюю.

— Платонъ,—крикнулъ Аникѣевъ.

Платона Пирожкова звать было нечего, онъ уже снималъ съ вѣшалки пальто Николая Александровича.

Платонъ Пирожковъ заперъ дверь, а потомъ прямо и смѣло пошелъ къ Аникѣеву.

— Что-же это, сударь,—глухимъ голосомъ сказалъ онъ:—никакъ Николай Александровичъ покупать хотятъ Снѣжково?

— А ты подслушивалъ?

— А вы нѣшто шептались?! Уши-то, вѣдь, есть, такъ и слышишь... и не хочешь иной разъ слушать, да невольно слышишь. Ну и что-жъ, сударь, вы такъ-таки имъ Снѣжково и продадите... за шестьдесятъ тысячъ, то-есть, такъ надо сказать, задаромъ?.. Имъ-то оно лестно! Ну, а мы что станемъ дѣлать? Эти самыя шестьдесятъ тысячъ уплывутъ у насъ, а потомъ? Я-то этого ничего не увижу, я еще до продажи уйду, у меня вотъ ужъ и мѣсто найдено, настоящее, княжеское... А вы какъ же, сударь?

Аникѣевъ хотѣлъ было разсердиться на «дятла», хотѣлъ было крикнуть ему, чтобъ онъ не мѣшался не въ свое дѣло, но никакъ не могъ этого. Тотчасъ же явилось другое желаніе, желаніе кинуться на шею этому самому «дятлу», вызывающе на него глядѣвшему, глупо отставившему ногу и грозно поднявшему носъ. Рыданія подступили къ горлу. Не то что было жаль разставаться со Снѣжковымъ,—о Снѣжковѣ совсѣмъ въ эту минуту и не ду-

малось. Просто Аникѣевъ чувствовалъ себя совсѣмъ раздавленнымъ: въ немъ стонала и ныла его гордость, невыносимая гордость, которую онъ никогда не понималъ въ себѣ. Вмѣстѣ съ этимъ, онъ всѣмъ своимъ существомъ сознавалъ себя жалкимъ, ничтожнымъ и былъ самъ себѣ противенъ.

Онъ молча, широко раскрытыми, потемнѣвшими, померкнувшими глазами глядѣлъ на Платона Пирожкова.

— Такъ какъ-же, сударь, неужто и вправду продадите?— совсѣмъ упавшимъ голосомъ проговорилъ «дятелъ».

— Что́-жъ мнѣ дѣлать?! — наконецъ, сказалъ Аникѣевъ. — Вѣдь, вотъ!..

Онъ выдвинулъ ящикъ стола и показалъ Платону Пирожкову нѣсколько мелкихъ, оставшихся кредитныхъ бумажекъ.

— Знаю-съ! — еще глуше и мрачнѣе заговорилъ «дятелъ».— И для барыни, небось, забыли, чрезъ недѣлю надобно, а онѣ аккуратны, сроку не пропустятъ. Только съ этимъ-то мы еще вывернемся. На мѣсяцъ жизни хватитъ, я ужъ знаю, какъ сдѣлать. Это будьте спокойны... А вы, сударь, все-жъ таки, теперь что-нибудь придумайте... нельзя же такъ... посовѣтуйтесь съ добрыми людьми, авось кто и добрый совѣтъ подастъ и поможетъ въ дѣлѣ...

— Кто же это? Гдѣ эти добрые люди?!—самъ не сознавая, что выговорилъ громко эти слова, произнесъ Аникѣевъ.

Платонъ Пирожковъ злобно фыркнулъ носомъ и ощетинилъ усы.

— Вотъ то-то оно самое!—пробурчалъ онъ.—Жили мы, жили, до самыхъ, то-есть, сѣдыхъ волосъ дожили, а друзей себѣ не нажили... хоть шаромъ покати! Ну, да мое дѣло сторона, я вамъ докладываю: на мѣсяцъ жизни хватитъ, извернусь, а больше ни одного, то-есть, дня. И коли, ежели, сударь, вы взаправду вздумаете отдавать Николаю Александровичу Снѣжково, такъ ужъ будьте столь милостивы, скажите мнѣ заранѣе, потому я безъ Снѣжкова оставаться не согласенъ. У меня мѣсто княжеское готово, двадцать пять въ мѣсяцъ жалованья, окромя прочихъ доходовъ... Это, значитъ, мое послѣднее, то есть, слово... такъ, сударь, и знайте...

«Дятелъ» клюнулъ носомъ, чуть не задѣвъ имъ свою жилетку, и бокомъ пошелъ къ передней.

XXII.

Николай Александровичъ ни за что не хотѣлъ выпустить изъ рукъ Снѣжкова. Со стороны, дѣйствительно, могло показаться,

что за это разоренное и заложенное имѣніе нельзя дать больше шестидесяти тысячъ. Поэтому онъ не безъ основанія разсчитывалъ, что врядъ-ли братъ, особенно сразу, найдетъ болѣе выгоднаго покупателя.

Но онъ-то, вѣдь, отлично зналъ, какое золотое дно Снѣжково, какъ, вложивъ въ него сразу нѣкоторый капиталъ и найдя дѣльнаго управляющаго, можно возвысить его доходность. А лѣтъ чрезъ десять это имѣніе превратится въ цѣлое большое состояніе. Притомъ же у Николая Александровича былъ въ виду для управленія имѣньемъ именно такой человѣкъ, какого требовалось,—знающій, энергичный, и «до глупости» честный.

«Русскій дворянинъ» Самуйловъ, конечно, тутъ былъ не причемъ. Николай Александровичъ дѣйствовалъ за свой страхъ и на свой собственный, оказавшійся у него капиталъ.

Обезцѣнивъ въ юности отцовское родовое имѣніе, а потомъ распродавъ его по частямъ, Николай Александровичъ давно уже помышлялъ о Снѣжковѣ и глубоко возмущался тѣмъ, что оно въ рукахъ у брата. Онъ считалъ это несправедливостью къ нему со стороны покойной матери, тѣмъ болѣе, что у Михаила Александровича не было сына, а одна только дочь.

Теперь, послѣ свиданія съ братомъ, онъ былъ не совсѣмъ удовлетворенъ. Онъ разсуждалъ:

«Какъ знать, а вдругъ «Сарданапалъ» откуда-нибудь и достанетъ денегъ! Вѣдь, вотъ именно у такихъ-то нелѣпыхъ, ни на что негодныхъ людей и бываетъ иной разъ шальное счастье... Не войти ли въ союзъ съ Лидіей? Она ровно ничего не понимаетъ въ дѣлахъ, жадна и глупа... Ну, въ крайнемъ случаѣ прикину тысячъ шесть, семь, тамъ вонъ въ галлереѣ, въ лѣвомъ углу, Гвидо Рени прячется... хоть потемнѣлъ, а настоящій... Мишенька-то, видно, забылъ про него... такъ дуралей Хаминскій мнѣ за эту старую мазню тысячъ тридцать отвалитъ, да еще пальчики будетъ себѣ лизать».

Дойдя до такого рѣшенія, онъ, дня чрезъ три послѣ свиданія съ братомъ и не получая отъ него никакихъ извѣстій, заѣхалъ къ Лидіи Андреевнѣ.

Она приняла его съ нѣжными, родственными объятіями.

— Ну вотъ, спасибо, спасибо, Коля, что заглянулъ,—говорила она, усаживая его въ гостиной на диванчикѣ, подъ портретомъ Аникѣева.—Я особенно цѣню, что ты ко мнѣ заѣхалъ именно теперь: вѣдь, я понимаю, сколько у тебя дѣла, какъ тебѣ не до меня! Это, право, очень мило съ твоей стороны, и я тебѣ такъ благодарна... Вѣдь, я совсѣмъ одинока, совсѣмъ покинута... Вотъ даже и Сони моей нѣтъ со мной. Я ее оставила у madame Фрумъ въ Царскомъ. Бѣдная дѣвочка, она такая нервная!.. преслѣдова-

нія Михаила Александровича легко могутъ довести ее до эпилепсіи или чего нибудь въ этомъ родѣ... Это мнѣ докторъ сказалъ, и необходимо везти ее на лѣто на Кавказъ и въ Крымъ. Необходимо, а между тѣмъ у меня нѣтъ для этого средствъ... Михаилъ Александровичъ не даетъ... Что же дѣлать... я рѣшилась, ты видишь... укладываюсь понемногу... сдамъ квартиру, мебель частью поставлю въ складъ, частью въ квартиру madame Бубеньевой... Ты, вѣдь, помнишь madame Бубеньеву?

Николай Александровичъ усмѣхнулся кончиками губъ и сказалъ:

— Какъ-же не помнить! Что она—все такая-же дура пѣтая, и все еще закатываетъ глаза, все еще ищетъ мужа и выпиваетъ съ горя?

Лидія Андреевна засмѣялась.

— Ну, Коля, не будь такимъ злымъ! Конечно, у нея много маленькихъ слабостей, и глупа она иногда непроходимо, но все-таки, право, она такая добрая и принимаетъ во мнѣ большое участіе... А я научилась цѣнить участіе дороже всего, я слишкомъ мало его вижу,—прибавила она съ глубокимъ вздохомъ.

— Зачѣмъ-же ты перемѣняешь квартиру?—спросилъ Николай Александровичъ.

— Ахъ, очень просто, я уѣду съ Соней на Кавказъ и въ Крымъ до глубокой осени. Это, вѣдь, цѣлыхъ полгода, и я такимъ образомъ на квартирѣ выгадаю пятьсотъ рублей. Все, что есть, заложу, кое-что продамъ. Только такимъ образомъ я и могу устроить эту поѣздку. Конечно, это ужасно! Но для Сони, ты самъ понимаешь, я готова на всѣ жертвы! А что будетъ съ нами потомъ, осенью, когда мы вернемся, я стараюсь объ этомъ не думать...

Ея голосъ дрогнулъ, углы губъ опустились, и на глазахъ показались слезы.

— Вотъ въ какое положеніе поставилъ меня, а главное, Соню, Михаилъ Александровичъ!—проговорила она, вынимая платокъ и вытирая глаза.—Ну, да я не хочу смущать тебя моимъ горемъ, милый Коля, что обо мнѣ говорить, поговоримъ о твоихъ дѣлахъ, это веселѣе.

— Нѣтъ, зачѣмъ!—сказалъ Николай Александровичъ.—Ваши дѣла для меня не чужія дѣла, и я именно хочу съ тобой о нихъ потолковать. Я, видишь ли, былъ у брата и онъ объяснилъ мнѣ все положеніе. Снѣжково, дѣйствительно, на самомъ краю неизбѣжной погибели.

Лидія Андреевна выпрямилась и застыла.

— Что? продается съ аукціона? Неужели?—воскликнула она, прижимая руку къ сердру.

— Нѣтъ еще, но на это очень похоже... И вотъ я предлагаю брату продать Снѣжково моему тестю.

— Продать... то-есть, тебѣ? — невольно проговорила Лидія Андреевна:—а за сколько?

— За шестьдесятъ тысячъ.

На лицѣ Лидіи Андреевны появились красныя пятна, и глаза ея злобно сверкнули. Но она удержалась и только протянула:

— За... шестьдесятъ тысячъ?!..

Николай Александровичъ спокойно представилъ ей всѣ доказательства тому, что, по обстоятельствамъ дѣла, это самая подходящая и даже очень высокая цѣна.

Она внимательно слушала, опустивъ глаза, и только губы ея вздрагивали.

— Да, можетъ быть,—наконецъ, сказала она:—я, вѣдь, ничего въ этихъ дѣлахъ не понимаю. Я знаю только, что еще недавно Снѣжково приносило болѣе десяти тысячъ доходу, и всѣ говорили, что оно непремѣнно со временемъ будетъ давать вдвое больше.

— Ну, а теперь оно не приноситъ почти ничего, и заложено, и будетъ продано съ аукціона за безцѣнокъ, такъ что отъ него ничего и не останется,—медленно говорилъ Николай Александровичъ.—А тутъ шестьдесятъ тысячъ чистыми деньгами...

— И больше ты ничего не дашь?—спросила Лидія Андреевна:—это послѣднее твое слово?

— Развѣ я торгашъ?!—съ достоинствомъ сказалъ Николай Александровичъ.—Я... то-есть, это деньги не мои, а тестя... я предлагаю такъ много потому, что Снѣжково—старое родовое имѣніе, и разъ оно погибаетъ, мнѣ хотѣлось бы спасти его для моего сына. Этой цѣны никто теперь не дастъ... Ну, да знаешь ли что, я прибавлю еще пять тысячъ, собственно для тебя, тебѣ въ руки, для того, чтобы ты не стѣснялась и могла спокойно ѣхать съ Соней въ Крымъ, или за границу, или куда тамъ доктора найдутъ нужнымъ.

Онъ тотчасъ-же замѣтилъ въ лицѣ Лидіи Андреевны быструю перемѣну.

Она взглянула на него, и глаза у нея заблестѣли. Однако, это было лишь на мгновеніе.

— Господи!—съ отчаяніемъ воскликнула она:—вѣдь, онъ мигомъ ихъ уничтожитъ! А потомъ что же? окончательная нищета! Еще если-бъ я могла положить эти деньги на имя Сони, такъ чтобъ онъ не могъ до нихъ добраться!.. Послушай, вѣдь онъ расточитель, вѣдь, мнѣ всѣ умные люди говорятъ, что онъ явный расточитель, что онъ.. подлежитъ опекѣ...

— Хм!.. это ужъ слишкомъ строго,—усмѣхнулся Николай Александровичъ:—а впрочемъ, твое дѣло! Конечно, Соню слѣдуетъ обезпечить. Конечно, нельзя допустить, чтобъ онъ эти

шестьдесятъ тысячъ растратилъ... Но опека, это неприлично, скандально и вообще затруднительно. Можетъ быть, его можно будетъ какъ нибудь уговорить, безъ шума, спокойно. Вѣдь, есть же у него чувство къ дочери, не можетъ же онъ не подумать объ ея будущемъ!

— Чувство... у него?!—презрительно сказала Лидія Андреевна.

Но Николаю Александровичу некогда было долго бесѣдовать съ нею.

— Такъ какъ-же? — спросилъ онъ:—въ принципѣ относительно этой продажи ты ничего не имѣешь?

— Ахъ, Боже мой,—отвѣчала Лидія Андреевна: — я ничего и сообразить-то не могу. Дай подумать... Снѣжково... и шестьдесятъ тысячъ!.. дай подумать... обсудить это...

— И пять тысячъ тебѣ въ руки,—сказалъ Николай Александровичъ:—такъ ты подумай, Лидія, а потомъ извѣсти меня. Только я тебя предупреждаю: очень долго тутъ думать нельзя, а то аукціонъ, и какой-нибудь кулакъ за безцѣнокъ овладѣетъ Снѣжковымъ.

Николай Александровичъ уѣхалъ, а Лидія Андреевна долго ходила взадъ и впередъ по своей гостиной.

«Вотъ жуликъ! вотъ негодяй! — чуть громко не кричала она.— Снѣжково за шестьдесятъ тысячъ! Выгодная афера! Видно, ужъ очень выгодная, даже мнѣ даетъ взятку въ пять тысячъ!.. Однако, если иначе нельзя!? Что теперь дѣлать, что дѣлать?!»

Она рѣшила посовѣтоваться съ умными людьми и прежде всего уѣхала къ своимъ друзьямъ въ Царское.

XXIII.

Умные люди въ Царскомъ Селѣ объяснили Лидіи Андреевнѣ, что прежде чѣмъ рѣшить вопросъ, выгодно или нѣтъ предложеніе Николая Александровича, необходимо имѣть всѣ самыя подробныя свѣдѣнія о Снѣжковѣ. Такихъ свѣдѣній Лидія Андреевна не имѣла. Она ненавидѣла Снѣжково, какъ и всякую русскую деревню. Пребываніе тамъ всегда представлялось ей чѣмъ-то вродѣ тюремнаго заключенія. Она могла назвать только цифру прежнихъ доходовъ, но съ какихъ хозяйственныхъ статей и какимъ образомъ получались эти доходы, не знала.

— Имѣніе большое,—вспоминала и соображала она:—есть заливные луга, поля, лѣсъ, какія-то пустоши... Когда-то все это было en grand, только теперь одно разореніе и ничего больше... Домъ огромный, старинный, тоже вродѣ развалинъ. Помилуйте, я едва три комнаты могла выбрать для себя и Сони, гдѣ можно

было жить! Остальныя—сараи какіе-то, галлереи, обвѣшанныя старыми, темными картинами въ облупившихся рамахъ, статуи съ отбитыми носами, вазы безъ ручекъ... Ну, словомъ, bric-à-brac... Мебель такое старье, что нельзя себѣ и представить!.. Конечно, можно все обновить, реставрировать, только для этого милліонное состояніе надо... Мой фантазеръ мужъ считалъ, да, вѣрно, и теперь считаетъ, сокровищемъ эти свои коллекціи. Но, вѣдь, это все фантазія! Кому нужны облупившіяся картины, да безносыя статуи?!. Если ихъ, напримѣръ, въ Петербургъ перевезти, такъ одинъ перевозъ будетъ стоить больше ихъ цѣнности... Паркъ заглохъ совсѣмъ, мѣстами такая сырость, просто болото, и пройти невозможно... А скука, я вамъ скажу! кругомъ ни живой души! Богатые помѣщики не живутъ въ своихъ имѣніяхъ, такъ все и разрушается. Да если-бъ и были порядочные сосѣди, въ такой развалинѣ принять совѣстно...

Лидія Андреевна, по своему обыкновенію, преувеличивала. Она говорила, главнымъ образомъ, на основаніи своей вражды къ деревнѣ.

Въ Снѣжковской усадьбѣ вовсе ужъ не было такого разоренія. Она сохранилась на сколько возможно, благодаря неусыпнымъ стараніямъ покойной Софьи Михайловны. А о значеніи и художественной цѣнности вывезенныхъ изъ Польши Снѣжковскихъ коллекцій Лидія Андреевна, конечно, не могла имѣть никакого понятія.

Эти коллекціи собирались многими поколѣніями графовъ Садовскихъ, когда-то богачей и польскихъ магнатовъ, а потомъ совсѣмъ обрусѣвшихъ и растратившихъ большую часть своихъ имѣній.

Въ томъ старомъ хламѣ, который, по мнѣнію Лидіи Андреевны, слѣдовало сложить на чердакъ, попадались большія рѣдкости. Особенно хороши были картины и старый саксонскій фарфоръ.

Какъ бы то ни было, ей объяснили и она поняла, что необходимо относительно Снѣжкова разузнать всѣ подробности, какое тамъ количество земли, ея доходность и тому подобное. Когда она представитъ эти свѣдѣнія, ей обѣщали переговорить съ опытными людьми. Но откуда-же она узнаетъ? Одинъ только Михаилъ Александровичъ можетъ сообщить ей все, что надо.

Она подумала и вдругъ рѣшила отправиться къ нему. Она достаточно его помучила и, кажется, доказала ему свою силу и твердость своего характера. Авось онъ будетъ теперь сговорчивѣе...

Въ квартирѣ Аникѣева, въ одиннадцатомъ часу утра, раздался довольно сильный звонокъ. Михаилъ Александровичъ, вставшій по обыкновенію поздно, только-что напившійся чаю и сидѣвшій за піанино, пересталъ играть.

Звонокъ повторился.

Платонъ Пирожковъ, въ своей вышитой косовороткѣ и сѣромъ пиджакѣ, лѣниво прошелъ по корридору и отворилъ дверь.

— Баринъ дома?—строго спросилъ знакомый голосъ.

«Дятелъ» отскочилъ отъ двери и совсѣмъ растерялся.

Но Лидія Андреевна, не дожидаясь его отвѣта и не глядя на него, вошла въ переднюю, а оттуда, не снимая пальто, въ «музыкальную» комнату.

Аникѣевъ вздрогнулъ и остался на табуретѣ возлѣ піанино.

— Здравствуйте, Михаилъ Александровичъ, — развязно сказала Лидія Андреевна, подходя къ нему, но не протягивая руки.

Онъ тоже не протянулъ ей руку и ждалъ.

— Я по очень серьезному дѣлу, — говорила она: — относительно продажи Снѣжкова... Я долго васъ не задержу...

Онъ молчалъ.

Тогда она подошла къ двери передней, заперла ее, разстегнула свое пальто и подсѣла къ столу.

— Этотъ вашъ Платонъ всегда подслушиваетъ,—объяснила она.—Ну, да, впрочемъ ничего тайнаго нѣтъ. У меня былъ Nicolas.

Она разсказала Аникѣеву все уже ему извѣстное, только, разумѣется, умолчавъ о предложенныхъ ей пяти тысячахъ.

Онъ продолжалъ молчать и не глядѣлъ на нее.

— Вы понимаете,—говорила она:—я не стала бы во все это вмѣшиваться, не стала бы утруждать васъ своимъ появленіемъ: не знаю, кому изъ насъ это тяжелѣе, но, вѣдь, тутъ дѣло въ Сонѣ, въ ея будущности...

Аникѣевъ всталъ и пошелъ къ своей спальнѣ съ цѣлью запереться тамъ. Это появленіе, этотъ разговоръ были слишкомъ для него невыносимы. Но Лидію Андреевну, когда она находилась въ такомъ рѣшительномъ настроеніи духа, трудно было смутить. Она раньше него была у двери спальни и ее заперла.

— Да, запереть дверь все-же не мѣшаетъ.—проговорила она.—Михаилъ Александровичъ, ради Бога будьте благоразумны... Вѣдь, не звѣрь-же вы въ самомъ дѣлѣ!.. есть-же у васъ какое-нибудь чувство... должны-же вы понимать, что при такомъ дѣлѣ, какъ продажа Снѣжкова, я имѣю право говорить съ вами объ интересахъ Сони...

Аникѣевъ не выдержалъ.

— Гдѣ она?! Какъ вы смѣете скрывать ее отъ меня?! Какъ вы не понимаете, что такъ поступать невозможно?!—крикнулъ онъ, чувствуя, что вся кровь приливаетъ ему въ голову.

— Ради Бога не волнуйтесь!—мягко произнесла Лидія Андреевна.—Кто виноватъ, что между нами борьба, что мы враги?.. Каждый изъ насъ борется своимъ оружіемъ. Вы всегда ко мнѣ

слишкомъ несправедливы; при такихъ отношеніяхъ я не могу допустить, чтобы вы видались съ Соней... Я не могу... я сказала вамъ это разъ навсегда... и всѣ порядочные люди на моей сторонѣ! Можетъ-быть мнѣ самой тяжело лишать васъ свиданій съ дочерью... Да, вотъ вы, конечно, мнѣ не повѣрите, но мнѣ тяжело это, мнѣ жаль васъ... Если-бы не было во мнѣ этого чувства, такъ я давно рѣшилась-бы на многое... и вотъ никакъ не могу рѣшиться... Михаилъ Александровичъ, придите въ себя, очнитесь, не будьте звѣремъ... умоляю васъ... Господи!..

Она схватилась руками за голову и, неожиданно для себя самой, зарыдала, почти падая въ кресло.

— Что я за несчастная!.. что мнѣ дѣлать?!—стонала она.

Слезы такъ и лились изъ глазъ ея, и сама она становилась неузнаваемой, дѣйствительно жалкой. Аникѣевъ противъ воли глядѣлъ на нее и противъ воли начиналъ видѣть въ ней ту далекую, прежнюю Лидію, ту избалованную, капризную дѣвочку, которая когда-то глядѣла ему въ глаза влюбленными глазами и шептала:

«Если ты не можешь жениться на мнѣ, такъ и не надо!... Позволь мнѣ только возлѣ тебя... быть твоей служанкой!..»

Откуда взялись эти воспоминанія? Откуда взялись они теперь, когда эта женщина провела его черезъ всѣ муки, когда онъ гналъ отъ себя всякую мысль объ ней, потому что при такой мысли въ немъ поднималась ненависть, злоба отвращеніе?.

Но, вѣдь, вотъ, во всѣ эти мучительные годы, послѣ того далекаго времени, никогда, ни разу, ни въ какія самыя тяжелыя и ужасныя минуты ихъ совмѣстной жизни не было у нея этого прежняго лица! И, вѣдь, это то самое жалкое, несчастное лицо, выраженія котораго онъ никакъ не могъ вынести, изъ-за котораго онъ погубилъ себя... Это лицо не лжетъ, не притворяется. Она дѣйствительно несчастна...

И почемъ знать — не встрѣться она съ нимъ, можетъ быть, она была бы и гораздо счастливѣе и гораздо лучше. Куда уйти отъ такой мысли, когда она пришла?!

— Боже мой, вѣдь, когда-то вы были добрымъ человѣкомъ!— между тѣмъ, все продолжая плакать, прошептала Лидія Андреевна. — Неужели у васъ нѣтъ жалости?.. хоть на минуту пожалѣйте меня ради Сони... Я съ вами борюсь, да, иначе быть не можетъ... Но если-бы вы знали, какъ я сама несчастна...

Онъ видѣлъ это, онъ это чувствовалъ. И въ немъ не было ужъ къ ней ни ненависти, ни злобы, ни отвращенія.

— Перестань, Лидія, — сказалъ онъ, самъ не замѣчая, что говоритъ ей «ты» и называетъ ее Лидіей:—перестань, успокойся... Ну, если хочешь, поговоримъ...

XXIV

Слезы Лидіи Андреевны остановились, и она взглянула на Аникѣева съ робкимъ удивленіемъ. Она ѣхала сюда, какъ ѣдутъ къ смертельному врагу, во всеоружіи своей мести, ненависти и злорадства. Она сознавала, что всѣ выгоды теперь на ея сторонѣ и что онъ не можетъ не чувствовать себя побѣжденнымъ ею.

Онъ упорствуетъ, не сдается; но все-же безсиленъ. Это свиданіе, можетъ быть, его, наконецъ, сломитъ. Она докажетъ ему, что онъ напрасно затѣялъ съ нею борьбу... О, еще попроситъ онъ, попроситъ пощады! Она еще потѣшится, еще выместитъ всѣ оскорбленія, всѣ свои муки!..

Что-жъ это такое случилось? Зачѣмъ она плачетъ, чего расчувствовалась?..

Она никогда не могла бы объяснить и понять нежданную перемѣну, происшедшую съ нею. Все шло какъ слѣдуетъ. Она говорила именно то, что надо было говорить, повторяла заранѣе приготовленныя ею фразы. И вдругъ...

Можетъ быть, и ей вспомнилось давно позабытое прежнее время. Вѣдь, и она пережила съ этимъ ненавистнымъ ей теперь человѣкомъ хоть и краткія, но все-же счастливыя минуты.

Главное-же, она вотъ только теперь, сейчасъ почувствовала, что очень устала. Она боролась, повторяла себѣ и другимъ: «я долго терпѣла и подчинялась ему во всемъ; но этого больше не будетъ, я ни на какія уступки несогласна. Онъ упрямъ—и я тоже, нашла коса на камень!» Все это послѣднее время она только и дѣлала, что разыгрывала несчастную жертву передъ всѣми, а его выставляла какимъ-то извергомъ, да къ тому-же и сумасшедшимъ. Двѣ-три ея пріятельницы помогали въ этомъ. Особенно старалась вдова Бубеньева, ради ея интересовъ временно забывшая даже о своихъ собственныхъ скорбяхъ и о своемъ больномъ сердцѣ.

Чего собственно добивалась Лидія Андреевна, всячески портя репутацію мужа и въ то-же время желая и настаивая, чтобы онъ къ ней вернулся—надъ этимъ она не задумывалась. Она просто мстила.

Когда Бубеньева являлась къ ней и, запыхавшись, щуря глаза и хватаясь за сердце, разсказывала о томъ, какъ теперь «всѣ, всѣ» презираютъ Михаила Александровича, а ее жалѣютъ, сочувствуютъ ей,—она испытывала удовольствіе. Когда «въ Царскомъ» ее встрѣчали тѣмъ, что Соня вѣрно не совсѣмъ хорошо себя чувствуетъ, что она часто бываетъ грустна, задумчива и

даже иной разъ неохотно и вяло играетъ со своими подругами,—она вздыхала, говорила: «да, вѣдь, это онъ, все онъ,—погубитъ онъ мою бѣдную дѣвочку!»—и внутри себя была довольна.

За Соню она вовсе не боялась, считала ее здоровой, крѣпкой и только... «фокусницей», въ отца. Она никогда ея не любила, мало того—эта дѣвочка всегда дѣйствовала на нее раздражающимъ образомъ. Ей казалось, что она совсѣмъ какъ будто и не ея дочь.

Въ ней такое удивительное, все возрастающее сходство съ Софьей Михайловной, ну, а свою «belle mère» Лидія Андреевна тайно ненавидѣла не только при жизни, но и послѣ смерти. Она никогда не могла простить ей противодѣйствія браку сына, да и потомъ, всегда чувствовала себя въ присутствіи этой изящной, гордой и, въ то же время, простой женщины — очень неловко.

Софья Михайловна приняла ее ласково и ни разу до самой своей смерти ничѣмъ не обидѣла. Но по временамъ Лидія Андреевна подмѣчала въ ея глазахъ что-то неуловимое. И это неуловимое наполняло ее ненавистью, принижало, оскорбляло.

Она говорила мужу:

— Твоя мать глядитъ на меня такъ, будто я что-нибудь у нея украла! Хоть я, кажется, и не заслужила этого, но она меня презираетъ...

— Богъ съ тобой!—горячо возражалъ ей Аникѣевъ:—мама такъ добра, она сама сказала мнѣ, что любитъ тебя...

— Нечего... нечего! хорошо любитъ! Да, говоря откровенно, если-бъ я умерла, она не стала бы плакать. Я помѣшала ея блестящимъ планамъ относительно тебя; женясь на мнѣ, ты сдѣлалъ mesaillance—и она никакъ вотъ не можетъ простить мнѣ этого!

— Ты совсѣмъ не знаешь мама,—говорилъ Аникѣевъ: — пожалуйста, выбрось изъ головы такія глупости и сама-то относись къ ней посердечнѣе...

Но Лидія Андреевна продолжала въ каждомъ словѣ, въ каждомъ движеніи «maman» видѣть для себя обиду.

И вотъ Соня становится вылитымъ портретомъ этой ненавистной женщины и даже, по временамъ, положительно точно такъ же, какъ та, на нее смотритъ. Такъ можно-ли любить эту противную дѣвчонку, эту кривляку, которая на зло ей, своей бѣдной, несчастной матери, дѣлаетъ видъ, будто обожаетъ недостойнаго отца!

За Соней была и еще одна тяжкая вина передъ Лидіей Андреевной: рожденіе этого перваго и единственнаго ребенка слишкомъ дорого обошлось юной матери. Муки, дѣйствительно, были

ужасны, и тяжелыя, непріятныя послѣдствія ихъ остались навсегда не въ одномъ только воспоминаніи.

Въ первое время пострадавшая мать не могла даже безъ ужаса и отвращенія глядѣть на своего ребенка.

Несмотря, однако, на все это, развивавшаяся красота Сони льстила самолюбію Лидіи Андреевны, и она ужъ начинала строить планы, какъ черезъ нѣсколько лѣтъ найдетъ ей богатѣйшаго жениха и посредствомъ ея брака устроитъ свое собственное благополучіе. Она любила помечтать объ этомъ и заранѣе обдумывала свои будущія дѣйствія. Наконецъ, въ послѣдніе годы, она такъ привыкла представлять передъ всѣми безумно любящую, несчастную и нѣжную мать, что временами входила въ свою роль и сама считала себя нѣжной матерью.

Но теперь она позабыла всѣ свои роли, не играла никакой комедіи и плакала самыми настоящими, горькими слезами, какими плачетъ одинокая, уставшая и ничѣмъ не удовлетворенная женщина. Мало того — за минуту передъ нею былъ врагъ, ненавидимый человѣкъ, котораго надо было скрутить по рукамъ и по ногамъ и потомъ надъ нимъ хорошенько посмѣяться, наказать его такъ, чтобы онъ, наконецъ почувствовалъ и понялъ это. И этотъ ненавистный врагъ вдругъ исчезъ.

Лидія Андреевна глядѣла на Аникѣева и видѣла въ немъ такого же, какъ и она, несчастнаго, одинокаго, уставшаго человѣка.

— Ахъ, зачѣмъ мы такъ испортили жизнь другъ другу? зачѣмъ мы такѣ враждуемъ? зачѣмъ?.. — вырвалось у нея съ глубокимъ вздохомъ.

Аникѣевъ старался не глядѣть на нее. Тоска въ немъ возростала.

Онъ тихо повторилъ:

— Успокойся, Лидія... поговоримъ...

И потомъ продолжалъ:

— Мнѣ невыносима мысль о продажѣ Снѣжкова... но дѣла такъ сложились... я не въ силахъ выпутаться...

Лидія Андреевна встрепенулась.

— Могу я... можешь ты мнѣ дать всѣ свѣдѣнія о Снѣжковѣ... вѣдь, я... къ стыду моему... не знаю даже, сколько тамъ десятинъ и какія теперь цѣны на землю; объясни мнѣ, пожалуйста, все... можно?—ласково и печально спрашивала она.

— Конечно, объясню... покажу всѣ документы,—отвѣтилъ Аникѣевъ, подходя къ столу и выдвигая ящикъ.

Онъ приступилъ къ подробнымъ объясненіямъ, и Лидія Андреевна скоро поняла, что положеніе безнадежно. Ей стало, съ другой стороны, ясно и то, что продать это имѣніе за шестьдесятъ тысячъ значитъ отдать его почти даромъ.

— Я всегда считала Николая Александровича не Богъ вѣсть какимъ человѣкомъ,—съ негодованіемъ сказала она:—но все-же не думала, что онъ способенъ на такую гадость.

— Оставимъ это,—замѣтилъ Аникѣевъ: — онъ, видишь-ли, практическій, благоразумный человѣкъ, и въ его дѣйствіяхъ никто не найдетъ ничего предосудительнаго. Въ такихъ обстоятельствахъ онъ предлагаетъ хорошую цѣну... Что же, однако, мы будемъ дѣлать?

— Необходимо найти деньги, чтобы выйти изъ теперешнихъ затрудненій, а потомъ непремѣнно надо сдать землю въ аренду, на короткій срокъ... или отыскать опытнаго и честнаго управляющаго... Это мнѣніе очень дѣльныхъ людей, съ которыми я совѣтовалась.

— Я и самъ хорошо знаю... только гдѣ-же найти денегъ? Это невозможно!

— Я постараюсь... мнѣ обѣщали,— сосредоточенно сдвигая брови, сказала Лидія Андреевна.—Мнѣ, можетъ-быть, и дадутъ деньги подъ вторую закладную... только... для этого необходимо, чтобъ я была увѣрена въ... твоихъ дѣйствіяхъ... И, словамъ, я не вѣрю, не смѣю вѣрить...

Она была ужъ снова совсѣмъ спокойна и холодно глядѣла на мужа.

— Что жъ надо?—спросилъ онъ.

— Надо, чтобы мы оба перестали думать только о себѣ, а думали единственно о Сонѣ. Вы совсѣмъ разстроили еще недавно прекрасное состояніе, вы непрактичны, и передѣлываться вамъ поздно. а потому надо такъ устроить, чтобы впредь не было возможности новаго разоренія, чтобы Соня дѣйствительно получила Снѣжково.

— Я только этого и желаю,—дрогнувшимъ голосомъ сказалъ Аникѣевъ:—но прежде всего я хочу видѣть Соню.

— Вы ее увидите, когда я убѣждусь, что вы одумались, когда вы поступите относительно нея и относительно меня такъ, какъ подобаетъ порядочному человѣку... когда вы къ намъ вернетесь.

— Да, вѣдь, вы сами-же понимаете, что это невозможно!—внѣ себя воскликнулъ Аникѣевъ.

— Почему?

— Потому, что все... потому, что вы, потому, что мы снова начнемъ мучить другъ друга... и Соня первая погибнетъ отъ нашей вражды и мученій!

Лидія Андреевна поднялась съ кресла. Ея усталости, душевнаго затишья и мелькнувшаго добраго чувства къ мужу какъ не бывало. Мало того, она ужъ себя не помнила отъ гнѣва. Глаза ея стали злыми, губы дрожали.

— Въ такомъ случаѣ, мнѣ не о чемъ говорить съ вами. Вы сами отнимаете у меня возможность щадить васъ. Вы неисправимы! Вы безчувственный, безнравственный человѣкъ! Вы расточитель! Вы сумасшедшій! всѣ это теперь знаютъ, всѣ!.. Вы довели меня... такъ ужъ не пеняйте, если на этихъ дняхъ съ вами случится какой-нибудь сюрпризъ! — кричала Лидія Андреевна, вся багровѣя и дрожавшими руками застегивая свое пальто.

— Вотъ какъ! Что-жъ это вы... подъ опеку меня, что-ли?— едва выговорилъ Аникѣевъ.

Онъ задыхался. Въ груди поднялась невыносимая боль, голова кружилась.

Между тѣмъ, Лидія Андреевна очнулась. Она поняла, что проговорилась, что слишкомъ рано открыла ему свои карты. Она уходила; но у двери въ переднюю остановилась, обернулась и сказала:

— Не забудьте, что завтра я должна получить отъ васъ пятьсотъ рублей... У меня ни гроша, и надо заплатить за квартиру, гувернанткѣ, прислугѣ... Или, можетъ быть, мнѣ не ждать и этихъ денегъ?

— Вы ихъ получите,—отвѣтилъ Аникѣевъ, съ невыносимымъ отвращеніемъ и ужасомъ соображая, что у него всего-на-всего рублей пятнадцать въ карманѣ.

XXV.

Всѣ мѣры предосторожности, принятыя Лидіей Андреевной противъ любознательности Платона Пирожкова, оказались, какъ и всегда, напрасными. Притаясь у двери спальни, онъ слышалъ все, отъ слова и до слова. Да не только слышалъ, а и видѣлъ, приставивъ глазъ къ замочной скважинѣ. Съ его длиннымъ носомъ это, казалось, было очень затруднительно; но долголѣтняя практика научаетъ всему, и онъ зналъ такое хитрое положеніе, когда и носъ не являлся слишкомъ большой помѣхой.

Сначала «дятелъ» рѣшительно сочувствовалъ Лидіи Андреевнѣ, такъ какъ пуще всего желалъ, «чтобы баринъ вернулся къ барынѣ». Такое желаніе съ его стороны было болѣе чѣмъ безкорыстно: Лидія Андреевна терпѣть его не могла, постоянно къ нему придиралась, выживала его изъ дому всѣми мѣрами. Если онъ все-же неизмѣнно оставался на своемъ посту, то единственно благодаря своей, такъ-сказать, органической, вошедшей въ его плоть и кровь, привязанности къ Аникѣеву.

«Дятелъ» не могъ не знать, что ужъ особенно теперь, въ случаѣ примиренія между господами, ему совсѣмъ житья не бу-

детъ въ домѣ; но онъ даже ни разу не остановился на этой мысли.

Когда Лидія Андреевна зарыдала и стала говорить совсѣмъ не своимъ, ласковымъ голосомъ,—«дятелъ» тихонько перекрестился:

«Слава тебѣ, Господи,—думалъ онъ:—авось, теперь у насъ дѣло на ладъ пойдетъ! Видно, и она измаялась, сердечная... соломенной-то вдовой не сладко жить! Эхъ, грѣхи!.. грѣхи!.. Ишь плачетъ... да какъ жалостливо... въ жизнь ее такую не видывалъ... слезлива... глаза у нея на мокромъ мѣстѣ... только это ужъ не такія слезы, не прежнія...»

«Такъ, такъ!—мысленно повторялъ онъ, изгибаясь, отводя носъ на сторону и кося глазами, чтобы лучше видѣть сквозь замочную скважину:—проняла она его... Ишь, на «ты»... Лидія... Вотъ кабы всегда, то-есть, она была такая, можетъ, и не мыкались-бы мы какъ прокаженные по бѣлу свѣту, а жили-бы себѣ въ тишинѣ, припѣваючи...»

Не долго, однако, пришлось радоваться «дятлу».

Добрый мигъ исчезъ, будто его и не бывало. Произошло что-то неуловимое,—одно движеніе, одинъ взглядъ, одно слово,—и опять непримиримые враги стояли другъ передъ другомъ. Но ужъ теперь «дятелъ» былъ всей душой на сторонѣ барина.

«Змѣя, какъ есть змѣя,—думалъ онъ:—ишь жалитъ... ишь жалитъ, проклятая!.. такъ-бы вотъ взялъ ее, да и пристукнулъ!.. Вѣдь, родятся-же такіе аспиды!.. Что это, что? ругается... сумасшедшій... Нѣтъ, матушка, шалишь... это ты сама сумасшедшая... бѣлены объѣлась... тебя на цѣпь посадить надо... Тьфу, безстыжая!..»

«Дятелъ» беззвучно отскочилъ отъ двери, плюнулъ и шмыгнулъ въ корридоръ. Но когда онъ добрался до передней, Лидія Андреевна ужъ и безъ его помощи вышла. Дверь на лѣстницу стояла настежь. Платонъ Пирожковъ заперъ ее на ключъ и прошелъ въ свою комнату. Тамъ онъ отперъ сундукъ, пошарилъ, вынулъ толстый пакетъ, обошелъ черезъ спальню и заглянулъ въ «музыкальную» комнату.

Аникѣевъ сидѣлъ передъ письменнымъ столомъ, охвативъ голову руками.

Платонъ Пирожковъ, ощетинивъ усы и весь какъ-то странно передергиваясь, подошелъ и окликнулъ:

— Михаилъ Александровичъ?.. а, Михаилъ Александровичъ?!

Аникѣевъ поднялъ голову, взглянулъ на него мутными глазами.

— Чего тебѣ, Платонъ? Что еще такое?!

— Ничего-съ, не извольте безпокоиться... а вотъ получите...

Онъ дрожавшей рукою неловко протягивалъ ему пакетъ.

— Это что же?

— Да деньги, извольте пересчитать, тутъ тысяча безъ пятидесяти цѣлковыхъ... Ей, то-есть, барынѣ, завтра пятьсотъ, да на мѣсяцъ намъ четыреста пятьдесятъ... вотъ... какъ сказывалъ: на мѣсяцъ намъ жизни хватитъ... а потомъ ужъ не мое дѣло, больше нѣту ни грошика... и взять неоткуда...

— Откуда эти деньги?—наконецъ, приходя въ себя, спросилъ Аникѣевъ.

— Не краденыя, сударь, не извольте сомнѣваться... Мои это деньги, накопленныя...

— Твои... да что ты, съ ума сошелъ?.. Могу-ли я брать твои деньги!—сказалъ Аникѣевъ, весь полный изумленія, такого изумленія, что даже позабылъ все—Лидію Андреевну, свою тоску, свое безвыходное положеніе,—и только пристально глядѣлъ на «дятла».

А тотъ робко, жалко улыбался изъ-подъ своихъ громадныхъ желтыхъ усовъ и имѣлъ видъ провинившейся собаки, ожидающей, что вотъ-вотъ ее сейчасъ накажутъ.

— А ужъ извините, сударь,—запинаясь и опуская глаза, началъ онъ:—не обижайте, то-есть, потому я безъ всякой обиды, отъ всей, то-есть, души... иначе то никакъ невозможно... Да и, признаться, вѣдь, я себя не забылъ.. нѣшто я себя забуду, не на таковскаго напали!.. Вотъ, извольте посчитать, — не тысяча, а девятьсотъ пятьдесятъ цѣлковыхъ. Пятьдесятъ-то, это я проценты себѣ оставляю... А вы вотъ мнѣ расписочку пожалуйте, что цѣлую тысячку съ меня наличными получили... Такъ то-съ!.. И значитъ, какъ раздобудетесь деньгами, такъ мнѣ цѣлую тысячу и отсчитаете. А процентовъ пятьдесятъ цѣлковыхъ я ужъ получилъ... ихъ я вамъ не отдамъ-съ, хоть черезъ мѣсяцъ вернете мнѣ мои деньги... Вотъ, вѣдь, оно что-съ!.. Это ростъ называется... На такихъ, то-есть, операціяхъ добрые люди большіе капиталы наживаютъ, потому иначе невозможно...

Аникѣевъ все глядѣлъ на своего «дятла», и вотъ, въ одинъ мигъ увидѣлъ то, чего не видалъ никогда, и понялъ то, о чемъ не подумалъ, въ своемъ себялюбіи, ни разу въ жизни.

— Дуракъ ты, дуракъ!—крикнулъ онъ, поднимаясь съ кресла и крѣпко обнимая Платона Пирожкова.

«Дятелъ» схватилъ его руку, жадно припалъ къ ней, коля ее жесткими усами.

— Баринъ... голубчикъ... родной вы мой!.. — прорыдалъ онъ и сломя голову кинулся изъ комнаты.

Онъ зацѣпилъ за столикъ, повалилъ его, но не обратилъ на это никакого вниманія и исчезъ за дверью.

XXVI.

Больше часу не откликался «дятелъ» на зовъ Аникѣева. Онъ сидѣлъ запершись въ своей комнаткѣ.

Наконецъ, онъ вышелъ, прилизанный, съ расчесанными усами и даже въ черномъ сюртукѣ. Онъ очень важно, поднявъ носъ, подошелъ къ Аникѣеву, скосилъ въ сторону глаза и пробурчалъ:

— Расписку-то, сударь, пожалуйте...

— Вонъ тамъ, на столѣ, бери, — отвѣтилъ Аникѣевъ, улыбаясь и глядя на него свѣтящимися глазами.

За этотъ часъ онъ надумался и теперь зналъ, какимъ образомъ вернуть Платону Пирожкову его тысячу, если даже и не добудетъ денегъ чрезъ мѣсяцъ. Придется только сдѣлать нѣчто, о чемъ онъ никогда не думалъ и что было ему крайне противно—заложить нѣсколько любимыхъ вещей матери.

— Да ты прочти хорошенько, — почти весело прибавилъ онъ:—можетъ, я что и не такъ написалъ, не по формѣ...

— Будьте безъ сумлѣнія, своего не упустимъ,—мотнулъ головою «дятелъ», взялъ со стола расписку, прочелъ ее, бережно сложилъ и спряталъ въ карманъ.—А теперь вотъ что, сударь,—хмуря брови, сказалъ онъ: — выньте-ка вы пятьсотъ рубликовъ, вложите въ конвертъ, припечатайте, надпишите, а я скорымъ манеромъ снесу ей, то-есть барынѣ... Она ждетъ завтра, да и то, можетъ, не навѣрно, такъ вотъ получите, молъ, сегодня, да пожалуйте расписочку...

— Конечно, это хорошо... снеси... передай въ руки, только расписки не смѣй спрашивать...

— Нѣтъ-съ,—опять мотнулъ головой «дятелъ»:—на это я не согласенъ. Какъ-же .. то-есть... безъ расписки? Это совсѣмъ не годится... Не для васъ она, а для вѣрности... я безъ расписки вернуться къ вамъ не смѣю-съ. Можетъ, я возьму отъ васъ деньги, скажу, что снесъ, а самъ ихъ прикарманю... Вы какъ изволите полагать—этого не бываетъ? Еще какъ бываетъ-то! Вонъ, намедни въ «Листкѣ» читалъ: человѣкъ служилъ въ домѣ двадцать лѣтъ, довѣріе ему всякое оказывали, а онъ, что-бы вы думали?—взялъ да и слизнулъ тысячу цѣлковыхъ,—какъ не бывало ихъ!—и вотъ этакимъ, то-есть, манеромъ...

— Иди,—сказалъ Аникѣевъ, давая ему запечатанный пакетъ.

Платонъ Пирожковъ ушелъ...

И онъ опять одинъ со своею тоской, съ противнымъ, все возрастающимъ чувствомъ отвращенія къ самому себѣ. Какое безсиліе, какое жалкое безсиліе! Онъ подошелъ къ піанино и стоны отчаянья наполнили комнату. Но это отчаянье выливалось

странными, причудливыми, гармоническими звуками и, переходя въ нихъ, мало-по-малу теряло свою жгучую боль, свою подавляющую безнадежность.

Если-бъ Аникѣевъ могъ когда-нибудь такъ сыграть передъ собравшимися людьми, онъ очаровалъ-бы ихъ этой удивительной импровизаціей. Онъ довелъ-бы ихъ до слезъ, до восторга, до бѣшеныхъ рукоплесканій.

Но никто не слышалъ его. Вокругъ все было тихо.

Импровизація, однако, успокоила его настолько, что онъ переодѣлся и, по виду совсѣмъ спокойный, поѣхалъ къ Алинѣ.

Она ничего въ немъ не замѣтила особеннаго, а онъ не разсказалъ ей о своемъ свиданіи съ женой. Онъ ни о чемъ не думалъ, забылъ все и только глядѣлъ на свою Алину, любовался ею...

Послѣ этого прошла недѣля, и другая, и третья. Прошли онѣ для Аникѣева быстро, въ туманѣ, навѣянномъ на него Алиной.

Ни съ Лидіей Андреевной, ни съ братомъ онъ не видался, и оба они не подавали о себѣ вѣсти. Николай Александровичъ заѣхалъ на третій день праздника; но не засталъ и оставилъ свою карточку. Онъ, очевидно, ожидалъ и былъ увѣренъ, что въ концѣ-концовъ братъ не найдетъ никакого покупателя и долженъ будетъ къ нему обратиться.

А Лидія Андреевна искала и не находила денегъ. Умные люди, обѣщавшіе помочь ей въ критическую минуту, оказались, какъ это всегда бываетъ, не на высотѣ своихъ обѣщаній. Имъ все было недосугъ. Они сваливали вину на праздники, говорили:

— Вотъ подождите немного, послѣ праздниковъ мы постараемся...

Но она уже видѣла, по ихъ измѣнившемуся тону, что врядъ ли скоро чего-нибудь дождется. Рѣшительные шаги относительно назначенія опеки надъ Михаиломъ Александровичемъ тоже были отложены до послѣ-праздниковъ.

Ей объясняли:

— Знаете, это такое дѣло... съ этимъ надо очень осторожно... На словахъ все легко, а вотъ попробуйте-ка...

— Такъ что-жъ, мнѣ ждать, пока онъ уѣдетъ изъ Петербурга?—едва сдерживая свое раздраженіе, восклицала она.

— Куда уѣдетъ... зачѣмъ? Некуда ему ѣхать.

— Помилуйте, какъ куда? Возьметъ, да и уѣдетъ. Что-жъ я тогда сдѣлаю?

— Въ такомъ дѣлѣ надо дѣйствовать осмотрительно,—стояли на своемъ умные люди.

Она совсѣмъ запуталась, потеряла подъ ногами почву и находилась въ самомъ озлобленномъ настроеніи.

Она перевезла свою мебель и вещи частью въ складъ, частью къ Бубеньевой. Сдала квартиру и переѣхала пока въ Царское, къ madame Фрумъ, дамѣ добродушной и совсѣмъ ослѣпленной добродѣтелями «этой милой, несчастной madame Аникѣевой».

Соня продолжала по временамъ очень задумываться. Иной разъ она поглядывала на мать «исподлобья», тѣмъ самымъ, ненавистнымъ, «бабушкинымъ» взглядомъ, но ничего не спрашивала объ отцѣ, не смѣла спрашивать. Ей было объявлено, что онъ внезапно уѣхалъ изъ Петербурга. Она этому не вѣрила.

Она думала о немъ часто и все ждала чего-то.

XXVII.

Маленькой княжнѣ плохо спалось послѣ перваго вечера, проведеннаго съ Аникѣевымъ. То, что она узнала о немъ, было такъ для нея неожиданно и почему-то, хотя она сама не знала почему, ей очень не нравилось. Однако, мало-по-малу, она примирилась со всѣми этими обстоятельствами и раздумывала, какъ же ему теперь быть, чтобы отогнать отъ себя бѣды, соединиться съ дочерью и стать счастливымъ.

Она задала себѣ вопросъ—что такое счастье? Неужели счастья, если оно само не приходитъ, человѣкъ не можетъ завоевать себѣ своими собственными силами? И она сейчасъ-же рѣшила, что если и нельзя достигнуть, одной своей силой, внѣшняго счастья, то внутреннее,—а, вѣдь, это самое важное,—всегда во власти человѣка.

Люди несчастны не потому, что ихъ мучаютъ другіе, а потому, что они сами себя мучаютъ. Есть люди, которые никакъ не могутъ уйти отъ такого мученія, они ставятъ себѣ земныя цѣли, гонятся за всякимъ успѣхомъ, терзаются честолюбіемъ, завистью; достигнутъ одного, станутъ тянуться къ другому,—и опять мученія. *Такіе* люди, разумѣется, не въ силахъ помочь себѣ.

Но, вѣдь, Аникѣевъ не таковъ. Онъ мало того, что художникъ, въ немъ, несмотря на все, есть что-то монашеское. Какъ ни странно это, но она сразу подмѣтила въ немъ такую черту, еще даже тогда, на вечерѣ у Талубьевой, а потомъ у него, и, наконецъ, теперь, вчера вечеромъ.

Онъ не стремится къ обществу, а бѣжитъ отъ него, любитъ уединеніе, живетъ особнякомъ. Онъ замкнутъ въ себѣ, одинокъ. Вотъ, вѣдь, онъ говорилъ, что иногда по долгу живетъ гдѣ-нибудь за границей или у себя въ деревнѣ совсѣмъ одинъ, и не замѣчаетъ времени.

Значитъ, онъ можетъ легко найти счастье внутри себя и, значитъ, если не находитъ, если такъ измученъ, такъ несчастенъ, то именно потому, что въ душѣ у него метутся, какъ онъ говоритъ, злые вихри. А если въ этой душѣ настанетъ тишина, если въ ней зазвучитъ гармонія и засвѣтится красота,— а, вѣдь, вотъ онъ сказалъ, что безъ красоты и гармоніи жизнь—одно томленіе,—тогда все и будетъ хорошо. Тогда ужъ не будутъ ему страшны никакія бѣды, и онъ не станетъ гоняться за блѣдными, невѣрными тѣнями. Какъ-же достигнуть ему этой внутренней красоты и гармоніи? Отчего онѣ его покинули?..

Нина думала, думала—и вдругъ ей стало ясно: У него не спокойна совѣсть, ему, хотя, можетъ быть, онъ и самъ не замѣчаетъ этого, стыдно передъ собою за многое. Душа у него высокая, чуткая, жаждущая правды и свѣта. Развѣ иною можетъ быть душа человѣка, способнаго на такое вдохновеніе! Но эта душа опутана мракомъ, забрызгана грязью...

У него дочь—невинный, прелестный ребенокъ... Этотъ ребенокъ его любитъ и страдаетъ въ разлукѣ съ нимъ. Кто-же виноватъ? Конечно, онъ. Развѣ онъ смѣлъ уйти отъ своей дочери и оставить ее въ такихъ рукахъ?! Значитъ, онъ о ней не думалъ, а думалъ только о себѣ. Онъ поступалъ и поступаетъ такъ, какъ долженъ былъ-бы поступать, если-бы совсѣмъ не любилъ ея. А между тѣмъ, онъ ее любитъ.

Такъ развѣ можно, съ его-то чуткой душой, быть счастливымъ при такомъ противорѣчіи! Потомъ, вѣдь, вотъ онъ понимаетъ и другую, иную любовь, самую настоящую, чистую и прекрасную, какъ вдохновеніе, какъ природа, ту любовь, про которую безумецъ Позднышевъ въ «Крейцеровой Сонатѣ» говоритъ, что ея нѣтъ совсѣмъ на свѣтѣ.

Но она есть, и Аникѣевъ понимаетъ ее, и всю жизнь къ ней стремится... Въ женѣ своей онъ не могъ найти этой любви и, вѣрно, подумалъ, что нашелъ ее въ другомъ мѣстѣ. Онъ не хотѣлъ признаться, онъ молчалъ; но она сразу все угадала и увидѣла полное подтвержденіе своихъ догадокъ въ его молчаніи.

Она рѣшилась сказать ему, что эта любовь его нехорошая, недолжная, что она влечетъ его къ гибели.

Почему она рѣшилась, почему сказала? Да вотъ именно потому, что онъ молчалъ, молчалъ и стыдился. Развѣ сталъ-бы онъ молчать и стыдиться, если-бъ это было то чистое, высокое чувство, которое даетъ истинное счастье? Развѣ бы онъ былъ несчастливъ, если-бы любилъ по настоящему и та женщина была бы достойна такой любви?!..

Вѣдь, это такъ просто, такъ понятно. Настоящая чистая лю-

бовь непремѣнно даетъ счастье, она скрашиваетъ собою все, при ней безсильны всякія бѣды... А онъ тоскуетъ.

Значитъ, ему надо уйти отъ нечистой любви, надо вернуться къ дочери, жить для нея—и тогда, мало-по-малу, всѣ бѣды отойдутъ отъ него, и онъ отдохнетъ, найдетъ если и не полное счастье, то, по крайней мѣрѣ, гармонію духа...

Это былъ почти бредъ. Это были невѣдомо откуда приходившія, невѣдомо какъ рождавшіяся мысли. Нина сама къ нимъ прислушивалась, какъ къ чьему-то чужому, звучавшему въ ней голосу...

Эти мысли ее, наконецъ, убаюкали; но и въ сновидѣніи мелькали ихъ обрывки и вмѣстѣ съ ними мелькало утомленное и милое ей лицо Аникѣева съ устремленными на нее, полными вдохновенія и просящими счастья глазами.

Она проснулась поздно, совсѣмъ успокоенная, освѣженная, и опять думала объ Аникѣевѣ; но ужъ совсѣмъ иначе. Она думала не о душѣ его, а о земныхъ его дѣлахъ, объ его разореніи. Она рѣшила, что въ воскресенье непремѣнно узнаетъ обо всемъ этомъ, какъ можно подробнѣе.

«Не о хлѣбѣ единомъ живъ человѣкъ,—говорила она себѣ:—но и безъ хлѣба жить на землѣ невозможно»...

Вопросъ о «хлѣбѣ» навелъ ея мысли на совсѣмъ иной предметъ. Она вспомнила про Ольгу Травникову и почувствовала внутри себя упрекъ совѣсти. Вѣдь, все это время она не повидалась съ Ольгой. Правда, она два раза писала ей, но въ отвѣтъ получила только одну записочку на Страстной.

Въ этой записочкѣ не было ничего особеннаго, однако, Нина прочла между строкъ что-то неладное, и не по отношенію къ себѣ, нѣтъ. Ольга ничуть на нее не сердится за ея внезапное исчезновеніе. Вотъ она даже выразила радость, и навѣрное искренно, что Нина такъ хорошо устроилась. Нѣтъ, съ ней самой, съ Ольгой, должно быть творится что-то странное.

«Нечего сказать, хороша я,—подумала Нина:—видно я болтунья, хвастунья и ничего больше!.. Говорила тетѣ, что стану помогать своимъ дорожнымъ товарищамъ—и только, значитъ, хвасталась!.. Вѣдь, и Ольга такой-же мой товарищъ, а я о ней и забыла»...

Маленькая княжна рѣшила немедленно-же ѣхать на Васильевскій островъ и объявить объ этомъ теткѣ.

Марья Эрастовна, подумавъ, дала свое согласіе.

— Только ты поѣзжай въ каретѣ, я велю закладывать. Да смотри, не засиживайся тамъ... нечего! Еще эти неучи тебѣ какія-нибудь дерзости надѣлаютъ... Пусть ужъ лучше эта твоя госпожа Травникова, коли тебя любитъ, сюда приходитъ. Я ее

помню у васъ, тогда она была такая скромная дѣвушка... Кстати, вотъ и посмотрю—какія такія нынче ученыя дѣвицы да толстовскія сектантки бываютъ. Слыхать о нихъ слыхала, а видать не приходилось.

XXVIII.

День былъ такой ясный и теплый, весеннее солнце стояло высоко на небѣ, все казалось Нинѣ такимъ оживленнымъ, бодрымъ, веселымъ. Когда ея карета остановилась у воротъ многоэтажнаго дома на Васильевскомъ островѣ, этотъ домъ, темный, страшный, таинственный въ ту ненастную и навсегда памятную ночь, теперь глядѣлъ спокойно и даже привѣтливо рядами своихъ вымытыхъ къ празднику оконъ.

Маленькая княжна выпорхнула изъ кареты и храбро вбѣжала въ ворота, ничего не боясь, никакихъ старшихъ и младшихъ дворниковъ. Однако, высокая крутая лѣстница, на которую тогда она не обратила никакого вниманія, теперь представилась ей во всей своей неряшливости и совсѣмъ ей не понравилась.

Дѣвочка Саша отворила дверь и, увидя княжну, вытаращила большіе круглые глаза, разинула во всю ширину ротъ, показывая два ряда крѣпкихъ и бѣлыхъ зубовъ.

— Ахъ, барышня, это вы-съ,—радостно взвизгнула она:—пожалуйте-съ. Наша барышня дома, только онѣ очень нездоровы,—прибавила она все съ тѣмъ-же сіяющимъ лицомъ.

— Больна она?!—встревоженно проговорила Нина и хотѣла скорѣе пройти къ Ольгѣ, но остановилась.

— Съ праздникомъ, Саша, Христосъ Воскресе!—сказала она, приподняла вуаль и потянулась, чтобы похристосоваться съ дѣвочкой.

— Ахъ-съ, барышня... во истину-съ,—взвизгнула та, а потомъ, съ видимымъ восторгомъ, бережно чмокнула Нину.

— Вотъ, милая, возьмите на красное яичко.

Нина всунула ей въ руку зеленую бумажку.

— Покорно благодаримъ-съ. Ахъ-съ, барышня, пожалуйте-съ!—заметалась, совсѣмъ ужъ себя не помня, Саша, отворяя дверь.

Нина вошла. Но въ первой комнатѣ Ольги не было. Тогда она подошла къ маленькой спальнѣ.

— Кто это? Нина? вы?.. Я раздѣта, лежу, да ужъ все равно, это не суть важно... входите,—отозвалась Ольга.

Княжна вошла въ грязную, еще болѣе запыленную чѣмъ прежде комнату и увидѣла свою пріятельницу, лежавшую на кровати. Она подбѣжала къ ней и остановилась, пораженная перемѣной.

происшедшей съ Ольгой за это короткое время. Она пожелтѣла и похудѣла такъ, что на нее жалко было смотрѣть. Глаза ввалились и были обведены темными кругами.

— Милая, что съ вами? вы очень больны?—испуганнымъ голосомъ, наклоняясь къ ней и цѣлуя ее, шепнула Нина.

— Какъ видите,—съ печальной усмѣшкой отвѣтила та, прикасаясь къ Нининой щекѣ сухими губами.

— Да что-же такое? Давно ли? Былъ-ли у васъ докторъ? Отчего вы мнѣ не написали или не прислали Сашу? Господи, если-бъ я знала.

— Именно и хорошо, что вы не знали, Нина,—все тѣмъ-же насмѣшливо-грустнымъ тономъ заговорила Ольга.—Да, я была очень больна, кажется, близка отъ смерти. Это случилось на слѣдующій день послѣ того, какъ я вамъ написала. Со вчерашняго дня мнѣ лучше, только такая слабость, что вотъ не могу подняться.

— Да разскажите же... какъ, что было съ вами?

— Ну чего тутъ разсказывать... ничего хорошаго... было и прошло,—закрывая глаза и становясь совсѣмъ похожею на мертвую, говорила Ольга:—все это не суть важно... А я вотъ лежала, да и думала, отчего мнѣ такая неудача: другая-бы непремѣнно умерла, а я жива, и Николаева, это—женщина-врачъ, которая меня лѣчитъ, увѣряетъ, что я черезъ недѣлю, при благоразуміи, буду совсѣмъ здорова. А я такъ хотѣла умереть!.. и это вовсе не страшно, когда близко... издали только пугаетъ...

— Боже мой, что такое вы говорите, опомнитесь!—почти крикнула Нина, хватая ее за руку:—успокойтесь... Если вы слабы, полежите молча, а потомъ тихонько разскажите мнѣ, какая была у васъ болѣзнь, что случилось.

Ольга послушно замолчала и продолжала лежать съ закрытыми глазами.

Нина глядѣла на нее все съ возроставшей жалостью.

«Какое лицо, какая страшная перемѣна! Такъ больна и совсѣмъ одинока, среди чужихъ, въ этой страшной грязной комнатѣ... Гдѣ-же Вейсъ? Вѣдь, онъ ея женихъ. Они любятъ другъ друга. Онъ имѣетъ право ухаживать за своей невѣстой».

— Отчего его нѣтъ?—громко сказала она свою мысль.

— Кого?—спросила Ольга.

— Вашего жениха.

— У меня нѣтъ жениха, нѣтъ... слышите?.. Все это прошло... сонъ... кошмаръ... Поймите-же теперь, что я имѣла право желать смерти!

Она открыла глаза и даже приподнялась съ подушки. На исхудавшихъ желтыхъ щекахъ ея вспыхнулъ слабый румянецъ.

— Не волнуйтесь, Ольга, вамъ это такъ вредно. Простите меня... этотъ мой глупый вопросъ. Могла-ли я думать?—растерявшись, говорила Нина.

Но возбужденіе Ольги усиливалось.

— Да, я знаю, мнѣ это вредно, очень вредно!.. Да мнѣ-то какое дѣло! Развѣ я могу объ этомъ не думать... не волноваться... не говорить... Не спросили-бы вы, я сама бы вамъ все разсказала. Я не могу молчать... Онъ глупецъ, жалкій глупецъ, и притомъ самый низкій человѣкъ, какого только можно себѣ представить!.. Ахъ, что онъ со мною сдѣлалъ... слушайте... знайте... я не могу молчать, и вы, вѣдь, не станете срамить меня... на васъ можно положиться... Да, знайте... вы такъ неопытны, не имѣете никакого понятія о людяхъ, о жизни... вамъ полезно знать, что бываетъ на свѣтѣ.

И она разсказала испуганной Нинѣ всю исторію и развязку своей любви. Эта любовь уже имѣла естественныя послѣдствія, которыя, какъ рѣшили между собой Ольга и Вейсъ, должны были, въ самомъ скоромъ времени, прикрыться «церковнымъ обрядомъ». Но «Крейцерова соната» произвела на автора «Смысла жизни» такое потрясающее впечатлѣніе, что онъ совсѣмъ «ошалѣлъ», по выраженію Ольги. Когда она, въ день отъѣзда Нины, прибѣжала къ нему и требовала объясненія его словъ о томъ, что къ преступному и грязному прошлому не должно быть возврата, онъ спокойно отвѣтилъ ей:

— Вся эта мерзость, называемая любовью, которой мы предавались какъ грязные звѣри, навсегда должна быть кончена между нами. Отнынѣ мы можемъ быть только братомъ и сестрою, если наши взгляды, убѣжденія и вѣрованія вполнѣ сходятся. Но, во всякомъ случаѣ, мы должны провѣрить и себя самихъ, и другъ друга. Мы еще слабы, намъ грозитъ новое паденіе, а потому намъ необходимо разлучиться на болѣе или менѣе продолжительное время. «Смыслъ жизни» почти оконченъ, остается всего двѣ-три главы, и я уѣзжаю...

Бѣдная Ольга старалась его образумить, объяснить ему все неблагородство его поступка съ нею, но онъ ничего не понималъ или дѣлалъ видъ, что не понимаетъ. Наконецъ, онъ сдался и какъ-будто даже расчувствовался. Онъ сказалъ, что разъ съ ними случилось такое несчастіе, онъ готовъ «подвергнуть себя церковному обряду». Хорошо, они обвѣнчаются, но потомъ сейчасъ-же разойдутся и, въ отдаленіи другъ отъ друга, начнутъ взаимное испытываніе.

Съ этимъ Ольга и ушла отъ него. «Церковнаго обряда» нельзя было совершить постомъ, и поневолѣ пришлось отложить его до Ѳоминой недѣли.

Прошло нѣсколько дней. Вейсъ не явился къ Ольгѣ. Она опять побѣжала къ нему, но его не застала.

Наконецъ, на Страстной, онъ явился. Она такъ надумалась, такъ намучилась за это время, ей сдѣлалось такъ ужасно невыносимо и стыдно, что она не могла молчать передъ нимъ и притворяться.

Она высказала ему все, всю накипѣвшую въ ея обманутомъ сердцѣ ненависть къ «великому учителю». Она сама не помнитъ теперь, что говорила. Но, вѣдь, онъ, онъ чуть не прибилъ ее! Онъ такъ кричалъ и бѣсновался, что фрейленъ Хазенклеверъ прибѣжала и грозила послать за полиціей. Тогда онъ нѣсколько успокоился и объявилъ Ольгѣ, что жестоко въ ней обманулся, что она неспособна ни на какое развитіе, что она—грязная самка и ничего больше, что у ней позднышевскіе идеалы, и онъ вовсе не намѣренъ губить ради нея свою жизнь, которая еще пригодится на великое дѣло оздоровленія общества. Онъ оскорблялъ ее самымъ грубымъ образомъ и довелъ, наконецъ, до того, что вотъ «это самое» и случилось. Тогда онъ испугался и побѣжалъ за женщиной-врачемъ.

Но потомъ, потомъ, на слѣдующій-же день, онъ объявилъ Ольгѣ, что сама судьба развязала его съ нею, что теперь онъ имѣетъ полное нравственное право не считать себя связаннымъ, и о «церковномъ обрядѣ», такъ-какъ послѣдствій ихъ бывшаго звѣрскаго преступленія нѣтъ, не можетъ быть и рѣчи. О братскихъ отношеніяхъ тоже нечего думать при такой разницѣ убѣжденій. Онъ уѣзжаетъ немедленно и въ Петербургъ долго не вернется. Она свободна теперь искать себѣ подходящаго звѣря для звѣрской жизни.

И онъ ушелъ, и ушелъ навсегда.

Вотъ тогда-то ей и стало такъ дурно, что она чуть не умерла и ждала смерти съ радостью, звала эту смерть, какъ освобожденіе отъ позора...

Досказавъ свою исповѣдь, Ольга впала въ истерическій припадокъ, и Нина совсѣмъ не знала, что дѣлать съ нею.

Пришлось позвать на помощь фрейленъ Хазенклеверъ. Та явилась изъ кухни со своей голой шеей и короткими рукавами, принесла воды, послала Сашу за женщиной-врачемъ; но сама относилась къ своей постоялицѣ съ большимъ негодованіемъ и ворчала:

— Фуй, Schande, Schande!.. я бѣдни дѣвицъ, но благородни дѣвицъ... и вотъ, въ мой шестни квартиръ такой шкандаль, такой безобразій!..

Она почти силой отвела Нину въ сосѣднюю комнату и, вся багровая, шептала ей:

— Ich bin barmherzig, zu barmherzig!.. у мене добраго, золотого сердце... я не могу ее больной выгоняль, но скажить ей, когда она виздоравливаль, пускай сичасъ съѣзжаль... мой квартиръ — шестни квартиръ...

Нина хотѣла бѣжать отъ всего этого ужаса. Она невольно чувствовала къ Ольгѣ теперь больше отвращенія, чѣмъ жалости, но изо всѣхъ силъ старалась побѣдить въ себѣ такое чувство.

«Она страдаетъ, она несчастна... хороша я буду, если теперь ее брошу, когда она одна на всемъ свѣтѣ».

И Нина, какъ только могла, старалась успокоить больную.

Саша вернулась не заставъ женщину-врача, которая должна была пріѣхать домой только къ вечеру.

Тогда Нина написала Марьѣ Эрастовнѣ о томъ, что Ольга Травникова сильно больна и при ней никого нѣтъ, что она остается у нея до вечера, а, можетъ-быть, и дольше, до тѣхъ поръ, пока ея присутствіе будетъ необходимо.

Съ этой запиской уѣхалъ кучеръ.

Мало-по-малу Ольга успокоилась и забылась сномъ. Она спала долго и не успѣла еще проснуться, какъ въ передней раздался звонокъ. Нина слышала этотъ звонокъ, только не обратила на него вниманія.

Между тѣмъ, то была сама Марья Эрастовна.

Ей отперла фрейленъ Хазенклеверъ и, приблизительно узнавъ, кто она такая, задержала ее въ передней своими объясненіями.

Кругленькая генеральша возмутилась и вознегодовала не на шутку, разобравъ въ чемъ дѣло и какого рода болѣзнь у Нининой пріятельницы.

Нина, совсѣмъ разстроенная сидѣла возлѣ кровати Ольги, сторожа ея сонъ, когда у двери спальни появилась фрейленъ Хазенклеверъ и поманила ее пальцемъ.

— Баришня, пожалюйте!—многозначительно произнесла она.

Нина подошла къ двери.

— Васъ спрашивайтъ...

— Кто?

— Ihre Frau Tante...

Нина вышла въ переднюю и разглядѣла грозное лицо Марьи Эрастовны.

— Бери пальто и—маршъ за мною!—повелительнымъ «военнымъ» голосомъ произнесла та. А затѣмъ прибавила:—Ну, безъ разсужденій, тебѣ здѣсь, матушка, не мѣсто...

Нина, однако, ничуть не смутилась.

— Тетя, войдите,—спокойно сказала она, взяла Марью Эра-

стовну за руку и почти силой втащила ее въ первую Ольгину комнату.

Она приперяа дверь спальни и горячимъ шопотомъ разсказала все, что узнала отъ Ольги.

Марья Эрастовна слушала строго, но внимательно. Выслушавъ все до конца, она сказала:

— Хорошо, но все-же тутъ тебѣ не мѣсто. Ей нужна опытная сидѣлка. Вспомни, вѣдь, я взяла тебя на свое попеченіе, я обѣщала твоимъ отцу съ матерью слѣдить за тобою... въ какое же положеніе ты меня ставишь!.. Пожалуйста, не упрямься, поѣдемъ!

— Все это такъ, тетя,—отвѣтила ей Нина:—мнѣ, вотъ, и самой здѣсь тяжело... Только я все-же сдѣлаю то, что надо. Вѣдь, эта несчастная Ольга совсѣмъ одна, она одна на цѣломъ свѣтѣ, у нея никого нѣтъ, и если я не буду при ней, пока она не поправится... да она умретъ отъ отчаянья въ своемъ одиночествѣ! Наемная сидѣлка не дастъ ей того, что могу дать я... вѣдь, я знаю ее съ дѣтства, и она все-же меня любитъ... Я одна еще могу помочь ей подняться послѣ всего этого... Она меня не заразитъ и не испортитъ, а если я не сдѣлаю для нея того, что приказываетъ мнѣ Христосъ—вотъ тогда я буду очень грѣшна, заражена, испорчена!.. Такъ не сердитесь на меня, тетя, не мѣшайте мнѣ.

Марья Эрастовна соображала и видѣла, что Нина «занеслась», и что съ *этой* почвы ее не сдвинешь.

— Ну вотъ что,—наконецъ, сказала она:—дѣлать нечего,—разъ ужъ я имѣла глупость отпустить тебя сюда, сиди тамъ съ нею, а я сейчасъ-же поѣду, отыщу и привезу сидѣлку.

XXIX.

Нина, конечно, поставила на своемъ и, несмотря на присутствіе опытной сестры милосердія, присланной изъ Общины, всѣ дни проводила съ Ольгой. Она уѣзжала домой только поздно вечеромъ, когда больная засыпала.

Не только чувство нравственной брезгливости относительно Ольги безслѣдно прошло въ маленькой княжнѣ, но она испытывала теперь къ этой несчастной дѣвушкѣ почти материнскую нѣжность. Она подолгу ласково глядѣла на нее ясными синими глазами, совсѣмъ по-дѣтски улыбалась ей, а когда Ольга начинала говорить и волноваться, закрывала ей ротъ рукою и требовала безусловнаго повиновенія.

— Милочка, лежите спокойно и молчите,—объявляла она:—а то я разсержусь не на шутку и уѣду!

Она ужъ видѣла и чувствовала, что ея присутствіе, ея ласковый голосъ, улыбки, всякое ея движеніе доставляютъ Ольгѣ удовольствіе, развлекаютъ ее, отводятъ отъ мрачныхъ мыслей.

Самое тяжкое въ положеніи Ольги теперь, дѣйствительно, было одиночество, сознаніе покинутости, и вотъ это-то сознаніе стихало и забывалось отъ прикосновенія Нины...

— Ну что? какъ сегодня? лучше?—спрашивала княжна по утрамъ, входя въ первую комнату и снимая шляпку.

— Конечно, лучше,—добродушно улыбаясь, отвѣчала ей толстуха «сестра», съ первой-же минуты влюбившаяся въ «эту милушку, эту умненькую золотую куколку», какъ она называла ее и Ольгѣ, и Сашѣ, и даже Генріеттѣ Богдановнѣ Хазенклеверъ, благородное негодованіе которой уже замѣтно стихло.

— Конечно, лучше,—повторяла она:—только мы ужъ скучать, было, начали: вдругъ, молъ, наша барышня-красавица не пріѣдетъ. То и дѣло съ часами справлялись... А теперь, какъ взошло наше красное солнышко, такъ еще лучше будетъ—въ минутку совсѣмъ поздоровѣемъ...

— Это я-то «красное солнышко», сестрица? Развѣ я рыжая?—весело говорила Нина и спѣшила въ спаленку Ольги.

— Вотъ и я... вы думали, я заспалась? Ничуть! Проснулась я рано и давно ужъ выѣхала изъ дому, только по дорогѣ коекуда заѣхала,—щебетала она, цѣлуясь съ Ольгой и гладя ее по головѣ какъ малаго ребенка.—Вы думаете, я съ пустыми руками? Извините, ошибаетесь, въ трехъ магазинахъ была... Посмотрите-ка!

Она убѣгала въ переднюю и возвращалась съ громадными апельсинами, съ конфетами, съ душистыми цвѣтами...

Бѣдныя, унылыя и закопченныя комнатки сразу оживлялись. Пахло свѣжими цвѣтами, раздавался звонкій смѣхъ Нины. «Сестрица» молодѣла и принималась разсказывать дѣвушкамъ разныя интересныя вещи. Она многаго навидалась на своемъ вѣку и даже «была на войнѣ».

Кончалось тѣмъ, что Ольга, сначала молчаливая и разсѣянная, мало-по-малу заинтересовывалась—и сама смѣялась. Въ такихъ пріятныхъ бесѣдахъ «о страшномъ, съѣстномъ и домашнемъ» проходилъ весь день.

Пріѣхавъ утромъ въ воскресенье, Нина застала Ольгу сидящей на диванчикѣ, въ первой комнатѣ. Она была еще очень слаба; но глаза стали совсѣмъ живыми. Въ этотъ день Нина не осталась до вечера, а уѣхала къ обѣду домой, уѣхала на свиданіе съ другимъ «больнымъ», о которомъ не переставала думать...

Аникѣевъ явился къ обѣду, но такой блѣдный, усталый и, видимо, совсѣмъ разстроенный, что у Нины упало сердце, когда она на него взглянула.

Дѣла его ни въ какомъ отношеніи не улучшились, и каждый новый день только ухудшалъ ихъ. Наканунѣ онъ съ утра поѣхалъ въ Царское и пробродилъ тамъ до вечера, надѣясь такъ или иначе увидѣть Соню. Но онъ не успѣлъ въ этомъ.

Спасительный deus ex machina относительно Снѣжкова тоже оставался все тѣмъ же, заключаясь въ предложеніи Николая Александровича. А между тѣмъ, Аникѣевъ упорно отгонялъ отъ себя мысль о необходимости разстаться со своимъ любимымъ старымъ гнѣздомъ, завѣщаннымъ ему матерью.

Алина продолжала привлекать его, но каждый разъ онъ уходилъ отъ нея все съ большей и большей тоскою. На душѣ было совсѣмъ противно, и внутреннее недовольство самимъ собою, презрѣніе къ себѣ быстро возрастало. Все это подѣйствовало на его здоровье. Онъ просыпался по утрамъ совсѣмъ разбитымъ. По временамъ сильно болѣло сердце и кружилась голова..

Но все же, по привычкѣ хорошо владѣя собою, онъ постарался казаться какъ можно веселѣе предъ Марьей Эрастовной и Ниной. Во время обѣда, какъ съ нимъ случалось и какъ бываетъ часто съ очень нервными людьми, самъ не зная отчего, онъ оживился, говорилъ много, разсказывалъ Марьѣ Эрастовнѣ о своей матери и о разныхъ родственникахъ, которыхъ она когда-то знала.

Нина слушала его со вниманіемъ и пристально въ него вглядывалась. Но обмануть ее своимъ оживленіемъ онъ не могъ.

«Надо, непремѣнно надо узнать отъ него все о томъ, какъ онъ разорился и въ чемъ дѣло...—думала она:—я безъ этого не выпущу его сегодня»...

XXX.

Ей не пришлось даже прилагать особенныхъ стараній для исполненія своего желанія. Въ этомъ ей скоро помогла Марья Эрастовна, всегда интересовавшаяся всѣми матерьяльными дѣлами своихъ ближнихъ.

— Михаилъ Александровичъ, — спросила она еще за обѣдомъ:—вѣдь, насколько помню, Софья Михайловна была очень богата. Какъ единственная дочь, она должна была получить все отцовское и материнское состояніе... Помнится, три большихъ, отличныхъ имѣнія, да и капиталъ изрядный. Говорили тогда,

что въ одномъ изъ имѣній графовъ Садовскихъ просто дворецъ, съ разными собраніями рѣдкостей... Или я спутала?

— Нисколько,—отвѣтилъ ей Аникѣевъ:—мама, дѣйствительно, была очень богата и даже сохранила значительную часть своего состоянія. Насъ много, мы раздѣлились. Но все-же и я не могъ бы теперь жаловаться, если-бы... былъ другимъ человѣкомъ. То имѣніе, о которомъ вы говорите, я имъ владѣю, оно еще существуетъ... И даже всѣ коллекціи цѣлы въ старомъ домѣ. А все-же таки у меня ничего нѣтъ...

— Что-жъ это вы, батюшка, прокутили?—воскликнула Марья Эрастовна, заинтересованная до послѣдней степени.

Аникѣевъ сразу потерялъ все свое оживленіе и хотѣлъ отдѣлаться отъ любопытной своей хозяйки нѣсколькими словами, но это оказалось совсѣмъ невозможно.

Марья Эрастовна принялась безцеремонно, даже до полной жестокости, вывѣдывать отъ него всѣ мельчайшія подробности. Онъ переводилъ разговоръ на посторонніе предметы, но она не сдавалась. Кончилось тѣмъ, что онъ пересталъ бороться съ нею и разсказалъ ей обо всемъ.

— Ну вотъ,—говорилъ онъ:—теперь вы знаете, что я съ собой сдѣлалъ... Можетъ быть, вы даже лучше моего поймете, какъ я это сдѣлалъ, потому что я самъ почти ничего не понимаю. Было все въ рукахъ, было—и годъ за годомъ, незамѣтно, понемногу разсыпалось. Конечно, если-бы не Медынцевъ со своими аферами...

— Медынцевъ!—сердито крикнула Марья Эрастовна:—да, вѣдь вольно-же вамъ было входить въ компанію съ этимъ человѣкомъ! Вѣдь, давнымъ давно не только въ Петербургѣ, но и по всей Россіи знаютъ, что это за птица, сколькихъ онъ разорилъ! Что-же вы теперь намѣрены дѣлать?

Аникѣевъ даже ничего не отвѣтилъ. Онъ больше ужъ не могъ говорить объ этомъ,—слишкомъ стало противно. Марья Эрастовна совсѣмъ пересолила въ своемъ жестокомъ любопытствѣ. Она измучила гостя до того, что онъ часа черезъ полтора послѣ обѣда устало взглянулъ на Нину и сталъ прощаться.

Ни Марья Эрастовна, ни княжна его не удерживали. Нина, потому что у нея созрѣлъ планъ, который она желала тотчасъ-же привести въ исполненіе, а генеральша потому, что ждала къ себѣ Ивана Ивановича. Она должна была съ нимъ заняться всякими дѣлами часъ, другой,—и вовсе не хотѣла на такое долгое время оставлять Аникѣева вдвоемъ съ Ниной.

— Однако, твой пріятель не изъ разумныхъ,—сказала она племянницѣ, проводивъ гостя:—эти господа поэты, пѣвцы, музыканты, художники витаютъ тамъ все гдѣ-то по своимъ эмпире-

ямъ, а въ жизни глупѣе малаго ребенка... И ровно ничего тутъ нѣтъ хорошаго, очень даже стыдно!.. У него вотъ дочь, а онъ что надѣлалъ? вѣдь, нищимъ будетъ. Просто вчужѣ обидно.

— И вамъ его не жалко тетя?—спросила Нина.

— Не плакать-ли прикажешь?

— Зачѣмъ плакать, и я не плачу... Только мнѣ жаль его такъ, что и разсказать я вамъ не могу! Этого дѣла оставить нельзя, надо его, непремѣнно надо, спасти—и для него, и для его дочери...

— Ну, вотъ ты бы и спасала,—насмѣшливо перебила ее Марья Эрастовна:—жаль только, нѣтъ у тебя сотенки тысячъ, ты бы ихъ ему и предложила, а онъ бы взялъ, шаркнулъ ножкой и поблагодарилъ: Merçi, молъ, сударыня, очень вамъ благодаренъ...

— Что-жъ это вы смѣетесь надо мною, тетя!—вспыхнувъ сказала Нина.—Я очень хорошо знаю, что ни отъ меня, ни отъ васъ онъ не взялъ-бы денегъ... Но это и не надо.

— Ахъ, такъ ты думаешь, что безъ денегъ можно его выручить и сохранить ему его имѣніе? Дѣловой ты человѣкъ, «ма кузина»!

— Дѣловой человѣкъ не я, а вашъ Иванъ Ивановичъ, и если онъ такой... практичный и умный, какъ вы говорите, такъ онъ навѣрно можетъ придумать, какъ выручить Аникѣева. А вы, тетя, вы должны, непремѣнно должны, постараться объ этомъ. Вѣдь, вы же знали его мать, любили ее, я замѣтила даже, что у васъ глаза заблестѣли, когда вы о ней вспоминали. Такъ хоть ради нея постарайтесь помочь ему. Ну что-жъ, развѣ я глупости говорю, развѣ я не права?!

Она подсѣла къ теткѣ, обняла ее и заглядывала ей въ глаза.

— Ахъ, да! вѣдь, онъ твой дорожный товарищъ! — усмѣхнувшись сказала Марья Эрастовна: — и ты желаешь облегчить его ношу...

— Конечно. Только онъ точно такой-же мой дорожный товарищъ, какъ и вашъ. Подумайте-ка, какъ это было неожиданно, что вы такъ хорошо знали и любили его мать и что онъ даже почти въ родствѣ съ вами. Можетъ быть, это сама судьба привела его въ вашъ домъ, именно въ такое трудное для него время... И вовсе это не шутки... И вовсе это не глупости!..

— Да, да... — морща лобъ, отвѣтила Марья Эрастовна: — Судьба не судьба, а съ Иваномъ Иванычемъ я поговорю, пожалуй, сегодня-же поговорю. Это удовольствіе я тебѣ для праздника сдѣлаю.

— А мнѣ нельзя быть при вашемъ разговорѣ? — спросила княжна.

— Нѣтъ, нельзя, «ма кузина», никакъ нельзя, я терпѣть не могу, чтобы мнѣ мѣшали.

Кругленькая генеральша даже какъ-то нахохлилась, говоря это, и въ голосѣ у нея прозвучало настоящее неудовольствіе.

— Простите, тетя, не буду больше, не буду,—поспѣшила увѣрить ее Нина.—Вѣдь, я отчего... я вовсе не изъ празднаго любопытства, или чтобы мѣшать вамъ... а хорошо-ли вы помните все, что онъ говорилъ... чтобы въ точности передать Ивану Ивановичу?

— Слава Богу, еще память сохранила, дѣло ясное...

— Мнѣ больше ничего и не надо! — радостно воскликнула Нина, поцѣловала тетку, блеснула глазами и упорхнула въ свою комнату.

Марья Эрастовна подозрительно посмотрѣла ей вслѣдъ и подумала:

«Охъ, влюблена она въ этого пѣвца сладкозвучнаго!.. Хоть сама еще и не понимаетъ, а влюблена»...

XXXI.

Ясная погода продолжалась, и въ понедѣльникъ на Ѳоминой задался почти лѣтній день.

Алина, противъ своего обыкновенія, проснулась довольно рано и уже въ девятомъ часу нажала пуговку электрическаго звонка, помѣщавшагося у изголовья ея кровати.

Вѣра своимъ ушамъ не повѣрила, заслыша трижды повторенный звонъ.

Это княгиня зоветъ ее въ такую-то рань!

Вѣра сама еще нѣжилась на кровати въ своей маленькой, но почти даже кокетливо устроенной комнатѣ. Она кое-какъ наскоро одѣлась, пробѣжала по корридору и постучала у двери спальни.

— Войди!—услышала она голосъ княгини.

— Ванна готова?—спросила Алина, когда Вѣра вошла въ спальню.

— Извините, ваше сіятельство, вѣдь, такъ еще рано, половина девятаго, когда-же это вы брали ванну раньше одиннадцатаго часу!

— Ну, такъ, пожалуйста, поторопись, не заставляй меня долго ждать,—произнесла Алина нетерпѣливо и даже сердито.

Вѣра скрылась.

Алина закрыла глаза и задумалась. Два дня не видала она Аникѣева. Да и въ послѣдній разъ онъ ушелъ отъ нея такимъ мрачнымъ, грустнымъ и разстроеннымъ. Она знала почти все относительно его дѣлъ и много объ этомъ думала. Не только что думала, а даже и дѣйствовала.

Кому-же какъ не ей выручить его въ такія трудныя минуты? Какъ она будетъ счастлива, давъ ему хоть нѣкоторое спокойствіе, отогнавъ отъ него тяжелыя заботы о такихъ вещахъ, о которыхъ онъ не привыкъ думать и заботиться. Ея помощь, возможность этой помощи будетъ первымъ настоящимъ оправданіемъ ея поступка съ нимъ тогда, шесть лѣтъ тому назадъ, первымъ осязательнымъ доказательствомъ ея любви къ нему.

Уже вчера у нея было все готово, и она ждала его, заранѣе, радуясь тому, что онъ уйдетъ отъ нея не такимъ, какъ въ прошлый разъ. Но онъ совсѣмъ не пріѣхалъ ни на одну минуту.—Ужъ не боленъ-ли онъ?

Конечно, боленъ, и это неудивительно: онъ такой нервный, и непріятности окружаютъ его со всѣхъ сторонъ.

И вотъ Алина рѣшила исполнить то, на что до сихъ поръ не осмѣлилась ни разу. Она пораньше выйдетъ изъ дому на прогулку въ Лѣтній садъ... Вонъ, вѣдь, какое чудесное, ясное утро!.. Она и на прошлой недѣлѣ долго гуляла одна пѣшкомъ... Это не возбудитъ ни въ комъ подозрѣнія...

Вѣра, съ помощью страстно и безнадежно влюбленнаго въ нее лакея, совершила почти чудо, ванна была готова такъ скоро, что княгиня не успѣла разсердиться за промедленіе...

Въ туалетѣ по возможности скромномъ, но прелестномъ, дѣлавшимъ ее похожей на молодую дѣвушку, Алина вышла изъ дому и направилась пѣшкомъ къ Лѣтнему саду. Она быстро, своей легкой граціозной походкой, прошла къ противоположному выходу. Спустивъ густую вуалетку и нѣсколько робко озираясь миновала она Цѣпной мостъ и остановилась только у Симеоновскаго, гдѣ стоялъ рядъ извозчичьихъ каретъ, Алина взяла ее на часы, прижалась въ уголокъ и поѣхала къ Аникѣеву.

— Здравствуй, Платонъ,—ласково сказала она, когда «дятелъ» отворилъ ей дверь.

Платонъ Пирожковъ вытаращилъ глаза и остолбенѣлъ.

— Что-жъ это? Ты не узнаешь меня?

Онъ тряхнулъ головою и мрачно произнесъ:

— Какъ не узнать-съ, ваше сіятельство...

— Баринъ дома? Здоровъ?

— Дома-съ, пожалуйте!—глубоко вздохнулъ «дятелъ» и отворилъ двери «музыкальной» комнаты.

Аникѣевъ сидѣлъ передъ столомъ и что-то писалъ. Онъ не обернулся.

Алина неслышно прошла по ковру и дотронулась до его плеча.

— Вы?!.—могъ онъ только выговорить и такъ странно, что она не въ состояніи была рѣшить, доволенъ онъ или нѣтъ ея приходомъ.

Между тѣмъ, «дятелъ» тщательно заперъ двери и, конечно, притаился за ними.

— Ты здоровъ? Отчего не былъ у меня ни третьяго дня, ни вчера?—шептала Алина, съ нѣжностью глядя ему въ глаза.—Я была увѣрена, что ты боленъ. Сегодня я почти всю ночь не могла заснуть отъ этой мысли и вотъ не утерпѣла... Ахъ, Миша, если-бы ты зналъ, какъ давно мнѣ хотѣлось побывать у тебя. Это неблагоразумно? да?.. Но, впрочемъ, теперь врядъ-ли бы я могла кого встрѣтить. А слѣдить за мной не кому. Ну, ты здоровъ, по крайней мѣрѣ на ногахъ, и то слава Богу... Отчего же ты у меня не былъ?

Она обвила его, прижалась къ нему, все продолжая глядѣть ему въ глаза съ возраставшей горячей нѣжностью. И ему стало тепло, и онъ забылъ сразу все, что за минуту предъ тѣмъ тревожно и мучительно наполняло его мысли.

Онъ снялъ съ нея накидку и шляпу.

— А какъ все-таки хорошо, что ты здѣсь, у меня,—сказалъ онъ съ загорѣвшимися глазами.—Ты говоришь, Алина, что почти не спала ночь и рано встала, а я спалъ много, всталъ недавно, но чувствую себя совсѣмъ плохо, то-есть, чувствовалъ, потому что ты меня оживила. Знаешь-ли, я еще ничего не ѣлъ сегодня и голоденъ. Я велѣлъ Платону подать мнѣ завтракъ. Ты, вѣрно, тоже еще не завтракала.

— Да, и тоже голодна.

— Вотъ и отлично!.. Позавтракаемъ вмѣстѣ.

— Платонъ!—крикнулъ Аникѣевъ.

Платонъ отскочилъ отъ двери въ передней и вошелъ съ противоположной стороны.

— Что-же завтракъ—скоро?

— Сейчасъ подаю,—уныло отвѣчалъ «дятелъ».

— А на мою долю хватитъ?

— Коли не побрезгуете,—пробурчалъ онъ:—чай отъ моей стряпни давно отвыкли, ваше сіятельство... невкуснымъ покажется.

— Да, если ты съ тѣхъ поръ разучился и моришь голодомъ своего барина. Тогда, въ Снѣжковѣ, ты готовилъ отлично.

«Дятелъ» не обратилъ никакого вниманія на эти слова и вышелъ бокомъ, со всѣми признаками самаго дурного настроенія духа.

Минутъ черезъ десять онъ внесъ и накрылъ небольшой складной столъ, а затѣмъ скоро подалъ яичницу съ ветчиной, маленькую сковороду съ телячьей ножкой въ мадерѣ и два великолѣпныхъ бифштекса. Онъ превзошелъ самъ себя. Все было такъ вкусно приготовлено, что самый капризный гастрономъ не могъ-бы ни къ чему придраться.

— Вотъ-съ, извольте попробовать, какъ я морю съ голода барина,—не утерпѣлъ онъ, взглянувъ вызывающе на Алину.

Затѣмъ появилась бутылка старой Снѣжковской наливки.

Аникѣевъ и Алина завтракали съ большимъ аппетитомъ.

— Послушай, Платонъ, да, вѣдь, ты достигъ совершенства,— сказала Алина, рѣшившись еще разъ полюбезничать съ «дятломъ»:—я давно такъ вкусно не ѣла. Мой поваръ мнѣ ни разу не подалъ такого удивительнаго мяса.

Но Платонъ Пирожковъ былъ неумолимъ и только повелъ усами, будто совсѣмъ и не слышалъ обращеннаго къ нему комплимента.

— Кофею прикажете?—уныло спросилъ онъ Аникѣева.

— Конечно,—отвѣтилъ тотъ.

— Ecoute, mais il va m'empoisonner!—смѣясь шепнула Алина, когда «дятелъ» вышелъ:—онъ меня, должно быть, совсѣмъ ненавидитъ. Я передъ нимъ разсыпаюсь, а онъ глядитъ на меня, будто у меня ножъ за пазухой!.. И какъ онъ постарѣлъ за эти годы... бѣдный Платонъ! Ну, ничего, пусть ненавидитъ, а я его люблю,—я знаю, какъ онъ тебѣ преданъ...

— Да, можетъ быть, это единственный другъ мой!—печально сказалъ Аникѣевъ.

— Единственный?!—спросила она, весело засмѣявшись.

Когда кофе былъ поданъ, а складной столъ съ остатками завтрака вынесенъ Платономъ Пирожковымъ, Алина рѣшилась подойти къ главной цѣли своего посѣщенія. И все-таки ей невольно было жутко начать; неясное сознаніе подсказывало ей теперь, что все это не такъ легко, какъ ей казалось. Она оглядывала комнату, любовалась ея гармоническимъ убранствомъ, потомъ остановилась передъ портретомъ Софьи Михайловны и долго молча на него глядѣла, восхищенная, поражаясь удивительнымъ, хотя и неуловимымъ сходствомъ этой прелестной женщины съ ея Мишей.

— Помнишь,—наконецъ, сказала она:—какъ хорошо висѣлъ этотъ портретъ въ Снѣжковѣ, какъ онъ всегда былъ эффектно освѣщенъ. Помнишь, какъ мы подъ нимъ съ тобой сидѣли въ зеленой комнатѣ?

— Да,— глухо отвѣтилъ Аникѣевъ:—но ужъ больше никогда сидѣть тамъ не будемъ. Все рѣшено, ты застала меня за письмомъ къ брату. Я пишу ему, что согласенъ, пусть онъ покупаетъ Снѣжково. Другого выхода нѣтъ...

Щеки Алины вспыхнули и глаза ея радостно сверкнули.

Онъ самъ началъ, теперь нужно...

XXXII.

— Выходъ есть, и очень простой,—сказала она:—завтра у насъ будутъ деньги.

— Какія деньги?—изумленно спросилъ онъ.

— Обыкновенныя, настоящія, какія всегда бываютъ,—отвѣчала она, подходя къ нему, обнимая его и нѣжно ему улыбаясь.—Къ несчастію, не столько, сколько-бы мнѣ хотѣлось и сколько нужно для того, чтобы отогнать отъ тебя всѣ эти противныя заботы, чтобы сдѣлать тебя такимъ-же свободнымъ и безпечальнымъ, какимъ ты былъ прежде. Но погоди немного, не больше году—и все придетъ, все придетъ, моя радость...

Онъ сразу поблѣднѣлъ и отстранилъ ее отъ себя задрожавшей рукой.

— Что ты говоришь? Что такое? Ты, кажется, предлагаешь мнѣ деньги... твоего... мужа...

— Ахъ, Боже мой, милый, не дѣлай такихъ страшныхъ глазъ!—еще нѣжнѣе продолжала она.—Я вовсе не предлагаю тебѣ денегъ князя. Это мои, мои собственныя деньги. Я тебѣ не говорила, вѣдь, я, наконецъ, продала мою землю и даже очень, очень выгодно. Вообще, какъ могла и сумѣла, за это время я устроила свои собственныя денежныя дѣла. Ну, словомъ, у меня теперь, сейчасъ вотъ, есть готовыя деньги... конечно, une misère, всего какихъ-то тамъ тридцать пять тысячъ... Но для начала, чтобы покончить со всѣми твоими теперешними затрудненіями, вѣдь, этого довольно?

— Алина!—воскликнулъ внѣ себя Аникѣевъ:—подумай о томъ, что ты говоришь!.. Ты меня оскорбляешь.. Конечно... я понимаю... ты не даешь себѣ отчета въ своихъ словахъ... ты не поняла, что они значатъ. Ну, такъ оставь-же это, и никогда не вздумай возвращаться къ подобному вздору, если не хочешь, чтобы я не на шутку разсердился... Мнѣ и такъ тяжело,—говорилъ онъ, въ волненіи отходя отъ нея и садясь къ столу.— Я все-же думалъ, я, вотъ видишь-ли, былъ совсѣмъ увѣренъ, что ты хоть немного меня знаешь и что такого предложенія мнѣ... *мнѣ* и *ты* не сдѣлаешь!

Она его знала, знала его мнительную обидчивость, его, иной разъ, совсѣмъ болѣзненное самолюбіе. Поэтому-то до сихъ поръ она и не рѣшалась предложить ему свои деньги. Поэтому-то ей и трудно было начать такое объясненіе.

Но, вѣдь, вотъ пришла послѣдняя минута, послѣдняя крайность, и только она одна можетъ его дѣйствительно выручить, что-же тутъ для него обиднаго?..

Должно-быть, она не такъ принялась, сказала какое-нибудь неумѣстное слово. Какое? Ей казалось, что она говоритъ именно какъ слѣдуетъ, и то, что слѣдуетъ. Но онъ такъ чувствителенъ, такъ нервенъ. Онъ совсѣмъ боленъ. Надо, однако, его уговорить, успокоить...

Она вся была полна страстной къ нему нѣжностью и въ то же время боялась его, боялась въ немъ тѣхъ для нея непонятныхъ сторонъ его характера, его внутренняго міра, которыя и тогда еще, въ счастливое снѣжковское время, иной разъ выступали передъ ней наружу и пугали ее потому, что она ихъ не понимала.

Онъ такъ добръ, такъ нѣженъ, такъ терпѣливъ и деликатенъ, но въ то-же время, изъ-за чего-то неуловимаго, изъ-за какого-нибудь слова, намека, даже ложно понятнаго намека, въ немъ просыпается какъ-будто совсѣмъ другой человѣкъ—жестокій, неумолимый, котораго ничѣмъ нельзя тронуть. Онъ превращается въ какой-то камень и стоитъ на своемъ, хоть погибай все на свѣтѣ...

Неужели и теперь нашла на него такая минута? Но, вѣдь, любитъ-же онъ ее, любитъ. Какъ-же смѣетъ онъ оскорбляться, какъ можетъ самъ онъ не понимать того, что такъ просто, такъ ясно!..

— Миша,—сказала она, подходя къ нему, опускаясь передъ нимъ на колѣни на коверъ и беря его холодную руку въ свои маленькія, горячія и сильныя руки:—Миша, вѣдь, ты для меня все... дороже тебя никогда, никогда у меня не было и быть не можетъ... вѣдь, я тебя люблю, я твоя не на день, не на годъ... а на всю жизнь... Вѣдь, наша любовь не шутка, не капризъ, не развратъ. Вѣдь, если и теперь ты взялъ меня... значитъ, и ты также меня любишь!.. Если наша жизнь сложилась не такъ, какъ мы бы хотѣли.. если передъ свѣтомъ мы должны притворяться чужими другъ для друга, такъ все-же по настоящему, въ дѣйствительности, ты мнѣ мужъ, а я тебѣ жена... мы съ тобою одно... По какому-же праву на мое самое простое и естественное предложеніе, ты мнѣ такъ отвѣчаешь? Какъ смѣешь ты мнѣ говорить, о какомъ-то оскорбленіи!? Развѣ твои дѣла для меня не все равно, что мои собственныя? Развѣ мы не обязаны выручать другъ-друга, если можемъ?!

Но на него именно нашло то, чего такъ боялась Алина. Его гордость, его самолюбіе, рвали его на части. Онъ поддался имъ и увлекся. А когда онъ увлекался чѣмъ-бы то ни было, его подхватывалъ какой-то вихрь, кружилъ ему голову, путалъ его мысли, и онъ, обезволенный, уносился все впередъ и впередъ, не имѣя силы остановиться и даже не помышляя объ этомъ.

Онъ оказывался въ области фантастической, и дѣйствительность для него исчезала...

— Не старайся уговорить меня, Алина, — мрачно сказалъ онъ:—все это не то, совсѣмъ не то! Ты, можетъ быть, и была бы права при иныхъ обстоятельствахъ. Но, вѣдь, вотъ, хоть ты и хочешь меня увѣрить, что предлагаешь мнѣ свои деньги, онѣ все же не твои деньги, а того господина, котораго всѣ называютъ, да и ты сама называешь, твоимъ мужемъ. И отвратительнѣе, обиднѣе того, что ты мнѣ предлагаешь, ничего быть не можетъ... Очнись...

— Нѣтъ, это тебѣ надо очнуться,—перебила она его:—я тебѣ говорю, что это мои... мои собственныя деньги! Хочешь, я тебѣ покажу копію съ купчей, объясню и докажу происхожденіе каждаго рубля...

— И все-же ничего не докажешь, такъ какъ ты тратишь на себя средства князя и тратишь такъ много! Этимъ самымъ все, что у тебя есть и можетъ быть, откуда бы оно ни пришло къ тебѣ, принадлежитъ ему. Ты связана съ нимъ матеріально неразрывными цѣпями. Представь, вдругъ онъ завтра разорился, потерялъ все. Онъ приходитъ къ тебѣ и говоритъ: «Жена, ты все время жила на мой счетъ, и я содержалъ тебя роскошно, я тратилъ на тебя огромныя деньги; теперь у меня ничего нѣтъ; но у тебя есть свои средства, верни-же мнѣ хоть малую часть того, что я на тебя затратилъ... Что-жъ ты ему отвѣтишь? Вѣдь, если ты скажешь ему, куда именно дѣвала свои деньги... онъ узнаетъ, что ты, принимая отъ него содержаніе, сама... содержала Аникѣева!.. Какая гадость!.. Нѣтъ, Алина, я виноватъ во многомъ, я жилъ глупо, можетъ-быть, даже преступно передъ своей душою, потому что вотъ начинаю невольно и все сильнѣе презирать себя, а это значитъ-же что-нибудь!— но на роль какого-то «Альфонса» я не способенъ...

Будто электрическій ударъ пронизалъ ее. Она выпустила его руку, поднялась и стала передъ нимъ, сама теперь поблѣднѣвшая и негодующая.

— Не я, а ты меня оскорбляешь, жестоко оскорбляешь, хоть я отъ тебя и не заслужила этого,—произнесла она глухимъ голосомъ.—Это ты не понимаешь, что такое говоришь!..

Она замолчала и потомъ, уже болѣе спокойно и даже слабо улыбнувшись, прибавила:

— Однако, не ссориться-же намъ... Я понимаю, ты такъ разстроенъ, нервенъ, нездоровъ... Ну, успокойся-же, милый, и не говори страшныхъ словъ, они между нами неумѣстны...

Аникѣевъ былъ внѣ себя. Онъ совсѣмъ потерялъ способность разсуждать спокойно и видѣть дѣйствительность. Вихрь

уязвленной гордости крутилъ его все сильнѣе. А между тѣмъ, онъ не выказывалъ никакихъ внѣшнихъ признаковъ раздраженія. Онъ говорилъ, какъ въ тихомъ бреду, усталымъ голосомъ:

— Нѣтъ, я совсѣмъ спокоенъ и сказалъ именно то, что есть. Къ чему себя убаюкиваютъ сказками! Наше положеніе и тяжело, и некрасиво... Наша любовь трудна... да и та-ли это, прежняя ли любовь?.. Вотъ тогда, помнишь, мы любили другъ друга по настоящему, тогда ты не стала-бы унижать ни себя, ни меня, предлагая мнѣ деньги...

Алина взглянула на него, и въ ея глазахъ изобразился ужасъ. Онъ продолжалъ, не замѣчая этого ужаса, не видя и не понимая, что каждымъ своимъ словомъ, какъ ножомъ, рѣжетъ Алину.

— Ты вотъ теперь,—тогда вечеромъ,—объясняла мнѣ, что ждала меня шесть лѣтъ и готовила наше свиданіе, готовила нашу новую любовь. Ты говорила, что ушла отъ меня для того, чтобы не очутиться со мной въ бѣдности, при которой поэзія жизни для меня невозможна. Ты и потомъ объясняла мнѣ это, и выходило такъ, что ты дѣйствовала только для меня, жила только мною... Ахъ, но, вѣдь, все это не то... все это самообманъ!.. Что бы мы съ тобой отвѣтили, если-бы кто-нибудь сказалъ намъ: вы, значитъ, испугались бѣдности и захотѣли нѣжиться и наслаждаться каждый на чужой счетъ!..

— Молчи, довольно!—воскликнула Алина, закрыла лицо руками и тихо зарыдала. — Я вижу, понимаю!.. Ты меня больше не любишь...—разслышалъ онъ сквозь эти рыданія ея шопотъ.

Вихрь его чувствъ перемѣнилъ свое направленіе и также быстро уносилъ его теперь совсѣмъ въ другую сторону.

Онъ кинулся къ ней, сталъ цѣловать ея мокрое отъ слезъ лицо и повторялъ:

— Нѣтъ, я люблю... я люблю тебя... только это не прежняя наша любовь... Несмотря на все, она была тогда легка, а теперь стала тяжкой, мучительной... Ну что-жъ, будемъ мучиться... Нѣтъ, я люблю тебя, только никогда не возобновляй этого разговора, не касайся моихъ денежныхъ дѣлъ... не то я уйду, уйду навсегда, хоть и люблю тебя...

Онъ усадилъ ее и самъ сѣлъ рядомъ съ ней, положилъ къ себѣ на грудь ея голову и глядѣлъ на нее, страстно любуясь ею.

Она не шевелилась, даже глаза ея были закрыты. Она ни о чемъ не думала, тоскливо прислушиваясь, какъ въ ея сердцѣ росло то самое мучительное, горькое чувство, съ которымъ она когда-то боролась, рѣшась принять предложеніе князя и разстаться съ Аникѣевымъ.

Да, вотъ онъ здѣсь, не говоритъ и не думаетъ о разлукѣ;

но она чувствуетъ эту, такъ нежданно надвигающуюся и ужъ не отъ нея зависящую, разлуку.

XXXIII.

Никакими ласками не могъ привести Аникѣевъ Алину въ хорошее настроеніе.

Онъ даже спѣлъ ей свою «Легенду рожденія художника», такъ любимую ею по воспоминанію о первыхъ дняхъ ихъ зарождавшейся взаимной страсти. Алина стояла за нимъ, и онъ не видѣлъ, какая печаль изобразилась на лицѣ ея во время его пѣнія и какъ, наконецъ, тихія слезы покатились по ея щекамъ.

Желая разсѣять ее, онъ этой легендой только нанесъ ей новую рану.

Наконецъ, она печально сказала:

— Ну, вотъ мнѣ и пора... Прощай, Миша...

Ему не хотѣлось отпускать ея. Ему самому эта разлука начинала казаться послѣдней разлукой.

— Куда ты спѣшишь? Еще рано... и знаешь, не уходи такъ, у тебя такое нехорошее, грустное лицо... Улыбнись... улыбнись мнѣ по настоящему!..

Но она не улыбалась, а, напротивъ, лицо ее стало еще серьезнѣе и печальнѣе.

— Видишь-ли что, Миша,—сказала она:—если я въ «свѣтѣ» ношу маску и умѣю ее носить отлично, то это еще не значитъ, что въ глубинѣ души я комедіантка. Передъ тобою я всегда была искренна... Я не могу улыбаться... Я ѣхала къ тебѣ съ легкимъ сердцемъ, а вотъ ты положилъ на грудь мою камень, и онъ меня такъ давитъ, и я знаю, что мнѣ отъ этого камня никогда не избавиться. Можетъ быть, сегодняшній день окажется самымъ тяжелымъ, самымъ страшнымъ днемъ въ моей жизни...

— Ну, вотъ ты сама себѣ придумываешь теперь всякіе страхи,—сказалъ Аникѣевъ:—достаточно дѣйствительныхъ страховъ и опасностей. Сегодня вечеромъ я къ тебѣ заѣду, можно? Авось, ты будешь въ лучшемъ настроеніи...

— Заѣзжай... конечно, я буду тебя ждать,—проговорила она, обнимая его и прощаясь.

Уходя, она остановилась у порога передней и быстрымъ взглядомъ окинула всю комнату, какъ-бы прощаясь съ нею. На глазахъ у нея стояли слезы.

Заперевъ за княгиней дверь, Платонъ Пирожковъ подошелъ къ Аникѣеву и передалъ ему письмо.

— Вотъ, получите,—видимо, до послѣдней степени сердясь на барина, самымъ дерзкимъ тономъ сказалъ онъ.

Аникѣевъ разорвалъ конвертъ. Это писала ему Марья Эрастовна.

Она просила его заѣхать къ ней по весьма важному для него дѣлу или сегодня вечеромъ, или завтра до двухъ часовъ дня. Она просила также до свиданія съ ней не рѣшать относительно продажи имѣнія и непремѣнно отвѣтить ей съ подателемъ этой записки, когда именно, въ какомъ часу, онъ у нея будетъ.

— Что-жъ, человѣкъ дожидается отвѣта?—спросилъ Аникѣевъ.

— Дожидался, да ушелъ,—пробурчалъ «дятелъ»:—вы вотъ за пѣніемъ-то и звонка не изволили слышать...

— Отчего-же ты мнѣ не тотчасъ подалъ письмо?

— Не смѣлъ тревожить-съ, — весьма язвительно отвѣтилъ Платонъ Пирожковъ.

Но тутъ онъ солгалъ. Дѣло было не совсѣмъ такъ.

Узнавъ, что человѣкъ отъ новой и совсѣмъ еще невѣдомой ему генеральши, онъ воспользовался предлогомъ и объяснилъ посланному Марьи Эрастовны, что подать письмо теперь не можетъ, такъ какъ баринъ не любитъ, чтобы его прерывали, когда онъ поетъ.

— И вы, любезнѣйшій, ступайте себѣ,—рѣшительно потребовалъ онъ:—какъ баринъ отвѣтъ напишутъ, я тотчасъ-же его вашей генеральшѣ и доставлю; адресочекъ только дайте, гдѣ, то-есть, проживаете.

Посланный сказалъ.

— Э, да, вѣдь, это рукой подать! Ступай, пріятель, скажи: отвѣтъ, молъ, тотчасъ-же будетъ. Я до васъ мигомъ добѣгу.

Посланный ушелъ, а Платонъ Пирожковъ, все время, благодаря присутствію Алины, мрачный и озлобленный, остался очень доволенъ собою. Вотъ онъ пойдетъ и узнаетъ все, что надо—какая еще тамъ генеральша завелась у барина и чего ждать отъ нея—добра или худа.

— Ну, хорошо, ты снесешь отвѣтъ,—сказалъ Аникѣевъ, подходя къ столу:—это близко. Я, впрочемъ, на конвертѣ напишу адресъ.

— Слушаю-съ, тотчасъ сбѣгаю.

Аникѣевъ отвѣтилъ Марьѣ Эрастовнѣ, что будетъ у нея сегодня въ восьмомъ часу.

«Дятелъ» снесъ письмо, но вернулся не особенно скоро.

Однако, Аникѣевъ никуда еще не выходилъ.

— Снесъ!—объявилъ «дятелъ», появляясь передъ бариномъ и уже не такъ злобно на него глядя. — А знаете, Михаилъ Александровичъ,—прибавилъ онъ:—вѣдь, генеральша-то страсть какъ богата... одинъ домина этакій чего стоитъ!..

— Ну такъ что-же?

— Ничего-съ. Онѣ сказали, что будутъ ждать васъ...

Аникѣевъ не замѣтилъ, какъ «дятелъ» быстро скосилъ глаза на лежавшую открытую записку Марьи Эрастовны, не замѣтилъ, какъ онъ бокомъ подобрался къ столу и, дѣлая видъ, будто что-то прибираетъ и сдуваетъ пыль, прочелъ эту записку.

Между тѣмъ, «дятелъ» мгновенно преобразился и поднялъ носъ. Всѣ собранныя имъ свѣдѣнія говорили ему въ пользу новаго знакомства, сдѣланнаго его бариномъ. А эта записка являлась самымъ лучшимъ подтвержденіемъ надеждъ и плановъ, зароившихся въ его сердцѣ.

«Спѣшное дѣло по имѣнію... Ишь ты! Никакъ онъ и впрямь надумался и за умъ взялся... дай-то Господи!»—думалъ онъ.

Записка Марьи Эрастовны заинтересовала и Аникѣева.

Неужели спасеніе?.. И когда-же—въ послѣднюю минуту!.. Но только что-же? Можетъ быть, нашла болѣе выгоднаго покупателя или сама хочетъ купить... Да развѣ это нужно? Такъ тяжело разставаться съ Снѣжковымъ. А если продавать его, то ужъ лучше продать брату даже за плохую цѣну, все-же оно останется въ родѣ. Однако, вотъ что: въ случаѣ найдется покупатель, дающій больше шестидесяти тысячъ, тогда, можетъ быть, и братъ надбавитъ...

Раздумывая такъ и гадая, Аникѣевъ дожидался нетерпѣливо своего свиданія съ Марьей Эрастовной и былъ у нея даже нѣсколько раньше назначеннаго имъ времени.

— Извините, Михаилъ Александровичъ, что я васъ такъ взбудоражила,—сказала Марья Эрастовна:—впрочемъ, когда выслушаете, что я имѣю сказать вамъ, можетъ быть, и не посѣтуете.

— Что-жъ это такое?—спросилъ онъ.—Ваше письмо заинтересовало меня до послѣдней степени.

— А вотъ что, батюшка, прежде всего извольте-ка присѣсть. Мы съ вами одни. Моей княжны дома нѣтъ. Она, видите-ли, съ утра у одной своей больной знакомой и даже не подозрѣваетъ о томъ, что я къ вамъ посылала... Знаете вы меня мало, и мнѣ надо самой вамъ рекомендоваться. Я, видите, женщина коммерческая... одинока я, такъ вотъ отъ скуки всякими дѣлами занимаюсь и кое-что въ этихъ дѣлахъ смыслю. Не симпатично вамъ это покажется, я такъ полагаю. Ну, да ужъ что-жъ тутъ дѣлать! Не всѣмъ за облаками витать, кому-нибудь надо и по землѣ ползать... вотъ я и ползаю, совсѣмъ terre à terre. Вчера вы меня такъ разсердили, такъ обидѣли, что и сказать не могу...

— Я разсердилъ... обидѣлъ... чѣмъ-же, Марья Эрастовна?

— Да вотъ дѣлами-то вашими... Вѣдь, вы, извините, Богъ знаетъ что съ собой сдѣлали. Сначала я просто ужаснулась, а

потомъ, какъ обсудила, такъ и вижу: вамъ всѣ еще поправить можно. Да-съ, можно поправить, но только въ томъ случаѣ, если вы будете умницей и во всемъ станете меня слушаться.

— Готовъ, приказывайте,—улыбаясь, сказалъ Аникѣевъ.

Въ лицѣ Марьи Эрастовны онъ видѣлъ такое добродушіе, въ глазахъ ея такую ласковость, что у него на сердцѣ становилось тепло и ждалось чего-то очень хорошаго.

— Прикажите... Я буду слушаться,—повторилъ онъ.

— У меня есть вѣрный и знающій человѣкъ,—продолжала Марья Эрастовна:—да вы его видѣли, такой высокій, благообразный старикъ... зовутъ его Иваномъ Ивановичемъ...

Аникѣевъ кивнулъ головою.

— Онъ былъ у меня вчера послѣ вашего ухода. Вотъ мы и потолковали съ нимъ. Онъ меня и надоумилъ. И мнѣ, и ему представляется, что имѣніе ваше, какъ говорится, золотое дно.

— Такъ его знающіе люди всегда и называли,—перебилъ ее Аникѣевъ.

— Вотъ видите. Мы въ этомъ убѣдимся, все доподлинно узнаемъ. Пошлемъ туда вѣрнаго человѣка. У меня есть такой на примѣтѣ. И если все это такъ, то вы не только не должны будете продать имѣнія, но черезъ нѣсколько лѣтъ будете получать значительный чистый доходъ.

— Какимъ-же это образомъ?! Зачѣмъ вы меня дразните, Марья Эрастовна?

— Очень просто: у меня есть свободныя деньги, я дамъ вамъ возможность выкупить имѣніе изъ банка и сама возьму его у васъ въ залогъ. Притѣснять я васъ не буду, удовольствуюсь самымъ небольшимъ, законнымъ процентомъ. Поставлю я вамъ опытнаго управляющаго, онъ приведетъ все въ порядокъ и возвыситъ, на сколько возможно, доходность вашей земли. Ломилуйте, какъ можно продавать! Цѣнность земли растетъ съ каждымъ годомъ, въ землѣ вся наша будущность, только надо хорошо хозяйничать. Ну, да мы еще сто разъ обо всемъ этомъ переговоримъ съ вами, а теперь мнѣ надо знать одно—согласны вы имѣть вмѣсто банка меня своимъ кредиторомъ?

Передъ Аникѣевымъ какъ-будто разорвалась черная, нависшая надъ нимъ туча, и изъ-за нея разлился ясный солнечный свѣтъ.

— Марья Эрастовна,—прошепталъ онъ:—вы предлагаете мнѣ спасеніе... развѣ отъ этого отказываются!

Но онъ еще боялся вѣрить.

— Однако, мое Снѣжково, можетъ быть, и не такъ интересно, какъ вы думаете. Къ тому-же пока вашъ повѣренный поѣдетъ туда, будетъ его осматривать, пройдетъ много времени. И въ это время со мной могутъ случиться очень непріятныя вещи.

— Это, вѣрно, по вашимъ разсчетамъ съ банкомъ? Не безпокойтесь, если даже я и найду для себя невыгоднымъ освободить васъ отъ всего банковскаго долга, то на небольшую, нужную вамъ сумму мы во всякомъ случаѣ можемъ сдѣлать вторую закладную. Ну, что-же, по рукамъ?

Аникѣевъ взялъ протянутую руку генеральши и поцѣловалъ ее, вложивъ въ этотъ крѣпкій поцѣлуй всю свою благодарность.

— Я нарочно просила васъ,—сказала она:—назначить мнѣ время, когда вы у меня будете, для того, чтобъ извѣстить Ивана Ивановича. Онъ скоро пріѣдетъ, и мы потолкуемъ обстоятельно. Онъ васъ будетъ разспрашивать, а вы извольте ему отвѣчать.

— Такъ знаете-ли что,—сказалъ Аникѣевъ:—я сейчасъ съѣзжу домой и привезу всѣ мои документы, всѣ счеты, словомъ, все, что у меня есть относительно Снѣжкова.

— Вотъ это дѣло!— одобрила Марья Эрастовна.

XXXIV.

Объясненія Аникѣева съ Марьей Эрастовной и ея повѣреннымъ не затянулись. Просмотрѣвъ документы и ознакомясь съ планомъ Снѣжкова, оба они увидѣли, что погубить такое имѣніе могъ только человѣкъ, приложившій къ этому всѣ старанія и не понимающій самыхъ простыхъ вещей.

— Все обстоитъ благополучно, какъ мы вчера и предположили,—сказала Марья Эрастовна Аникѣеву, ласково и въ то-же время насмѣшливо ему улыбнувшись:—и затѣмъ я васъ освобождаю на сегодня. Отъѣзжайте съ духомъ спокойнымъ и сердцемъ чистымъ. Портфельчикъ вашъ у насъ оставьте, мы еще все пересмотримъ. А затѣмъ, завтра-же вечеромъ, вотъ въ этомъ же часу, исполнивъ за день все, что надо, Иванъ Ивановичъ къ вамъ явится. Теперь ужъ вы съ нимъ будете имѣть дѣло.

— Времени терять не станемъ-съ!—такъ-же ласково и такъ-же насмѣшливо взглянулъ на Аникѣева и Иванъ Ивановичъ изъ подъ своего pince-nez на широкой лентѣ.

Аникѣевъ ушелъ, дѣйствительно, съ легкимъ сердцемъ и чистой совѣстью. Онъ чувствовалъ себя какъ узникъ, вырвавшійся на свободу. И только теперь, какъ слѣдуетъ, осязательно, ясно понялъ онъ—какая отвратительная, грубая тяжесть его давила и какое счастье избавиться отъ этой тяжести.

Его первая мысль была о Сонѣ. Онъ представилъ себя съ нею въ аллеяхъ снѣжковскаго парка. «Когда-же, какъ это будетъ?! Это должно быть, это будетъ!»—повторялъ онъ себѣ и чувствовалъ, что теперь все возможно.

Въ немъ кипѣлъ приливъ новыхъ силъ, энергіи. Усталости, томившей его все это время, какъ не бывало. Онъ взглянулъ на часы—еще не поздно. Онъ поѣхалъ къ Алинѣ.

Она была такъ-же печальна, какъ и утромъ, имѣла разсѣянный видъ; но тотчасъ-же замѣтила оживленіе Аникѣева.

— Что случилось? какая-нибудь пріятная новость?—спросила она.

— Да, представь себѣ, я спасенъ! И это спасеніе пришло ко мнѣ въ то самое время, какъ мы съ тобою вели такіе невеселые разговоры...

Онъ разсказалъ ей все подробно, въ радостномъ волненіи.

Но она слушала его съ померкшими глазами. Она совсѣмъ поблѣднѣла.

— Послушай,—сказала она, когда онъ кончилъ свой разсказъ:—отчего-же ты мнѣ никогда не говорилъ про эту... Марью Эрастовну?

— Ахъ, Боже мой, я такъ недавно и совсѣмъ случайно познакомился съ нею!..

— Постой,—вспоминала и соображала Алина:—да, вѣдь, это та самая тетка княжны Хрепелевой, которая взяла ее къ себѣ и, говорятъ, дѣлаетъ ее наслѣдницей какихъ-то милліоновъ?!

— Относительно наслѣдства и милліоновъ я ничего не знаю,—отвѣтилъ Аникѣевъ.—Ну да, это тетка княжны Хрепелевой,—такъ что-же?!.

Алина закрыла лицо руками.

— Теперь мнѣ все ясно!—съ отчаяньемъ въ голосѣ прошептала она.

— Что ясно? Что?

Полный своей радости и оживленія, онъ все еще ничего не соображалъ.

— Такъ вотъ гдѣ моя погибель?! — врядъ-ли сознавая, что говоритъ это громко, выговаривала Алина.—Вотъ кто тебя у меня отнялъ!.. Значитъ, въ этихъ свѣтскихъ сплетняхъ была правда... А я-то... я смѣялась!.. Зачѣмъ-же ты мнѣ не сказалъ прямо?!—поднялась она вдругъ и сверкнула глазами на Аникѣева.—Зачѣмъ-же ты велъ эту двойную игру... Ты!..

Наконецъ, онъ все понялъ.

— Алина, ты съ ума сходишь!—воскликнулъ онъ.—Какъ тебѣ не стыдно, наконецъ, выдумывать такой вздоръ... и за кого-же ты меня считаешь?

Но онъ ничѣмъ ужъ теперь не въ состояніи былъ разубѣдить ее. Вѣдь, она чувствовала, что близится разлука, и это ощущеніе не могло обмануть ее. Она только не понимала, отчего все это случилось, и такъ быстро, за что она его теряетъ...

Все объяснилось теперь очень просто: у нея оказалась соперница. И кто же! Эта осрамившая себя, сумасшедшая, истеричная дѣвчонка, эта глупая маленькая кукла!..

Въ ней поднялся цѣлый адъ. Въ ней закипѣла такая злоба, на какую она еще никогда не была способна.

— Ахъ... я убаюкивала себя сказками!—вся содрогаясь, съ искаженнымъ лицомъ заговорила она, подходя въ упоръ къ Аникѣеву и глядя на него злыми глазами.—Ахъ, наша любовь не прежняя, она стала тяжела... Я понимаю теперь, что для васъ, можетъ быть, и нелегко справляться съ этой... двойной любовью, обманывая и меня, и ее... Ну, такъ я помогу вамъ... Неужели вы думаете, что я способна дѣлить васъ съ этой скверной дѣвчонкой?..

Она едва переводила дыханіе.

— Алина, ты съ ума сходишь, ты совсѣмъ больна,—началъ, было, Аникѣевъ, чувствуя, что въ немъ поднимается знакомое ему, отвратительное ощущеніе, какое онъ всегда испытывалъ во время сценъ и объясненій съ Лидіей Андреевной.

Алина его не понимала и даже не слышала.

— Низкій, фальшивый человѣкъ... Я предложила помочь вамъ въ дѣлахъ, вы оскорбились и отолкнули меня... Она предложила тоже самое, и вы принялитотъ нея, и вы счастливы!.. О, какъ я васъ ненавижу! Оставьте меня!.. Уходите!..—крикнула она рѣзкимъ пронзительнымъ голосомъ и почти выбѣжала изъ комнаты.

Онъ простоялъ нѣсколько мгновеній не шевелясь, сознавая одно: передъ нимъ была сейчасъ вовсе не Алина, а Лидія. Да, это она, одна и та же, съ тѣми же самыми злыми глазами, съ тѣмъ же тупымъ непониманіемъ, съ той же отвратительной несправедливостью!..

И гдѣ-жъ ея красота, не терявшая даже въ порывахъ гнѣва своей пластической прелести?!

Онъ не сталъ ждать ея и ушелъ безъ сожалѣнія, полный невыносимой, противной душевной усталости.

Онъ вернулся домой съ такимъ лицомъ, что Платонъ Пирожковъ, взглянувъ на него, сразу весь какъ-то съежился и потемнѣлъ. Бѣдный «дятелъ» совсѣмъ измаялся, въ ожиданіи своего барина. Онъ не посмѣлъ его задерживать, когда тотъ заѣзжалъ за портфелемъ съ документами.

«Повезъ документы, значитъ, дѣло не шуточное,—думалъ онъ.—О, Господи, что-то будетъ? Эхъ, кабы Снѣжково не пропало, не досталось въ руки Николая Александровича... Кабы все это божеское испытаніе, наконецъ, окончилось, и жизнь-бы пошла человѣческая, а не собачья...»

«Дятелъ» ждалъ, то и дѣло поглядывая на часы, считая минуты, переходя изъ одной комнаты въ другую, безцѣльно переставляя вещи, не зная, какъ убить время, что съ собою подѣлать. Наконецъ, онъ не вытерпѣлъ и вышелъ на улицу. Онъ пошелъ по дорогѣ къ дому генеральши, то и дѣло останавливаясь и оглядываясь по сторонамъ, въ надеждѣ увидѣть возвращающагося Аникѣева. Онъ дошелъ до самаго дома, не утерпѣлъ и обратился къ швейцару съ разспросами.

Но швейцаръ отнесся къ нему недружелюбно.

— Мало-ли тутъ господъ ходитъ по лѣстницѣ, всѣхъ не примѣтишь... Да и что ты ко мнѣ присталъ? Чего тебѣ отъ меня надо? Проваливай, братъ, своею дорогой. Много васъ такихъ шляется, будто за дѣломъ... кто-жъ васъ разберетъ... А тамъ отвѣчай за васъ...

«Дятелъ» выбранился крѣпкимъ словцомъ и побрелъ обратно.

— Что, баринъ не возвращался? — спросилъ онъ у «своего» швейцара.

— Никакъ нѣтъ, не возвращался,— отвѣтилъ тотъ.

«Дятелъ» окончательно разсердился, но не пошелъ во дворъ и, не будучи въ силахъ справиться со своими чувствами, началъ «критиковать» швейцара.

— А ты это что-жъ?.. ты что о себѣ думаешь?.. развѣ этакъ-то можно?..

— Что такое?—изумленно спросилъ швейцаръ.

— Да какая на тебѣ одежа? Мы, по условію, квартиру со швейцаромъ нанимаемъ, такъ ты и долженъ быть швейцаромъ, при своей амуниціи, ливреѣ, то-есть... А ты ишь срамоту какую куцую на себя напялилъ—стыдъ одинъ, неприличество... Ну, и лѣстница тоже у тебя,—не метешь ты ее...

— Ахъ ты долгоносое чучело! Туда-же! Что ты мнѣ за указчикъ?—озлился швейцаръ.

Черезъ минуту между ними была уже форменная ссора. Еще черезъ минуту швейцаръ, малый рослый и сильный, схватилъ за шиворотъ Платона Пирожкова и, несмотря на всѣ его рѣзкія и смѣлыя тѣлодвиженія, потащилъ къ воротамъ, впихнулъ въ калитку, далъ ему подзатыльникъ, а затѣмъ спокойно вернулся на парадную лѣстницу.

Эта встряска подѣйствовала на «дятла» освѣжающимъ образомъ. Онъ поразмялся, потеръ себѣ спину, энергически плюнулъ и сталъ взбираться по черной лѣстницѣ. Онъ заварилъ на кухнѣ чай и сидѣлъ, попивая съ блюдечка въ прикуску и то и дѣло прислушиваясь. Наконецъ, раздался звонокъ.

Онъ кинулся со всѣхъ ногъ въ переднюю, уже готовый забыть всѣ свои невзгоды; но лицо барина ошеломило его несрав-

ненно сильнѣе, чѣмъ здоровый подзатыльникъ, полученный имъ отъ швейцара.

Аникѣевъ молча снялъ пальто и прямо прошелъ въ спальню.

— Чаю прикажете?—спрашивалъ, идя за нимъ по пятямъ, «дятелъ».

— Ничего не надо, можешь идти.

Платонъ Пирожковъ поставилъ свѣчу на туалетный столъ, но не уходилъ.

— Михаилъ Александровичъ,—началъ онъ заискивающимъ, жалобнымъ голосомъ.—Христомъ Богомъ прошу: не томите!

Аникѣевъ устало взглянулъ на него.

— Вѣдь, душа вся изныла... Какъ дѣло стоитъ съ генеральшей насчетъ Снѣжкова?

— Да ты откуда-же знаешь?—изумленно спросилъ Аникѣевъ.

— Какъ откуда знаю?! Дуракъ я, дуракъ, а все-жъ таки въ головѣ не одно сѣно. Большой догадки не нужно, и такъ видно. Вотъ и за портфелемъ пріѣзжали, и портфель тамъ оставили, не на дорогѣ-же его потеряли...

— Догадливъ ты!—усмѣхнулся Аникѣевъ.—Ну, радуйся: относительно Снѣжкова все хорошо...

Онъ разсказалъ ему въ чемъ дѣло. «Дятелъ» будто воскресъ, поднялъ носъ, отставилъ ногу и принялъ воинственную позу. Однако, горделивое чувство торжества, его наполнившее, быстро замѣнилось умиленнымъ состояніемъ духа.

— Слава тебѣ Господи!—сказалъ онъ и перекрестился.—Ну, сударь, честь имѣю поздравить. Вотъ онъ когда пришелъ, нашъ свѣтлый праздникъ!.. Запоздалъ малость, а заглянулъ-таки и на нашу улицу. Теперь, слава Богу, все устроится! Да что-жъ вы-то глядите невесело? Али болитъ что?

— Оставь!—сказалъ Аникѣевъ.

— Ну вотъ, сейчасъ и «оставь»,—протянулъ «дятелъ».—Оставить-то легко, сударь, да что въ томъ проку... чѣмъ Бога благодарить, а вы—«оставь». Хоть разъ-бы, разъ-бы послушались меня, Михаилъ Александровичъ. Ну, о чемъ теперь тужить, махнули-бы рукою, плюнули-бы, право! Какого еще рожна, прости Господи, надо... Прикажите ка лучше помаленьку укладываться, да и въ Снѣжково! весна теперь, хорошо тамъ у насъ на волѣ, и для моціона, то-есть, гигьена самая настоящая... Только безъ барышни, безъ Софьи Михайловны нашей, не уѣзжайте...

— А ну-ка, достань ее!—вырвалось у Аникѣева.

— Гдѣ мнѣ достать!—подходя къ кровати и оправляя ее на ночь, отвѣчалъ «дятелъ»:—не моего ума это дѣло. Я что... я услужитель! А вы, сударь, коли захотите въ серьезъ, такъ и достанете. Вотъ, хоть-бы съ генеральшей посовѣтуйтесь, она,

по всему видно, барыня умная и на путь васъ наставитъ... Потому—безъ Сонюшки, то-есть, безъ барышни, намъ въ Снѣжковѣ никакъ невозможно... Чаю-то прикажете?

Но Михаилъ Александровичъ не слышалъ.

«Папа! гдѣ ты, папа?!»—зазвучало въ немъ, и этотъ призывъ заглушилъ собою всю его тоску, тревогу, усталость.

XXXV.

Съ этого дня прошло три недѣли. Каждый день приносилъ Аникѣеву что-нибудь новое, хоть и не всегда желаемое. Онъ не вернулся къ Алинѣ и ждалъ, что она или сама опять къ нему пріѣдетъ, или позоветъ его запиской. Онъ не могъ себѣ представить, какъ встрѣтится теперь съ нею и чѣмъ кончится ихъ свиданіе. Но, прежде всего, онъ долженъ заставить ее понять, до чего неосновательна ея ревность и какъ она убійственна для ихъ любви...

Да, онъ думалъ еще о своей любви къ Алинѣ, онъ еще называлъ свое чувство любовью, только ужъ зналъ, что прежній, согрѣвавшій его свѣтъ померкъ и врядъ-ли возгорится когда-либо.

Снѣжковская, волшебная, *его* Алина—погибла, а новая Алина была... какъ всѣ.

Черезъ нѣсколько дней онъ получилъ отъ нея записку. «Я знаю, что очень виновата,—писала она:—и всегда буду раскаяваться въ своей несдержанности. Я пришла въ себя, я покойна, но во мнѣ осталось то же чувство, та же увѣренность: вы ошиблись, вы меня больше не любите. Права-ли я, покажетъ время и ваши дѣйствія. Вы слишкомъ искренни и долго обманывать себя не можете. Я уѣзжаю сегодня за границу и не меньше мѣсяца пробуду въ Парижѣ—вы всегда говорили, что нѣтъ ничего лучше Парижа въ это время года. Увижу, такъ-ли это. Прощайте или до свиданія. А.»

Бѣдная Алина дѣлала послѣднюю попытку. Если онъ ее любитъ, письмо это будетъ для него ясно. Если онъ ее любитъ—она скоро увидитъ его въ Парижѣ, и лѣто ихъ закончится въ Снѣжковѣ и въ Петровскомъ.

Но Аникѣевъ не понялъ этого письма, ничего не прочелъ между строкъ. Ему стало тяжело, горько и обидно, а мысль, что Алина ждетъ его, что она съ отчаяньемъ его призываетъ—не пришла ему въ голову...

Николай Александровичъ заѣхалъ къ брату въ концѣ Ѳоминой и, узнавъ, что Снѣжково ускользнуло, прибѣгнулъ ко всей своей выдержкѣ, чтобы не показать охватившей его досады и злости.

— Ну и прекрасно,—говорилъ онъ, щуря глаза и закусывая

губы:—поздравляю съ удачей и желаю, чтобы твои затрудненія больше не возвращались. Не стану тебя заранѣе разочаровывать... А какъ-же насчетъ службы? Искать тебѣ мѣста?

— Какое теперь мѣсто! — отвѣтилъ Аникѣевъ: — Спасибо... Теперь мнѣ Снѣжково надо приводить въ порядокъ.

— Хозяинъ!—усмѣхнулся Николай Александровичъ.—А я въ Петергофѣ очень удачно дачу нанялъ. Жена и дѣти пріѣзжаютъ. Милости просимъ!

Онъ уѣхалъ и въ тотъ-же день написалъ Лидіи Андреевнѣ, сообщая ей о случившемся, а также выражая сожалѣніе, что не удалось помочь ей.

«Попробуй-ка, достань пять тысячъ на увеселительную поѣздку! прозѣвала!..»—почти съ ненавистью думалъ онъ.

Если это письмо не особенно огорчило Лидію Андреевну, то единственно потому, что она ужъ и такъ была огорчена до послѣдней степени. Всѣ ея планы рушились и, наконецъ, она потерпѣла полное пораженіе: власть имѣющіе люди, къ которымъ она обратилась съ просьбою о назначеніи опеки надъ ея мужемъ, отвѣтили ей отказомъ, не усматривая достаточныхъ поводовъ для такого дѣйствія. Подобное рѣшеніе зависѣло отъ того, что ея главные защитники уже уѣхали изъ Петербурга, «позабывъ» предупредить, кого слѣдовало, въ ея пользу.

Лидію Андреевну такъ поразила эта послѣдняя неудача, что у нея разлилась желчь и она не на шутку заболѣла въ Царскомъ...

Между тѣмъ, «Снѣжковское дѣло», благодаря энергіи и умѣлости Ивана Ивановича, близилось къ окончанію. Новый управляющій, еще молодой человѣкъ, скромнаго, хоть и рѣшительнаго вида, ужъ отправился къ мѣсту своей дѣятельности. Разсчеты съ банкомъ были сдѣланы, и въ рукахъ Аникѣева оказалась значительная сумма: въ виду дѣйствительной стоимости имѣнія, Марья Эрастовна выдала подъ залогъ его гораздо больше, чѣмъ было дано банкомъ.

Какъ-то такъ, само собою, случилось, что Аникѣевъ почти ежедневно бывалъ у генеральши и видался съ Ниной, за которой тетка, занятая своими дѣлами, спѣшившая ихъ скорѣе окончить, не въ состояніи была усмотрѣть.

Маленькой княжнѣ и Аникѣеву казалось, что они всю жизнь были дружны. Они говорили другъ съ другомъ безъ всякаго стѣсненія и не замѣчали времени въ этихъ разговорахъ. Нина хитро, исподволь вывѣдала отъ своего «дорожнаго товарища» все, что ей надо было знать.

Какъ-то вечеромъ, послѣ чаю, воспользовавшись приходомъ Ивана Ивановича, отвлекшаго генеральшу, Нина приступила къ тому, о чемъ все больше и больше думала.

— Вотъ мы скоро разъѣдемся въ разныя стороны, Михаилъ Александровичъ,—сказала она особенно серьезнымъ тономъ:— и когда-то еще увидимся! Что-жъ, вы такъ и уѣдете въ Снѣжково съ камнемъ на душѣ?

— Я на этихъ дняхъ сдѣлаю еще попытку увезть Соню,— рѣшительно отвѣтилъ онъ.

Она встревожилась.

— Нѣтъ, вы этого не сдѣлаете! Вы не возьмете Соню, а *вернетесь* къ ней и къ ея матери... Иначе не можетъ быть,— это ваша обязанность.

— Мнѣ давно всѣ совѣтуютъ то-же самое. Вотъ даже и Марья Эрастовна. Только васъ недоставало!—мучительно волнуясь, заговорилъ онъ.—Но поймите-же, княжна, поймите, другъ мой, что я не могу этого. Я слишкомъ измученъ! Вы посылаете меня на каторгу!

Она поблѣднѣла, опустила глаза; но тотчасъ-же подняла ихъ на него и, повидимому, спокойно сказала:

— Такова судьба ваша. Вѣдь, случается, что люди идутъ на каторгу не только по винѣ, но и безъ вины, вслѣдствіе одной ошибки, своей или даже чужой... идутъ и находятъ *жизнь* и на каторгѣ!.. Я чувствую, я увѣрена, что вы на этой каторгѣ найдете свою просвѣтленную и успокоенную душу... Я увѣрена, что миръ и счастье для васъ настанутъ только тогда, когда вы вернетесь къ вашей Сонѣ... не возьмете ее, а вернетесь къ ней. Ахъ, если-бъ я могла передать вамъ, вложить въ васъ эту мою увѣренность!

Онъ ничего ей не отвѣтилъ, а когда заговорилъ, то заговорилъ совсѣмъ о другомъ. Но она чувствовала, что сдѣлала свое дѣло, что ея слова, можетъ быть, и не пропадутъ даромъ...

XXXVI.

Когда Аникѣевъ въ этотъ вечеръ вернулся къ себѣ, Платонъ Пирожковъ встрѣтилъ его новостью: князь Вово пріѣхалъ изъ Рима.

— Они очень сожалѣли, что васъ не застали,—говорилъ «дятелъ», очевидно, чѣмъ-то довольный:—завтра вечеромъ безпремѣнно быть обѣщались и вотъ... извольте полюбоваться!

Онъ поднесъ Аникѣеву большую картонку съ цѣлой коллекціей галстуховъ, перчатокъ и разныхъ бездѣлушекъ.

— Сувенирчики вамъ привезли-съ... изъ Вѣны... Запасецъ... надолго теперь намъ хватитъ.

— Да что, даже и меня не забыли,—самодовольно прибавилъ

онъ, вынимая изъ кармана и показывая большой портсигаръ.— Занятная вещица... на пружинѣ-съ... безъ замка открывается— и этакъ вотъ, и такъ тоже можно! Тутъ вотъ для денегъ... и что-бъ вы думали: положили цѣлыхъ двадцать пять цѣлковыхъ... Ужъ такой баринъ! дай Богъ имъ здоровья...

Вово не обманулъ, и на слѣдующій вечеръ влетѣлъ, съ визгомъ и смѣхомъ, въ «музыкальную» комнату. Онъ такъ зацѣловалъ Аникѣева, что тотъ даже сталъ защищаться.

— Миша, mon vieux, прости, что я сбѣжалъ не простясь,— трещалъ онъ:—я вотъ тебѣ и галстучковъ, и штучекъ привезъ, чтобъ усахарить, чтобы ты не ругался.

— Спасибо, голубчикъ, очень тебѣ благодаренъ,—сказалъ Аникѣевъ:—только все-же объясни мнѣ, чего это тебя вдругъ такъ помчало въ Римъ?

Вово сморщилъ брови и принялъ дѣловой видъ.

— Ah! mais, vois-tu, c'étai très sérieux... мое присутствіе было тамъ необходимо... la vieille comtesse de Montefiore. . tu sais... et puis Нетти Луцкая... et ce grand nigaud Santoukoff... они мнѣ написали...

— Довольно, садитесь! — смѣясь перебилъ его Аникѣевъ.— Мое любопытство удовлетворено вполнѣ...

— Que tu es drôle, vraiment... tu ne veux pas comprendre...— началъ было Вово, но сейчасъ-же и перемѣнилъ тонъ. — И то правда, не во мнѣ дѣло, а ты вотъ лучше похвали меня, я ужъ наверстываю потерянное... Вчера только вернулся... въ Петербургѣ никого нѣтъ, хоть шаромъ покати... un désert!... Я прямо къ тебѣ... Платонъ Пирожковъ мнѣ все и разсказалъ... Слава Богу! все хорошо, что хорошо кончится...

— Да... если хорошо кончится, а этого еще не видно, — замѣтилъ Аникѣевъ.

Вово вскочилъ на диванъ какъ обезьяна, поджалъ подъ себя ноги, вынулъ изъ жилетнаго кармана свою эмалированную бонбоньерку, принялся грызть то мятные шарики, то анисовыя крупинки и, многозначительно поднявъ брови, говорилъ:

— Конечно, вотъ я и сталъ думать—скорѣе-бы все это кончилось. Платонъ Пирожковъ объяснилъ, что Лидія Андреевна въ Царскомъ, и адресъ ея далъ. Сегодня, какъ всталъ, — прямо туда. Приняла и была милостива... Но я такъ и ахнулъ. Она больна была... mais tout de bon! похудѣла, пожелтѣла — это у нея печень, отъ огорченій... Видно, вся желчь вышла наружу. такъ она и подобрѣла... Томная такая, грустная, на все согласна...

— На что согласна?—тихо спросилъ Аникѣевъ.

— Да чтобы Соню отпустить съ тобою на лѣто въ Снѣжково. А сама она, если ты дашь «приличныя средства», непремѣнно за границу, въ Карльсбадъ, лѣчиться, а потомъ отдыхать

на югѣ... Она такъ слаба... докторъ сказалъ ей, что всякое волненіе, безпокойство и хлопоты—для нея смертельный ядъ, особенно во время лѣченія. Ей необходимъ полный отдыхъ. Ну и, понимаешь, Соню ей взять съ собой, значитъ, невозможно, хоть она не знаетъ, какъ проживетъ безъ своей дѣвочки... Съ ней собирается ѣхать и за ней ухаживать вдовица Бубеньева... Я, вѣдь, и эту «совушку» тамъ видѣлъ! Impayable!..

Аникѣевъ, внѣ себя, схватилъ руку Вово и заговорилъ прерывающимся голосомъ:

— Милый, поѣзжай... или напиши ей, что я дамъ сколько угодно, пусть только ѣдетъ съ Бубеньевой, съ кѣмъ хочетъ... а Соню мнѣ оставитъ. Пусть она завтра... Завтра привезетъ мнѣ Соню... и, сама, если хочетъ, уѣдетъ за границу отсюда... мѣста хватитъ—тамъ, вѣдь, у меня двѣ пустыхъ комнаты въ корридорѣ—устрою! Я вынесу даже Бубеньеву... буду любезничать съ нею!.. Вѣдь, она, Лидія, была у меня, толковала, что Соню необходимо везти этимъ лѣтомъ на Кавказъ, въ Крымъ, только она ужъ, конечно, позабыла объ этомъ,—необходимость для Сони въ лѣченьи прошла.. теперь *ей* надо лѣчиться за границей... француженку она ужъ отпустила... Я самъ, я самъ съ Соней... да въ Снѣжковѣ, вѣдь, старая ея няня, Авдотья... Какой Кавказъ, какой Крымъ! она такъ поздоровѣетъ за лѣто въ деревнѣ!.. И какъ только Лидія уѣдетъ за границу, я дня здѣсь не пробуду лишняго... сейчасъ-же съ Соней въ Снѣжково!.. Напишешь, Вово? Пожалуйста, сегодня-же, съ вечера... да вотъ, садись и пиши.

— Non, ça ne m'arrange pas! — рѣшительно сказалъ Вово:— Письма... это... знаешь... всегда только путаница! Я сейчасъ пошлю ей телеграмму, чтобъ она ждала меня завтра утромъ, и самъ поѣду. Я ужъ знаю... изъ нея теперь веревки вить можно... радехонька будетъ... Ей за граница и на яву мерещится... и вмѣстѣ съ Бубеньевой! Ты представь только... ce délicieux voyage!.. Кстати-же мнѣ завтра и такъ надо быть въ Царскомъ, вѣдь, тамъ Гатарины...

На этомъ они и порѣшили...

XXXVII.

Черезъ два съ половиною года.

Аникѣеву отъ князя Вово.

(Переводъ съ французскаго).

С.-Петербургъ, 16 ноября 189...

Мой милый другъ, если-бы ты зналъ сколько у меня дѣла! Голова идетъ кругомъ, чувствую, что больше не могу и что

плохо кончу. Какъ я завидую тебѣ, что ты въ Снѣжковѣ, далеко отъ этой сутолоки, отъ этихъ до тошноты пріѣвшихся господъ и дамъ, отъ новостей и слуховъ, пускаемыхъ въ обращеніе сегодня, а завтра оказывающихся сущимъ вздоромъ. Мнѣ все это до того опротивѣло, что я надняхъ подумывалъ: ужъ не бѣжать-ли и мнѣ въ мое Заселково? Но, вѣдь, тамъ такая скука! Нѣтъ, Богъ съ ней, съ нашею милой русской деревней!

Зима обѣщаетъ быть веселой, насколько Петербургъ способенъ веселиться. Кой-гдѣ начались ужъ пріемы. Вчера я далъ слово нашей добрѣйшей Натальѣ Порфирьевнѣ участвовать въ ея спектаклѣ, о которомъ ужъ начинаютъ поговаривать, хоть ждать его еще долго. Она, кажется, хочетъ затмить всѣхъ и замышляетъ нѣчто грандіозное. Жаль только, что не французская комедія—это было-бы во всѣхъ отношеніяхъ пріятнѣе, понятнѣе и живѣе. А то изволь-ка выступать въ россійской исторической драмѣ! Одно утѣшеніе—боярскіе костюмы (хоть и они, по правдѣ, изрядно надоѣли).

Наталья Порфирьевна о тебѣ спрашивала и даже сказала, что, несмотря на все, любитъ тебя попрежнему. Она въ восторгѣ отъ твоей симфоніи, которую скоро будутъ у нея, въ большомъ концертномъ залѣ, разыгрывать любители. Просила узнать — правда-ли, что ты готовишь оперу? Что мнѣ велишь отвѣтить ей на это? Она была-бы очень не прочь, если-бы ты самъ у нея дирижировалъ и находитъ, что *теперь* это ужъ можно и было-бы для тебя весьма полезно. Прямо она къ тебѣ не обратится: это должно сдѣлаться какъ-бы случайно, само собой. Совѣтую тебѣ, милый снѣжковскій медвѣдь, подумать объ этомъ,—безъ людей не проживешь. Братъ твой, Николай, у нея въ большой милости и вообще сумѣлъ себя поставить. Онъ заставляетъ о себѣ говорить, и многіе находятъ, что онъ именно такой человѣкъ, какихъ теперь надо.

Представь, надняхъ я встрѣтилъ въ Михайловскомъ театрѣ вдовицу Бубеньеву и, такъ какъ она упорно глядѣла на меня въ лорнетку, рѣшился подойти къ ней, забывъ обо всѣхъ опасностяхъ такого шага. Она превратилась въ настоящій шаръ и до того красна, до того пылаетъ, что, я увѣренъ въ этомъ, ее скоро хватитъ кондрашка. Отъ нея я узналъ, что Лидія Андреевна уже въ Петербургѣ; но тебя съ Соней ждутъ не раньше, какъ въ январѣ. «Вдовица» представила мнѣ сидѣвшаго рядомъ съ нею, длиннаго безусаго юношу, и мнѣ не трудно было замѣтить, что она то и дѣло поглядываетъ на него съ нѣжнымъ вопросомъ. Юноша показался мнѣ, однако, совсѣмъ безчувственнымъ къ прелестямъ этой дамы.

Отойдя отъ нея, я зашелъ въ двѣ ложи. Въ одной изъ нихъ

сіяла своей неизмѣнной красотой княгиня Алина—«la belle», а изъ-за ея кресла, для контраста выглядывала сказочная морда «la bête». Княгиня попрежнему холодна, какъ мраморъ, привлекаетъ всѣ взоры и совсѣмъ покорила Наталью Порфирьевну, которая, кажется, оставляетъ ей по духовному завѣщанію въ наслѣдство свою «святую улыбку».

Во второй ложѣ были Хрепелевы. Папа Хрепелевъ испыталъ недавно изрядную непріятность: одна изъ его прежнихъ таинственныхъ незнакомокъ устроила ему шантажъ. Объ этомъ говорили цѣлыхъ два дня. Однако, онъ откупился и замялъ дѣло. Теперь онъ разговариваетъ, главнымъ образомъ, о необыкновенныхъ достоинствахъ шведскаго массажа и о Браунъ-Секаровскихъ вспрыскиваніяхъ, которыя, какъ онъ увѣренъ, чуть-ли не навсегда вернули ему молодость. Мама Хрепелева, говорятъ, пишетъ книгу: «Хорошій тонъ или сводъ десяти тысячъ свѣтскихъ приличій». Впрочемъ, я не ручаюсь за вѣрность этого слуха, тѣмъ болѣе, что онъ выпущенъ въ свѣтъ... мною.

Эти добрые родители до сихъ поръ не пускаютъ къ себѣ свою преступную дочь и даже, кажется, совсѣмъ отрицаютъ самое ея существованіе. Но я часто видаюсь съ нашей маленькой княжной у ея тетки. Ninette навсегда отказалась отъ свѣта, хоть свѣтъ вовсе теперь не сталъ бы отъ нея отказываться. Марья Эрастовна на нее не надышется и сама мнѣ сказала, позволивъ напечатать это хоть въ газетахъ, что оставляетъ ей послѣ себя почти три милліона.

Ninette все хорошѣетъ, но, къ несчастію, по временамъ на нее находитъ пугающая меня серьезность. Къ тому-же она, мнѣ кажется, пересаливаетъ: стала какою-то бѣлой монахиней. И это смѣшно въ дѣвушкѣ нашего круга...

Однако, всѣхъ не переберешь. Обнимаю тебя. Пріѣзжай скорѣе.

Княжнѣ Хрепелевой отъ Анинѣева.

Снѣжково. 27 ноября 189.

И вы, моя дорогая княжна, торопите меня въ Петербургъ! Если-бы это было въ октябрѣ или началѣ ноября, я бы еще, пожалуй, соблазнился. Но три мрачныхъ осеннихъ недѣли, наводящія въ деревнѣ унынie, прошли. У насъ зима, и Соня каждый день катается на конькахъ по расчищенному большому пруду. Снѣгу напало много, и мое старое милое гнѣздо оправдываетъ свое прозвище. Длинныя аллеи парка превратились въ лабиринтъ съ бѣлыми мраморными стѣнами и со сводами изъ брилліантовыхъ кружевъ, сверкающихъ и переливающихся на зимнемъ солнцѣ.

Эта великолѣпная, сразу ставшая зима дала мнѣ именно то настроеніе, котораго я искалъ для послѣдняго акта моей оперы. Работа подвигается, и пока я ея не кончу,—не тронусь отсюда.

Къ тому-же есть и другія дѣла по имѣнію. Вотъ, на прошлой недѣлѣ, мнѣ пришлось провести, конечно, съ Соней и ея почтенной воспитательницей, а также и съ моимъ вѣрнымъ другомъ, Платономъ Пирожковымъ, два дня въ городѣ. Я встрѣтилъ тамъ вашу пріятельницу, m-elle Травникову. Многіе расхваливали мнѣ ее, какъ учительницу. Теперь она вся поглощена устройствомъ профессіональной школы. Мы говорили о васъ, и, знаете-ли, что она мнѣ сказала? «Я обязана Нинѣ всѣмъ: тѣмъ, что я живу и хочу жить. Она меня спасла не тѣмъ, что ухаживала за мною во время моей болѣзни, а тѣмъ, что примирила меня съ жизнью и согрѣла мою совсѣмъ застывшую душу. Какъ она это сдѣлала—не знаю, но только это такъ».

Я отвѣтилъ ей, что вы и для меня сдѣлали тоже самое. Да, мой маленькій дорогой другъ,—мое настоящее, въ очень значительной степени, дѣло рукъ вашихъ. Я до сихъ поръ не говорилъ вамъ этого; но теперь говорю. Вы подошли ко мнѣ въ самое трудное время мой жизни, подошли прямо, смѣло, неудержимо, какъ-бы по наитію. Вы ничего *новаго* мнѣ тогда не говорили, все это и такъ ужъ было во мнѣ, повторялось въ душѣ моей... Но, Боже мой, мало-ли что говорится иной разъ въ душѣ нашей—и, все-таки, безплодно замолкаетъ!

Великое дѣло—въ самую важную минуту услышать убѣжденное, вдохновенное подтвержденіе своей внутренней, душевной рѣчи. Я самъ говорилъ себѣ многое—и бездѣйствовалъ, и презиралъ себя, и погибалъ въ безсиліи. Вы сказали мнѣ то-же самое, и я нашелъ въ себѣ силу, потому что услышалъ васъ въ самую важную, рѣшающую минуту...

Вы были правы — съ тѣхъ поръ прошло два съ половиной года—и я чувствую себя возрожденнымъ душой, я живу, я не презираю себя больше. У меня такъ много чудесныхъ, счастливыхъ минутъ: ихъ даютъ мнѣ Соня и мое дѣло. Какая отрада — эта дѣвочка и какъ я безумно былъ виноватъ предъ нею и передъ собою! Я долго не могъ глядѣть на нее безъ упрека совѣсти. Теперь могу: она здорова, весела, счастлива. А какъ она растетъ, какъ развивается! Ей ужъ четырнадцать лѣтъ, она становится все больше и больше похожа на мою мать, и она будетъ хорошей піанисткой, хорошей пѣвицей — теперь я это знаю. Мы вмѣстѣ работаемъ, я снова переживаю мое далекое время.

И она меня любитъ, я тоже *знаю* это. И *этой* любви у меня никто и ничто отнять не можетъ.

А того, что я считалъ «каторгой»—я почти не замѣчаю. «Не бойтесь льва, и онъ станесъ васъ бояться»—сказано въ одной древней, мудрой книгѣ. Ну, а я вовсе и не со львомъ имѣю дѣло...

Итакъ, вы помогли спасенію моей души и моей жизни, а Марья Эрастовна, опять-таки, благодаря вамъ, устроила мое благосостояніе. Мой управляющій не только творитъ чудеса, но и меня,—это самое удивительное чудо! —заинтересовываетъ хозяйствомъ. Знаете-ли, что я въ этомъ году внесу Марьѣ Эрастовнѣ около двѣнадцати тысячъ въ погашеніе моего долга!—Это похоже на сказку, а между тѣмъ, это самая живая дѣйствительность моего «золотого дна»—Снѣжкова.

Вотъ и работается, вотъ и опера моя растетъ, растетъ и, кажется, превращается въ органически цѣльное созданіе. Но мнѣ все-же противно думать, что скоро придется вынести ее предъ всѣми. Вѣдь, я стою особнякомъ, не принадлежу ни къ какому кружку, за моей спиной нѣтъ друзей-прославителей. А у насъ все дѣло въ этомъ: «кто не съ нами, тотъ врагъ нашъ». Я знаю—меня станутъ или замалчивать, или травить анонимными газетными статейками. Меня будутъ «стирать съ лица земли» десятками полуграмотныхъ строчекъ, топить въ ложкѣ съ водой. Но авось, Богъ милостивъ, не сотрутъ и не утопятъ.

Вѣдь, у слушателей есть тоже свои уши, и не всѣ ими хлопаютъ по желанію и приказу газетныхъ анонимовъ. Главное же—всякій долженъ дѣлать свое дѣло, рыть свой кладъ и не оглядываться по сторонамъ, не пугаться ночныхъ привидѣній...

КОНЕЦЪ.

ЖЕНИХЪ ЦАРЕВНЫ.

РОМАНЪ-ХРОНИКА XVII ВѢКА

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНІЕ Н. Ѳ. МЕРТЦА.
1903.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 7 Іюня 1903 г.

Типографія «В. С. Балашевъ и К⁰». С. Петербургъ, Фонтанка 95.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Ранній зимній вечеръ ужъ давно наступилъ, и въ царицыномъ теремѣ, по всѣмъ покоямъ и переходамъ, зажглись огни. Мама царевны Ирины Михайловны, княгиня Марья Ивановна Хованская, сидѣла у себя въ опочивальнѣ. Она только-что пришла отъ царицы, послѣ долгой и весьма важной бесѣды, и теперь крѣпко пораздумалась. На некрасивомъ и уже давно поблекшемъ лицѣ ея, освѣщенномъ, однако, большими и добрыми, голубыми глазами, читалось необычное смущеніе.

Женщина она была спокойная, разсудительная; ко всему, что творилось вокругъ нея, въ этомъ обширномъ человѣческомъ муравейникѣ, носившемъ названіе царскаго терема, она относилась всегда безъ волненія и рѣдко что принимала къ сердцу. Но сегодняшняя бесѣда съ царицей Евдокіей Лукьяновной выходила изъ ряду вонъ. Было надъ чѣмъ подумать и чѣмъ смутиться.

Княгиня временами начинала даже шептать что-то почти вслухъ, съ недоумѣніемъ качала головою и разводила руками.

Низенькая дубовая дверь опочивальни скрипнула.

— Кто тамъ?—очнувшись, спросила Марья Ивановна.

— Это я, матушка-княгинюшка... дозволишь войти на малую минутку, али недосугъ тебѣ?—послышался знакомый голосъ.

— Войди, ничего, войди, Настасья Максимовна! – сказала княгиня.

Дверь отворилась и пропустила небольшую, плотную, еще не старую женщину. Это была одна изъ царицыныхъ постельницъ, пользовавшаяся, несмотря на свой не слишкомъ важный чинъ и всѣмъ вѣдомое худородство, большимъ значеніемъ и вліяніемъ въ теремѣ.

— Что скажешь, матушка?.. Присядь-ка!—указала княгиня рядомъ съ собою на низенькую скамью, покрытую мягкимъ стеганымъ тюфячкомъ.

— Спасибо, княгинюшка, разсаживаться-то недосугъ — гдѣ ужъ тутъ, дѣлъ-то съ этими негодными людишками полонъ ротъ, отъ заутрени до заутрени не справиться... я всего на одно слово зашла...

— Что такое, Настасья Максимовна, али по терему неладно?

— Да все Машутка, то есть, вотъ никакого, никакого съ ней сладу... моченьки моей нѣту съ этой дѣвчонкой!—проговорила Настасья Максимовна съ такимъ негодованіемъ, какого даже нельзя было и ожидать отъ ея дышавшей добродушіемъ фигуры.

— Что-же такое еще натворила твоя Машутка? Разбила али попортила что-нибудь царевнино?—съ невольной улыбкой спросила княгиня.

— Какое тамъ разбила! Этимъ стала-бы я тебя тревожить! Не мое дѣло ея черепки считать... Во сто кратъ хуже, княгинюшка!.. Ты, вѣдь, отъ царицы... запершись съ нею была... о дѣлѣ какомъ, видно, толковали... Вотъ вхожу я въ царицыну опочивальню, нынче-то мой нарядъ, да какъ вошла, вижу: занавѣсы-то... у двери, за которой ты запершись съ государыней... занавѣсы-то будто и шевелятся. Кошка, думаю, забралась,—ну какъ неровенъ часъ, да государыню-то ночью напугаетъ! Тихимъ шагомъ я къ занавѣскѣ, анъ глядь, то не кошка, а Машутка-негодница притаилась. Я ее за ухо и вытащила.—Ты что это, молъ, дрянь-дѣвчонка, говорю, какъ это ты сюда забралась, что это ты, говорю, за государыней подслушиваешь? да тебя за такія дѣла убить, говорю, мало! А она-то: глядитъ на меня своими безстыжими глазищами и хоть-бы сморгнула.—Воля твоя, говоритъ, убей ты меня, Настасья Максимовна, а подслушивать у меня и въ мысляхъ не было, да ничего и не слыхала. Какъ сюда, говоритъ, забѣжала, сама не вѣдаю—дверьми обозналась. Вижу, говоритъ, государынина опочивальня, духъ у меня захватило со страху, а тутъ дверь скрипъ, я и за занавѣску... Вѣдь, вишь, что выдумала!.. и не сморгнетъ... я ее держу за ухо, крѣпко держу, а она во всѣ глаза на меня, ровно истуканъ какой... Ну, сама посуди, княгинюшка, ну что-жъ съ этимъ зельемъ теперь дѣлать?!

Княгиня задумалась.

— А, можетъ, дѣвчонка и не вретъ,—сказала она:—бѣсъ въ ней сидитъ, это вѣрно, ровно коза она скачетъ, ровно волчокъ вертится... Можетъ, и точно, забѣжала зря въ опочивальню, да со страху, какъ ты вошла, за занавѣску и спряталась... мудренаго тутъ нѣтъ...

Настасья Максимовна вся такъ и побагровѣла.

— Ну... и ты, княгинюшка, вмѣстѣ съ царевной ее покрываешь!—воскликнула она, разводя руками.

Не покрываю, а, вѣдь, что-же... не убивать-же ее, сирстинку! Ну, накажи ее какъ знаешь...

— Что мнѣ ее наказывать, ухо-то у нея я крѣпко подержала, а только силъ съ нею нѣту, отъ рукъ она отбилась; какъ что, сейчасъ къ царевнѣ, а та за нее горой... Но только, ежели я на такомъ подслушиваніи ее накрыла, могу-ли я умолчать передъ тобою? Должна я о томъ тебѣ доложить али нѣтъ?

— Вѣстимо, какъ не сказать... Ну, вотъ, я Машутку и поспрошаю... тамъ видно будетъ....

— Да только ты не вѣрь ей, княгинюшка, не вѣрь ни единому ея слову... вся она изолгалась и стыда въ ней нѣту ни на волосъ!

— Теперь-то гдѣ-жъ она?

— Гдѣ, какъ не у царевны.

— Такъ вотъ я и пойду.

У княгини мелькнуло въ мысли: «а ну, что коли и впрямь Машутка подслушала да Иринушкѣ передала!.. Не дай Богъ!»

Встревоженная этой мыслью, царевнина мама поднялась со скамьи и быстро вышла изъ опочивальни.

II.

Княгиня Марья Ивановна какъ можно тише подошла къ покою царевны, постаралась какъ можно неслышнѣе отворить дверь и заглянуть такъ, чтобы ея появленіе не сразу замѣтили. Однако, несмотря на это, она не увидѣла и не услышала рѣшительно ничего подозрительнаго.

Царевна Ирина сидѣла за большими пяльцами и при свѣтѣ двухъ толстыхъ восковыхъ свѣчей была, повидимому, прилежно занята рукодѣліемъ. Возлѣ нея въ почтительной и скромной позѣ стояла стройная дѣвочка, лѣтъ пятнадцати. Увидавъ входившую княгиню, эта дѣвочка еще больше опустила глаза и все нѣсколько блѣдное, хотя хорошенькое лицо ея сложилось въ очень жалкую мину. Княгиня прямо подошла къ дѣвочкѣ.

— Ты чего это здѣсь? Что дѣлаешь?

Та подняла на нее большіе темносѣрые глаза, въ которыхъ ясно читались не только робость, но и настоящій страхъ. Она ничего не отвѣтила. Но за нее отвѣтила царевна.

— Это я, мамушка, позвала ее, учу рукодѣлью. Я работаю, а она смотритъ, перенимаетъ.

— Нечего сказать, много перейметъ, хороша рукодѣльница! Да и ты, царевна, что за мастерица! Ежели дѣвчонкѣ и впрямь рукодѣльничать охота, такъ пускай у мастерицъ и обучается.

Избаловала ты совсѣмъ Машутку, со всѣхъ сторонъ только жалобы на нее и слышу.

Дѣвочка опять опустила глаза и такъ и застыла совершеннымъ олицетвореніемъ скромности и испуга. Между тѣмъ княгиня продолжала:

— Ну, да не о рукодѣліяхъ теперь! А вотъ ты скажи-ка мнѣ, Машутка, была ты, этакъ съ полчаса тому времени, въ государыниной опочивальнѣ?

Дѣвочка вскинула, было, глаза на княгиню; но опять опустила ихъ и молчала.

— Что-жъ, языкъ у тебя есть, отвѣчай коли спрашиваютъ!..

Дѣвочка едва слышно отвѣтила:

— Была...

— А! была!.. какъ-же ты смѣла?.. Какимъ путемъ туда попала?!

— Не знаю...—скорѣй вздохнула, чѣмъ сказала дѣвочка.

— Какъ не знаю! Какъ ты смѣешь мнѣ такъ отвѣчать? Кто-же знаетъ?—крикнула княгиня.

Но тутъ царевна пришла на помощь своей любимицѣ.

— Мамушка, да не запугивай ты ее,—произнесла она милымъ, ласкающимъ голосомъ, поднимаясь съ мѣста и, подойдя къ княгинѣ, обняла ее.—Ужъ она мнѣ въ своей винѣ повинилась... Ну, что-же ей и отвѣчать-то, коли и впрямь не знаетъ, какъ она забѣжала?! Это и со мной, вѣдь, по сю пору случается, разыграешься, бѣжишь, словно на крыльяхъ летишь, словно несетъ кто тебя, и двери будто сами собою передъ тобою отворяются. Ну, вотъ и забѣжала, перепугалась. Ужъ ты не казни ее, не брани, она не нарочно и впредь такого не сдѣлаетъ...

Говоря это, царевна прижалась своей нѣжной горячей щечкой къ дряблой, покрытой бѣлилами, щекѣ княгини.

— Заступница, баловница!— произнесла та съ полупечальной улыбкой и тихонько отстраняясь.—А у двери за занавѣской зачѣмъ была?—обратилась она къ дѣвочкѣ.

Та теперь уже не стояла съ опущенными глазами, а глядѣла ими прямо въ глаза княгини, глядѣла пристальнымъ, смущающимъ взглядомъ, въ которомъ ничего нельзя было разобрать и который такъ раздражалъ Настасью Максимовну.

— За занавѣской-то зачѣмъ?— произнесла она, и голосъ ея уже дрожалъ отъ страха.—Не то, что за занавѣску, а и подъ кровать, куда попало спрячешься отъ Настасьи Максимовны, вѣдь, она вотъ ухо-то мнѣ какъ!—закончила она, поднося руку къ своему красному и даже нѣсколько припухшему уху.

— Ухо-то посмотри, мамушка, вѣдь, это что-же такое, вѣдь, этакъ Настасья Максимовна ей когда-нибудь совсѣмъ оторветъ

уши!—сказала царевна.—Вѣдь, не впервые это, такъ какъ же тутъ не прятаться отъ нея?

— Настасья Максимовна женщина не злая, даромъ драть за уши не станетъ,—строго сказала княгиня.—Ну, и что-же, долго ты, Машутка, за занавѣской стояла?

— Какой-же долго, когда она вслѣдъ за мной пришла. Какъ вбѣжала я, не успѣла опомниться, слышу—шаги, а шаги ея я всегда за три покоя узнаю, оглядѣлась—куда мнѣ, вижу занавѣска, я и шмыгъ. Притаилась. А она такъ прямо и идетъ на меня, занавѣску-то отдернула, а меня за ухо и вывела,—медленно, съ небольшой запинкой, но уже безъ особой робости объясняла Машутка и все продолжала, не мигая, прямо смотрѣть въ глаза княгини, такъ что той стало неловко отъ этого взгляда. Неловко, и въ то же время все ея сердце, вся ея раздраженность быстро утихали, можетъ быть, подъ вліяніемъ этого-же взгляда. Вѣдь, это она первая обратила вниманіе на бойкую, смышленую дѣвочку-сиротку. Она приставила ее для мелкихъ услугъ къ своей царевнѣ и до сихъ поръ, несмотря на всѣ Машуткины провинности и на частыя на нее жалобы, миловала ее и жалѣла.

Что-же теперь съ ней дѣлать? Докладывать государынѣ о томъ, что постельница поймала ее въ опочивальнѣ у двери, гдѣ она подслушивала? Плохо придется Машуткѣ, вѣдь, за такое дѣло, вѣдь, за подслушиванье словъ государыниныхъ ее надо не только выгнать навсегда изъ терема, но придется сослать куда-нибудь подальше, въ какой ни на есть строгій женскій монастырь... и конецъ тамъ Машуткѣ на вѣки вѣчные! А, можетъ, она и безъ вины виновата, можетъ, и впрямь все такъ, какъ она объясняетъ?!. на то похоже. Вѣдь, кабы долго она тамъ была притулившись у двери, кабы могла подслушать всю бесѣду, то, конечно, успѣла-бы уже передать о ней царевнѣ и въ такомъ разѣ, сейчасъ вслѣдъ за такимъ извѣстіемъ, развѣ Иринушка могла-бы быть спокойной?! А вотъ она спокойна. Какъ ни всматривается въ свою воспитанницу княгиня Марья Ивановна, ничего не замѣчаетъ въ ней особеннаго. Нѣтъ, рѣшительно все такъ и было, какъ объясняетъ Машутка: ничего она не подслушала, не успѣла. А что бѣгаетъ дѣвчонка—ровно бѣлены объѣлась—такъ этому предѣлъ положить надо. Да, авось, теперь уймется, ишь ухо-то! раздуло его... и впрямь ручки у Настасьи Максимовны не бархатныя...

Княгиня сдѣлала строгое, серьезное лицо и обратилась къ провинившейся.

— Слушай ты меня, озорница! — насколько могла суровымъ голосомъ объявила она:—выдрали тебя за ухо, да мало, ну ужъ Богъ съ тобою, по глупости твоей на сей разъ еще вина тебѣ

прощается, не доложу я о ней государынѣ, пощажу я тебя. Только слушай ты меня и на носу у себя заруби: коли ежели еще разъ что-нибудь такое случится—кончено, только и жизни твоей! Въ тотъ-же день, слышь—въ тотъ-же часъ тебя здѣсь не будетъ и куда тебя увезутъ, и куда тебя дѣнутъ, про то никто даже и не узнаетъ... не ты первая, не ты послѣдняя, чай сама понимать можешь, не малолѣтокъ, вѣдь, ужъ, что за такое дѣло бываетъ...

Царевна улыбалась. Машутка тихонько подошла, склонилась, поймала и поцѣловала руку княгини.

— Смотри ты у меня, смотри!—погрозила та, сердито отдергивая руку. А сама думала:

«Сиротинка, вѣдь, безъ отца, безъ матери, не будь меня, заклевали-бы ее, давно-бы заклевали, такъ что и званья ея не осталось-бы на бѣломъ свѣтѣ». И княгинѣ вдругъ стало не то жаль дѣвочки, не то пріятно, что жизнь этой дѣвочки и ея счастье—ея, княгининыхъ, рукъ дѣло.

— Не прохлаждайся ты тутъ, и ты, царевна, не балуй ее черезъ мѣру.

— Чѣмъ-же я ее балую?—отозвалась царевна:—посмотри-ка вотъ, мамушка, хорошо вотъ эти цвѣтики вышли?

Она отшпилила платокъ, прикрывавшій часть работы и показывала хитро расшитыя шелками и бисеромъ фантастическія «травы».

— Ужъ на что лучше, красота!—разглядывала съ видомъ знатока княгиня.

— Такъ, вѣдь, это кто вышилъ: не я, а Машутка. Вотъ отъ сихъ поръ и до сихъ—это все она!—звонко смѣялась царевна, въ то время какъ дѣвочка снова приняла свою скромную позу и только искоса, однимъ глазкомъ, взглядывала то на царевну, то на княгиню.

— Ишь ты, ну что-жъ, ничего, коли такъ: всякая дѣвица всякаго званія должна быть искусна на рукодѣлія, настоящее это наше женское дѣло, истое наше художество. Такъ вотъ ты бы, Машутка, и работала побольше, а бѣготню эту и шалости всякія пора оставить, не такіе ужъ твои годы!..

Съ этими словами, вспомнивъ, что навѣрное кто-нибудь уже ждетъ ее для всякихъ распоряженій на слѣдующій день, княгиня вышла отъ царевны.

III.

Въ одно мгновеніе Маша преобразилась. Скромно опущенные глаза ея раскрылись во всю величину и загорѣлись бойкимъ огонькомъ. Уже начавшій округляться станъ ея выпрямился. Блѣдныя щеки подернулись легкимъ румянцемъ. Тонкія ноздри прямого, нѣсколько коротенькаго, задорнаго носика расширились будто у звѣрька, желающаго удостовѣриться чутьемъ—насколько удалилась грозившая опасность.

Но своему чутью, своимъ тонкимъ ноздрямъ Маша, очевидно, не довѣрилась: съ большою легкостью и граціей, въ два-три неслышныхъ прыжка она очутилась у двери, осторожно пріотворила ее и стала прислушиваться.

—Ушла!—наконецъ, шепнула она, оборачиваясь къ царевнѣ и тихонько притворяя за собою дверь.

Ирина, уже сѣвшая снова за пяльцы, подняла свою хорошенькую, юную головку, зардѣлась вся какъ маковъ цвѣтъ и вздохнула.

—Эхъ, Маша,—сказала она:—грѣхъ-то какой мы съ тобой затѣяли! да и оторопь беретъ, вѣдь, вотъ ты ужъ и попалась, вѣдь, мамушка не шутитъ: того и жди пропадешь ты изъ-за меня...

Маша кинулась къ царевнѣ, припала къ ея колѣнямъ и стала цѣловать ея руки.

— Царевна, золотая моя, ненаглядная, — восторженно говорила она, заглядывая въ глаза Ирины:— не говори такъ, какой тутъ грѣхъ, а коли и грѣхъ, не твой онъ, а мой... И за меня не бойся, не пропаду, не загубитъ меня Настасья Максимовна, вывернусь, выкручусь, кругомъ пальца обведу Настасью Максимовну... не на таковскую напала...

— Шустра ты больно, Машуня, много берешь на себя...— опять вздохнула царевна:—ну, да ужъ разсказывай: что ты провѣдала, о чемъ у двери-то услышала...

«Матушки мои, стыдъ-то какой, какимъ дѣломъ занимаюсь!»—невольно подумала царевна, и совсѣмъ смутилась; но любопытство, даже нѣчто гораздо болѣе серьезное, чѣмъ любопытство, заставило ее забыть всѣ упреки совѣсти и жадно слушать.

— Сказала, вѣдь, я тебѣ, царевна, что узнаю всю правду,— начала Маша:—вотъ и узнала. Совсѣмъ ужъ рѣшено это дѣло: выдаютъ тебя за королевича и королевичъ ужъ на Москвѣ, изъза моря пріѣхалъ!

Ирина даже схватилась за сердце, такъ оно вдругъ у нея застучало.

— Вѣрно-ли? Кто-жъ это сказалъ?—едва слышно прошептала она.

— Государыня-царица говорила, вотъ-те Христосъ, своимъ вотъ этимъ ухомъ у замочной дырочки слышала, о томъ онѣ съ княгиней-то и толковали.

Ирина стыдливо потупилась и то блѣднѣла, то краснѣла.

— Машуня, да какъ-жеэто?—наконецъ, произнесла она.—Вѣдь, онъ не нашъ... вѣдь, онъ басурманъ... басурманской вѣры!?.

— А ужъ этого я не знаю!—развела Маша руками: — вотъ и княгиня то-же говорила, все спрашивала государыню — какъ такое быть можетъ, чтобы идти тебѣ за басурмана...

— Что-же матушка-то, государыня?

— Плачетъ она, вотъ что!—отрѣзала Маша.

— Пла-ачетъ?!

— Да еще какъ плачетъ-то!... заливается! Княгиня-то ее все утѣшала... ну а потомъ что было я не знаю... вошла это Максимовна, да меня за ухо и вытащила... я отъ нея... съ ухомъ-то... да къ тебѣ... едва дождалась, едва утерпѣла, пока боярышни ушли и мы однѣ остались, а тутъ вонъ... и княгиня...

Ирина сильно задумалась, и сама не знала она, что такое творится съ нею: и страшно, и радостно что-то, и духъ захватываетъ, и ничего она понять не можетъ... Вѣдь, ужъ не впервой слышитъ она о королевичѣ этомъ, вѣдь, ужъ давно-давно, когда она была еще несмышленочкомъ, прозвучало передъ нею имя это непонятное, таинственное, и сразу почему-то запало въ сердце, почему-то испугало, почему-то смутило — и съ тѣхъ поръ не выходило изъ памяти... Вольмаръ-королевичъ!

По зимнимъ долгимъ вечерамъ, въ жарко натопленномъ покойчикѣ, у горячей лежанки, старушки много всякихъ чудныхъ сказокъ разсказывали маленькимъ царевнамъ. Были въ тѣхъ сказкахъ добрые и храбрые царевичи-королевичи, были въ нихъ красныя дѣвицы-царевны, и манили тѣ сказки въ свой міръ заколдованный, за тридевять земель, въ тридесятыя царства и тайна благоуханнымъ цвѣткомъ раскрывающейся любви, непонятная и невѣдомая, все же какъ-то трепетно и заманчиво сказывалась дѣтскому сердцу.

А теперь вотъ и на яву будто начинаетъ твориться волшебная сказка. Изъ тридесятаго царства, изъ-за моря пріѣхалъ королевичъ... и пріѣхалъ онъ за нею, за царевной Ириной... Посадитъ онъ ее на коня богатырскаго и увезетъ... куда? зачѣмъ? по какому праву?... отчего это такъ нужно?!.

А видно—такъ нужно, видно, есть у королевича права, потому что чувствуетъ она всѣмъ своимъ существомъ, что надъ нею творится что-то особенное, роковое, неизбѣжное, что пришла

какая-то великая, могучая сила, и вотъ-вотъ захватитъ ее, и увлечетъ... на счастье или на горе?... Охъ, какъ бьется сердце, какъ душа замираетъ, будто земля разверзлась подъ ногами, и такъ и тянетъ, такъ вотъ и тянетъ туда, въ эту отверстую бездну...

— Машуня, какъ-же быть-то теперь?

— А такъ вотъ и быть, что я стану все, какъ есть все разузнавать про королевича—и какъ что узнаю—такъ въ тотъ-же часъ и къ тебѣ, царевна... Матушки! никакъ опять кто-то идетъ... такъ и есть!

Маша замолчала, опустила глаза и застыла въ скромной, почтительной позѣ.

IV.

Шила въ мѣшкѣ не утаишь: Машутка никому не проболталась, а на слѣдующее утро, невѣдомо какимъ образомъ, весь теремъ, отъ боярынь до дурки Афимки, зналъ, что пріѣхалъ изъ датской земли королевичъ и что тотъ королевичъ—женихъ царевны Ирины Михайловны.

Во дворцѣ дѣлались самыя спѣшныя приготовленія къ пріему дорогого гостя. Приготовленія были веселыя, весь дворцовый людъ сразу оживился и какъ-то встряхнулся. Теченіе однообразной, день за днемъ, жизни было нарушено, явился животрепещущій интересъ, ожидались самыя разнообразныя впечатлѣнія, зрѣлища, событія.

Во всѣхъ углахъ шли разговоры и разсказы о новопріѣзжихъ, которымъ былъ отведенъ обширный дворъ въ Кремлѣ. Стольники, дворяне, стряпчіе, дьяки, стрѣлецкіе начальники на «крыльцѣ постельномъ», бояре, окольничьи, думные и ближніе государевы люди «въ верху», въ «передней», безчисленная прислуга и стражники—все это толковало:

— А людей-то съ королевичемъ много, цѣлое войско...

— Что́ ты?!

— Вѣрно говорю, самъ видѣлъ какъ во дворъ они въѣзжали... и все нѣмцы, кургузые, на головѣ перья болтаются, во всякомъ оружіи, съ мечами, ножами и пищалями...

— Ишь ты! Ну, а самъ королевичъ-то каковъ?

— Да нешто ты не видалъ его въ третьемъ году-то, какъ онъ пріѣзжалъ съ посольствомъ?

— То-то что не привелось... Да полно, тотъ-ли это самый королевичъ?

— А то какой-же, вѣстимо тотъ самый; тогда наѣхалъ для прилики, въ послахъ будто, высмотрѣлъ все, ну, вотъ теперь и совсѣмъ къ намъ. Ничего, ладный парень, только изъ себя жидокъ больно, безбородый; вотъ какъ въ наше платье одѣнется, да бороду отпуститъ—тогда ничего, видъ знатный получитъ...

— А не слыхалъ, когда его крестить будутъ?

— Крестить-то?

— А то какъ-же, вѣдь, онъ басурманъ, нѣмецъ, некрещеный, такъ развѣ царевну за нехристя можно отдать—ты какъ объ этомъ думаешь? а?

— Это точно, что нельзя...

Всюду и между всѣми разговоръ кончался вопросомъ о крещеніи королевича, и тутъ не было никакихъ разногласій. Всѣ, отъ людей важныхъ и чиновныхъ до послѣдняго стрѣльца, *знали*, что такъ какъ королевичъ—басурманъ, то долженъ креститься въ православную вѣру и что иначе отдать за него царевну нельзя, невозможно. Для лицъ не столь близкихъ къ царю и незнакомыхъ съ обстоятельствами дѣла все казалось яснымъ: пріѣхалъ, окрестятъ его—и обвѣнчается онъ съ царевной. Людямъ, посвященнымъ въ дѣло, было *нѣчто* извѣстно, *нѣчто*, повидимому, очень важное, но и они все-же отлично понимали, что иначе быть не можетъ: королевичъ *долженъ* креститься.

Встрѣча датскому королевичу Вальдемару была приготовлена въ Грановитой палатѣ. Холодное, но ясное январьское солнце врывалось въ небольшія окна и озаряло сводчатую обширную палату, причудливо росписанную пестрыми узорами и полную своеобразной красоты. Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ, окруженный ближними боярами, въ сопровожденіи думнаго дьяка, медленно вошелъ въ открытыя рындами двери, тяжелой поступью, пройдя палату, поднялся по устланнымъ краснымъ сукномъ ступенямъ и съ видимымъ удовольствіемъ помѣстился на своемъ царскомъ мѣстѣ.

Кто не видалъ Михаила Ѳеодоровича нѣсколько лѣтъ, тотъ нашелъ-бы въ немъ весьма большую перемѣну. Въ настоящее время, несмотря на свои далеко еще не старые годы, онъ сильно постарѣлъ, располнѣлъ и обрюзгъ. Красивое лицо его какъ-бы отекло и поражало прозрачной блѣдностью. Всѣ движенія были вялы и когда онъ говорилъ, то часто останавливался, чтобы перевести дыханіе. Среди разговора онъ иногда вдругъ задумывался и тогда въ глазахъ его читалась скорбь.

Человѣкъ мягкій и сердечный, горячо любившій дѣтей своихъ, Михаилъ Ѳеодоровичъ въ 1639 году, въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, потерялъ двухъ сыновей, царевичей Ивана и Василія. Онъ не могъ справиться съ такимъ нежданнымъ горемъ и съ этого

времени окружавшіе стали замѣчать въ немъ все усиливавшуюся не только душевную, но и тѣлесную усталость. Отъ юности мало подвижный, наклонный къ сидячей жизни, онъ теперь почти совсѣмъ отказался отъ движенія, всегда сидѣлъ, много лежалъ. Отсюда излишняя полнота, вялость, затрудненіе дыханія. Докторъ Венделинъ Сибелиста не разъ доказывалъ царю, что сидячая жизнь для него крайне опасна и можетъ значительно сократить жизнь его; но Михаилъ Ѳеодоровичъ, спокойно выслушивая врача, все-же рѣшительно отказывался слѣдовать его совѣтамъ и даже часто совсѣмъ не принималъ составляемыя имъ лѣкарства, во всемъ полагаясь на волю Божію.

На этотъ разъ, царь, однако, находился въ самомъ веселомъ настроеніи духа, глаза его минутами начинали сіять прежнимъ блескомъ, во всѣхъ чертахъ лица замѣчалось оживленіе. Дѣло въ томъ, что это былъ день исполненія его завѣтнаго желанія. Королевичъ Вальдемаръ здѣсь, въ качествѣ жениха царевны Ирины. То, что еще такъ недавно представлялось неисполнимымъ, отъ чего уже совсѣмъ приходилось отказаться — совершилось.

Когда всѣ собравшіеся въ Грановитой палатѣ размѣстились по своимъ мѣстамъ, наступило нѣсколько минутъ полной тишины и ожиданія. Взгляды всѣхъ обратились къ дверямъ. Боярин князь Львовъ, человѣкъ осанистый и важный, мягкій въ походкѣ и движеніяхъ, съ поклономъ подошелъ къ красивому отроку, царевичу Алексѣю Михайловичу. Тотъ поднялся со своего мѣста, послѣдовалъ за княземъ и оба остановились посреди палаты, у столпа.

Между рындами, стоявшими по обѣимъ сторонамъ дверей, произошло нѣкоторое, едва уловимое, движеніе, и двери медленно, безшумно стали отворяться.

V.

Спокойное достоинство, съ которымъ вошелъ королевичъ Вальдемаръ, сопровождаемый нѣсколькими лицами своей свиты, показывало, что онъ отлично владѣетъ собою и что, несмотря на юные его годы, его не легко заставить смутиться и растеряться. Хорошаго средняго роста, стройный, широкоплечій, въ богатомъ темнаго бархата костюмѣ, не скрывавшемъ, а напротивъ, выказывавшемъ крѣпкія и красивыя формы его тѣла, онъ производилъ впечатлѣніе здоровья, свѣжести и энергіи. Это впечатлѣніе еще усиливалось при взглядѣ на его молодое лицо съ блестящими глазами и смѣлымъ, веселымъ выраженіемъ.

Пройдя нѣсколько шаговъ по палатѣ, онъ остановился, увидя двинувшагося ему навстрѣчу князя Львова, рядомъ съ которымъ былъ царевичъ. Князь Львовъ, подойдя къ новоприбывшему, низко ему поклонился и, взявъ за руку царевича, «явилъ» его гостью. Царевичъ спросилъ Вальдемара о здоровьѣ и, пока толмачъ переводилъ, они обмѣнялись ласковыми улыбками и затѣмъ, въ сопровожденіи князя Львова, направились къ государеву мѣсту.

Теперь князь Львовъ долженъ былъ «явить» королевича царю и, когда это было исполнено, Михаилъ Ѳеодоровичъ поднялся, сошелъ со своего мѣста, подалъ королевичу руку и также спросилъ его о здоровьѣ. При этомъ царь пристально и безцеремонно всматривался въ гостя. Осмотръ этотъ, очевидно, удовлетворилъ его: королевичъ, со времени своего пребыванія въ Москвѣ, два года тому назадъ, возмужалъ, окрѣпъ и представлялъ изъ себя уже не юношу, а вполнѣ сформировавшагося человѣка. И этотъ человѣкъ пришелся царю еще больше по нраву, чѣмъ прежній юноша.

«Слава тебѣ, Господи!»—мысленно сказалъ царь, съ облегченіемъ вздохнувъ всей грудью.

Что думалъ и чувствовалъ королевичъ, трудно было рѣшить, глядя на его свѣжее лицо, по которому быстро скользнула и тотчасъ-же исчезла добродушная усмѣшка; одно можно было утверждать, что онъ не смутился подъ пристальнымъ взглядомъ великаго государя, что онъ, вѣроятно, такъ-же смѣло, какъ на царя, глядѣлъ и на свою будущность въ этой чуждой, невѣдомой странѣ, гдѣ все должно было ему казаться необычнымъ и дикимъ. Когда толмачъ перевелъ ему слова царя, онъ поклонился, поблагодарилъ и передалъ поклонъ отъ короля,отца своего, государю и царевичу.

Вальдемара посадили съ почетомъ близъ царскаго мѣста и тогда датскіе послы, пріѣхавшіе съ королевичемъ, Пассбиргъ и Билленъ, стали говорить рѣчь. Рѣчь эту толмачъ перевелъ такими словами: «Его королевское величество, во имя св. Троицы, послалъ своего любительнаго сына Вадьдемара—Христіана, графа Шлезвигъ Голштинскаго къ его царскому величеству, чтобъ ему, по царскаго величества хотѣнію и прошенію, *законъ принять* съ царскаго величества дочерью Ириною Михайловною. Король проситъ, чтобъ его царское величество изволилъ для большей вѣрности и укрѣпленія договора о сватаньѣ крестнымъ цѣлованіемъ при его королевскихъ послахъ укрѣпить и письмо дать; также принять и почитать королевскаго сына какъ своего сына и зятя, а король накрѣпко наказалъ сыну своему царское величество какъ отца почитать, достойную честь и службу воздавать»

Когда слова эти были выслушаны, поднялся думный дьякъ Григорій Львовъ и отвѣтилъ отъ имени царя:

— Желаемъ, чтобы всесильный Богъ великое и доброначатое дѣло къ доброму совершенью привелъ; хотимъ съ братомъ нашимъ, его королевскимъ величествомъ, быть въ крѣпкой дружбѣ и любви, а королевича Вальдемара Христіанусовича хотимъ имѣть въ ближнемъ присвоеніи, добромъ пріятельствѣ и почитать, достойную честь ему воздавать, какъ есть своему государскому сыну и зятю.

Датскимъ посламъ, по наказу царскому, объявили, что на сихъ дняхъ они будутъ «въ отвѣтѣ» съ боярами и дьяками, пока же они получили приглашеніе, вмѣстѣ съ королевичемъ, къ обѣденному царскому столу, до котораго оставалось ужъ немного времени.

VI.

Пиръ былъ заданъ гостямъ на славу. Царь распорядился, чтобы всего было вдосталь, чтобы иноземцы царскаго угощенія во всю жизнь не забыли, и князь Львовъ, главный распорядитель, на это отвѣтствовалъ:

— Небось, государь, въ грязь лицомъ не ударимъ, долго нѣмцы будутъ облизываться, вѣдь, они тамъ у себя, въ датской землѣ, видно, не очень-то сладко ѣдятъ, народъ ишь какой сухой да поджарый...

Часа четыре за столомъ сидѣли, до двадцати перемѣнъ однихъ «тѣльныхъ» подавалось. Проворные молодцы то и дѣло въ чарки подливали меды старые да вина фряжскія искрометныя. Подъ конецъ гости перестали чиниться, осушали чарку за чаркой, и загалдѣли. О чемъ они галдѣли, того никто кромѣ толмача понять не могъ, да и самъ толмачъ врядъ-ли разбиралъ что-либо: онъ сидѣлъ покачиваясь изъ стороны въ сторону, весь красный, съ безсмысленно вытаращенными глазами, и только ухмылялся.

Шумѣло въ головѣ и у королевича, только былъ онъ крѣпокъ, и ни меды, ни вина фряжскія не могли заглушить въ немъ мыслей и чувствъ, вызывавшихся новой обстановкой, среди которой онъ находился. Королевичъ любилъ попировать и за чаркой вина становился особенно веселымъ, оживленнымъ, сообщительнымъ. На этотъ разъ, однако, чѣмъ больше онъ пилъ, тѣмъ дѣлался молчаливѣе и задумчивѣе. На него нападала тоска, сердце начинало щемить, и нѣсколько разъ онъ вздохнулъ глубоко.

Къ добру-ли принялъ онъ свое смѣлое рѣшеніе, на счастье-ли покинулъ родину, сталъ добровольнымъ изгнанникомъ, осужденнымъ всю жизнь прожить въ странѣ далекой, чуждой, гдѣ все, хоть онъ уже и пробылъ здѣсь нѣкоторое время два года тому назадъ, кажется ему такимъ страннымъ и дикимъ?!.

Дѣйствительно-ли не было для него лучшаго выбора, дѣйствительно-ли необходимо было покинуть родину, которая вотъ теперь, когда все уже кончено, навсегда и безповоротно, является воспоминанію такой милой, дорогой и любимой?..

Въ душной атмосферѣ низкосводчатой палаты съ жарко натопленными изразцовыми печами, съ маленькими и узкими, совсѣмъ заледенѣвшими окнами, среди нестройнаго говора хмелѣвшихъ собесѣдниковъ, подъ звонъ и стукъ приносимой и уносимой посуды, королевичъ перенесся въ замокъ отца своего, короля Христіана IV. Вся оставленная имъ жизнь сразу вернула къ себѣ и охватила его, будто въ одно мгновеніе пережилась снова.

Она не была усыпана розами, эта жизнь. Съ первыхъ лѣтъ отрочества пришлось переживать Вальдемару тяжелыя впечатлѣнія. Онъ видѣлъ вокругъ себя гораздо больше горькихъ слезъ, чѣмъ счастливыхъ улыбокъ. Король Даніи, Христіанъ IV, былъ человѣкъ суроваго нрава, энергичный и смѣлый, порывистый и страстный, способный на неожиданныя, быстрыя и безповоротныя рѣшенія. Честолюбіе и властолюбіе оказывались его первенствующими страстями и ради удовлетворенія этихъ страстей ему пришлось бороться всю жизнь.

Вступивъ на престолъ Даніи, онъ увидѣлъ себя въ положеніи довольно шаткомъ и рѣшилъ во что-бы то ни стало выйти изъ этого положенія, укрѣпить власть за собою и своимъ потомствомъ и, насколько возможно, расширить ея предѣлы.

Съ большимъ трудомъ онъ выхлопоталъ въ Вѣнѣ императорскій патентъ, установлявшій въ его владѣніяхъ наслѣдственность королевской власти. Но, несмотря на всѣ его усилія, этотъ патентъ получилъ значеніе только въ Шлезвигъ-Голштинскихъ его владѣніяхъ, въ Даніи-же на него не обращали вниманія.

Постоянные споры и ссоры съ Германіей и съ Швеціей принудили короля, ради крѣпости своего положенія, угождать датскимъ вельможамъ, скрѣпя сердце дѣлать имъ всякія поблажки.

Эти постоянныя мелочныя заботы не давали ему возможности серьезно заниматься внутренними преобразованіями и, такимъ образомъ, его царствованіе, несмотря на всѣ добрыя желанія и разумныя мысли короля, часто приходившія ему въ голову, принесло не слишкомъ много пользы государству. Онъ не снискалъ особенной любви своихъ подданныхъ. Многіе его боялись, а искренно преданныхъ ему людей насчитывалось мало.

У короля Христіана была еще одна страсть, оставившая яркіе слѣды на всей его жизни—онъ очень любилъ женщинъ. Его бракъ съ королевой Катериной не былъ счастливъ: супруги не сошлись характеромъ. Король съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе охладѣвалъ къ королевѣ и, задолго до ея кончины, почувствовалъ страстную любовь къ молоденькой, красивой дочери ютландскаго дворянина, Христинѣ Мункъ. Эта страсть была взаимной.

Юная Христина безъ ума влюбилась въ короля и, хотя и была воспитана въ самыхъ строгихъ правилахъ нравственности, даже не нашла въ себѣ силы бороться со своей любовью. Несмотря на всѣ мѣры, принимавшіяся ея ближайшими родственниками для того, чтобы отдалить ее отъ короля, она оставалась непоколебимой; препятствія только еще болѣе разжигали ея страсть. Она обманывала самый строгій надзоръ и скоро ея сближеніе съ королемъ было тайной только для королевы, которая, кажется, такъ и умерла, не подозрѣвая объ измѣнѣ мужа.

Меньше чѣмъ черезъ годъ послѣ кончины королевы, Христіанъ IV вступилъ въ морганатическій бракъ съ Христиной Мункъ, причемъ ей былъ данъ титулъ графини Шлезвигъ-Голштинской.

Началась самая блестящая пора жизни Христины. Она являлась олицетвореніемъ счастія и производила на всѣхъ придворныхъ чарующее впечатлѣніе. Красивая, добрая, ласковая, всегда готовая услужить каждому своимъ вліяніемъ, она, мало-по-малу, начинала играть очень большую роль. Она имѣла значительное вліяніе на всѣ дѣла, часто совсѣмъ овладѣвала волей короля и направляла ее по своему усмотрѣнію.

Такъ прошло нѣсколько лѣтъ и второй бракъ Христіана казался самымъ счастливымъ бракомъ. Королевская семья росла съ каждымъ годомъ: у короля и Христины родилось двое сыновей и восемь дочерей, и король, несмотря на свою порывистость и подчасъ суровость, оказался очень нѣжнымъ отцомъ. Но особенно любилъ онъ своего сына Вальдемара, графа Шлезвигъ-Голштинскаго.

Счастье убаюкиваетъ, затуманиваетъ; затуманило и убаюкало оно и Христину. Она получила надъ королемъ такое исключительное вліяніе именно благодаря тому, что изучила его характеръ и обдумывала свои дѣйствія. Она оченъ хорошо понимала, въ первые годы, что можно и чего нельзя, знала, какими способами дѣйствовать на короля и въ какія минуты.

Но вотъ, мало-по-малу, увѣренная въ своей силѣ, освоившаяся съ нею, она позабыла всякое благоразуміе, сочла короля своимъ неотъемлемымъ достояніемъ, которымъ могла распоря-

жаться произвольно. Сама того не замѣчая, теперь она становилась черезчуръ требовательна, стѣсняла свободу дѣйствій мужа, являлась постояннымъ, неустаннымъ контролеромъ его жизни.

Сначала, въ первые годы своего семейнаго счастія, онъ не замѣчалъ этого, а если и замѣчалъ, то, полный страстью, даже, можетъ быть, находилъ наслажденіе въ томъ, что всюду и во всемъ видѣлъ Христину, что сталкивался съ нею во всѣ минуты своей жизни. Однако, горячая страсть естественно замѣнилась болѣе спокойнымъ чувствомъ и стѣснительность ревнивой женины охраны становилась для короля все ощутительнѣе; въ немъ начинала говорить его врожденная самостоятельность. Онъ начиналъ все болѣе и болѣе жаждать простора и свободы.

Чувство его къ женѣ было очень сильно и если-бы теперь Христина поняла свою ошибку, она вѣроятно навсегда сохранила бы любовь мужа; но понять свою ошибку она уже не была въ состояніи и, по мѣрѣ того какъ король начиналъ освобождаться отъ рабства, она силилась все крѣпче и крѣпче заковывать его въ цѣпи.

Между супругами началась глухая борьба, доставившая много мученій обѣимъ сторонамъ. Не трудно было предвидѣть, къ чему приведетъ эта борьба. Христина не могла оказаться въ ней побѣдительницей. Въ прежнее время она обезоруживала мужа ласками, видимой ему покорностью, своимъ тихимъ и ровнымъ характеромъ,- теперь, полная убѣжденія въ своихъ правахъ не только на его исключительную любовь, но и на его жизнь, она негодовала, упрекала, требовала, раздражала короля все больше и больше.

Во время одного изъ бурныхъ объясненій, она вдругъ замѣтила въ первый разъ, что король глядитъ на нее совсѣмъ иначе, чѣмъ прежде. Она увидѣла, что ея раздраженіе, упреки и жалобы остаются безъ отвѣта, король молчитъ, глядитъ на нее— и улыбается. Она не поняла еще разумомъ, что это значитъ, но сердце у нея вдругъ упало, тоска вдругъ охватила ее, мучительная, давящая тоска, какая находитъ на человѣка передъ неотвратимымъ, грозящимъ несчастіемъ. Такая тоска не могла обмануть--несчастіе уже совершилось: Христина достигла единственнаго, чего могла достичь своимъ образомъ дѣйствій—король почувствовалъ къ ней полное охлажденіе.

VII.

То, что представлялось королю томленіемъ и несчастіемъ, отъ которыхъ некуда было скрыться—эти, все возраставшіе, нелады съ женою, вдругъ, въ одинъ мигъ какъ-бы забылись имъ. Приближенные сразу замѣтили въ немъ большую перемѣну: стихла его раздражительность, измѣнился его мрачный, суровый видъ. Въ лицѣ его, послѣ долгаго отсутствія, снова появилось веселое выраженіе. Давно, давно никто не слышалъ его смѣха,—теперь онъ опять смѣется!

Придворная жизнь, въ послѣднее время сдѣлавшаяся такой мертвенной и унылой, оживилась, король прилежно сталъ заниматься дѣлами и въ то-же время желалъ развлеченій.

Въ королевскомъ замкѣ начались праздники за праздниками. Замѣчали, что графиня Шлезвигъ-Голштинская, по мѣрѣ того какъ король становился веселѣе и сообщительнѣе, дѣлается мрачнѣе и мрачнѣе.

Иной разъ она появлялась во время придворныхъ празднествъ только на мгновеніе и незамѣтно удалялась въ свои аппартаменты. Иногда ее вовсе не было, но ея отсутствіе нисколько не нарушало общаго оживленія и веселья. Тѣнь унынія, которая слѣдовала теперь за Христиной, удручающе дѣйствовала на окружавшихъ: Христина уходила и уводила за собою эту тѣнь.

На придворномъ горизонтѣ появились новыя свѣтила; нѣсколько молодыхъ красавицъ обратили на себя вниманіе короля и скоро всѣ увидѣли, что одна изъ нихъ, Луиза Вибеке, окончательно побѣдила его сердце. Онъ нисколько не скрывалъ этого и фаворъ Вибеке быстро сдѣлался совершившимся, общеизвѣстнымъ фактомъ.

На этотъ разъ случилось совсѣмъ не то, что́ было въ то время, когда Христіанъ влюбился въ Христину Мункъ. Тогда покойная королева ничего не подозрѣвала о томъ, что давно было извѣстно—теперь, графиня Шлезвигъ-Голштинская одна изъ первыхъ узнала о любви короля къ Вибеке.

Примириться съ дѣйствительностью она не могла, она заявила свои права, стала подвергать короля сценамъ самой несдержанной ревности, не могла владѣть собою даже передъ своими малолѣтними дѣтьми.

Въ королевской семьѣ начался настоящій адъ и все это кончилось тѣмъ, что, доведенный до послѣдняго, возненавидѣвшій жену, Христіанъ рѣшился на разводъ съ графиней. Христина, противъ ея воли, перевезена была въ одинъ изъ дальнихъ, охот-

ничьихъ королевскихъ замковъ, тамъ она очутилась, вмѣстѣ съ дѣтьми, подъ арестомъ.

Между тѣмъ, дѣло о разводѣ шло и, наконецъ, кончилось въ пользу графини—судъ не призналъ ее виновной передъ королемъ. Однако, это было плохимъ для нея утѣшеніемъ—потерявъ любовь короля, она потеряла все. Теперь у него къ ней не было никакой жалости. Онъ считалъ ее, совершенно искренно, своимъ злѣйшимъ врагомъ, а съ врагами онъ не церемонился.

Графиня Шлезвигъ-Голштинская была лишена возможности выѣзжать изъ назначеннаго для ея жительства замка, надъ ней былъ учрежденъ строгій надзоръ, но ее ожидало и еще новое бѣдствіе. Король сталъ тосковать по своимъ дѣтямъ. Сначала онъ признавалъ за Христиной всѣ права матери, онъ вовсе не желалъ разлучать ее съ дѣтьми, да наконецъ, въ первое время, увлеченный своей капризной страстью къ Луизѣ Вибеке, онъ и не думалъ о дѣтяхъ. Но капризная страсть быстро охладѣла—король уже не былъ способенъ на серьезную привязанность, онъ слишкомъ искренно и слишкомъ долго любилъ Христину, теперь-же для него возможно было только непродолжительное увлеченіе—онъ развлекался. Эти увлеченія и развлеченія не могли удовлетворить его сердца, ему нужны были болѣе глубокія сердечныя радости—и онъ затосковалъ по своимъ дѣтямъ.

Дѣти, одинъ за другимъ, были переселены въ королевскій замокъ. Время отъ времени ихъ возили на свиданіе съ матерью, но и эти свиданія становились все рѣже и рѣже: дѣти, подростая, охлаждались къ Христинѣ. Въ королевскомъ замкѣ имъ было хорошо и привольно, о ихъ воспитаніи король очень серьезно заботился. Каждую свободную минуту онъ посвящалъ дѣтямъ и, несмотря на то, что бывалъ иногда строгъ съ ними и раздражителенъ, онъ искупалъ эту строгость и раздражительность порывами такихъ горячихъ ласкъ, что дѣти, хотя и побаивались его, но все-же горячо любили. На нихъ не могла тоже не дѣйствовать та всеобщая почтительность, которой онъ былъ предметомъ. Между тѣмъ, отправляясь на свиданіе съ матерью, они испытывали совсѣмъ иное впечатлѣніе: ихъ встрѣчала унылая, озлобленная, непримирявшаяся со своей участью женщина, женщина ревнивая, готовая возненавидѣть своихъ дѣтей за то, что они съ отцомъ, за то, что они любятъ отца больше чѣмъ ее...

Таковы были впечатлѣнія, на которыхъ выросъ и созрѣлъ Вальдемаръ, графъ Шлезвигъ-Голштинскій. Его природа оказалась глубже природы его брата и сестеръ, онъ сильнѣе ихъ воспринималъ всѣ эти тяжелыя впечатлѣнія и, придя въ сознательный возрастъ, проводилъ не мало горькихъ часовъ.

Онъ все чаще испытывалъ такое ощущеніе, будто ему мало

воздуха въ родномъ домѣ, хотѣлось ему уйти куда-нибудь дальше, начать совсѣмъ новую жизнь. Ему казалась, что чѣмъ дальше будетъ онъ отъ дома, тѣмъ жизнь его станетъ счастливѣй, тѣмъ вольнѣе будетъ ему дышаться.

VIII.

Какъ разъ въ то время, въ концѣ 1640 года, въ Копенгагенъ явился изъ Московіи нѣкій мужъ, прожившій весьма долгіе годы въ русскомъ государствѣ. Этотъ мужъ, по имени Іоганъ Томасъ, а по нашимъ документамъ «Иванъ Ѳоминъ иностранецъ», пріѣхалъ въ Копенгагенъ не по своимъ дѣламъ, а гонцомъ отъ царя московскаго.

Появленіе его для короля Христіана не было неожиданностью, такъ какъ Петръ Марселисъ, посланный въ Москву Христіаномъ для разныхъ дѣлъ, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, возвратясь въ Данію, докладывалъ королю слѣдующее: призвали его въ посольскій приказъ и тамъ бояре русскіе его допрашивали во всѣхъ подробностяхъ—сколько у короля Христіана дѣтей и какихъ они лѣтъ. Марселисъ боярамъ отвѣтилъ, ничего не утая, что у короля датскаго два сына отъ первой жены, королевы Катерины. Старшій, наслѣдникъ престола датскаго, женатъ, другой собирается жениться, но есть еще третій сынъ, Вальдемаръ, отъ второго, законнаго-же королевскаго брака, но только морганатическаго, что принцу этому двадцать два года, и хотя король не живетъ съ его матерью за то, что она на него злоумышляла, но сына крѣпко любитъ.

Петръ Марселисъ добавлялъ, что, очевидно, царь московскій желаетъ выдать за принца Вальдемара свою старшую дочь.

Король, услыша все это, задумался. Если-бы могло статься такъ, какъ того желало его сердце, онъ не отпустилъ-бы своего любимца, Вальдемара, изъ Даніи, онъ сдѣлалъ бы его своимъ наслѣдникомъ, съ увѣренностью, что изъ него выйдетъ достойный ему преемникъ. Но объ этомъ нечего и думать—престолъ датскій, послѣ его смерти, долженъ былъ перейти къ его старшему сыну отъ перваго брака. Хотя сынъ этотъ и не такъ любимъ отцомъ, какъ Вальдемаръ, но все-же, во всякомъ случаѣ, нѣтъ никакихъ причинъ отстранить его отъ престола, да и невозможно это, по тѣмъ самымъ законамъ, о закрѣпленіи которыхъ король всю жизнь такъ заботился.

Теперь Вальдемару хорошо и спокойно живется, но умретъ отецъ—и что его ожидаетъ? Старшіе братья его не особенно любятъ, быть можетъ, ему предстоятъ всякія бѣды, да и не

только бѣды, а пожалуй, и опасности. Вальдемаръ—юноша смѣлаго, предпріимчиваго нрава, Московія—страна далекая и дикая, но вотъ въ послѣднее время оттуда получаются все болѣе и болѣе интересныя свѣдѣнія...

Пріѣзжіе изъ Московіи разсказываютъ чудеса объ обширности этого восточнаго государства, о богатствѣ царей московскихъ. Если Вальдемаръ женится на дочери царя и если при этомъ выговорить ему всякія выгоды, то онъ навѣрно въ этой полуварварской странѣ окажется первымъ лицомъ, получитъ главнѣйшее вліяніе на всѣ дѣла и, какъ знать, быть можетъ, окажется на престолѣ своего тестя...

Однимъ словомъ, эта мысль очень заинтересовала Христіана и онъ все чаще и чаще сталъ къ ней возвращаться. Его, конечно, смущала необходимость разлуки съ любимымъ сыномъ, но онъ любилъ его не эгоистичной любовью, онъ думалъ прежде всего объ его счастьѣ.

Такимъ образомъ, появленіе «Ивана Ѳомина иностранца» доставило королю не мало удовольствія, только онъ рѣшилъ съ этимъ дѣломъ не торопиться и дѣйствовать осторожно.

Иванъ Ѳоминъ былъ ласково принятъ въ королевскомъ замкѣ. Его спросили о причинѣ его пріѣзда и онъ отвѣтилъ, что посланъ съ жалобою на герцога голштинскаго, который не исполняетъ условій договора относительно персидской торговли.

Ему обѣщали все устроить и потомъ спрашивали: нѣтъ-ли у него какого-нибудь еще иного порученія?—но Иванъ Ѳоминъ увѣрялъ, что другого порученія ему не дано.

Между тѣмъ, жалоба на герцога голштинскаго была только предлогомъ—Ивану Ѳомину въ посольскомъ приказѣ было велѣно, по пріѣздѣ въ Копенгагенъ, «провѣдывать подлинно, тайнымъ обычаемъ, сколько у короля дѣтей отъ вѣнчальныхъ, прямыхъ женъ, отъ королевъ, и сколько не отъ прямыхъ, но все-же дѣйствительныхъ женъ, и въ какихъ чинахъ у него эти дѣти? Провѣдать до-пряма про королевича Волмера (Вальдемара), сколько ему лѣтъ, каковъ собою: возрастомъ, станомъ, лицомъ, глазами, волосами, гдѣ живетъ, какимъ наукамъ, грамотамъ, языкамъ обученъ? Каковъ умомъ и обычаемъ, и нѣтъ-ли въ немъ какой болѣзни, или увѣчья, и не сговоренъ-ли гдѣ жениться, чья дочь его мать, жива-ли и какъ живетъ? Промышлять, чтобы королевича Волмера видѣть ему самому и персону его написать подлинно на листъ или на доску безъ приписи, прямо, промышлять это подкупя писца (т. е. живописца), хотя-бы для этого въ датской землѣ и помѣшкать недѣлю или двѣ, прикинувъ на себя болѣзнь, только-бы непремѣнно провѣдать все до-пряма, во чтобы то ни стало, давать не жалѣя, а для прилики, чтобы не до-

гадались, велѣть написать персоны самого короля Христіана и другихъ сыновей его».

Хитрый иностранецъ Иванъ Ѳоминъ весь этотъ наказъ исполнилъ, но хитрость его не совсѣмъ удалась. Когда онъ, найдя подходящаго «писца», подкупилъ его, чтобы писать персоны королевскихъ сыновей, объ этомъ тотчасъ провѣдали и Иванъ Ѳоминъ приглашенъ былъ къ первому совѣтнику короля Христіана, Улефельдту, который сразу спросилъ его:

— Дошелъ до меня слухъ, что ты подкупилъ живописца и заказалъ ему тайно написать схожіе портреты короля и королевичей,— правда-ли это?

Иванъ Ѳоминъ растерялся, забѣгалъ глазами во всѣ стороны и приготовился отпираться, когда Улефельдтъ строго перебилъ его:

— Если я говорю: «дошелъ до меня слухъ», то значитъ этотъ слухъ вѣренъ, отпираться тебѣ нечего. Ты хорошо долженъ знать, что затѣялъ невозможное дѣло. Какъ-же это тайно писать портреты и чтобы они были схожи? Живописецъ, польстяся на твои деньги, могъ обѣщать тебѣ что хочешь, но если онъ будетъ писать портреты тайно, то никакого сходства въ нихъ съ королемъ и королевичами не окажется. Онъ долженъ работать, имѣя предъ собою тѣхъ, съ кого пишетъ портретъ—только въ такомъ случаѣ будетъ сходство.

На это Ивану Ѳомину возражать было нечего и онъ молча стоялъ предъ датскимъ сановникомъ, ожидая что тотъ дальше говорить будетъ.

Улефельдтъ, видя его смущеніе, улыбнулся и продолжалъ:

— Успокойся, ничего преступнаго въ твоемъ дѣйствіи мы не видимъ, видимъ одну только несообразительность. Его королевское величество, когда узналъ объ этомъ, засмѣялся и далъ свое соизволеніе написать хорошіе портреты съ себя и съ королевичей съ тѣмъ, чтобы послать ихъ вашему государю. Только скажи ты мнѣ, пожалуйста, зачѣмъ это вашему государю понадобились портреты?

Ѳоминъ опустилъ голову и развелъ руками.

— Мысли государевы въ рукахъ Божіихъ,—отвѣтилъ онъ:— мнѣ-же онѣ неизвѣстны.

Улефельдтъ не сталъ настаивать и отпустилъ московскаго гонца успокоеннымъ и довольнымъ.

Въ тотъ-же день къ Ѳомину явился ко олевскій секретарь съ тѣмъ-же вопросомъ: зачѣмъ нужны государю московскому портреты короля и королевичей?

Такъ какъ и передъ секретаремъ Ѳоминъ отговорился невѣдѣніемъ и въ дальнѣйшемъ разговорѣ не заикнулся о королевичѣ Вальдемарѣ, секретарь самъ сказалъ ему:

— Если вашему государю королевичъ Вальдемаръ нуженъ для воинскаго дѣла, то король отпуститъ его къ царскому величеству.

Ѳоминъ отвѣтилъ, что передастъ это своему государю и, получивъ обѣщаніе относительно присылки на Москву портретовъ, съ легкимъ сердцемъ выѣхалъ изъ Копенгагена.

Возвратясь, онъ докладывалъ въ посольскомъ приказѣ подробно обо всемъ, что съ нимъ было, и подалъ записку, въ которой значилось:

«Королевичъ Волмеръ лѣтъ двадцати, волосомъ русъ, ростомъ не малъ, собою тонокъ, глаза сѣрые, хорошъ, пригожъ лицомъ, здоровъ и разуменъ, умѣетъ по-латыни, по-французски, по-итальянски, знаетъ нѣмецкій верхній языкъ, искусенъ въ воинскомъ дѣлѣ: самъ онъ, Ѳоминъ ,видѣлъ какъ королевичъ пушку къ цѣли приводилъ. Мать его, Христина, больна, отецъ ея былъ бояринъ и рыцарь большой, именемъ Лудвигъ Мункъ, и мать ея также боярыня большого родства».

IX.

По отъѣздѣ Ивана Ѳомина, король имѣлъ продолжительное объясненіе съ сыномъ. Онъ передалъ Вальдемару всѣ свои мечты и планы относительно его будущности, и не безъ сердечнаго замиранія ждалъ, что́ ему на это отвѣтитъ сынъ. Вѣдь, онъ могъ сказать ему: «Отецъ, гдѣ-же твоя любовь ко мнѣ, если ты хочешь удалить меня отъ себя, ото всего, что мнѣ близко и дорого, если ты посылаешь меня въ невѣдомую темную даль, полную всякаго тумана, за которымъ могутъ скрываться бѣды, опасности и погибель!?»

Конечно, на такія слова король могъ объяснить ему, что еще бо́льшія бѣды, опасности и погибелъ грозятъ ему здѣсь, на родинѣ; но что возразилъ-бы онъ ему, если-бы юноша сказалъ, что всякая погибель не такъ страшна у себя дома, среди своихъ?

Однако, никакого спора, никакого разногласія не произошло между отцомъ и сыномъ.

Король сразу увидѣлъ, что Вальдемаръ увлеченъ его планомъ, даже больше чѣмъ онъ самъ. Возможность новой жизни въ далекой странѣ оказалась для него заманчивой. Даль и неизвѣстность не могли устрашать, а только восхищали смѣлаго юношу. Оставался одинъ вопросъ...

«Если королевичъ нуженъ царю московскому для воинскаго дѣла—король его отпуститъ»,—сказалъ королевскій секретарь Ѳомину.—Но, вѣдь, всѣмъ было хорошо извѣстно, что королевичъ

нуженъ владыкѣ восточной полуварварской страны не для воинскаго дѣла, а для того, чтобы съ нимъ породниться, чтобы выдать за него свою дочь,—и вотъ Вальдемаръ говорилъ отцу:

— Да, я поѣду, я съ удовольствіемъ поѣду, но царевна московская должна мнѣ понравиться. Если она не любезна, не красива, если она покажется мнѣ какимъ-нибудь чудовищемъ, какъ я свяжу съ нею мою жизнь? Отецъ мой, я не могу этого!

Король, нѣжно глядя на своего любимца, потрепалъ его по плечу.

— Глупый мальчикъ,—сказалъ онъ:—развѣ стану я принуждать тебя жениться на чудовищѣ! Какъ царь московскій не выказываетъ прямо своего желанія, а хочетъ сначала узнать про тебя все, видѣть твой портретъ, а затѣмъ, конечно, пожелаетъ видѣть и тебя самого, поближе познакомиться съ тобою—такъ точно и я—о тебѣ ужъ и не говорю—долженъ хорошенько узнать, какова его дочь. Я вовсе не требую отъ тебя твоего согласія на бракъ съ московской царевной, я хочу узнать, желаешь-ли ты, въ званіи моего посла, съѣздить въ Московію? вотъ пока все, о чемъ я тебя спрашиваю. Разговоръ объ остальномъ можетъ быть только по твоемъ возвращеніи изъ путешествія.

— Если такъ,—весело воскликнулъ Вальдемаръ:—я отвѣчаю: да, да и да! Я очень радъ этому путешествію. Ты знаешь, отецъ, какъ я люблю путешествовать!

Такимъ образомъ, оставалось только найти предлогъ для отправки посольства въ Московію.

Такъ какъ въ Даніи все еще ходили самые преувеличенные разсказы о суровости московскаго климата, то и рѣшено было дождаться лѣтняго тепла, чтобы совершить путешествіе быстрѣе и съ большими удобствами.

Въ Московію своевременно послали извѣщеніе, что къ царю ѣдетъ изъ Даніи особое посольство: въ послахъ королевичъ Вальдемаръ, графъ Шлезвигъ-Голштинскій, вторымъ-же посломъ назначенъ Краббе.

По полученіи этого извѣстія, царь Михаилъ Ѳедоровичъ распорядился, чтобы датскому посольству всюду были оказываемы особыя почести. Немедленно-же были посланы гонцы во всѣ города, черезъ которые посольство должно было проѣзжать: приказано было воеводамъ спѣшить на встрѣчу графу Вальдемару и челомъ ему бить усердно.

Въ Москвѣ, ко дню пріѣзда посольства, тоже было все приготовлено въ лучшемъ видѣ. Посламъ назначили помѣщеніе въ Китай-городѣ, на дворѣ думнаго дьяка Ивана Грамотина, и царскимъ приказомъ велѣно:

«Отводимыя гостямъ палаты, а также поварню, всѣ хоромы

и конюшни осмотрѣть, вычистить, худыя мѣста починить, столы, скамьи и окончины поставить, навозъ и щепы съ двора свозить и посыпать на дворѣ пескомъ».

У средней палаты двери были желѣзныя, а моста передъ нею и всходу не было, такъ велѣно было сдѣлать мостъ съ перилами и лѣстницу; колодезь вычистить. Во второй палатѣ, даже въ покоевой, задней, деревянной горницѣ лавки и скамьи были убраны сукнами червчатыми. Далѣе, въ тѣхъ-же палатахъ и въ горницѣ, гдѣ стоялъ графъ Вальдемаръ, одинъ столъ покрытъ былъ ковромъ, а три сукнами червчатыми багрецовыми.

Приставамъ было сказано: «вы бы разсмотрѣли всякими мѣрами подлинно и у дворянъ и посольскихъ людей въ разговорахъ тайно развѣдали, какъ графа Вальдемара посолъ Краббе и посольскіе люди почитаютъ: государскимъ-ли обычаемъ, или рядовымъ обычаемъ?»

По пріѣздѣ посольства приставы немедленно донесли, что Краббе передъ графомъ, по временамъ, снимаетъ шляпу по дорогѣ ѣдучи, но говоритъ съ нимъ иной разъ и въ шляпѣ; за обѣдомъ сидитъ съ нимъ вмѣстѣ. «Думные же и бояре» графа почитаютъ, говорятъ съ нимъ всѣ снявши шляпы и въ разговорѣ съ нимъ называютъ его королевичемъ, а не посломъ, и во всемъ его почитаютъ государскимъ обычаемъ.

Получивъ такой отвѣтъ, царь съ думными боярами совѣщался о томъ, какъ-же принять королевича: со всѣми почестями, принадлежащими его сану, или какъ обыкновеннаго посла?

Рѣшено было принять обыкновеннымъ образомъ, такъ какъ въ королевской грамотѣ королевичъ значился не королевичемъ, а посломъ.

X.

Съ перваго-же дня появленія Вальдемара въ Москвѣ начались всякія недоразумѣнія и непріятности. Когда онъ отправился представляться царю, то его попросили снять шпагу. На это онъ возразилъ, что шпагу снять не можетъ, такъ какъ это было-бы для него позорно. Но на его доказательства московскіе бояре не обратили вниманія и стояли на своемъ, не допуская его до государя.

Королевичъ былъ поставленъ въ безвыходное положеніе: нельзя-же было возвращаться въ Данію, не представившись даже царю,—это, вѣдь, тоже было-бы позорно и затѣмъ грозило нескончаемой враждою между двумя государствами. Пришлось покориться иноземному обычаю и снять шпагу. Впрочемъ, царь

Михаилъ Ѳедоровичъ, привѣтствуя королевича, имѣлъ такой добродушный, привлекательный видъ, такъ ласково къ нему отнесся, что Вальдемаръ сразу вышелъ изъ мрачнаго настроенія, въ какое повергла его исторія со шпагой.

Правда, и во время царской аудіенціи не все было совсѣмъ гладко: ужъ слишкомъ безцеремонно, какъ самъ царь, такъ и его приближенные, разглядывали королевича и это безцеремонное разглядываніе не могло не покоробить юношу, родившагося и воспитаннаго среди болѣе цивилизованнаго общества. Но онъ, по счастію, сообразилъ, что, вѣдь, онъ не въ Вѣнѣ у императора, что онъ и ѣхалъ сюда, представляя себѣ Московію полуварварской страною.

Къ тому-же результатъ разглядыванія королевича былъ, очевидно, въ его пользу. Отъ него не стали скрывать произведеннаго имъ впечатлѣнія, ну, а самолюбивый юноша, видящій, что онъ понравился, станетъ-ли сердиться?

Вальдемару и Краббе было тотчасъ-же назначено «быть въ отвѣтѣ съ боярами» и изложить причину, побудившую короля датскаго прислать посольство.

Вальдемаръ отъ имени короля потребовалъ вольной торговли для датскихъ купцовъ по всему московскому государству.

Вопросъ этотъ былъ рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ, хотя и съ нѣкоторымъ ограниченіемъ.

Затѣмъ королевичъ просилъ позволенія датчанамъ строить дворы и церкви. На это ему отвѣтили, что въ Москвѣ уже есть у датскихъ купцовъ свой дворъ, а въ Новгородѣ, Псковѣ и Архангельскѣ пусть они купятъ дворы или построятъ новые на посадѣ. Что-же касается церквей, отвѣтили сразу и единогласно: «киркамъ не быть». На этомъ бояре стояли твердо и отказались отъ всякихъ дальнѣйшихъ разговоровъ по этому предмету.

Затѣмъ пошли уже вопросы второстепенные и, послѣ всесторонняго обсужденія, были рѣшены болѣе или менѣе удовлетворительно.

Наконецъ, переговоривъ обо всемъ, собрался писать грамоты «на докончаніе», но тутъ, какъ и прежде случалось весьма часто въ подобныхъ обстоятельствахъ, оказалась бѣда. Вальдемаръ настаивалъ, чтобы въ датской грамотѣ королевское имя стояло передъ царскимъ именемъ. На это бояре не согласились и выказали такое-же упорство, какъ и по вопросу о киркахъ.

Напрасно, втеченіи нѣсколькихъ дней, Вальдемаръ, Краббе и всѣ члены датскаго посольства доказывали боярамъ, что въ ихъ желаніи нѣтъ ровно ничего обиднаго для царскаго величества: какъ естественно со стороны бояръ ставить, въ своихъ грамотахъ, имя своего государя передъ именемъ чужеземнаго, такъ

точно и датчане, въ своей грамотѣ, не могутъ поставить имя своего государя на второмъ мѣстѣ. Бояре никакихъ доказательствъ не слушали, только обижались, только мрачно повторяли, пощипывая себѣ бороды: «этому дѣлу не бывать».

И пришлось королевичу съ посольствомъ уѣхать изъ Москвы, ровно ничего не добившись, ничего не разузнавъ. Главное-же, что сердило Вальдемара, онъ не только не увидалъ никакой царевны, но не разглядѣлъ даже ни одной московской женщины.

Во время его прогулокъ по городу ему попадались только совсѣмъ неинтересныя фигуры старухъ. Правда, иной разъ мимо него прокатывались какіе-то безобразные рыдваны, и въ этихъ рыдванахъ помѣщалось что-то таинственное, но что именно, того никакъ нельзя было разобрать, такъ оно было закутано ревнивой фатою.

Потомъ Московія представлялась королевичу страною упрямыхъ, непонятливыхъ бородачей въ высочайшихъ шапкахъ и парчевыхъ кафтанахъ, страною, гдѣ люди живутъ въ тѣсныхъ помѣщеніяхъ, много ѣдятъ, много пьютъ и гдѣ совсѣмъ нѣтъ женщинъ. Такая страна не могла понравиться юношѣ и онъ возвращался въ Копенгагенъ съ сознаніемъ разбитыхъ грезъ, въ глубокомъ разочарованіи.

XI.

Въ Москвѣ, однако, вовсе не думали разочаровываться или покидать мысль о женитьбѣ королевича на царевнѣ Иринѣ. Ужъ очень этого хотѣлось царю: онъ считалъ, во всѣхъ отношеніяхъ, крайне важнымъ родство русскаго царствующаго дома съ семьями иноземныхъ государей. Эту мысль онъ наслѣдовалъ еще отъ своего отца, патріарха Филарета, который его самого, послѣ печальной исторіи съ Марьей Ивановной Хлоповой, непремѣнно хотѣлъ женить на иноземной принцессѣ.

Царь хорошо помнилъ всѣ обстоятельства этого времени своей юности.

Какъ теперь, такъ и тогда,—выборъ, прежде всего, остановился на Даніи.

Въ 1621 году изъ Москвы были отправлены патріархомъ Филаретомъ въ Данію князь Львовъ и дьякъ Шиповъ съ такимъ предложеніемъ королю: «По милости Божіей великій государь приходитъ въ лѣта мужескаго возраста и время ему, государю, приспѣло сочетаться законнымъ бракомъ, а вѣдомо его царскому величеству, что у королевскаго величества есть двѣ дѣвицы, родныя племянницы, и для того великій государь его королевскому

величеству любительно объявляетъ: если королевское величество захочетъ съ великимъ государемъ царемъ быть въ братствѣ, дружбѣ, любви, соединеніи и пріятельствѣ навѣки, то его королевское величество далъ-бы за великаго государя племянницу, свою, которая къ тому великому дѣлу годна».

Вмѣстѣ съ этимъ посламъ былъ данъ устный приказъ: «если въ Даніи станутъ говорить, что королевская племянница перейдетъ ради своего супруга въ русскую вѣру, но что креститься ей, въ другой разъ, непригоже, такъ какъ она и безъ того крещена по своему закону въ христіанскую вѣру, то слѣдуетъ отвѣчать: «королевской племянницѣ въ другой разъ не креститься никакъ нельзя, потому что у насъ со всѣми вѣрами рознь немалая: у иныхъ вѣръ вмѣсто крещенія обливаютъ и мvромъ не помазываютъ: такъ король-бы свою племянницу на то наводилъ и отпустилъ ее съ тѣмъ, чтобы ей принять святое крещеніе».

Также и во всемъ остальномъ посланные должны были дѣйствовать съ осторожностью и заранѣе на все имѣть готовые отвѣты.

Они должны были стараться всѣмъ родственникамъ и ближнимъ людямъ королевской племянницы, войдя къ нимъ въ довѣріе, всячески расхваливать православную вѣру и просить ихъ убѣждать въ достоинствахъ этой вѣры невѣсту.

Для того, чтобы дѣло лучше ладилось, посламъ было приказано не скупиться на подарки, а пуще того на обѣщанія.

Если король будетъ спрашивать: дадутъ-ли его племянницѣ особые города и доходы, то слѣдовало отвѣчать: «Если по божественному писанію будутъ оба во плоть едину, то на что ихъ, государей, дѣлить? Все ихъ государское будетъ общее, чего она, государыня, захочетъ, все будетъ ей невозбранно; кого захочетъ, того, по совѣту и повелѣнію супруга своего, жаловать будетъ, и датскимъ людямъ, которые будутъ съ нею, неволи и нужды не будетъ, а чаемъ, что съ нею будутъ немногіе люди—многимъ людямъ быть не для чего: у государя на дворѣ честныхъ и старыхъ боярынь и дѣвицъ, отеческихъ дочерей, много».

Наконецъ, на случай благополучнаго окончанія переговоровъ и королевскаго согласія, давалось посламъ такое наставленіе: «Если король согласится на все, просить позволенія ударить челомъ племянницамъ и, пришедши къ нимъ, ударить челомъ по обычаю, учтиво объ руку и поминки королевѣ и дѣвицамъ подвести, отъ себя, по сороку соболей или что пригоже. Причемъ смотрѣть дѣвицъ издалека внимательно, какова которая возрастомъ, лицомъ, бѣлизною, глазами, волосами и во всякомъ приложеньѣ и нѣтъ-ли гдѣ увѣчья, а смотрѣть издалека и примѣчать вѣжливо. Если королева позоветъ ихъ къ рукѣ, то идти,

королеву и дѣвицъ въ руку цѣловать, а не витаться съ ним (т. е., не брать ихъ за руку). И посмотрѣвши дѣвицъ идти вон послѣ чего провѣдывать, которая къ великому дѣлу годна: чтоб была здорова, собою добра, не увѣчна и въ разумѣ добра и ка кую выберутъ, о той и договоръ съ королемъ становить: спра шивать сколько дадутъ за невѣстою земель и казны».

Но несмотря на всѣ эти разсудительныя предписанія, а вѣрнѣ именно благодаря имъ, сватовство ничѣмъ не кончилось. Корол сказался больнымъ и не сталъ объясняться съ княземъ Львовымъ а тотъ, въ свою очередь, объявилъ, что иначе какъ съ королем ни о чемъ говорить не будетъ.

Потомъ, черезъ два года, патріархъ Филаретъ сдѣлалъ еще одну попытку. Онъ послалъ къ шведскому королю Густаву-Адольфу сватать за царя Екатерину, сестру курфюрста бранденбургскаго Георга, приходившагося шведскому королю шуриномъ. Однако, и тутъ вопросъ о вѣрѣ всему помѣшалъ. На требованіе, чтобы невѣста крестилась въ православную греческую вѣру, король отвѣтилъ, что ея княжеская милость для царства не отступитъ отъ своей христіанской вѣры, не откажется отъ своего душевнаго спасенія..

Съ большимъ горемъ патріархъ Филаретъ оставилъ мысль женить сына на иностранной принцессѣ. Но мысль эта не погибла. Она жила въ царской семьѣ и вотъ теперь Михаилъ Ѳедоровичъ рѣшилъ во что-бы то ни стало породниться съ Даніей.

Когда ближніе совѣтники напомнили ему, что и на сей разъ вопросъ о вѣрѣ навѣрно станетъ непреодолимымъ препятствіемъ, онъ отвѣчалъ имъ:

— Да, дѣло трудное, но не будь оно трудно, такъ о немъ и толковать было-бы нечего. Обходить его надо со всякой опаской со всякою хитростью.

Этотъ царскій взглядъ безусловно раздѣляли и совѣтники поэтому вопроса о вѣрѣ королевича Вальдемара рѣшено бы коснуться только при послѣдней необходимости, если-же вс можно, то и совсѣмъ обойти его: Богъ милостивъ, все сдѣлает само собою, въ свое время...

Но вотъ королевичъ уѣхалъ изъ Москвы и не только о вѣр его, но и о сватовствѣ не было рѣчи. О томъ, подъ какимъ впечатлѣніемъ онъ уѣхалъ, никто не думалъ. Царь и ближн бояре были довольны, они достигли всего, что было пока необх димо; видѣли королевича и онъ ихъ видѣлъ.

Женихъ всѣмъ понравился и никакой персоны его теперь писать не надо. Что-же касается того, что ни онъ не видѣлъ н вѣсты, ни она его не видѣла—объ этомъ, конечно, никто не думал никому и въ голову не могла придти мысль подумать объ этом

XII.

Переждали зиму и въ апрѣлѣ 1642 года отправили въ Данію посольство. Въ послахъ были: окольничій Степанъ Матвѣевичъ Проестевъ и дьякъ Иванъ Патрикѣевъ. Имъ поручено было начать вопросъ о заключеніи докончанія, но это было только для прилики.

Они везли подарки королевичу Вальдемару, везли соболей на двѣ тысячи рублей и имѣли полномочіе ничего не жалѣть, лишь-бы совершить добромъ государское дѣло, приступить къ которому было теперь признано благовременнымъ.

Въѣзжая въ Копенгагенъ, Проестевъ и Патрикѣевъ никакъ не ждали дурного пріема, а между тѣмъ, ихъ встрѣтили далеко не ласково.

Вальдемаръ и Краббе вернулись крайне недовольными и все, о чемъ они разсказали Христіану, раздражило короля. О «докончаніи» и онъ мало заботился, но онъ призналъ придирки московскихъ бояръ доказательствомъ того, что царь передумалъ и не желаетъ больше выдавать своей дочери за Вальдемара. Между тѣмъ, вѣдь, это было теперь единственнымъ интересомъ въ сношеніяхъ съ московскимъ государствомъ.

Узнавъ о пріѣздѣ русскихъ пословъ, Христіанъ даже разсердился и отдалъ приказъ не оказывать имъ никакихъ знаковъ вниманія. Однако, все-же имъ была назначена у него аудіенція.

Христіанъ принялъ ихъ въ аудіенцъ-залѣ съ большой торжественностью, которая сразу смутила москвичей.

Проестевъ и Патрикѣевъ не безъ робости подошли къ трону и встрѣтили равнодушный взглядъ короля. При ихъ приближеніи онъ не перемѣнилъ своей небрежной позы и только едва замѣтно кивнулъ имъ головою.

Они, запинаясь, по обычаю, сказали, что великій государь велѣлъ королю поклониться, про свое здоровье сказать и брата своего здоровымъ видѣть.

Вотъ толмачъ перевелъ королю эти слова, конечно, король сейчасъ встанетъ и, въ свою очередь, спроситъ про царское здоровье. Но король не встаетъ, молчитъ, послы не знаютъ что имъ дѣлать. Они испуганно переглянулись, поблѣднѣли, въ рукѣ у Проестева дрожитъ царская грамота. Онъ долженъ подать ее королю, но можетъ-ли онъ подать, когда король не встаетъ съ мѣста и молчитъ? Можетъ-ли онъ перенести такое оскорбленіе царскаго величества?

Онъ обѣими руками ухватился за грамоту, будто боясь, что

ее силой у него вырвутъ, и весь вспыхнулъ. Пусть его убьютъ на мѣстѣ, но онъ не отдастъ грамоты пока король не встанетъ.

Нельзя-же, однако, такъ стоять и ждать—надо говорить—и вотъ Проестевъ собралъ послѣднія силы, взглянулъ на Патрикѣева, молчаливо прося его поддержки и, едва ворочая языкомъ, объявилъ, что онъ ждетъ исполненія обычая.

Толмачъ перевелъ. Король медленно произнесъ нѣсколько словъ, но, говоря, онъ обратился не къ посламъ, а къ своему канцлеру и уже тотъ повторилъ слова его, глядя на пословъ.

Толмачъ перевелъ, что король радъ слышать про здоровье своего брата, царя московскаго.

И Проестевъ и Патрикѣевъ оба вздрогнули. Робостъ ихъ и смущеніе прошли, голосъ Проестева окрѣпъ и онъ съ большимъ достоинствомъ отвѣтилъ:

— Нашъ великій государь про королевское здоровье спрашивалъ самъ, никому того не поручая и спрашивалъ вставши.

Услыша слова эти, король сдѣлалъ нетерпѣливый жестъ, горделиво откинувъ голову, и сердито спросилъ:

— Какъ наши послы были у вашего государя, то что имъ у васъ дѣлали?

— Когда ваши послы были у нашего государя, то государь нашъ у вашего королевскаго величества чести не умалялъ, а мы теперь видимъ тому противное!—звучнымъ голосомъ произнесъ Проестевъ.

Онъ выпрямился и глядѣлъ прямо въ глаза Христіану, съ такимъ выраженіемъ, какое могло смутить кого угодно.

Король сообразилъ, что, дѣйствительно, зашелъ ужъ слишкомъ далеко и вдругъ всталъ, снялъ шляпу и спросилъ про царское здоровье.

Теперь Проестевъ могъ уже, со спокойной совѣстью, передать королю грамоту, что онъ и сдѣлалъ, почтительно и низко кланяясь.

Аудіенція была благополучно окончена.

Черезъ нѣсколько дней начались переговоры пословъ съ канцлеромъ и первый вопросъ опять былъ: кого прежде писать въ грамотахъ? Датскій канцлеръ прямо заявилъ Проестеву и Патрикѣеву:

— Нашъ король во всей Европѣ никакому государю своей чести не уступитъ и такой дорогою цѣною ни у какого государя дружбы купить не хочетъ.

Послы тоже уступить не могли и о «докончаніи» совсѣмъ замолчали. Они прямо приступили къ своему главнѣйшему дѣлу, бывшему единственной, дѣйствительной цѣлью ихъ посольства.

Проестевъ говорилъ канцлеру:

— Великій государь хочетъ быть съ его королевскимъ величествомъ въ пріятельствѣ, крѣпкой дружбѣ, любви и соединеніи, свыше всѣхъ великихъ государей, и для того велѣлъ его королевскому величеству объявить, что его государской дщери, царевнѣ Иринѣ Михайловнѣ, приспѣло время сочетаться законнымъ бракомъ и вѣдомо ему, великому государю, что у датскаго Христіануса короля есть доброродный и высокорожденный его, короля, сынъ, королевичъ Вальдемаръ-Христіанъ графъ Шлезвигъ-Голштинскій. Если его королевское величество захочетъ быть съ нимъ, великимъ государемъ, въ братской дружбѣ навѣки, то онъ бы позволилъ сыну своему государскую дщерь взять къ сочетанію законнаго брака.

Услыша эти слова, канцлеръ сразу сталъ любезенъ и ласковъ. Онъ отвѣтилъ, что дѣло это великой важности, и онъ о немъ немедленно доложитъ его королевскому величеству, а пока, отъ себя, не можетъ сказать ровно ничего.

Христіанъ очень изумился, увидя входившаго канцлера съ такимъ лицомъ, которое ясно говорило о томъ, что владѣлецъ его несетъ весьма радостную вѣсть. Никакой радостной вѣсти въ настоящую минуту король не ожидалъ, а о послахъ московскихъ забылъ и думать.

Онъ выслушалъ канцлера съ нескрываемымъ удовольствіемъ и снова всѣ прежніе планы относительно судьбы любимаго сына зароились въ головѣ его.

— Вотъ странные люди! Вотъ дикіе люди!—повторялъ Христіанъ, въ необыкновенномъ волненіи поднимаясь съ мѣста.— Впрочемъ, дѣйствительно, нельзя строго судить ихъ, быть можетъ, графъ Шлезвигъ-Голштинскій научитъ ихъ вѣжливому обхожденію, отучитъ ихъ отъ грубости и варварства...

— Надо пожалѣть ихъ,—прибавилъ онъ съ довольной улыбкой:—согласиться что ли отдать имъ въ учителя моего сына? Какъ вы объ этомъ думаете, канцлеръ?

— Вопросъ уже былъ рѣшенъ, — отвѣчалъ канцлеръ съ поклономъ:—и если ваше величество не передумали, все зависитъ отъ подробностей...

— Поручаю вамъ разспросить этихъ московскихъ медвѣдей обстоятельно и тотчасъ-же доложить мнѣ обо всемъ подробно.

XIII.

Такъ какъ вмѣстѣ съ Проестевымъ и Патрикѣевымъ былъ посланъ и Иванъ Ѳоминъ «иностранецъ», въ качествѣ человѣка бывалаго, знающаго языки и уже вѣдомаго королевичу Вальдемару, переговоры могли идти быстрѣе и успѣшнѣе.

Первымъ дѣломъ Боминъ отправился къ королевичу и уже теперь, ничего не скрывая, объявилъ ему все и предоставилъ себя въ его распоряженіе. Въ случаѣ-же, если сватовство окажется удачнымъ, Боминъ предложилъ Вальдемару обучать его русскому языку, безъ знанія котораго жить въ московскомъ государствѣ ему будетъ не только трудно, но и совсѣмъ невозможно.

— Русскіе люди, начиная съ самого царя, никакихъ языковъ не знаютъ...

При этомъ Боминъ предупредилъ королевича, что языкъ московитовъ весьма труденъ и что онъ обучился ему только черезъ десять лѣтъ.

На это Вальдемаръ сказалъ смѣясь, что ко всякимъ языкамъ у него, слава Богу, большія способности, обучается онъ имъ легко и быстро. Какъ ни труденъ языкъ московитовъ, но и его онъ надѣется одолѣть, только пока о занятіяхъ его этимъ языкомъ нечего и думать—понапрасну онъ учиться не станетъ и вообще не поѣдетъ въ Москву, пока не узнаетъ доподлинно, на комъ его женить хотятъ.

— Вѣдь, вотъ ты, почтенный Томасъ, какъ пріѣзжалъ сюда тайкомъ, съ меня даже тайно писать портретъ подговаривалъ живописца,— весело продолжалъ Вальдемаръ:—значитъ, тамъ у васъ, въ Москвѣ, непремѣнно хотѣли знать каковъ я собою, обаяли у меня глаза цѣлы и все-ли на своемъ мѣстѣ. Такъ посуди самъ, могу-ли я не интересоваться, кого мнѣ въ жены прочатъ? Былъ я въ Москвѣ, не знаю—видѣла-ли меня въ какую-нибудь щелку ваша царевна, только, вѣдь, я-то ее не видалъ. Покажи мнѣ ея портретъ, разскажи, по совѣсти, какова она, тогда и за уроки московитскаго языка я готовъ, пожалуй, съ тобою приняться, конечно, коли царевна мнѣ понравится.

Иванъ Боминъ «иностранецъ», веселаго вида толстякъ съ блѣдными глазами на выкатѣ, состроилъ весьма забавное лицо и развелъ руками.

— Ваша милость задаете мнѣ неисполнимую задачу,—произнесъ онъ—не только не могу я вамъ показать портрета царевны, но не могу и сказать какова она, по той простой причинѣ, что самъ никогда ее не видалъ.

— Очень жаль,—перебилъ его Вальдемаръ:—ты легко могъ бы догадаться, что я тебя стану о ней спрашивать.

— Догадаться было не трудно, ваша милость, да ничего изъ моей догадки не могло выйти—царевны не видалъ никто, кромѣ ея семьи, ближайшихъ родственниковъ и служителей.

— Что ты мнѣ за сказки разсказываешь! Быть того не можетъ!

— Однако, вѣдь, вы сами, ваша милость, прожили въ Москвѣ не день и не недѣлю, скажите: развѣ видѣли вы хоть одну дѣвицу благородную?

— Нѣтъ, не видалъ.

— Такъ если дочерей московскихъ сановниковъ нельзя видѣть—царевенъ тѣмъ болѣе.

— Вотъ такъ страна! Вотъ такъ обычаи!—изумился и возмутился Вальдемаръ.

Въ это время ему доложили о пріѣздѣ пословъ.

Онъ принялъ ихъ весьма радушно и, поговоривъ съ ними кое-о-чемъ, при посредствѣ Ѳомина, услышавъ и отъ нихъ про дѣйствительную цѣль ихъ посольства, обратился къ нимъ съ тѣмъ-же требованіемъ показать ему портретъ царевны.

Онъ все-же разсчитывалъ, что съ Проестевымъ присланъ ему портретъ царевны и желаніе его видѣть волновало его все больше и больше. Но никакого портрета съ послами не было прислано и, согласно данному въ Москвѣ наказу, въ которомъ былъ предвидѣнъ и этотъ случай, Проестевъ отвѣчалъ:

— У нашихъ великихъ государей россійскихъ того не бываетъ, чтобы персоны ихъ государскихъ дочерей, для остереганія ихъ государскаго здоровья, въ чужія государства возить, да и въ московскомъ государствѣ очей государыни царевны, кромѣ самыхъ ближнихъ бояръ, другіе бояре и всякихъ чиновъ люди не видаютъ.

— При чемъ-же тутъ здоровье?—удивленно спросилъ Вальдемаръ Ѳомина, когда тотъ перевелъ ему слова эти.

— А здоровье при томъ,—отвѣчалъ переводчикъ:—что московиты питаютъ глубокую вѣру въ возможность колдовства и порчи. Они полагаютъ, что злой человѣкъ, получивъ чей-нибудь портретъ и произведя надъ нимъ какія-нибудь магическія дѣйствія, можетъ этимъ погубить человѣка.

Вотъ какъ!—сказалъ Вальдемаръ, удерживаясь отъ смѣха.—Впрочемъ, такія вѣрованія свойственны не однимъ московитамъ—и у насъ, въ Даніи, навѣрно найдется нѣсколько старухъ, которыя вѣрятъ такому вздору...

Вальдемаръ въ этотъ день собирался ѣхать въ тотъ уединенный замокъ, гдѣ жила его мать, съ тѣмъ, чтобы пробыть съ нею нѣкоторое время. Онъ не сталъ откладывать своей поѣздки и уѣхалъ.

Уѣхалъ онъ въ странномъ настроеніи. Дѣло, о которомъ онъ когда-то мечталъ, которое потомъ призналъ несостоявшимся, такъ что даже забылъ о немъ и думать, теперь всецѣло наполняло его. Онъ чувствовалъ какое-то особенное волненіе и никакъ не могъ успокоиться. То обстоятельство, что ему невоз-

можно увидѣть даже и портрета невѣсты, было главной причиной его волненія. Онъ, почему-то, вдругъ рѣшилъ, что она прелѣстна какъ ангелъ.

Еще недавно онъ боялся, что его хотятъ женить на уродѣ, теперь-же, если-бы даже послы, или Ѳоминъ, объявили ему, что царевна некрасива, онъ-бы имъ не повѣрилъ. Его юность и горячее воображеніе уже создали ему образъ этой таинственной невидимки и этотъ образъ, съ каждымъ часомъ, становился для него все реальнѣе.

Черезъ нѣсколько дней онъ уже былъ совершенно влюбленъ въ этотъ, созданный имъ, образъ, только о немъ и думалъ.

Между тѣмъ изъ Копенгагена въ уединенный замокъ графини не приходило извѣстій. Вальдемаръ собрался и поѣхалъ въ Копенгагенъ. Его ожидала вѣсть о томъ, что дѣло разстроено. Онъ пришелъ въ отчаяніе.—«Какъ? Почему?»

Дѣло было такъ.

Канцлеръ, по порученію короля, спросилъ пословъ, въ какомъ положеніи у царя будетъ королевичъ Вальдемаръ? Какова будетъ ему честь? Какіе именно города и села дастъ ему царь на содержаніе?

Послы на это ничего опредѣленнаго не сказали за неимѣніемъ наказа, но Проестевъ сдѣлалъ неосторожность, прямо объявивъ, что королевичъ долженъ креститься въ православную вѣру греческаго закона.

На это послѣдовалъ рѣшительный отказъ короля и посламъ дали понять, что они могутъ ѣхать, что ни о чемъ больше король съ ними объясняться не будетъ.

Они получили отпускъ, послали Вальдемару царскій подарокъ, пять сороковъ соболей, и грустные собирались къ отъѣзду, когда къ нимъ явился графъ Шлезвигъ-Голштинскій.

Онъ былъ задумчивъ и очень ласковъ. Черезъ Ѳомина онъ объявилъ посламъ, что пріѣхалъ благодарить ихъ за царскій подарокъ. Послы-же, оказавъ королевичу всѣ знаки почтенія, съ низкими поклонами просили его сѣсть, но онъ сказалъ:

— Когда вы, послы, сядете, такъ и я съ вами сяду!

Послы на это, съ еще болѣе низкими поклонами, отвѣчали:

— Какъ ты государскій сынъ, мы, по указу государя нашего, тебя почитаемъ. Тебѣ, по твоему достоянію, добро пожаловать сѣсть, и мы съ тобою сядемъ.

Такъ говоря, оба посла поставили для королевича большое кресло, но онъ на него не сѣлъ, а взялъ самъ первый попавшійся стулъ, на которомъ помѣстился. Онъ говорилъ:

— Король, мой отецъ, все разсказалъ мнѣ о нашемъ дѣлѣ. Мнѣ очень грустно, что оно не можетъ состояться, но въ ка-

кой вѣрѣ я родился, въ такой хочу и умереть. Ничто не заставитъ меня перемѣнить вѣру и креститься снова.

Послы думали было его уговорить и уже дьякъ Патрикѣевъ принялся доказывать ему всѣ преимущества православной вѣры, но королевичъ рѣшительно сказалъ, поднимаясь съ мѣста и прощаясь:

— Много говорить я съ вами не могу, мнѣ это и не дозволено, да и не о чемъ теперь намъ говорить. Во всемъ полагаюсь я на волю моего отца: какъ онъ рѣшитъ, такъ и будетъ.

Съ этими словами королевичъ уѣхалъ.

Послы видѣли, что онъ недоволенъ и грустенъ, почти такъ-же недоволенъ и грустенъ, какъ были они сами.

Съ тяжелымъ сердцемъ, въ страхѣ ожидавшей ихъ царской немилости, тронулись Проестевъ и Патрикѣевъ въ обратный путь изъ Копенгагена.

XIV.

Страхъ пословъ былъ не напрасенъ. Когда они возвратились ни съ чѣмъ, царь Михаилъ Ѳедоровичъ сильно разгнѣвался—самъ даже не захотѣлъ и говорить съ ними, а въ посольскомъ приказѣ имъ были сказаны вины ихъ многія.

Обвиняли ихъ въ томъ, что великое государское дѣло, для котораго ихъ посылали, они дѣлали не по наказу.

Имъ говорили:

— Должны вы, послы, были радѣть и промышлять всякими мѣрами, уговаривать и дарить кого надобно, а вы что-же такое надѣлали? Первый отказъ услышали, да сейчасъ-же и уѣхали, не обославшись съ государемъ. Съ вами для государева дѣла послана была казна, соболи, слава Богу, давать было что, а вы соболей-то, видно, раздавали для своей чести, а не для государева дѣла. Съ ближними королевскими людьми говорили самыми короткими словами, что къ дѣлу не пристало, многихъ самыхъ надобныхъ дѣлъ не говорили и ближнимъ королевскимъ людямъ, во многихъ статьяхъ, были безотвѣтны!..

Какъ ни оправдывались Проестевъ съ Патрикѣевымъ, какъ ни доказывали, что дѣлать имъ было нечего, что они стояли не за свою, а за государеву честь и не могутъ быть въ томъ повинны, что чести этой великой умалить не посмѣли,—на оправданія и доказательства ихъ не обратили никакого вниманія.

Что тутъ говорить—посланы были устроить дѣло, о которомъ царь денно и нощно помышляетъ, которое у него «загорѣлось»,—дѣла того не сдѣлали, все только напортили, такъ какія ужъ оправданія!..

Велика была на пословъ царская опала, притихли они, притулились. Не видать ихъ стало, будто никогда на Москвѣ и не было окольничьяго Степана Матвѣевича Проестева да дьяка Ивана Патрикѣева...

Выждалъ царь три мѣсяца и снова отправилъ въ Данію, но уже не своихъ, не московскихъ людей, а датскаго-же коммисара Петра Марселиса, и, посылая его, царь говорилъ ему такія слова ласковыя:

— Вѣримъ мы тебѣ, Петръ, въ такомъ великомъ нашемъ дѣлѣ, ибо твой, Петровъ, отецъ, Гаврила, и самъ ты, Петръ, прежде намъ, великому государю, служили вѣрно. Какъ былъ въ Польшѣ и Литвѣ отецъ нашъ, то Гаврила Марселисъ о его государскомъ освобожденіи радѣлъ и всякими мѣрами промышлялъ, да и другія ваши, Гаврилы и Петра, къ намъ, великому государю, многія вѣрныя службы были...

Марселисъ, въ отвѣтъ на столь милостивыя рѣчи, низко кланялся и обѣщалъ государю и на сей разъ послужить ему вѣрою и правдою въ его дѣлѣ.

Затѣмъ Марселису въ посольскомъ приказѣ было внушено такъ:

— Объяви ты королю Христіанусу, что прежніе послы, Проестевъ и Патрикѣевъ, говорили не по царскому наказу, а самовольно толковали о вѣрѣ королевича и крещеніи. То говорили и дѣлали они нерадѣніемъ. Имъ велѣно было изъ Копенгагена отписать его царскому величеству, если объявится какое-нибудь затрудненіе, но они ни о чемъ не писали и сами пріѣхали, не сдѣлавъ ничего. За это царское величество положилъ на нихъ опалу. Великій государь станетъ королевскаго сына у себя держать въ ближнемъ пріятельствѣ и въ государской большой чести, какъ государскаго сына и своего зятя. Ближніе всякихъ чиновъ люди россійскаго государства будутъ его, королевича, почитать большою честью и будетъ онъ обдаренъ всѣмъ: города, села и денежная казна будетъ у него многая. Государь велѣлъ дать ему города большіе: Суздаль и Ярославль съ уѣздами, и другіе города и села, которые ему, королевичу, будутъ годны. Въ вѣрѣ неволи не будетъ королевичу, а въ православную христіанскую вѣру греческаго закона крещеніе всѣмъ людямъ—даръ Божій: кого Богъ приведетъ, тотъ и приметъ, а воля Божія свыше человѣческой мысли и дѣла. Которые ближніе и дворовые люди будутъ при королевичѣ и захотятъ служить при его дворѣ—тѣмъ всѣмъ государская милость будетъ во всемъ по ихъ достоинству, а неволи имъ ни въ чемъ не будетъ...

Вотъ какъ теперь заговорили! Пошли на всякія хитрости, лишь-бы страстно желаемое царское дѣло привести къ благополучному окончанію.

Ближніе бояре такъ разсуждали въ Думѣ царской:

— Заполучить-бы намъ только королевича, такъ мы его изъ рукъ не выпустимъ! Само собою все сдѣлается. Чтобы онъ, поживъ съ нами да приглядѣвшись къ нашимъ обычаямъ, обласканный царемъ, отказался сотворить столь благое дѣло—перейти въ нашу святую православную вѣру—можетъ-ли такое статься!

Другіе говорили:

— Вотъ и Проестевъ съ Патрикѣевымъ толкуютъ: королевичъ, вишь-ты, самъ сюда такъ и рвется, на все готовъ, отецъ только упирается, сговариваться съ послами запретилъ. Дѣло ясное: не въ королевичѣ тутъ сила—въ одномъ королѣ!

— А что король можетъ подѣлать, коли королевичъ ему изъ Москвы отпишетъ: «привелъ меня Господь Богъ совершить благое дѣло, ради душ.я спасенія присоединился я къ святой православной вѣрѣ греческаго закона?»

— Вотъ это вѣрно, хоть и осердится король, а все-же дѣлать ему будетъ нечего! Не войной-же ему идти на насъ! Да и на кого идти? Кто тутъ причина? Королевичъ не малолѣтокъ...

— А коли проклянетъ?

— Ну, гдѣ-жъ тамъ! Сына-то, вѣдь, чай тоже пожалѣетъ... да ежели и проклянетъ, такъ проклятіе еретика не страшно для православнаго христіанина!.. Нѣтъ, клясть не станетъ... побурлитъ, посердится и замолчитъ... А теперь къ чему поднимать это, теперь только обѣщать все надо. Не съумѣли Проестевъ съ Патрикѣевымъ оборудовать это дѣло, промахнулись на свою голову, надо думать, Марселисъ окажется поумнѣе.

— Надо думать, нѣмецъ хитрый, бывалый!..

XV.

И поѣхалъ Марселисъ въ Копенгагенъ, твердо рѣшившись радѣть и промышлять всякими мѣрами.

Ему пришлось исправлять всѣ промахи своихъ предшественниковъ и онъ сразу натолкнулся на всякія препятствія.

Канцлеръ хотя и принялъ его, но весьма сухо, и когда онъ пустилъ въ ходъ все свое краснорѣчіе, то увидѣлъ, что задача его не легка: на всѣ его рѣчи канцлеръ только головой качалъ да помалчивалъ, наконецъ, сказалъ:

— Какъ это королевичу въ Москву ѣхать? Знаемъ мы теперь людей московскихъ! люди они дикіе. Что-же, ему придется попасть въ рабство къ этимъ дикимъ людямъ? Обѣщаютъ что угодно, да ничего не исполнятъ. Гораздо лучше оставаться ему въ Даніи—здѣсь безъ всякой бѣды можно ему прожить и отцовскимъ жалованьемъ.

— И это не мое мнѣніе только,—прибавилъ канцлеръ:—такъ всѣ у насъ думаютъ.

Но онъ сильно преувеличивалъ—такъ думали только тѣ, кто имѣлъ разсчетъ желать женитьбы графа Шлезвигъ-Голштинскаго на дочери чешскаго короля.

Марселисъ отвѣтилъ канцлеру:

— Если-бы въ Москвѣ люди были дикіе, то я бы столько лѣтъ тамъ не прожилъ. Зачѣмъ клеветать на московитовъ, не зная ихъ жизни! Поистинѣ, скажу, хорошо если-бы въ Даніи былъ такой-же порядокъ, какъ въ Москвѣ. Никто не можетъ доказать, чтобы царь не исполнилъ того, что обѣщаетъ. Слово свое онъ держитъ крѣпко не только христіанскимъ государямъ, но и магометанамъ.

Канцлеръ ничего на это не могъ возразить, а, подумавъ немного, онъ сказалъ:

— Въ Москвѣ многіе бояре не хотятъ, чтобы царь выдавалъ дочерей своихъ за иностранныхъ принцевъ, и это понятно: бояре желаютъ сами породниться съ царской семьею.

— Московскій государь самодержецъ,—отвѣтилъ Марселисъ:—и дѣлаетъ все по своей волѣ. Въ теперешнемъ дѣлѣ нѣтъ и не можетъ быть никакого разногласія—всѣ приближенные царскіе желаютъ, не меньше самого царя, этого брака царевны съ королевичемъ Вальдемаромъ.

Противъ этого канцлеру возразить опять было нечего, но у него наготовѣ былъ новый и мѣткій выстрѣлъ.

— Сначала королевичу, конечно, въ Москвѣ будетъ хорошо,—сказалъ онъ:—ему навѣрно будутъ оказывать большую честь, для того чтобы отвести его отъ лютеранской вѣры. Если же онъ на это не согласится, то перестанутъ почитать его.

Хотя Марселису прямо и не говорили, ни царь, ни ближніе бояре, о томъ, какъ они смотрятъ на это дѣло, но онъ, человѣкъ проницательный и хитрый, отлично понималъ, на что въ Москвѣ мѣтятъ; поэтому выстрѣлъ канцлера попалъ прямо въ цѣль и, при своей неожиданности, заставилъ Марселиса смутиться. Однако, онъ тотчасъ-же справился съ этимъ смущеніемъ и, повидимому, совершенно спокойно спросилъ:

— Какое-же основаніе предполагать это? Кто такъ хорошо знаетъ царя и его приближенныхъ, чтобы заранѣе рѣшать, какъ они будутъ дѣйствовать?

Канцлеръ внимательно глядѣлъ на своего собесѣдника.

— Я ихъ не знаю,—сказалъ онъ:—да и говорю не только о царѣ и его приближенныхъ, а обо всемъ московскомъ народѣ. Можетъ случиться, что не царь и не приближенные, а именно народъ, всѣ московиты, будучи фанатиками, начнутъ оскорблять

королевича за его преданность лютеранской вѣрѣ. Я говорилъ съ нѣкоторыми шведами и голландцами, которые живали въ Москвѣ и хорошо знаютъ московитовъ—это ихъ мнѣніе, что такъ непремѣнно будетъ.

— Шведы и голландцы нарочно такъ говорятъ!—воскликнулъ Марселисъ:—говорятъ такъ, желая разстроить тѣсный союзъ Даніи съ Москвою. На слова ихъ нечего обращать вниманія. Я много лѣтъ прожилъ въ московскомъ государствѣ и знаю московитовъ получше этихъ шведовъ и голландцевъ, и я утверждаю, что ничего подобнаго нельзя ожидать. Королевичъ Вальдемаръ, въ бытность свою въ Москвѣ, всѣмъ очень понравился, всѣ его полюбили и желаютъ его возвращенія.

Канцлеръ хитро улыбался.

— Вы хорошій посолъ, господинъ Марселисъ,—сказалъ онъ:— на все умѣете отвѣтъ дать и васъ, видно, не переспоришь, но дѣло не во мнѣ—я тутъ сторона—я только исполнитель приказаній моего государя. Поговорите съ графомъ Шлезвигъ-Голштинскимъ, быть можетъ, несмотря на всѣ достоинства московитовъ и на то, что его такъ полюбили, онъ самъ не захочетъ ѣхать.

Марселисъ откланялся канцлеру и отправился къ Вальдемару въ полной увѣренности, что тутъ его краснорѣчіе будетъ гораздо болѣе у мѣста.

Передъ своимъ отъѣздомъ изъ Москвы онъ обстоятельно говорилъ съ Проестевымъ и Патрикѣевымъ, и они убѣдили его въ томъ, что королевичъ только и мечтаетъ, какъ-бы скорѣй переселиться въ Москву и вступить въ бракъ съ царевной.

Но и тутъ Марселиса ожидало разочарованіе—Вальдемаръ былъ уже не въ томъ настроеніи, въ какомъ находился передъ отъѣздомъ изъ Копенгагена московскихъ пословъ.

За эти послѣдніе мѣсяцы онъ часто ѣздилъ къ матери и повѣдалъ ей о своемъ дѣлѣ. Графиня пришла въ ужасъ. При мысли о разлукѣ съ сыномъ въ ней вспыхнула вся ея прежняя къ нему нѣжность и она пустила въ ходъ всѣ убѣжденія, всю силу, на какую способна мать, хотящая отвратить погибель отъ своего ребенка. Ея доводы, убѣжденія, мольбы и слезы, въ концѣ концовъ, подѣйствовали на Вальдемара.

Что-же касается фантастической любви его къ невѣдомой царевнѣ, она не прошла, она время отъ времени просыпалась снова,—но только время отъ времени и не надолго.

Юный графъ Шлезвигъ-Голштинскій жилъ весело, часто находился въ обществѣ красивыхъ женщинъ и живая, осязаемая красота сильно вредила красотѣ призрачной, неосязаемой, созданной юнымъ и пылкимъ воображеніемъ.

Какъ-бы то ни было, Марселисъ нашелъ королевича весьма

сдержаннымъ и, наконецъ, послѣ долгаго разговора, тотъ прямо сказалъ ему:

— Право, напрасно вы пріѣхали—это дѣло такъ долго тянется, что уже, наконецъ, всѣмъ у насъ надоѣло, да и мнѣ тоже. Не знаю, отчего вамъ такъ нравится Москва и вы тамъ живете—я не нашелъ въ ней ничего интереснаго. У меня отъ моей поѣздки не осталось никакихъ пріятныхъ воспоминаній, а грубости и дикости видѣлъ я тамъ много.

— Какъ-же мнѣ прикажете понимать слова ваши? — спросилъ смущенный Марселисъ.—Какъ прямой отказъ?

— Нѣтъ,—отвѣтилъ Вальдемаръ.—Я бы отказался, если-бы это только отъ меня зависѣло, но я долженъ и хочу поступить такъ, какъ мнѣ прикажетъ король, мой отецъ. Если онъ прикажетъ жениться на царевнѣ, я его не ослушаюсь.

XVI.

Марселисъ, послѣ разговора съ Вальдемаромъ, сталъ объѣзжать и обходить всѣхъ вліятельныхъ людей.

Человѣкъ бывалый и къ обхожденію привычный, хорошо знавшій людскія слабости, онъ дѣйствовалъ весьма успѣшно. Гдѣ надо польстить—польститъ, гдѣ надо пообѣщать—пообѣщаетъ, гдѣ надо подарить—подаритъ. Партія лицъ, желавшихъ брачнаго союза между Вальдемаромъ и дочерью чешскаго короля, совсѣмъ стушевалась, сторонниковъ женитьбы королевича на московской царевнѣ все прибывало.

Королевичъ, подъ вліяніемъ разговоровъ со своими ближними людьми, снова вернулся къ прежнимъ мыслямъ и, наконецъ, Марселису было объявлено, что онъ можетъ представиться его величеству и имѣть съ нимъ окончательный разговоръ. Король согласенъ на отъѣздъ сына и на его женитьбу, только остается договориться объ условіяхъ,

Марселису дали понять, что теперь все дѣло въ уступкахъ желаніямъ короля, что, при малѣйшемъ противорѣчіи королевской волѣ, дѣло разойдется и уже на сей разъ безповоротно. Но Марселисъ и самъ отлично понималъ, что это такъ.

Король принялъ его милостиво, но прямо сказалъ, что прежде всего необходимо получить изъ Москвы письменное согласіе на всѣ его условія. Условія же были таковы:

«1) Въ вѣрѣ королевичу неволи не будетъ, и церковь ему будетъ поставлена по его вѣроисповѣданію».

«2) Королевичъ отъ всѣхъ людей высокаго и низкаго, духовнаго и мірскаго чина долженъ быть почитаемъ царскимъ зятемъ,

чтобы ему надъ собою никакого начальства не имѣть, кромѣ царя и царевича—ихъ онъ будетъ почитать своими государями, а больше никого».

«3) Королевичу и его прямымъ наслѣдникамъ обѣщанные города имѣть въ вѣчномъ и потомственномъ владѣніи. Если-же Вальдемаръ умретъ безъ наслѣдниковъ, то царевна Ирина наслѣдуетъ эти города въ пожизненное владѣніе. Если-же царь, кромѣ городовъ и земель, изволитъ дать денежное приданое, то это,—какъ сказано въ русскомъ переводѣ условій,—«честнѣе и славнѣе будетъ». Кромѣ городовъ королевичу должны давать на содержаніе его двора, такъ какъ доходы съ городовъ неизвѣстны. Королевичъ будетъ одѣвать свой дворъ какъ того самъ желаетъ; вольно ему слугъ принимать изъ датской земли и отпускать назадъ».

Марселисъ, не теряя часу, отправился съ этими условіями въ Москву и, по пріѣздѣ, упрашивалъ всѣми мѣрами, чтобы отвѣты на эти условія были удовлетворительные и чтобы съ ними не мѣшкали, а то все дѣло разрушится.

Мѣшкать въ Москвѣ на сей разъ не стали, собрали Думу, сразу написали отвѣты и вручили ихъ Марселису. Царь отпустилъ его съ еще большей лаской, чѣмъ прежде, и просилъ, не теряя часу, ѣхать въ путь обратный и торопить въ Копенгагенѣ дѣло.

Марселисъ отвѣчалъ царю, что себя не пожалѣетъ, лишь-бы сослужить службу его царскому величеству. Дѣйствительно, онъ не сталъ отдыхать въ Москвѣ, явился въ Копенгагенѣ раньше, чѣмъ его тамъ ожидали, и по виду его можно было заключить, что старанія его увѣнчались успѣхомъ.

На первый вопросъ отвѣчали, что королевичу и его двору въ вѣрѣ и законѣ неволи никакой не будетъ, а о томъ, чтобы дать мѣсто для кирки, договоръ будетъ съ королевскими послами, которые пріѣдутъ съ графомъ Вальдемаромъ въ Москву.

На второй вопросъ было объявлено безусловное согласіе. На третій—тоже съ такою прибавкою: «Если послѣ Вальдемара останутся наслѣдники, то имѣнія графа Вальдемара въ датской землѣ должны быть за Ириною и за его наслѣдниками... Также мы, великій государь, приданое: всякой утвари и деньгами, всего на триста тысячъ рублей, дать изволили».

По четвертому вопросу отвѣчали:

«Съ назначенныхъ городовъ собирается доходу много, а если окажется мало на дворовое содержаніе, то мы прибавимъ городовъ и селъ».

Наконецъ, на пятый пунктъ послѣдовало согласіе и опредѣлено, чтобы королевичъ взялъ съ собою въ Москву триста человѣкъ.

Всѣ эти отвѣтныя статьи были закрѣплены государскою печатью.

Король, всесторонне разобравъ ихъ, рѣшился дать свое согласіе.

Марселисъ кинулся къ королевичу Вальдемару. Тотъ его встрѣтилъ мрачно и, несмотря на свою всегдашнюю обходительность и ласковость, на сей разъ говорилъ съ нимъ въ видимомъ раздраженіи. На поздравленіе Марселиса и его низкіе поклоны онъ сказалъ:

— Не съ чѣмъ поздравлять меня—по своей волѣ не поѣхалъбы. Я согласился ѣхать только потому, что боюсь разсердить короля, отца моего. Боюсь я, что вы меня обманете и что мнѣ въ Москвѣ худо будетъ. Можешь-ли ты мнѣ поручиться, Марселисъ, что все будетъ исполнено по договору, что все будетъ честно сдѣлано?

Марселисъ сталъ увѣрять и клясться, что королевичу не о чемъ безпокоиться, нечего тревожиться, что его ожидаетъ въ Москвѣ самая радостная жизнь.

— Если вамъ будетъ дурно, — говорилъ онъ: — то и мнѣ будетъ дурно—я отвѣчаю своею головою.

— А какая мнѣ польза въ твоей головѣ, когда мнѣ дурно будетъ! — воскликнулъ королевичъ. — Видно, ужъ такъ Богу угодно,—прибавилъ онъ:—если король и всѣ его приближенные такъ рѣшили. Много я на своемъ вѣку пострaнствовалъ и такъ воспитанъ, что умѣю съ людьми жить. Одна моя надежда на доброту царя...

— И въ этой надеждѣ ваша милость не обманетесь,—поспѣшилъ заявить Марселисъ.—Царь Михаилъ Ѳедоровичъ—государь большой доброты и кротости и, если увидитъ ваше къ себѣ расположеніе, то ничего для васъ не пожалѣетъ. Подумайте, вѣдь, вы будете первымъ человѣкомъ въ обширномъ и могучемъ государствѣ!

И такъ, все было рѣшено. Но надо отдать справедливость «королю Христіанусу»,—онъ вовсе не приневоливалъ сына, онъ въ послѣднюю минуту говорилъ ему:

— Я рѣшился на разлуку съ тобою, Вальдемаръ, только въ надеждѣ на твое счастіе, если-же ты хочешь остаться—оставайся.

И Вальдемаръ остался-бы, если-бъ, какъ разъ въ эти дни, не поссорился съ одной хорошенькой женщиной, съ которой былъ очень друженъ въ послѣднее время. Но онъ поссорился съ нею и захотѣлъ доказать ей, что вовсе не считаетъ себя несчастнымъ отъ этой ссоры, что легко можетъ обойтись безъ порванной дружбы и даже совсѣмъ пренебрегаетъ ею.

Вальдемаръ пренебрегъ даже слезами и воплями своей матери, разлукой со всей семьею.

Онъ недаромъ говорилъ Марселису, что много пространствовалъ и привыкъ встрѣчаться съ новыми людьми и обращаться съ ними. Въ немъ была врожденная жилка искателя приключеній, его опять, съ неудержимой силой, влекла таинственная даль, въ немъ начинали роиться честолюбивые планы и снова мелькалъ передъ нимъ образъ невѣдомой царевны изъ соннаго царства, которую онъ долженъ пробудить къ жизни, къ счастію своимъ поцѣлуемъ.

Онъ быстро набиралъ свой штатъ и съ двумя королевскими послами, Олафомъ Пассбиргомъ и Стрено Билленомъ отплылъ изъ Копенгагена въ срединѣ осени.

Королевичъ направился въ Данцигъ, чтобы черезъ польскія, а не шведскія владѣнія ѣхать къ Москвѣ.

На пути онъ на нѣкоторое время остановился въ Вильнѣ, гдѣ былъ встрѣченъ съ большими почестями и ласкою королемъ Владиславомъ,

Въ его честь дано было нѣсколько блестящихъ праздниковъ. На этихъ праздникахъ онъ совсѣмъ очаровалъ поляковъ, а главное—полекъ, своей красотой, ловкими манерами и знаніемъ французскаго, а въ особенности итальянскаго языка, бывшаго тогда въ большой модѣ.

XVII.

Послѣ скучнаго пути, во время котораго единственнымъ развлеченіемъ для Вальдемара были бесѣды съ Марселисомъ, начавшимъ знакомить его съ русскимъ языкомъ, пребываніе въ Вильнѣ показалось юношѣ раемъ.

Блестящій дворъ Владислава, рядъ празднествъ, лестный пріемъ, умильные взгляды польскихъ красавицъ—все это вскружило голову самолюбивому и честолюбивому юношѣ.

Ему не хотѣлось выѣзжать изъ Вильны, но все-же благоразуміе взяло верхъ, онъ не замѣшкался отъѣздомъ и выѣхалъ въ самомъ лучшемъ настроеніи духа, обѣщая королю и придворнымъ снова навѣстить ихъ при первой возможности.

Съ этого дня все измѣнилось вокругъ Вальдемара. Всѣ непріятныя впечатлѣнія его перваго пріѣзда въ Москву исчезли: все ему стало нравиться, даже наступившая холодная, снѣжная зима.

Ему доставляло большое удовольствіе мчаться по безбрежной, бѣлой, ослѣпительно сверкавшей на солнцѣ, равнинѣ, закутавшись въ богатую соболью шубу, обернувъ себѣ ноги выдѣланной, подбитой алымъ бархатомъ, медвѣжьей шкурой.

Покойно развалясь въ просторномъ, удобномъ возкѣ, онъ внимательно слушалъ безконечные разсказы Марселиса. Разсказы эти не могли не быть интересными: хитроумный посолъ провелъ такую разнообразную жизнь, входилъ въ сношенія съ такими различными людьми, столько навидался въ различныхъ странахъ. Главное, Марселисъ сразу попалъ въ точку, снова заинтересовалъ Вальдемара до послѣдней степени царевной Ириной.

Онъ признался ему, что передъ своимъ отъѣздомъ въ Данію видѣлъ царевну.

— Я не сразу взялъ на себя это трудное и щекотливое порученіе,—говорилъ Марселисъ:—могъ-ли я за него взяться безъ увѣренности, что не наживу себѣ такого врага, какъ ваша милость? Вотъ вы считаете меня, и не безъ основанія, конечно, однимъ изъ главныхъ виновниковъ вашего теперешняго переселенія въ Москву, въ какомъ-же бы я былъ положеніи, если-бъ невѣста вамъ не понравилась? Вѣдь, вы стали-бы меня во всемъ обвинять, вы меня возненавидѣли-бы!

— Почему-же ты такъ увѣренъ, что она должна мнѣ понравиться? — съ живостью, и сверкнувъ глазами, спросилъ Вальдемаръ.

— Потому, что юная красота, свѣжая какъ роза и чистая какъ лилія, не можетъ не плѣнить молодого человѣка съ такимъ изящнымъ вкусомъ, какъ ваша милость!—важно отвѣтилъ Марселисъ.

Вальдемаръ засмѣялся.

— Вотъ какъ!—воскликнулъ онъ:—свѣжая какъ роза и чистая какъ лилія. Господинъ Марселисъ, я не зналъ, что ты поэтъ!

— Я вовсе не поэтъ, но бываетъ такая красота, которая превращаетъ въ поэта и самаго хладнокровнаго человѣка.

И при этомъ зоркіе глаза Марселиса пристально слѣдили за впечатлѣніемъ, произведеннымъ его словами на юношу.

Вальдемаръ почувствовалъ вдругъ сердечное замираніе. Не только образъ копенгагенской пріятельницы, съ которой онъ поссорился передъ отъѣздомъ, но и недавно плѣнявшіе его образы польскихъ красавицъ, вылетѣли изъ его памяти. Снова онъ оказался подъ обаяніемъ грезы.

— Какъ-же ты могъ ее увидѣть?—спрашивалъ онъ.—Я въ теченіи болѣе чѣмъ двухъ мѣсяцевъ дѣлалъ всевозможныя попытки, чтобы добиться этого—и не могъ.

— Очень просто,—отвѣтилъ Марселисъ съ хитрой миной и пожимая плечами:—я подкупилъ одну изъ теремныхъ постельницъ, которая тайкомъ провела меня, помѣстила въ удобномъ уголкѣ, мимо котораго должна была пройти царевна. Сама же постельница—прехитрая особа—остановила царевну въ двухъ ша-

гахъ отъ меня, заговоривъ съ нею, вотъ я и успѣлъ не только разглядѣть красавицу, но и услышать ея голосъ. Признаюсь, принцъ, на своемъ вѣку въ разныхъ странахъ видалъ я не мало дѣвицъ прелестныхъ, но такой еще не приводилось видѣть!.. Однимъ словомъ, васъ будетъ пара,—прибавилъ онъ, смотря на красивое лицо Вальдемара и не боясь, что слова его будутъ приняты за грубую лесть.

Вальдемаръ даже и не слышалъ этихъ словъ. Передъ нимъ быстро, одна за другою, создавались и исчезали картины будущаго.

«Дикіе нравы—прятать женщинъ,—думалъ онъ:—я все это измѣню. Я не стану прятать царевну, пусть всѣ любуются ея красотою...»

Ему представлялась его будущая жизнь въ видѣ нескончаемаго праздника любви и всякихъ удовольствій.

Да, конечно, не станетъ онъ запирать ее въ келью, эту московскую розу, и не засядетъ на всю жизнь въ Москвѣ съ нею. Онъ повезетъ ее въ Вѣну, повезетъ въ Копенгагенъ, пусть всѣ узнаютъ, какое чудо красоты выросло и созрѣло для него на дикомъ сѣверѣ!..

Въ этихъ мечтаніяхъ, въ бесѣдахъ съ Марселисомъ коротался время. Зима становилась все суровѣе и суровѣе. Началась вторая половина декабря.

Вальдемаръ переѣхалъ русскую границу, и подъ Псковомъ къ нему выѣхали навстрѣчу бояринъ князь Юрій Сицкій и дьякъ Шипулинъ.

При въѣздѣ въ городъ путешественника ожидала еще болѣе торжественная встрѣча. Псковскій воевода, гости и посадскіе лучшіе люди поднесли ему дары: хлѣбъ-соль, два сорока соболей и сто золотыхъ.

Вальдемаръ сталъ было отказываться отъ даровъ, но дьякъ Шипулинъ объяснилъ ему, что его отказъ очень оскорбитъ псковичей и чтобы онъ этого не дѣлалъ.

Князь Сицкій, по царскому указу, «королевичу Вальдемару Христіанусовичу всякое береженье и честь держалъ великую; здоровье его отъ русскихъ и всякихъ людей остерегалъ накрѣпко».

Одна только бѣда и случилась до Новгорода. Во время остановки въ Опочкѣ, несмотря на всю честь и на все береженье, невѣдомо какіе люди попортили возокъ королевича. Какъ влѣзъ онъ въ него, да поѣхалъ—и видитъ: у дверецъ вырѣзанъ весь бархатъ.

Въ Новгородѣ была королевичу такая-же торжественная встрѣча, какъ и въ Псковѣ. А при въѣздѣ его въ Москву, 21 января 1644 года, московскіе, голландскіе и англійскіе гости и торговые люди поднесли ему хлѣбъ и дары, и цѣловали ему руку...

И вотъ королевичъ у цѣли. Онъ сидитъ на пиру государевомъ. Кругомъ него пьютъ и шумятъ люди, съ нимъ пріѣхавшіе, и московскіе бояре. У всѣхъ развязались языки, всѣ веселы пьянымъ весельемъ. Датчане съ московитами пожимаютъ другъ другу руки, говорятъ другъ другу всякія любезности, нисколько не смущаясь тѣмъ, что не понимаютъ другъ друга... Да къ чему тутъ и понимать слова, когда взгляды и жесты такъ выразительны!

Веселымъ надо быть и королевичу, а онъ вдругъ взялъ да и загрустилъ о покинутой родинѣ, объ отцѣ съ матерью, о братьяхъ и сестрахъ, о пріятеляхъ и пріятельницахъ, обо всемъ, что отдалено теперь отъ него глубокими снѣгами да застывшимъ моремъ.

Однако, онъ былъ не изъ тѣхъ людей, которые надолго отдаются грусти. Тряхнулъ онъ кудрями, осушилъ залпомъ чару вина и принялъ участіе въ общемъ весельи.

XVIII.

Съ дѣломъ не мѣшкали, а потому въ скоромъ времени начались бесѣды датскихъ пословъ, Олафа Пассбирга и Стрено Биллена, съ ближними царскими боярами, назначенными для этого дѣла: княземъ Одоевскимъ и Сицкимъ, окольничимъ Стрѣшневымъ и дьяками Львовымъ и Волошениновымъ.

На этотъ разъ датчане должны были убѣдиться, что въ Москвѣ уже не желаютъ дѣлать имъ никакихъ придирокъ и склонны соглашаться на всѣ ихъ требованія. Даже къ самому страшному вопросу о томъ, чтобы въ королевскихъ грамотахъ имя короля Христіана писалось выше царскаго имени, отнеслись совсѣмъ иначе, чѣмъ прежде.

На слѣдующій день послѣ перваго «отвѣта» датскихъ пословъ съ боярами, а именно 4 февраля, царь Михаилъ Ѳедоровичъ посѣтилъ королевича и выразилъ большое удовольствіе, замѣтивъ, что Вальдемаръ уже кое-что понимаетъ изъ русской рѣчи, и даже, хоть и съ трудомъ, но все же выговариваетъ много русскихъ словъ.

Вальдемаръ жаловался царю на шведовъ, которые, нарушивъ договоръ, вторглись въ Голштинію, и говорилъ, что царю надо беречься шведовъ.

— Я напоминаю объ этомъ великому государю,—говорилъ Вальдемаръ:—желая ему всякаго добра, такъ какъ я пріѣхалъ быть съ нимъ въ родственномъ союзѣ и готовъ помогать ему во всякомъ дѣлѣ.

Царь ласково кивнулъ ему головою и любовно ему улыбнулся, услышавъ слова эти.

— Это такъ,—сказалъ онъ:—что правды въ шведахъ мало и вѣрить имъ нечего, только до сихъ поръ ко мнѣ отъ нихъ задиру не бывало и у меня со шведскимъ королемъ заключенъ вѣчный миръ.

Слова эти Вальдемаръ перевелъ себѣ такъ:

«Родство родствомъ, а мѣшаться тебѣ въ дѣла еще рано».

Юноша понялъ, что, дѣйствительно, поторопился, но онъ не сталъ смущаться и бойко возразилъ:

— Какое у васъ, великій государь, со шведами дружество—развѣ они съ московскимъ государствомъ какъ друзья поступили? Царь Василій призвалъ ихъ на помощь, а они оказались злыми врагами.

— Вѣрно!—произнесъ царь и ему понравилось, что не только настоящія, но и прошедшія обстоятельства, касающіяся московскаго государства, вѣдомы королевичу.

«Изъ него прокъ будетъ, малый съ головою!»—подумалъ онъ.

Вальдемаръ хотѣлъ было просить царя дозволить ему представиться государынѣ-царицѣ и, что само-собою подразумѣвалось—царевнѣ, но онъ не рѣшился на это, боясь какъ-нибудь повредить себѣ во мнѣніи царскомъ своей торопливостью.

Онъ сталъ ждать. Прошло четыре дня и вотъ, вмѣсто приглашенія къ царю, случилось совсѣмъ иное.

Къ Вальдемару, отъ имени патріарха Іосифа, явился бывшій въ Швеціи резидентъ Дмитрій Францбековъ и на вопросъ Вальдемара, съ чѣмъ онъ пожаловалъ, повелъ такую рѣчь:

— Великій святитель со всѣмъ священнымъ соборомъ сильно обрадовался, что васъ, великаго государскаго сына, Богъ привелъ къ великому государю нашему для сочетанія законнымъ бракомъ съ царевною Ириною Михайловною и вамъ бы, государскому сыну, съ великимъ государемъ нашимъ, съ царицею и ихъ благородными дѣтьми и нами, богомольцами своими, вѣрою соединиться.

Королевичъ весьма смутился и сразу пришелъ въ негодованіе, но онъ сдержалъ себя и спокойно отвѣтилъ:

— Принять мнѣ вѣру греческаго закона никакъ нельзя и ничего я не буду дѣлать вопреки договору, заключенному Петромъ Марселисомъ. Если Марселисъ обѣщалъ на словахъ царю, что я перемѣню вѣру, а королю, моему отцу, и мнѣ того не сказалъ, то онъ солгалъ, обманулъ и за это отъ короля и отъ меня будетъ наказанъ. Если-бы я зналъ, что опять будетъ рѣчь о вѣрѣ, то я изъ Даніи сюда не пріѣхалъ-бы, и если теперь его царское величество не изволитъ дѣло дѣлать по статьямъ договора, то пусть прикажетъ меня отпустить назадъ къ королю, отцу моему, съ честью.

Францбековъ не смутился ничуть.

— Марселису никто не приказывалъ и не поручалъ говорить и рѣшать дѣло о вѣрѣ,—сказалъ онъ.—Теперь вашей милости назадъ въ свою землю ѣхать невозможно. Оскорбляться вамъ нечего, а слѣдуетъ обсудить благоразумно. Да не угодно-ли вамъ поговорить о вѣрѣ съ учеными духовными людьми московскими?

Королевичъ вспыхнулъ.

— Я самъ ученъ не меньше московскихъ поповъ! — почти закричалъ онъ.—Библію я прочелъ пять разъ, и всю ее помню, учить меня нечего. А впрочемъ,—прибавилъ онъ, стихая:—если царю и патріарху угодно поговорить со мною, то я говорить и слушать готовъ.

Съ этимъ отвѣтомъ Францбековъ и ушелъ отъ королевича, оставивъ его совсѣмъ встревоженнымъ.

Послы датскіе, бывшіе при этомъ объясненіи, тревожились не меньше королевича, особенно Пассбиргъ.

Пожилой, унылаго и сухого вида человѣкъ, недовѣрчивый по своему характеру и даже мнительный, онъ прямо высказалъ:

— Я говорилъ королю, что нельзя довѣрить никакимъ обѣщаніямъ московитовъ. Я предвидѣлъ, что дикари эти заманятъ насъ и потомъ откажутся отъ всѣхъ условій.

— Нѣтъ, каковъ Марселисъ! — въ негодованіи воскликнулъ Вальдемаръ.—Достаньте мнѣ его скорѣй! Пошлите за нимъ, чтобы явился немедленно! Ахъ, старая лисица! Посмотрю я, что онъ мнѣ теперь отвѣтитъ?

Марселисъ не заставилъ себя ждать.

Вальдемаръ такъ на него и накинулся, называя его прямо предателемъ.

— А еще головой мнѣ ручался, что никакого худа мнѣ здѣсь не будетъ, никакого насилія!

Марселисъ хотя и смутился, но все-же пытался успокоить королевича.

— Вѣдь, вотъ-же этотъ шведъ прямо объясняетъ, что тебѣ не было никакого полномочія рѣшать вопросъ о моей вѣрѣ!—въ негодованіи говорилъ королевичъ.

— Онъ лжетъ,—увѣрялъ Марселисъ:—и вы не придавайте его словамъ никакого значенія, ваша милость. Какъ-же бы я осмѣлился брать на себя такое дѣло, да и развѣ забыли вы, что отвѣтныя условія я привезъ за царской печатью.

Вальдемаръ долженъ былъ замолчать.

— Да, конечно,—сказалъ онъ:—но въ такомъ случаѣ и тебя обманули—мнѣ отъ этого не легче.

— Нѣтъ, легче, ваша милость, потому что вы всегда имѣете возможность указывать на этотъ документъ, скрѣпленный цар-

ской печатью. Дѣло вовсе не такъ страшно, какъ вамъ представляется—поговорятъ они и перестанутъ! Поймите-же, патріархъ хотя и знаетъ, что вы не перемѣните религіи и что царь согласенъ на это, все-же считаетъ своею обязанностью попытаться уговорить васъ. А вы будьте благоразумны и потолкуйте съ нимъ и съ царемъ безъ всякаго раздраженія, все кончится къ общему удовольствію... патріархъ и царь успокоятся. Они сдѣлаютъ свое дѣло, а вы—свое.

Въ концѣ концовъ, спокойный тонъ Марселиса и его доводы успокоили и Вальдемара. Только Пассбиргъ все качалъ головою и ворчалъ:

— Марселисъ играетъ двойную игру, ему нельзя вѣрить. Если ужъ такъ начинаютъ сразу, добра ожидать нечего!

— Однако, не слѣдъ и преувеличивать,—возразилъ Вальдемаръ.—Все, что говорилъ Марселисъ, мнѣ кажется основательнымъ, да и на самый худой конецъ, что же, возьмемъ и уѣдемъ—вѣдь, я не перемѣню религіи.

— А если заставятъ силой?—мрачно сказалъ Пассбиргъ.—А если мы окажемся плѣнниками у этихъ дикарей?

Вальдемаръ засмѣялся.

— Мой добрый Пассбиргъ, ты плохо спалъ эту ночь! Да къ тому же московскія кушанья слишкомъ жирны для твоего желудка, вотъ тебѣ и представляется все въ мрачномъ свѣтѣ. Ну, гдѣ-же это видано, чтобы силой заставляли перемѣнять религію? Ну, можно ли подумать о томъ, что насъ возьмутъ въ плѣнъ?

— Здѣсь все возможно!—упрямо и уныло повторялъ Пассбиргъ.

XIX.

Вальдемаръ, совершенно полагаясь на объясненіе Марселиса, со спокойнымъ духомъ отправился къ царю, гдѣ былъ принятъ почетно и проведенъ въ царскую комнату.

Царь встрѣтилъ королевича еще болѣе ласково, чѣмъ въ прежніе разы, крѣпко пожалъ ему руку и троекратно съ нимъ поцѣловался.

Онъ посадилъ его рядомъ съ собою и объявилъ, что хочетъ по душѣ потолковать съ нимъ о весьма важномъ дѣлѣ.

Королевичъ отвѣтилъ, что радъ слушать все, что ему скажетъ государь.

— Послы королевскіе намъ говорили,—началъ Михаилъ Ѳедоровичъ:—что король велѣлъ тебѣ быть въ моей государевой

волѣ и послушаніи и дѣлать то, что мнѣ угодно... Ну и вотъ, мнѣ угодно, чтобы ты принялъ православную вѣру.

Сказалъ это царь и глубоко вздохнулъ: а самъ глядѣлъ прямо въ глаза королевичу.

Вальдемаръ не ожидалъ ничего подобнаго, но не даромъ онъ объявилъ Марселису, что много навидался на своемъ юномъ вѣку и привыкъ къ обращенію съ разными людьми. Помолчавъ нѣсколько мгновеній, онъ спокойно отвѣтилъ:

— Государь, я радъ быть въ твоей волѣ и послушаніи, готовъ пролить за тебя свою кровь, но вѣры своей перемѣнить не могу, потому что боюсь переступить клятвы отца моего. У насъ, въ Даніи, и въ другихъ государствахъ европейскихъ ведется, что мужъ исповѣдуетъ вѣру свою, а жена другую и если вашему величеству не угодно исполнить нашъ договоръ, то прошу отпустить меня назадъ, къ отцу моему.

Царь еще разъ вздохнулъ, но отвѣчалъ рѣшительно:

— Любя тебя, королевича, для ближняго присвоенія, я воздалъ тебѣ достойную великую честь, какой прежде никогда не бывало: такъ тебѣ надобно нашу пріятную любовь знать, что мнѣ угодно исполнять, со мною вѣрою соединиться и за такое превеликое дѣло будетъ надъ тобою милость Божія, моя государская пріятная любовь и отъ всѣхъ людей честь. Не соединясь со мною вѣрою, въ присвоеніи быть и законнымъ бракомъ съ моею дочерью сочетаться тебѣ нельзя, потому что у насъ мужъ съ женою въ разной вѣрѣ быть не можетъ...

— Петръ Марселисъ,—продолжалъ царь: — въ московскомъ государствѣ живетъ долго и знаетъ подлинно, что не только въ нашихъ государскихъ чинахъ, но и въ простыхъ людяхъ того не повелось. Отпустить-же тебя назадъ непригоже и не честно; во всѣхъ окрестныхъ государствахъ будетъ стыдно, что ты отъ насъ уѣхалъ, не совершивъ добраго дѣла.

Вальдемаръ молчалъ и глядѣлъ во всѣ глаза на царя, не вѣря ушамъ своимъ. А царь, съ еще большею ласкою въ голосѣ и въ то-же время такимъ тономъ, будто Вальдемаръ сознательно и кровно обижалъ его, говорилъ:

— Ты бы подумалъ и мое прошеніе исполнилъ... Да и почему ты не хочешь быть въ православной вѣрѣ греческаго закона? Знаешь-ли, что Господь нашъ Іисусъ Христосъ всѣмъ православнымъ христіанамъ собою образъ спасенія показалъ и погрузился въ три погруженія?

— И у насъ въ лютеранской вѣрѣ погруженіе было,—отвѣтилъ Вальдемаръ:—а перестали погружать только лѣтъ съ тридцать. Я погруженія вовсе не хулю, только теперь мнѣ креститься во второй разъ никакъ нельзя, потому что боюсь клятвы

отъ отца своего. Да и при царѣ Иванѣ Васильевичѣ было, что его племянница вышла за короля Магнуса.

— Царь Иванъ Васильевичъ сдѣлалъ это, не жалуя и не любя племянницы своей,—сказалъ Михаилъ Ѳеодоровичъ:—а я хочу быть съ тобою въ одной вѣрѣ, любя тебя какъ родного сына.

Защемило сердце у графа Шлезвигъ-Голштинскаго. Сразу увидалъ онъ, что старый Пассбиргъ правъ. Передъ нимъ отверзлась какая-то бездна. Онъ чувствовалъ и понималъ, что это не простой разговоръ, что никакими доводами не переубѣдить ему царя и что здѣсь, въ Москвѣ, свои собственные взгляды на то, что возможно и что невозможно. Да, вотъ теперь царь говоритъ ласково, объясняетъ все своей особой отеческой любовью къ жениху дочери, но пройдетъ нѣсколько дней—ласковая рѣчь превратится въ гнѣвный приказъ, а потомъ... что будетъ потомъ?

Королевичъ чувствовалъ, что у него начинаетъ кружиться голова. Надо обдумать положеніе, надо посовѣтоваться съ послами.

Вальдемаръ всталъ, поклонился царю и просилъ его назначить другое время, чтобы поговорить о вѣрѣ.

Среди датчанъ началось волненіе. Всѣ посольскіе люди, хоть и не знали ничего опредѣленнаго, но хорошо догадывались, что творится что-то неожиданное и плохое.

Вальдемаръ долго совѣщался со своими ближними людьми и, наконецъ, была написана и послана царю такая грамота:

«1) Развѣ вашему царскому величеству неизвѣстно, что вы за два года присылали къ отцу моему великихъ пословъ о сватовствѣ и когда они объявили, что я долженъ перемѣнить вѣру, то имъ прямо отказано?

«2) Ваше царское величество на томъ стоите-ли, что вы прислали къ отцу моему Петра Марселиса, который, по вашему наказу, объявилъ, что мнѣ въ вѣрѣ никакой неволи и помѣшки не будетъ.

«3) Въ грамотѣ вашего царскаго величества, за вашею печатью присланной, не первая-ли статья говоритъ о вольности въ вѣрѣ?

«Мы никакъ не можемъ вѣрить, чтобы ваше царское величество, государь повсюду славный и извѣстный, рѣшились, по совѣту злыхъ людей, что-нибудь сдѣлать вопреки вашему обѣщанію и договору, что приведетъ не только нашего отца, но и всѣхъ государей въ великое размышленіе и вашему величеству недобрая заочная рѣчь отъ того будетъ.»

Ничего болѣе сильнаго, яснаго и рѣшительнаго нельзя было придумать.

Отправивъ къ царю эту грамоту, Вальдемаръ началъ надѣяться, что царь, наконецъ, одумается и пойметъ всю невозможность дальнѣйшихъ прекаканій.

Съ нетерпѣніемъ Вальдемаръ и послы ожидали царскаго отвѣта. Отвѣтъ этотъ не замедлилъ и былъ таковъ:

«И теперь мы вамъ тоже объявляемъ, что вамъ въ вѣрѣ никакой неволи нѣтъ, а говоримъ и просимъ, чтобы вамъ съ нами быть въ одной христіанской православной вѣрѣ, въ разныхъ же вѣрахъ вашему законному браку съ нашею дочерью быть никакъ нельзя и въ нашемъ отвѣтномъ письмѣ, которое послано съ Петромъ Марселисомъ къ отцу вашему, нигдѣ не написано такое, чтобы намъ васъ къ соединенію въ вѣрѣ не призывать. Мы, великій государь, хотимъ начатое дѣло такъ дѣлать, какъ угодно Богу и нашему царскому величеству, и васъ къ тому всякими мѣрами приводимъ и молимъ съ прошеніемъ, чтобы вамъ поискать своего душевнаго спасенія и тѣлеснаго здравія, съ нами вѣрою соединиться, а его королевскому величеству, другимъ христіанскимъ государямъ и вамъ мимо дѣла и правды размышлять не пригоже; про наше царское величество недобрыхъ заочныхъ рѣчей быть не въ чемъ, а ссорѣ бы вамъ ничьей не вѣрить».

Прочелъ отвѣтъ этотъ Вальдемаръ съ послами и у всѣхъ у нихъ руки опустились.

Пассбиргъ торжествовалъ.

— Вѣдь, я говорилъ, что здѣсь все возможно! —воскликнулъ онъ.—Однако, и я не ожидалъ такого отвѣта. Должно признаться, что московиты, по своему, тонкіе дипломаты!

Вальдемаръ перечитывалъ грамоту и у него дрожали руки отъ раздраженія.

— Да, дѣйствительно,—засмѣялся онъ злобнымъ смѣхомъ:— въ отвѣтномъ документѣ, за царскою печатью, нигдѣ не написано, чтобы мнѣ вѣнчаться, оставаясь въ моей вѣрѣ. Меня молятъ съ прошеніемъ—вотъ такъ мольба! Однако, что-же мнѣ отвѣчать?

Приступили къ составленію грамоты.

«Мы ясно выразумѣли изъ вашего отвѣта,—писалъ Вальдемаръ:—что ваше царское величество не по явнымъ словамъ, какъ у великихъ христіанскихъ государей, во всей Европѣ, ведется, идете, но единственно по своему толкованію и мысли обо всемъ это дѣло становите. Никогда еще не бывало такого договора, въ которомъ-бы его королевскаго величества, отца нашего, всю основную мысль превратили и явныя слова въ иную мысль, по своему изволенію, толковать и изложить хотѣли, какъ теперь въ этой странѣ дѣлается...»

Далѣе королевичъ убѣдительно просилъ, такъ какъ никакое соглашеніе невозможно, отпустить его въ Данію.

— Что-же теперь будетъ? Что могутъ они тамъ придумать и отчего царь не даетъ отвѣта?—спрашивалъ на другой день Вальдемаръ у вошедшаго къ нему Пассбирга.

— Отвѣтъ есть,—многозначительно и мрачно сказалъ посолъ.

— Гдѣ-же онъ? Дайте мнѣ его скорѣе!

— Онъ тамъ, у входа... живой отвѣтъ—усиленная стража, которая меня не выпустила, когда я хотѣлъ выйти изъ дома.

Королевичъ не повѣрилъ, кинулся къ выходу, но тамъ долженъ былъ убѣдиться, что онъ плѣнникъ.

XX.

Морозная, снѣжная зима нежданно смѣнилась дружной весною. Потекли, сверкая на солнцѣ, шумные ручьи по московскимъ улицамъ и переулкамъ. На иныхъ перекресткахъ нельзя было ни пройти, ни проѣхать—хоть лодки спускать да переправлять народъ, спѣшащій по своимъ дѣламъ и останавливаемый шумными весенними потоками. По инымъ мѣстамъ, подъ московскими пригорками, даже много бѣдъ вода надѣлала, но люди московскіе и ко всѣмъ этимъ бѣдамъ отнеслись снисходительно—ужъ больно надоѣла зимняя стужа.

Такихъ морозовъ, какіе были въ ту зиму, старожилы не могли запомнить: вороны и голуби замерзали на лету и такъ и падали на головы прохожимъ.

Въ Замоскворѣчьи появился юродивый, никому невѣдомый до того времени. Юродивый тотъ, дѣтина огромнаго роста, въ волчьей шкурѣ шерстью вверхъ, съ нечесанными, какъ войлокъ торчавшими волосами, и по какому-то чуду незамерзавшими босыми ногами, бѣгалъ по улицамъ и кричалъ, размахивая руками, что чаша гнѣва Божьяго опрокинулась на землю, что за грѣхи покараетъ Господь людей и все человѣчество вымретъ отъ стужи, что не будетъ на землѣ больше ни весны, ни лѣта, а сплошная зима. Солнце станетъ показываться все на болѣе короткое время, наконецъ, закатится, да и не взойдетъ больше—и закоченѣетъ родъ людской среди безразсвѣтнаго мрака.

Народъ внималъ словамъ юродиваго и проникался страхомъ и трепетомъ.

Въ концѣ января и въ началѣ февраля, когда морозы держались непрерывно, на многихъ стала нападать паника: о женщинахъ ужъ и говорить нечего, а и мужчины въ концѣ концовъ убѣждались, что юродивый возвѣщалъ правду, что впереди зима безконечная и смерть.

Морозъ продержался до марта и началъ ослабѣвать. Юродивый продолжалъ бѣгать по улицамъ и кричалъ о томъ, что вотъ теперь поотпуститъ маленько, а затѣмъ такая стужа начнется, что дышать нечѣмъ будетъ.

Однако, въ половинѣ марта сразу началась оттепель, а 1-го апрѣля отъ глубокаго снѣга не осталось и помину. Тепляое солнце, поднимаясь все выше и выше, грѣло и сушило московскую грязь.

Народъ успокоился, бранилъ на чемъ свѣтъ перепугавшаго всю Москву юродиваго, и плохо-бы ему пришлось, если бы онъ показался на улицѣ. Но онъ во-время скрылся, пропалъ безъ вѣсти, будто его никогда и не было.

Свѣтитъ весеннее солнце, пробивается въ узкія разноцвѣтныя окошки царицына терема, воздухъ весны живительной струей пробирается въ каждую щелку. Кипитъ хлопотливая жизнь царицына муравейника. По низенькимъ душнымъ покойчикамъ, по лѣсенкамъ, переходамъ и чуланчикамъ идетъ съ утра до вечера всякая работа, звучатъ и громкія, и тихія рѣчи теремныхъ жилицъ, вѣчные, неизбѣжные пересуды. Ссоры и миръ, дружба и ненависть чередуются другъ съ другомъ ежедневно.

То и дѣло приносятся, разными путями, со всѣхъ концовъ Москвы, всякія вѣсти и слухи, но пуще всего занятъ теремъ басурманомъ-королевичемъ—женихомъ царевны Ирины.

Теперь дѣло это не тайное, о немъ знаютъ всѣ, только по наказу государыни не смѣютъ громко говорить объ этомъ дѣлѣ, пуще-же всего молчать о немъ передъ царевной. И она молчитъ, ни у кого ни о чемъ не спрашиваетъ. Повидимому, ведетъ она свою обычную жизнь и ни въ чемъ вокругъ нея нѣтъ перемѣны, но въ ней самой перемѣна большая. Хоть и молчитъ она, а знаетъ все, что касается гостей пріѣзжихъ.

Маша улучаетъ каждый день удобное время и доподлинно докладываетъ ей какъ есть обо всемъ. Маша-же знаетъ гораздо больше, чѣмъ княгиня Хованская, чѣмъ сама даже царица.

Быстроногая, легкая и чуткая дѣвочка скользитъ какъ тѣнь по всѣмъ закоулкамъ терема, все она видитъ, все слышитъ, не ускользаетъ отъ нея ни одно слово: за два покоя разслышитъ она самый тихій, боязливый шопотъ,—и только узнаетъ что-нибудь новенькое, тотчасъ-же къ царевнѣ и передастъ ей въ ушко новинку.

Мало того, Маша ухитрилась, не разъ и не два, выбираться изъ терема. Видѣла она нѣмцевъ пріѣзжихъ, видѣла она и самого королевича.

Вся трепещущая и радостная, примчалась она къ своей царевнѣ и разсказывала ей быстрымъ, восторженнымъ шопотомъ о томъ, что королевичъ красоты неописанной. Царевна краснѣла какъ маковъ цвѣтъ и жадно слушала, спрашивала-переспрашивала Машу, такъ спрашивала, что подъ конецъ той ужъ и лгать приходилось. Кой-чего она и недоглядѣла въ королевичѣ, да ца-

ревна знать желаетъ—жаль ей не отвѣтить, жаль не успокоить—вотъ солгать и приходится.

Сначала, въ первое время по пріѣздѣ королевича, въ теремѣ всѣ были какъ на угольяхъ: всѣ были увѣрены, что со свадьбой мѣшкать не станутъ и уже заранѣе готовились ко всякому веселью.

Но вотъ прошло цѣлыхъ три мѣсяца. Королевичъ живетъ въ Китай-городѣ со своими нѣмцами, а о свадьбѣ нѣтъ и помину. Царица весь день вздыхаетъ, вздыхаетъ и княгиня Хованская, а царь-батюшка заглянетъ въ теремъ, — такъ и тотъ вздыхать начнетъ.

Вотъ тебѣ и разъ! ждали веселья всякаго, а тутъ тоска одна, одно горе—съ чего бы это?

Скоро узнали всѣ, а Маша раньше всѣхъ, что королевичъ упрямится, отъ своей басурманской вѣры отстать не хочетъ, не желаетъ принять святое крещеніе.

Вѣсть эта какъ громомъ поразила царевну Ирину.

Тихонько ото всѣхъ она плакала, ночей не спала, все думала о своемъ горѣ. Вѣдь, послѣ того, какъ Маша описала ей красавца королевича, она только имъ и жила, онъ наполнялъ всѣ ея помыслы, при одной мысли о немъ замирало ея сердце.

Тихій, поздній часъ ночной. Въ опочивальнѣ царевны тьма, даже лампада передъ кіотомъ съ образами потухаетъ. Ничего не видно, все окутано мракомъ, только, среди ночной тишины, явственно слышится сдержанный шопотъ. То Маша прокралась, затаивъ дыханіе, дрожа и замирая съ каждымъ шагомъ, въ опочивальню царевны, проскользнула къ ея высокой кровати, наклонилась надъ ея изголовьемъ и ведетъ съ ней свою обычную бесѣду о королевичѣ. Царевна плачетъ, Машутка ее успокоиваетъ, но не легко теперь успокоить царевну. Жалуется она: «зачѣмъ только это онъ пріѣхалъ, зачѣмъ такое горе стряслось надъ нею?» Негодуетъ она на королевича.

— Вотъ, говорила ты, Машуня, — слышится жалобный голосокъ Ирины:—говорила: пригожій онъ, ласковый, добрый, нѣтъ—не таковъ онъ, видно, ежели-бы таковъ былъ, сталъ-ли бы онъ противиться батюшкиной волѣ? А вѣстимо, за нехристя меня не выдадутъ—грѣха такого не будетъ...

Но у Маши нѣтъ никакого понятія о грѣхѣ.

Она не знаетъ, гдѣ тутъ грѣхъ. Тутъ совсѣмъ никакого грѣха не видно—все дѣло въ томъ, что не выходитъ такъ, какъ бы хотѣлось имъ съ царевной,—ну и поразмыслить надо, какъ-бы такъ устроить, чтобы все уладилось. Главное-же, вотъ ужъ съ утра, новая мысль пришла въ голову Машѣ и она спѣшитъ подѣлиться этою мыслью съ царевной.

— Все будетъ ладно, царевна,—шепчетъ она:—на все королевичъ согласится, только одно надо безпремѣнно: чтобы ты его увидала и чтобы онъ тебя увидалъ.

— Богъ съ тобою, Машуня!—испуганно, почти громко вскрикнула Ирина, и вся вздрогнула.—Какъ такое быть можетъ?

— Кабы знала я *какъ*, то и сказала-бы, да вотъ бѣда: не могу придумать, какъ-бы это сдѣлать.

— Да что сдѣлать-то... сдѣлать-то?—дрожитъ голосокъ царевны.—Нельзя до времени мнѣ его видѣть и ему тоже нельзя меня видѣть—нечего и думать объ этомъ.

— А нешто ты не хочешь, царевна? Ну скажи, скажи какъ передъ Истиннымъ, неужто не хочешь?

Во тьмѣ не видно, какъ вспыхнули щеки Ирины. Не можетъ она лгать передъ своей любимой подругой.

— Хочу!—едва слышно шепчетъ она.—Знаю, что грѣхъ это, а все-же не стану лукавить: хотѣлось-бы увидать его хоть на самую малую минуточку. Хоть пропасть потомъ, лишь-бы взглянуть на него!..

Маша торжествуетъ.

— Ну, вотъ, видишь-ли, я такъ и знала! Вотъ и нужно, безпремѣнно нужно вамъ повидаться—какъ повидаетесь, да столкуетесь...

— Столковаться!.. что ты, опомнись, Машуня!

Царевна даже ей ротъ закрываетъ рукою, но Маша, отклоняя ее руку, шепчетъ:

— А что-же такое? Ужъ коли увидитесь, такъ и потолкуете. Не слушается онъ государя... а тебя, какъ-же тебя-то онъ не послушаетъ? Скажешь ты ему одно слово—онъ все и исполнитъ по твоему приказу,—вотъ и уладится дѣло...

Долго, долго, чуть что не до самаго разсвѣта, шепчется царевна съ Машей. Раздастся по близости шорохъ, скрипнетъ половица, пропищитъ мышенокъ—и Маша не дышетъ, юркнуть подъ кровать собирается... стихнетъ все—и опять она шепчетъ на ухо царевнѣ.

Кончилось тѣмъ, что Ирина совсѣмъ поддалась хитрому бѣсенку: искусила и соблазнила ее Маша и теперь ужъ не было и помину о грѣхѣ, оставалось одно только страстное желаніе увидѣть королевича. Хватитъ-ли силъ вымолвить ему слово—этого царевна не знаетъ, но для того, чтобы увидать его, она готова на все: нѣтъ въ ней ни стыда, ни страха.

А Маша обѣщаетъ все устроить, конечно, не вдругъ, не сразу, не завтра, не послѣ завтра, а все-же въ скоромъ времени. Какъ она устроитъ—она еще и сама не знаетъ, но вся она кипитъ, она вѣритъ въ то, что ей удастся сдѣлать такъ, какъ она хочетъ, и свою твердую вѣру она передаетъ и царевнѣ.

XXI.

Вальдемаръ проводилъ невыносимо скучные, однообразные дни, переходя отъ порывовъ злобы и отчаянія къ надеждѣ. Ему все-же въ концѣ концовъ казалось невозможнымъ такое грубое насиліе. Онъ думалъ, что пройдетъ еще нѣсколько времени, и царь пойметъ незаконность и опасность своихъ поступковъ. Очевидно, у царя плохіе совѣтники. Надо найти кого-нибудь изъ ближнихъ бояръ, кто-бы взялся за это дѣло.

Пришлось позвать Марселиса, на котораго королевичъ очень сердился, хотя и склоненъ былъ теперь думать, что тотъ самъ обманутъ, самъ попался.

Вальдемаръ разспросилъ Марселиса о ближнихъ боярахъ и тотъ указалъ ему на боярина Ѳедора Ивановича Шереметева, какъ человѣка благоразумнаго и ласковаго, пользующагося къ тому-же царскимъ расположеніемъ.

Вальдемаръ послалъ просить къ себѣ Шереметева, и, когда тотъ къ нему явился, онъ, всячески обласкавъ его, убѣждалъ его похлопотать передъ царемъ объ отпускѣ. Королевичъ говорилъ:

— Я знаю, что ты большой, ближній царскій бояринъ, справедливый и разумный, а потому бью тебѣ челомъ: помоги мнѣ, чтобы царское величество пословъ и меня отпустилъ.

— Хорошо было-бы тебѣ съ царскимъ величествомъ соединиться въ вѣрѣ,—отвѣтилъ Шереметевъ:—а ѣхавъ такую дальнюю дорогу, ѣхать назадъ непригоже.

— Соединиться съ царемъ въ вѣрѣ я не могу,—возразилъ Вальдемаръ:—объ этомъ и говорить нечего—пусть меня отпустятъ. Но если меня честно отпустятъ, я стану громко прославлять царское величество.

Шереметевъ обѣщалъ донести царю о желаніи королевича и сдѣлать все, что отъ него зависѣло, для убѣжденія государя исполнить это желаніе. Но отвѣтъ былъ самый плачевный; стража вокругъ двора королевича оказалась усиленной.

Тогда датскіе послы отправились въ посольскій приказъ, но тамъ имъ прямо объявили, что нечего и думать о бракѣ королевича съ царевной безъ соединенія въ вѣрѣ.

— Вы обязаны,—говорили бояре:—упрашивать и уговаривать вашего королевича принять православіе.

— Намъ это не наказано,—отвѣтили послы:—и если мы только заикнемся королевичу о томъ, чтобы онъ отрекся отъ своей вѣры, то король велитъ снять съ насъ головы.

— Да хотя бы королевичъ и соединился вѣрою съ царемъ,—

прибавилъ Пассбиргъ:—то все-же онъ во всемъ другомъ не сойдется: въ постныхъ кушаньяхъ, питьѣ и платьѣ. Теперь мы ясно видимъ, что тому дѣлу, для котораго мы сюда пріѣхали, нельзя совершиться. Королевичъ вѣры своей не перемѣнитъ и говорить объ этомъ даже напрасно. Намъ одно остается—уѣхать; пусть насъ царское величество отпуститъ какъ подобаетъ, мы не плѣнники и держать насъ силою нельзя: отъ этого могутъ быть великія и непріятныя послѣдствія.

Но бояре, очевидно, ни о какихъ послѣдствіяхъ не думали. Они рѣшились не мытьемъ, такъ катаньемъ добиться своего и полагали, что разъ королевичъ залученъ въ Москву, въ концѣ концовъ всего и можно будетъ достигнуть.

Пассбиргъ и Билленъ возвратились къ Вальдемару съ очень неутѣшительнымъ извѣстіемъ: отпуска нѣтъ и не предвидится.

Вальдемаръ рѣшился терпѣть, пока силъ хватитъ, а пока прилежно занимался русскимъ языкомъ съ Иваномъ Ѳоминымъ «иностранцемъ».

Способности королевича къ языкамъ были поразительны. Каждый день запасъ его знаній въ русскихъ словахъ и оборотахъ русской рѣчи быстро увеличивался; онъ уже бѣгло читалъ и писалъ по-русски изрядно. Если-бы не трудность произношенія, онъ могъ-бы вести бѣгло какую угодно бесѣду. Онъ разсчитывалъ при первомъ свиданіи съ царемъ пріятно поразить его, такъ какъ могъ уже съ нимъ объясняться безъ помощи переводчика.

Въ ожиданіи рѣшенія своей участи, датчане изощрялись коротать время безъ особенной скуки. Быстро разстаявшій снѣгъ и невылазная грязь лишали ихъ возможности выѣзжать и выходить изъ дому, да и неизвѣстно еще, мыслимы-ли были такія прогулки и поѣздки, вѣдь, они находились подъ стражею. Но при домѣ былъ обширный, прекрасный садъ; его уже очистили отъ снѣга; на деревьяхъ уже приготовлялись почки, погода стояла такая чудесная, солнце такъ привѣтливо грѣло! Вальдемаръ, со своею свитой, проводилъ долгіе часы въ этомъ саду, придумывая всякія забавы.

Иногда изъ сада раздавались звуки музыкальныхъ инструментовъ, пѣніе датскихъ пѣсенъ, веселые возгласы. Датчане пировали, вино оказывалось въ изобиліи и имъ не пренебрегали. Не будь вина, трудно было-бы справиться съ одолѣвавшей скукой.

21-го апрѣля явился къ королевичу, уже раньше бывшій у него, Дмитрій Францбековъ, принесъ ему письмо отъ патріарха и говорилъ такъ:

—Государь-королевичъ, послалъ меня къ тебѣ государевъ отецъ и богомолецъ, святѣйшій патріархъ московскій и всея

Россіи, велѣлъ онъ твое здравіе спросить, какъ тебѣ Христосъ милость свою сохраняетъ? И велѣлъ тебя извѣстить: «слухъ до меня дошелъ, что ты, государь-королевичъ, у царскаго величества отпрашивался къ себѣ, а того великаго дѣла, для котораго пріѣхалъ, съ царскимъ величествомъ не хочешь совершить»,—такъ святѣйшій патріархъ Іосифъ о томъ къ твоему величеству совѣтное, за своею печатью, письмо послалъ, проситъ тебя письмо то прочесть и отвѣтъ ему дать.

Королевичъ на этотъ разъ самъ сталъ разбирать письмо и, въ концѣ концовъ, разобралъ:

«Прими, государь-королевичъ, Вольмаръ Христіанусовичъ,—писалъ патріархъ:—сіе писаніе и, прочтя, уразумѣй его любительно и, уразумѣвъ его, не упрмямься. Государь-царь ищетъ тебѣ и хочетъ всякаго добра и нынѣ и въ будущемъ вѣкѣ. Своею упрямкою добраго, великаго, любительнаго и присвоеннаго дѣла съ его царскимъ величествомъ не порушь, но совершенно учини во всемъ волю его. По Богѣ послушай, не отъ Бога тебя онъ отгоняетъ, но совершенно Богу присвояетъ. Да и отецъ твой, Христіанусъ король, показалъ совѣтъ свой къ его царскому величеству и присвоиться захотѣлъ, тебя, любимаго сына своего, къ царскому величеству отпустилъ, чтобы тебѣ жениться на его дочери и съ послами своими приказывалъ, что отпустилъ тебя на всю волю его царскаго величества, такъ тебѣ надобно его царскаго величества послушать, да будешь въ православной Христовой вѣрѣ вмѣстѣ съ нами. Мы знаемъ, что вы называетесь христіанами, но не во всемъ вѣру Христову прямо держите и всѣми статьями раздѣляетесь отъ насъ и тебѣ бы, государь-королевичъ, принять святое крещеніе въ три погруженія, а о томъ сомнѣнія не держать, что ты уже крещенъ. Несовершенное вашей вѣры крещеніе требуетъ истиннаго исполненія, такимъ образомъ и будетъ единокрещеніе въ святую соборную и апостольскую церковь, а не два, и у насъ второго крещенія нѣтъ».

Дальше Вальдемаръ не сталъ читать, а прямо сѣлъ и написалъ такой отвѣтъ:

«Такъ какъ намъ извѣстно, что вы у его царскаго величества много можете сдѣлать, то бьемъ вамъ челомъ, попросите государя, чтобы отпустилъ меня и господъ пословъ назадъ въ Данію съ такою-же честью, какъ и принялъ.

«Вы насъ обвиняете въ упрямствѣ, но постоянства нашего въ прямой вѣрѣ христіанской нельзя назвать упрямствомъ. Въ дѣлахъ, которыя относятся къ душевному спасенію, надобно больше слушаться Бога, чѣмъ людей. Мы хотимъ отдать на судъ христіанскихъ государей: можно-ли насъ назвать упрямымъ.

«Какъ видно, у васъ перемѣна вѣры считается дѣломъ маловажнымъ, когда вы требуете отъ меня этой перемѣны для удовольствія царскаго величества, но у насъ такое дѣло чрезвычайно великимъ почитается и такихъ людей, которые для временныхъ благъ и чести, для удовольствія людского вѣру перемѣняютъ, бездѣльниками и измѣнниками почитаютъ.

«Подумайте о томъ, если мы будемъ Богу своему не вѣрны, то какъ-же намъ быть вѣрнымъ царскому величеству? Намъ отъ отца нашего наказа нѣтъ, чтобы спорить о мірскомъ или о духовномъ дѣлѣ; царское величество насъ обнадежилъ, что намъ, нашимъ людямъ и слугамъ никакой неволи въ вѣрѣ не будетъ. Мы хотимъ вести себя передъ царскимъ величествомъ, какъ сынъ передъ отцомъ, хотимъ исполнять его волю во всемъ, что Богу не гнѣвно, нашему отцу не досадно, нашей совѣсти не противно и ничего такъ не желаемъ, какъ приведенія къ концу договора, но для этого не отступимъ отъ своей вѣры.

«Вы приказываете намъ съ вами соединиться и, если мы видимъ въ этомъ грѣхъ, то вы, смиренный патріархъ, со всѣмъ освященнымъ соборомъ, грѣхъ этотъ на себя возьмете. Отвѣчаемъ: всякій свои грѣхи самъ несетъ, если-же вы убѣждены, что по своему смиренію и святительству можете брать на себя чужіе грѣхи—сдѣлайте милость, возьмите на себя грѣхъ царевны Ирины Михайловны и позвольте ей вступить съ нами въ бракъ».

Какъ ни казалось разумно и убѣдительно это письмо,—ему не суждено было произвести никакого впечатлѣнія на патріарха и помочь дѣлу. Время шло, а датчане чувствовали себя плѣнниками и не знали, когда же, наконецъ, окончится ихъ неволя.

XXII.

Какъ-то, въ началѣ лѣта, послѣ скучнаго, однообразнаго дня, вышелъ королевичъ подъ вечеръ въ садъ.

Вечеръ былъ тихій и теплый, трава уже поднялась высоко, вербы стояли одѣтыя блѣдной, нѣжной листвою, отъ тополей далеко разносилось смолистое благоуханіе. Солнце давно зашло; на темносинемъ небѣ загорались звѣзды.

Королевичъ забрался въ самую глубь сада и бродилъ взадъ и впередъ по березовой аллеѣ, за которой шелъ высокій, бревенчатый заборъ.

Что такое тамъ, за этимъ заборомъ?—королевичъ не зналъ, да и мало интересовался. Въ мысляхъ его и въ сердцѣ было очень смутно, такъ что только юность да значительная беззаботность нрава заставляли примиряться съ невозможнымъ поло-

женіемъ, въ которомъ онъ теперь находился. Утомленный всѣми непріятностями, онъ просто отдавался ощущенію этого великолѣпнаго вечера и, самъ того не замѣчая, уже начиналъ грезить о царевнѣ-невидимкѣ, ради которой подвергался такимъ неслыханнымъ бѣдамъ.

Невольно онъ запѣлъ, и звуки нѣжной, любовной датской пѣсни огласили притихшій садъ.

Но вотъ пѣсня кончена; снова все тихо вокругъ королевича и только раздаются шаги его по влажному песку въ березовой аллеѣ.

Что это? какъ-будто кто позвалъ его, будто чей-то тихій, странный, нѣжный голосокъ произнесъ по-русски: «королевичъ!»

Онъ даже вздрогнулъ, остановился, прислушался. Вотъ опять: «королевичъ!»

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него мелькнуло что-то и, среди дымки вечера, онъ различаетъ небольшую, стройную женскую фигуру.

Онъ даже протеръ себѣ глаза, такъ явленіе это было странно, почти невозможно. Но нѣтъ, небольшая женская фигура къ нему приближается, вотъ она передъ нимъ. Онъ видитъ премиленькую дѣвушку, почти еще ребенка, съ быстрыми, живыми, любопытными и смѣлыми глазами.

— Королевичъ, ты меня понимаешь?—спрашиваетъ она.

Его сердце такъ и забилось, будто хочетъ выпрыгнуть изъ груди. Онъ такъ счастливъ, что можетъ ей отвѣтить: «понимаю». Онъ хочетъ спросить ее: кто она? откуда? Живое-ли она существо или призракъ? Но онъ молчитъ, глядитъ на нее во всѣ глаза, слушаетъ, а она ему шепчетъ:

— Я отъ царевны Ирины Михайловны, я служу ей... Вотъ уже пятый вечеръ я здѣсь, перелѣзаю черезъ заборъ и тебя поджидаю. Вчера я видѣла тебя издали, но съ тобой были люди и я притаилась, не смѣла идти. Насъ никто не слышитъ?

— Никто насъ не слышитъ, никто, прелестная дѣвица!—прерывающимся голосомъ, стараясь выговаривать русскія слова понятнѣе, яснѣе, отвѣчаетъ Вальдемаръ.

— Царевна приказала тебѣ кланяться,—шепчетъ Маша, и при этомъ такъ мило улыбается, такъ смѣло и плутовски глядитъ на королевича, что онъ едва удерживается, чтобы не обнять и не расцѣловать ее.

— Царевна приказала спросить о твоемъ здоровьѣ,—между тѣмъ продолжаетъ бѣсенокъ:—царевнѣ-бы хотѣлось повидаться съ тобою...

Онъ молчитъ, онъ до того изумленъ, такъ растерянъ, что ему кажется все это сномъ. Вотъ, вотъ онъ очнется, и нѣтъ передъ нимъ этого милаго призрака.

— Возможно-ли это?—проговорилъ онъ:—ты не обманываешь меня, дѣвица?

— Вотъ-те Христосъ, не обманываю! Говорю чистую правду.

Маша перекрестилась.

Приходится вѣрить невѣроятной дѣйствительности.

— Скажи царевнѣ, что я благодарю ее, кланяюсь ей, желаю ее видѣть. Для того, чтобы видѣть ее, готовъ на всякія опасности, готовъ умереть.

Маша въ восторгѣ. Вотъ это она понимаетъ—вѣдь, и она тоже не боится никакихъ опасностей, и она тоже готова умереть, лишь-бы только исполнить то, что задумано въ головѣ, что загорѣлось въ сердцѣ.

— Какъ-же. гдѣ увижу я царевну? — спрашиваетъ Вальдемаръ.

— Не знаю я, ничего еще не знаю, — отвѣчаетъ Маша, и все лукаво улыбается, все ласкаетъ его своими блестящими глазами.—Но я буду думать, мы придумаемъ, мы все устроимъ, мнѣ надо было только узнать, хочешь-ли ты... нѣтъ, я была увѣрена, что ты хочешь, но мнѣ надо было тебя видѣть, говорить съ тобою... теперь я все знаю... Я снесу твой поклонъ царевнѣ. Если бы ты зналъ, королевичъ, какая она красавица. царевна!

— Я знаю, — отвѣчалъ Вальдемаръ, безсознательно любуясь Машей, которая, въ эту минуту, для него какъ-то странно сливается съ царевной.

Неподалеку раздаются голоса, слышатся шаги.

— Прощай,—быстро и испуганно шепнула дѣвушка.

— Когда я тебя увижу?—спрашиваетъ королевичъ, кидаясь къ ней.

— Скоро!.. завтра...—разслышалъ онъ:—объ эту-же пору...

Мгновеніе, и нѣтъ никого. Какъ проворная бѣлка взобралась она на невысокій бревенчатый заборъ и исчезла по ту сторону

XXIII.

Это неожиданное приключеніе имѣло на Вальдемара огромное вліяніе, оно совершенно измѣнило всю внутреннюю жизнь его. Тоска и скука пропали безслѣдно. Онъ почти всю ночь не спалъ и грезилъ о своей невѣстѣ. Только этотъ невѣдомый чудный образъ то и дѣло сливался съ образомъ хорошенькаго бѣсенка, посланнаго царевной.

И бѣсенокъ, явившійся такъ фантастично, среди прозрачнаго сумрака лѣтняго вечера, представлялся, конечно, гораздо болѣе прелестнымъ и соблазнительнымъ, чѣмъ былъ въ дѣйствительности.

Вѣдь, съ самой Вильны королевичъ не видѣлъ ни одного молодого женскаго существа! Къ утру, еще и не помышляя измѣнять своей невѣстѣ и мечтая о ней, онъ все-же былъ ужъ совсѣмъ влюбленъ въ ея посланницу. Никому не проговорился онъ ни словомъ и съ сердечнымъ замираніемъ ждалъ вечера.

Если Вальдемаръ, навидавшійся на своемъ недолгомъ вѣку чего угодно, такъ волновался,—можно себѣ представить, въ какомъ состояніи была Маша, а еще болѣе того царевна.

Быть можетъ, кому-нибудь покажется просто невѣроятнымъ такое приключеніе въ теремѣ, среди семнадцатаго вѣка, а между тѣмъ, здѣсь разсказывается только самая невинная изъ теремныхъ исторій.

Стѣны московскихъ теремовъ, а царскаго въ особенности, если-бы кто поразспросилъ ихъ и умѣлъ ихъ слушать, могли разсказать не мало удивительныхъ исторій, доказывающихъ пылкость воображенія, хитрость, изворотливость и поразительную смѣлость теремныхъ затворницъ. Чего никогда и въ голову-бы не пришло женщинѣ, поставленной въ иныя условія жизни и не лишенной извѣстной свободы, то не только приходило въ голову, но и тотчасъ-же исполнялось, со всею силою женской страстности, русскими затворницами.

Требованія природы во всѣ вѣка—одни и тѣ-же, и если имъ не дается естественнаго простору—они находятъ себѣ самыя невидимыя лазейки и просачиваются черезъ нихъ съ энергіей и силой, по меньшей мѣрѣ, равной силѣ задерживающихъ препятствій.

Конечно, въ старомъ русскомъ теремѣ выростало достаточное количество женщинъ, неспособныхъ на борьбу и поэтому осужденныхъ безропотно подчиняться всѣмъ требованіямъ обычаевъ. Такія женщины, по большей части, жили день за днемъ, уходили въ узкіе матеріальные интересы. Если онѣ и страдали, то страданія ихъ были безсознательны, какъ страданія животныхъ, рожденныхъ и выросшихъ въ клѣткѣ, не знающихъ, что есть иная жизнь, что гдѣ-то, далеко, шумитъ дремучій лѣсъ со своимъ привольемъ, со своею вѣчной, манящей тайной.

Встрѣчались также иные характеры, иныя организаціи, въ которыхъ подчиненіе существовавшему складу жизни не было признакомъ безсилія и узкости умственнаго кругозора. Такія русскія женщины стараго времени глядѣли на свою трудную, малорадостную жизнь, какъ на подвигъ.

«Темна женская наша доля,—говорили онѣ въ отвѣтъ на ропотъ и слезы прибѣгавшихъ подъ ихъ защиту и за ихъ совѣтомъ:—не даромъ про долюшку эту жалобныя пѣсни сложены; а все-жъ таки не слѣдъ намъ роптать, гнѣвить Господа Бога! Все мы должны претерпѣть ради души спасенія. Счастье-то да

радости не здѣсь, а тамъ, гдѣ нѣтъ болѣзней и воздыханій. Да и здѣсь не все-жъ таки горе одно. Коли ты за мужемъ, будь ему вѣрной, покорной женою, душу свою за него положи да за дѣтушекъ, живи, дыши ими, и охъ, какъ дышаться-то легко тогда будетъ! Ну, а коли нѣту у тебя ни мужа, ни дѣтушекъ—живи для Бога, молись Ему, отдай себя дѣламъ добрымъ»...

Подъ вліяніемъ такихъ женщинъ, а ихъ было не мало, развивалось и крѣпло истинное благочестіе, глубокая и непреоборимая вѣра. Эта вѣра, со всѣми ея дарами, не только давала возможность жить, но и наполняла повидимому однообразную и темную жизнь богатымъ внутреннимъ содержаніемъ и свѣтомъ. Эта вѣра творила иной разъ чудеса, поднимала русскую женщину изъ ея приниженности и безотвѣтности; она-то охранила ее отъ вырожденія, пронесла «живою» сквозь вѣка испытаній и открыла ей широкую, плодотворную будущность.

И пока русская женщина крѣпка въ вѣрѣ, пока живетъ, чувствуя себя подъ отеческимъ Божіимъ окомъ и, не забывая о земныхъ своихъ задачахъ, въ лучшія минуты стремится къ небесной отчизнѣ,—она не погибнетъ, не выродится въ уродливое, болѣзненно-преступное созданіе, а расцвѣтая все краше и краше, будетъ играть видную и прекрасную роль въ исторіи человѣчества.

Однако, среди безсильныхъ, отупѣвшихъ существъ, способныхъ только на животныя проявленія, поскольку это имъ разрѣшалось, среди женщинъ, богатыхъ вѣрою, терпѣніемъ и сознательными семейными добродѣтелями всегда встрѣчались представительницы третьяго типа—живыя, страстныя и безпокойныя натуры.

Онѣ ужъ такъ рождались живыми, страстными и безпокойными: теремное воспитаніе не могло уничтожить ихъ природныхъ, врожденныхъ особенностей, клѣтка только портила ихъ, извращала ихъ инстинкты, зачастую превращала ихъ въ существъ хитрыхъ, лживыхъ, способныхъ на всякое тайное преступленіе ради достиженія своихъ цѣлей.

Русская дѣвица того времени, принадлежавшая къ этому третьему типу, едва придя въ возрастъ, являласъ живымъ протестомъ всему складу теремной жизни. Она не могла примириться со своей обособленностью, отчужденностью отъ мужского общества. Если-бъ ей дана была возможность вращаться среди мужчинъ—она, быть можетъ, удовлетворилась-бы этимъ, удовольствовалась-бы мужской оцѣнкой своей красоты и хранила-бы сердце до прихода истиннаго «суженаго», на всю жизнь Богомъ даннаго и добровольно, по собственному влеченію, ею избраннаго.

Но, вѣдь, она знала, что, выдавая ее замужъ, о влеченіи ее

не спросятъ. «Выдадутъ за немилаго, за постылаго!»—жалобно пѣла она въ минуты мечтаній.

Ей-же хотѣлось милаго, «дружка сердечнаго», и начала она стремиться къ нему, искать его всѣми мѣрами, всѣми хитростями, и выказывала при этомъ исканіи поразительное упорство, невѣроятную смѣлость. Препятствія только прибавляли ей силы и изворотливости. Начиная съ самыхъ идеальныхъ представленій, путая въ себѣ самыя чистыя чувства, она, послѣ перваго труднаго шага, послѣ перваго грѣха, грѣха по понятіямъ терема, начинала чувствовать себя преступницей, и говорила себѣ:

«Ну, пропадать такъ пропадать! Все равно не простятъ, коли узнаютъ. Значитъ, такъ тому и надо быть. За семь бѣдъ—одинъ отвѣтъ!.. По крайности потѣшу свою душеньку, чтобъ было что вспомнить, чтобъ было за что страдать, о чемъ лить рѣки слезныя!..»

При такомъ взглядѣ она ужъ не знала себѣ удержу, «тѣшила свою душеньку» и потомъ, когда все выходило наружу, часто «лила рѣки слезныя» въ тѣсной и сырой монастырской кельѣ. Точно такъ-же поступала, только, быть можетъ, съ еще большей смѣлостью отчаянья, и жена, которую выдали противъ воли за «постылаго». Главное-же, чѣмъ больше было препятствій, тѣмъ смѣлѣе становилась любовная драма.

А препятствій всего больше было, конечно, въ царскомъ теремѣ. Тамъ выростали, подъ тройной охраной, царевны. Для нихъ положеніе боярышень и дочерей купеческихъ представлялось чуть-ли не идеаломъ запретной свободы. Для нихъ все [illegible]казывалось недозволеннымъ. Наконецъ, и мужа, достойнаго ихъ, [illegible]ти было трудно, а потому, въ большинствѣ случаевъ, царевна готовилась къ вынужденно-одинокой жизни. Такимъ образомъ, немудрено, что нѣкоторыя царевны боролись со своей долей, со своей печальной судьбою не на животъ, а на смерть...

Шереметевъ, въ послѣднее свое свиданіе съ королевичемъ Вальдемаромъ, говорилъ ему, убѣждая его не сердить царя, принять православіе и не требовать отпуска:

«Быть можетъ, ты думаешь, что царевна Ирина Михайловна не хороша лицомъ? Такъ успокойся—будешь доволенъ ея красотою; также не думай, что царевна любитъ напиваться допьяна; она дѣвица умная и скромная, во всю жизнь свою ни разу не была пьяна!»

Но достоинства юной невѣсты далеко не исчерпывались этимъ характернымъ панегирикомъ. Быть можетъ, глядя на другихъ, она отъ скуки когда-нибудь и хлебнула-бы лишнее, только мама, княгиня Хованская, этого-бы ни за что не допустила, ибо сама была женщина непьющая и на сей счетъ весьма строгая.

Ирина имѣла характеръ ласковый, большую доброту сердца, всѣхъ она жалѣла, за всѣхъ готова была просить, всѣхъ прощать, всѣмъ отдавать все, чѣмъ сама владѣла.

Про нее прислужницы и ближнія боярышни говорили:

«Ужъ добра-же, добра наша царевна, не будь она царевной, не имѣй всего вдосталь да распоряжайся всѣмъ по своему изволенію, кажись, для бѣднаго человѣка послѣднюю сорочку-бы съ себя сняла, да такъ, нагишомъ, по улицѣ-бы и побѣжала!»

Онѣ подсмѣивались, эти ближнія боярышни и прислужницы, но въ ихъ подсмѣиваньи звучала невольная симпатія къ царевнѣ.

Такія добрыя дѣвушки бываютъ обыкновенно и сердцемъ нѣжны и горячи; любя всѣхъ, всѣхъ жалѣя, онѣ чувствуютъ влеченіе и къ любви страстной, полюбивъ, жертвуютъ всѣмъ для любимаго человѣка, дѣлаются сильны и смѣлы. Такія дѣвушки очень склонны къ мечтательности, воображеніе у нихъ богатое и пылкое, чувствительность ихъ возбуждается быстро, потрясаетъ ихъ сильно и переходъ отъ чувствительности къ часто безсознательной чувственности совершается незамѣтно, естественно, самъ собою.

А что какова женщина въ наше время, такова была она и во всѣ времена, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Время, нравы и обстоятельства имѣютъ, конечно, большое, но все-же, главнымъ образомъ, внѣшнее значеніе—внутреннія человѣческія свойства и проявленія ихъ остаются неизмѣнными на многовѣковомъ пространствѣ. Не будь этого—древніе памятники человѣческой жизни оставались-бы для насъ непонятными. Не будь этого, Шекспиръ, несмотря на всю свою геніальность, не могъ-бы создать такихъ лицъ, которыя и по сей день живы, которыхъ мы встрѣчаемъ и теперь, и узнаемъ, забывая всякія «анахронизмы».

Неизвѣстно, какъ-бы отнеслась царевна къ появленію въ Москвѣ королевича Вальдемара, до чего-бы дошла она своимъ умомъ, если-бы возлѣ нея не оказалось бѣсенка, Маши. Но бѣсенокъ былъ на лицо, тоже такой добрый, или вѣрнѣе, способный на всякое добро и зло бѣсенокъ, какой можетъ создаться во всякое время и во всякой обстановкѣ. Чего по воспитанію и положенію еще не хватало Иринѣ, смѣлой инціативы, того у Маши было столько, что хоть отбавляй.

Она сразу, еще до пріѣзда королевича, овладѣла царевной; теперь-же просто отождествилась съ нею, онѣ были одно существо...

Когда Маша вернулась со своей опасной прогулки и прошмыгнула въ теремъ, было уже поздно и она не могла увидѣться съ царевной. Пробраться въ ея опочивальню ей тоже не удалось. Настасья Максимовна, искавшая весь вечеръ бѣсенка и не до-

искавшаяся, поймала его, наконецъ, за ухо въ одномъ изъ корридорчиковъ. Не говоря худого слова, за ухо-же, свела она Машутку въ темный чуланъ, пихнула, заперла дверь чулана на ключъ и внушительно объявила:

— Тутъ и сиди до утра, полунощница! Другой разъ будешь пропадать невѣдомо гдѣ весь вечеръ... Чтобъ тебя крысы за ночь съѣли!

И ушла.

Маша, вся еще трепетная отъ смѣлости и удачи, вся еще полная впечатлѣній свиданія и бесѣды съ королевичемъ, упала въ темнотѣ на какой-то довольно мягкій узелъ, высунула языкъ и состроила такую гримасу, что Настасья Максимовна, кажется, убила-бы ее на мѣстѣ, если-бъ только могла вообразить себѣ нѣчто подобное, несомнѣнно относившееся къ ней самой и ни къ кому болѣе.

«Ну и что-жъ! — думала Маша: — и просижу до утра, и не съѣдятъ меня крысы, а завтра, хоть ты тутъ лопни, съ царевной переговорю, и все устрою, тутъ-же, у васъ подъ носомъ... а вы только глазами будете хлопать!..»

Она почесала и потерла себѣ разгорѣвшееся отъ неожиданной ласки Настасьи Максимовны ухо, свернулась калачикомъ на большомъ узлѣ, какъ истый котенокъ, и вдругъ сразу, тоже какъ котенокъ, заснула крѣпкимъ, сладкимъ сномъ—слѣдствіемъ юности, усталости и пережитыхъ за этотъ вечеръ волненій.

XXIV.

Строгая постельница сдержала свое слово, такъ и не выпустила провинившагося бѣсенка до утра изъ чулана. Да и утромъ, въ хлопотахъ, не сразу о немъ вспомнила.

— Машутка, Машутка!—звала она, выходя въ корридорчикъ и заглядывая направо и налѣво. — Опять пропала, анафемская дѣвчонка!..

Но тутъ Настасья Максимовна хлопнула себя по лбу:

— Матушки, да, вѣдь, никакъ я ее въ чуланъ заперла!

Пошла къ чулану, отперла дверь, впустила свѣту, и видитъ: спитъ Машутка на узлѣ, въ клубокъ свернувшись, спитъ и похрапываетъ.

Еле-еле растолкала ее Настасья Максимовна. Вотъ, наконецъ, вскочилъ на ноги бѣсенокъ, глаза кулаками протираетъ, потягивается и никакъ понять не можетъ, что это такое?

— Да ну тебя, вылѣзай, что-ли! Бѣги умываться-то!

А самой вдругъ съ чего-то жалко стало бѣсенка.

— Чай, проголодалась?.. Какъ умоешься-то да приберешься, иди ужъ ко мнѣ, тамъ у меня всего осталось...

Маша убѣжала, а Настасья Максимовна пошла въ свою свѣтелку, выложила на столъ пирогъ, краюху хлѣба, кувшинъ съ молокомъ, поставила и стала дожидаться. Когда Маша робко вошла, она велѣла ей сѣсть къ столу и съ видимымъ удовольствіемъ слѣдила за тѣмъ, какъ дѣвушка ѣстъ.

— Молока-то молока побольше пей, въ твои годы молоко на пользу большую, здорово оно, отъ него тѣло ростетъ и бѣлѣетъ... А молоко-то чудесное, коровушки ужъ вешней травки отвѣдали,—говорила постельница такимъ тономъ, будто это совсѣмъ и не она чуть не оторвала у Маши ухо, въ чуланѣ на узлѣ ночевать ее заставила и пожелала, чтобъ съѣли ее крысы.

Между тѣмъ Маша, отлично выспавшаяся и свѣжая, розовая отъ умыванья, быстро соображала всѣ выгоды своего положенія.

«Максимовна-то подобрѣла,—думала она:—видно, совѣсть въ ней заговорила... Ишь, вѣдь, меня улещаетъ, подчуетъ. Ну, и пусть! значитъ, ныньче по пятамъ за мною бѣгать не станетъ, а мнѣ только того и надо!..»

Она дѣлала умильную рожицу, наѣлась и напилась до отвалу, потомъ встала изъ-за стола, утерла себѣ ротъ рукою и низко поклонилась Настасьѣ Максимовнѣ.

— Ну, сыта? Богу-то,. Богу помолилась? гдѣ ужъ, чай, да и времени не было... такъ ты хоть теперь...

Маша послушно подошла къ кіоту съ образами, стала креститься и класть земные поклоны. Трудно сказать, была-ли она въ молитвенномъ настроеніи, но поклоны ея и продолжительность молитвы произвели на Настасью Максимовну хорошее впечатлѣніе. Она глядѣла на Машу съ удовольствіемъ и при этомъ безсознательно любовалась ея граціозной, стройной фигуркой.

Наконецъ, дѣвушка кончила молитву, подняла свои хорошенькіе глаза, въ которыхъ теперь выражалась кротость, на Настасью Максимовну и тихо сказала:

— Царевна велѣла мнѣ быть у нея пораньше... Никакъ я ужъ и опоздала... браниться она будетъ.

— Это царевна-то, браниться? Хорошо-бы оно было, если-бъ она тебя хоть разокъ побранила! Да нешто она браниться умѣетъ? Потакать тебѣ да баловать тебя, это ея дѣло... Ужъ иди, не мнись, ужъ иди себѣ, коли тебѣ точно отъ царевны приказано!

Маша не заставила себѣ повторять этого и мигомъ очутилась у двери царевнинаго покоя.

Вотъ сейчасъ, сейчасъ, все она разскажетъ царевнѣ! То-то обрадуетъ!

Вошла, и сразу остыла, опустила глаза и затаила дыханіе:

рядомъ съ царевной сидѣла княгиня Хованская и вышивала въ царевниныхъ пяльцахъ.

«Вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день!—подумала Маша.— Кикимора разсѣлась, того и жди надолго; вѣдь, это оналюбитъ... отъ пялецъ-то ее и не оторвешь!..»

Маша низко поклонилась, подошла къ рукѣ царевны, а потомъ и княгини-мамы, которая, вся погрузясь въ свою работу, не обратила на нее особаго вниманія.

— Ты за урокомъ?—спросила, вся вспыхнувъ, царевна, а глаза ея, устремленныя на Машу, говорили совсѣмъ другое:

«Гдѣ ты пропадала? отчего вчера тебя вечеромъ не было? отчего не пробралась ночью? да и теперь почему пришла такъ поздно? что случилось? не удалось, видно?!. Я весь вечеръ, всю ночь, все утро промучилась, тебя дожидалась!»—говорили глаза царевны.

— За урокомъ, царевна, по твоему приказу,—отвѣтила Маша почтительнымъ шопотомъ, стала за спиной княгини и, почувствовавъ себя въ безопасности совсѣмъ преобразилась.

Она кивнула головою, сдѣлала счастливое, восторженное лицо, потомъ схватила себя за ухо.

Царевна отлично поняла:

«Все благополучно... самыя чудныя вѣсти... не была до сихъ поръ, потому что Максимовна задержала и опять пришлось пострадать уху».

Царевна такъ вся и просіяла, забывъ даже пожалѣть о бѣдномъ вѣчномъ страдальцѣ, объ ухѣ своей подруги.

Она бросила мгновенный взглядъ на княгиню и едва замѣтно передернула плечомъ:

«Видишь, сидитъ, пожалуй, уйдетъ не скоро! Вотъ наказанье-то»!..

«Кикимора!»—совершенно ясно проговорили глаза бѣсенка.

Минуты съ двѣ продолжалось молчаніе. Княгиня прилежно, не поднимая головы, вышивала, искусно нанизывая на шелкъ блестящія бисеринки.

Вдругъ Маша, вздрогнувъ, бросила торжествующій взглядъ на царевну. Вздохнула она разъ, вздохнула еще глубже, еще слышнѣе другой.

— Чего это ты вздыхаешь?—спросила царевна.

— Королька жалко!—съ новымъ вздохомъ печально выговорила Маша.

Княгиня оторвалась отъ работы, обернулась, взглянула на дѣвушку и быстро спросила:

— Что Королекъ? Про что ты говоришь?

Дѣло въ томъ, что Королекъ былъ любимый царицынъ попу-

гай, котораго выучили, каждый разъ какъ царица проходила мимо клѣтки, кричать: «здравствуй, матушка-царица, ты царица, а я заморская птица!»

— Да какъ-же не пожалѣть-то его, княгинушка?! — печальнымъ голосомъ, чуть что не со слезами на глазахъ стала объяснять Маша:—вѣдь, даромъ, что онъ—птица, а все-жъ-таки у него чувства есть и ему очень больно...

— Что больно? Говори толкомъ! — совсѣмъ встревожилась княгиня.

— Иду я и вижу,—продолжала Маша:—вижу я, дурка-арапка подобралась къ клѣткѣ, отворила дверцу, руку просунула и выщипываетъ у него перушки, а Королекъ-то кричитъ не своимъ голосомъ: «больно, ой, матушки, больно!

— Да ты не врешь?..

Маша сдѣлала недоумѣвающее, изумленное лицо.

— Съ чего-жъ это я врать стану! Нешто врать можно!

— Ну, ужъ я-жъ эту арапку! ужъ я-жъ ее! не впервой замѣчаю, что она все что-то съ Королькомъ возится... Не дай Богъ, замучаетъ его, захирѣетъ онъ, что тогда царица-то скажетъ! Вотъ такъ народецъ... Отвернись только, и того и жди всякой напасти!

Княгиня, говоря это, поднялась съ мѣста и быстро вышла изъ покоя.

Маша крѣпче приперла за нею дверь и засмѣялась, кидаясь къ царевнѣ.

— А у Королька-то перушки всѣ цѣле-е-хоньки!.. а арапкѣ-то задаромъ доста-а-нется!—съ блаженнымъ выраженіемъ въ лицѣ протянула она.

— Зачѣмъ-же ты это, Машуня?!—упрекнула царевна:—нешто тебѣ не жаль арапку?!..

— А то что-жъ, жалѣть мнѣ ее что-ли! Благо она на языкъ мнѣ подвернулась, пусть и отдувается! Я ей пряничка, леденчика за это дамъ, смерть она до сладкаго охотница, кабы не она, вѣкъ-бы намъ княгиню-то не выжить...

Царевна потеряла всякую жалость къ дуркѣ-арапкѣ и съ шибко забившимся сердцемъ, почти беззвучно спросила Машу:

— Съ чѣмъ-же ты? говори скорѣе! неужто вчера удалось тебѣ?

— Удалось, удалось, моя золотая царевна, все удалось, какъ по писанному! — кипѣла и трепетала отъ восторга Маша. — Наконецъ-то, вчера вечеромъ видѣла я королевича..

— Охъ! — даже тихонько простонала Ирина, схватываясь рукой за сердце.

— Да и не только видѣла, а и бесѣду съ нимъ вела.

Что ты? Не вѣрю я... да и какъ-же ты съ нимъ могла бе-

сѣду вести, вѣдь, онъ нѣмецъ... по нашему, сказывали, не понимаетъ...

— Анъ и соврали люди! Какъ еще понимаетъ-то... какъ еще говоритъ-то!.. Получше Королька говоритъ, иногда только слово какое у него не выговорится, а все понять можно...

— Ну...

— Красавецъ онъ какой!..

Маша зажмурила глаза и развела руками.

— Да не томи ты меня, Машуня, и, Бога ради, не ври, говори все какъ было, ничего не пропусти, только и не прибавляй ничего! — шептала Ирина, крѣпко сжимая Машины руки и впиваясь ей въ глаза затуманившимся, влюбленнымъ взглядомъ.

Маша стала передавать быстрымъ пошептомъ все, что было съ нею, изо всѣхъ силъ стараясь ничего отъ себя не прибавить и не пропустить никакой подробности.

Ирина то вспыхивала, то вся холодѣла.

— Какъ-же намъ быть теперь? Что-жъ ты ему нынче вечеромъ скажешь?—наконецъ, проговорила она, умоляюще глядя на разгорѣвшагося бѣсенка и съ замираніемъ сердца ожидая его вдохновенія.

— А скажу я ему, что если я могла вырваться изъ-подъ надзора Максимовны, да и не разъ вырваться, а каждый вечеръ вырываться, такъ онъ и подавно, королевичъ-то, можетъ добраться до забора нашего садочка, а ужъ тамъ будетъ мое дѣло, дорогу я ему укажу, чай лазить-то онъ не плоше моего мастеръ!—объявила Маша.

— Что ты! что ты! А забыла, вѣдь, вокругъ ихъ двора нѣмецкаго стража понаставлена, чтобы не сбѣжалъ королевичъ!— въ ужасѣ прошептала Ирина.

— Кабы стражи не было, кабы могъ онъ среди бѣла дня, въ колымагѣ золоченой къ намъ подъѣхать, такъ и толковать намъ было-бы не о чемъ!—засмѣялся бѣсенокъ.—Вѣдь, вотъ онъ говоритъ: умереть, молъ, готовъ за царевну, только чтобъ повидать ее... ну, такъ чего-жъ тутъ!.. Да и совсѣмъ дѣло простое: откуда я у нихъ черезъ заборъ перелѣзаю, оттуда и онъ вылѣзетъ, какой дорогой я домой возвращаюсь, такою дорогой и онъ пойдетъ...

— Матушки!—вдругъ вскрикнула она:—что такое я придумала-то! И какъ это до сей минуты не догадалась?

— Что еще такое?—такъ и впилась въ нее глазами царевна.

— А то, что въ садочкѣ опасливо, да и невѣдомо еще какова погода стоять будетъ... Лучше я вотъ что: я его бабой одѣну, да въ тотъ чуланъ проведу, гдѣ ночевала нынче... отъ чулана-то и выходъ въ двухъ шагахъ... и никого тамъ не бываетъ... на что-жъ лучше!.. Вотъ и придумала!

Но Ирина поблѣднѣла.

— Нѣтъ, нѣтъ... Боже сохрани! Какъ такое можно... его... сюда! Машуня, ты съ ума сошла... Вѣдь, ежели накроютъ... смерть и ему, и мнѣ, и тебѣ...

— А ты нешто боишься смерти?—весело спрашивала Маша.— По мнѣ, вотъ, такъ все равно: умирать такъ умирать... да и какая тутъ смерть?.. Жутко вотъ... а все-же... тѣмъ-то и хорошо, что жутко!..

Въ концѣ-концовъ она добилась своего, получила согласіе царевны и, когда солнце зашло, когда стало понемногу смеркаться, съ большимъ узломъ въ рукахъ ускользнула изъ терема.

Точно такъ же, какъ и вчера, тихій и ясный вечеръ. Какъ и вчера королевичъ бродитъ одинъ по березовой аллеѣ. Вотъ чуткимъ ухомъ слышитъ онъ шорохъ. Онъ спѣшитъ къ забору. Вдругъ, къ самымъ ногамъ его, падаетъ узелъ. Въ недоумѣніи онъ отскочилъ, потомъ взглянулъ наверхъ и увидѣлъ надъ заборомъ улыбающееся хорошенькое лицо царевниной посланницы. Мигъ—она ловкимъ, быстрымъ движеніемъ спрыгнула съ забора. Еще мигъ—и она очутилась въ его объятіяхъ, и онъ жадно цѣловалъ ее, самъ не понимая что дѣлаетъ.

Наконецъ, она тихонько высвободилась и лукаво глядѣла на него, качая головою.

— Ахъ, королевичъ!—проговорила она улыбаясь:—ты вѣрно принялъ меня за царевну, а я и всего-то бѣдная дѣвчонка-сиротка... и мнѣ каждый день дерутъ уши...

Онъ пришелъ въ себя, но все-же глядѣлъ на Машу нераскаяннымъ грѣшникомъ.

— Это что?—спросилъ онъ, указывая на узелъ.

Дѣвушка проворно развязала узелъ и стала вынимать изъ него принадлежности женской одежды.

Королевичъ глядѣлъ съ изумленіемъ.

— Одѣвайся!—повелительнымъ тономъ произнесла Маша.

Королевичъ сразу все понялъ и, не говоря ни слова, не теряя ни одной секунды, сталъ исполнять ея приказаніе.

Она ему помогала и тихонько смѣялась.

XXV.

Невидимки-бѣсенята, любители всякихъ смѣлыхъ шалостей и полуневинныхъ шутокъ, умѣющіе ловко отводить глаза людямъ и дурачить ихъ всякимъ манеромъ, очевидно добросовѣстно помогали своей пріятельницѣ и родственницѣ, Машѣ.

Какъ задумала она, такъ все и вышло по писаному. Впро-

чемъ, вѣдь, подобныя продѣлки, иной разъ, и безъ помощи бѣсенятъ съ рукъ сходятъ.

Не прошло и пяти минутъ, а королевичъ уже превратился въ весьма изрядную дѣвицу.

На немъ оказалась длинная до пятъ и широкая сорочка изъ набивной индійской ткани и съ такой невѣроятной длины рукавами, что онъ, сбирая ихъ вверхъ, думалъ, что и конца имъ не будетъ.

Поверхъ сорочки Маша надѣла на него тѣлогрѣю, а висящіе рукава ея она связала назади за спиною въ перекладку другъ на друга.

Потомъ она нагнула ему голову и надѣла ему «столбунецъ»— высокую цилиндрической формы шапочку съ прямой тульею, а поверхъ нея набросила покрывало.

Этимъ нарядъ былъ оконченъ.

Вальдемаръ окуталъ себѣ лицо фатою, перелѣзъ вслѣдъ за Машей черезъ заборъ, хотя это и оказалось не особенно удобнымъ въ новомъ, непривычномъ для него, нарядѣ.

Онъ оглядѣлся и увидѣлъ въ полу-сумракѣ вечера, что они находятся среди пустыря. Однако, въ недалекомъ разстояніи, начинались жилища.

— Ты не бойся, королевичъ,—запыхавшись, едва переводя дыханіе, вся дрожа отъ волненія и восторга, поясняла Маша:— я тутъ, по этой дорогѣ, каждый камушекъ, каждую песчинку знаю, проведу тебя все задворками, все задворками, никому мы на глаза не попадемся...

Вальдемаръ ее понялъ и засмѣялся.

— Я не боюсь, веди меня,—сказалъ онъ.

И дѣйствительно, никакого признака робости и смущенія въ немъ не было. Съ этимъ нежданнымъ милымъ путеводителемъ онъ готовъ былъ бѣжать хоть въ преисподнюю.

Ему только непріятно было сознавать себя въ женскомъ нарядѣ, въ своемъ обычномъ видѣ, съ оружіемъ въ рукахъ, онъ чувствовалъ-бы себя еще гораздо свободнѣе и смѣлѣе. Но онъ, конечно, понималъ, что обстоятельства требовали превращенія его въ московитку, и весело покорился этимъ обстоятельствамъ.

Черезъ пустыри и по задворкамъ, съ каждымъ шагомъ приближавшимъ ихъ къ царскому терему, мчалась легкая небольшая фигурка Маши и за нею едва поспѣвала черезчуръ высокая въ женскомъ платьѣ фигура королевича. Только разъ на пути, изъ-подъ какой-то подворотни, кинулась было на нихъ собака, но грубый мужской голосъ позвалъ ее, и собака съ рычаніемъ влѣзла обратно въ подворотню.

Вотъ они передъ заборомъ. Заборъ этотъ довольно высокъ. Маша обернулась и шепнула:

— Смотри! Куда я—туда и ты!—и какъ бѣлка начала карабкаться по толстымъ, выступавшимъ бревнамъ.

Королевичъ не отставалъ отъ нея и тоже быстро карабкался, приподнимая платье, стараясь не разорвать его.

Перелѣзли черезъ заборъ, прислушались и спрыгнули на землю.

Они снова въ саду, въ густомъ, совсѣмъ заросшемъ саду.

Вдоль забора, по узкой тропинкѣ, на каждомъ шагу останавливаясь, повела королевича Маша.

Между тѣмъ почти уже совсѣмъ стемнѣло.

Передъ ними высокая стѣна; изъ маленькихъ окошекъ мелькаютъ огоньки.

— Это и есть нашъ теремъ,—шепчетъ Маша:—постой, не шевелись, жди меня. Я пройду одна сначала, посмотрю, все-ли тихо, чтобы кому на глаза не попасться.

Она исчезла.

Онъ стоялъ не шевелясь, затаивъ дыханіе. Наконецъ, усталъ такъ стоять. Ему казалось, что прошло уже очень много времени, а Маша все не возвращается.

«Ну, что коли она и не вернется? Можетъ быть, она насмѣялась надо мною, эта хорошенькая дѣвочка? — вдругъ подумалъ онъ.—Можетъ быть, это ловушка! Вотъ я здѣсь стою, придутъ люди, схватятъ меня... ну, такъ что-жъ!..»

Онъ ощупалъ подъ широкими складками своего женскаго платья кинжалъ, и совершенно успокоился. Онъ рѣшилъ ждать до глубокой ночи, а затѣмъ, передъ разсвѣтомъ, если дѣвушка не придетъ, онъ перелѣзетъ черезъ заборъ, сброситъ съ себя платье, и уже въ своемъ обычномъ видѣ вернется.

Дорогу онъ хорошо запомнилъ, вообще на мѣста у него была всегда отличная память.

Однако, только отъ нетерпѣнія и волненія ему казалось, что много прошло времени, прошло всего съ полчаса, не больше. Онъ услышалъ, наконецъ, возлѣ себя шорохъ, разслышалъ шопотъ Маши. Она объясняла ему что-то, но такъ тихо, такъ быстро, что онъ не понималъ ее.

Она объясняла, что вошла въ теремъ благополучно, нашла дверь отпертою, да только тутъ-же сейчасъ и повстрѣчалась съ постельницей, которая шла запереть дверь на ночь.

Надо было отвести глаза этой постельницѣ, такъ заговорить ее, чтобы она оставила ключъ въ двери, а не унесла съ собою, и это удалось Машѣ.

Тогда нужно было выждать, чтобы всѣ кругомъ угомонились, чтобы всѣ ушли подальше, и вотъ теперь можно идти безъ опасенія кого-либо встрѣтить.

Маша въ темнотѣ взяла королевича за руку, и они безшумно двинулись впередъ. Маша нащупала низенькую дверь и тихонько отворила ее. Она еще днемъ, улучивъ удобную минуту, хорошенько смазала дверныя петли, чтобы не скрипѣли.

Они вошли. На королевича пахнуло тепломъ жилого помѣщенія. Совсѣмъ темно. Онъ подвигается впередъ неслышно, шагъ за шагомъ. Маша крѣпко держитъ его за руку своей маленькой, горячей рукой.

— Стой!—шепчетъ она.

Онъ остановился.

Маша опять отворила какую-то дверцу и шепнула:

— Наклонись! Лѣзь впередъ!

Но онъ вдругъ такъ растерялся, что сразу ее не понялъ. Тогда она сама наклонила его и куда-то впихнула, заперевъ за нимъ дверь.

— Когда увидишь въ щелку свѣтъ, пріотвори тихонько дверь, смотри и жди!—разслышалъ онъ тихій шопотъ.

XXVI.

Онъ въ полной тишинѣ и темнотѣ. Опять ему стало казаться, что проходитъ черезчуръ много времени, а онъ ничего не видитъ и не слышитъ.

Но вотъ среди этой кромѣшной темноты мелькнула тоненькая полоса свѣта. Да, онъ ясно различаетъ свѣтъ сквозь неплотно притворенную дверцу.

Онъ несовсѣмъ ясно понялъ то, что сказала ему Маша, но инстинктивно приблизилъ лицо къ дверной щели. Онъ увидѣлъ за низенькой дверцей того темнаго, тѣснаго помѣщенія, гдѣ онъ находился, невысокій, длинный корридоръ. Изъ глубины этого корридора медленно движется, съ лампадкой въ рукѣ, какая-то фигура. Онъ вглядывается и узнаетъ Машу.

Она осторожно, поставивъ лампадку на низенькое оконшечко, въ двухъ шагахъ отъ дверцы, и шепнувъ: «жди, не шевелись», неслышно, какъ призракъ, удалилась.

Прошло нѣсколько мгновеній, все тихо. Вотъ шаги, на этотъ разъ тяжелые, громкіе шаги.

«Царевна!»—подумалъ Вальдемаръ, и сердце у него шибко забилось. Онъ такъ и впился глазами въ приближавшуюся фигуру. Вотъ ужъ ясно можетъ онъ различить ее. Онъ пріотворилъ дверцу и видитъ: передъ нимъ плотная, среднихъ лѣтъ женщина, въ тепломъ, ваточномъ шугаѣ.

Онъ не зналъ, что и подумать. Ему, конечно, не могло придти

на мысль, что это царевна. Онъ замеръ и ждалъ, что будетъ, а было вотъ что.

Полная, пожилая женщина, дойдя до чулана и видя дверцу не плотно запертою, взялась за нее съ очевиднымъ намѣреніемъ отворить и заглянуть въ чуланъ. Огонекъ лампадки хоть и не очень ярко свѣтилъ, но все-же достаточно для того, чтобы женщина эта сразу увидала Вальдемара.

Онъ мгновенно сообразилъ всю опасность своего положенія, крѣпко ухватился за ручку двери и прихлопнулъ ее къ себѣ. Въ это время, отъ движенія его, сзади что-то съ шумомъ упало на полъ, что-то очень тяжелое.

Пожилая женщина взвизгнула не своимъ голосомъ и пустилась назадъ по корридору.

Опять все стихло. Онъ осторожно пріотворилъ дверцу и рѣшалъ, что-же теперь лучше: остаться или уйти? Очевидно перепуганная женщина разскажетъ, что кто-то забрался въ чуланъ и его увидятъ, но если идти, куда? Въ совершенныхъ потемкахъ проведенный Машей до чулана, онъ сразу теперь не могъ сообразить даже, въ какой сторонѣ былъ выходъ. Однако, вѣроятно, онъ все-же кончилъ-бы тѣмъ, что сталъ-бы искать этого выхода, если-бы снова, вдали по коррідору, не услышалъ шаговъ. Онъ остался за полу-пріотворенной дверцей и видитъ: къ нему приближаются двѣ фигуры. Одна изъ нихъ Маша, а за ней... Онъ глядитъ во всѣ глаза и, при блѣдномъ освѣщеніи лампадки, передъ нимъ все яснѣетъ и яснѣетъ чудный образъ. Это она, царевна!

Разомъ забылось все. Пусть теперь приходитъ кто угодно, онъ ничего не помнитъ, не сознаетъ, онъ видитъ только ту, которая давно уже грезилась ему въ юныхъ горячихъ мечтаніяхъ, для которой онъ пріѣхалъ сюда, оставивъ далеко за собою все, чѣмъ жилъ до сего времени, ради которой выноситъ теперь столько непріятностей, томленій...

Она еще его не видитъ. Она, вся трепещущая, остановилась, бросивъ умоляющій, почти отчаянный взглядъ на Машу, а та ее ободряетъ отвѣтнымъ взглядомъ.

Въ одинъ легкій прыжокъ, бѣсенокъ у дверцы чулана и шепчетъ:

— Выходи, королевичъ!

Маша сама вывела его за руку и подвела къ неподвижной, будто окаменѣвшей царевнѣ. Потомъ она взяла лампадку съ окошечка и освѣтила ею ихъ лица.

Ихъ взгляды встрѣтились, они разглядѣли другъ друга, и обоимъ имъ показалось, что всѣ ихъ грезы—ничто въ сравненіи съ дѣйствительностью. Оба они поняли, что принадлежатъ другъ другу.

— Теперь не надо свѣта!—шепнула Маша и затушила лампадку.

Они въ темнотѣ, въ объятіяхъ другъ у друга. Темнота придаетъ смѣлости, она отняла у нихъ разсудокъ и всякое соображеніе, все исчезло, уничтожилось безслѣдно, не было ни прошлаго, ни будущаго, была только настоящая минута, чудная, блаженная, и эта минута будто остановилась, будто медлила и шептала имъ:

«Пользуйтесь мною!.. я готова долгіе, долгіе годы, цѣлую вѣчность, стоять надъ вами, охраняя васъ моими благоуханными крыльями, но я не властна въ этомъ. Я промчусь, и уже никогда не вернусь болѣе... пользуйтесь мною!»

И они цѣловали другъ друга долгими, беззвучными, безумными поцѣлуями, и конца-бы не было этимъ ненасытнымъ поцѣлуямъ, если-бы голосъ Маши не вернулъ ихъ къ дѣйствительности.

— Ахти намъ! Никакъ идетъ кто-то!—испуганно прошептала она, нащупала руку королевича, схватила ее, изо всѣхъ силъ оттащила его отъ царевны и увлекла за собою.

— Можешь одинъ выбраться?—спрашивала она.

Рѣзкая струя свѣжаго ночного воздуха пахнула на его горѣвшее лицо.

— Можешь одинъ вернуться?—тревожно повторила Маша.

Онъ сообразилъ, понялъ.

— Могу,—сказалъ онъ.

Она заперла за нимъ дверь, щелкнувъ въ темнотѣ ключомъ, помчалась по корридору.

Вотъ она почувствовала возлѣ себя царевну, охватила ее за талію, и онѣ побѣжали.

Онѣ свернули направо, поднялись по лѣсенкѣ и въ то время, какъ уже были въ безопасности, на верху лѣсенки, увидѣли, какъ внизу, по направленію къ чулану, идутъ съ фонарями. Вотъ прошли мимо, и кто-же?.. сама Настасья Максимовна, а за нею нѣсколько служанокъ.

Но на верху темной лѣсенки ихъ, по счастью, никто не замѣтилъ. Онѣ безъ всякихъ препятствій добрались до опочивальни царевны.

XXVII.

Разноцвѣтныя зажженныя у кіотовъ лампадки, мигая своими огоньками, придавали совсѣмъ фантастическій видъ тѣснымъ и низенькимъ теремнымъ покойчикамъ. Только то тамъ, то здѣсь, изъ-за высоко взбитыхъ перинъ широкихъ кроватей слышался

храпъ нѣкоторыхъ болѣе или менѣе высокопоставленныхъ особъ царевнинаго штата, обязанныхъ охранять ея опочивальню и въ ночное время находиться неподалеку отъ нея.

Но ни одна изъ этихъ мамушекъ и нянюшекъ и не пошевелилась; дѣло было праздничное, со всякими угощеньями, между которыми первую роль играли, хоть и сладкіе, но все-же сильно хмельные напитки.

Вѣдь, не даромъ Шереметевъ увѣрялъ королевича Вальдемара, что его невѣста ни разу въ жизни не была пьяна!

Она-то пьяна не была, а вокругъ нея пили изрядно, только дѣлали это съ разсужденіемъ, обдуманно, наровили напиться къ самому вечеру, напиться, да и залечь на мягкія и высокія перины.

Спали, послѣ царскихъ медовъ и всякихъ брашенъ, сладко и крѣпко, спали всю ночь напролетъ, пріятные сны видѣли, а къ утру просыпались какъ встрепанные.

Это пристрастіе теремныхъ затворницъ къ хмельнымъ напиткамъ, конечно, прежде всего объяснялось скукой и монотонностью ихъ жизни и въ нихъ находило себѣ оправданіе.

Избѣгали такого порока весьма немногія, такъ, напримѣръ, старшая мама царевны, княгиня Хованская, не брала въ ротъ хмельного. Но у нея была своя опочивальня.

Никто никогда не видалъ навеселѣ и постельницу Настасью Максимовну, имѣвшую обычай по вечерамъ, когда всѣ трезвые и хмельные залягутъ спать, обходить дозоромъ теремъ.

Она и на этотъ разъ поступила по обычаю. Но съ ней случилось обстоятельство, перепугавшее ее чуть не до смерти.

Придя въ себя съ перепугу, она рѣшилась вернуться и осмотрѣть чуланъ, гдѣ происходитъ что-то неладное, но одной идти было боязно, и вотъ она разбудила всѣхъ служанокъ, какихъ только могла добудиться...

— Ну, царевна, прощай пока, я еще вернусь, а теперь надо скорѣй на свою кровать,—шепнула Маша Иринѣ:—авось, поспѣю во время. Вѣдь, Максимовна-то не спитъ, бродитъ, да и не одна, почуяла, видно... непремѣнно ко мнѣ навѣдается. Какъ она ляжетъ-заснетъ, среди ночи опять проберусь къ тебѣ, спать-то мнѣ нынче совсѣмъ что-то не хочется...

Маша исчезла изъ опочивальни.

Бѣсенята, ея приспѣшники, подхватили ее, понесли быстро и неслышно мимо всѣхъ этихъ кроватей, съ которыхъ раздавался храпъ, донесли во время до уголка, гдѣ стояла ея небольшая, уже давно ставшая ей короткой кроватка. Она быстро, вѣроятно, опять-таки съ помощью тѣхъ-же бѣсенятъ, раздѣлась и юркнула подъ мягкое стеганое, сшитое изъ разноцвѣтныхъ кусочковъ, одѣяло.

Едва успѣла она это сдѣлать, какъ чуткое ухо ея разслышало чье-то приближеніе. Вотъ пріотворилась и дверь, и въ нее заглянуло, озаренное фонаремъ, недовольное, почти свирѣпое лицо Настасьи Максимовны.

Маша захрапѣла что было силы.

— Нѣтъ, тутъ она, дрыхнетъ,—сказала Настасья Максимовна кому-то.

Маша захрапѣла еще сильнѣе и потомъ простонала.

— Батюшки! да никакъ ее домовой душитъ! Ишь, вѣдь! Ишь!

Настасья Максимовна вошла, поставила фонарь на столикъ и стала будить дѣвушку. Та едва удерживалась отъ душившаго ее смѣха.

— Ишь, вѣдь! Да проснись ты, проснись!

Маша вскочила, открыла глаза и безумно глядѣла на Настасью Максимовну.

— Что ты, Господь съ тобою, чего ты храпишь да стонешь?

Маша стала дрожать всѣмъ тѣломъ и стучать зубами.

— Настасья Максимовна, ты это? Ахъ, что было-то со мною! Сплю это я, и вдругъ... будто упало что на меня, да огромное, да тяжелое, давитъ, душитъ...

— Ну, такъ и есть! такъ и есть!—шептала Настасья Максимовна, и заботливо перекрестила Машу.—Ничего теперь не будетъ, перекрестись, прочти «да воскреснетъ Богъ» и уйдетъ оно, не посмѣетъ вернуться. Такъ ты давно заснула?

— Давно, Настасья Максимовна, еще не совсѣмъ смерклось, какъ сонъ меня сталъ клонить, я и заснула.

— А въ корридорѣ ты не была?

— Въ какомъ?

— Ну, а тамъ, гдѣ вчера-то я тебя поймала; не ты забралась въ чуланъ да меня не пустила?

«Батюшки, да, вѣдь, это она на него наткнулась... до насъ еще! Вотъ грозу-то пронесло!»—чуть громко не крикнула Маша.

Сознаніе огромной, но миновавшей опасности наполняло ее необыкновенной радостью и весельемъ.

— Богъ съ тобою, Настасья Максимовна!—сказала она.—Какъ-же это мнѣ быть въ чуланѣ, когда я здѣсь... да и былаже охота! Али думаешь ты, что тамъ, на узлахъ-то, спать больно пріятно? Довольно и одной ночи второй такой не захочется...

Настасья Максимовна ничего не сказала, еще разъ перекрестила Машу, взяла свой фонарь и ушла, притворивъ дверь.

— Однако, что-же такое у насъ творится?—говорила она дожидавшимся ее служанкамъ.—Воля ваша, дѣло не ладно! Вѣдь, я, слава Богу, въ своемъ умѣ, вѣдь, я-же знаю, что въ чуланѣ былъ человѣкъ, да и человѣкъ сильный, можетъ, мужчина. Я-то

за дверь, а онъ какъ дернетъ къ себѣ изо всей мочи... а тамъ застучало...

— Да ужъ что толковать,—возразила одна изъ служанокъ:— домовой это шалитъ, некому другому. Сама знаешь, матушка, какъ тутъ мужчинѣ забраться, дверь-то, вѣдь, на запорѣ.

— Да, хорошо на запорѣ... — протянула Настасья Максимовна:—а ключъ гдѣ? Ключъ въ двери!

— Да дверь-то, вѣдь, заперта?

— Такъ это ты говоришь, что заперта. Маху я дала, сама не осмотрѣла.

— Что-жъ это, матушка, сама я что-ли заперла?—обиженно сказала служанка.

— А это тебѣ знать! Можетъ, и заперла, и отперла, какъ тутъ на васъ положиться!—ворчала постельница.—Идемъ опять. Въ садъ выйти надо, можетъ, слѣдъ тамъ есть. Такъ дѣло никоимъ образомъ невозможно оставить.

Настасья Максимовна, въ сопровожденіи служанокъ съ фонарями, пустилась въ обратный путь, и по теремнымъ переходамъ и корридорамъ добралась до двери, черезъ которую Маша провела королевича въ теремъ.

Теперь Настасья Максимовна вынула изъ своего кармана ключъ, сама отперла дверь и спустилась въ садъ. По ея приказанію служанки, опустивъ фонари къ самой землѣ, искали слѣдовъ, но слѣдовъ на влажномъ пескѣ было много.

— Стой!—вдругъ остановила ихъ Настасья Максимовна, присѣдая на корточкахъ къ самой землѣ и ставя передъ собою фонарь.—Ишь, такъ и есть! Это чей слѣдъ? Нѣтъ, это не женскій слѣдъ, смотрите всѣ, смотрите!

Всѣ, въ одинъ голосъ, должны были признать слѣдъ не женскимъ, а мужскимъ, и несомнѣнно свѣжимъ, только-что отпечатлѣннымъ.

Шагъ за шагомъ пошли по этому слѣду, онъ привелъ къ забору.

— Это что-же такое лежитъ? Видите у забора-то что такое?—воскликнула Настасья Максимовна.

Всѣ попятились, но она храбро, со своимъ фонаремъ, сдѣлала нѣсколько шаговъ впередъ. Она наклонилась къ землѣ и стала поднимать съ нея женское платье.

— Что-же это такое? Воръ былъ! Здѣсь онъ черезъ заборъ перелѣзъ, да не все, видно, уворованное захватилъ съ собою, вотъ это и осталось. Чья эта одежа? Бери, сверни... да нѣтъ, постой, сама я снесу... Воръ къ намъ забрался, только этого не доставало! Кто-же это пустилъ его? Кто его выпустилъ? Кто дверь за нимъ заперъ? Кто ключъ въ двери оставилъ? Ну, дѣвки,

не пройдетъ это вамъ даромъ! Вотъ ужъ до чего дошло! Завтра разберу я это доподлинно и не сдобровать виновной, потачки не дамъ. Ишь ты какое дѣло! воровъ пропускаютъ въ теремъ...

Ея голосъ оборвался. Она вся прониклась ужасомъ сдѣланнаго ею открытія и, забравъ найденное на землѣ платье, спѣшно пошла обратно въ теремъ.

Служанки, молча и уныло, слѣдовали за нею.

Онѣ хорошо понимали, какая каша заваривается, какое начнется безконечное дѣло. Поднимется слѣдствіе, будутъ притянуты всѣ, будутъ въ отвѣтѣ, не ускользнетъ виновный самъ, да и невинныхъ за собою потянетъ; пытать всѣхъ станутъ, плетьми стращать, а отъ такихъ угрозъ какъ не наплести на себя, наплетешь невѣдомо что со страху.

XXVIII.

Долго не могла заснуть въ эту ночь Настасья Максимовна возмущенная, но въ то-же время и обрадованная, хотя и безсознательно, сдѣланнымъ ею открытіемъ.

Дѣятельная и энергичная по своей природѣ, она иногда ужъ черезчуръ скучала, просто тоска на нее находила отъ того, что все вокругъ нея шло тихо, да гладко. Иной разъ съ тоски да скуки сама она невольно начинала придумывать какой-нибудь безпорядокъ, какого въ дѣйствительности вовсе не было, начинала подозрѣвать вещи, какихъ совсѣмъ не существовало, придиралась къ подвѣдомственнымъ ей женщинамъ, доводя ихъ этими придирками просто до отчаянія.

А тутъ вдругъ такое дѣло!

Надолго теперь его хватитъ, наполнитъ оно однообразные дни, однообразные вечера, будетъ о чемъ толковать, судить, рядить и волноваться. Настасья Максимовна ужъ мечтала о томъ, какъ она будетъ добираться до виновниковъ, какія хитрости пуститъ въ ходъ.

Среди этихъ мечтаній, ужъ далеко за полночь, она, наконецъ, заснула.

Не спала и Маша. Прошлую ночь, въ чуланѣ, слишкомъ хорошо она выспалась, а теперь развѣ можно заснуть? Она не напала на слѣдъ воровства, не мечтала объ интересномъ теремномъ слѣдствіи, не цѣловалась она съ королевичемъ въ темномъ корридорѣ, но, вѣдь, и ее задѣла своимъ крыломъ блаженная минута любви, остановившаяся надъ Вальдемаромъ и Ириной. Она пережила вмѣстѣ съ ними эту минуту, не отдѣляла себя отъ нихъ. Она тоже любила, точно такъ-же, какъ и ея царевна подруга, только еще не понимала этого.

Долго-долго, неподвижно лежала она, съ широко-раскрытыми, устремленными въ окружавшій ее мракъ глазами и ей чудилось, будто надъ нею звучитъ какая-то сладкая музыка. Въ ней не было ни мыслей, ни представленій, ни опредѣленныхъ чувствъ, но вся она отдавалась неуловимому сладостному ощущенію любви, дышавшей всюду, со всѣхъ сторонъ, всюду проникавшей.

Наконецъ, она нѣсколько пришла въ себя. Раздававшаяся надъ нею и въ ней музыка затихла.

Она прислушалась, накинула душегрѣйку, и наизусть знакомой дорогой, въ сопровожденіи снова явившихся приспѣшниковъ-бѣсенятъ, пронеслась въ опочивальню царевны.

Въ сосѣднихъ покойчикахъ, изъ-подъ высокихъ перинъ, раздается все тотъ-же мѣрный храпъ. Въ опочивальнѣ царевны тоже слышится что-то. Маша пріостановилась въ дверяхъ на мгновеніе и поняла, что это такое слышится: это царевна плачетъ, неудержимо рыдаетъ. Кинулась къ ней Маша, обняла, цѣлуетъ, спрашиваетъ:

— Что съ тобой, золотая царевна? Съ чего ты это такъ плачешь? Зачѣмъ? Зачѣмъ? вытри слезки, чего же плакать!

И сама Маша удивляется и никакъ не можетъ понять, чего тутъ, дѣйствительно, плакать, вѣдь, вотъ-же ей не плакать, а смѣяться теперь, плясать хочется.

Кое-какъ успокоила она своими ласками, своимъ нѣжнымъ шопотомъ царевну, и опять спрашиваетъ: «Чего-же ты плачешь?»

— Какъ-же мнѣ не плакать, — всхлипывая и снова готовая разрыдаться, отвѣчаетъ Ирина:—пойми, Машуня, вѣдь, что мы съ тобой надѣлали!

— Какъ что? Ничего! Все ладно, хорошо вышло, такъ вышло, какъ было задумано. Что такое, царевна?—изумлялась Маша.

— Да ты, что думаешь, Машуня? Ты думаешь со стыда я плачу, что онъ цѣловалъ-то меня, что я его цѣловала, эхъ, о стыдѣ, о грѣхѣ я забыла, гдѣ ужъ тутъ о стыдѣ да грѣхѣ думать! Пусть душа прямо въ адъ идетъ, пусть діаволы всю вѣчность меня терзаютъ, жарятъ на раскаленныхъ угольяхъ, не страшусь я стыда, не боюсь я грѣха, не о томъ думаю, не о томъ плачу я!.. Что мы надѣлали! Гдѣ онъ теперь, мой голубчикъ? Провела ты его, какъ онъ вышелъ? Какъ выбрался? Да и это не то!.. вотъ кабы не видала я его, нынче, и ничего, что никогда бы не увидала... а теперь и не могу ужъ не видать, и плачу, видѣть его хочу, скорѣе!

— Вотъ какъ!—тихонько засмѣялась Маша. — Ну, что-же? Ну, и опять его приведемъ сюда.

— Вѣдь, подумай, Машуня, ни слова, ни одного малаго словечка мы не сказали другъ другу; подумай, Машуня, вѣдь, только

взглянула я на него, а ты лампадку затушила, не дала наглядѣться!

— Я-же и виновата! — шепнула Маша, прижимаясь къ царевнѣ.

— Да, тебѣ хорошо, — продолжала свой жалобный шопотъ Ирина:—ты его видѣла, ты его опять увидишь, ты говорила съ нимъ долго, много времени была съ нимъ, а я...

— А ты?.. ты съ нимъ всю жизнь будешь, царевна! Какъ тебѣ и на умъ взбрело говорить такія рѣчи? Что я? Я служанка твоя, раба твоя вѣрная... не мой онъ, а твой...

Ирина не разслышала, не почувствовала, не поняла, что въ этихъ послѣднихъ словахъ ея Маши, этого беззаботнаго бѣсенка, вдругъ прозвучала какая-то грустная, странная нотка.

— Полно-же, перестань, что тутъ говорить слова напрасныя, что тутъ причитать да жаловаться; лучше, коли не спится тебѣ, потолкуемъ о томъ, что будетъ. Вотъ пожди, скоро попируемъ на твоей свадьбѣ, царевна!

— Ахъ, Машуня, не вѣрится мнѣ такому счастью! Чудится мнѣ—не бывать этой свадьбѣ.

— А мнѣ вотъ такъ чудится, быть ей, и даже очень скоро.

— А коли онъ не захочетъ креститься?

— Можетъ, вчера и не захотѣлъ-бы, а сегодня какъ-же такъ не захочетъ? Ну, скажи мнѣ сама, царевна, нешто послѣ сегодняшняго вечера можно ждать отъ него отказа?

— Такъ, вѣдь, объ этомъ-то съ нимъ и надо было перемолвиться,—сказала Ирина.

— Оно такъ,—соглашалась Маша:—да что-же ты тутъ подѣлаешь? Мы, вѣдь, и то чуть было его не погубили...

И она разсказала царевнѣ о томъ, что поняла изъ словъ Настасьи Максимовны. Та вся такъ и похолодѣла отъ ужаса.

— Машуня, да, вѣдь, это что-же такое? Вѣдь, его, того и жди, поймали! Боже мой, Боже! Гдѣ онъ? Что съ нимъ? Чуетъ мое сердце бѣду неминучую... охъ, чуетъ!..

Теперь ужъ никакъ и ничѣмъ не могла Маша успокоить царевну. До самаго свѣта сидѣла она надъ нею, а когда забрезжилось, оставила ее всю въ слезахъ, въ необычайномъ волненіи и страхѣ.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Хоть и часто оказываются вѣрными предчувствія любящаго сердца, но на сей разъ всѣ опасенія царевны были напрасны: съ Вальдемаромъ ничего не случилось.

Сбросивъ съ себя столбунецъ съ покрываломъ, тѣлогрѣю и сорочку у забора, и уже нестѣсняемый этимъ неудобнымъ длиннымъ нарядомъ, онъ быстро выбрался изъ сада, съ пути не сбился, да и поднявшаяся луна пришла ему на подмогу.

Часъ, для Москвы, былъ уже поздній. Всѣ спали. Даже собака не залаяла на королевича изъ-подъ опасной подворотни. Когда онъ перелѣзъ черезъ заборъ своего сада и очутился между своими, то и тутъ никто не обратилъ вниманія на его долгое отсутствіе.

Датчане по обычаю пировали; почти всѣ были сильно навеселѣ, пѣли свои пѣсни и играли на музыкальныхъ инструментахъ.

Вальдемаръ не присоединился къ веселой компаніи, а прямо пошелъ въ свою опочивальню и заперся. Онъ всецѣло находился подъ очарованіемъ только что случившагося съ нимъ приключенія.

Онъ былъ безумно влюбленъ, насколько можетъ быть влюбленъ молодой человѣкъ его лѣтъ въ лунную тихую ночь и среди такихъ исключительныхъ обстоятельствъ.

Въ своихъ чувствахъ онъ, конечно, не отдавалъ себѣ отчета, но если-бъ могъ ихъ анализировать, или если-бъ это сдѣлалъ за него другой, оказалось-бы, что неизвѣстно еще, въ кого онъ больше влюбленъ: въ царевну или въ Машу.

Какъ-бы то ни было, если-бы къ нему пришелъ теперь Пассбиргъ съ извѣстіемъ, что все улажено, что всѣхъ ихъ хоть сейчасъ отпускаютъ съ честью обратно въ Данію, онъ рѣшительно отвѣтилъ-бы: «Я остаюсь здѣсь, никуда не уѣду!»

Уже прошла ночь, прошла она въ молодыхъ любовныхъ грезахъ, смѣнявшихся тоже молодымъ крѣпкимъ сномъ. Поднялось надъ Москвою солнце и при его ясномъ, спокойномъ, правдивомъ освѣщеніи исчезли всѣ чары, всѣ призраки лѣтней ночи.

Влюбленность Вальдемара, конечно, не прошла, но наступившій день далъ просторъ инымъ свойствамъ его характера, его сильной природы. Теперь онъ ужъ не отвѣтилъ-бы Пассбиргу «я остаюсь здѣсь, я не уѣду», теперь, если-бы посолъ объявилъ ему о возможности отъѣзда, онъ просилъ-бы только обождать нѣсколько дней и сталъ-бы придумывать смѣлый планъ похищенія царевны.

Если обстоятельства не измѣнятся, если его, попрежнему, будутъ принуждать перемѣнить вѣру, онъ умретъ скорѣй, но этого не сдѣлаетъ. Никакая ночь, никакія любовныя чары не заставятъ его быть малодушнымъ, унизиться передъ собою, сдѣлать то, за что и онъ самъ, и всѣ честные люди могли-бы презирать его...

Вѣдь, вотъ эти московиты, они народъ дикій и варварскій, никакого понятія они не имѣютъ о томъ, что дозволено и что невозможно, а, вѣдь, какъ они стоятъ за свою вѣру, на все готовы пойти за нее! Они сами даютъ ему примѣръ стойкости.

Но царевна... Лучше-бы онъ ее не видѣлъ, лучше-бы не было этой волшебной ночи! Однако, она была, не во снѣ ему все пригрезилось... и теперь кончено!.. Какъ твердо онъ зналъ, что не уступитъ въ вопросѣ о вѣрѣ, такъ точно твердо зналъ и другое: не отступится онъ отъ царевны, она будетъ принадлежать ему. Какъ случится это? Какъ сумѣетъ онъ примирить повидимому непримиримое? Онъ не могъ еще себѣ, конечно, представить, да и не до того теперь было. Когда онъ увидитъ «ихъ» снова?—вотъ въ чемъ состоялъ единственный вопросъ, которымъ онъ былъ теперь полонъ.

Онъ ждалъ вчера, ждалъ новаго свиданія съ Машей. Но къ вечеру погода испортилась, все небо заволокло сѣрой дымкой, пошелъ мелкій, частый дождикъ, предвѣщавшій долгое ненастье.

Несмотря на этотъ дождикъ, Вальдемаръ часа три, а можетъ и больше, прокараулилъ въ саду у забора, на завѣтномъ мѣстѣ. Маша не пришла.

И на слѣдующій день и вечеръ лилъ дождикъ и опять, хоть и понималъ, что это напрасно, караулилъ Вальдемаръ у забора.

Наконецъ, дня черезъ три небо прояснѣло и непогода миновала. Опять чудный вечеръ, теплый и влажный. Снова караулитъ Машу королевичъ, а ея нѣтъ какъ нѣтъ!

II.

Между тѣмъ, такъ какъ всѣ переговоры не привели ни къ чему, Пассбиргъ и Билленъ составили и понесли въ посольскій приказъ грамоту съ рѣшительнымъ требованіемъ отпуска. Они просили, чтобы царь назначилъ имъ день для того, чтобы быть у царской руки на прощанье. Вмѣстѣ съ этимъ они настоятельно требовали, чтобы королевичъ непремѣнно былъ отпущенъ вмѣстѣ съ ними.

Съ отвѣтомъ на эту грамоту къ посламъ явился Шереметевъ и отъ имени царя строго объявилъ имъ:

— «Грамота ваша написана непригоже, какъ-бы съ указомъ. Такимъ образомъ, полномочнымъ посламъ къ великимъ государямъ писать не годится, да и въ грамотѣ совсѣмъ неразумно написано про королевича: вѣдь, они сами, послы, по королевскому приказу, подвели его къ государю и отдали его во всю его государскую волю, а потому отпуску ему съ ними не будетъ. Когда настанетъ пригодное къ тому время, то государь велитъ отпустить къ королю Христіанусу пословъ его, только однихъ, безъ королевича.

— Но, вѣдь, это насиліе!—отвѣтилъ Шереметеву Пассбиргъ.— Вѣдь, такъ не только въ христіанскихъ, но и въ магометанскихъ государствахъ не дѣлается, и за это его царское величество передъ всѣмъ міромъ отвѣчать будетъ!

— Неладныя ты слова говоришь,—спокойно возразилъ Шереметевъ:—никакого отвѣта его царское величество не боится, самъ знаетъ хорошо, что дѣлаетъ, и не тебѣ его, государя, учить.

Пассбиргъ долженъ былъ убѣдиться, что всякія разсужденія и слова, дѣйствительно, въ этомъ дѣлѣ напрасны. Потолковавъ со своимъ товарищемъ Билленомъ, онъ просилъ Шереметева, чтобы это все было объявлено имъ письменно.

На это Шереметевъ согласился и на слѣдующій день датскіе послы получили грамоту отъ имени государя. Въ ней дословно было повторено все, что говорилъ Шереметевъ, и прибавлялось:

«А что станете дѣлать мимо нашего государскаго величества, своимъ упрямствомъ и какое вамъ въ томъ безчестье или дурно сдѣлается, и то вамъ и вашимъ людямъ будетъ отъ себя, а безъ отпуску послы не ѣздятъ»!

Послы очень хорошо знали, что безъ отпуску ѣхать, дѣйствительно не годится, и послѣднія слова царскаго отвѣта достаточно краснорѣчиво говорили имъ о томъ, что стоитъ имъ только шевельнуться, и надъ ними будетъ учинено самое грубое насиліе.

Въ подобныхъ обстоятельствахъ оставалось одно: снестись скорѣе съ королемъ и отъ него ждать помощи.

Но въ томъ-то и дѣло, что это оказывалось невозможнымъ, никакихъ сношеній королевича и пословъ съ Даніей не допускали. Каждаго человѣка, приходившаго изъ посольскаго дома, обыскивали и слѣдили за нимъ шагъ за шагомъ. Изъ Даніи тоже не было никакихъ извѣстій: очевидно, если и пріѣзжали оттуда гонцы къ королевичу, то ихъ не допускали и задерживали какъ плѣнниковъ.

Такое положеніе не могло продолжаться. Какъ ни старались себя веселить датчане, какія ни затѣивали попойки съ пѣніемъ и музыкой, но это помогало немного. Скрывать отъ посольскихъ людей дѣйствительныя обстоятельства уже не представлялось возможнымъ. Всѣ эти люди были очень преданы королевичу: вѣдь, онъ самъ себѣ выбралъ штатъ свой и зналъ кого выбираетъ.

Сначала они успокоивали себя надеждой, что все это временное недоразумѣніе, что въ концѣ-концовъ все уладится, но теперь надежда ихъ окончательно покинула. Всѣ мало-по-малу, пришли къ убѣжденію, что такъ какъ Вальдемаръ не можетъ и и не хочетъ отказаться отъ своей вѣры, то ему, а съ нимъ вмѣстѣ и всѣмъ, придется здѣсь погибнуть.

Самые смѣлые изъ посольскихъ людей собрались и рѣшили во чтобы-то ни стало бѣжать, добраться до Копенгагена и вызвать оттуда немедленную помощь. Вѣдь, пройдетъ еще немного дней, и это, пожалуй, ужъ будетъ поздно.

Когда рѣшеніе окончательно созрѣло, люди были выбраны и подготовлены, обо всемъ этомъ извѣстили королевича и пословъ. И Вальдемаръ, и послы не могли не одобрить такого плана.

Вальдемаръ оказался совсѣмъ растроганнымъ. Ему черезчуръ было жаль этихъ преданныхъ друзей и слугъ, такъ какъ онъ не могъ не понимать, какимъ страшнымъ опасностямъ они подвергаются: вѣдь, за ними будетъ погоня! А поймаютъ ихъ—не станутъ съ ними церемониться.

— Лучше не дѣлайте этого, не пытайтесь,—сказалъ королевичъ смѣльчакамъ: — на успѣхъ такого бѣгства нѣтъ надежды. Вѣдь, вы не знаете этой страны, не знаете дорогъ, языка не знаете, только даромъ пропадете!

Но смѣльчаки отвѣчали:

— Пропадемъ и здѣсь даромъ. Насъ много, не всѣхъ-же переловятъ, не всѣхъ убьютъ, кто-нибудь доберется до Копенгагена, а, вѣдь, въ томъ и дѣло, чтобы хоть одинъ человѣкъ добрался.

Со слезами на глазахъ благодарилъ королевичъ своихъ вѣр-

ныхъ слугъ, крѣпко жалъ имъ руки, обнималъ ихъ. Пришлось ему принять ихъ жертву и ради себя и ради всѣхъ, кто съ нимъ здѣсь оставался: другого выхода не было.

Датчане, въ числѣ пятнадцати человѣкъ, приготовились, какъ могли вооружились и, въ третьемъ часу ночи, вышли со двора королевича.

Они сразу наткнулись, конечно, на карауливших стрѣльцовъ, подошли къ стрѣлецкому сотнику и стали его просить, чтобы онъ отпустилъ съ ними стрѣльцовъ. При этомъ они объявили ему, что идутъ за Бѣлый городъ, за Тверскія ворота.

Сотникъ послалъ сказать объ этомъ головѣ, но голова отказалъ.

— Развѣ за какимъ-нибудь дурнымъ дѣломъ мы идемъ? просто идемъ прогуляться, потому что засидѣлись здѣсь и просимъ съ собою стрѣльцовъ для того, чтобы указать намъ дорогу. Развѣ мы враги ваши? развѣ мы плѣнники?

Но стрѣльцы пересмѣивались.

— Ладно, нѣмцы, не лопочите, сидите смирно, а мы васъ сторожитъ будемъ. Вотъ коли выйдетъ приказъ, такъ и отпустимъ на всѣ четыре стороны, а теперь сидите!

Двое датчанъ хотѣли, было, проскользнуть мимо караула, но стрѣльцы ихъ схватили крѣпко, скрутили имъ за спину руки. Другіе датчане, забывъ всякое благоразуміе, бросились выручать товарищей, выхватили изъ ноженъ шпаги. Завязалась схватка. Датчане многихъ изъ стрѣльцовъ переранили, но все-же не могли съ ними справиться и, побѣжденные численностью противниковъ, должны были вернуться во дворъ.

Шумъ, произведенный этой схваткой, заставилъ королевича проснуться. Онъ выбѣжалъ и, узнавъ въ чемъ дѣло, всплеснулъ руками.

— Что вы надѣлали!—вскричалъ онъ.—Зачѣмъ вы мнѣ не сказали, что хотите бѣжать сегодня ночью? Вѣдь, мы условились съ вами, что тайно отъ меня вы этого не сдѣлаете. Я все обдумалъ, а вы поступили какъ безумцы, сами свое дѣло въ конецъ испортили! Развѣ можно было выйти такъ прямо, со двора, и разсуждать съ карауломъ? Кто это среди ночи на прогулку выходитъ и какъ тому повѣрить? Я бы указалъ вамъ такое мѣсто, гдѣ можно выбраться и не попасться на глаза караульнымъ...

— Такъ покажи намъ его, королевичъ, скорѣе!—встрепенулись бѣглецы:—теперь мѣшкать нечего и часу!

Вальдемаръ сообразилъ, что и въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше, и провелъ всѣхъ въ глубь сада, къ забору, объяснивъ имъ, на сколько самъ могъ себѣ представить, въ какую сторону, перелѣзши черезъ заборъ, имъ идти.

Произошла трогательная сцена прощанья королевича съ вѣрными слугами, а затѣмъ датчане стали перелѣзать черезъ заборъ.

Перелѣзть было не трудно по Машиному слѣду, да пришлось сейчасъ-же вернуться: стрѣльцы ходили карауломъ вокругъ забора и тотчасъ-же подняли тревогу.

Что-же было теперь дѣлать? Отложить всякую мысль о бѣгствѣ и безропотно ждать своей участи? Но на это датчане были неспособны, препятствія только увеличили ихъ отчаяніе и ихъ рѣшимость.

Никто не спалъ въ эту ночь и видно было, что приготавливается что-то спѣшное и неожиданное.

Самые близкіе къ королевичу его придворные долго совѣщались съ нимъ при запертыхъ дверяхъ, приходили и уходили, что-то укладывали. На конюшняхъ, тихо и осторожно, сѣдлались кони.

III.

Въ слѣдующій вечеръ ходилъ по Москвѣ разсказъ, сущность котораго, если очистить его отъ очевидныхъ прикрасъ и прибавленій, заключалась въ слѣдующемъ.

Пріѣзжіе съ бусурманскимъ королевичемъ нѣмцы датскіе видно соскучились сидѣть подъ карауломъ у себя во дворѣ; человѣкъ ихъ съ тридцать, все люди молодые, въ одежѣ богатой и со многимъ оружіемъ, осѣдлали коней. Неожиданно, распахнувъ ворота, пробились они сквозь растерявшихся караульныхъ и помчались по московскимъ улицамъ. Доскакали они до Тверскихъ воротъ. А ворота тѣ стоятъ на запорѣ и приставленъ къ нимъ стрѣлецкій караулъ.

Нѣмцы требуютъ, чтобы для нихъ отворили ворота, но стрѣльцы не пускаютъ. Тогда они сами начали ломать ворота. Караульные закричали, со всѣхъ сторонъ набѣжали стрѣльцы. Нѣмцы начали въ нихъ стрѣлять изъ пистолетовъ и колоть ихъ шпагами.

Но численность стрѣльцовъ одержала побѣду, пришлось-таки бусурманамъ бѣжать отъ воротъ обратно въ городъ. Одинъ изъ нихъ былъ взятъ стрѣльцами въ плѣнъ и его тотчасъ-же повели въ Кремль, но едва поровнялись съ соборомъ Николы Гостунскаго, находившимся вблизи отъ помѣщенія датскаго посольства, какъ съ королевичева двора набѣжали въ большомъ числѣ пѣшіе нѣмцы, кололи стрѣльцовъ шпагами, одного убили до смерти, шесть человѣкъ ранили и своего товарища у нихъ отбили...

И до этого разу много всякихъ самыхъ невѣроятныхъ слуховъ и разсказовъ ходило по городу относительно пріѣзжихъ датчанъ. Такъ, напримѣръ, разсказывали, что у нихъ во дворѣ происходитъ всякая чертовщина и неслыханныя непотребства, что всѣ нѣмцы датскіе, и съ ихъ королевичемъ, не простые бусурманы, а колдуны и чародѣи.

Царь-то хотѣлъ за того королевича царевну замужъ выдать, а какъ узналъ про его вѣдовство, такъ и говоритъ ему:

«Нѣтъ, братъ, не обмануть тебѣ насъ, не токмо царевны ты не увидишь, а беру я тебя въ плѣнъ, и коли отецъ твой, бусурманскій король, не пришлетъ за тебя выкупа, десять возовъ съ золотомъ, да пять возовъ съ камнями самоцвѣтными, такъ и сидѣть тебѣ, вѣдуну, на цѣпи у меня до скончанія вѣка и никакое вѣдовство твое тебѣ не поможетъ».

Много чего разсказывалось по Москвѣ, но на сей разъ слухъ оказался справедливымъ.

На слѣдующій день къ королевичу явился Петръ Марселисъ. Онъ былъ крайне встревоженъ и разстроенъ. Ему объявили, что королевичъ нездоровъ, изъ своего покоя не выходитъ и лежитъ со вчерашняго дня не вставая. Королевичъ сначала не хотѣлъ принять его; но Марселисъ такъ просилъ и настаивалъ, что былъ, наконецъ, впущенъ къ Вальдемару въ опочивальню.

— Чего ты больного меня тревожишь!—сурово сказалъ королевичъ при его входѣ:—какое такое у тебя дѣло?

— Вчера ночью и утромъ учинилось у васъ дурное дѣло,—прямо началъ Марселисъ: — очень дурное... Это жаль, потому что отъ такого дѣла добра нечего ждать...

— Мнѣ своихъ людей не въ уздѣ держать!—сердито отвѣтилъ ему королевичъ.—А скучаютъ они отъ того, что здѣсь безъ пути живутъ. Я былъ-бы радъ, чтобы имъ всѣмъ и мнѣ шеи переломали!

— Вамъ-бы подождать, ваша милость,—робко проговорилъ Марселисъ: —все устроится понемногу, а дурныхъ совѣтчиковъ не слушайте.

— Хорошо тебѣ разговаривать!—закричалъ на него королевичъ.—Ты у себя дома живешь, у тебя такъ сердце не болитъ, какъ у меня. Вѣдь, ты хорошо долженъ знать, что тутъ дѣлается; пословъ хотятъ отпустить, а меня царь отпустить не хочетъ. Я лишенъ возможности писать отцу и отъ него не получаю извѣстій, развѣ можно все это вынести?

— Потерпите, ваша милость!—упрашивалъ Марселисъ.

— Молчи и оставь меня въ покоѣ!—перебилъ его Вальдемаръ.—Неужели ты не понимаешь, что мнѣ на тебя глядѣть противно! Вѣдь, ты всему виною, вѣдь, благодаря тебѣ я здѣсь...

Ты мнѣ обѣщалъ, ты мнѣ клялся, что ничего дурного со мною не будетъ, ты ручался своей головой!..

Марселисъ развелъ только руками и опустилъ глаза.

— Что-же,—прошепталъ онъ:—развѣ могъ я думать, что такъ все случится? Развѣ я зналъ?

— Ты долженъ былъ знать, ты хвастался, что хорошо знаешь московитовъ, говорилъ канцлеру о здѣшнихъ порядкахъ, что хорошо было-бы, если-бъ въ Копенгагенѣ были такіе... Да что мнѣ съ тобой разговаривать! погубилъ ты меня, да и не меня одного, а всѣхъ людей моихъ. Хорошую службу сослужилъ ты королю! измѣнникъ! предатель! Вонъ съ глазъ моихъ! не то я за себя не отвѣчаю...

Королевичъ бѣшено поднялся съ лавки, на которой лежалъ. Еще двѣ-три минуты, и, можетъ быть, онъ убилъ-бы Марселиса, такое въ немъ клокотало бѣшенство, такое душило его отчаяніе.

IV.

Когда Марселисъ, блѣдный и трепещущій, пробирался къ выходу, его остановилъ одинъ изъ молодыхъ людей, приближенныхъ къ королевичу, по имени Генрихъ Краненъ, и увелъ его въ садъ.

— Слышали-ли вы, какое несчастіе у насъ вчера случилось?—спросилъ онъ.

— Да, какъ-же, знаю, знаю!—отвѣтилъ Марселисъ.—Принцъ во всемъ меня винитъ, а я тутъ причемъ? Видитъ Богъ, хотѣлъ все къ общему удовольствію устроить, только и думалъ о томъ, какъ-бы исполнить желаніе его королевскаго величества, какъ-бы способствовать счастливой жизни принца. Я самъ теперь почитаю себя несчастнѣйшимъ въ мірѣ человѣкомъ и придумать не могу, какъ выйти изъ этихъ прискорбныхъ обстоятельствъ...

— Да нѣтъ,—перебилъ его молодой человѣкъ:—видно, не знаете вы бѣды нашей. Какъ вы застали принца? Протянулъ онъ вамъ руку?

— Нѣтъ,—вздохнулъ Марселисъ:—онъ не считаетъ уже меня достойнымъ этой чести.

— Да кабы и считалъ достойнымъ, а руки все-же бы не протянулъ, сильно болитъ она у него.

— А почему?

Марселисъ еще не понималъ въ чемъ дѣло, но уже почуялъ недоброе.

— А потому,—продолжалъ молодой датчанинъ:—что, вѣдь, вчера утромъ принцъ чуть было не убѣжалъ.

— Какъ?—воскликнулъ Марселисъ, весь холодѣя отъ ужаса.

— А такъ, что принцъ нашъ потерялъ всякое терпѣніе, да къ тому-же и опасность велика. Онъ и рѣшилъ... И былъ у Тверскихъ воротъ... Знали про это дѣло только я, да его камеръ-юнкеръ, а послы про то не знали. Принцъ взялъ съ собою свои драгоцѣнности и изрядную сумму денегъ... Въ Тверскія ворота ихъ не пропустили. Хотѣли они оттуда воротиться назадъ съ тѣмъ, чтобы попытаться выѣхать въ другія ворота, но стрѣльцы принца и камеръ-юнкера поймали, у принца вырвали шпагу, били его палками и держали лошадь за узду. Тогда принцъ вынулъ ножъ изъ кармана, узду отрѣзалъ и отъ стрѣльцовъ ускакалъ, потому что лошадь подъ нимъ была ученая, его любимая лошадь: она слушается его и безъ узды.

— Господи! хоть-бы про то не провѣдали московиты! — воскликнулъ Марселисъ.

— Слушайте, что было дальше. Вернулся принцъ и разсказалъ мнѣ все какъ было, что планъ его не удался, а камеръ-юнкера стрѣльцы увели, но что онъ ни за что не хочетъ его выдать. Затѣмъ принцъ схватилъ шпагу взялъ съ собою десять человѣкъ скороходовъ, выбѣжалъ съ ними со двора и, увидавъ, что стрѣльцы ведутъ камеръ-юнкера, бросился на нихъ, убилъ того стрѣльца, который велъ плѣнника и, выручивъ его, возвратился домой.

Марселисъ закрылъ лицо руками.

— Боже мой! Боже мой!—говорилъ онъ:—этого я ужъ никакъ не ожидалъ! Вѣдь, если-бы побѣгъ принца удался, я былъ-бы въ отвѣтѣ! Конечно, меня стали-бы подозрѣвать, что я зналъ о побѣгѣ и не миновать-бы мнѣ казни!

Марселисъ не ушелъ, а просилъ молодого придворнаго пойти къ Вальдемару и, когда тотъ будетъ поспокойнѣе, спросить, не приметъ-ли онъ его, Марселиса?

— Ужъ лучше-бы вы его не раздражали,—отсовѣтывалъ ему Генрихъ Краненъ:—разъ онъ считаетъ васъ во всемъ виноватымъ, о чемъ-же тутъ говорить?

Но Марселисъ отвѣчалъ:

— Пусть онъ на меня гнѣвается сколько хочетъ, пусть даже побьетъ меня, а я желаю ему добра, и по моей прямой, вѣрноподданнической службѣ, долженъ всѣми мѣрами отговорить его отъ повторенія такого поступка. Бога ради, убѣдите его принять меня.

Марселисъ ожидая возвращенія Кранена, сталъ бродить по саду. Ждать ему, однако, пришлось недолго.

Молодой человѣкъ возвратился и сказалъ, что принцъ согласенъ принять его, только изумляется, что ему еще можетъ быть отъ него нужно?

Марселисъ поспѣшилъ къ Вальдемару.

Припадокъ бѣшенства уже прошелъ, оставалось отчаяніе и сознаніе своего безсилія.

Вальдемаръ лежалъ на лавкѣ, покрытый мягкими стеганными тюфячками и обложенный пуховыми подушками. Здоровой рукою онъ подпиралъ себѣ голову. Красивое лицо его было блѣдно, глаза померкли...

При входѣ Марселиса, онъ встрѣтилъ его усталымъ, равнодушнымъ взглядомъ и тихо произнесъ:

— Чего тебѣ еще отъ меня надо? Что добраго можешь сказать мнѣ?

— Принцъ,—началъ Марселисъ мягкимъ голосомъ:—простите меня и не гнѣвайтесь Бога ради! Клянусь, я несчастливъ, но не преступенъ передъ вами. И теперь помышляю я только объ одномъ, какъ-бы вы себѣ не повредили...

— Я навсегда и безповоротно повредилъ себѣ въ ту минуту, какъ склонился на твои лживыя увѣренія,—сказалъ Вальдемаръ, отвертываясь отъ Марселиса.

Но тотъ не сталъ обижаться. Объ обидѣ-ли теперь было думать!

— Я все знаю:—сказалъ онъ:—знаю, что вы убили стрѣльца, принцъ...

— Ну, такъ и знай! Я этого не скрываю и ни отъ кого скрывать не буду. Самъ скажу объ этомъ и царю, и боярамъ.

— Ахъ, не дѣлайте этого, ваша милость!—воскликнулъ Марселисъ:—вѣдь, можетъ быть, стрѣльцы васъ не узнали, а если васъ и назовутъ, я стану увѣрять что это ошибка, что васъ не было...

— Не совѣтую дѣлать этого!—усмѣхнулся Вальдемаръ: — я объявлю, что ты лжецъ.

— Ахъ, зачѣмъ вы не сказали мнѣ, принцъ, что собираетесь бѣжать изъ Москвы?

— Нечего сказать, очень былъ-бы я уменъ, если-бы объ этомъ дѣлѣ разсказалъ тебѣ или кому другому, кромѣ тѣхъ, кого съ собою бралъ!

— Что подумаетъ царь, если узнаетъ про то, что вы сдѣлали!—вздохнулъ Марселисъ:—нѣтъ, умоляю васъ, пожалѣйте себя, никому объ этомъ не говорите!

— Вотъ еще!—воскликнулъ Вальдемаръ, порывисто вставая съ лавки, но отъ боли снова на нее опускаясь.—Вѣдь, я ужъ приказывалъ Шереметеву передать отъ меня царю, что хочу это сдѣлать и кто меня станетъ держать и не пропускать, того я убью. И впредь я буду о томъ думать, какъ-бы изъ Москвы уйти, а если мнѣ это не удастся, то... я знаю, что я тогда сдѣлаю!..

Королевичъ проговорилъ эти слова такимъ мрачнымъ и загадочнымъ тономъ, что Марселисъ вздрогнулъ:

«Боже мой!—подумалъ онъ.—Да, вѣдь, онъ хочетъ что-нибудь надъ собою сдѣлать, только это и могутъ означать его слова. Да и какъ въ такихъ бѣдахъ, въ такомъ положеніи, не остановиться на мыслѣ о самоубійствѣ? Но, вѣдь, нельзя-же допустить такое несчастіе, надо дѣйствовать»...

Видя, что королевичъ не хочетъ съ нимъ больше разговаривать, Марселисъ откланялся, ушелъ и, возвращаясь къ себѣ, все думалъ, какъ ему поступить теперь? Наконецъ, онъ рѣшилъ, что о такомъ дѣлѣ необходимо дать знать царю, чтобы потомъ не быть въ отвѣтѣ.

V.

Между тѣмъ, Вальдемаръ, какъ сказалъ Марселису, что не станетъ ни отъ кого скрывать свой поступокъ, такъ и сдѣлалъ. Явился къ нему бояринъ князь Сицкій и онъ ему прямо разсказалъ, какъ было дѣло и просилъ при этомъ передать все царю.

Царь, по докладѣ Сицкаго, тотчасъ-же приказалъ ему идти обратно во дворъ королевича и сказать посламъ отъ его имени, что и простымъ людямъ такого дѣла дѣлать негодится и слышать про него непригоже, а ему, царю, слышать про это стыдно и королю Христіанусу такое дѣло не честно.

Пассбиргъ и Билленъ отвѣтили Сицкому для передачи царю:

— У насъ съ принцемъ было условлено ѣхать изъ Москвы всѣмъ вмѣстѣ, явно и днемъ. Мы не плѣнники и держать насъ силой не за что, въ дѣйствіяхъ-же нашихъ отдадимъ отчетъ нашему государю, если-же королевичъ поѣхалъ одинъ, намъ не сказавшись и тайкомъ, то намъ до этого дѣла нѣтъ, у него своя воля.

— Эхъ,—подумалъ Сицкій:—покажемъ мы ему эту волю! Волей-неволей, а сдѣлаетъ онъ по нашему...

Послѣ этого Вальдемаръ послалъ царю новую грамоту; въ ней опять онъ просилъ объ отпускѣ, клялся, что никогда не перемѣнить своей вѣры и что потому жить ему въ Москвѣ больше незачѣмъ.

Царь отвѣчалъ ему въ жалобномъ тонѣ, выговаривая, что онъ, королевичъ Вальдемаръ, за великую его любовь и ласку отплатилъ ему такимъ непригожимъ дѣломъ, о которомъ скоро будетъ толкъ у бояръ съ послами королевскими.

Королевичъ отвѣтилъ, доказывая, что вина этого дѣла на тѣхъ людяхъ, которые безъ всякой причины позволяютъ себѣ надъ нимъ насиліе, и снова просилъ отпустить его.

Тогда Пассбирга и Биллена призвали въ посольскій приказъ и тамъ бояре отъ нихъ требовали, чтобы они вмѣстѣ съ коро-

левичемъ дали письмо, съ приложеніемъ своихъ рукъ и печатей, и поцѣловали крестъ, что «дѣло о бракѣ королевича съ обѣихъ сторонъ полагается на судъ Божій и впередъ царю съ королемъ быть въ крѣпкой, братской дружбѣ и любви и въ ссылкѣ на вѣки неподвижно».

— Какъ только вы все это напишете и крестъ поцѣлуете,— говорили бояре:—такъ и будете вмѣстѣ съ королевичемъ вашимъ отпущены въ Данію. Вѣчному-же докончанію быть по договору царя Іоанна съ королемъ Фридрихомъ.

Послы датскіе, уже потерявъ всякую вѣру въ обѣщанія московитовъ, не спѣшили радоваться. Они отвѣтили:

— Если главное дѣло, свадьба королевича, остановилось, то намъ никакого другаго дѣла дѣлать и закрѣплять, безъ королевскаго приказа, нельзя, хотя-бы намъ пришлось и десять лѣтъ еще прожить въ Москвѣ.

На это имъ бояре ничего не сказали, и такъ они и ушли изъ приказа. Опять началась ежедневная пересылка писемъ, опять королевичъ просилъ отпустить его; послы. тоже просили не держать ихъ безъ всякаго дѣла.

На это получили они отвѣтъ, что, безъ обсылки съ королемъ Христіаномъ, отпустить ихъ нельзя.

«Когда король отпишетъ,—значилось въ царской грамотѣ:— то мы, великій государь, выразумѣвъ изъ его грамоты, съ вами и дѣлать станемъ, какъ о томъ время покажетъ».

Вальдемаръ писалъ царю, что сосѣдніе государи, польскій и шведскій, принимаютъ участіе въ его бѣдѣ и не будутъ равнодушно смотрѣть на его плѣнъ.

На это былъ отвѣтъ: «мы, великій государь, надъ вами съ пріѣзда до сихъ поръ ведемъ честь государственную большую и вамъ не пригоже было писать, будто вы въ плѣну находитесь. Мы отпускать васъ никогда не обѣщались, потому что отецъ вашъ прислалъ васъ къ намъ во всемъ въ нашу государскую волю и вамъ, не соверша великоначатаго дѣла, какъ ѣхать?»

Читая это посланіе и вникая въ смыслъ его, бѣдный королевичъ просто скрежеталъ зубами отъ безсильнаго бѣшенства. Онъ даже вдругъ позабылъ и царевну, и Машу, въ немъ поднималась жажда мести, все сердце кипѣло такъ, что больно даже становилось.

— Нѣтъ,—говорилъ онъ своимъ приближеннымъ:—такъ невозможно оставаться! Во что-бы то ни стало надо выбрать надежнаго человѣка, который-бы помогъ мнѣ бѣжать въ Данію... Я не могу больше такъ жить... я задохнусь, съ ума сойду, я наложу на себя руки.

По счастію, явился Пассбиргъ съ извѣстіемъ, что нашелся

одинъ московскій нѣмецъ, ремесленникъ, который согласился, за извѣстную плату, отправить въ Данію своего сына тайнымъ образомъ.

Послы и королевичъ приготовили письма, и на этотъ разъ гонецъ ихъ благополучно выбрался изъ Москвы.

VI.

Не на шутку забурлилъ царскій теремъ. Очень часто, для того, чтобы поднять изъ глубины его всю накопившуюся грязь и муть, требовалось гораздо меньше. Какое-нибудь зря вырвавшееся и неимѣвшее никакого смысла слово служанки оказывалось достаточнымъ, чтобы начать долгое и мучительное слѣдствіе, тутъ-же дѣло было дѣйствительно выходящее изъ ряда вонъ: воровство въ теремѣ, да еще въ ночное время!

Положимъ, какъ ни перебирала Настасья Максимовна и другія постельницы всю теремную рухлядь, все платье и бѣлье, ровно ничего не оказывалось пропавшимъ, но, вѣдь, въ саду, у забора, найдены были вещи. Вещи эти оказались принадлежавшими одной изъ молодыхъ прислужницъ царевны Ирины Михайловны, по имени Ониськѣ Мишуриной.

По приказу царицы былъ призванъ дьякъ Тороканов и ему велѣно было разобрать дѣло.

Главной обвинительницей и доказчицей явилась, конечно, Настасья Максимовна, а первой отвѣтчицей—Ониська, дѣвка работящая, простая и нѣсколько придурковатая, которая, еще ничего не видя, ужъ лила рѣки слезныя, вопила и причитала, имѣла видъ до крайности перепуганный и виноватый.

Когда дьякъ Тороканов, призвавъ ее, сталъ допрашивать, онъ долго не могъ отъ нея добиться ни одного слова. Она бухнулась на землю и вопила благимъ матомъ. Онъ терпѣлъ, терпѣлъ, наконецъ, сталъ кричать на нее. Тогда ея вопли остановились и она превратилась какъ-бы въ истукана, глядѣла въ глаза кипятившагося дьяка безмысленнымъ взглядомъ, и только. Онъ схватилъ ее за косу и потрепалъ изрядно.

— Будешь-ли ты, дурища, говорить или нѣтъ? Я тебя ѣмъ что-ли?—крикнулъ онъ.—Вѣдь, я тебя не наказывать хочу, до наказанья далеко еще, должна ты сказать только всю правду.

Бѣдная Ониська и хотѣла говорить, да не могла, языкъ не слушался.

Изъ своего окаменѣнія она перешла теперь въ новое состояніе: дрожала всѣми членами, стучала зубами и вдругъ со всѣхъ ногъ кинулась было вонъ, очевидно, не соображая, что такое дѣлаетъ, повинуясь только инстинкту запуганнаго, видящаго не-

минучую опасность звѣря, порывающагося уйти отъ врага, хотя уйти и некуда. Но Тороканов, маленькій, сухой человѣчекъ, зоркій и быстрый въ движеніяхъ, сразу поймалъ Ониську опять за косу.

— Эге! да ты вотъ какъ!—протянулъ онъ.—Ну, такъ вотъ тебѣ послѣдній мой сказъ: либо говори, либо сейчасъ-же на пытку. Вотъ какъ вздернутъ тебя на дыбу, небось заговоришь!

Ониська взвизгнула нечеловѣческимъ голосомъ, крѣпко зажмурила глаза, будто передъ ней очутилось нѣчто нестерпимо ужасное, и, наконецъ, заговорила стуча зубами!

— Все скажу... все... Да что говорить-то? Нешто я виновата? У меня-же стащили...

— Вѣдь, твои это вещи?—указалъ Тороканов на лежавшее тутъ-же на столѣ поличное.

— Мои... мое все... новешенькое, только къ празднику и сдѣлано, царицыно жалованье...

— Ну, такъ ты, значитъ, признаешь?—важнымъ голосомъ сказалъ Тороканов и, обмокнувъ большое гусиное перо въ стклянку съ чернилами, сталъ медленно, но не безъ искусства выводить на бумагѣ хитрыя закорючки.

Ониська глядѣла на эти движенія пера и на выходившіе изъ него непонятные знаки расширившимися отъ ужаса глазами. Зубы ея такъ громко стучали, что Тороканов даже оторвался отъ писанья, крикнулъ: «ну!»—и снова наклонился надъ бумагой.

Вотъ онъ кончилъ, положилъ перо на столъ и опять обратился къ Ониськѣ.

— А теперь ты скажи мнѣ: гдѣ-же эта одежа у тебя лежала?

— Вѣстимо гдѣ! Гдѣ-же ей лежать-то... въ сундучкѣ, въ чуланѣ.

— И на запорѣ?

— Не! Хотѣла я замокъ достать, да гдѣ-жъ его сразу достанешь. А Соломонида Митревна и говоритъ: «не сумлѣвайся, говоритъ, Ониська, кто у тебя возьметъ! Нешто въ теремѣ есть воры? не бойся, не украдутъ». А вотъ и украли...:—протянула Ониська и вдругъ опять завопила:—Матушки вы мои! голубушки!.. Царица небесная!..

— Нишкни!—крикнулъ Тороканов и топнулъ ногою.

Она затихла.

— Ну, а кто-жъ это у тебя укралъ-то?

Она совсѣмъ не поняла и только безсмысленно глядѣла на него.

— Укралъ-то у тебя кто, спрашиваю?

— Да нешто я знаю!—отчаянно воскликнула Ониська.—Кабы я знала...

— Ну, что кабы знала?..

— Такъ я-бы... я-бы... не дала-бы моего добра вору, я-бы кричать стала!..

Допросъ продолжался все въ томъ-же родѣ.

Какъ ни бился Тороканов, ничего не добился онъ отъ Ониськи, да и что могла она открыть ему? Были вещи, лежали въ сундучкѣ, въ чуланѣ, кто ихъ взялъ и когда, невѣдомо. Она ихъ не хватилась, а какъ Настасья Максимовна, постельница, призвала ее, показала, она и признала свои вещи.

Записалъ все это Тороканов и пока отпустилъ Ониську. Сидѣлъ онъ, перечитывалъ показаніе перепуганной служанки и раздумывалъ, какъ тутъ взяться, за какой конецъ ухватиться?

Было воровство? Было. Воръ проникъ ночью въ теремъ, захватилъ Ониськину праздничную одежу, вышелъ невредимымъ въ садъ, добрался до забора, но тутъ, видимо, перепугался, побросалъ всѣ вещи, перелѣзъ черезъ заборъ и утекъ. Никто его не видѣлъ, окромя Настасьи Максимовны, да и та не видѣла его. знаетъ только, что онъ былъ въ чуланѣ, гдѣ вещи тѣ лежали.

— Эка дура баба!—говорилъ себѣ Тороканов:—какъ приперъ онъ дверцу, ей-бы тутъ-же ее снаружи и запереть на щеколду. вотъ воръ сразу-бы живьемъ и попался. Эка дура баба! за домового, вишь, его приняла.. ну, да и то сказать,—тотчасъ нашелъ онъ оправданіе для Настасьи Максимовны:—какъ и не принять? Можетъ, тутъ и впрямь не обошлось безъ домового, ужъ больно дѣло-то мудреное. А дверь?.. Какимъ такимъ образомъ дверь ночью была не на запорѣ?

Тороканов понялъ, что все дѣло въ этой двери и снова приступилъ къ допросу всѣхъ теремныхъ жительницъ. Но тутъ оказалось нѣчто несовсѣмъ согласное съ дѣйствительностью.

Всѣ перво-на-перво отозвались полнымъ невѣдѣніемъ: «знать ничего не знаемъ, вѣдать не вѣдаемъ, двери у насъ всегда на запорѣ, ключи на мѣстѣ!» И бывшія тогда вмѣстѣ съ Настасьей Максимовной, и выходившія съ нею въ садъ для осмотра, показывали, что ключъ она, постельница, разбудивъ ихъ, взяла съ собою. что Пелагея Карпова, по ея приказу, взявъ у нея тоть ключъ, отперла имъ дверь въ садъ, а дверь, допрежь того, была на запорѣ.

Откуда взялись такія новыя показанія, неизвѣстно. Настасья Максимовна никого не подговаривала, да и подговаривать ей было незачѣмъ; не она отвѣчала за ключъ, не она въ тотъ день была наряжена смотрѣть за выходами. Но она не противорѣчила этимъ показаніямъ: можетъ, она и впрямь, съ перепугу, запамятовала какъ было дѣло, или просто не хотѣла выдавать товарокъ.

Тороканов, собравъ всѣ эти новыя показанія, только разводилъ руками.

— Ну, какъ-же тутъ быть?—толковалъ онъ:—дверь на запорѣ, ключъ на мѣстѣ, а онъ, воръ-то, сидитъ въ чуланѣ, а потомъ въ ту дверь съ краденой одежей проходитъ...

— И ничего тутъ нѣтъ мудренаго!—вдругъ возвысила голосъ бойкая, глазастая женщина, та самая Пелагея Карпова, которая, по приказу Настасьи Максимовны, отперла дверь, все это неиначе какъ Машуткино дѣло!

— Машуткино? Какой Машутки?—насторожился Тороканов.

— А извѣстно какой! Да вотъ она и сама тутъ!—отрѣзала Пелагея Карпова, злобно сверкнувъ глазами и указывая на Машу, стоявшую тутъ-же, въ числѣ допрашиваемыхъ, и уже никакъ не подготовленную къ такому обороту дѣла.

— Что ты, Пелагея? Господь съ тобой! За что ты на меня напраслину такую взводишь? Я-то тутъ при чемъ?—едва вѣря своимъ ушамъ, заговорила дѣвушка.

— Ладно! Прикидывайся казанской сиротой, зелье ты этакое! Знаемъ мы тебя!—со злобной усмѣшкой продолжала Пелагея.— А это что-жъ такое?

Она вынула изъ кармана платокъ и, приподнявъ его за концы руками, всѣмъ показывала.

— Чей это платъ? Ну-ка, отопрись!

— Мой онъ! — крикнула Маша, подбѣгая къ Пелагеѣ и стараясь вырвать у нея изъ рукъ платокъ. Но та не давала.

Тороканов въ это время такъ и впивался глазами то въ ту, то въ другую.

— Мой платъ, я обронила его нынѣче утромъ... искала... ну, ты нашла, такъ что-жъ тутъ?—говорила Маша, еще не понимая, какое обвиненіе можетъ быть связано съ этимъ оброненнымъ ею утромъ платкомъ.

— Что тутъ такое!..—передразнила Пелагея:—а вотъ это ты и скажи сама, что тутъ такое у тебя въ этомъ платѣ въ узелкѣ завязано?

Дѣйствительно. одинъ изъ угловъ платка былъ завязанъ узелкомъ и въ томъ узелкѣ, очевидно, находилось что-то.

Тороканов взялъ изъ рукъ Пелагеи платъ и развязалъ узелокъ.

— А!—многозначительно произнесъ онъ, кладя осторожно платокъ на столъ.—Ну-ка, Машутка, поди сюда, да скажи по истинной правдѣ, какой такой корешокъ у тебя въ платѣ-то завязянъ?

Маша подошла къ столу и съ изумленіемъ глядѣла на сухой, толстый корешокъ.

— Не вѣдаю,—сказала она.—Вотъ-те Христосъ, ничего у меня въ платѣ завязано не было... Это она все... она, Пелагея, по злобѣ на меня. Вотъ-те Христосъ! Мать пресвятая Богородица!..

И бѣдная Маша, хотя еще не успѣвшая испугаться какъ слѣдуетъ, но уже почуявшая бѣду, стала креститься.

Пелагея злобно усмѣхнулась.

— Ишь ты, по злобѣ на нее! Какая у меня на тебя можетъ

быть злоба? Какъ нашла платъ, вижу, завязанъ узелокъ, я и развязывать не стала. Рукъ своихъ не стала пачкать. Кто его знаетъ, что тамъ такое!

Всѣ съ видимымъ страхомъ и любопытствомъ подходили къ столу и глядѣли на корешокъ.

Въ это время въ горницу, гдѣ происходилъ допросъ, вошла Настасья Максимовна. Всѣ разступились и дали ей дорогу. Она внимательно посмотрѣла на корешокъ, потомъ обвела взглядомъ всѣхъ присутствовавшихъ, и развела руками.

— Только этого и не доставало!—многозначительно вымолвила она.

— Да это что-жъ такое? Какъ ты полагаешь, Настасья Максимовна?—спросилъ ее Тороканов.

— Что ужъ тутъ полагать, батюшка, дѣло ясное, разрывъ-трава, вотъ это что!—съ полной увѣренностью и съ видомъ знатока объявила Настасья Максимовна.

VII

Дьякъ Тороканов былъ очень доволенъ найти выходъ изъ своего затруднительнаго положенія. Еще за минуту передъ тѣмъ дѣло представлялось ему совсѣмъ непонятнымъ, а вотъ разрывъ-трава такъ просто и ясно отвѣчаетъ на самый важный, главнѣйшій вопросъ.

Въ существованіи этого зелья онъ не сомнѣвался; оставалось только убѣдиться: точно-ли корешокъ, лежавшій передъ нимъ въ Машиномъ платкѣ, дѣйствительно настоящая разрывъ трава. Но, вѣдь, Настасья Максимовна, прямо, безъ всякаго подготовленія, произнесла это слово, произнесла его она безъ колебаній, рѣшительно, ну, а Настасьѣ Максимовнѣ какъ-же не повѣрить!

Что касается всѣхъ теремныхъ жительницъ, находившихся при допросѣ, для нихъ уже, конечно, тутъ невозможны были никакія сомнѣнія, всѣ готовы были теперь идти хоть подъ присягу, что этотъ таинственный корешокъ и не можетъ даже быть ничѣмъ инымъ какъ разрывъ-травою.

Тороканов быстро вскочилъ изъ-за стола, подбѣжалъ къ Машѣ и ухватилъ ее за руку, будто боясь, что она сейчасъ ускользнетъ и исчезнетъ.

Но Маша бѣжать не собиралась. Она все еще никакъ не могла взять въ толкъ взводимаго на нее обвиненія.

— Откуда у тебя разрывъ-трава? Кто тебѣ далъ ее?—спрашивалъ между тѣмъ Тороканов.

— Да, вѣдь, я-же говорю, что въ платѣ, который я обронила, ничего не было! Это она, это Пелагея положила, а что она

такое положила—почемъ-же мнѣ знать. Можетъ, это и разрывъ-трава, а то и еще хуже, она положила, у нея и спрашивай!

— Такъ это Машутка! Она? у нея нашли?—съ изумленіемъ воскликнула Настатья Максимовна и сразу растерялась.

Она одна, изо всѣхъ здѣсь бывшихъ, не вполнѣ вѣрила въ сдѣланное ею опредѣленіе сущности этого корешка.

Вѣдь, сказать по правдѣ, она никогда разрывъ-травы не видала, да и не говорили ей люди вѣрные, знающіе, что трава эта вотъ такой темный, толстый, сухой корешокъ,—сказала она, что это именно такой корешокъ, потому что такъ ей оно показалось, а главное, безсознательно пріятно было произвести сильное впечатлѣніе на всѣхъ своимъ заявленіемъ.

Но ужъ никакъ не думала она, что словомъ «разрывъ-трава» обвиняетъ она Машутку. Хоть и сидѣла у нея на шеѣ эта озорница, по ея выраженію, хоть и готова она была предполагать за нею всевозможныя, самыя непростительныя шалости, но все-же, вѣдь, она, въ глубинѣ своего сердца, не только не питала къ ней никакой злобы, но даже по своему жалѣла ее, желала ей добра.

Наконецъ, вѣдь, Машутка, царевнина любимица, на ея глазахъ недавно, будто вчера, еще была совсѣмъ ребенкомъ; положимъ, теперь она выросла, хоть подъ вѣнецъ ее веди, ей ужъ пятнадцать лѣтъ, но все-же, какіе это еще годы? да и дурачества, шалости у нея все дѣтскія...

Однако, кто ее знаетъ, вѣдь, вотъ она, то и дѣло, пропадаетъ невѣдомо гдѣ. Тогда вотъ вечеромъ, когда она поймала ее и заперла на всю ночь въ чуланѣ, гдѣ она была все время? Да и воръ... вѣдь, онъ забрался именно въ этотъ самый чуланъ...

Охъ, не ладно тутъ что-то! А все-жъ таки жаль дѣвчонку, все-жъ таки... Ну, а вдругъ то не разрывъ-трава, а она такой грѣхъ взяла себѣ на душу!

Настатья Максимовна почувствовала, какъ у нея будто что-то перевернулось въ сердцѣ и засосало.

Она подошла къ столу и, послѣ нѣкотораго колебанія, рѣшилась взять въ руку корешокъ. Оглядѣла она его со всѣхъ сторонъ, не безъ робости, но все-же понюхала, и сказала:

— А можетъ, я и обозналась, можетъ, это и другое что... говорила вотъ мнѣ одна божья старица про разрывъ-траву... похоже-то оно похоже, да, вѣдь, кто ихъ знаетъ—корешки-то эти! поди сорви репейникъ потолще, высуши его, такъ и у него такой-же видъ будетъ... Ты, батюшка, на мои слова не полагайся,—обратилась она къ Тороканову:—грѣха на душу я брать не хочу, говорю: можетъ, я и обозналась.

Но тутъ выступила впередъ Пелагея и, вся даже трясясь отъ злобы, заговорила:

— Не обозналась ты, государыня Настатья Максимовна, а самую, видно, правду сказала. Сами посудите, сами разберите, люди добрые, какъ тутъ рѣшить-то?.. можетъ, другіе ничего не видятъ, а я-то вижу. Вотъ ужъ цѣлую недѣлю, какъ дѣло къ вечеру, такъ Машутка и пропала! Она-то думаетъ, что никто этого не примѣчаетъ, и что всѣхъ она за носъ провести можетъ, анъ нѣтъ...—я-то за ней ужъ давно примѣчаю, за негодницей. Три раза, своими вотъ этими глазами, я видѣла, какъ она поздно вечеромъ изъ сада черезъ ту дверь возвращалась.

Противъ этого обвиненія Маша ничего не могла возразить, только бросила злобный взглядъ на Пелагею и невольно зарумянилась.

Ея смущеніе, ея румянецъ ни отъ кого не скрылись, всѣ ихъ замѣтили, замѣтила и Настасья Максимовна, и дьякъ Тороканов.

— А! такъ вотъ что! И каждый вечеръ, ты говоришь, она убѣгала?

— Да, да,—твердила Пелагея:—своими вотъ этими глазами видѣла, какъ вечеръ, такъ она и шмыгъ въ садъ, и долго, долго пропадаетъ.

— Отчего-жъ ты мнѣ тогда не сказала!—крикнула Настасья Максимовна.

— А чего мнѣ говорить,—ничуть не смутившись, отвѣтила Пелагея:—нешто я въ няньки къ ней приставлена! Вотъ вышло дѣло, я и говорю что знаю.

— Ну-ка, что ты на это скажешь?—строго спросилъ Машу Тороканов.

— Да что скажу? Что мнѣ сказать-то?—проговорила Маша.—Коли видѣла, что я въ садъ бѣгаю, значитъ, такъ оно и было, ну что-жъ такое! День деньской маешься, то тутъ, то тамъ въ работѣ, то Настасья Максимовна кличетъ, то царевна, ну, а придетъ вечеръ дѣла-то нѣтъ, вотъ въ саду и захочется побѣгать, я и въ садъ, что-жъ тутъ такого!

— Да кто-жъ тебѣ это позволилъ? Какъ-же ты могла не спросившись?—крикнула Настасья Максимовна.

— А кабы я тебя спросилась, Настасья Максимовна, тогда ты-бы меня все равно не пустила, такъ я ужъ лучше такъ, безъ спросу... Нешто знала я, что эта злодѣйка за мной подглядываетъ.

— А дверь-то, дверь?..—спросилъ Тороканов:—что-жъ она у васъ такъ до поздней ночи и стоитъ отпертою, али вы ее запираете по положенію?

Тутъ всѣ въ одинъ голосъ начали увѣрять, что дверь запирается аккуратно.

— Ну, въ такомъ разѣ и толковать нечего,—рѣшилъ Тороканов:—разъ дверь запирается, а дѣвчонка черезъ нее и въ

садъ и изъ саду пробирается, значитъ, у нея отворъ есть. Вотъ отворъ этотъ и лежитъ теперь на столѣ, вотъ онъ!..

— Такъ, такъ!—торжествующе подтвердила Пелагея.—Умный человѣкъ сейчасъ видитъ въ чемъ дѣло.

— Да и для глупаго человѣка оно ясно: коли дверь на запорѣ, а дѣвчонка въ нее пробирается, значитъ, отворяетъ она ее разрывъ-травою. Что-жъ, ты еще ничего не запримѣтила Пелагея?—спросилъ Тороканов.

— Какъ не запримѣтить! Она въ садъ, а я въ свѣтелку къ окошечку, а изъ окошечка-то все какъ на ладони, ну вотъ и видѣла...

Маша почувствовала какъ у нея спина холодѣетъ.

«Что она видѣла?—промелькнуло у нея въ мысляхъ.—Неужто видѣла, какъ я черезъ заборъ лазила?»

— И вижу это я разъ: Машутка подбѣжала къ забору,—объясняла Пелагея:—подняла голову, гляжу я, куда это она смотритъ? Анъ и вижу, на заборѣ-то шапка. Ну, а дальше, извѣстно, что шапка-то не сама собою... на человѣкѣ надѣта. Приманила Машутка голубчика!..

У Маши широко раскрылись глаза.

— Али въ тебѣ стыда нѣтъ! Бога побойся! Что ты на меня клеплешь!—крикнула она Пелагеѣ. Но та ничуть не смутилась.

— Вѣстимо дѣло, клеплю я на тебя. Такъ ты сейчасъ и признаешься, что парней въ царскій теремъ приманиваешь, даворовъ еще...

Теперь все было ясно. Тороканов подтащилъ Машу къ столу и строгимъ голосомъ приказалъ ей стоять смирно. Самъ-же онъ обмакнулъ перо въ чернильницу и приготовился писать.

— Признавайся во всемъ, во всемъ какъ есть! Если станешь отпираться, не взыщи, голубушка!

— Не въ чемъ мнѣ признаваться,—то блѣднѣя, то краснѣя, но не отъ страха, а отъ бѣшенства на Пелагею, отвѣтила Маша.—Что есть, то есть, а чего нѣтъ, того нѣтъ. Мой платъ, обронила я его нынче утромъ, только никакого корешка въ немъ не было. Гулять по саду въ ведро я не разъ выбѣгала: въ этомъ не запираюсь, а больше ничего не знаю и не вѣдаю.

— Ну, это мы ужъ слышали,—перебилъ ее Тороканов:—а теперь вотъ что мнѣ скажи: кто такой этотъ парень, котораго ты приманила-то? Откуда онъ у тебя взялся и какъ его имя?

— Никакого парня нѣтъ,—рѣшительно отвѣтила Маша.—Никакого парня я и въ глаза не видывала.

— Эй, Марья! — погрозилъ ей пальцемъ Тороканов:—не шутки я шучу съ тобою, да и времени у меня не много. Либо ты мнѣ сейчасъ истинную правду скажешь, либо, не взыщи, прикажу тебя взять, да попытать хорошенько. Авось, на дыбѣ во всемъ повинишься!

Маша взвизгнула и, прежде чѣмъ кто либо могъ опомниться, она уже выбѣжала изъ свѣтелки и исчезла. Нѣсколько женщинъ кинулись за ней въ догонку, но скоро вернулись, объявивъ, что она прямо пробѣжала въ покои царевны и что туда онѣ за нею войти не посмѣли.

— Ну, да куда-жъ и выбѣжать ей, какъ не къ своей заступницѣ,—раздумчиво произнесла Настатья Максимовна:—ты ужъ, батюшка, обожди,—обратилась она къ Тороканову:—пойду я къ княгинѣ Марьѣ Ивановнѣ, повѣдаю ей обо всемъ, пускай, она государынѣ доложитъ, какъ та прикажетъ.

Она кивнула головою Тороканову и пошла розыскивать княгиню Хованскую.

VIII.

Какъ ни была бойка и неустрашима Маша, но все-таки то, что съ ней случилось, это неожиданное обвиненіе, не могло, въ концѣ-концовъ, не смутить и не перепугать ее. Съ дѣтства живя въ теремѣ и притомъ развившись очень рано, она отлично понимала всѣ особенности окружавшей ее жизни. Отличаясь живостью и любопытствомъ и, по свойству своей организаціи, неспособная сидѣть на одномъ мѣстѣ, думать и интересоваться однимъ и тѣмъ-же, она наслушалась всевозможныхъ разсказовъ о теремныхъ исторіяхъ и дѣлахъ, бывшихъ еще до нея. Такимъ образомъ она очень хорошо поняла всю опасность своего положенія.

Она знала, что справедливости и выясненія правды нельзя ждать отъ слѣдствія: достаточно того, что страшное слово произнесено. По прежнимъ примѣрамъ ей извѣстно было также, что запирательство въ такихъ дѣлахъ не ведетъ ни къ чему: разъ кого-либо обвиняютъ, хотя-бы безъ всякаго основанія, по одному лишь наговору, слѣдуетъ или тотчасъ-же сознаться въ несуществовавшемъ преступленіи, или ожидать пытки. Дьякъ Тороканов не просто пугаетъ: что онъ сказалъ, то и будетъ, по крайней мѣрѣ, всегда такъ бывало. Одна надежда на заступничество царевны.

И вотъ Маша бѣжитъ къ своей пріятельницѣ, съ каждымъ мгновеніемъ чувствуя, какъ страхъ и ужасъ охватываетъ ее все больше и больше.

«Куда ты? Куда? Остановись, полоумная!»—кричатъ ей, но она ничего и никого не видитъ, она вырывается изъ рукъ тѣхъ, кто хочетъ удержать ее, и, наконецъ, достигаетъ того покоя, гдѣ царевна Ирина проводитъ обыкновенно большую часть дня въ обществѣ то княгини Хованской, то боярышень, и гдѣ она занимается своими любимыми рукодѣльями, въ которыхъ такъ искусна.

Вбѣжала Маша и видитъ—царевна не одна, но кто съ ней, того она не разбираетъ. Она видитъ только Ирину, единственную свою защитницу, кидается передъ ней на колѣни, и съ прорвавшимися неудержимыми рыданіями вопитъ:

— Царевна, золотая! Спаси ты меня, пытать хотятъ! Напраслину на меня взводятъ!

Царевна поблѣднѣла, поднялась съ мѣста и совсѣмъ растерялась. На лицѣ ея изобразился ужасъ, она сразу почувствовала, что случилось какое-то несчастье.

«Пытать! Значитъ, все открыто».

Но рядомъ съ царевной сама царица Евдокія Лукьяновна. Царица, конечно, не ждетъ никакого несчастья, не чувствуетъ за собою никакой тяжкой провинности, а потому относится хладнокровно къ этому трагическому появленію Маши, къ ея воплямъ и непонятнымъ словамъ.

Царица имѣетъ видъ и печальный, и болѣзненный. Въ это послѣднее время она, на глазахъ у всѣхъ, совсѣмъ извелась; здоровье ея, несмотря на всякое береженье, давно уже плохо, а тутъ это мучительное дѣло—сватовство королевича.

Много горя и страха переиспытало материнское сердце. Сразу почуяла царица, что не къ добру затѣяно сватовство это, что ничего путнаго изъ него не выйдетъ. Говорила она о томъ царю, но онъ и слушать ее не хотѣлъ, увѣрялъ, что все сдѣлается само-собою, доказывалъ ей всю желательность этого брака, а вѣдь, вышло по ея, по царицыному, не ладится это дѣло, да, видно, и не суждено ему сладиться.

А царь волнуется, царь тоскуетъ. Не далѣе какъ наканунѣ, въ бесѣдѣ съ женою, онъ сказалъ ей:

— Плохо мнѣ, Авдотьюшка! Въ гробъ уложитъ меня зятекъ нареченный, уперся на своемъ и стоитъ: «не стану, молъ, креститься!» Ну, а сама понимаешь, нешто за нехристя можно намъ дочь выдать?

— Да, вѣдь, я-жъ тебѣ говорила, что такъ будетъ, ты не хотѣлъ меня слушать. Бабьи, молъ, рѣчи; все, молъ, мы знаемъ, все устроимъ, вотъ и устроилъ теперь съ боярами, срамъ одинъ да горе!

Разсердился царь, поднялся, дрожитъ, за сердце ухватился. «Худо мнѣ!» говоритъ. И сказалъ такимъ глухимъ, страшнымъ голосомъ, а самъ потемнѣлъ весь. Ужъ и не помнитъ она, какъ людей дозвалась, какъ увела его въ опочивальню, на постель уложила, за дохтуромъ послала. Прибѣжалъ дохтуръ нѣмецъ, долго съ царемъ возился, и грудь, и спину ему стучалъ, и мазями всякими растиралъ его, сварилъ и заставилъ его выпить травы какія-то душистыя.

Успокоился царь, заснулъ, да что въ томъ проку? Нынѣче съ утра ему не лучше, лежитъ и не встаетъ съ постели. Ну, а мужъ боленъ,—жена добрая больна съ нимъ вмѣстѣ, сосетъ у нея сердце тоска... голова какъ-то кружится, руки и ноги дрожатъ. Пришла вотъ она къ дочкѣ любимой, Иринушка тоже сидитъ за рукодѣльемъ, блѣдная, невеселая.

Какъ ни наказывала царица, чтобы никто ни однимъ словомъ не смѣлъ проболтаться передъ царевной про басурманскаго королевича, да, видно, все-жъ-таки дошли до нея слухи, видно, многое она знаетъ, а то съ чего-бы ей быть скучной да блѣдной. Рѣшилась царица вывѣдать у дочки, что-же именно она знаетъ? Хотѣла она всячески ее успокоить. А тутъ вдругъ ворвалась эта дѣвчонка.

— Встань, и не вопи!—строгимъ голосомъ сказала царица Машѣ.—Да и какъ ты смѣешь такъ врываться? Нешто не видишь меня?

— Матушка, государыня, прости ты меня!—прорыдала она.—Прости! До смерти напугали меня, обидѣли, сама не своя... не примѣтила тебя, государыня, прости Христа ради!

У Маши былъ такой отчаянный видъ, и въ словахъ ея слышалось столько мученья и правды, что царица, всегда добрая и жалостливая, и на сей разъ осталась себѣ вѣрной. Гнѣвъ ея прошелъ.

— Говори, — сказала она уже гораздо болѣе мягкимъ голосомъ: — что такое съ тобой сдѣлали? Чѣмъ тебя обидѣли? Навѣрно пустое...

Маша, сдерживая рыданія и мало-по-малу приходя въ себя, насколько могла толково передала въ чемъ дѣло.

Царевна Ирина отъ словъ ея блѣднѣла все больше. Маленькая, хорошенькая рука ея, лежавшая на пяльцахъ, видимо, дрожала. Она опустила глаза, не имѣя силы взглянуть ни на мать, ни на Машу. Правда, она ждала еще худшаго, она думала, что все раскрыто, но и то, что услышала она отъ Маши, никакъ не могло ее успокоить.

Ни на одну минуту не сомнѣвалась она въ томъ, что Маша хоть умретъ, а ее не выдастъ, но ей было мучительно жаль свою пріятельницу, и она сразу хорошо сознавала себя виновницей всего, виновницей бѣды, которая стряслась теперь надъ этой преданной ей подругой.

— Матушка!—наконецъ, воскликнула она, обращаясь къ царицѣ.—Хорошо, что ты здѣсь, что все отъ нея услышала! Прикажи, государыня, чтобъ ее больше не трогали; вѣдь, сама видишь, она ни въ чемъ не виновата. Какая тамъ разрывъ-трава! Пустое все это, одинъ наговоръ, по злобѣ... знаю я эту самую Пелагею, давно она на Машутку злобствуетъ...

— А я знаю,—серьезно перебила ее царица:—что ты давно Машутку покрываешь: княгиня Марья Ивановна еще вчерась мнѣ о томъ говорила.

Между тѣмъ Маша упала теперь на колѣни передъ кіотомъ съ образами и, крестясь, клялась, что она ни въ чемъ неповинна, что никакого корешка у нея не было и никакого вора она не знаетъ.

— Ладно, — сказала царица: —разберемъ мы это дѣло; коли невиновна ты, такъ тебѣ и бояться нечего.

Но Маша, со свойственной ей быстротой и живостью впечатлѣній, уже пришла въ себя, и снова все ясно сообразила. Къ ней снова вернулась ея смѣлость.

— Коли такъ, государыня,—воскликнула она:—коли не защитишь ты меня, такъ все равно я пропала. Я, вѣдь, увѣряла дьяка, а онъ ничего знать не хочетъ, твердитъ одно: либо винись во всемъ сейчасъ-же, либо пытка! Не могу-же я повиниться въ томъ, чего не было, значитъ, вотъ и поведутъ меня на пытку! Помилуй, государыня! Помилуй, царевна!

Въ это время у двери показалась княгиня Хованская, а за ней выглядывало смущенное и возбужденное, побагровѣвшее лицо Настасьи Максимовны.

— А! такъ ты здѣсь? Ну, еще-бы!—воскликнула княгиня Хованская, увидя Машу.

— Да, вотъ ворвалась. Хороши тутъ у васъ порядки!—усталымъ голосомъ проговорила царица.

Княгиня какъ-то вся съежилась, сдѣлала несчастное лицо, и въ то-же время бросила сердитый взглядъ на Машу.

IX.

Несмотря на заступничество царевны, несмотря на то, что и царица, въ виду увѣреній и слезныхъ просьбъ дочери, была очень склонна считать Машу невинной, все-же положеніе дѣвушки оказывалось довольно затруднительнымъ.

Слѣдствіе уже производилось: страшное обвиненіе на Машу было взведено въ присутствіи многихъ свидѣтелей, записано дьякомъ и освободить ее, признать ее непричастной къ дѣлу, было почти невозможно, не поднявъ ропота въ теремѣ.

Пелагея ненавидѣла Машу не со вчерашняго дня, ненависть эта началась очень давно и первой ея причиной оказывалось такое обстоятельство: у Пелагеи была дочка Машиныхъ лѣтъ и она, опредѣлясь въ теремъ, хотѣла пристроить ее вмѣстѣ съ собою съ тѣмъ, чтобы дѣвочка находилась при царевнѣ. Это

было почти уже обѣщано ей, но вотъ подвернулась Маша, и все измѣнилось. Пелагеина дочка не понравилась царевнѣ, а Маша сдѣлалась ея любимицей. Этого обстоятельства, конечно, было совершенно достаточно для того, чтобы отъ природы злая и неразборчивая въ средствахъ женщина почувствовала непримиримую ненависть къ царевниной любимицѣ.

— Ужъ отплачу я тебѣ! Ужъ будешь ты меня помнить, во вѣкъ не забудешь!—злобно говорила сама себѣ Пелагея, встрѣчаясь съ Машей.

А тутъ еще свойство Машинаго характера подбавило яду: Маша была великой насмѣшницей, подмѣчала во всѣхъ смѣшныя стороны и слабости и при случаѣ умѣла отлично передразнить кого угодно.

Пелагея много разъ узнавала, что Машутка и надъ ней потѣшается, поэтому она пользовалась случаемъ, чтобы раздражать противъ ненавистной ей дѣвочки всѣхъ и каждаго, а въ особенности Настасью Максимовну. Сколько напраслинъ взвела она на Машу! Давно-бы ужъ и достигла она своего, давно-бы ее погубила, если-бы не охраняла ее любовь къ ней царевны А тутъ такое дѣло! Все само собой такъ въ руки и давалось.

Пелагея съ каждымъ днемъ что-нибудь да прибавляла къ своимъ показаніямъ противъ Машутки.

Главное-же, все это являлось такимъ простымъ и естественнымъ образомъ: дѣвчонка озорная, весь теремъ тому свидѣтель, дѣвчонка бѣгаетъ, черезъ заборы лазаетъ, невѣдомо куда пропадаетъ.

Противъ этого никто возразить не можетъ и прежде всего Настасья Максимовна, хоть, видимо, и хочетъ она теперь обѣлить ее для того, чтобы подслужиться къ царевнѣ. Все-же не можетъ она скрывать правду:—вѣдь она сама не разъ искала Машутку по всему терему, и никакъ не могла доискаться.

Ну вотъ бѣгаетъ, пропадаетъ дѣвчонка, гдѣ-нибудь спозналась съ воромъ, слюбилась съ нимъ, онъ и подговорилъ ее, далъ ей разрывъ-траву. Она ему указала гдѣ онъ, не заходя далеко, можетъ добромъ поживиться. Да и чуланъ-то этотъ ей, Машуткѣ, хорошо извѣстенъ: Настасья Максимовна ее въ него запирала.

Все просто, и понятно. Если-же обѣлить Машутку, то за кого взяться? Ониська, у которой одежа украдена,—дура дурой и заподозрить ея виновность въ этомъ дѣлѣ никто не хочетъ, что-же — сама Пелагея что-ли? Оно, конечно, и такое быть можетъ, всякое бываетъ, но главное дѣло въ томъ, что весь теремъ, какъ одинъ человѣкъ, показываетъ на Машутку. Всѣ, самымъ искреннимъ образомъ, считаютъ ее единственной винов-

ницей—и этого убѣжденія ничѣмъ не измѣнишь. Это убѣжденіе и является первой и главнѣйшей противъ дѣвочки уликой.

Все-же стоитъ за свою любимицу царевна, царицу на свою сторону переманила, но приходитъ княгиня Хованская и говоритъ царицѣ:

— Что-жъ тутъ дѣлать? Нельзя это такъ оставить! Всѣ, какъ одинъ человѣкъ, твердятъ: Машуткиныхъ рукъ это дѣло... Дьякъ требуетъ ее къ отвѣту...

Царица не знаетъ какъ ей и разсудить. Жаль ей дочернюю любимицу, да и дѣвочка передъ нею такъ клялась, такъ божилась, такъ горько плакала.

— А сама-то ты, княгиня, какъ полагаешь? Неужли и впрямь она виновна?

Княгиня не знаетъ что и сказать.

— Кто ее вѣдаетъ! — пожимаетъ она плечами. — Сдается мнѣ, что не можетъ она пойти на такое дѣло, а коли всѣ, какъ одинъ человѣкъ, противъ нея — недаромъ это... да и на кого подумаешь?

Но царевна знать ничего не хочетъ. Она не отпускаетъ теперь отъ себя Машу. Она, всегда послушная и часто робкая, такъ и уцѣпилась за свою любимицу: «не отпущу, молъ, не троньте!»—и только.

Что ни говоритъ ей мама, княгиня Марья Ивановна, она отвѣчаетъ только слезами.

— Не виновата она, не дамъ ее пытать да мучить!..

Остановилось слѣдствіе. Тихій, тайный ропотъ идетъ по терему.

— Такого еще у насъ не бывало! Дѣвчонка озорная, воровъ въ теремъ водитъ, разрывъ-траву достаетъ, при себѣ держитъ, а подступиться къ ней нельзя! Что-жъ это будетъ? Вѣдь, этакъ она всѣхъ морить станетъ. Какъ кто ей не показался, — она сейчасъ засыплетъ отравы и опоитъ!

А Пелагея мутитъ всѣхъ, подзадориваетъ. Дьякъ Тороканов тоже молчать не желаетъ. Онъ обиженъ, возмущенъ,—поручили ему слѣдствіе, да и руки связали!..

Прошло нѣсколько дней и уже по всей Москвѣ стали ходить самые невѣроятные слухи о теремномъ дѣлѣ. Кто пустилъ эти слухи—никому невѣдомо, но всюду толкуютъ о томъ, что въ теремѣ поймали вора съ разрывъ-травою; о томъ, что тамъ нашлась такая дѣвка-злодѣйка, которая душегубствомъ занимается, больше десятка теремныхъ прислужницъ перетравила, на тотъ свѣтъ отправила... И нивѣсть что болтаютъ.

Поблѣднѣла, осунулась Маша. Въ бойкихъ глазахъ ея появилось новое выраженіе—выраженіе испуга. Не слышно и не видно ее, таится она ото всѣхъ, по уголкамъ въ царевниныхъ хоро-

махъ прячется, старается быть какъ можно ближе къ своей царевнѣ. Знаетъ и чувствуетъ она, что вотъ только стоитъ отойти ей—и кинутся всѣ на нее, какъ звѣри лютые, и растерзаютъ ее на части.

Груститъ и томится царевна, томитъ и смущаетъ ее не одно Машино дѣло, а и то тайное дѣло, изъ-за котораго обрушилась теперь такая напасть на Машу. А главное — лишена она возможности потолковать съ Машей съ глазу на глазъ. Стерегутъ теперь, не по царицыному приказу, а по тайному какому-то соглашенію между собою, всѣ стерегутъ и ее, и Машу.

Долго не удавалось дѣвушкамъ остаться наединѣ, но какъ ни стерегли ихъ, а все-же, въ концѣ концовъ, улучили онѣ удобную минуту.

— Не бойся, Машуня! Христа ради, успокойся,— не выдамъ я тебя ни за что на свѣтѣ!—шепчетъ царевна, обнимая Машу.

Но та горько вздохнула.

— Вѣрю—не выдашь! Не захочешь выдать, такъ заставятъ. Каждую минутку дрожу—силой меня у тебя отнимутъ и потащутъ на пытку.

Вспыхнули яркимъ румянцемъ щеки царевны, загорѣлись небывалымъ огнемъ голубые глаза ея.

— Нѣтъ! Не бывать тому! — увѣреннымъ голосомъ воскликнула она:—не бывать! А потащутъ тебя силою — пусть и меня тащутъ тоже на пытку, и я тоже всѣмъ скажу правду: я во всемъ виновата, никакого вора,—воръ тотъ королевичъ! Не за одежей приходилъ онъ въ теремъ, а за мною. Ради меня ты бѣгала, черезъ заборъ лазила, и безъ разрывъ-травы, одною хитростью, ко мнѣ привела его. Я во всемъ виновата...

Но Маша не согласна съ этимъ. Хоть и бѣсенокъ она, хоть и мало кого любитъ, хоть и готова подчасъ на всякую злую шутку, на всякое издѣвательство надъ человѣкомъ, хоть и запугана она теперь и при одной мысли о пыткѣ вся холодѣетъ,—все-жъ таки не согласна она признать вину за царевной. Сознаетъ она, что не будь ее, Машутки, и ничего такого не случилось-бы — гды ей, царевнѣ! Развѣ-бы она надумалась? Развѣ-бы она рѣшилась—въ чемъ-же вина ея?

— А я скажу, что ты по добротѣ своей, царевна, на себя клеплешь,—рѣшительно объявила Маша.

— А я скажу...

Но что такое хотѣла сказать царевна — осталось неизвѣстнымъ: въ эту минуту зашевелилась ручка у двери и Маша, въ одинъ прыжокъ, очутилась въ уголкѣ и приняла свою обычную въ такихъ случаяхъ скромную и почтительную позу.

X.

Въ то время, какъ благодаря заступничеству за Машу не только царевны Ирины, но и самой царицы, а также княгини Хованской и отчасти Настасьи Максимовны, дѣло о кражѣ въ теремѣ и о разрывъ-травѣ затягивалось — нежданно поднялось другое дѣло.

Это новое дѣло не имѣло отношенія къ терему, не носило на себѣ фантастическаго отпечатка и оказывалось посерьезнѣе.

Вяземскій воевода, князь Пронскій, прислалъ въ Москву священника села Большого Покровскаго, по имени Григорія. Этотъ священникъ явился въ приказъ и показалъ, что къ нимъ на село пріѣхалъ изъ-за рубежа его сынъ съ двумя бѣглыми людьми, Тропомъ и Бѣлоусомъ.

Тропъ и Бѣлоусъ объявили ему, попу Григорію, что они прямо изъ Смоленска, и тамъ узнали о большомъ государевомъ дѣлѣ. Пришли въ Смоленскъ отъ датскаго королевича изъ Москвы два человѣка: Андрей Басистовъ и Михайло Ивановъ, принесли съ собою грамоты. Басистова Тропъ и Бѣлоусъ давно ужъ знаютъ, и вотъ онъ, по дружбѣ, прочелъ имъ эти грамоты. Въ грамотахъ пишется къ смоленскому воеводѣ о томъ, можно-ли Андрею Басистову вѣрить, что онъ датскаго королевича изъ Москвы проведетъ въ Литовскую землю проселочными дорогами.

Воевода Смоленскій послѣ того допрашивалъ мѣщанъ и лучшихъ людей, и они ему поручились за Басистова и сказку за Басистова за руками ему дали, что ему вѣрить можно.

Тогда воевода Смоленскій написалъ датскому королевичу въ Москву, чтобы онъ въ Басистовѣ не сомнѣвался и ему вѣрилъ.

Обо всемъ этомъ тотчасъ-же было доложено царю, и Михаилъ Ѳедоровичъ приказалъ попу Григорію выслѣдить Басистова, опознать его тайнымъ образомъ.

Для того, чтобы Басистовъ не могъ никакъ узнать попа, Григорію укоротили бороду и съ обѣихъ сторонъ выстригли усы.

Не прошло и недѣли, какъ ловкій попъ Басистова нашелъ и привелъ его въ посольскій приказъ. Тогда государь велѣлъ немедленно боярину Ѳедору Ивановичу Шереметеву и думному дьяку Львову разспросить Басистова, «пытать его и на очныя ставки съ Тропомъ, потомъ Григоріемъ и Бѣлоусомъ ставить, для того, чтобы про такое великое воровское дѣло сыскать во время».

Подъ крѣпкимъ карауломъ, связаннаго, привели Басистова на житный дворъ. Мужикъ онъ былъ ражій, повидимому, обладавшій большою силою, съ лицомъ смѣлымъ, смышленнымъ и

живыми проницательными глазами, но когда связаннымъ предсталъ онъ передъ бояриномъ и дьякомъ, то, видимо, оказался перепуганнымъ не на шутку, поблѣднѣлъ и на обращенные къ нему вопросы о томъ, кто онъ и откуда, не сразу даже могъ отвѣтить.

— Молчать станешь—такъ попытаютъ,—обратился къ нему Львовъ съ обычнымъ ободреніемъ.

Басистовъ заговорилъ.

— Родомъ я изъ Вильны,—сказалъ онъ:—служилъ казачью службу, а теперь живу въ Смоленскѣ и торгую съ мѣщанами.

— Зачѣмъ-же ты здѣсь, на Москвѣ, оказался?

— Да вотъ пріѣхалъ для своей бѣдности съ табакомъ.

— Полно, съ табакомъ-ли?—усмѣхнулся Львовъ.—Не для того-ли пріѣхалъ, чтобы королевича датскаго изъ Москвы въ Литовскую землю вывести?

Басистовъ перевелъ духъ и довольно рѣшительно отвѣтилъ:

— Нѣтъ! Слышалъ я, это точно, про датскаго королевича, только совсѣмъ его не знаю и вывести его изъ Москвы никому не обѣщался, а вотъ что правда, то правда... хотѣлъ я вывести съ собою... только не королевича, а его ловчаго. Ловчій этотъ посулилъ мнѣ пятьдесятъ рублей, только солгалъ, денегъ не далъ... Про королевича я ни отъ кого и слова не слыхалъ... и въ умѣ у меня того не было, поклепали меня въ томъ напрасно.

— Ведите его!—распорядился Шереметевъ.

И повели Басистова черезъ дворъ въ избу, дали ему встряску—молчитъ. Пождали немного, дали другую, застоналъ онъ, замычалъ сильно и все-жъ таки виниться не хочетъ. Стали отсчитывать ему удары, на пятомъ закричалъ:

— Ослобоните! Не въ моготу! Ведите къ боярамъ... во всемъ повинюсь...

Привели его къ Шереметеву и Львову. Едва онъ на ногахъ держался и, точно, повинился.

— Хотѣлъ,—говоритъ,—вывести королевича изъ Москвы въ Смоленскъ, да не одинъ, а вмѣстѣ съ смольняниномъ Максимомъ Власовымъ. Онъ, Власовъ, уже давно живетъ въ Москвѣ и торгуетъ табакомъ.

— Какъ-же ты уговорился съ королевичемъ? Гдѣ его видѣлъ?—спросилъ Шереметевъ.

— Нигдѣ не видалъ, не съ нимъ уговаривался, а съ его ловчимъ. Сулилъ мнѣ за это ловчій сто рублей; ждалъ я королевича недѣли съ три и больше, а потомъ ловчій пришелъ ко мнѣ и сказалъ, что дѣлу этому не бывать, что королевичу выѣхать изъ города невозможно.

— Ну вотъ,—сказалъ дьякъ Львовъ:—теперь ты ужъ говоришь другое. оно хоть и не совсѣмъ, а все-же на правду похоже. А про табакъ ты что сказывалъ? Табакъ тутъ причемъ?

— Привезъ я въ Москву восемь пудовъ табаку,—объяснилъ Басистовъ:—пудъ продалъ, взялъ за него пять рублей, два пуда табаку у меня украли, а пять пудовъ я спряталъ на Ходынкѣ, въ лѣсу, закопалъ ихъ тамъ въ землю.

— Ну, пока довольно! Уведите его, — распорядился Шереметевъ, и тутъ-же приказалъ розыскать табакъ и тѣхъ людей, которымъ продавалъ его Басистовъ.

На слѣдующій день стрѣльцы притащили пять человѣкъ,— того самаго смольнянина Михайлу Власова, съ которымъ Басистовъ хотѣлъ вывести королевича, да еще четырехъ дорогобужанъ. Оказалось, что прятались они съ табакомъ въ гумнахъ противъ Бутырокъ, въ деревнѣ князя Рѣпнина.

Прежде всего обратились къ Власову, и такъ какъ онъ началъ съ того, что знать ничего не знаетъ—его прямо стали пытать.

Съ пытки онъ сказалъ, что дѣйствительно слышалъ отъ Басистова о томъ, что тотъ хочетъ вывести изъ Москвы королевича, но самъ онъ въ этомъ дѣлѣ не принималъ никакого участія.

Тогда Шереметевъ и Львовъ опять призвали Басистова и стали его допрашивать.

— Скажи ты намъ, смоленскій воевода Мадалинскій что съ тобою приказывалъ? И король съ панами радными знаютъ-ли про это дѣло?

— Мадалинскій мнѣ приказывалъ, — отвѣчалъ Басистовъ: — чтобы я всей Рѣчи Посполитой сдѣлалъ добро—королевича въ Литву проводилъ, чтобы впредь изъ-за королевича литовскимъ гонцамъ не ѣздить черезъ ихъ имѣнія и убытковъ королевской казнѣ и имъ не дѣлать. А король и паны радные о томъ не знаютъ.

— Ну, а скажи теперь до пряма, когда-же ты съ королевичемъ-то видѣлся?—спросилъ Львовъ.

— Вѣдь, я ужъ говорилъ, что ни разу не видалъ королевича и въ лицо его не знаю. Вотъ-те Христосъ! Истинная это правда!—увѣрялъ Басистовъ. — Толковалъ я съ ловчимъ королевичевымъ, его только одного, изъ всѣхъ датскихъ людей, и знаю.

— Какъ-же ты узналъ его?

Басистовъ замялся было, но сообразивъ, что сейчасъ, если не скажетъ правды, его поведутъ опять пытать, объявилъ:

— А съ ловчимъ свелъ меня нѣмецъ Захаръ, стекляничный мастеръ, да зять его, Данила.

Увели Басистова, и тотчасъ-же Шереметевъ, конечно, приказалъ достать нѣмца Захара и Данилу...

Дѣло кипѣло, и ежедневно на житный дворъ приводили новыхъ людей, допрашивали ихъ, пытали, но ничего новаго узнать не пришлось.

Королевичъ хотѣлъ бѣжать изъ Москвы, поручилъ устроить это дѣло своему ловчему, который дѣйствовалъ черезъ московскихъ нѣмцевъ, имѣвшихъ доступъ во дворъ датскаго посольства, но такъ какъ стража, слѣдившая за королевичемъ, была сильна и, послѣ первой попытки бѣгства, неусыпна, королевичъ долженъ былъ отказаться отъ своихъ плановъ.

XI.

Медленно тянулось время, не принося Вальдемару ничего новаго, никакого утѣшенія, никакой надежды.

Прошло все лѣто, началась осень, затѣмъ зима надвинулась. Датчанамъ разрѣшалось выѣзжать со двора, кататься по Москвѣ, но съ такимъ конвоемъ, что нечего было и думать о какомъ-либо рѣшительномъ новомъ дѣйствіи.

Королевичъ за это время сильно перемѣнился, съ лица осунулся, сталъ молчаливъ и ко всему какъ-бы получилъ отвращеніе. Ничто его не занимало, не развлекало.

Иногда, по цѣлымъ днямъ, лежалъ онъ на лавкѣ. Порывы бѣшенства, отчаянія—все это прошло. Онъ убѣдился, что ничѣмъ не можетъ помочь себѣ, что долженъ ждать помощи извнѣ и нѣтъ у него никакихъ способовъ поторопить эту помощь. Появленіе Маши, свиданіе его съ царевной, представлялись ему далекимъ сномъ, отъ котораго осталось только смутное, сладкое воспоминаніе.

Къ нему не доходило не только никакихъ вѣстей изъ терема, но даже и съ царемъ онъ не видался ни разу. Всякая пересылка грамотъ, всякіе переговоры были кончены, и съ той и съ другой стороны все уже оказывалось сказаннымъ.

О чемъ было теперь говорить? И такъ слишкомъ долго толковали объ одномъ и томъ-же; обѣ стороны крѣпко стояли на своемъ.

Конечно, королевичъ хорошо понималъ, что отъ него зависитъ выйти изъ этого невозможнаго положенія. Ему стоитъ только согласиться на требованіе царя и московитовъ.

Нѣкоторые изъ его приближенныхъ, не зная что и дѣлать, совѣтывали было ему изъявить согласіе на переходъ въ православную вѣру, исполнить всѣ обряды, спасти этимъ себя и своихъ

людей, а потомъ, при первой возможности, снова вернуться къ лютеранству.

Эти совѣты для королевича были большимъ соблазномъ. Онъ подолгу, съ раздраженіемъ и злобой, думалъ о томъ, какъ онъ отплатитъ своимъ мучителямъ.

Ну да, хорошо, онъ приметъ для виду православіе; женится на царевнѣ, но такъ какъ все это будетъ вынужденнымъ, неизбѣжнымъ для спасенія свободы и жизни,—потомъ онъ уѣдетъ съ женою въ Данію и насмѣется надъ своими мучителями.

Такіе планы роились и развивались въ горячей головѣ его; сердце кипѣло. Но вотъ проходили часы злобнаго раздраженія, и благоразуміе взяло верхъ. Онъ начиналъ ясно видѣть, что такой образъ дѣйствій и недостоинъ его, и черезчуръ рискованъ. Въ немъ поднималась гордость, самолюбіе, чувство собственнаго достоинства, и онъ уже не слушалъ своихъ совѣтниковъ, и на всѣ слова ихъ только качалъ головою.

— Прежде всего неизвѣстно, спасъ-ли бы я себя этимъ?— говорилъ онъ.—А главное, я не хочу обманывать ни людей, ни Бога, не хочу дѣйствовать такъ, чтобы отецъ мой могъ меня стыдиться. Лучше умру, но останусь достойнымъ сыномъ короля Христіана.

И тянулись скучные, однообразные дни, недѣли, мѣсяцы.

— Не мытьемъ, такъ катаньемъ, а доймемъ мы «нѣмца»!— толковали ближніе бояре.

Однако, все-же пришлось сдѣлать нѣкоторыя уступки. Изъ Даніи отъ короля Христіана пришли къ датскимъ посламъ грамоты и, послѣ долгаго обсужденія, рѣшено было гонца пропустить, чтобы не нажить какой-либо большой бѣды и чрезмѣрныхъ обвиненій.

Посламъ датскимъ разрѣшено было явиться къ царю и представить полученную ими отъ короля грамоту.

28 ноября Пассбиръ и Билленъ были у государя съ грамотами. Король Христіанъ, изумляясь столь непонятно долгому молчанію и проволочкѣ, требовалъ, чтобы царь исполнилъ все то, въ чемъ обязался по договору, заключенному съ Петромъ Марселисомъ. Въ противномъ-же случаѣ, чтобы онъ отпустилъ королевича и пословъ съ честью.

Цѣлый мѣсяцъ молчалъ царь, и только 29 декабря призвалъ къ себѣ королевича.

Вальдемаръ даже отступилъ и вздрогнулъ, увидѣвъ царя,— такъ его поразила происшедшая въ немъ перемѣна. Передъ нимъ былъ будто другой человѣкъ, ему совсѣмъ неизвѣстный.

Михаилъ Ѳеодоровичъ сильно состарился, какъ-то опухъ. Цвѣтъ лица его былъ теменъ, въ глазахъ никакого блеску. Онъ

встрѣтилъ Вальдемара уже не съ прежней лаской, да и королевичъ смотрѣлъ на него съ едва скрываемой ненавистью.

— За что, ваше царское величество, вы меня такъ мучаете?—началъ онъ прямо.—Зачѣмъ берете такой тяжкій грѣхъ на душу? Я передъ вами ни въ чемъ неповиненъ: я ни отъ чего не отступался и не отступаюсь. Сколько разъ просилъ я отпустить меня, теперь вотъ и король, отецъ мой, того-же ситъ, того-же требуетъ. Нельзя меня держать силою, если вы не желаете исполнить договоръ, заключенный вами съ отцомъ моимъ.

Царь громко вздохнулъ и съ большимъ трудомъ, хриплымъ голосомъ, проговорилъ:

— О чемъ тутъ толковать, нельзя тебѣ, безъ перекрещенія, жениться на царевнѣ Иринѣ и отпустить тебя въ Данію тоже нельзя, потому-что король Христіанъ отдалъ тебя мнѣ, царю, въ сыновья. Крестись въ нашу православную вѣру, и будь мнѣ сыномъ.

Королевичъ только блеснулъ глазами, сжалъ себѣ руки такъ, что онѣ хрустнули и молчалъ. Замолчалъ и царь; только было слышно, какъ тяжело онъ дышетъ.

Такъ и кончилось это свиданіе. Прошло еще нѣсколько дней. Новый 1645 годъ насталъ.

9 января королевичъ написалъ царю:

«Бьемъ челомъ, чтобы ваше царское величество долѣе насъ не задерживали; мы самовластнаго государя сынъ и наши люди—всѣ вольные люди, а не холопья; ваше царское величество никакъ не скажете, что вамъ насъ и нашихъ людей, какъ холповъ, можно силою задерживать. Если-же ваше царское величество имѣете такую неподобную мысль, то мы говоримъ свободно и прямо, что легко отъ этого произойти несчастью, и тогда вашему царскому величеству какая будетъ честь передъ всею вселенною? Насъ здѣсь немного, мы вамъ грозить не можемъ силою, но говоримъ одно: про ваше царское величество у всѣхъ людей можетъ быть заочная рѣчь, что вы противъ договора и всякихъ правъ сдѣлали то, что турки и татары только для добраго имени опасаются дѣлать. Мы вамъ даемъ явственно разумѣть, что если вы задержите васъ насильно, то мы будемъ стараться сами получить себѣ свободу, хотя-бы пришлось при этомъ и животъ свой положить».

Получивъ это письмо, царь послалъ на королевичевъ дворъ Шереметева, приказавъ ему сказать датскимъ посламъ, чтобы они королевича унимали, чтобы онъ мысль свою молодую и хотѣніе отложилъ. Если-же, по его мысли, учинится ему какая-нибудь бѣда, то это будетъ ему не отъ государя и не отъ государевыхъ людей, а самому отъ себя.

Послы на это отвѣчали Шереметеву, что они тутъ не причемъ, что королевичъ совѣщается не съ ними, а со своими приближенными...

И опять потянулись скучные, холодные зимніе дни.

Королевичъ написалъ отцу, разсказавъ подробно обо всемъ и умоляя поскорѣе придти къ нему на помощь, выручить его, а не то онъ илѝ съ ума сойдетъ, или руки на себя наложитъ.

Письмо это было вручено гонцу, но очутилось въ посольскомъ приказѣ.

Для того, чтобы Вальдемаръ не исполнилъ своей угрозы, не наложилъ на себя рукъ, его стали развлекать всячески. Устроили для него медвѣжью облаву, потомъ возили его на царскую потѣху, на бой кулачный.

Пришлось поневолѣ всѣмъ этимъ развлекаться, во всемъ этомъ находить удовольствіе, иначе дѣйствительно можно было сойти съ ума.

— И нѣтъ никого, кто-бы за меня заступился, кто-бы внушилъ этимъ людямъ, что нельзя такъ поступать, какъ они поступаютъ!—жаловался Вальдемаръ своимъ посламъ.

Наконецъ, Пассбиргъ нашелъ союзника, въ дѣло вступился польскій посолъ Стемпковскій, но какъ вступился! Онъ пришелъ къ королевичу и сталъ его уговаривать исполнить царскую волю.

— Подумайте, принцъ,—говорилъ Стемпковскій:—вѣдь, царь, раздраженный вашимъ упрямствомъ, можетъ соединиться со Швеціей противъ Даніи, тогда васъ заточатъ въ дальнія страны—подумайте хорошенько объ этомъ!

Королевичъ подумалъ и послалъ Стемпковскому свой отвѣтъ въ письмѣ.

«Я могу уступить только въ слѣдующихъ статьяхъ,—писалъ онъ:

1) «Пусть дѣти мои будутъ крещены по греческому обычаю.

2) «Я буду стараться посты содержать сколько мнѣ возможно безъ поврежденія здоровью моему.

3) «Буду сообразоваться съ желаніемъ государя въ платьѣ и во всемъ другомъ, что не противно совѣсти, договору и вѣрѣ. Больше ничего не уступлю. Великій государь грози сколько хочетъ, пусть громомъ и молніею меня изводитъ, пусть сошлетъ меня на конечный рубежъ своего царства, гдѣ я жизнь свою съ плачемъ скончаю, и тутъ отъ вѣры святой не отрекусь; хоть онъ меня распни и умертви. Я лучше хочу съ неосквернённой совѣстью честною смертью умереть, чѣмъ жить съ злою совѣстью. Бога избавителя своего въ судьи призываю. А что королю, отцу моему, будетъ плохо, когда великій князь станетъ

помогать шведамъ противъ него, то до этого мнѣ дѣла нѣтъ, да и не думаю, чтобы королевство датское и норвежское не могло справиться безъ русской помощи. Эти королевства существовали прежде, чѣмъ московское государство началось—и стоятъ еще крѣпко.

«Я готовъ ко всему, пусть дѣлаютъ съ мною что хотятъ, только пусть дѣлаютъ поскорѣе!»

Но больше того, что уже было сдѣлано, съ Вальдемаромъ ничего не дѣлали.

— Крѣпкій паренёкъ, выносливый!— толковали про него ближніе бояре царскіе:—а все-жъ таки мы его переупрямимъ. Годъ выдержалъ, другой выдерживаетъ! А не наступитъ еще конецъ второго года, сдастся онъ, чай жить тоже хочется, а это что за жизнь! въ плѣну! Еще какъ обойдется-то! И вотъ какъ Богъ дастъ уладится все, пройдетъ годъ-другой, самъ станетъ на себя дивиться: изъ-за чего такъ долго ломался. Выдержать только надо, не уступать. Хоть и мягокъ государь, а въ этомъ дѣлѣ онъ не уступитъ!..

И не уступалъ Михаилъ Ѳедоровичъ. Онъ зналъ, какъ и всѣ знали, что хоть помирать, а въ такомъ дѣлѣ уступить невозможно. И помиралъ онъ отъ этого дѣла, тоскуя и мучаясь, ни въ чемъ не находя себѣ утѣшенія.

Съ каждымъ днемъ чувствовалъ онъ себя все хуже и хуже. Опять прошумѣли весеннія воды, опять тепло, грѣетъ солнце,— но царю холодно, знобитъ его, и никакъ не можетъ онъ согрѣться. Дохтуръ уговариваетъ его дѣлать побольше движенія, быть на чистомъ воздухѣ. Встанетъ царь, пойдетъ,—ноги подкашиваются, дышать нечѣмъ. Нѣтъ, лежать лучше!

Возвращается онъ въ свою опочивальню, ложится на кровать широкую и думаетъ невеселыя думы.

XII.

Неоткуда и взяться у царя спокойнымъ и радостнымъ думамъ. Не одно это несчастное дѣло съ королевичемъ его мучаетъ—со всѣхъ сторонъ приходятъ тревожныя, смущающія вѣсти. Будто мракъ какой отовсюду надвигается, окутываетъ царя и дышать ему не даетъ.

Великій царь всея Руси, самодержецъ! Вѣдь, живы еще люди,— немало ихъ осталось,—которые въ глубинѣ сердца, конечно, отъ всѣхъ тая свои мысли и чувство злобы, завидуютъ его долѣ. Помнятъ эти люди Михаила Ѳедоровича робкимъ и скромнымъ отрокомъ въ семьѣ боярской, въ смутное время.

Странна была эта семья, залегла въ ней какая-то тайная, особенная сила. И отецъ, и мать Михаила Ѳедоровича были люди необычайной крѣпости, твердой воли, большого разума; про нихъ говорили: «нашла коса на камень». Близкіе родственники полагали, что не добромъ кончится бракъ Ѳедора Никитича—жена ему не уступитъ, онъ передъ нею не согнется, пойдутъ бѣды всякія, раздоры, ненависть...

Но ничего этого никто не видѣлъ. Ни Ѳедоръ Никитичъ, ни боярыня его изъ избы сору не выносили. Что было между ними и какъ они поладили, осталось ихъ тайной. Не дали они потѣшиться надъ собою языкамъ людскимъ, разошлись втихомолку для Божьяго дѣла. Она стала инокиней, онъ—инокомъ.

Но не таковы они были люди, чтобы ограничить свою жизнь четырьмя стѣнами тѣсной кельи...

На рукахъ строгой, разумной и честолюбивой матери воспитывался Михаилъ.

Ѳедоръ Никитичъ, превратясь въ Филарета, служилъ великія службы своей родинѣ. Выносилъ онъ польскую неволю, не дрогнулъ и спокойно ждалъ лучшаго времени.

Инокиня выростила сына и—невиднаго, неслышнаго отрока, о которомъ никто не думалъ, котораго мало кто зналъ,—посадила на престолъ московскій. Народъ его выбралъ по Божьему соизволенію. Да,—народъ, да, конечно, въ избраніи его былъ видѣнъ перстъ Божій; но первымъ орудіемъ Божьей воли все-же была эта сильная волей и разумная инокиня. Не будь у юнаго Михаила такой матери, быть можетъ, иная выпала-бы ему доля!

Дождался Филаретъ Никитичъ лучшихъ временъ, вернулся онъ изъ тяжкой, долгой неволи и оказался истиннымъ распорядителемъ судебъ Россіи. Наложилъ онъ свою могучую руку, свою несокрушимую волю на всѣ дѣла, крѣпко ухватилъ онъ новосозданный престолъ своего сына и въ трудное время, среди едва утихнувшей бури, оставившей неисчислимые слѣды разрушенія, держалъ этотъ престолъ до тѣхъ поръ, пока не почувствовалъ его поставленнымъ на твердую, непоколебимую почву.

Сынъ оказался не совсѣмъ въ отца и въ мать. Онъ склоненъ былъ больше слушаться своего сердца, чѣмъ разума. Мягкаго характера, богобоязненный, безъ отцовской и материнской опоры и поддержки никакъ не могъ-бы онъ удержаться на своемъ мѣстѣ. Но мать воспитала въ немъ послушнаго сына, и неспособенъ онъ былъ выйти изъ родительской воли.

Онъ былъ вѣрнымъ эхомъ отца и матери, и въ концѣ концовъ, отходя въ иной міръ, оба они сумѣли-таки вложить въ него, несмотря на всю мягкость его характера, несмотря, на его невольное стремленіе слушаться своего сердца, тѣ разумные,

твердые взгляды, которыми онъ долженъ былъ руководствоваться, какъ царь и какъ человѣкъ.

Потомъ, уже безъ нихъ, не разъ готовъ онъ былъ дрогнуть и отступиться отъ какого-нибудь серьезнаго рѣшенія, но всегда, въ такихъ случаяхъ, вставали передъ нимъ, какъ живые, родители, и онъ явственно, почти физически, слышалъ ихъ голосъ и оставался, какъ и въ прежніе юные дни, послушнымъ этому знакомому голосу. Оба они умерли, но духъ ихъ жилъ у московскаго престола, жилъ и дѣйствовалъ.

Нерѣдко случалось, что Михаилъ Ѳедоровичъ, принявъ какое-нибудь рѣшеніе, давая соглашеніе на какую-нибудь мѣру строгости, чувствовалъ себя очень неловко: его чуткая совѣсть начинала упрекать его въ жестокости. Но строгій голосъ отца звучалъ надъ нимъ:

«Или забылъ ты, чему я училъ тебя? Я, патріархъ, служитель Божій, не смущался такимъ дѣломъ, не боялся, что меня назовутъ жестокимъ. Я говорилъ тебѣ, что вѣнецъ Мономаха, возложенный на твою голову, принуждаетъ тебя ко многому. Ты долженъ забыть, забыть все и помнить только о томъ, что твоя первая обязанность—величіе и крѣпость твоей родины, что для этой крѣпости все тебѣ разрѣшается. Если ты исполнишь великій долгъ свой, тебѣ простится многое, не исполнишь его, поступишься чѣмъ, хотя-бы ради добраго чувства, и все съ тебя взыщется сторицею»...

Вслушивался царь Михаилъ въ слова эти, и замолкали всѣ его сомнѣнія, и крѣпло сердце, будто одѣваясь желѣзной бронею...

«Чти отца твоего и матерь твою и долголѣтенъ будешь на землѣ».

Святое исполненіе этой заповѣди обѣщало царю Михаилу долголѣтіе, и вотъ, когда, въ нестарые еще годы, онъ уже чувствовалъ приближеніе не только старости, но и смерти. смущало его это обѣтованіе. Какъ ни искалъ онъ въ глубинѣ души своей и въ тайникахъ своей памяти какой-нибудь вины противъ заповѣди, не находилъ онъ ее.

По совѣсти, съ чистымъ сердцемъ, на духу, могъ онъ сказать, что былъ вѣрнымъ, почтительнымъ сыномъ, что хоть и трудно ему приходилось порою отъ крутого отцовскаго и материнскаго нрава, и тяготила, иной разъ, долгая отеческая опека, онъ оставался непреклоннымъ. Никакія искушенія не отвлекали его, хоть на мигъ одинъ, отъ исполненія великой заповѣди, а долголѣтія видно нѣтъ, видно все-же, хоть и не знаетъ чѣмъ, а провинился онъ!

Онъ не зналъ, этотъ первый царь новой династіи, что ему уготовано иное великое долголѣтіе, именно то долголѣтіе, обѣтованіе котораго и звучитъ въ словахъ заповѣди Божіей. Заповѣдь

обмануть не можетъ. Она говоритъ о долголѣтіи въ потомствѣ, о крѣпости на землѣ того, кто строитъ домъ свой на твердой основѣ лучшихъ отеческихъ преданій.

Страдалъ, болѣлъ и, видимо, приближался къ преждевременной смерти царь Михаилъ, но престолъ русскій, устроенный, укрѣпленный патріархомъ для сына, получалъ съ годами все больше и больше твердости, и являлъ несомнѣнные признаки обѣтованнаго долголѣтія.

Царь Михаилъ, вѣрный и послушный сынъ отца своего, не забывая отцовскихъ совѣтовъ и вслушиваясь постоянно въ родительскій голосъ, неустанно работалъ надъ закрѣпленіемъ того, что составляло истинныя основы для долголѣтія его рода...

И все шло хорошо. Милость Божія была надъ царемъ и надъ Россіей. Оправлялось, мало-по-малу, государство отъ такихъ бѣдъ, отъ такого разгрома, перенести которые, казалось, было совѣмъ невозможно. Бывало временами очень трудно, грозили всякія опасности, но тяжкое время проходило, являлись новыя обстоятельства и несли съ собою успокоеніе, надежду.

А тутъ вотъ, въ это послѣднее время, вдругъ со всѣхъ сторонъ стали надвигаться черныя тучи, будто вдругъ разомъ исчезли прежнія удачи.

Бываетъ такая полоса въ жизни каждаго человѣка, и ни золотой тронъ, ни высшее могущество, ни всѣ богатства міра не могутъ избавить человѣка отъ такой полосы. Нахлынетъ волна, и ничего съ ней не подѣлаешь! Одна за другой идутъ бѣды...

— Божье испытаніе! — давно ужъ говоритъ себѣ благочестивый царь и прибавляетъ въ своихъ мысляхъ:—не испытываетъ Господь сверхъ силъ, надо быть твердымъ, надо не падать духомъ.

Но легко это сказать себѣ, легко понять всю необходимость этого, да трудно, подчасъ невозможно, совладать со своею слабостью. Коли и духъ бодръ,—плоть немощна.

XIII.

Съ каждымъ днемъ все немощнѣе и немощнѣе становится плоть царя Михаила. Каждое новое тревожное извѣстіе жестоко ударяетъ его въ самое сердце, и трепещетъ сердце, болитъ, слабость оковываетъ всѣ члены, духъ замираетъ, дышать нечѣмъ. А тучи все сгущаются, бѣды все прибываютъ. Старое зло, которому, казалось, ужъ конецъ наступилъ, снова появилось. Приходятъ дурныя вѣсти о самозванцахъ. Приходятъ онѣ изъ Турціи и изъ Польши.

Въ октябрѣ 1644 года греческій архимандритъ Амфилохій

прислалъ изъ Царьграда грамоту, извѣщая, что два турка пріѣхали къ султану съ грамотою, написанною по-русски, и просили переводчика. Вотъ имъ и указали на архимандрита Амфилохія. Прочелъ онъ ихъ грамоту, но не понесъ ее къ султану, а переслалъ ее въ Москву.

Въ ней написано было такое обращеніе къ султану:

«Милостивый и вельможный царь, смилуйся надо мною, бѣднымъ невольникомъ. Ты мнѣ отецъ и мать, потому что не къ кому мнѣ прибѣгнуть къ другому. Когда я шелъ изъ земли персидской въ польскую, то встрѣтились мнѣ твои люди, казну у меня взяли, самого меня схватили, къ тебѣ не везутъ, а запродали жидамъ. Если ты надо мною смилуешься, то будешь отцомъ и матерью мнѣ грѣшному и бѣдному невольнику, московскому царевичу. Если по милосердію твоему овладѣю землею московскою, то будетъ мнѣ она пополамъ съ тобою».

Грамота эта подписана: «Князь Иванъ Дмитріевичъ, московской земли царевичъ, рука властная».

Но то далеко, въ Турціи, а вотъ гораздо ближе, въ Польшѣ, еще хуже дѣла дѣлаются. Поляки не унялись, по прежнему зло замышляютъ, по прежнему готовятъ, воспитываютъ самозванцевъ. Одинъ называетъ себя Семеномъ Васильевичемъ Шуйскимъ, сыномъ царя Василія Ивановича, и доказываетъ свое царственное происхожденіе тѣмъ, что у него пятно на спинѣ. Взяли будто его въ плѣнъ черкасы, когда царя Василія изъ Москвы везли въ Литву, и съ тѣхъ поръ жилъ онъ у черкасовъ. Теперь, подскарбій коронный Даниловичъ, по приказу шляхты и всей Рѣчи Посполитой, держитъ его и бережетъ, учитъ русскому языку и грамотѣ.

А въ Брестѣ-Литовскомъ, въ іезуитскомъ монастырѣ, другой воръ-самозванецъ. На спинѣ у него, между плечами, тоже гербъ, и сказывается онъ сыномъ Лжедимитрія.

Царь послалъ въ Польшу надежныхъ людей съ тѣмъ, чтобы всѣми мѣрами добыть этихъ самозванцевъ, но перваго не достали; поляки отговаривались полнымъ невѣдѣніемъ относительно того, куда онъ дѣлся.

Между тѣмъ польскіе паны говорили въ Краковѣ русскимъ посламъ:

«Если у васъ, пословъ, съ панами радными въ государственныхъ дѣлахъ соглашенія не будетъ, то у насъ Димитріевичъ готовъ съ запорожцами и черкасами на войну».

Наконецъ, пріѣхалъ къ московскимъ посламъ коронный канцлеръ Оссолинскій и говорилъ, что король поручилъ имъ сказать, что онъ ради братской дружбы и любви великаго государя не постоялъ бы за такого мужика, который выдаетъ себя цареви-

чемъ, но мужикъ этотъ не виноватъ ни въ чемъ. Онъ не царевичъ и себя таковымъ не именуетъ, онъ простого отца сынъ, изъ Подляшья. Воспиталъ его полякъ Бѣлинскій и назвалъ царевичемъ, сыномъ Марины Мнишекъ. Этимъ онъ хотѣлъ выслужиться передъ королемъ, но король велѣлъ отослать его къ Гонсѣвскому, а тотъ сталъ его держать у себя и учить, полагая, что онъ можетъ пригодиться, такъ какъ тогда были враждебныя отношенія между московскимъ государствомъ и Польшею.

Но, вѣдь, теперь заключенъ миръ на вѣчное докончаніе, и никто того мужика царевичемъ не называетъ, скитается онъ безъ пріюта по шляхтичамъ, и о московскомъ государствѣ не думаетъ. Онъ полякъ, а не русскій, и желаетъ какъ можно поскорѣй сдѣлаться ксендзомъ. Имя его Иванъ Димитріевъ Луба, и выдать его царю, какъ ни въ чемъ неповиннаго человѣка, невозможно: передъ Богомъ грѣхъ и передъ людьми стыдно.

Но послы Московскіе: князь Львовъ, думный дворянинъ Пушкинъ и дьякъ Волошениновъ на этомъ не могли успокоиться. Пустили они въ ходъ все свое краснорѣчіе, убѣждали пановъ всякимъ манеромъ, такъ пристали къ нимъ, съ такою чисто московскою упрямкою, что пришлось полякамъ сдаться. Поѣхалъ въ Москву великій посолъ королевскій, Стемпковскій, и повезъ съ собою самозванца Лубу.

Этотъ Луба, дѣйствительно ни въ чемъ неповинный, насчастное орудіе козней пановъ польскихъ, оказался человѣкомъ тихимъ, робкимъ, безобиднымъ. Его воспитали, внушая ему мысль, что онъ московскій царевичъ. Когда обстоятельства измѣнились и существованіе подложнаго царевича уже стало ненужнымъ, ему объяснили, что онъ вовсе не царевичъ. Воспитали во всякомъ довольствѣ, дали ему порядочное образованіе, подготовили къ той роли, которую можетъ быть придется ему играть, а теперь взяли да и пустили по міру.

Луба примирился со своей участью, простилъ людямъ великую обиду, возмутительное издѣвательство надъ нимъ, и стремился къ одному, сдѣлаться служителемъ Божіимъ, посвятить всю свою жизнь церкви и добрымъ дѣламъ.

Между тѣмъ въ Москвѣ всѣ эти обстоятельства, изложенныя Стемпковскимъ, и самый видъ несчастнаго Лубы, не произвели никакого дѣйствія.

Лубу требовали отъ Стемпковскаго, но тотъ его не выдалъ. Бояре донесли объ этомъ царю, и царь, не имѣвшій ровно ничего противъ этого человѣка, знавшій одно, что онъ не можетъ допустить его существованія ради спокойствія Россіи, велѣлъ сказать Стемпковскому, что если Луба не будетъ отданъ, то онъ, царь, боярамъ и думнымъ своимъ людямъ ни о какихъ дѣ-

лахъ съ нимъ, посломъ, говорить и его посольскихъ рѣчей слушать не велитъ.

Списались съ польскимъ сеймомъ и королемъ. Король отвѣтилъ: «Луба человѣкъ невинный, никакого лиха и никакой смуты не чинилъ и чинить не будетъ, но монашескаго, духовнаго чина желаетъ и не для того онъ при нашемъ послѣ къ вамъ посланъ, чтобы его выдать, а только для того, чтобы невинность его и ни къ какой хитрости неспособность передъ вашимъ царскимъ величествомъ была обнаружена. Вамъ, брату нашему, извѣстно, что въ нашемъ великомъ государствѣ нельзя и не ведется природнаго шляхтича выдавать, а если окажется виноватымъ, то его тутъ же и казнятъ. Но на Лубѣ никакой вины не объявилось, и вамъ бы при великомъ послѣ нашемъ этого Лубу поздорову отпустить не задерживая».

Такимъ образомъ затянулось это дѣло, затянулось такъ-же, какъ и дѣло королевича. Смущаетъ оно царя, не даетъ ему покою. Порою кажется ему, что всѣ противъ него, всѣ дѣйствуютъ только для того, чтобы досадить ему, его принизить, дѣйствуютъ отъ зависти.

А то придетъ и такая минута,—чувствуетъ царь, что неладное что-то и онъ творитъ вмѣстѣ съ боярами. Вотъ и король относительно Лубы, и королевичъ съ послами датскими относительно ихъ отпуска, пишутъ такъ вразумительно, что даже читать царю неловко. Никому онъ не желаетъ зла, никакой въ немъ нѣтъ жестокости, желаетъ онъ только блага и добра одной Россіи, а выходитъ будто такъ, что онъ самъ зачинщикъ всякой неправды, что творитъ онъ только жестокости: тутъ вотъ невиннаго человѣка требуетъ, чтобы казнить его, здѣсь отказывается отъ договора, и силою удерживаетъ королевича плѣнникомъ изъ-за того, что тотъ не хочетъ отказаться отъ своей вѣры!..

Приходитъ царю на мысль: «ну, а что кабы меня заставляли отказаться отъ нашей святой православной церкви!» Жутко царю и помыслить объ этомъ. «Да, но, вѣдь, то лютерова ересь, то басурманы! А коли королевичъ православіе ересью считаетъ?.. Какъ-же онъ можетъ, какъ-же смѣетъ считать?»

Закипаетъ больное царское сердце, и не можетъ онъ никакъ разобраться въ этихъ противорѣчіяхъ, не можетъ потому, что не умѣщаются они въ головѣ его, не въ такихъ взглядахъ воспитали его отецъ съ матерью, а новыхъ понятій о справедливости, о томъ, что можно, и чего нельзя, взять еще не откуда. Тяжко и тошно царю.

— Господи, помоги мнѣ! Воззри на слабость мою, не по силамъ мнѣ испытаніе!—стонетъ онъ, и слезы муки стекаютъ изъ потускнѣвшихъ глазъ его по блѣднымъ опухшимъ щекамъ.

XIV.

— Что, батюшка? Что, мой золотой? Опять, видно, неможется?— говоритъ царица, входя въ царскую опочивальню и приближаясь къ кровати, на которой лежитъ царь въ обычной ему теперь позѣ, подложивъ руку подъ голову, на правомъ боку, такъ какъ на лѣвомъ не пролежать и минутки,—тотчасъ-же будто подъ сердце вода подольетъ. Замретъ оно, потомъ шибко заколотится, духъ захватитъ.

Царь поднялъ усталые глаза на свою вѣрную, Богомъ данную ему подругу, и глядитъ на нее пристально.

Видитъ онъ, и въ ней за это время большая перемѣна, и поражаетъ его перемѣна эта, несмотря на то, что лицо царицы, по обычаю, все набѣлено, щеки нарумянены, глаза и брови подкрашены. Видитъ онъ перемѣну и въ походкѣ ея, въ звукѣ ея голоса, въ тихомъ вздохѣ, который она скрыть не можетъ.

— Да и тебѣ, видно, тоже неможется, Дунюшка?—говоритъ онъ, указывая ей на кресло у изголовья своей кровати.

Она присѣла.

— Что-жъ обо мнѣ-то толковать! Тебѣ, государю моему, хорошо—и мнѣ хорошо, тебѣ худо—и мнѣ худо.

— Это ты неладно разсудила, Дунюшка!—старается улыбнуться царь:—изводить тебѣ себя, на меня глядючи, нечего. О дѣтяхъ должна подумать.

— Невеселыя думы!.. Вотъ Иринушка совсѣмъ меня сокрушаетъ...

Царица сама испугалась, какъ это такъ обмолвилась, какъ выдала царю ту тревожную мысль, которая теперь ее не оставляетъ, съ которой она пришла и сюда,—да ужъ сказаннаго слова не воротишь.

— Что Иринушка?—спросилъ царь.—Нешто и она нездорова? Говори прямо, не то, хоть и трудно, самъ пойду ее провѣдать, самъ стану ее разспрашивать.

Царица махнула рукою.

— Да что разспрашивать! Отъ нея ничего не добьешься, молчитъ она, ни на что не жалуется.

— Коли нездорова, полѣчить ее надо. Я и самъ замѣтилъ что она ровно похудѣла.

— Ужъ и не говори!—вздохнула царица:—съ каждымъ днемъ худѣетъ. По ночамъ плачетъ, княгиня Марья Ивановна сказывала.

Царица не замѣчала теперь, какъ она проговаривается. Хотѣла ничѣмъ не разстраивать больного мужа, испугалась своего перваго слова, а теперь и высказываетъ все, что на сердцѣ. Забыла она теперь сразу, въ одну минуту, что онъ боленъ, что

его беречь надо, думаетъ только о дочери, видитъ только ее передъ собою.

— Что-жъ ты объ этомъ мыслишь? — тревожно спросилъ царь.

— Женихъ все надѣлалъ!—рѣшительно высказала царица.

Михаилъ Ѳедоровичъ приподнялъ голову съ подушекъ и сѣлъ на кровати.

— Да нешто она знаетъ? Вѣдь, я приказывалъ скрывать отъ нея, ей про это дѣло до поры до времени знать нечего.

— Такъ, такъ!—кивала головой царица.—Я-ли не наказывала, строго на строго, чтобы никто ей однимъ словомъ не проболтался, да какъ тутъ убережешь. Хоть день и ночь не спускай глазъ, а все-же чего не надо знать, то и узнается. Сколько народу у насъ въ теремѣ, и народъ все хитрый-прехитрый, видно, давно ей шепнули, и я такъ полагаю теперь, что ей все доподлинно вѣдомо.

— Охъ! ужъ этотъ мнѣ женихъ!—схватился царь за голову руками.

— Говорила тогда, не начинать-бы...—невольно вырвалось у царицы.

Побагровѣли блѣдныя щеки царя, крикнулъ онъ хриплымъ голосомъ:

— Ты опять о томъ-же! Вѣдь, говорилъ я, говорилъ тебѣ!..

— Прости, батюшка! Прости, государь!—зашептала царица.

«Охъ я глупая!—думала она съ мученьемъ и тревогой.—Голова идетъ кругомъ, никакъ не могу удержать своего сердца. Убей онъ меня, въ толкъ не возьму, зачѣмъ это такъ нужно? Зачѣмъ всю эту кашу заварили! Поискать, и свой бы хорошій человѣкъ нашелся. Эка невидаль—заморскій, басурманскій королевичъ!»

Между тѣмъ царь, побѣдивъ въ себѣ волненіе, которое было слишкомъ для него мучительно, говорилъ:

— Что-же меня и мучаетъ пуще всего, какъ не это дѣло!.. Начато оно, кончить его надо, безпремѣнно надо, а какъ тутъ кончить?

Царица опять не сдержала своего сердца.

— Зачѣмъ было нѣмцу Марселису наказывать, чтобы онъ увѣрялъ Христіануса, что королевичу помѣшки въ вѣрѣ не будетъ?

— Это ужъ мы такъ тогда съ боярами рѣшили!—въ раздумьи произнесъ царь. — Оно и точно, кабы не увѣрялъ Христіануса Марселисъ, такъ Вальдемара бы на Москву не отпустили.

— А что-же теперь, лучше что-ли? Вотъ онъ здѣсь, и никакого толку, только срамъ одинъ, только языки всѣ чешутъ, мы съ тобой убиваемся, а на Иринушкѣ лица нѣтъ!

— Кто такое могъ помыслить, чтобы онъ оказалъ столь лютое

упрямство? Вѣдь, я что-жъ... я не дурного чего прошу отъ него и требую, а къ Богу привести хочу...

— Нешто онъ можетъ понять это?—перебила царица.—На то онъ и басурманъ. Вотъ помяни ты мое слово, хоть десять лѣтъ ты его держи тутъ, онъ отъ своего еретичества не отстанетъ.

— Это и онъ самъ пишетъ мнѣ.

— Ну вотъ видишь!

— Да что видѣть-то!—въ приливѣ новаго отчаянія воскликнулъ царь:—вижу одно: необходимо Иринѣ быть за нимъ, и нельзя оставить этого дѣла!

— Что же тутъ?.. Ты никакъ держишь въ мысляхъ, что можно ее обвѣнчать съ нехристемъ?—испуганно спросила царица.—Такъ, вѣдь, ежели-бы мы такое сдѣлали, не токмо бояре и боярыни, а и весь народъ русскій пересталъ-бы почитать насъ!

— Это я и безъ тебя знаю, жена!—мрачно сказалъ царь:—и никогда у меня въ мысляхъ не было вѣнчать ее съ еретикомъ! Нѣтъ,—ухватился онъ за единственную надежду, которая его еще поддерживала:—угомонится королевичъ! По первоначалу-то онъ рвалъ и металъ, бѣжать собирался, а теперь затихъ. Выдерживать надо,—время все исправить,—сдастся онъ.

Царица отрицательно покачала головою.

— Не жди ты этого!

Царь съ сердцемъ отвернулся отъ нея, и голова его опять упала на подушки.

— А ты лучше смотри за нею!—тяжело дыша, заговорилъ онъ:—да накажи Марьѣ Ивановнѣ, чтобы она глазъ не спускала... Такъ-то!.. Ты вотъ отъ меня что-то нынче все скрывать начинаешь, а довелось мнѣ услышать, у тебя въ теремѣ неладное творится: воры объявляются; всякія зелья у дѣвчонокъ находятъ... какая такая дѣвчонка съ зельемъ поймана?

— Э, государь, пустое! Не тревожься ты, Христа ради. Кабы что было важное, стала-ли бы я скрывать отъ тебя?

—То-то пустое! Нѣтъ, видно не пустое, коли я говорю. Прикрыли, затушили дѣло, а о дѣлѣ томъ вся Москва кричитъ,—какая такая дѣвчонка съ зельемъ попалась, спрашиваю, а ты отвѣчай мнѣ прямо!

— Да есть тутъ одна... къ Иринушкѣ приставлена!.. —съ великой неохотой и новой тревогой прошептала царица.

— То-то и есть, къ Иринушкѣ приставлена!.. быть можетъ отъ этой дѣвчонки и бѣда вся.

— Нѣтъ! —воскликнула царица. — Кабы она въ чемъ была виновна, не стала бы я покрывать ее. Иринушка больно ее любитъ, такъ въ нее и вцѣпилась, сама плакала, на колѣняхъ меня упрашивала. «Не троньте», говоритъ, «Машутку, люблю я ее, она ничего дурного не сдѣлала и сдѣлать не можетъ».

— Машутка... — прошепталъ царь, припоминая: — ахъ да, бойкая такая, быстроглазая? — вспомнилъ онъ. — Чего-жъ это Иринушка такъ къ ней привязалась? Не ладно тутъ что-то. Не она-ли и ослушивается нашей съ тобой воли? Не она-ли и про королевича Иринушкѣ шепнула, да и вѣсти ей всякія передаетъ о немъ?

Царица заволновалась.

И какъ это ей самой до сихъ поръ не пришло въ голову. Вѣдь, и то правда!

— Смотри въ оба! — между тѣмъ говорилъ царь: — чтобы хорошенько слѣдили за этой Машуткой, и какъ только что, — не покрывать ее! Да и что за пріятельство между нею и нашей дочкой?.. Охъ, тяжко мнѣ! — вдругъ простоналъ онъ, хватаясь за грудь, и замолчалъ.

Царица тоже ничего не говорила.

Такъ прошло нѣсколько минутъ. Царь задремалъ.

XV.

Въ это время въ укромномъ уголкѣ царицына терема, въ опочивальнѣ царевны Ирины, происходила тоже бесѣда, горячая и быстрая, подъ страхомъ, что вотъ кто-нибудь придетъ.

Царевна говорила Машѣ:

— Ну что ты мнѣ душу надрываешь, Машуня, чего ты меня успокоиваешь? Что ты твердишь мнѣ, — зачѣмъ я худѣю да скучаю? Съ чего-же мнѣ радоваться? Вся жизнь опостылила. Да и на себя посмотри, та-ли тоже и ты, что была прежде?

Дѣйствительно, за этотъ годъ большая перемѣна произошла въ обѣихъ дѣвушкахъ. Обѣ онѣ созрѣли, обѣ похорошѣли, но при этомъ видъ ихъ былъ печаленъ, не тотъ что прежде. Даже Маша уже не казалась бѣсенкомъ. Въ ея большихъ темно-сѣрыхъ глазахъ явилось совсѣмъ новое выраженіе. Она теперь слушала царевну и вздыхала.

— Подумай только, вѣдь, цѣлый годъ прошолъ съ того далекаго вечера,—продолжала Ирина:—цѣлый годъ я его не видала! И не было за все это время не только дня, а и часу, чтобы не думала я о немъ, не вспоминала. На мигъ одинъ онъ былъ со мною, но кажется мнѣ будто весь вѣкъ я его знала и любила!..

Маша вздохнула при этомъ еще глубже.

«А я...—мелькнуло въ ея мысляхъ:—вѣдь, и со мной то-же. Кабы она знала... только никто о томъ и никогда не узнаетъ!..»

— А онъ... что съ нимъ?—жаловалась царевна.—Вѣдь, вотъ

ужъ сколько времени мы ничего, какъ есть ничего про него не знаемъ. На Москвѣ-ли онъ еще, или ужъ уѣхалъ?

— Ну, это-то мы знаемъ,—перебила Маша.—Говорятъ, вотъ и хочетъ уѣхать, да держатъ его, не пускаютъ, въ плѣну онъ... и все изъ-за своего упрямства...

— Да вотъ видишь! А ты тогда что говорила?

— Что-же я говорила, царевна?

— Забыла, видно!.. я-то не забыла. Ты, вѣдь, увѣряла меня, что стоитъ ему повидаться со мною — и онъ откажется отъ своей еретической вѣры и крестится въ вѣру православную!

— Да, это точно я говорила, — вспомнила Маша: — такъ и теперь повторю то-же. Сама поразмысли: кабы ты его попросила хорошенько, онъ бы и не смогъ отказать тебѣ, а, вѣдь, видѣлись-то вы тогда всего на одну малую минутку, ни слова не сказали другъ другу.

Царевна покачала головой и горько усмѣхнулась.

— Нѣтъ, Машуня, видно, я ему пришлась не по нраву. Кабы такъ полюбилъ онъ меня, какъ я его полюбила, не выждалъ-бы онъ этого долгаго, тяжкаго года; кабы любилъ онъ меня—не сталъ-бы упрямиться. Онъ и думать обо мнѣ позабылъ, одно только и въ помышленіи у него, какъ-бы выбраться отсюда скорѣй въ свою басурманскую землю. Видно, тамъ дѣвицы лучше меня, больше ему по вкусу!..

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, не говори такъ, царевна! Что такое мы знаемъ? Можетъ, онъ истомился пуще нашего... пуще твоего,—поправилась Маша.

— Да пойми ты, пойми, Машуня, не могу я такъ больше жить — тошно мнѣ, душно! Ужъ хоть-бы одинъ конецъ, а то что-жъ это такое?

Царевна замолчала и не въ силахъ будучи совладать съ собою, залилась горькими слезами.

Маша глядѣла на нее какимъ-то особеннымъ пристальнымъ, страннымъ взглядомъ, и все больше и больше сдвигались ея тонкія брови. Она, видимо, рѣшалась на что-то. Вдругъ она тряхнула своей русой головкой, въ глазахъ ея загорѣлся прежній огонекъ.

— Нынче-же я пыталась его увидѣть,—прошептала она, блѣднѣя и чувствуя, какъ отъ одной мысли объ этомъ свиданіи застучало, забилось ея сердце, но не отъ страха, не отъ робости...

Остановились царевнины слезы, поднялась она съ мѣста, ухватила Машу руками. На лицѣ изобразился ужасъ, но и въ самомъ этомъ ужасѣ какъ-бы свѣтилась надежда.

— Что-ты? что-ты? Опомнись!—шептала она.— Послѣ того, что было?.. О двухъ ты головахъ, что-ли?

Усмѣхнулась только Маша и тряхнула своей густой косою.

— Голова-то у меня одна, да и той не больно-то жалко. Коли пропадетъ—туда и дорога. Да нѣтъ, зачѣмъ пропадать.

— Вѣдь, слѣдятъ за тобою, Машуня, по пятамъ слѣдятъ, сама знаешь, да и я знаю; вѣдь ужъ, какъ помогъ только Богъ тебя отъ напраслины отстоять, отъ пытки избавить, а тутъ ты сама такъ прямо въ руки своимъ злымъ ворогамъ и лѣзешь. Нѣтъ, нельзя этого—нечего и думать!

Но по лицу Маши царевна видѣла, что она вовсе не желаетъ отступиться отъ своего безумнаго плана. Вздохнула царевна.

Боже милостивый! Чего-бы ни дала она, чтобы имѣть возможность согласиться на предложеніе подруги! Но согласиться нельзя. Тоскуетъ и сохнетъ она по королевичѣ, только, вѣдь, отъ этого ей не меньше жаль Машу, не меньше отъ этого она ее любитъ и за нее страшится.

Поборола она въ себѣ искушеніе, и твердымъ, строгимъ голосомъ проговорила:

— Машуня, чтобы объ этомъ не было между нами рѣчи больше,—я тебѣ запрещаю, слышишь!

— Слышу, царевна,—проговорила Маша:—твоя воля!

Вошли боярышни и оттѣснили Машу отъ царевны. Ушла Маша къ себѣ въ свою свѣтелку, присѣла у окошечка, распахнула его. День чудесный, жаркій и солнечный, точь въ точь такой-же, какой былъ тогда, годъ тому назадъ. Подъ окошечкомъ густая зелень; за деревьями виднѣется заборъ знакомый, а тамъ, за нимъ, за этимъ заборомъ, то же знакомая, памятная дорога.

«Боится... за меня боится, — думаетъ Маша: — добрая она. Вѣдь, кабы не она, не ея любовь ко мнѣ, гдѣ-бы я теперь была? Королевичъ!..»

И вдругъ она вздрогнула, и горячая краска залила ея щеки. Такъ живо, живо, будто сейчасъ это было, припомнила она тотъ вечеръ, когда спрыгнула она съ забора у него въ саду, а онъ ее обнялъ, цѣловалъ, цѣловалъ... Никогда, за весь годъ, не вспоминалось это такъ живо!

Увидѣть его, заглянуть ему въ ясныя очи, услышать его голосъ...

«Она боится... Будь она Машуткой—не пошла-бы, ну а я пойду... пойду для нея и скажу ему: «королевичъ, сдавайся — царевна тебя любитъ, царевна ждетъ тебя». Скажу, взгляну на него, и пусть меня пытаютъ... умру, о немъ думая! Вотъ такъ подумать, такъ себѣ представить... чтобы и смерти не замѣтить!..»

Долгимъ, долгимъ показался этотъ день для Маши; солнце будто поддразнивало ее, не спѣшило закатываться, стояло и палило землю своими лѣтними лучами.

Бродила Маша по терему, все высматривала, выслушивала. Положеніе ея въ теремѣ теперь было незавидно. Кабы не царевна, давно-бы ужъ бѣжала она куда глаза глядятъ. Всѣ-то отъ нея отворачиваются, слова ей по человѣчески не скажутъ, а заговорятъ,—сейчасъ попреки, брань, воровкой называютъ, колдуньей... Сколько слезъ пролила она изъ-за обидъ этихъ! Но теперь ей все равно, брани и обижай ее кто хочетъ, — ничего этого она не замѣчаетъ,—всѣ люди, все въ мірѣ исчезло для нея, не существуетъ... лишь-бы скорѣй вечеръ...

Насталъ, наконецъ, этотъ мучительно ожидавшійся ею вечеръ. Потемнѣлъ теремъ; зажглись огни. Скользнула Маша въ садъ, крадется по дорожкѣ къ забору, вотъ ужъ добралась до того мѣста, гдѣ въ прошломъ году перелѣзала. Вся она горитъ, бьется въ ней каждая жилка и не слышитъ она въ своемъ волненіи, что по пятамъ за нею крадется кто-то.

Она у забора. Уже ухватилась рукою за выдвинувшееся бревно.

— Такъ я и знала! Ахъ ты, поганая дѣвчонка! Ахъ ты колдунья негодная! за старое? Ну, ужъ теперь не отвертишься, ужъ теперь не уйдешь отъ пытки, ни царевна, ни царица за тебя не заступятся! Царица-то вонъ строго-на-строго приказала не упускать тебя изъ виду... Такъ еще не забыла стараго! опять къ дружку милому, къ вору пробираться!

Все это, шипя и задыхаясь отъ злобы, быстро выкрикивала Пелагея, ухватывая Машу и оттаскивая ее отъ забора.

Но первое мгновеніе неожиданности и ужаса уже прошло, страшная злоба подступила къ сердцу Маши, вывернулась она, изо всей что было мочи ударила кулакомъ Пелагею,—куда и сама не знала. Пелагея дико вскрикнула, выпустила ее изъ рукъ и упала на землю.

«Батюшки, ужъ не убила-ли я ее?»—мелькнула мысль у Маши, но тотчасъ-же забылась. Въ одинъ мигъ она была на заборѣ, перелѣзла на ту сторону и пустилась бѣжать какъ стрѣла.

XVI.

Быстро добѣжала она, едва переводя дыханіе, до забора королевичева сада, оглядѣлась,—нѣтъ никого... Только что это: заборъ-то, вѣдь, не тотъ! Прежде былъ низенькій, въ этомъ мѣстѣ бревна старыя разошлись, повылѣзли, ничего не стоило на нихъ вскарабкаться, а теперь стоитъ новый да высокій. Попробовала на него лѣзть Маша,—не можетъ, дрожитъ вся, въ рукахъ, въ

ногахъ силы нѣтъ. Сѣла она у забора и горько заплакала, какъ не плакала ни разу въ жизни.

Что-же теперь будетъ съ нею?

Слышала она, что денно и нощно караулы стрѣлецкіе кругомъ всего двора королевичева ходятъ, вотъ ужъ и заборъ новый поставили,—крѣпко стерегутъ королевича. Найдутъ ее стрѣльцы, поймаютъ, надругаются только надъ нею и пропадетъ она на вѣки, и не узнаетъ, не услышитъ о ней королевичъ. Назадъ бѣжать,—такъ, вѣдь, тамъ что она надѣлала? Пелагея-то чай ужъ подняла на ноги весь теремъ.

А ну коли она и впрямь убила Пелагею? Охъ, отъ одной мысли вся теперь она похолодѣла. Нѣтъ, ни за что, ни за что не вернется она въ теремъ.

Долго сидѣла Маша и плакала, выплакала всѣ свои слезы. По счастью, стрѣльцы не проходили, не нашли ее. Отдохнула она, собралась съ силами и опять полѣзла на заборъ.

Теперь уже не дрожатъ руки и ноги, снова въ нихъ явилась сила прежняя, вернулася къ ней вся ея ловкость.

Охъ, долѣзетъ-ли?

Долго билась Маша и все-же въ концѣ концовъ добралась-таки на заборъ, только всю себя исцарапала, одежду на себѣ изорвала.

Сидитъ она на верху забора, смотритъ внизъ, въ садъ королевича, прислушивается. Все тихо. Темно подъ нею и чудится ей, что виситъ она надъ бездонной пропастью.

А можетъ, и впрямь тутъ глубокій ровъ вырыли? Но вотъ она замѣтила, хоть и темно было, что по близости старая кудрявая береза. Доползла она, по забору, до этой березы, приглядѣлась, одинъ—другой сукъ попробовала, добралась до крѣпкаго, толстаго, прыгнула и повисла на немъ. По березѣ-то куда было легче спускаться! — еще больше только разодрала себѣ одежу. Правая рука вся липнетъ — видно кровь... всю ладонь такъ и жжетъ!

Но все-таки прыгнула Маша въ густую, покрытую росой траву и только тутъ, очутясь на землѣ, она почувствовала, что всѣ силы ее оставляютъ, голова кружится, все будто уходитъ отъ нея куда-то, будто земля разступается подъ нею, и летитъ она не то вверхъ, не то внизъ. Потеряла Маша сознаніе.

Мало-ли, много-ли времени лежала такъ безъ чувствъ дѣвушка, но вотъ она очнулась, сбирается съ мыслями, соображаетъ: гдѣ она? что съ нею? Вспомнила все, вспомнила и слушаетъ, какъ бьется ея сердце. Трава дышетъ на нее душистой прохладой; надъ нею древесныя вѣтки, а тамъ, за ними, темное, звѣздное небо.

Все тихо. Она лежитъ не шевелясь. Вдругъ гдѣ-то неподалеку раздаются голоса.

Голоса все ближе. Это тамъ, за заборомъ... видно, стрѣльцы караульные обходятъ. Счастье-то какое, что не попалась она имъ въ руки! Да, счастье, но все-же, что дѣлать ей теперь? Какъ быть? Гдѣ искать королевича? Не идти-же по саду прямо въ хоромы, на кого еще натолкнешься! Нѣтъ, объ этомъ и думать нечего! Надо здѣсь его ждать. Неужто онъ совсѣмъ забылъ прежнее? неужто никогда сюда теперь не заглядываетъ?

Ночь глубокая. Спитъ теперь королевичъ, не придетъ онъ, до утра ждать надо. Что-то утро скажетъ? И звучитъ у нея въ ушахъ съ дѣтства памятный старушечій голосъ нянюшки, сказывавшій въ теремѣ сказки: «Утро вечера мудренѣе! утро вечера мудренѣе!»

Подъ этотъ далекій старушечій голосъ, подъ эту все повторявшуюся фразу, незамѣтно заснула Маша.

Проснулась она. Солнце ярко свѣтитъ, взглянула она на себя и ахнула: вся-то разорвана, вся растерзана. Растрепалась коса густая; вся правая ладонь ссажена, кровь запеклась и въ то-же время чувствуетъ Маша и голодъ и жажду. Кругомъ все такъ-же тихо, какъ было и раньше. На заборъ она взглянула: такъ и ахнула, вышина-то какая! И увидала, что не доползи до березы, не слѣзь по дереву, разшиблась-бы она въ дребезги. Кругомъ кусты, трава густая. Тихонько, тихонько пробралась она въ кусты, выглянула. Знакомая березовая аллея, никого не видно, не слышно.

Опять вернулась на свое прежнее мѣсто Маша, сѣла въ траву и задумалась.

Боже мой, Боже! Что теперь творится въ теремѣ? Бѣда. За нею навѣрное снаряжена погоня, по всей Москвѣ ее ищутъ.

— Пропала моя головушка!—громко вздохнула Маша.—Ну, да что ужъ теперь жалѣть, на то и шла! А царевна? Плачетъ она теперь, голубушка, меня жалѣючи... никогда намъ больше съ нею не видаться!..

Заплакала Маша. Слезы ея остановили людскіе голоса. Вздрогнула она, прислушалась. Вблизи по аллеѣ идутъ люди, говорятъ, а что говорятъ, понять невозможно. Нѣмцы... взглянуть-бы, можетъ, съ ними королевичъ. Да какъ взглянуть-то? Боязно,—себя выдашь.

И она притаилась, не дышетъ. Прошли мимо. Опять стала плакать Маша, только и плакать ужъ надоѣло, голодъ мучаетъ, во рту совсѣмъ пересохло, языкъ будто деревянный, пить страсть хочется.

Солнце уже высоко стоитъ на небѣ; мучительные часы проходятъ, и съ каждымъ новымъ часомъ все невыносимѣе стано-

вится Машѣ. Лежитъ она въ травѣ, теперь ужъ не плачетъ, голова у ней разболѣлась. Думала, думала, все передумала, и даже мыслей нѣтъ.

Солнце склоняется къ западу; все длиннѣе и длиннѣе становятся тѣни отъ кустовъ и деревьевъ; вѣтерокъ поднялся; прохладнѣе сдѣлалось.

«Долго-ли мнѣ такъ лежать? Не встать-ли? Не идти-ли—вѣдь, можетъ, онъ не только нынче, а и завтра, а и никогда не придетъ сюда. Что-жъ тогда? помирать здѣсь съ голоду?»

Судьба сжалилась надъ Машей. Солнце еще не зашло, какъ она услышала звуки нѣмецкой пѣсни, ужъ знакомой ей, той самой, какую пѣлъ годъ тому назадъ королевичъ. Да и теперь это онъ, его голосъ...

Захватило дыханіе у Маши. Ей-ли не узнать этого голоса! Онъ... онъ это, сердце говоритъ, что онъ... Боже, счастье-то какое! Одинъ-ли? Но теперь все равно!

Она подобралась къ кустамъ, выглянула—и видитъ вдали, по аллеѣ, идетъ королевичъ.

Одинъ онъ! одинъ!

Въ мигъ была она передъ нимъ, и ужъ теперь не онъ ее обнялъ, не онъ сталъ цѣловать ее,—сама она, безсильная и истерзанная, съ глухимъ, мучительнымъ рыданіемъ, почти упала на грудь его и обвила его шею руками.

Онъ долго не могъ въ себя прійти отъ изумленія, радости и страха. Онъ ничего не понималъ.

Когда Маша очнулась, онъ съ восторгомъ, жалостью и ужасомъ глядѣлъ на нее, на ея растерзанную одежду, растрепавшіеся волосы, окровавленныя руки.

Онъ старался понять,—сообразилъ и понялъ наконецъ, почему она такъ растерзана, почему она въ крови.

Какъ только могла она добраться сюда, черезъ этотъ заборъ? Чудная, непонятная дѣвушка!

Онъ готовъ былъ своими слезами смывать кровь съ ея ручекъ.

Что-же теперь дѣлать? Ее надо проводить въ безопасное мѣсто такъ, чтобы никто ее не видѣлъ. Онъ объяснилъ ей, чтобы она ждала его здѣсь, въ кустахъ, что онъ все устроитъ и вернется въ мигъ одинъ. Онъ сталъ прежнимъ Вальдемаромъ, горячимъ, смѣлымъ юношей.

Онъ сообразилъ, что одному трудно будетъ все устроить, надо посвятить въ секретъ Генриха Кранена. На его скромность, на его молчаніе и преданность можно положиться.

Онъ нашелъ Генриха и все разсказалъ ему. Тотъ въ первую минуту просто подумалъ, что королевичъ сошелъ съ ума, до такой степени этотъ разсказъ представлялся невѣроятнымъ.

Рѣшили, что надо дождаться пока стемнѣетъ. Когда наступилъ вечеръ, подъ охраной Генриха, Вальдемаръ провелъ въ свои покои Машу.

Здѣсь она могла вымыться, привести въ порядокъ свою одежу, здѣсь королевичъ самъ накормилъ и напоилъ ее. Это былъ одинъ изъ самыхъ счастливыхъ, самыхъ лучшихъ вечеровъ его жизни.

Королевичъ сказался нездоровымъ; двери были заперты на ключъ. Маша весь вечеръ передавала Вальдемару горячимъ шопотомъ все, что было съ нею въ теченіе этого года до сегодняшняго дня. Говорила она про царевну, но онъ пропускалъ мимо ушей слова эти; до царевны ему ужъ не было никакого дѣла. Онъ любилъ одну Машу. Онъ восторженно глядѣлъ на нее, и казалось ему, что такой чудной красавицы никогда не видалъ онъ въ жизни.

Онъ восхищался ея смѣлостью, страдалъ всѣмъ сердцемъ, слушая объ ея несчастіяхъ. Наконецъ, когда ужъ ничего не осталось ей разсказывать, само собою представился вопросъ: что-же дѣлать дальше?

Въ теремъ вернуться ей невозможно, объ этомъ нечего и думать, это хорошо понимали какъ онъ, такъ и она...

Было ужъ поздно, всѣ въ домѣ заснули, но имъ не до сна. Сидятъ они рядомъ, въ уголку на широкой лавкѣ, окруженные мягкими, алыми подушками. И Маша, и Вальдемаръ, не замѣчаютъ, что крѣпко держатся они за руки и глядятъ другъ на друга влюбленными глазами. Ничего не видятъ они, не знаютъ гдѣ они и что съ ними...

Они въ объятіяхъ другъ у друга, и Маша не говоритъ ему о томъ, что онъ обознался, что онъ принялъ ее, бѣдную простую дѣвушку-сиротку, за царевну. Онъ цѣлуетъ ее, и она отвѣчаетъ ему безумными поцѣлуями... И не слышатъ они, какъ кругомъ, вокругъ нихъ и надъ ними хохочутъ-заливаются бѣсенята.

Бѣсенята сшутили ловкую шутку, и рады—смѣются.

XVII.

Когда ясное солнце заглянуло въ маленькія оконца и разогнало весь сладкій сумракъ ночи, Маша долго была въ забытьи, не могла сознать и понять дѣйствительности.

Но дѣйствительность эта, все громче и громче врываясь, вмѣстѣ съ дневными звуками, въ тихій уголокъ, гдѣ лежала дѣвушка,

наконецъ, призвала ее къ себѣ и показалась ей безъ прикрасъ, въ которыя любовный хмель можетъ нарядить что угодно.

Подняла Маша свою отяжелѣвшую голову съ мягкихъ подушекъ, оглядѣлась испуганнымъ взглядомъ—и горько заплакала. Хоть и была она легкомысленнымъ, безпечнымъ бѣсенкомъ, хоть никто и не внушалъ ей никогда толкомъ понятій о добрѣ и злѣ, но все-же теремная жизнь и плохіе примѣры, слишкомъ часто видѣнные ею, не искоренили въ ней этихъ врожденныхъ понятій.

До сихъ поръ, даже послѣ самыхъ злыхъ своихъ шалостей, отъ которыхъ приходилось страдать людямъ, она никогда не задумывалась надъ своими поступками. Когда Настасья Максимовна или другой кто изъ старшихъ, поймавъ ее на чемъ-либо недолжномъ, съ сердцемъ на нее накидывались и кричали:

— Стыда въ тебѣ нѣтъ!... Совѣсть-то у тебя гдѣ? Куда ты ее спрятала?..

Маша дѣйствительно чувствовала, что ей ничуть не стыдно; что-же касается совѣсти—она чистосердечно могла поклясться, что никуда ее не прятала, такъ какъ рѣшительно не знаетъ и не понимаетъ, какая это такая штука—совѣсть.

Во всю свою жизнь только разъ одинъ испытала она стыдъ. Было это позапрошлымъ лѣтомъ. Гуляла она съ царевной своей и съ баярышнями по саду.

Дѣвочки рѣзвились, бѣгали въ запуски, играли въ «горѣлки», пѣли пѣсни, кричали и визжали такъ, что княгиня Марья Ивановна Хованская, бывшая при царевнѣ, нѣсколько разъ зажимала себѣ пальцами уши и, наконецъ, видя, что этого дѣвичьяго, совсѣмъ еще дѣтскаго веселья не уймешь, и что пуще и пронзительнѣе всѣхъ визжитъ царевна, ушла подальше.

Если Ирина визжала пронзительнѣе всѣхъ, то проворнѣе и задорнѣе всѣхъ оказывалась, конечно, Маша. Вся раскраснѣвшаяся, съ растрепавшейся толстой косою и обезумѣвшими отъ веселья, расширившимися глазами, она кружилась и вертѣлась какъ волчокъ, мчалась какъ птица, едва касаясь ногами густой и мягкой травы лужайки. Она ничего не сознавала, вся охваченная развивавшейся въ ней силой жизни.

Вдругъ, стремясь схватить съ визгомъ спасавшуюся отъ нея подругу, она споткнулась, упала со всего размаху и о попавшійся острый черепокъ сильно разрѣзала себѣ ногу. Кровь такъ и хлынула. Всѣ кинулись къ ней, а царевна, увидя кровь, поблѣднѣла и перепугалась ужасно.

— Матушки! да, вѣдь, она изойдетъ кровью!—наклоняясь надъ Машей, взволнованно говорила Ирина:—бѣгите вы всѣ скорѣе, бѣгите къ княгинѣ Марьѣ Ивановнѣ, гдѣ это она?... зовите ее сюда!.. да воды несите, тряпицъ...

Боярышни со всѣхъ ногъ бросились исполнять царевнины приказанія, а сама Ирина осталась со своей любимицей, которая хотѣла было подняться на ноги.

— Боже тебя избави!—крикнула испугавшаяся ея движенія царевна:—не шевелись, не то кровь еще пуще побѣжитъ... да чулокъ-то, чулокъ сними, а то кровь запечется и тогда не отодрать его будетъ... бѣда!..

Но Маша, поблѣднѣвшая было не столько отъ боли, сколько отъ неожиданности и перепугу, вдругъ вся такъ и вспыхнула и подобрала ногу, очевидно, не желая снимать чулка.

— Что ты?.. Снимай-же скорѣе чулокъ!—волновалась и приказывала царевна.

Маша не слушалась и краснѣла все больше. Тогда Ирина, не говоря худого слова, сама стащила съ нея чулокъ. Въ это время прибѣжали съ кувшиномъ воды двѣ боярышни.

— Ахъ ты, Машутка, что это у тебя на ногѣ-то?—наклоняясь и въ ужасѣ, смѣшанномъ съ отвращеніемъ, крикнула одна изъ боярышень.—Мѣченая ты, да и мѣтка у тебя какая противная,—мышь большущая, съ хвостомъ!.. Стыдъ какой!

Дѣйствительно, у Маши на ногѣ была отмѣтина—родимое пятно большое, черное, густо покрытое какъ-бы шерстью. Оно нисколько не безобразило ея стройную ногу; но еще до жизни въ теремѣ царскомъ, еще у себя дома, при отцѣ съ матерью, всѣ попрекали маленькую дѣвочку этой ея «мышью». Она привыкла смотрѣть на свое странное родимое пятно какъ на что-то позорное, стыдное и, поступивъ въ теремъ, тщательно его ото всѣхъ скрывала. А тутъ вотъ оно и обнаружилось, да, вдобавокъ, при царевнѣ... а царевна смотритъ...

Маша закрыла лицо руками и хотѣлось ей провалиться сквозь землю. Никогда и не думала она, что можно такъ стыдиться, совсѣмъ она со стыда сгорѣла... А боярышни смѣются, дразнятъ «мышью»...

Вотъ теперь, какъ только пришла она въ себя среди королевичевой свѣтлицы, прежде всего почему-то вспомнился ей этотъ случай во всѣхъ подробностяхъ—и то-же чувство стыда, какъ въ тотъ день, охватило ее всю. И, какъ и тогда, захотѣлось ей провалиться сквозь землю, чтобы никто и никогда не увидѣлъ ее больше.

Но мало этого, что то ужъ совсѣмъ невѣдомое, никогда еще въ жизни не испытанное схватило ее за сердце и такъ засосало, что тошно сдѣлалось.

Упала она лицомъ въ подушку и зарыдала.

«Что я надѣлала, что надѣлала!—не думалось, а чувствовалось ею мучительно и невыносимо:—окаянная я, подлая дѣв-

чонка!.. царевна моя... золотая моя, добрая царевна!.. ждетъ она меня... плачетъ... о немъ нѣжно думаетъ... а я!... убить меня мало!.. куда мнѣ дѣваться?.. побѣгу, утоплюсь въ Москвѣ-рѣкѣ— одна мнѣ и дорога!..»

Въ это время дверь скрипнула, вошелъ кто-то. Маша крѣпче уткнулась въ подушку и безнадежнѣе зарыдала. Не видѣла она, но знала, навѣрное знала, кто это вошелъ, и стало ей еще тошнѣе, еще невыносимѣе.

Онъ обнимаетъ ее, старается приподнять ея голову, повернуть къ себѣ ея лицо, онъ тихо, тихо и нѣжно ей шепчетъ:

— Что ты?... не плачь... голубушка... Маша... люблю я тебя...

Она хочетъ освободиться отъ его объятій, она его отталкиваетъ.

— Оставь меня... злой... оставь... противный... уйди... пусти меня... дай мнѣ уйти... утопиться!—сквозь рыданія, съ ненавистью и ужасомъ въ голосѣ твердитъ она.—Уйди... ворогъ мой лютый... душегубецъ!..

Но онъ теперь плохо понимаетъ слова ея, онъ ихъ не слушаетъ.

— Не плачь... я люблю тебя!—повторяетъ онъ.—Люблю тебя... Маша!..

Онъ такъ странно, такъ смѣшно и мило выговариваетъ: «люблю» и «Маша...»

Она подняла голову, взглянула, охватила его шею руками, изо всѣхъ силъ прильнула къ нему—и замерла. Рыданія ея понемногу стихали, ея трепетныя руки все крѣпче его сжимали, и она, забывъ все, знала одно, что никому не отдастъ его, что онъ—ея жизнь, и что никуда она не уйдетъ отъ него, не уйдетъ даже топиться въ Москву-рѣку...

Любовный чадъ не помѣшалъ королевичу подумать о положеніи и, въ то время, какъ Маша еще спала, онъ уже имѣлъ съ Генрихомъ Краненомъ и другими своими молодыми придворными весьма серьезное совѣщаніе. Онъ объяснилъ имъ всю безвыходность положенія юной московской боярышни, свою горячую любовь къ ней, озарившую теперь для него мракъ и томленіе этого безконечнаго, невыносимаго плѣна, и свое твердое намѣреніе спрятать и сохранить нежданную гостью.

Молодые люди не смѣли завидовать своему, любимому всѣми, принцу и поклялись ему сдѣлать все, чтобы спасти прекрасную московитку. Дѣло было трудное, но не заключавшее въ себѣ окончательной невозможности. Ни одинъ изъ датчанъ, а ихъ было въ штатѣ королвича триста человѣкъ, не могъ выдать Вальдемара и ему измѣнить. Правда, «во дворѣ» всегда находилось нѣсколько человѣкъ русскихъ; но эти люди не разъ уже

мѣнялись, очевидно, съ тою цѣлью, чтобы датчане не успѣли ихъ подкупать. Можно было смѣло разсчитывать, что русскіе не обратятъ вниманія, если въ числѣ пажей королевича окажется новый мальчикъ, котораго до сей поры никто еще не видалъ. А дальше что дѣлать—видно будетъ...

До вечера Маша не выходила изъ свѣтлицы, а къ вечеру уже всѣ датчане знали объ ея существованіи, и относились къ ней съ большимъ интересомъ, чуждымъ всякаго недоброжелательства и насмѣшки. Состояніе духа королевича начинало во всѣхъ внушать сильныя опасенія, Вальдемаръ иной разъ, выходя изъ апатіи, въ которую вообще былъ погруженъ, проявлялъ признаки такого отчаянія и бѣшенства, еще болѣе ужаснаго, при полномъ безсиліи, что нельзя было не бояться за его разсудокъ. Это же неожиданное любовное приключеніе, какъ легко было понять, являлось для горячаго молодого человѣка спасительнымъ.

Одинъ только посолъ Пассбиргъ, узнавъ о «московской боярышнѣ», пришелъ въ негодованіе. Человѣкъ старый, съ давно уже остывшей кровью, а потому и строгихъ нравовъ, онъ вовсе не былъ склоненъ снисходительно смотрѣть на молодыя увлеченія, и почиталъ ихъ недостойной человѣка блажью.

Мрачный и недовольный говорилъ онъ своему товарищу Биллену:

— Только этого и не доставало! И такъ уже положеніе крайнее, и неизвѣстно выйдемъ ли мы изъ него... московиты насъ ненавидятъ, и ждутъ только предлога, чтобы всѣхъ насъ перерѣзать. А тутъ мы сами даемъ имъ въ руки этотъ предлогъ!.. да еще какой!

На это Билленъ, малорѣчивый и скромный, но далеко не лишенный здраваго смысла, сталъ ему доказывать, что о высшей нравственности теперь нечего думать, а надо думать лишь о томъ, чтобы принцъ Вальдемаръ не сошелъ съ ума, и не наложилъ на себя рукъ.

— Все это такъ!—воскликнулъ Пассбиргъ:—только какую-то пѣсню вы запоете, когда у насъ найдутъ эту слишкомъ ужъ смѣлую московитку, и прежде всего насъ съ вами потянутъ къ отвѣту! Вы, кажется, забыли, что мы среди варваровъ, которымъ весьма желательно познакомить насъ съ пыткой и кнутомъ.

— Я уже полтора года чувствую себя сидящимъ на раскаленныхъ угольяхъ,—отвѣчалъ Билленъ:—и, признаться, начинаю привыкать къ этому. Опасность нашего положенія такъ велика, и такъ давно существуетъ, что, право, лучше всего о ней не думать. Никакой московитки у насъ не окажется, а хорошенькаго мальчика—пажа наши молодцы, авось, охранятъ, и не выдадутъ...

Пассбиргъ махнулъ рукою.

— Э, да что тутъ толковать!—ворчливо проговорилъ онъ,—конечно, намъ остается закрыть глаза на такое предосудительное поведеніе принца. Я только бы просилъ его уволить меня, во вниманіе къ моимъ сѣдымъ волосамъ и долгой вѣрной службѣ его величеству королю, отъ компаніи новаго пажа: я до подобныхъ маскарадовъ не охотникъ...

Старый Пассбиргъ могъ негодовать и не интересоваться пажемъ, но когда Маша, смущенная до послѣдней степени, съ опущенными глазами и рдѣвшимъ горячей краской лицомъ, появилась въ саду, гдѣ были собраны почти всѣ датчане,—ее встрѣтилъ шопотъ восхищенія.

Конечно, никто, и въ томъ числѣ сама царевна Ирина, никто не узналъ бы ее въ этомъ прелестномъ, стройномъ мальчикѣ. Тяжело было ей разстаться со своей «красою дѣвичьей», густою косою; но она, въ виду очевидной необходимости, рѣшилась на это. Стыдно ей было чувствовать себя въ срамной и куцей нѣмецкой одежѣ: но она побѣдила свой стыдъ и смущеніе.

«Снявши голову по волосамъ не плачутъ!»—сказала она себѣ.

Хуже всего было ей, теремной жительницѣ, почти никогда не видавшей мужчинъ, оказаться въ этой толпѣ нѣмцевъ; но она взглянула на Вальдемара, бывшаго рядомъ съ нею, встрѣтила его влюбленный взглядъ, и забыла все.

А затѣмъ ея вѣрные бѣсенята явились ей на помощь; къ ней вдругъ вернулась вся ея потерянная было веселость, легкомысліе и жадное стремленіе жить настоящимъ, не думая и не заботясь о будущемъ.

Черезъ нѣсколько минутъ ей вдругъ стало смѣшно глядѣть на всѣ эти незнакомыя лица. Въ каждомъ нѣмцѣ она подмѣтила сразу что-нибудь забавное: пуще же всего ей казалась смѣшной ихъ рѣчь, представлявшаяся ея непривыкшему слуху какимъ-то страннымъ птичьимъ гоготаньемъ.

«А, вѣдь, надо, и мнѣ поскорѣе научиться такъ гоготать... не то что-же? они на меня глаза таращутъ, я на нихъ—и ни съ мѣста!..»—подумала она.

XVIII.

Старый посолъ Пассбиргъ, конечно, со своей точки зрѣнія, имѣлъ всѣ основанія обвинять королевича Вальдемара въ предосудительномъ поведеніи и презирать превратившуюся въ пажа московитку. Но если-бы Вальдемару пришлось защищать себя передъ строгимъ судомъ, онъ навѣрное нашелъ-бы себѣ въ оправ-

даніе не мало весьма серьезныхъ, во всякомъ случаѣ, «смягчающихъ» обстоятельствъ.

Что же касается Маши—между нею, какою создали ее природа и обстоятельства, и презрѣніемъ къ ней стараго посла Пассбирга—не было ровно ничего общаго. Бѣсенята или, что въ настоящемъ случаѣ равнозначуще, жизнь сыграла съ нею самую неожиданную и, если можно такъ выразиться, очень серьезную шутку. Послѣдствія этой серьезной шутки оказались сразу: въ одинъ день легкомысленный, шаловливый бѣсенокъ превратился въ любящую и уже только по одной внѣшности легкомысленную женщину. Ея природа оказалась гораздо глубже и богаче, чѣмъ можно было ожидать.

Прошло три-четыре дня. Врожденная нѣжная грація и прелестная женственность Маши, которымъ ничуть не мѣшалъ костюмъ пажа, приворожили къ ней не только королевича, но и всѣхъ его придворныхъ. Всѣ датчане поголовно оказались безъ ума отъ московитки, и не только ради королевича никогда бы ее не выдали, но ужъ и ради нея самой готовы были защищать ее до послѣдней капли крови.

Ея присутствіе явилось какъ бы лучемъ свѣта среди безнадежнаго мрака, въ которомъ чувствовали себя такъ долго эти плѣнники.

Ихъ скучная, однообразная жизнь получила интересъ. До сихъ поръ, вотъ уже сколько мѣсяцевъ, они могли толковать между собою только объ одномъ—о своемъ безвыходномъ положеніи, и разговоры эти, естественно, раздражали ихъ, приводили въ унылое, мрачное настроеніе духа.

Вальдемаръ, уѣзжая въ Московію, набралъ свой штатъ по большей части изъ людей молодыхъ, энергичныхъ, веселыхъ; къ тому-же всѣ эти люди находились между собою въ самыхъ пріятельскихъ, искреннихъ отношеніяхъ.

Долгая московская неволя, замкнутая, лишенная удовольствій и какихъ-либо живыхъ интересовъ жизнь, испортивъ характеры плѣнниковъ, сдѣлавъ ихъ раздражительными, чувствительными ко всякой мелочи, способствовали тому, что они все чаще и чаще стали между собою ссориться и браниться.

Самые лучшіе друзья теперь враждовали. Въ саду было уже нѣсколько крупныхъ стычекъ, и не разъ приходилось болѣе благоразумнымъ силою прекращать поединки.

Только благодаря тому, что королевичъ, обыкновенно ласковый и простой въ обхожденіи со своими приближенными, всеже умѣлъ, когда нужно, быть строгимъ и твердымъ,—дисциплина между датчанами до сихъ поръ почти не нарушалась. Слово Вальдемара, его гнѣвный взглядъ, рѣшительный приказъ про-

должали дѣйствовать попрежнему. Будь у него иной характеръ, эти триста человѣкъ, отъ бездѣйствія и съ отчаянія, давно-бы ужъ дошли до крови.

Но, вѣдь, и самъ королевичъ въ послѣднее время находился въ полной апатіи, которая увеличивалась съ каждымъ днемъ. Онъ ужъ выказывалъ равнодушіе ко всему и просилъ только одного, чтобы его оставили въ покоѣ. Его по цѣлымъ днямъ не было видно, онъ никого не впускалъ къ себѣ, и ссоры между датчанами принимали все болѣе и болѣе смущающіе размѣры.

Все это могло прекратиться только съ полученіемъ свободы, съ извѣстіемъ о возможности скораго возвращенія на родину. Иного лѣкарства отъ такой болѣзни, казалось, не было. Между тѣмъ оно нашлось. Очень дѣйствительнымъ лѣкарствомъ оказалась Маша.

Заинтересовавъ собою рѣшительно всѣхъ, она отвлекла мысли датчанъ отъ ихъ тяжкаго положенія, сдѣлалась почти единственнымъ предметомъ разговоровъ.

Не будь королевича, соперничать съ которымъ никому не могло прійти въ голову, хорошенькая московитка вѣроятно послужила бы причиной еще большихъ ссоръ и вражды; но теперь она всѣхъ соединила, сдѣлалась для всѣхъ этихъ «добрыхъ молодцевъ» «любимой названной сестрицей-красавицей», о которой говорится въ старой сказкѣ.

Добрые датскіе молодцы желали только одного: дружно служить красной дѣвицѣ, баловать ее всѣми мѣрами и охранять отъ всякаго ворога.

Маша сразу не поняла еще, но почувствовала это всеобщее къ себѣ отношеніе «нѣмцевъ», и оно помогло ей легче перенести очень тяжелыя минуты по временамъ все же наплывавшей тоски и невольнаго душевнаго смущенія.

«Вотъ, говорили,—думалось ей въ такія минуты,—говорили: нѣмцы—нехристи, все одно что жидовины, хуже всякихъ воровъ разбойниковъ!.. Анъ нѣтъ, напраслину на нихъ взвели... даромъ, что ходятъ куцые, перья на головѣ носятъ, да и гогочутъ по птичьему, а душа-то у нихъ человѣчья, добрая душа, ласковая»...

Вспомнились ей другіе люди, которыхъ она знала съ дѣтства, всѣ эти важныя теремныя боярыни, мамушки, нянюшки, постельницы, многочисленныя прислужницы, среди которыхъ она жила. Приходили ей на умъ разныя дѣянія этихъ женщинъ, подсмотрѣнныя и подмѣченныя ею,—и она думала о многихъ!

«Вотъ, вѣдь, и Господу Богу вѣруютъ, и въ церковь ходятъ, молятся, что ни слово, то Христа и Владычицу небесную поминаютъ, а злобы-то, злобы сколько у нихъ въ сердцѣ! Чѣмъ же онѣ лучше басурманъ этихъ? не лучше онѣ ихъ, а во сто кратъ хуже!..»

А Пелагея? А дьякъ Тороканов?ъ При мысли о нихъ злоба подступала къ сердцу Маши, и почитала она ихъ не людьми, а звѣрями лютыми.

Но не могла же она не вспомнить и о другихъ! Вотъ мелькаетъ передъ нею багровое, отъ быстро воспламенявшагося и еще быстрѣе стихавшаго гнѣва, лицо Настасьи Максимовны, и ужъ не помнитъ она, сколько бѣдъ пришлось ей испытать отъ быстрой на рѣшенія и слова бранныя постельницы, какъ часто болѣло и горѣло ея ухо отъ безцеремонныхъ къ нему прикосновеній этой блюстительницы теремныхъ нравовъ.

Помнитъ она только тѣ минуты, когда, набурливъ, накричавшись и набранившись вволю, Настаься Максимовна вдругъ сразу стихала, «добрѣла»... Зазоветъ она, бывало, Машу къ себѣ, самыя что ни на есть вкусныя лакомства выложитъ, угощаетъ, а сама все ворчитъ, все ворчитъ:

— Ишь космы-то, космы растрепала!—говоритъ:—стыдись, мать моя, пригладься... у! безстыжіе твои глаза... разгильдяйка!..

А сама возьметъ гребешокъ частый, причесываетъ Машу, волосокъ къ волоску подбираетъ, рукой своей пухлой, мягкой приглаживаетъ, и глаза у нея такіе вдругъ добрые станутъ, улыбается она, будто рублемъ даритъ.

Такъ вотъ и захочется Машѣ кинуться ей на шею, прижаться къ ней, обнять ее крѣпко, громко и звонко цѣловать ее въ круглыя, красныя, горячія щеки... Да куда тебѣ! попробуй только—того и жди она носъ откуситъ!..

Такою вотъ вспоминалась теперь злая постельница Настасья Максимовна, и больно-больно сжималось Машино сердце, а слезы такъ, одна за другою, изъ глазъ тихонько и скатывались.

Потомъ, на смѣну Настасьѣ Максимовнѣ, являлся передъ Машей другой образъ, образъ княгини Марьи Ивановны Хованской. Вѣдь, это она пріютила сиротку, лишившуюся отца съ матерью, не имѣвшую никого изъ близкихъ кровныхъ родныхъ, оставшуюся безъ всякихъ средствъ къ существованію.

Княгиня взяла Машу сначала къ себѣ въ домъ. Но такъ какъ она дома почти не бывала и жила въ теремѣ при царевнѣ Иринѣ, то скоро разсудила, что ужъ коли дѣлать добро, такъ дѣлать его не на половину. Она расхвалила сиротку царицѣ, добилась ея опредѣленія въ теремъ и,—теперь Маша это хорошо понимала,—очень способствовала первому сближенія ея съ царевной.

Сколько людей съ большими достатками обращалось къ княгинѣ съ просьбою пристроить такъ ихъ дочекъ при царевнѣ. Сколько подарковъ и всякаго добра сулило княгинѣ исполненіе такихъ просьбъ!

Но она гнушалась подарками, не потому, что такое чувство

было внушено ей воспитаніемъ, или развито примѣрами окружавшихъ ее людей, а потому, что оно родилось вмѣстѣ съ нею. Всѣ вокругъ нея, за малыми исключеніями, именно пуще всего любили всякіе подарки и ради нихъ готовы были сколько угодно кривить душою.

А вотъ княгиня пренебрегла всѣмъ, даже недовольствомъ сильныхъ людей, и пристроила бѣдную сиротку, за которую некому было попросить, ради которой никто не сулилъ никакихъ благодарностей. Не для людей, а для Бога сдѣлала это княгиня и никогда не оставляла дѣвочку своими милостями.

А Маша-то, Маша! Вѣдь, въ послѣднее время она мысленно никогда иначе и не называла княгиню, какъ «кикиморой»! Сколько разъ подшучивала она надъ нею и ловко, осторожно водила ее за носъ.

Стыдно теперь вспомнить Машѣ о многихъ своихъ продѣлкахъ. Кинуться-бы теперь на колѣни передъ благодѣтельницей, отъ души поплакать, цѣлуя ея руки. И никогда, никогда больше не увидитъ Маша княгиню...

Царевна!!.. Гонитъ отъ себя хорошенькій пажъ королевича Вальдемара этотъ милый и въ то-же время теперь такой жестокій, такой мучительный образъ, и никакъ прогнать его не можетъ...

Царевна, полная своей юной красоты и печали, какъ живая передъ нею. Глядитъ она ей въ глаза невинными, голубыми, заплаканными глазами. Шепчутъ ей столько разъ цѣловавшія ее губки:

«Зачѣмъ ты обманула меня, Машуня? Я ли тебя не любила, я ли тебя не защищала... а ты вотъ что со мною сдѣлала!.. Сама разожгла мое сердце... сама мнѣ привела «его»... отравила меня его поцѣлуями,—и насмѣялась надо мною, отняла у меня жизнь и счастье!..»

Что отвѣтить Машѣ на эти беззвучныя, но слышныя ея сердцу рѣчи? Какъ вынести взглядъ этихъ заплаканныхъ глазъ?.. Щемитъ сердце, будто клещами желѣзными давитъ голову...

Но что это? блеснули гнѣвомъ глаза царевны, злая, презрительная усмѣшка искривила ея губы. Уже не жалобно шепчетъ, а кричитъ она:

«Подлая, низкая дѣвчонка! вѣдь, безъ меня ты-бы давно пропала, искалѣчили-бы тебя, уморили смертью лютою, медленною на пыткѣ!.. Туда-бы тебѣ и дорога! Нѣту въ тебѣ ни стыда, ни совѣсти, тварь ты гадкая, злая, неблагодарная!.. воровка ты, предательница!..»

Слушаетъ, жадно слушаетъ Маша эти бранныя рѣчи, и вотъ поднимаются ея глаза и прямо, смѣло смотрятъ теперь въ гнѣвные глаза царевны...

«Неправда, неправда!—звучитъ изъ глубины ея души громкій голосъ.—Не воровка я, не обманщица, не предательница!.. Не тебя, царевна, не тебя, а себя я только обманывала!.. Объ одной тебѣ думала, для тебя съ огнемъ играла, а какъ и когда опалила на вѣки свое сердце, не вѣдаю!..»

«Отравили, вишь, тебя, царевна, его поцѣлуи!.. Ну а я — нешто истуканъ, нешто изъ камени я сдѣлана?.. Цѣловалъ онъ тебя подъ моей охраною въ теремномъ переходѣ!.. такъ, вѣдь, и меня цѣловалъ онъ допрежъ тебя, въ тотъ-же вечеръ зачарованный, подъ звѣзднымъ пологомъ лѣтняго неба, въ тихо шептавшей, душистой древесной чащѣ... Я смѣялась»...

«Я смѣялась, царевна, и тебя ему поминала... и къ тебѣ привела его... и сторожила васъ, слушая ваши поцѣлуи, ваши нѣжные вздохи... а была-ли ты въ моемъ сердцѣ, царевна? Али думаешь, что у тебя у одной сердце?!..»

«Я здѣсь, царевна! Не боясь лютыхъ мученій, не боясь смерти, я сюда прибѣжала... истерзанная, голодная, вся въ крови, какъ загнанный звѣрь, я къ нему кинулась, прося его защиты... себя я не помнила отъ муки и радости, и все-жъ ему о тебѣ говорила... Не только сюда, а и на край свѣта для тебя-бы я побѣжала!.. Ну такъ вотъ, не для меня, а для себя, прибѣги-ка сюда, царевна! возьми его у меня, коли можешь, ни слова не скажу я, не стану за него вступаться...»

Кипитъ сердце Маши, и ничего ужъ она понять не въ силахъ... Извергъ она, змѣя подколодная, безстыдная и безсовѣстная дѣвчонка! пусть такъ... видно, оно такъ и есть взаправду... Только-бы онъ пришелъ поскорѣе, только-бы покрѣпче прижалъ къ своему сердцу, только-бы шепнулъ, такъ странно, такъ смѣшно и сладко: «люблю я тебя, Маша»!

Онъ входитъ—и все забыто, исчезла царевна, будто никогда ее и не бывало... Какъ хорошо и отрадно быть змѣею, какое блаженство змѣиному сердцу слушать милый голосъ, повторяющій: «люблю я тебя, Маша!»

— На долго-ли?.. Скоро разлюбишь!.. Когда?

— Никогда! Вѣдь, не вѣчно будемъ мы сидѣть въ этой клѣткѣ... увезу я тебя въ мою родную датскую землю...

Онъ старается объяснить ей, какъ хорошо тамъ, у него на родинѣ. Тамъ люди добрѣе, справедливѣе, тамъ жизнь иная, счастливая.

Но Маша не слушаетъ его и не понимаетъ. Она не хочетъ, не можетъ думать о томъ, что будетъ. Пусть тамъ, за чудной этой минутой—мракъ, мученіе, смерть...

Теперь—свѣтъ, блаженство, жизнь,—вѣчность это или мгновеніе?..

XIX.

Рано утромъ раздался стукъ въ дверь опочивальни княгини Марьи Ивановны Хованской. Но княгиня уже давно не спала. Въ ея годы и вообще-то не крѣпко и не долго спится, а тутъ еще все это послѣднее время всякія печальныя мысли одолѣвать стали.

Вокругъ, въ теремѣ, да и во всемъ царскомъ дворцѣ, творилось неладное. Наблюденія княгини и опытность ея твердили ей, что настали черные дни и врядъ-ли пройдутъ скоро.

Царю все хуже да хуже, на царицѣ лица нѣтъ. Иринушка такова стала, что краше въ гробъ кладутъ.

Часто, часто задумывается теперь княгиня, качаетъ головою и глубоко вздыхаетъ.

«Помирать, видно, надо,—шепчетъ она:—да и то сказать: всему свой часъ, всему свое время. Пожили—видно, съ насъ и довольно».

Несмотря, однако, на эти разсужденія, все-же нѣтъ спокойствія, нѣтъ на душѣ примиренія съ неизбѣжностью.

Пожили! то-то вотъ и есть, что пожили слишкомъ мало! Куда это вся жизнь ушла, куда ушла молодость? Какъ въ годы юные казалось, что настоящей жизни, настоящихъ радостей еще не было, что онѣ впереди, придутъ, будутъ, такъ вотъ и теперь, до самаго этого послѣдняго печальнаго времени, все казалось, все ждалось что-то свѣтлое, счастливое въ будущемъ. А текущій день, настоящая минута—представлялись только кануномъ какого-то всю жизнь жданнаго праздника...

Видно, праздникъ-то истинный, жизнь настоящая, свѣтлая не здѣсь, а тамъ!..

Стала задумываться княгиня, и только вотъ эти новыя мысли помогали ей временами успокоиваться, сдерживать въ себѣ подступавшую къ сердцу тоску. И опять, вотъ и теперь рано вставъ и помолясь горячо Богу, она настроила себя на примиряющія со всѣми невзгодами мысли.

Услыша стукъ въ дверь, она вспомнила, что дверь на задвижкѣ. Подошла, отперла ее и увидѣла передъ собою Настасью Максимовну.

У постельницы было такое перепуганное, багровое лицо, что княгиня, забывъ всѣ свои благоразумныя мысли, перепугалась и схватилась за сердце, такъ оно вдругъ шибко у нея застучало.

— Матушка, что такое... что случилось?—воскликнула она, даже зажмуриваясь, какъ передъ неминуемымъ, готовымъ сейчасъ обрушиться на голову ударомъ.

— Не пугайся, княгинюшка, Богъ съ тобой, успокойся...— едва переводя духъ, заговорила Настасья Максимовна, замѣтивъ впечатлѣніе, произведенное ею на княгиню.—Бѣда случилась!.. Машутка у насъ пропала!..

— Ахъ, чтобъ тебя!—невольно вырвалось у княгини и отъ сердца отступило.

Не того совсѣмъ она ждала, не того боялась. Однако, не безъ интереса и не безъ нѣкотораго все же волненія, спросила она:

— Какъ пропала, куда же она могла дѣваться?

— А вотъ и пропала, совсѣмь сбѣжала Машутка; не знаю, что теперь и дѣлать. Черезъ заборъ перелѣзала, еще вечоръ это было, до ночи. Да ты уже заперлась, тревожить тебя не хотѣла, думала, авось, негодница сама одумается, вернется, анъ нѣтъ!

Говоря это, Настасья Максимовна багровѣла все больше, раздувала ноздри и глаза выкатывала.

Она, очевидно, была взволнована до послѣдней степени: въ ней боролись и страхъ за озорную дѣвчонку, и бѣшенство на нее, и жалость,—однимъ словомъ, самыя разнородныя чувства.

— Да говори ты, матушка, толкомъ, не разобрать мнѣ тебя, какъ это такъ черезъ заборъ убѣжала, да не вернулась? Кто видѣлъ?—спрашивала княгиня.

— Пелагея видѣла, она ее выслѣдила до самаго забора, а какъ та лѣзть на него стала, она и стащила ее.

— Ну?!

— Стащила, а Машутка какъ ударитъ ее изо всей силы въ грудь, Пелагея то и свалилась. Дѣвчонка на заборъ, да и тягу... Едва отдышалась Пелагея...

— Ну, ужъ онѣ тоже и наскажутъ!—съ недовѣріемъ перебила княгиня.—Машутка-то не боецъ-мужикъ, ужъ будто можетъ такъ ударить, чтобы человѣка съ ногъ свалить! Пелагея-то баба злая, знаю я ее, ее давно изъ терема выгнать надо. Я ужъ объ этомъ и подумывала. А на Машутку, знамо дѣло, она всякую напраслину взвести готова. Темно тутъ что-то, Настасья Максимовна...

— А я нешто лыкомъ шита?—съ сердцемъ воскликнула постельница.—Нешто я все это въ толкъ взять не могу, что плететъ Пелагея? Да вотъ, вишь ты, весь теремъ перерыла—нѣтъ Машутки, нѣтъ и доселѣ! Какъ она ее ударила, слѣда-то не видно, а Машутки все-жъ таки нѣту!

— Пождемъ до полдня, можетъ, и окажется.

— Пождать—пождемъ, другого что-жъ теперь дѣлать!—привычно развела Настасья Максимовна руками.—Я только доложить тебѣ; царевна неравно будетъ ее спрашивать.

— Такъ, такъ!—говорила княгиня.—Охъ, ужъ эта мнѣ Машутка!.. своего горя поверхъ головы, а тутъ еще съ нею...

Прибралась княгиня, пошла къ царевнѣ, да какъ взглянула на нее—руки опустились. Совсѣмъ не въ себѣ Иринушка: глаза горятъ, то засмѣется вдругъ невпопадъ, то заплачетъ.

Ласкаетъ ее Марья Ивановна, уговариваетъ, разспрашиваетъ, не болитъ-ли гдѣ, не желаетъ-ли чего царевна?

Но Иринушка отвѣчаетъ:

— Ничего не болитъ у меня, мамушка, ничего мнѣ не хочется,—скучно только. Отчего скучно—сама не знаю. Мѣста себѣ не нахожу...

— Такъ въ садикъ-бы вышла, прошлась, теплынь нынче, благодать.

— Охъ, и гулять не хочется. А вотъ что, мамушка, прикажи ко мнѣ позвать Машуню.

— Ладно!

Уходитъ княгиня отъ царевны, да и не возвращается.

Посылаетъ Ирина за Машей то того, то другого. Возвращаются посланныя ею съ однимъ и тѣмъ-же отвѣтомъ: нигдѣ нѣтъ Маши, никакъ отыскать ее не могутъ.

Ждетъ царевна и волнуется все больше и больше.

Наконецъ, сама она вышла, обошла весь теремъ, въ садъ спустилась—нѣтъ нигдѣ Маши. Спрашиваетъ она о ней, никто ничего сказать не можетъ. И въ то-же время замѣчаетъ она, что всѣ какъ-то странно на нее смотрятъ.

Кинулась Ирина къ княгинѣ Марьѣ Ивановнѣ, дрожитъ вся, рыдаетъ.

— Гдѣ Маша?—спрашиваетъ она.

Княгиня видитъ, что нельзя больше скрывать.

— Нѣтъ ее, убѣжала она, твоя любимица!

Царевна такъ зарыдала, будто сердце разрывалось на части.

— Неправда это, скрываете вы отъ меня... своего добились, схватили, видно, ее, повели на пытку!.. Это звѣрь этотъ... дьякъ... Тороканов!.. да какъ-же онъ смѣетъ, вѣдь, мнѣ обѣщали, что ее не тронутъ... Какъ-же мнѣ-то не сказались?!.

Она, какъ безумная, побѣжала отыскивать царицу. Нашла ее и, вся въ слезахъ, въ изступленіи молила и въ то-же время требовала, чтобы отдали, возвратили ей любимицу.

Но царица ничего не знала и не понимала, въ чемъ дѣло. Призвали княгиню, призвали Настасью Максимовну и, наконецъ, привели къ царицѣ Пелагею.

Ирина изъ всѣхъ этихъ докладовъ и разсказовъ должна была убѣдиться, что ея предположеніе не вѣрно. Тутъ не Тороканов, не на пытку повели Машу.

Такъ что-же? Одинъ ужасъ замѣнился другимъ. Значитъ, она не послушалась, значитъ, она такъ и сдѣлала, какъ предлагала. Убѣжала она къ нему. Отчего-же не возвращается?!

— Послать людей искать эту дѣвчонку по городу!—распорядилась царица:—чтобы нынче-же ее нашли, не булавка, вѣдь...

— Да и куда-же это она могла убѣжать?—обратилась царица къ дочери:—ты вотъ ея заступница. Ты меня увѣряла, что дѣвчонка эта ни въ чемъ неповинна, ну такъ и объясни намъ, знать ты должна—гдѣ она?

Ирина опустила голову и молчала. Что могла она отвѣтить.

— Вотъ и выходитъ,—продолжала царица уже совсѣмъ раздраженнымъ голосомъ:—что мы съ Марьей Ивановной, потакая тебѣ, въ дурахъ остались. Не надо было тебя слушаться. Ишь невидаль какая, сокровище, золото! Всѣ вишь на нее напраслину взводятъ, всѣ вишь виноваты, она одна права!..

— Слушай ты, Марья Ивановна,—повернулась царица къ княгинѣ Хованской.—Какъ отыщутъ эту негодницу, такъ ты ее запри. Мнѣ доложи, а я дьяка пошлю поспрошать ее. Нѣтъ ужъ, Иринушка, плачь ты не плачь, хоть рѣкой разлейся, а объ Машуткѣ чтобы и слуху не было! Вонъ ее изъ терема, не то она всѣхъ тутъ перепортитъ...

Совсѣмъ разгнѣвалась царица. Ирина убѣжала къ себѣ, кинулась на кровать, никого къ себѣ не подпускала и горько-горько плакала.

Вечеръ пришелъ и принесъ только одно извѣстіе, что несмотря на поиски во всѣ стороны разосланныхъ надежныхъ людей, Машутки не отыскали. Какъ въ воду канула. И на слѣдующій день, и еще черезъ день—нѣтъ Машутки.

Царевна все перебрала въ умѣ своемъ. Представлялись ей всякіе ужасы: растерзали Машу злыя собаки по дорогѣ, захватили ее воры-разбойники, душегубцы, утопилась она отъ страха погони.

Долго не могла остановиться царевна на мысли о томъ, что Маша жива, что она тамъ, во дворѣ королевича, что она съ нимъ, но пришлось, перебравъ все, дойти и до этой мысли. Если она жива и только не могла до сихъ поръ вернуться—это еще самое для нея лучшее. Только, вѣдь, не вытерпитъ она, никакіе стражники ее не остановятъ, раньше или позже, а явится она въ теремъ себѣ на погибель. И нѣтъ никакой возможности дать ей знать, чтобы она не возвращалась.

Томится бѣдная царевна безъ извѣстій о Машѣ и королевичѣ, и пуще того еще страшится она, чтобы Маша не вернулась.

Ото всѣхъ сторонится царевна, ни съ кѣмъ не ведетъ бесѣды: «да», «нѣтъ»,—только отъ нея и слышатъ.

Вечеръ придетъ, запрется она у себя въ опочивальнѣ, упадетъ на колѣни передъ кіотомъ съ образами и жарко, горячо молится. Такъ чиста, горяча ея молитва, такъ непорочно ея юное измученное сердце, что не смѣютъ Машины бѣсенята шепнуть ей: «А Машуня-то твоя у королевича, обнимаетъ она его, цѣлуетъ... Обманула тебя твоя Машуня, насмѣялась надъ тобою».

Прячутся бѣсенята въ темный уголъ, забираются на теплую изразцовую лежанку, изукрашенную хитрымъ рисункомъ, невиданными цвѣтами и травами, и оттуда съ изумленіемъ и грустью глядятъ на молящуюся царевну.

XX.

Была середина лѣта, послѣднія числа іюня. Погода стояла знойная: засуха, ни малѣйшаго дуновенія вѣтра, солнце медленно плыветъ по безоблачному небу, и жжетъ, палитъ своими лучами.

По Москвѣ бѣшеныя собаки бѣгать стали и кусаться. На людей, мѣстами, моръ пошелъ: схватитъ человѣка, кричитъ онъ, корчится, холодѣетъ, а черезъ нѣсколько часовъ, глядишь, и Богу душу отдалъ. Рѣшили, что болѣсть ту завезли купцы изъ Персіи, а другіе увѣряли, что все это просто съ духоты, отъ зноя—спадетъ зной, пойдетъ дождикъ, и всю болѣсть лихую какъ рукой сниметъ. Пока-же не принимали никакихъ мѣръ противъ заразы, да и не знали, какія тутъ мѣры помочь могутъ.

Вообще надъ Москвою, и помимо удушающаго зноя и заразы, чувствовалось что-то тяжелое, тревожное. Ходили недобрые слухи о болѣзни царской, о самозванцахъ. Ближніе бояре, знавшіе доподлинно въ чемъ дѣло, съ каждымъ днемъ смущались все болѣе и болѣе.

Они хорошо понимали, что царская болѣзнь не къ доброму концу. Еще весною, въ апрѣлѣ, призывали иноземныхъ дохтуровъ—Венделина Сибелисту, Іогана Белоу, да Артмана Грамана и допрашивали ихъ: какая болѣсть у царскаго величества, отъ какихъ причинъ та болѣсть случается и что отъ того бываетъ?

Ученые иноземцы, осмотрѣвъ государя, объявили, что желудокъ, печень, селезенка, по причинѣ накопившихся въ нихъ слизей, лишены природной теплоты, и отъ того понемногу кровь водянѣетъ и холодъ бываетъ; отъ того-же цынга и другія мокроты бываютъ.

Назначили лѣченье: давали государю составное ренское вино, приправляя его разными травами и кореньями, запретили ужинать, пить холодныя и кислыя питья.

Лѣкарство это не оказало никакого дѣйствія. Тогда, 14 мая,

прописали другой чистительный составъ; но и онъ не принесъ облегченія. Въ концѣ мая врачи говорили ближнимъ боярамъ, что желудокъ, печень и селезенка безсильны «отъ многаго сидѣнья, отъ холодныхъ напитковъ и отъ меланхоліи, сирѣчь кручины».

Венделинъ Сибелиста, будто оправдываясь, доказывалъ, что онъ давно уже просилъ великаго государя измѣнить образъ жизни, ходить пѣшкомъ какъ можно больше и, главное, не кручиниться, быть веселымъ.

— А что-жъ ты, дохтуръ, зелья-то цѣлебнаго государю не далъ отъ кручины?—спрашивали бояре.—Тоже толкуютъ: не кручинься, будь веселъ! Ну, такъ и дай отъ кручины зелье!

— Нѣту такого зелья въ натурѣ!—объявилъ Сибелиста:—и коли вамъ старыя бабы говорятъ, что онѣ то зелье знаютъ, не вѣрьте имъ: врутъ ваши старыя бабы!

— То-то оно и есть! а ты вотъ выдумай снадобье цѣлебное отъ кручины, отъ бѣды всякой, да тогда и говори... А то что-жъ ты за дохтуръ нѣмецкій, ученый, коли великаго государя, за его-же тебѣ царское жалованье, вылѣчить не можешь!

Сибелиста обидѣлся, отошелъ отъ бояръ и, потолковавъ съ товарищами, прописалъ царю составной сахаръ и велѣлъ мазать желудокъ бальзамомъ.

Начались у Михаила Ѳедоровича головныя боли, да такія, что по днямъ онъ не могъ головы поднять съ подушки. Составили 5 іюня порошокъ. Отъ того-ли порошку, или такъ, само собою, головѣ полегчало. Царь сталъ вставать съ кровати, проходилъ въ «комнату», бесѣдовалъ съ боярами; но ликъ его былъ теменъ, глаза потухли; онъ съ трудомъ двигалъ опухшими ногами, дышалъ тяжело и, поговоривъ немного, чувствовалъ большую усталость.

Дохтуры строго-на-строго запретили докладывать ему о чемъ-либо непріятномъ, наказывали ничѣмъ не раздражать его, да и сами бояре видѣли, что волновать его невозможно, что отъ каждой малости ему становится хуже.

А тутъ, какъ нарочно, дѣла все такія непріятныя, и не знаютъ бояре, какъ вывернуться, какъ быть безъ царскаго наказу.

Начать хоть-бы съ королевича! Вѣдь, это онъ, басурманъ упрямый, жестоковыйный, и есть главная причина болѣсти государя, его злой кручины. Не сдается, хоть ты тутъ что! Да еще и на хитрости всякія поднимается...

Вотъ пришелъ къ боярамъ Петръ Марселисъ и докладываетъ:

— Вчерашняго 24 числа іюля заболѣлъ королевичъ Вальдемаръ Христіанусовичъ болѣзнью сердечною, сердце у него щемитъ и болитъ, что скушаетъ пищи, или чего изопьетъ, то сейчасъ назадъ...

— Съ чего-жъ бы это?—спрашиваютъ бояре.

— Ясное дѣло, съ кручины!—отвѣчаетъ Марселисъ.—Если

скорой помощи не подать королевичу, то можетъ быть съ нимъ ударъ или огневая болѣсть и можетъ онъ помереть...

Марселису ничего на это не сказали бояре, отпустили его и тотчасъ-же послали за вѣрнымъ человѣкомъ, Миной Алексѣевымъ, который, въ послѣднее время, былъ приставленъ для наблюденій за тѣмъ, что дѣлается на королевичевѣ дворѣ.

Мина Алексѣевъ, явясь передъ боярами и узнавъ въ чемъ дѣло, сказалъ:

— Петръ Марселисъ либо самъ обманываетъ, либо его обманули. Вчерашняго 25 числа королевичъ кушалъ въ саду; маршалокъ, чашникъ, дворяне и ближніе люди при немъ были всѣ веселы, ѣли и пили попрежнему. Послѣ ужина королевичъ гулялъ въ саду долго со своимъ любимымъ рындой, ловкимъ такимъ и пригожимъ изъ себя парнишкой, а маршалокъ звалъ къ себѣ въ хоромы чашника, дворянъ и ближнихъ людей всѣхъ, подчивалъ ихъ, пили вино и романею, и ренское, и иное питье до второго часу ночи. Всѣ были пьяны, играли въ цымбалы. Дохтура я сегодня на дворѣ у королевича не видалъ...

— Ну и пускай себѣ пьянствуютъ и играютъ въ цымбалы!— рѣшили бояре и отпустили Мину Алексѣева, наказавъ ему слѣдить хорошенько и обо всемъ своевременно докладывать.

Было другое дѣло, путанное-перепутанное, съ которымъ надо было непремѣнно скорѣе кончить, а какъ кончить, того бояре не знали. Дѣло это касалось ждавшаго своей участи самозванца Лубы и привезшаго его польскаго великаго посла Стемпковскаго, который все громче и громче начиналъ жаловаться на свое положеніе и требовалъ царскихъ рѣшеній. Жаловался онъ тоже на пристава.

Разобрали бояре дѣло. Оказалось, что приставъ упрекалъ Стемпковскаго за то, что пріѣхавшіе съ нимъ литовскіе купцы ходятъ пьяные поздно ввечеру и ночью по улицамъ, продаютъ вино и табакъ, царскаго величества людей безчестятъ, бранятъ, саблями сѣкутъ, шпагами колятъ.

Стемпковскій не вѣрилъ такимъ дѣйствіямъ литовскихъ купцовъ, и въ то-же время просилъ, чтобы имъ было позволено торговать виномъ и табакомъ, такъ какъ въ договорѣ написано, что имъ вольно торговать всякими товарами.

Приставъ отвѣтилъ:

— Стыдно такіе товары товарами называть и въ перемирныхъ записяхъ писать: литовскіе купцы сами знаютъ, что по царскому указу за такіе товары всякимъ людямъ чинятъ жестокое наказаніе, носы рѣжутъ, кнутомъ бьютъ безъ пощады и въ тюрьмы сажаютъ.

Далѣе посолъ жаловался боярамъ:

— Хорошо было у насъ царскаго величества посламъ, князю Львову съ товарищами: сенаторы ихъ почитали, къ себѣ на пиры звали и дарили. Жили они въ Польшѣ, какъ у родныхъ братьевъ, на поле тѣшиться ѣздили и дома у себя тѣшились; а мнѣ здѣсь, великому послу, только позоръ и безчестье, живу взаперти, никуда выѣхать не пускаютъ, людей моихъ не пускаютъ на дворъ къ королевичу датскому...

— Это никакъ невозможно безъ царскаго наказу!—отвѣчали ему бояре:—его величество боленъ, за болѣзнью мало изъ своихъ царскихъ покоевъ выходитъ, а какъ его величеству Богъ дастъ облегченіе, то думный дьякъ станетъ докладывать ему о всякихъ дѣлахъ...

Но царскому величеству облегченія не было. Хоть и прошли головныя боли, да слабость и отеки все увеличивались.

Наступило двѣнадцатое іюля, день именинъ государя. Послѣ почти совсѣмъ безсонной ночи Михаилъ Ѳедоровичъ все-же пересилилъ свою слабость, поднялся чуть свѣтъ, облачился въ праздничную одежду и вышелъ къ собравшимся боярамъ, чтобы идти съ ними къ заутрени.

Бояре со страхомъ и въ великомъ волненіи ожидали его выхода. Почти всѣ были увѣрены, что онъ не въ силахъ будетъ идти въ церковь.

Но вотъ царь появился и, при взглядѣ на него, всѣ оживились. Велика сила духа! благочестивый царь въ сознаніи святости этого дня и необходимости присутствовать на Богослуженіи нашелъ крѣпкое оружіе противъ тяжкаго своего недуга, окончательно разрушавшаго его тѣло.

На душѣ у него было свѣтло и ясно. Все мрачное, безнадежное, смущавшее и отравлявшее покой этого времени—отошло, забылось. Вѣдь, вотъ давно, давно ужъ, поглощенный заботами, тоской и страданіями, царь совсѣмъ не замѣчалъ, не ощущалъ того, что въ прежніе счастливые годы составляло для него радость жизни. Для него ужъ не существовала природа, не свѣтило солнце, не красовалась земля въ своемъ лѣтнемъ нарядѣ.

А теперь глядитъ онъ, и видитъ: утреннее солнце пронизало росписныя, разноцвѣтныя стекла узкихъ, длинныхъ оконъ палаты и играетъ на знакомыхъ, когда-то такъ нравившихся предметахъ.

И теперь все это опять нравится, а главное—солнце! Хочется скорѣе на воздухъ—тамъ небо синѣетъ, тамъ шелестятъ листвою деревья, жужжатъ пчелы...

Дѣтски-счастливая улыбка озарила блѣдное лицо царя. Онъ оглядѣлъ собравшихся бояръ, низко ему кланявшихся и поздра-

влявшихъ его съ радостнымъ днемъ, со днемъ его ангела. Поклонился и онъ на всѣ стороны, благодарилъ вѣрныхъ слугъ своихъ и совѣтниковъ, со многими облобызался.

Всѣ эти давно знакомыя лица, вчера еще надоѣдливыя и совсѣмъ ненужныя, казались ему теперь близкими, милыми, дорогими, будто онъ свидѣлся съ ними послѣ долгой разлуки.

Никто не смѣлъ его спрашивать о здоровьи, такъ какъ вопросы эти его раздражали; но онъ самъ объявилъ громко:

— Смилостивился Господь надо мной, послалъ для моего праздника успокоеніе моему недугу. Давно я такъ хорошо себя не чувствовалъ... Пойти скорѣе въ церковь, послѣ молитвы-то еще, Богъ дастъ, поздоровѣю...

Однако, пройдя нѣсколько шаговъ, онъ почувствовалъ въ ногахъ такую слабость, что оперся на руку оказавшагося рядомъ съ нимъ Шереметева и такъ, медленно передвигая ноги, дошелъ до церкви. Взойдя на свое царское мѣсто, онъ тотчасъ-же опустился на колѣни, и всѣ замѣтили, что онъ на колѣняхъ не стоитъ, а сидитъ. Такъ оно и было и, вдобавокъ, начавъ горячо молиться, царь самъ не замѣчалъ положенія своего тѣла.

Молитва окончательно оторвала его отъ дѣйствительности, перенесла въ иной міръ, разорвала связь между нимъ, воспарившимъ духомъ, и слабымъ, истощеннымъ долгой болѣзнью тѣломъ, которое лежало теперь согнувшись, подавляемое собственной тяжестью.

Царь уже не различалъ звуковъ церковнаго пѣнія и словъ читаемой молитвы. Онъ слышалъ совсѣмъ иные звуки, полные дивной, никогда еще неслыханной имъ гармоніи. Будто гдѣ-то высоко, надъ сводами церкви, шла тоже церковная служба, только совсѣмъ иная, полная великой, божественной тайны...

И хотѣлось царю проникнуть въ эту тайну, вслушаться въ непонятныя слова согласнаго хора. Еще одно усиліе парящаго духа—и онъ поднимется выше, все разслышитъ, все пойметъ...

Но вдругъ внизу, глубоко внизу будто упало что-то, раздался будто звукъ порвавшейся струны—и царь почувствовалъ, что онъ стремительно летитъ внизъ.

Страшная боль загрызла его сердце, всѣ его внутренности. Онъ крикнулъ не своимъ голосомъ, пошатнулся на правую сторону, и упалъ, ударясь головою о рѣзную рѣшетку. Со всѣхъ сторонъ къ нему подбѣжали бояре. Пѣніе внезапно замолкло. На всѣхъ лицахъ былъ ужасъ...

XXI.

Михаила Ѳедоровича, находившагося безъ чувствъ, пронесли въ царскія палаты, прямо въ опочивальню. Царица, сама совсѣмъ больная, едва волочившая ноги, громко плакала и причитала, обливая слезами блѣдное, неподвижное лицо мужа. Собравшіеся врачи едва уговорили ее дать имъ раздѣть царя.

— Одно скажите мнѣ, Христа ради,—вопила царица:—живъ-ли онъ, живъ или ужъ нѣтъ его, желаннаго?

Венделинъ Сибелиста сталъ увѣрять, что царь еще живъ, что вотъ онъ скоро придетъ въ себя, чтобы царица не плакала и удалилась, ибо ея слезы и крики только могутъ повредить больному. Но Евдокія Лукьяновна не двигалась съ мѣста, пока наконецъ царь не открылъ глаза и не пошевелился. Тогда она сама, почти уже потерявъ сознаніе, допустила увести себя въ теремъ.

Между тѣмъ Михаилъ Ѳедоровичъ, отъ разныхъ обкуриваній и примочекъ, вышелъ изъ своего оцѣпенѣнія, получилъ способность говорить. На вопросы дохтуровъ, что онъ чувствуетъ, онъ отвѣтилъ:

— Ничего не чувствую, нигдѣ не болитъ, только дышать трудно. Окна отворите, двери... дайте воздуху.

Его приказаніе было тотчасъ-же исполнено.

— Оставьте меня всѣ, оставьте одного,—прошепталъ царь и махнулъ рукою.

Всѣ вышли. Дохтуры и самые приближенные остались въ сосѣднемъ покоѣ, размѣстились кто гдѣ и прислушивались, затаивъ дыханіе, не произнося ни слова, только переглядываясь.

Царь скоро, очевидно, заснулъ. Сибелиста рѣшился осторожно прокрасться въ опочивальню, подобрался къ кровати, прислушался и затѣмъ, возвратясь, объявилъ:

— Дышетъ изрядно, авось, отойдетъ. Силъ у него мало; не надо было идти въ церковь.

Бояре шопотомъ заговорили:

— Какъ тутъ не идти въ такой день!

— И, вѣдь, какъ бодръ да радостенъ казался! отъ сердца отлегло...

— А тутъ вотъ какое горе!..

Стали приставать къ дохтурамъ, выпытывать: опасенъ или нѣтъ, встанетъ-ли?—дохтуры качали головами.

— Какъ знать! Всяко бываетъ, можетъ, еще и поправится не надолго, а все-же опасенъ, ничего хорошаго не видно.

Вмѣсто веселья и радости этого всегда такого торжествен-

наго дня, въ царскихъ хоромахъ было теперь великое уныніе и затишье. Объ именинныхъ столахъ никто не думалъ.

Скоро Венделина Сибелиста позвали къ царицѣ, ей тоже стало совсѣмъ худо.

Время отъ времени ближніе бояре, то одинъ, то другой, осторожно входили въ опочивальню, глядѣли на царя, прислушивались и уходили. Онъ все спалъ. Проспалъ онъ почти до самаго полдня, но вотъ пошевельнулся и застоналъ.

Сибелиста еще не возвратился отъ царицы, а потому дохтуръ Граманъ кинулся къ царю, подалъ ему лѣкарство.

Михаилъ Ѳедоровичъ лѣкарство выпилъ, а на вопросъ дохтура, какъ онъ себя чувствуетъ, отвѣтилъ:

— Ничего. Всѣ уходите!

Онъ, очевидно, собирался съ мыслями и еще не ясно понималъ, гдѣ онъ и что съ нимъ такое. Наконецъ, сознаніе всего, что было, вернулось ко нему.

«Что-же это, помираю я?—подумалъ онъ.—Неужто помираю въ день такой?».

Онъ сталъ вслушиваться въ свои ощущенія, безсознательно желая рѣшить вопросъ, откуда идетъ смерть, гдѣ она стучится? Но къ изумленію все внутри его было тихо, никакой боли. Напротивъ, онъ чувствовалъ даже большое наслажденіе лежать такъ тихо на своей широкой мягкой кровати: пріятная слабость оковывала всѣ его члены; въ головѣ стало совсѣмъ ясно; въ сердцѣ не было ни тоски, ни томленія, никакія тревожныя, черныя мысли не смущали.

Царь перевелъ глаза къ открытому окну, изъ котораго лились солнечный свѣтъ и тепло лѣтняго полдня. Онъ разслышалъ гдѣ-то вдалекѣ птичье щебетанье; потомъ ужъ близко, у самаго окна заворковали голуби; какой-то неопредѣленный гулъ доносился издалека.

Царь жадно вслушивался во всѣ эти звуки, и его снова, какъ утромъ, потянуло на воздухъ, къ солнцу, къ теплу. Онъ сдѣлалъ движеніе, чтобы встать и подойти къ окну, но встать не могъ, такъ велика была слабость. Съ большимъ усиліемъ приподнялъ онъ руки и тихонько хлопнулъ въ ладони. Сейчасъ-же нѣсколько человѣкъ показались у двери.

— Я не выйду,—тихимъ голосомъ произнесъ царь:—хоть мнѣ и гораздо лучше. Пошлите къ царицѣ сказать, что мнѣ лучше, да пусть все будетъ какъ положено... За столы, за столы идите, пируйте, чтобы все было какъ всегда!..

Его приказаніе было исполнено, но пированье вышло печальное; даже первѣйшіе любители покушать и попить за царскимъ столомъ, и тѣ держали себя въ этотъ день какъ постники.

Около восьми часовъ вечера, незадолго до солнечнаго заката, изъ опочивальни государя стали, все громче и все чаще, раздаваться стоны. Снова собрались дохтуры со своими вновь приготовленными лѣкарствами, но царь отказывался теперь принимать эти лѣкарства, громко стоналъ и охалъ.

— Охъ, внутренности всѣ терзаются!—стоналъ онъ:—то огнемъ жжетъ, то холодъ по всѣму тѣлу разливается!..

Прошло еще съ полчаса, мученія не ослабѣвали.

— Позовите патріарха,—приказалъ царь:—царицу зовите, царевича съ бояриномъ Морозовымъ...

Скоро въ опочивальнѣ появилась сухая, согбенная фигура патріарха. Онъ благословилъ царя и тихимъ, старческимъ голосомъ сталъ говорить ему обычныя рѣчи, подавать надежду на милость Божію, на выздоровленіе.

Царь слушалъ его, или вѣрнѣе, старался слушать внимательно, старался проникнуться его словами,—но между тѣмъ видно было, что неотпускающія мученія время отъ времени становятся такъ сильны, что поглощаютъ все его вниманіе.

Вотъ появилась, едва держась на ногахъ, царица. Ее всѣми мѣрами уговорили не выказывать своего отчаянія, поселя въ ней надежду, что царь еще не при смерти, что болѣзнь можетъ отпустить и что пуще всего не слѣдуетъ пугать его.

Царица удерживала слезы. Она почти упала въ кресло у кровати, рядомъ съ патріархомъ и обратила на него умоляющій взоръ. Тотъ отвѣтилъ ей спокойнымъ и въ то-же время строгимъ взглядомъ, и взглядъ этотъ, болѣе чѣмъ всѣ уговариванія, помогъ ей сдержать рыданія, подступавшія къ горлу.

Наконецъ, появился и шестнадцатилѣтній царевичъ Алексѣй Михайловичъ. Его юное красивое лицо было блѣдно, на глазахъ стояли, не смѣя выкатиться, слезы.

Онъ робко подошелъ къ отцовской кровати, припалъ губами къ холодной, опухшей рукѣ царя и замеръ.

Царь съ легкимъ стономъ приподнялъ другую руку и положилъ ее на голову сына.

— Гдѣ-же Борисъ Ивановичъ?—прошепталъ онъ.

— Я здѣсь, государь, — отвѣтилъ Морозовъ, подходя ближе къ кровати.

Царь посмотрѣлъ на красивое, блѣдное, еще болѣе блѣдное отъ густой, обрамлявшей его, черной бороды лицо своего ближняго боярина, но не сказалъ ни слова.

Не одинъ царь смотрѣлъ теперь на Морозова, всѣ взгляды были обращены на это, нѣсколько мрачное, блѣдное лицо съ почти совсѣмъ опущенными глазами, которые отъ того вѣрно и опускались, что бояринъ боялся выдать ими свои мысли. А можетъ,

и мыслей особенныхъ у боярина въ этотъ часъ не было, онъ давно уже приготовился къ этому дню, давно уже видѣлъ, что царя скоро не станетъ и что ему, а никому другому, придется играть первую роль въ государствѣ. Давно уже, день за днемъ, шагъ за шагомъ, подготовилъ онъ себѣ эту роль, и былъ спокоенъ.

Прошло еще съ полчаса времени, усилились страданія царя, снова заметался онъ на кровати, снова застоналъ; потомъ стихли его стоны, ему опять стало спокойнѣе и лучше. Вдругъ онъ заговорилъ хоть и тихимъ, но твердымъ голосомъ:

— Чувствую я, пришелъ конецъ мой. Теперь никакія ужъ лѣкарства не нужны мнѣ, все кончено. Смерть пришла,—я это знаю,—такъ угодно Богу.

Онъ слабымъ движеніемъ руки поманилъ къ себѣ царицу. Она, уже не въ силахъ сдерживать рыданій, упала головой на грудь его.

— Не плачь, жена,—какъ будто издалека откуда-то слышала она надъ собой его голосъ.—Зачѣмъ плакать? Господь знаетъ что дѣлаетъ. Время пришло... Прости, жена, коли я былъ виноватъ въ чемъ передъ тобою, отпусти мнѣ... Сынъ!

Морозовъ подвелъ Алексѣя и помогъ ему опуститься на колѣни передъ кроватью.

— Сынъ мой!—уже инымъ, громкимъ и звучнымъ голосомъ произнесъ царь:—благословляю тебя на царство! Богу угодно отозвать меня къ себѣ, да будетъ Его святая воля! Юнъ ты, неопытенъ, но и самъ я такимъ-же какъ ты юношей принялъ царство. Богъ не оставилъ меня, нашелъ я руководителей и защитниковъ, и тебя не оставитъ Богъ, коли ты Его забывать не будешь... Бояринъ нашъ, Борисъ Ивановичъ,—все тѣмъ-же голосомъ, громкимъ и звучнымъ, продолжалъ царь, глядя на Морозова:—слушай: тебѣ, боярину нашему, приказываю я сына, и со слезами говорю...

Голосъ его дрогнулъ и изъ глазъ брызнули слезы...

— Какъ намъ ты служилъ и работалъ, съ великими усердіемъ и преданностью, оставя домъ и покой пекся объ его здоровьѣ и научалъ страху Божьему и всякой премудрости, жилъ въ нашемъ домѣ безотлучно въ терпѣніи и безпокойствѣ тринадцать лѣтъ, и соблюдалъ его какъ зеницу ока... такъ и теперь служи...

Голосъ царя оборвался. Онъ тяжело вздохнулъ, замолчалъ и закрылъ глаза. Въ опочивальнѣ сдѣлалась полная, глубокая тишина, даже царица остановила свои рыданія. Чувствовалось надо всѣми нѣчто торжественное и таинственное, будто дуновеніе иного міра пронеслось...

Вечеръ быстро надвигался, темнота сгущалась, все ярче и ярче загорались огоньки лампадъ передъ образами, и долго всѣ оста-

вались въ этой торжественной тишинѣ, не шевелясь, не замѣчая времени.

Царь то лежалъ неподвижно, то начиналъ стонать. На него находило забытье и ему представлялось что-то свѣтлое, но неясное, и хотѣлось разглядѣть и никакъ разглядѣть того было невозможно. Вотъ онъ совсѣмъ пересталъ сознавать дѣйствительность, забылъ о томъ, что его окружаютъ близкіе люди. Ему казалось, что онъ одинъ, совсѣмъ одинъ, среди невозмутимой тишины, и вспомнилась вся жизнь ему отъ самаго дѣтства. Снова переживалъ онъ всѣ радостныя и печальныя событія этой жизни. А время шло...

Наступило два часа ночи. Очнулся Михаилъ Ѳедоровичъ, и будто какой-то голосъ, ясный и знакомый, шепнулъ ему: «Пора! Пришло!» Онъ открылъ глаза, взглянулъ на патріарха и прошепталъ:

— Отхожу, желаю исповѣдаться и пріобщиться Святыхъ Тайнъ...

Его желаніе было тотчасъ-же исполнено...

Принявъ Святые Дары, онъ совсѣмъ успокоился. Лицо его теперь не выражало никакого страданія; оно будто просвѣтлѣло. Еще нѣсколько минутъ,—и только глубокій, тяжелый вздохъ показалъ, что все кончено...

XXII.

Несмотря на теплую, ясную лѣтнюю погоду, тишина и унынie царили въ Кремлѣ и вокругъ Кремля.

Давно ужъ московскіе жители унылымъ звономъ колоколовъ были извѣщены о переселеніи въ вѣчность благочестиваго государя царя и великаго князя Михаила Ѳедоровича, давно ужъ въ тяжеломъ, дубовомъ гробу, покрытомъ червчатымъ бархатомъ и драгоцѣнною парчею, стояло царское тѣло въ дворцовой церкви.

Церковные дьяки денно и нощно читали у гроба псалтырь съ молитвами.

По всѣмъ городамъ, монастырямъ и церквамъ разосланы были гонцы съ приказомъ чинить по царѣ шестинедѣльное поминаніе. Въ города къ митрополитамъ, архіепископамъ, епископамъ, въ монастыри—къ архимандритамъ и къ игуменамъ отправилъ патріархъ грамоты съ приказомъ быть на Москву къ царскому погребенію немедля часу. Но пока соберутся всѣ, пройдетъ еще не мало времени.

Къ концу первой недѣли наглухо закрыли гробъ царскій... Все происходило такъ, какъ повелось изстари.

На третій день послѣ кончины царя, въ царскихъ палатахъ

былъ на патріарха, ближнихъ бояръ и духовенство поминальный столъ, во время котораго отпѣвали панафиду надъ кутьею.

Черезъ три недѣли былъ другой, такой-же поминальный столъ и вотъ начали съѣзжаться со всѣхъ сторонъ, къ царскому погребенію, оповѣщенныя лица.

Ночь царскаго погребенія, — такъ какъ, по обычаю, царей хоронили въ ночное время,— была назначена. Уже съ вечера безчисленныя толпы московскихъ людей со всѣхъ концовъ города стремились къ Кремлю; множество было и пріѣзжаго изъ городовъ и изъ уѣздовъ люда.

Площадь, залитая народомъ, изо всѣхъ силъ старавшимся пробиться впередъ, поближе къ пути отъ царскаго дворца до Архангельскаго собора, представляла необычайное зрѣлище.

Въ тишинѣ безлунной, звѣздной ночи эти многія тысячи людей, тѣсно прижатыхъ другъ къ другу, являлись какимъ-то громаднымъ, безформеннымъ, копошащимся существомъ, таинственнымъ и страшнымъ. Глухой гулъ, исходившій отъ этого существа, имѣлъ въ себѣ что-то зловѣщее.

Еще до выноса царскаго тѣла было далеко, а уже глухо гудѣвшее таинственное существо начало поѣдать само себя. То здѣсь, то тамъ раздавались отчаянные вопли и крики; люди мяли и давили другъ друга. Проникшіе въ толпу воры и душегубцы, пользуясь въ темнотѣ всеобщей растерянностью и необыкновенной тѣснотою, нагло обирали своихъ сосѣдей, а въ случаѣ чего давили ихъ и душили. Стрѣльцы, обязанные слѣдить за порядкомъ, ничего не могли сдѣлать и только самихъ себя оберегали.

Наконецъ, заунывные звуки колоколовъ возвѣстили, что царскій гробъ поднятъ изъ дворцовой церкви и шествіе тронулось. Толпа присмирѣла и затихла.

Въ тепломъ, безвѣтряномъ ночномъ воздухѣ доносилось издали церковное пѣніе; запылали безчисленныя свѣчи въ рукахъ идущихъ. Показались сначала, въ траурномъ облаченіи, діаконы, попы, пѣвчіе дьяки. Вотъ и гробъ царскій, несомый духовенствомъ. Позади идутъ: патріархъ, юный царь Алексѣй Михайловичъ, бояре, за ними ведутъ царицу, за царицей царевны, боярыни и боярышни, всѣ въ черномъ, потомъ все населеніе царскаго дворца и терема, мужчины и женщины вмѣстѣ, безъ чину, тоже всѣ въ черномъ, съ громкими воплями и рыданіями.

Ярко горятъ факелы по обѣимъ сторонамъ широкаго пути, оставленнаго для печальнаго шествія, за этими факелами вплотную — стрѣльцы, стражники, едва сдерживающіе напоръ безчисленной толпы.

Медленно, шагъ за шагомъ, подвигается шествіе. Стоящіе въ

первомъ ряду за стрѣльцами, стиснутые, сдавленные люди почти не могутъ дышать, но зато хорошо видятъ.

Почти у самаго входа въ Архангельскій соборъ, рядомъ со стражниками, озаренная свѣтомъ факеловъ группа — нѣсколько человѣкъ въ иноземной воинской одеждѣ. Впереди всѣхъ выдѣляется стройная, красивая фигура королевича Вальдемара. Не просилъ и не хотѣлъ онъ участвовать въ шествіи, но потребовалъ, чтобы его съ ближними къ нему людьми пропустили къ собору—посмотрѣть на перенесеніе царскаго тѣла.

Въ виду настоятельности его требованій и соображеній ближнихъ бояръ о томъ, что теперь, по кончинѣ царя, невѣдомо еще что будетъ, какъ повернется королевичево дѣло, ему было разрѣшено занять мѣсто у собора.

Стоитъ онъ, гордый и красивый, съ поблѣднѣвшимъ лицомъ и сверкающими глазами, опираясь на рукоятку своей шпаги. Блеститъ и искрится при свѣтѣ огня его дорогая одежда, горятъ алмазы, яхонты и рубины тяжелой цѣпи, надѣтой поверхъ всего на его шеѣ; тихо колышатся большія страусовыя перья надъ его головою.

Ужъ діаконы и пѣвчіе дьяки вошли въ соборъ и оглашаютъ его своды звуками канона.

Вотъ тяжелый, закрытый гробъ царскій. Глаза королевича мрачно сверкнули; невольное злобное чувство изобразилось на лицѣ его. Не можетъ онъ побороть этого чувства, ради этого чувства онъ здѣсь. Кипитъ его сердце, вихрь мыслей проносится въ головѣ его.

«Такъ вотъ что отъ тебя осталось, мой мучитель!—думается ему.—Не встанешь ты теперь изъ этого гроба, чтобы терзать меня. Что я тебѣ сдѣлалъ? За что ты надругался надо мною? За что превратилъ въ тяжелую, позорную неволю лучшее время моей жизни»?

Но вдругъ на него какъ-бы пахнуло дыханіе смерти. Онъ вздрогнулъ и глаза его опустились. Наполнявшая его ненависть мгновенно замерла и откуда-то, изъ глубины сердца, поднялось совсѣмъ иное чувство.

Ему вспомнилось доброе, ласковое лицо царя въ первое свиданіе, потомъ вспомнилось это-же лицо, такое печальное и страдающее, вспомнились глубокіе царскіе вздохи въ отвѣтъ на его твердость, на его доказательства и увѣренія въ томъ, что онъ, королевичъ, не можетъ отступиться отъ своей вѣры, и если царь не желаетъ исполнить подписаннаго имъ договора, то онъ требуетъ честнаго отпуска. Показалось Вальдемару, будто онъ снова услышалъ этотъ глубокій вздохъ, будто вздохъ этотъ несся отъ гроба, — и онъ внезапно понялъ то, повидимому,

непостижимое противорѣчіе, которое было виною всѣхъ полученныхъ имъ на Москвѣ оскорбленій и его долгой возмутительной неволи.

«Онъ не могъ!—сказалъ себѣ королевичъ.—Пусть Богъ проститъ ему... и я прощаю!..»

Онъ низко наклонилъ голову передъ царскимъ гробомъ, и какъ-то тихо и грустно сдѣлалось въ его сердцѣ.

Когда онъ поднялъ глаза, передъ нимъ была закутанная въ черное женская фигура, которую двѣ такія-же фигуры вели подъ руки. Сзади себя онъ разслышалъ чей-то голосъ, говорившій:

— Это царица! Ишь, бѣдная, убивается! Сама больно недужна, наживетъ недолго!..

А это кто? Кто глядитъ на него, на королевича, изъ подъ чернаго покрывала?

Онъ еще не успѣлъ сообразить и понять, какъ мучительный женскій крикъ огласилъ воздухъ, — и стройная, закутанная въ черное одѣяніе фигура упала безъ чувствъ на руки окружавшихъ.

Все могла вынести царевна Ирина,—только не эту нежданую встрѣчу.

XXIII.

Съ тѣхъ поръ какъ пропала Маша, съ тѣхъ первыхъ дней вѣчнаго волненія, тревоги и ожиданія, царевна какъ-бы перестала жить. Она даже извѣстіе о кончинѣ отца встрѣтила будто въ бреду, не понявъ хорошенько его значенія. Она громко плакала и рыдала, но дѣлала это машинально и не давала себѣ никакого отчета въ новомъ постигшемъ ее горѣ. Она приходила къ больной матери, которая только и говорила теперь о смерти, слушала ее и оставалась безучастною, будто камень лежалъ у нея на сердцѣ.

Даже молитва не шла на умъ. Подолгу стояла она на колѣняхъ передъ кіотомъ съ образами, клала земные поклоны, шептала слова молитвы, но не находила въ этомъ прежней отрады, не лились слезы, облегчавшія страданія, да и страданій какъ будто уже не было. Камень лежалъ на сердцѣ, давилъ — и только.

Время отъ времени она справлялась, не слышно-ли что-нибудь о Машѣ? не нашли-ли ее? Но и это дѣлала она почти машинально. Кажется, явись теперь Маша передъ нею—и ей будетъ все равно. Ей казалось, да и не то что казалось, а она была

совсѣмъ увѣрена въ этомъ, что жизнь ея кончена, все прошло, навсегда исчезло все, чѣмъ жила она до сихъ поръ.

Вечеромъ она ложилась въ кровать, засыпала мертвымъ сномъ, безъ сновидѣній, просыпалась утромъ безъ мыслей, одѣвалась, ѣла, пила, разговаривала съ княгиней-мамой, со своими боярышнями, занималась обычными рукодѣльями — но ничто это не выводило ее изъ окаменѣнія.

Точно такъ же собралась она и на отцовскія похороны. Кругомъ нея, какъ подняли изъ дворцовой церкви царскій гробъ и понесли, раздавались вопли и рыданія. Младшія ея двѣ сестры-царевны заливались непритворными слезами—у нея же ни одной слезы изъ глазъ не выкатилось. Врядъ-ли она понимала даже, что такое значитъ этотъ гробъ и кто въ немъ лежитъ.

Она двинулась за матерью, рядомъ съ сестрами и боярынями, и шла, повидимому, совсѣмъ спокойно, съ застывшимъ выраженіемъ въ лицѣ, съ глазами, устремленными куда-то прямо передъ собою.

Она никого и ничего не видѣла, но вдругъ, когда она подходила къ Архангельскому собору, въ ней произошла непонятная перемѣна. Сама не зная почему, она вздрогнула всѣмъ тѣломъ, на щекахъ ея вспыхнула давно уже, давно сбѣжавшая съ нихъ краска.

Она подняла глаза, будто ища среди лицъ, бывшихъ передъ нею и освѣщенныхъ факелами, кого-то.

Кого ей было искать? Кого ей было ждать встрѣтить?

Она не думала о королевичѣ. Она не знала, гдѣ онъ и что съ нимъ, никто не сказалъ ей, что она его увидитъ, да и трудно было ей узнать его — вѣдь, она ни разу не видѣла Вальдемара въ его обычномъ нарядѣ. Передъ нею, въ ея воспоминаніи— странная высокая женская фигура, на одинъ мигъ ей мелькнувшая, освѣщенная лампадкой, приподнятою Машей... а потомъ мракъ...

Но теперь ее вдругъ охватило то самое чувство, которое наполнило ее тогда, въ тотъ далекій, безконечно далекій вечеръ, въ темномъ теремномъ корридорѣ. Ея глаза остановились на стройной фигурѣ молодого красавца, надъ головой котораго тихо шевелились страусовыя перья.

Все въ ней застыло; широко раскрылись глаза ея.

Это онъ! Развѣ когда-нибудь могла она забыть это на мгновеніе мелькнувшее передъ нею, при свѣтѣ Машиной лампадки, лицо? Вѣдь, его покрывала она ненасытными поцѣлуями! Развѣ можно забыть это? Въ чемъ-бы ни былъ онъ, гдѣ-бы ей ни явился—не можетъ она не узнать его, не можетъ ошибиться— это онъ!

Но лицо его спокойно и холодно. Вотъ онъ взглянулъ на нее, онъ ее видитъ, видитъ—и не узнаетъ ее!..

Острая, мучительная боль впилась ей въ сердце; она дико вскрикнула, все передъ ней закружилось, все исчезло во мракѣ и туманѣ.

XXIV.

Царевну Ирину пришлось отнести обратно въ теремъ. Княгиня Хованская, перепуганная до полусмерти этимъ обморокомъ, едва нашла въ себѣ силу сообразить, что-же теперь дѣлать, и приказала какъ можно скорѣе звать дохтура. Настасья Максимовна, вся багровая и заплаканная, окуривала царевну жжеными перьями и спрыскивала ее съ уголька, увѣряя, что навѣрно это кто-нибудь изъ толпы взглянулъ чернымъ глазомъ на царевну. На этотъ разъ она была совершенно права: сглазилъ царевну хоть и не черный глазъ, а равнодушный взглядъ королевича Вальдемара.

Больная царица такъ была погружена въ свою горесть и въ свои тѣлесныя страданія, что даже не замѣтила происшествія съ дочерью и ея отсутствія въ церкви.

Царскій гробъ поставили внутри собора близко алтаря и началось погребальное пѣніе. Отпѣли царя, опустили гробъ въ склепъ, и отверстіе покрыли каменной плитою. Принесли кутью, надъ которою патріархъ сказалъ молитву. По окончаніи молитвы онъ трижды отвѣдалъ кутью, затѣмъ поднесъ ее царицѣ, Алексѣю Михайловичу, царевнамъ, всѣмъ боярамъ и разныхъ чиновъ людямъ, находившимся въ церкви.

Погребеніе было окончено.

Царицу тоже пришлось нести, такъ какъ сама она уже не могла двигаться.

Всѣ стали расходиться.

Подъячіе, получившіе изъ приказа въ огромномъ количествѣ деньги, завертывали въ бумагу рубли, полтины и полу-полтины, наложили ихъ на подводу, вывезли на площадь и стали всѣмъ раздавать деньги.

Въ народѣ шелъ говоръ о томъ, что для царскаго преставленія уже выпущены изъ тюремъ всѣ колодники.

— Хоть-бы подождали, выпустили-бы ихъ послѣ погребенія,— разсуждали многіе:—а то вонъ слышали сколько на площади ограбленныхъ, сколько убитыхъ: болѣе ста человѣкъ снесли. Чьихъ рукъ это дѣло? вѣстимо, тѣхъ же самыхъ колодниковъ, душегубцевъ.

— Ну, да ужъ что тутъ толковать! Такъ изстари повелось, такъ тому и быть должно. А въ такой день безъ смертей, да безъ увѣчья тоже никакъ невозможно!..

Воцарился надъ Москвой и надъ всей православной Русью тишайшій, благолѣпный юноша Алексѣй Михайловичъ. Народъ московскій издавна любилъ царевича, готовъ былъ служить ему вѣрой и правдою. Одно только смущало: черезчуръ юные годы царя.

— Юнъ былъ и Михаилъ Ѳедоровичъ взойдя на престолъ,— говорили въ народѣ:—да, вѣдь, тогда рядомъ съ нимъ кто находился? Отецъ его, мудрый патріархъ Филаретъ Никитичъ, а теперь кто заправлять всѣмъ будетъ?

— Бояринъ Морозовъ. Вишъ ты, самъ царь, на смертномъ одрѣ, передалъ ему всю власть и всю силу!..

— Коли самъ, такъ ужъ что тутъ!.. значитъ, такъ тому дѣлу и быть, по послѣдней царской волѣ!

Однако же, послѣдняя царская воля хоть и признавалась ненарушимой, все же приводила многихъ въ великое смущеніе.

Боярина Морозова въ народѣ недолюбливали, какъ-то инстинктивно ему не довѣряли, чувствуя въ немъ не слугу царскаго, а слугу своей собственной гордыни, своего ненасытнаго честолюбія.

Ближніе бояре Михаила Ѳедоровича тоже ходили носъ повѣся, вспоминали да взвѣшивали всѣ прежнія обстоятельства, всѣ тѣ случаи, когда боярину Морозову не по нраву кто что сдѣлалъ. Бояринъ злопамятливъ, ничего не пропуститъ, ничего не забудетъ. Кланялись ему ниже пояса, въ глаза заглядывали, и трепетали.

Покуда Борисъ Ивановичъ ничѣмъ себя не проявлялъ: со всѣми былъ ласковъ, работалъ съ утра до вечера надъ дѣлами государскими...

Явился во дворъ королевича Шереметевъ, и не то отъ себя, не то отъ новаго царя, то есть боярина Морозова, повелъ сначала съ посломъ Пассбиргомъ рѣчь о томъ, что теперь, молъ, времена перемѣнились, у боярина-де Морозова съ другими боярами была бесѣда о королевичѣ. Бояринъ Морозовъ находитъ, что съ его королевскимъ высочествомъ Вальдемаромъ Христіанусовичемъ было поступлено неладно, такъ чтобы король Христіанусъ за это на царское величество государя Алексѣя Михайловича и бояръ гнѣва не имѣлъ. Его царское величество, любя королевича отъ всего сердца, желаетъ ему всякаго добра и хочетъ имѣть его своимъ братомъ.

Пассбиргъ, задержавъ Шереметева, пошелъ сначала одинъ къ королевичу и передалъ ему слова боярина.

Неопредѣленная усмѣшка мелькнула на лицѣ Вальдемара.

— Что-же вы на это скажете, принцъ?—спрашивалъ Пассбиргъ.

— А ничего не скажу,—отвѣтилъ Вальдемаръ, сдвигая брови.

— Этотъ бояринъ Морозовъ,—продолжалъ посолъ:—человѣкъ иного сорта, чѣмъ тѣ бояре, съ которыми мы до сего времени имѣли дѣло; онъ поумнѣе ихъ, посмышленѣе, сразу понялъ, что за такое поведеніе, за такой пріемъ, какой намъ былъ здѣсь сдѣланъ покойнымъ царемъ, можно очень отвѣтить. Этотъ Морозовъ боится гнѣва королевскаго и, понимая хорошо всѣ обстоятельства, желаетъ пуще всего, ради спокойствія государства, которое теперь особенно нуждается въ спокойствіи, избѣгнуть всякихъ столкновеній. Просто на просто боится онъ войны, ну, и потому положеніе наше теперь, слава Богу, измѣнилось. Если вы желаете, принцъ, то можете настоять на исполненіи договора, заключеннаго Петромъ Марселяисомъ. Теперь, при юномъ царѣ, вамъ предстоитъ здѣсь дѣйствительно первое мѣсто, насъ же не станутъ задерживать, отпустятъ. Дѣло наше представлялось въ безвыходномъ положеніи, никто не пришелъ намъ на помощь, а вотъ кончина царя все перевернула... Шереметевъ желаетъ васъ видѣть.

— Такъ зовите его!—все съ той же неопредѣленной улыбкой сказалъ Вальдемаръ.

Шереметевъ предсталъ предъ королевичемъ, который сразу замѣтилъ въ немъ большую перемѣну. Теперь этотъ царедворецъ, державшій себя въ послѣднее время довольно гордо, выказалъ предъ Вальдемаромъ всѣ знаки особеннаго почтенія. Даже говорить онъ сталъ не прежнимъ, а какимъ-то новымъ, вкрадчивымъ голосомъ. По всему было видно, что обстоятельства измѣнились. Вальдемаръ изъ плѣнника, съ которымъ перестали даже церемониться, опять превратился въ великую особу.

Шереметевъ повторилъ все, что уже сказалъ Пассбиргъ, только особенно упиралъ на то, что молодой царь чувствуетъ къ королевичу братскую любовь и непремѣнно хочетъ съ нимъ породниться.

Наконецъ, онъ прямо рѣшился высказать свой собственный взглядъ на дѣло.

Онъ доказывалъ королевичу, что у покойнаго царя были совѣтники, старые и опытные, пользовавшіеся неограниченнымъ царскимъ довѣріемъ; эти совѣтники могли легко измѣнять какъ мнѣнія, такъ и чувства царя; новый-же государь-юноша слушается одного лишь боярина Морозова, который съ дѣтства къ нему приставленъ, да и то слушается его онъ не всегда, имѣетъ свою волю. Коли онъ такъ любитъ королевича, то отъ королевича и зависитъ получить надъ царемъ первенствующее вліяніе, быть къ нему самымъ близкимъ человѣкомъ, отстранить отъ него дядьку Морозова, который во всякомъ дѣлѣ склоненъ больше хлопотать о своихъ выгодахъ, чѣмъ о царскихъ.

— Такъ! Такъ!—проговорилъ Вальдемаръ, очень хорошо соображая и понимая, въ чемъ дѣло.

«Вы всѣ тутъ боитесь этого Морозова,—думалъ онъ:—вамъ бы хотѣлось, чтобы я его уничтожилъ, а потомъ вы и меня ѣсть станете... О, поскорѣй-бы отсюда!»

Но онъ ничѣмъ, конечно, не выдалъ Шереметеву своей мысли: онъ сказалъ, что желалъ-бы повидаться съ царемъ и проситъ извѣстить, когда царь можетъ принять его.

По уходѣ Шереметева, королевичъ прошелъ въ свою дальнюю свѣтелку, гдѣ сидѣлъ, его дожидаясь, любимый пажъ.

— Знаешь-ли, кто былъ у меня?—спросилъ королевичъ пажа.

— Знаю, бояринъ Шереметевъ. О чемъ-же говорилъ онъ?

— А вотъ о чемъ: царь непремѣнно хочетъ, чтобы я женился на царевнѣ Иринѣ... Онъ, видишь-ли, очень любитъ меня и не желаетъ разставаться со мною!..

Нѣжныя щеки пажа поблѣднѣли, темные, прекрасные глаза его заволоклись какъ-бы туманомъ.

— Ну, что-жъ,—прошепталъ грустный голосокъ:—я такъ и зналъ, такъ оно и должно было кончиться. Будь счастливъ, королевичъ!

— Да, я и буду счастливъ!—вскричалъ Вальдемаръ, подбѣгая къ пажу и крѣпко его обнимая:—я и буду счастливъ, не сегодня, такъ завтра пойду я къ царю и скажу ему; не надо мнѣ любви твоей, не надо мнѣ твоей царевны, отпусти меня скорѣй домой, не то будетъ тебѣ худо! И онъ меня отпуститъ, онъ не можетъ теперь держать меня, и мы уѣдемъ съ тобою, Маша, уѣдемъ на мою милую родину и заживемъ хорошей новой жизнью. Довольно мученій! Довольно неволи! Пришло наше время!

Такая увѣренность, такая молодая сила звучали въ его голосѣ, такой любовью и горячей жизнью горѣли глаза его, что Маша забыла всѣ свои страхи, всѣ угрызенія своей совѣсти, и съ крикомъ радости и счастія кинулась ему на шею...

XXV.

Въ богатомъ своемъ нарядѣ, со сверкавшей драгоцѣнными камнями цѣпью на шею, съ гордо поднятой головою и, повидимому, равнодушнымъ взглядомъ, вступилъ королевичъ Вальдемаръ въ палату, ту самую, гдѣ онъ впервые представлялся покойному царю Михаилу Ѳедоровичу. За королевичемъ шли послы датскіе и свита.

Около двухъ лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ Вальдемаръ здѣсь не былъ. Тогда онъ находился въ увѣренности, что пріѣ-

халъ на новую свою родину, былъ весь полонъ еще впечатлѣніями только что покинутой имъ иной совсѣмъ жизни, на сердцѣ у него тогда было смутно отъ всякихъ ожиданій, сомнѣній, надеждъ и зарождавшихся плановъ. Теперь онъ чувствовалъ себя совсѣмъ инымъ человѣкомъ, чѣмъ въ то, какъ ему казалось, далекое время и, оглянувшись, съ изумленіемъ увидѣлъ онъ, что все здѣсь, какъ было тогда: тѣ же самые росписные своды, тотъ же застывшій въ своихъ почтительныхъ позахъ рядъ рындовъ, тѣ же бояре въ своихъ длинныхъ кафтанахъ и высокихъ шапкахъ... Тотъ же самый тронъ, только на немъ уже не тучный отъ болѣзни царь съ блѣднымъ, какъ-бы затуманеннымъ лицомъ, а свѣжій, полный жизни и красоты юноша. Рядомъ съ нимъ, у трона, въ свободной позѣ, высокій, красивый бояринъ съ густой черной бородою, съ проницательными глазами.

«Такъ вотъ онъ, этотъ бояринъ Морозовъ!—подумалъ королевичъ:—вотъ онъ, царскій воспитатель, котораго такъ всѣ теперь, повидимому, трепещутъ, вліяніе котораго на молодого царя предлагаютъ мнѣ уничтожить. Если бы я вздумалъ здѣсь остаться, этотъ человѣкъ былъ бы первымъ моимъ врагомъ. Вотъ онъ и теперь какъ мрачно взглянулъ на меня. Да, должно быть, опасный врагъ—какое лицо! Какіе глаза! Только я его успокою»...

Юный царь, при входѣ королевича, быстро всталъ со своего мѣста и, сойдя по покрытымъ алымъ сукномъ ступенямъ, съ доброй, веселой улыбкой пошелъ на встрѣчу Вальдемару.

— Радуюсь видѣть твое высочество! Въ добромъ ли ты здоровьѣ?—раздался юношескій голосъ.

Царь крѣпко сжалъ руку королевича и въ то же время искалъ глазами переводчиковъ. Вальдемаръ замѣтилъ это и улыбнулся.

— Привѣтствую твое царское величество на престолѣ московскомъ,—отвѣтилъ онъ по-русски, произнося довольно чисто и правильно и сопровождая слова свои красивымъ поклономъ.—Радуюсь, государь, видѣть тебя въ добромъ здоровьѣ, а мое здоровье не худо.

Алексѣй Михайловичъ съ изумленіемъ и видимымъ удовольствіемъ воскликнулъ:

— Какъ, королевичъ, ты говоришь по нашему и какъ хорошо! Вотъ не ждалъ я!

— Во время долгаго моего здѣсь плѣна, что мнѣ было дѣлать? Вотъ я и выучился хорошо языку русскому,—съ недоброй усмѣшкой отвѣтилъ Вальдемаръ.

Царь растерялся и какъ-то жалобно оглянулся, ища глазами Морозова. Но бояринъ Борисъ Ивановичъ былъ уже около нихъ.

Съ поклономъ, который, однако, могъ быть ниже и почтительнѣе, обратился онъ къ Вальдемару:

— Прости, ваше высочество, государь королевичъ, зачѣмъ ты говорить изволишь о плѣнѣ? Не въ плѣну ты былъ и нечего тебѣ попрекать великаго государя; коли и случилось много для тебя непріятнаго, то онъ въ этомъ неповиненъ. Онъ тебя любитъ и почитаетъ и желаетъ одного, чтобы ты нынѣ забылъ всѣ непріятности. Къ чему помнить старое, надо помышлять не о томъ, что было, а о томъ, что будетъ. Твое высочество, государь королевичъ Вальдемаръ Христіанусовичъ, дорогой высокій гость царскаго величества, и всѣ мы, ближніе бояре, готовы служить тебѣ.

Морозовъ поклонился снова и, по его знаку, поклонились всѣ бывшіе въ палатѣ бояре.

«Вотъ какъ теперь заговорили, да ужъ поздно!»—подумалъ чуть не вслухъ королевичъ и взглянулъ на пословъ. У нихъ тоже были какъ бы новыя лица и новыя фигуры. Къ нимъ вернулось все ихъ достоинство и вся ихъ важность, совсѣмъ было потерянная ими послѣ мучительныхъ невзгодъ долгаго пребыванія въ Москвѣ.

— Его царское величество,—между тѣмъ продолжалъ Морозовъ: — готовъ съ великой радостью имѣть тебя въ ближнемъ присвоеніи и покончить, къ общему благополучію, то доброе дѣло, ради котораго твое высочество къ намъ изволилъ пріѣхать.

Яркой краской вспыхнули щеки Вальдемара, глаза его загорѣлись злобнымъ чувствомъ, но онъ сдержалъ себя.

— Благодарю тебя, великій государь,—сказалъ онъ, обращаясь къ юному царю: — дѣло, ради котораго я пріѣхалъ, не по моей винѣ стало невозможнымъ. Объ этомъ дѣлѣ ужъ давно нѣтъ, и не можетъ быть разговору, ужъ давно я и послы отца моего, короля датскаго Христіана, просимъ отпустить насъ съ честью въ Данію. Только эту просьбу я и теперь могу повторить предъ тобою, государь: повели отпустить насъ немедля. Мы долго здѣсь жили, никакого худа никому не сдѣлали, а съ нами было много худого... Мы люди вольные, а я сынъ великаго короля. Правда это, что не надо вспоминать старое, я вспоминать и не буду. Кромѣ чувства любви и почтенія къ тебѣ, у меня нѣтъ ничего въ сердцѣ и всю мою жизнь я готовъ почитать тебя и прославлять твою доброту и ласку, коли ты, великій государь, исполнишь мое желаніе.

Совсѣмъ растерялся Алексѣй Михайловичъ, жалобно глядѣлъ онъ на королевича и не зналъ, что сказать, какъ быть теперь.

Нѣсколько мгновеній молчалъ и бояринъ Морозовъ. Различныя мысли быстро проносились въ головѣ его.

«Вотъ какъ! — думалъ онъ: — упрямый парень и гордости въ немъ много, ну да, вѣдь, и то надо сказать, наши тоже хорошо

съ нимъ поступали. Такъ я и полагалъ, что не по нраву ему будетъ предложеніе остаться здѣсь и жениться на царевнѣ, да и какъ-бы мы это устроили?—вѣдь, ужъ какъ ни на есть, а въ лютеранской вѣрѣ пребывать ему было бы неможно. Все къ лучшему! Если-бы онъ остался, много-бы мнѣ хлопотъ съ нимъ было. Ишь, вѣдь, орломъ какимъ глядитъ! это не то что наши ротозеи, съ нимъ пришлось-бы тягаться. Алешѣ вотъ больно не по сердцу это, да и какъ бы зазорно для царевны, что онъ отказывается, ну да что-жъ? Алешу я успокою, объясню ему. Все къ лучшему, слава Богу!..»

— Воля твоя, государь королевичъ,—произнесъ, наконецъ, Морозовъ со вздохомъ:—силою держать тебя и пословъ твоихъ и всѣхъ твоихъ людей великій государь не станетъ. Отъѣзжай. Любя тебя проводимъ мы съ честью, жалѣя, что не привелось тебѣ остаться съ нами.

Юный царь готовъ былъ заплакать.

— Когда мы можемъ выѣхать?

— Когда то вашему высочеству будетъ угодно,—отвѣтилъ Морозовъ.

Вальдемаръ крѣпко сжалъ руку царя, который ему очень нравился, обнялся и поцѣловался съ нимъ трижды, сдѣлалъ всѣмъ общій поклонъ и, полный достоинства, съ просвѣтлѣвшимъ лицомъ, вышелъ изъ палаты, сопровождаемый своей свитой.

Онъ на мгновеніе остановился въ одной изъ царскихъ хоромъ, черезъ которую пришлось проходить, и вдругъ сталъ соображать: далеко-ли отсюда и гдѣ тотъ теремъ, тотъ садъ, тотъ темный узкій длинный корридорчикъ, тотъ маленькій чуланъ, которые какъ видѣніе промелькнули передъ нимъ въ далекую, безконечно далекую теперь отъ него ночь.

Ему невольно вспомнился прелестный образъ царевны, тоже мелькнувшій передъ нимъ на мгновеніе, вспомнились ея поцѣлуи, а пуще того страшный, мучительный взглядъ ея глазъ, ночью, во время похоронъ царскихъ. Онъ снова будто услышалъ пронзительный крикъ ея, сердце у него дрогнуло и въ это мгновеніе онъ вдругъ, неожиданно для самого себя, пожалѣлъ о своемъ рѣшеніи.

— А что, если...

Но онъ даже не докончилъ этой мысли, сожалѣніе какъ мгновенно родилось въ немъ, такъ-же мгновенно и исчезло. Ему захотѣлось скорѣй, какъ можно скорѣй, къ себѣ... туда, гдѣ ждетъ его не призракъ, не мгновеніе, а долгіе часы, долгіе дни и, какъ казалось ему, долгіе годы въ объятіяхъ милой, любимой Маши.

XXVI.

Ликуютъ датчане; несказанная радость изображается на всѣхъ лицахъ.

Когда королевичъ, возвратясь отъ царя, объявилъ объ отъѣздѣ, всѣ боялись даже и повѣрить такому счастью.

Начались сборы, но они не могли быть долгими. Если-бы королевичъ сказалъ, что надо выѣхать немедля, сейчасъ-же, всѣ люди его штата побросали-бы свои пожитки, оставили-бы ихъ на память о себѣ московитамъ, только чтобы скорѣе, не теряя ни минуты, бѣжать отсюда, изъ этихъ надоѣвшихъ стѣнъ, показавшихся сначала такими интересными и хорошими, а потомъ превратившихся въ мрачную темницу.

Самъ королевичъ, и такъ ужъ сильно измѣнившійся къ лучшему со времени появленія новаго пажа, теперь совсѣмъ былъ другимъ человѣкомъ. Никогда, даже въ Даніи, его приближенные не видали его въ подобномъ лучезарномъ состояніи. На него нашло просто какое-то опьяненіе радостью. Онъ самъ наблюдалъ за всѣми сборами, былъ то здѣсь, то тамъ, подходилъ то къ одному, то къ другому, дружески похлопывалъ своихъ придворныхъ по плечу, шутилъ, смѣялся. Даже старый Пассбиргъ, и тотъ оживился. Встрѣтясь съ пажемъ—Машей, онъ и на нее нечаянно взглянулъ съ благосклонной улыбкой, только потомъ все-же сморщилъ брови и нахмурился, а въ первомъ же разговорѣ съ Билленомъ говорилъ ему:

— А съ маскарадомъ-то какъ мы теперь будемъ?

— Съ какимъ маскарадомъ?—изумленно спросилъ его толстякъ Билленъ, обезумѣвшій отъ радости скораго возвращенія въ Копенгагенъ и свиданія съ семью.

— Ну, съ пажемъ этимъ?

— А вамъ развѣ неизвѣстно, что принцъ беретъ ее съ собою.

— Она съ нами ѣдетъ? этого допустить нельзя!—возмутился Пассбиргъ.

— Попробуйте, не допустите...

— Да, вѣдь, во-первыхъ, кто нибудь проговорится еще, выйдетъ непріятность, въ послѣднюю минуту все можетъ быть испорчено.

Билленъ улыбался и качалъ головою.

— Нѣтъ,—говорилъ онъ:—несмотря на всю вашу строгость, а придется вамъ примириться съ этой дѣвицей. Ее можно жалѣть, такъ какъ она, на мой взглядъ, очень достойна жалости, но что она должна ѣхать съ нами въ Копенгагенъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Неужели не видите вы, что если-бы даже принцъ относился къ ней иначе, если-бы даже онъ рѣшился ее покинуть,

такъ всѣ наши люди не допустятъ этого, вѣдь, они всѣ, какъ одинъ человѣкъ, безъ ума отъ московитки. Не знаю почему вы такъ противъ нея? Надо быть снисходительнѣе, да и, право, она лучшее, что мы здѣсь видѣли за все время нашего плѣна.

— Да,—проворчалъ Пассбиргъ:—если и вы тоже плѣнены ею, тогда, конечно, мнѣ только молчать остается; но... но въ Копенгагенѣ что скажутъ?

— Я думаю, даже увѣренъ, что въ Копенгагенѣ эта московитка произведетъ очень сильное впечатлѣніе.

— А король?

— Король, вѣроятно, одобритъ вкусъ своего сына.

— Я умываю руки, я умываю руки! — продолжалъ ворчать Пассбиргъ.

Вальдемаръ былъ такъ счастливъ, его охватывала такая радость, что онъ долго не замѣчалъ, какъ впрочемъ не замѣчали этого и остальные, большой разницы во всеобщемъ настроеніи съ настроеніемъ Маши. Среди всѣхъ этихъ сіявшихъ счастьемъ лицъ—одна она была печальна.

Наконецъ, Вальдемаръ замѣтилъ это и спросилъ о причинѣ.

Она подняла на него свои темные, большіе глаза, въ которыхъ теперь ничего ужъ не было общаго съ прежними ея глазами теремнаго бѣсенка,—такое въ нихъ глубокое и грустное стало выраженіе.

— Ты ѣдешь домой, къ своимъ, ты ѣдешь изъ чужой земли, гдѣ тебя держали въ плѣну, а я... я все свое оставляю.

Онъ взялъ ее за руку.

— Да,—сказалъ онъ:—но все же ты не должна грустить и печалиться, вѣдь, я теперь знаю твою жизнь, у тебя нѣтъ никого родныхъ и близкихъ. Я былъ здѣсь въ опасности, да, вѣдь, и ты была, пожалуй, въ еще большей, у тебя есть одинъ только человѣкъ, близкій тебѣ и родной—это я, и ты ѣдешь со мною... Или, можетъ быть, ты ужъ не такъ меня любишь, Маша?

Она печально улыбнулась.

— Я? не люблю тебя!.. Ты говоришь правду, у меня никого нѣтъ, я всѣмъ чужая... за тобой готова я идти на край свѣта, все равно куда. Не объ этомъ я думаю, а вотъ что: здѣсь ты мой, а тамъ...

— И тамъ буду тоже твой,—перебилъ онъ ее, обнимая и цѣлуя.

— Дай-то Богъ! только сердце щемитъ, какъ-то не вѣрится этому.

— Клянусь тебѣ, Маша...—горячо началъ онъ, но она его остановила.

— Не клянись, мой золотой, не надо мнѣ твоей клятвы, знай только одно, коли разлюбишь меня, коли бросишь, тугъ мнѣ и

конецъ... Ну и довольно, и то правда, чего я носъ повѣсила? Слава Богу, что уѣзжаемъ, скорѣй бы только, скорѣй!.. А вдругъ меня узнаютъ, вдругъ отнимутъ, потащутъ на пытку... Ну, нѣтъ!— совсѣмъ ужъ другимъ тономъ воскликнула она.—Не дамся я! Какъ по улицамъ-то московскимъ буду ѣхать, такъ все равно, что личину на себя надѣну, глаза зажмурю, щеки надую—вотъ!

Она сдѣлала такое невозможное уморительное лицо, что Вальдемаръ захохоталъ какъ сумасшедшій...

Раннимъ, сѣренькимъ, довольно теплымъ утромъ тронулся поѣздъ съ королевичева двора.

Датчане разукрасили своихъ коней, надѣли на себя самыя новыя красивыя платья. Потомъ, какъ выѣдутъ изъ Москвы, они переодѣнутся по дорожному, а теперь пусть смотрятъ московиты!

Королевичъ, окруженный своими придворными, гарцовалъ на любимомъ конѣ. За толпой всадниковъ двигались многочисленныя повозки съ пожитками.

Въ одной изъ этихъ повозокъ, между разными тюками, со всѣхъ сторонъ прикрытая ими, сидѣла Маша. Ея печальное настроеніе давно уже исчезло. Теперь и она была такъ же довольна и счастлива, какъ и всѣ, ничего не боялась, ни о чемъ не думала. Но вотъ, выглянувъ изъ-за тюковъ, она такъ прямо, сразу и увидала крышу терема. Страшная тоска вдругъ охватила ее, ей безумно захотѣлось выпрыгнуть изъ повозки и бѣжать туда, скорѣй, въ теремъ къ царевнѣ. Подступившія рыданія сдавили ей горло, слезы такъ и брызнули изъ глазъ, въ головѣ стало туманно. Почти совсѣмъ забылась она... а когда пришла въ себя, то увидѣла, что Кремль остался далеко позади.

Въ городѣ, по улицамъ ужъ было обычное движеніе. Народъ останавливался и глядѣлъ съ любопытствомъ на поѣздъ королевича.

Маша теперь не плакала. Она изъ-за окружавшихъ ее тюковъ глядѣла на всѣхъ этихъ людей, крестилась на церкви, мимо которыхъ проѣзжала, но ужъ не думала о томъ, что никогда въ жизни не увидитъ ни этого люда родного и знакомаго, ни этихъ православныхъ храмовъ, въ ней было одно только желаніе—скорѣй отсюда и какъ можно дальше, какъ можно дальше.

XXVII.

Послѣ всего испытаннаго въ Москвѣ, датчанамъ было какъ-то даже жутко вѣрить своему счастью. Это недовѣріе ихъ выразилось особенно ясно, когда они выѣхали изъ Москвы и ощутили свободу.

Ближніе къ королевичу Вальдемару люди стали поговаривать, что вдругъ все это такъ только, для виду! Вдругъ вотъ ѣдутъ

они себѣ спокойно, а за ними погоня. Придерутся къ чему нибудь и силою вернутъ обратно.

Хотя такія предположенія и были невѣроятны, но у страха глаза велики, разговоры эти въ концѣ концовъ подѣйствовали даже на Вальдемара.

— Въ такомъ случаѣ мы не дадимся живыми, будемъ биться до послѣдняго издыханія!—воскликнулъ онъ и приказалъ всѣмъ своимъ людямъ вооружиться и быть наготовѣ.

Однако, ничего не случилось. Какъ ни оглядывались во всѣ стороны датчане, не могли они замѣтить по дорогѣ ничего подозрительнаго и благополучно добрались до Вязьмы. Было очевидно, что никакого зла противъ нихъ не умышляютъ и въ Москву вернуть ихъ не хотятъ.

Повѣрили, наконецъ, плѣнники своей свободѣ, а королевичъ изъ Вязьмы послалъ государю письмо, въ которомъ благодарилъ его «за великую любовь и сердечную подвижность, какія царь всегда ему оказывалъ и теперь оказалъ въ томъ, что отпустилъ его и пословъ королевскихъ со всякою честью».

Въ концѣ письма Вальдемаръ просилъ царя пожаловать Петра Марселиса.

Въ этой припискѣ именно и сказывалось счастье, ощущавшееся королевичемъ.

Онъ считалъ Марселиса виновнымъ во многомъ въ послѣдній годъ своей московской жизни, не могъ равнодушно его видѣть, а когда тотъ пришелъ съ нимъ прощаться, принялъ его такъ сурово, что бѣдный Марселисъ ушелъ совсѣмъ разстроенный и оскорбленный. Но вотъ теперь, на радостяхъ, королевичъ простилъ его, и доброе сердце подсказало ему даже желаніе просить за этого человѣка, злая воля или неразумность котораго причинили столько страданій, какъ самому Вальдемару, такъ и близкимъ къ нему людямъ.

Дальнѣйшій путь совершился безъ всякихъ непріятныхъ приключеній. Быть можетъ, опасенія датчанъ и оказались-бы основательными, если-бы, ко времени ихъ отъѣзда, вернулся Апраксинъ, посланный къ королю Христіану, вслѣдъ за кончиной царя Михаила Ѳеодоровича, съ извѣстіемъ о восшествіи на престолъ царя Алексѣя. Можетъ быть, бояре, неспособные вынести ничего, касавшагося умаленія царской чести, дѣйствительно выместили-бы на Вальдемарѣ и датчанахъ неудачу этого посольства.

Но Апраксинъ еще не вернулся, и въ Москвѣ не знали, что король Христіанъ, принявъ отъ него грамоты, о здоровьи государевомъ не спрашивалъ, къ рукѣ своей не позвалъ гонца московскаго и къ столу его не пригласилъ, а отвѣтную грамоту прислалъ ему съ секретаремъ.

Апраксинъ требовалъ, чтобы самъ король лично, какъ всегда это водилось, отпустилъ его, но Христіанъ объ этомъ и слышать не хотѣлъ, и пришлось Апраксину уѣхать безъ королевскаго отпуска съ такою грамотою:

«Хотя мы имѣемъ сильныя причины жаловаться на неисполненіе договора о бракѣ сына нашего съ вашею сестрою, но такъ какъ вашъ отецъ скончался, то мы все это дѣло предаемъ забвенію и хотимъ жить съ вами въ такой-же дружбѣ, какъ жили съ вашими предками».

По счастью, король Христіанъ долженъ былъ ограничиться холоднымъ, нѣсколько высокомѣрнымъ тономъ и оскорбленіемъ, нанесеннымъ послу московскому. Ему хотѣлось-бы посильнѣе отвѣтить за страданія сына, но обстоятельства были не таковы, чтобы начинать войну съ московскимъ государствомъ...

Молодые датскіе придворные и, главнымъ образомъ, Генрихъ Краненъ, который имѣлъ на то свои личныя, сердечныя причины, начали вспоминать въ разговорахъ съ Вальдемаромъ о веселомъ времяпрепровожденіи въ Вильнѣ и о томъ, что королевичъ обѣщалъ, при первой возможности, туда пріѣхать. Но Вальдемаръ отвѣчалъ на это:

— Тогда было одно, а теперь другое. Нѣтъ, мы минуемъ Вильну. Мы возвращаемся вовсе не въ такомъ положеніи, какимъ можно было-бы хвастаться и очень можетъ быть, что въ Вильнѣ теперь встрѣтили-бы меня не почести и любезности, а насмѣшки. Да и, наконецъ, я удивляюсь вамъ: неужели не дорогъ вамъ каждый день, каждый часъ, приближающій насъ къ Даніи? Я, по крайней мѣрѣ, думаю объ одномъ, какъ-бы скорѣй быть дома.

Въ этихъ разсужденіяхъ заключалась правда, но не вся,— и нѣкоторые изъ молодыхъ датчанъ, которые полагали, что теперь все равно Данія не уйдетъ отъ нихъ, перешептывались между собою.

— Да, оно понятно почему принцу теперь не до Вильны: его московитка съ нимъ, онъ забылъ и думать о виленскихъ дамахъ и дѣвицахъ. Ну, что-жъ дѣлать,— и намъ придется забыть о нихъ, а жаль—то-то-бы повеселились послѣ тюрьмы московской!

Молодые датчане были правы. Вальдемаръ не думалъ ни о какихъ красавицахъ, а о Машѣ думалъ много. Съ каждымъ днемъ росла его къ ней страстная привязанность. Онъ часто мечталъ о томъ, какъ устроитъ ее въ Копенгагенѣ, какъ употребитъ всѣ мѣры для того, чтобы сдѣлать жизнь ея пріятной и спокойной.

«Ну можно-ли было думать, — говорилъ онъ себѣ:—что въ этой варварской Москвѣ я найду такое сокровище?!»

Маша быстро перерождалась. У нея оказались чуть ли не такія-же хорошія способности, какъ у королевича: она съ каждымъ днемъ все больше и больше освоивалась съ датскимъ

языкомъ, а датчане, наперерывъ другъ передъ другомъ, пользовались каждымъ удобнымъ случаемъ, каждой подходящей минутой, чтобы учить ее новымъ словамъ и оборотамъ рѣчи. Въ этой теремной дикаркѣ оказалась врожденная способность русской женщины очень скоро примѣняться ко всякой обстановкѣ, легко и незамѣтно усвоивать чужое.

Вмѣстѣ съ этимъ, по мѣрѣ отдаленія отъ Москвы, совсѣмъ проходила и тоска Маши. Ее, очевидно, по дорогѣ, нагнали всѣ ея бѣсенята и снова завладѣли ею. Она стала весела и шутлива.

Такъ какъ до границы королевича сопровождали приставленные русскіе люди, то необходимо было соблюдать прежнюю относительно Маши осторожность, но она сдѣлалась смѣла, весела, задорна, такъ что королевичъ иногда за нее боялся, а Пассбиргъ отворачивался и ворчалъ:

— Вотъ помяните мое слово, еще надѣлаетъ намъ бѣдъ эта дѣвчонка!

Но бѣды никакой не случилось и, наконецъ, королевичъ со свитой и съ хорошенькимъ пажемъ прибылъ въ Копенгагенъ.

Король Христіанъ сильно радовался, увидя сына бодрымъ и здоровымъ, а выслушавъ подробный разсказъ его и пословъ о томъ, что имъ пришлось вынести въ Москвѣ, онъ пришелъ въ страшное негодованіе; многаго онъ не зналъ еще. И опять-таки счастье было, что Апраксинъ уже уѣхалъ съ его грамотой.

Черезъ нѣсколько дней, по возвращеніи Вальдемара, король пришелъ къ сыну. Негодованіе его уже улеглось, и онъ былъ въ веселомъ настроеніи духа.

— А ты, оказывается, многое скрылъ отъ меня, — сказалъ онъ притворно сердитымъ тономъ.—Ты разсказывалъ мнѣ о дурномъ съ тобою поведеніи московитовъ, а о своемъ дурномъ поведеніи ни слова; между тѣмъ старикъ Пассбиргъ на тебя сильно жалуется.

— Вотъ какъ! — воскликнулъ Вальдемаръ, хорошо понимая въ чемъ дѣло.

— Онъ говоритъ что-то о своихъ сѣдыхъ волосахъ, проситъ считать его непричастнымъ къ твоимъ дурнымъ поступкамъ. Онъ говоритъ, что у тебя какой-то пажъ, вывезенный тобою изъ Москвы.

Былъ пажъ,—ласково заглядывая въ глаза отцу, началъ Вальдемаръ:—только теперь никакого пажа нѣтъ, а есть московская боярышня, которую я люблю всѣмъ сердцемъ. Я самъ хотѣлъ съ тобою говорить объ этомъ... дорогой отецъ, выслушай меня.

И онъ разсказалъ ему откровенно всю свою исторію. Онъ говорилъ горячо и король видѣлъ, что Вальдемаръ не на шутку увлеченъ своимъ бывшимъ пажемъ, но не видѣлъ онъ въ этомъ ничего опаснаго. Между тѣмъ королевичъ говорилъ:

— Я очень много обязанъ ей, въ то время какъ все это случилось, я дошелъ до полнаго отчаянія, я уже не могъ выносить этой жизни, этого позорнаго плѣна. Бывали минуты, когда я готовъ былъ наложить на себя руки. Это правда, ты можешь спросить объ этомъ у всѣхъ, кто былъ со мною. Да и не я одинъ, всѣ были въ такомъ состояніи. Она, эта дѣвушка, своимъ присутствіемъ, спасла и меня, и всѣхъ

Король внимательно слушалъ; онъ понималъ сына, онъ самъ, какъ извѣстно, былъ склоненъ къ сердечнымъ увлеченіямъ и не могъ себѣ представить счастливой жизни безъ любимой женщины. Теперь онъ былъ уже старъ, сердце его уже не билось сильнѣе при взглядѣ на женскую красоту, но все-же въ этомъ сердцѣ хранилось столько милыхъ и пріятныхъ воспоминаній.

— Такъ покажи мнѣ свою волшебницу,—сказалъ король:— а то ты, наконецъ, мнѣ такого о ней наскажешь, что я буду ждать встрѣтить чудо, а чуда-то и не окажется. Любопытна эта московская боярышня!..—прибавилъ онъ.

Вальдемаръ показалъ отцу свою волшебницу и король отнесся къ ней благосклонно. Благосклонность короля обратила на нее всеобщее вниманіе.

Если-бы Маша, подобно большинству юныхъ теремныхъ затворницъ, обладала только красотою, если-бы шаловливыя бѣсенята не передали ей своихъ лучшихъ свойствъ, она погибла-бы на этой чужбинѣ, ея красота скоро наскучила-бы королевичу, онъ-бы разлюбилъ ее. Но красота Маши была на второмъ планѣ, да и красоты въ ней особенной не было. Она сразу не могла никому броситься въ глаза; въ Копенгагенѣ нашлось бы не мало гораздо болѣе эффектныхъ и ростомъ, и дородствомъ. Но въ небольшой, тонкой Машѣ съ ея подвижнымъ личикомъ и большими темно-сѣрыми глазами, умѣвшими говорить и высказывать что́ угодно, была большая прелесть, дѣйствовавшая на человѣка все больше и больше по мѣрѣ того, какъ онъ знакомился съ нею.

Ея живой характеръ, живой умъ, природная кокетливость и шаловливость, а главное — женскій тактъ, которому научилъ ее, конечно, не теремъ, а все тѣ же приспѣшники-бѣсенята, составляли для нея крѣпкое и надежное оружіе, съ помощью котораго она могла постоять за себя. Она страстно любила своего королевича, но не надоѣдала ему своей любовью..

Онъ устроилъ ей прелестное гнѣздышко, роскошь котораго не напоминала своеобразной роскоши царицына терема, но пришлась Машѣ очень по вкусу. Скоро она по виду и манерамъ превратилась въ датчанку.

Королевичъ приставилъ къ ней учителей. У нея оказались

музыкальныя способности, хорошій голосъ. За все она хваталась жадно, все она быстро усвоивала.

Въ ея тепломъ гнѣздышкѣ Вальдемаръ проводилъ свои свободные часы; къ нимъ присоединялись иногда его молодые пріятели. Наконецъ, у Маши появилось и женское общество: она была интересна, была въ модѣ.

Часто вечеромъ, по окончаніи полнаго занятій и удовольствій дня, Маша, оставшись одна, вздыхала всей грудью отъ избытка счастья.

«Боже мой, какъ хорошо на свѣтѣ!»—думалось ей. Являлась мысль о будущемъ, но она ее гнала; являлись временами воспоминанія; мелькали на вѣки покинутые образы, тоска заползала въ сердце. Вдругъ начинало тянуть ото всего этого счастья въ покинутую даль, гдѣ прошло ея темное дѣтство и первое время юности, гдѣ она была бѣдной «дѣвочкой-сиротой», которой, чуть не каждый день, драла уши суровая постельница Настасья Максимовна.

Слезы показывались на глазахъ у Маши, опускалась голова ея; вздохи счастья превращались въ вздохи печали. Но у нея было одно завѣтное слово, одинъ талисманъ, посредствомъ котораго она отгоняла всѣ эти признаки. «Вальдемаръ!» шептала она—и призраки исчезали.

ЭПИЛОГЪ.

Такая спокойная и счастливая жизнь Маши продолжалась года три.

Въ 1648 году скончался король Христіанъ IV и, тотчасъ-же послѣ его смерти, пришлось Вальдемару вспомнить опасенія отца, на основаніи которыхъ онъ рѣшился разстаться съ любимымъ сыномъ и отпустить его въ далекую, чужую страну, гдѣ судьба тогда сулила ему счастливую и спокойную жизнь. Родственники никогда не могли простить графу шлезвигъ-голштинскому исключительной любви къ нему короля, къ тому-же онъ былъ опасенъ, въ Даніи его очень любили.

У Вальдемара былъ преданный другъ, человѣкъ энергичный, рѣшительный и способный, Корфицъ Улефельдъ. Онъ былъ женатъ на сестрѣ Вальдемара. Честолюбіе его было безгранично, онъ хорошо понималъ, что, несмотря на всѣ свои способности, не можетъ самъ достигнуть престола, а поэтому рѣшилъ во что бы то ни стало возвести на престолъ своего друга, графа шлезвигъ-голштинскаго. Онъ завелъ смуту и длилъ междуцарствіе.

За Вальдемара были многіе, но самъ онъ, хоть и желавшій занять престолъ, въ виду ненависти къ нему старшаго брата,

которая сулила ему всякія бѣды, все-же не могъ вести какъ слѣдуетъ интригу. Интрига была не въ его прямомъ, откровенномъ характерѣ.

Дѣло Улефельда не удалось, второй сынъ Христіана отъ королевы Екатерины, Фридрихъ III, былъ возведенъ на престолъ, а принцу Вальдемару пришлось бѣжать въ Швецію. Конечно, за нимъ послѣдовала и Маша.

Здѣсь началась совсѣмъ иная жизнь. Прежняго счастья ужъ не было,—вѣчныя опасности, заботы, опасенія,—но и на эту новую жизнь не жаловалась Маша. Пока Вальдемаръ былъ съ нею, пока она могла раздѣлять его радости и горе, ей ничего иного не хотѣлось. Ему была неудача, горе—ей двойная неудача, двойное горе, ему радость—ей двойная радость.

Но вотъ началась польская война. Вальдемаръ принялъ въ ней участіе въ арміи шведскаго короля Карла X. Отговорить его отъ этого не было возможности, да Маша и не отговаривала. Но не было возможности заставить и ее покинуть Вальдемара.

Тайно отъ принца приготовилась она и въ тотъ часъ, когда онъ думалъ проститься съ нею, она явилась передъ нимъ въ видѣ маленькаго, хорошенькаго воина, вооруженнаго съ головы до ногъ и готоваго къ бою. Онъ не ожидалъ ничего подобнаго и сразу даже не понялъ, что это значитъ. Наконецъ, онъ понялъ.

— Маша, дорогая моя, ты съ ума сошла!—воскликнулъ онъ.—Развѣ можно это? Я иду туда, куда зоветъ меня мой долгъ, честь мужчины, моя судьба, я не могу не идти, а ты..

— А я,—перебила его Маша:—тоже не могу не идти туда, гдѣ ты подвергаешь опасности жизнь свою. Развѣ ты не знаешь, что моя жизнь въ тебѣ и другой у меня нѣтъ? Подумай, какъ-же я останусь?

Онъ взглянулъ на нее и понялъ, что дѣйствительно остаться, покинуть его, ей нѣтъ никакой возможности. А она смѣялась.

— Посмотри, чѣмъ-же я не воинъ? Мала только, ну, да не бѣда это! Ты самъ знаешь, какъ я могу верхомъ ѣздить, а стрѣляю, ты самъ опять-таки знаешь, стрѣляю я мѣтко.

— Маша, подумай, да, вѣдь, это война, вѣдь, я буду въ постоянной опасности. Я не стану прятаться и беречь себя.

— Я знаю все это,—отвѣтила она.—Мы не будемъ съ тобой прятаться, не бойся, рядомъ съ тобою я ничего не испугаюсь, не срамлю тебя. Жизнь наша и смерть, вмѣстѣ.

Исполнились эти слова Маши. Впереди своего отряда, въ пылу жаркаго сраженія нашелъ смерть королевичъ Вальдемаръ; на ея руки упалъ онъ бездыханный. Маша перекрестила его, поцѣловала.

— Стрѣляйте, ляхи!—крикнула она по-русски.

Что-то ударило ей въ грудь, прямо въ сердце, и она упал съ предсмертнымъ стономъ на трупъ своего королевича...

А въ это время тамъ, въ царицыномъ теремѣ, гдѣ распоря жалась новая молодая хозяйка, царица Марья Ильинична, шл все та же обычная жизнь, жизнь человѣческаго муравейника День за днемъ, какъ вчера, такъ и сегодня. Выростали, созрѣ вали и увядали до срока до времени, не радуя ничьего взор красивые цвѣтки—царевны. Раньше другихъ увядала царевна Ири Пережитое ею горе не унесло ея жизни, но навсегда придави ее своею тяжестью.

Теперь она ужъ не знала радости. Блѣдная, съ потухши взглядомъ, казавшаяся гораздо старше своего возраста, она жи безучастная ко всему и ко всѣмъ. Никого она не любила, бу сердца у нея совсѣмъ не было, будто вырвали его у нея. Преж въ первое время, пока хоть и измученное, а все же трепета и жило въ ней сердце, она умѣла молиться и находить въ молит отраду. Теперь и этой отрады не было. Обычная молитва, пер шедшая въ привычку, не приносила ей никакой радости и облегчен

Мало-по-малу царевна измѣнилась въ характерѣ, такъ изм нилась, что если-бы воспитавшая ее мама, княгиня Марья Ивановн Хованская, была еще въ живыхъ, она не узнала-бы своей воспитан ницы. Теперь ужъ не говорили о царевниной добротѣ теремн жительницы, а постельница Настасья Максимовна иной разъ шопо томъ, на ушко надежной пріятельницѣ, толковала:

— Зла наша царевна Ирина Михайловна, никакой въ ней ни къ людямъ жалости, сколько слезъ отъ нея по терему! Ник ей не угодитъ, все не ладно, такъ и норовитъ обидѣть человѣк подъ бѣду подвести его. И что такое сталось съ нею? Вѣд добра была какъ ангелъ Божій...

— Такъ отчего-бы это? Какая тому причина?—тоже таинст венным шопотомъ спрашивала Настасью Максимовну пріятельни

— Какая тому причина!! одна причина: зельемъ такимъ опои царевну. Зелье такое вишь есть, сушитъ оно сердце, дѣлаетъ из добраго, ласковаго человѣка—ненавистника.

— Да кто-жъ бы это? И какъ сталось такое въ теремѣ?

— Ума приложить не могу, матушка, ума приложить не мог На глазахъ она у меня была съ издѣтства. У меня да у поко ной княгини Марьи Ивановны, и сама ты знаешь, провесть мен мудрено, все я вижу... А тутъ и не доглядѣла. Вотъ грѣхъ-т какой! Такъ-то!

Настасья Максимовна, по старой привычкѣ своей, разводи руками и печально задумывалась.

Конецъ.

Stanford University Libraries
3 6105 015 014 009
PG
3470
.S72
v.3

DATE DUE

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA
94305